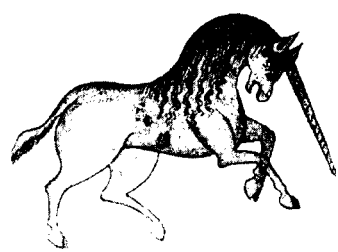
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

XIV Международный съезд славистов

Охрид, 10–16 сентября 2008 г.

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

МОСКВА «ИНДРИК» 2008

УДК 811.16
ББК 81.2
С 47

Издание подготовлено
в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН
«Русская культура в мировой истории»
(проект «Русская филология на современном этапе»)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

член-корреспондент РАН *А. М. Молдован* (ответственный редактор)
кандидат филологических наук *П. М. Аркадьев* (ответственный секретарь)
доктор филологических наук *В. М. Живов*
член-корреспондент РАН *Т. М. Николаева*
доктор филологических наук *А. А. Плотникова*
доктор филологических наук *С. М. Толстая*

Славянское языкознание / XIV Международный съезд славистов. (Охрид, 10–16 сентября 2008 г.). Доклады российской делегации. — М.: Индрик, 2008. — 576 с.

ISBN 978-5-85759-474-2

Сборник докладов российских языковедов, подготовленный к XIV Международному съезду славистов в Охриде, посвящен актуальным вопросам славистики: славянская этимология, сравнительно-историческое изучение славянских языков, межславянские и славяно-иноязычные контакты, славянская диалектология и лингвогеография; этнолингвистика; палеославистика; корпусная лингвистика; национальные языки и национальные культуры; социолингвистические и прагматические аспекты; современные теории и методы изучения фонетики, лексической семантики, грамматической структуры славянских языков и др.

Для лингвистов, специалистов по широкому кругу проблем славянского языкознания.

© Тексты, коллектив авторов, 2008
© Российская академия наук, 2008
© Издательство «Индрик», 2008

ISBN 978-5-85759-474-2

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Е. Ананьева. К типологии славянских периферийных диалектов, межславянских и славяно-иноязычных контактов (на материале некоторых западнославянских и южнославянских языков) 7

П. М. Аркадьев. Уроки литовского языка для славянской аспектологии 28

Е. Л. Березович. Славянская ксенонимия и типология мотивационных параллелей 44

А. В. Бондарко. Дифференциация и интеграция в системе категориальных единств 68

Ж. Ж. Варбот. Этимологические гнезда и лексико-семантические поля в диахронии и синхронии 84

Т. И. Вендина. Общеславянский лингвистический атлас (1958–2008). Итоги и перспективы 96

М. В. Всеволодова. Типология славянского предлога. Системность: категории и парадигмы 119

В. А. Дыбо. Система порождения акцентных типов производных в балто-славянском праязыке и балто-славянская метатония 145

А. А. Зализняк. Эволюция энклитик в истории русского языка 183

Н. Н. Запольская. Грамматика и субграмматика славянских литературных языков (XVI–XVIII вв.): теория и история норм 199

Е. А. Земская, О. П. Ермакова, Z. Rudnik-Karwat. Особенности русского и польского языков на рубеже XX–XXI вв. 225

Вяч. Вс. Иванов. Развитие *(-)*tl-*, *(-)*dl-* > (-)*kl-*, (-)*gl-* в циркумбалтийской языковой зоне и диалектное членение праславянского 249

Е. Ю. Иванова. Семантические типы предложений в славянских языках: проблемы и возможности сопоставительного анализа как маркеры традиции 276

М. Л. Каленчук. Служебные слова: взаимодействие фонетики и грамматики 293

Р. Ф. Касаткина. Артикли, предартикли и псевдоартикли в славянских языках 305

Л. В. Куркина. К истокам славянской социальной терминологии (*Жилище* и *поселение* как единицы социальной организации древних славян) 322

О. Н. Ляшевская, Е. В. Рахилина. Онтология лексики в Национальном корпусе русского языка: обзор и поисковые возможности 342

Т. М. Николаева. *S/*T — центр славянской грамматики 355

Е. В. Падучева. Семантические явления в высказываниях от 1 лица: *говорящий* и *наблюдатель* 372

А. А. Плотникова. Этнолингвистика и лингвогеография (на материале южнославянских языков и традиций) 396

В. А. Плунгян. Национальный корпус русского языка: общая характеристика и направления развития 418

И. А. Седакова. Распад «идеологических» языковых союзов: универсальное и специфическое 429

С. М. Толстая. Семантическая реконструкция и проблема многозначности праславянского слова 451

Е. С. Узенева. Ареальное членение болгарского и македонского языков по данным свадебной терминологии 474

Р. П. Усикова. Выражение субъективной модальности (предположения, умозаключения, достоверности) в македонском литературном языке в сопоставлении с болгарским и русским 500

В. С. Храковский. Таксис 516

М. И. Чернышева. Семантика словообразовательных моделей с начальными *благо-* и *бого-* (новые данные) 540

Е. И. Якушкина. К реконструкции структуры праславянского лексико-семантического поля 554

Н. Е. Ананьева

К ТИПОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ДИАЛЕКТОВ, МЕЖСЛАВЯНСКИХ И СЛАВЯНО-ИНОЯЗЫЧНЫХ КОНТАКТОВ

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕКОТОРЫХ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ И ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)

Проблема центра и периферии славянского языкового континуума в целом и отдельных составляющих его идиомов имеет довольно длительную исследовательскую традицию, восходя к постулатам неолингвистической романской школы (М. Дж. Бартоли и др.).

Говоря о периферии Славии в целом, обычно указывают такие зоны славянского языкового ландшафта, как кашубский этнолект, македонский язык, исчезнувший полабский язык. Занимаясь проблемой локализации лексических архаизмов и инноваций на территории Славии, польская славистка Г. Поповска-Таборска пишет, что к славянской периферии относятся территории, о которых известно, что они были колонизированы славянами в историческое время и, следовательно, составляли периферию первоначального славянского ареала (вопрос, где находится этот ареал, так называемая «прародина» славян, исследовательница в данном случае оставляет в стороне) [Popowska-Taborska 1980; 2004].

Таким образом, к славянской периферии Г. Поповска-Таборска относит всю южную Славию, значительную часть северного и восточного ареала восточной Славии, а также «целые западные области западной Славии» [Popowska-Taborska 1980; 2004: 110]. Справедливо подчеркивая необходимость исторического подхода к выделению славянской периферии и центра, при котором конкретное содержание этих понятий будет различным для тех или иных этапов развития, Г. Поповска-Таборска приводит в качестве примера словенский язык (окруженный в настоящее время с юга другими славянскими диалектами), относя его к давней (*подчеркнуто нами. — Н.А.*) периферии северной Славии, что объясняет наличие ряда лексических кашубско-словенских соответствий [Popowska-Taborska 1988; 2004: 287].

Итак, современная пространственная характеристика той или иной части славянского ареала как периферийной может не совпадать (а может и совпадать!) с ее отношением к дихотомии «центр–периферия» на более ранней ступени исторического развития.

В каждом славянском идиоме также выделяются центральные и периферийные зоны. При этом славянские диалекты могут контактировать как с другими славянскими языками (диалектами), так и с неславянскими идиомами. Примерами таких периферийных областей внутри определенного славянского идиома могут служить, в частности, периферийные польские говоры, возникшие при участии балтийского и восточнославянского языкового компонента на Кресах (восточных границах бывшей Речи Посполитой)[1], периферийные западные македонские говоры, так называемые «ляшские» чешские говоры, периферийные западновеликопольские говоры[2]. Кашубский иди-

---

[1] Само понятие «*kresy*», родственное таким синонимам, как *край*, пол. *kraniec*, *украина*, *рубеж*, болг. *покрайнина* (ср. славянские топонимы *Krajna*, бывшая *Republika Srbska Krajina*, *Украина*), впервые в значении «пограничье, оборонная линия на границе» было употреблено В. Полем в поэме «Mohort», причем относилось именно к восточному пограничью бывшей Речи Посполитой. Несмотря на сохранение такого традиционного употребления, в последнее время дефиниция «kresy» используется и в более широком значении: в качестве синонима любого периферийного региона, находящегося не только в Польше или на бывшей территории польского государства (ср. *kresy zachodnie*), но и в других частях Славии. Так, многоаспектному (политическому, культурологическому, языковому) содержанию понятий «кресов» (или пограничья) в различных частях Славии (и не только ее) была посвящена конференция, состоявшаяся в Институте славистики ПАН в 1996 г., материалы которой опубликованы в [Kresy... 1997].

[2] О связях периферийных западных великопольских говоров (Нове и Старе Крамско, Велька и Мала Подмокля, Домбрувка, Мала Весь) с лужицким ареалом писали К. Нитч, З. Штибер, А. Томашевский, М. Грухманова. Среди черт, находящих источник в лужицких говорах (в том числе в вымерших северных нижнелужицких и юго-восточных нижнелужицких, зафиксированных текстами Мегизера и Якубицы), выделяются в разной степени представленные в вышеуказанных пунктах: а) *фонетические* особенности (ранняя деназализация, обусловленная сильным динамическим характером ударения и обусловившая, в свою очередь, совпадение носовых в одном континуанте ůS, ůNT и -u/-o#; утрата конечных гласных *-u, -o, -y* после *u* неслогового; суженное *o* на месте древнепольск. *ǫ*; отсутствие в Крамсках типичного западновеликопольского понижения артикуляции *u*, отсутствие в Подмоклях дифтонгизации *y* и оппозиции *-'ev/-ov* в Крамсках, сохранение звонкости в абсолютном конце слова и др.; б) *лексико-фонетические* особенности (в частности *důmbok'i* 'głęboki', соотносящееся с н.-луж. *dłymoki* и *dłyboki* в

ом, являясь давней северной периферией всей Славии, развиваясь как составляющая польской диалектной территории, одновременно относится к периферийной части польского языкового континуума.

В условиях межславянского языкового и культурного контакта могут возникать зоны так называемых смешанных и переходных говоров, дифференциация которых не совсем ясна, хотя исследователи пытались выработать ряд критериев, позволяющих различать «смешанный» говор и «переходный» ([Stieber 1938; Małecki 1933; Karaś 1958; Warchoł 1992; Smułkowa 1993] и др.). В некоторых случаях дефиниции «смешанный» и «переходный» исследователи употребляют по отношению к одному и тому же говору. Так, Э. Дзенгель, описывая глагольное и именное словоизменение польского говора д. Зелена (Zielona) на Подолье и отмечая, что этот говор содержит как системные, так и несистемные результаты влияния украинского идиома, считает, что говор Зеленой является одновременно и «смешанным», и «переходным» [Dzięgiel 2001: 15].

Зоны со смешанным населением возникают и при контакте славян с неславянскими народами (например, двуязычное македонское и албанское население на албанско-македонском языковом пограничье, трехъязычные или билингвальные поляки на балто-славянском языковом пограничье и др.). Для таких регионов характерны различные виды координативного и субординативного многоязычия (билингвизм, трехъязычие), представляющие собой разные степени (более высокая — координативная, более низкая субординативная) овладения вторичной или третичной языковыми системами. Так, польские жители д. Гайде (литов. Gaidės) и близлежащих деревень под Игналиной (смолвенский ареал северо-восточной разновидности периферийных польских говоров) в 70-х гг. XX в. все были в определенной степени полилингвами (билингвами или трехъязычными). Двуязычие их имело либо

диалекте Якубицы и др.); в) *словообразовательные* особенности (например, сравнительная степень *dlejšy*, *dl'i* от '*dug'i'*, *dužyk'i* 'długi'); г) *словоизменительные* особенности (флексия 1 л. мн. ч. презенса *-me*; окончания *-yg, -ig / -yx, -ix* в Род. п. ед. ч. мужского и среднего рода прилагательных и местоимений, а также тенденция к отсутствию вокалического элемента и в некоторых других формах; нестяженные формы Род. п. ед. ч. анафорического местоимения женского рода *-jeje, -n'eje*; притяжательные местоимения *iXy, iXa, iXe*; формы 3 л. мн. ч. презенса *xcejo* 'chcą', *muśejo* 'muszą' и др), а также ряд *лексических* соответствий (подробнее см. [Gruchmanowa 1969: 133–153; 2003: 57–70]).

гомогенный характер (польско-русское или польско-белорусское), либо гетерогенный (польско-литовское), а трехъязычие всегда относилось к смешанному гомогенно-гетерогенному типу (польско-русско-литовское). Польско-белорусско-литовский тип трехъязычия нами не был зафиксирован. Наиболее репрезентативными для обследованного региона в 70-е гг. XX в. были следующие типы многоязычия: польско-русское двуязычие с активным владением русским языком (17 из общего числа 77 чел.) и польско-русско-литовское трехъязычие с активным знанием русского языка (16 чел.) или обеих вторичных систем, и русской, и литовской (23 чел.). По всей видимости, воздействие русского языка в настоящее время не является столь мощным, как тридцать лет тому назад. Косвенно на значительную роль русского языка в недавнем прошлом и изменение ситуации в настоящее время указывает запись, сделанная японским исследователем «польщизны кресовой» К. Моритой в Тракайском районе Литвы после 2000 г. В тексте «Rosjanie» («Русские») информант говорит, в частности, следующее:[*Rosjanie*] *ńe brońili* [*rozmawiać po polsku*] / *jak xceš tak gad'aj // tyko o // pšyjз'iš do jix tam / gз'e do užendu čy gз'e nu to ony pu rusku / a my rozum'eli to nam ńic ńe było ružńicy // vot // a ony ńi brońili // jak xceš tak gad'aj // з'ec'i starali s'a juš f školax učyc' štery kl'asy pu pol'sku / a potym juš i rusk'egu jenzyka učyli i litefsk'ego učyli // al'e ńixt'o tam litofsk'ego tego mała kto i vyučył s'a // tyko pu pol'sku i pu rusku // pu rusku to fšystk'e tak'e vo jak vo moj syn to on i teras pu rusku rosp'isuji s'a* [*podpisuje się*] // *vot // tyko rusk'i // fšeńз'i pu rusku była // a teras pu litefsku //* [*teraz*] *fšyc'ko s'e zm'eń*[*i — Н.А.*]*ło / kańečna // kto ńi pšyjз'i / każdy fs'o tyko namav'a i c'ońgńe na svoj i svoj jenzyk i fs'o* [Morita 2007: 118][3]. «[Русские] не запрещали [говорить по-польски], как хочешь, так и говори // только вот // придешь к ним туда // куда-нибудь в учреждение или где они по-русски [говорят] // а мы понимали, для нас не было разницы // вот // а они не запрещали // как ты хочешь, так и говори // детей старались уже в школах учить четыре класса по-польски / а потом уже и русскому языку учили, и литовскому // но никто там, литовскому этому мало кто и научился // только по-польски и по-русски // по-русски это все [знали], вот как мой сын, он и сейчас по-русски расписывается // вот // только русский // везде по-русски было // а сейчас по-литовски // [сейчас] все изменилось /

[3] По причинам технического характера мы ввели вместо знака, соответствующего у К. Мориты i-неслоговому, знак j. Употребляем этот знак и далее, как для обозначения звука j, так и для передачи i-неслогового.

конечно // кто ни придет / каждый все только убеждает и тянет на свой, на свой язык и все».

Предполагаем также, что воздействие государственного литовского языка на современные польские говоры в Литве, вследствие большей отдаленности его от польского по сравнению с русским, не столь активно, каким было влияние последнего, особенно в случае координативного двуязычия, когда индивид одинаково хорошо владеет двумя идиомами (родным диалектом и неродной языковой системой) и умело переключается с одного кода на другой в соответствующих коммуникативных ситуациях. В истории же формирования северо-восточного подтипа периферийного диалекта (и, возможно, в индивидуальных случаях далеко зашедшего двуязычия), когда автохтоны (литовцы и белорусы) овладевали региональным польским языком, имеющим, по всей видимости, ряд общих черт с северомазовецкими говорами, когда формирующееся двуязычие имело субординативный характер (т. е. родная система довлела над приобретаемой и являлась источником интерференций во вторичную систему), роль воздействия литовского и белорусского субстратов была велика, и число балтизмов, как и рутенизмов, в этих образующихся говорах было значительнее, чем в культурной северо-восточной разновидности «польщизны кресовой» (лингвосоциальном подтипе, который генетически предшествовал на данной территории крестьянским польским говорам).

С понятиями «периферии» и «центра» какого-либо языкового ареала тесно связаны понятия «архаизма» и «инновации». Если представители неолингвистической школы с центром языкового (диалектного) ландшафта соотносили инновации, а с его периферией архаизмы, то лингвисты последующих поколений (в том числе слависты) на конкретном материале (как применительно ко всей территории того или иного «праязыка», так и по отношению к отдельным его диалектам) доказывали верность положения неолингвистов о наличии периферийных архаизмов (например, [Milewski 1965] и др.) и опровергали постулат об обязательной связи с центром языковых инноваций, выявляя значительное количество последних в тех или иных периферийных зонах (например, [Stieber 1974], [Popowska-Taborska 1980; 1981_1; 1986; 1988] и др.).

Когда говорят о периферийных архаизмах или инновациях той или иной части славянского языкового континуума, то в первую очередь обращают внимание на фонетические явления, что обусловлено наилучшей степенью разработанности этого уровня в славистическом сравнительно-историческом языкознании. Так, для полабского языка Т. Милевский в свое время выделял такие периферийные архаизмы, как сохранение *g* (не перешедшего в *h*), отсутствие диспалатализации позиционно мягких

согласных перед гласными переднего ряда и совпадения *у* (≤ *ū) с *i*, дифтонгизация *у* после губных, широкое произношение континуанта *ě, сохранение носовых гласных, отсутствие метатезы в **tort* [Milewski 1966]. Г.Поповска-Тоборска добавляет к этим признакам фонетико-словообразовательный архаизм: наличие в полабском агентивного суффикса *-ika* [Popowska-Taborska 1981_1; 2004: 103].

Сохранение неметатизированного **tort* известно не только полабскому, но также северным лехитам (кашубам — о других кашубских архаизмах см. ниже) и южноболгарским говорам (ср. сев.-каш. *karvinc* «коровий навоз», *starnev* «камбала», *varna* «ворона», топонимы *Karwia*, *Starogard* и др.). Периферийное положение способствовало устойчивости в западных македонских говорах аффрикат *dz*, *dz'* (результаты II и III палатализаций), а у полабских славян — *dż*.

Выход многочисленных работ по славянской лексике, этимологических словарей отдельных славянских языков (полабского, кашубского и др.) и особенно продолжающееся издание «Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лексический фонд», исходящего из идей о «древней диалектной сложности славянства в области лексики и словообразования» и «автономности праславянского состояния словарных составов отдельных славянских языков и диалектов» [ЭССЯ 1974/1: 3], и лексических томов «Общеславянского лингвистического атласа» позволяет исследователям выявлять периферийные архаизмы и в области общеславянской лексики (как непроизводной, так и дериватов). В частности, в работах Г.Поповской-Таборской обращено внимание на такие периферийные архаизмы, как лехитский архаизм *jesiory*, *osiory* (полаб. *jeserâj*, каш.-словин. *jesorə* «рыбьи кости»), находящий соответствие в балтийских языках (название окуня) [Popowska-Taborska 1981_2; 1981_1; 2004: 101], полабско-кашубско-полесское название «крота» (полаб. *tücajka*, каш. *točk*, полес. *točka*), полабско-лужицкий (и польск. диалектный) континуант формы **prętro* (в отличие от **pętro*), полабско-лужицко-кашубскую (сев.-каш. и юго-зап.каш.) номинацию деревянной части колеса (полаб. *zvenü*, каш. *zv'ono*, н.-луж. *zw'eno*, в.-луж. *zwjeno*), уникальный полабский архаизм *gnevoj* «утолщение в гнилом мясе», полабско-кашубское наименование «корма», находящее соответствия в южнославянской периферии (полаб. *xornə* «корм», *xornět* «кормить», словин. *xarna* «корм для скота», каш. *xarna* «плохой корм для скота») и др. [Popowska-Taborska 1981_1; 2004: 104–107].

В.Борысь в написанном совместно с Г.Поповской-Таборской труде, посвященном кашубской лексике на славянском фоне, выделяет ряд лексических кашубских диалектизмов праславянского происхождения, не

находящих соответствия в других польских говорах, но известных другим славянским зонам [Popowska-Taborska, Boryś 1996: 168–199].

То, что периферийное положение определенного славянского диалекта (языка) не только способствовало сохранению в нем архаизмов, но и не препятствовало проявлению инновационных тенденций, убедительно показано Г.Поповской-Таборской при анализе локализации архаизмов и инноваций на польской языковой территории. Опираясь на материал «Атласа польских диалектных инноваций» К.Дейны [Dejna 1981], исследовательница выделяет как значительное число архаизмов, располагающихся на периферии польского диалектного континуума, так и большое количество инноваций, имеющих также периферийную локализацию. Из 18 периферийных архаизмов фонетического, лексико-фонетического и словообразовательного характера 5 отмечены только в кашубских говорах, отсутствуя в других периферийных зонах польского ареала, но одновременно находя соответствие на соседней территории северо-западной Славии (кроме вышеуказанного отсутствия метатезы в **tort*, это **tołt* < **telt*, сохранение мягкости перед *'ar* ≤ *ŕ$_o$T* типа *cv'ard'i* «twardy», сохранение подвижного ударения в северокашубских говорах, сохранение субстантивного суффикса *-išče-* в отличие от позднейшего *-isko*), а остальные 13 локализуются в различных участках польской периферии, хотя большинство их также представлено в «кашубщине». Приведем один пример из числа подобных архаизмов: инициальное ударение, характерное для южнокашубских и гуральских малопольских говоров.

Одновременно в периферийной кашубской зоне удалось выявить и ряд инноваций. При этом выделяются 2 типа кашубских инноваций: 1) противопоставленные архаизмам остальной части польского языкового континуума (смешение **l'$_o$* и *l$_o$* (≥ *åł*); переход *з* ≥ *z*, вокалическая вставка перед или после сонорного согласного — *brëv'å* или *bërv'å*, исчезновение беглого *e* в существительных с суффиксами *-ek*, *-ec* — типа *domk*); 2) противопоставленные другим инновациям остальной части польского ареала (ср. кашубское «шва» из *ĭ, ў, ŭ*, которому соответствуют *i, y, u* в остальных польских диалектах, «кашубение», т.е. отвердение *ś, ź, ć, dź* и наличие этого палатального ряда на остальной части польского ареала). Г.Поповска-Таборска приводит примеры периферийных инноваций, зафиксированных и в других частях польской языковой территории.

Отрицая наличие «центральных архаизмов» и, напротив, не оспаривая существования «центральных инноваций» (относя к таковым, в частности, мазурение и замену инфинитивного *-eć* на *'ić / -yć*), Г.Поповска-Таборска тем не менее замечает, что выделить центральные иннова-

ции не так уж просто, что это «значительно более сложная проблема, чем ее привыкли представлять» [Popowska-Taborska 1986: 276].

Инновации могли развиться как:

а) имманентное явление (ср. макед. *ъ ≥ *о* и *ь ≥ *е*, зап.-макед. протеза *j* перед континуантом **о*-носового при вост.-макед. *в* и др.);

б) в результате контакта с неславянскими языками (например, под влиянием неславянских балканских языков в македонском, наряду с болгарским и некоторыми говорами сербохорватского языка, развились такие инновации, как утрата синтетического типа склонения и переход к аналитическим конструкциям, развитие категории определенности, выражаемой членными морфемами, замена инфинитива *да*-конструкциями и др., объединяющие эти языки с албанским, новогреческим и румынским с его диалектами и составляющие общеизвестную лингвистическую характеристику балканского языкового союза);

в) в результате контакта с инославянскими языками (например, в северомакедонских говорах при контакте с сербохорватским языком — ср. наличие *а* на месте *ъ и *ь, |*u*| и |*a*| как континуанты **о*-носового и др.; в западновеликопольских говорах при контакте с лужицкими диалектами).

Контакт (как межславянский, так и с неславянским населением) мог благоприятствовать сохранению определенного архаического явления в том или ином славянском идиоме. Например, предполагают, что сохранению такого полабского архаизма, как дифтонгическое произношение *у* после губных, способствовало соответствующее явление в немецком языке [Popowska-Taborska 1981_1; 2004: 103].

Ряд периферийных архаизмов, характерных для польских восточных периферийных говоров, также находит соответствие в контактирующих (контактировавших) с этими говорами восточнославянских языках (белорусском, украинском, русском). Например, наличие флексии *-m* в 1 л. мн.ч. презенса *е-* и *i-* спряжений, форма Мест.ед.ч. *w Polszcze*. Естественно, что в этих говорах, занимающих периферийное положение в диалектном польском ареале, представлены и периферийные архаизмы, не соотносящиеся с формами языков-контакторов. Примеры подобных архаизмов, зафиксированных в северо-восточном подтипе польских периферийных говоров:

1) лексикализованное субстантивное окончание Вин.п.ед.ч. ж.р. *-о*, репрезентированное лексемой *mša* «msza» (*ida na mšo* «idę na mszę»); наличие *-о* — следствие прежней долготы носового в Вин.п.ед.ч., обусловленной былой долготой *-а* в Им.п.ед.ч. (т.е. *o* ≤ *ǫ* ≤ *ǫ*:[4]); в ли-

[4] Долгота обозначается знаком : (двоеточие) после гласного.

тературном польском языке (далее ЛПЯ) аналогичный архаизм лексикализован в слове *pani* (*panią*)[5];

2) единичные формы Им.мн. типа *kot'i, v'il'cy, Pol'acy*, не выражающие ни семантики одушевленности, ни мужского лица, а являющиеся архаическими формами, восходящими к старым **ŏ*-основам и сохранившимися со времен формирования так и не доформировавшейся до конца категории «мужеско-анимального» рода (пол. rodzaj męsko-zwierzęcy).

Естественно, что вышеуказанные архаизмы — это архаизмы нового времени, иной степени глубины, нежели периферийные архаизмы старых племенных диалектов (например, кашубские). Архаизмами мы их считаем, сопоставляя с соответствующими изменениями ЛПЯ.

Столкновение двух и более языков, как отмечали исследователи еще в XIX в., приводит к упрощению грамматики. Ср. отсутствие в северо-восточной ареальной разновидности периферийных польских говоров категории среднего рода[6], вытеснение синтетических форм претерита анали-

---

[5] Обычным системным окончанием в Вин.п.ед.ч. существительных женского рода на *-a* в северо-восточном подтипе крестьянских периферийных говоров является флексия *-a*. О повсеместности этого окончания свидетельствует фиксация подобных форм в разных регионах Литвы, Латвии, Белоруссии, а также у сибирских переселенцев, говор которых генетически связан с северо-восточными Кресами (д.Белосток под Томском). Ср. в записях К.Мориты в районе Тракая (Литва): *vyb'era* ***xustečka*** *nosova* — Троки, ***p'es'n'a*** *nas naučyl'i, s'p'eval'i* ***p'es'n'a*** — Старые Троки, *f* ***subota*** — Свентники, *f* ***strona***, *f tamta* ***strona*** — Старые Троки, *jak n'em'ec puš'et na* ***pol'ska*** — Свентники, *jiз'im na* ***mša*** — Старые Троки, *udebrał* ***z'em'a*** *svoja* — Свентники, *rusk'e zabral'i* ***z'em'a*** [Morita 2006: 116, 117, 118, 119]; *f ten čas f* ***škoła*** *bral'i ž d'ev'at'i l'at, rok jez'd'iła na* ***Ukrajna***, *tože* ***kuc'a*** *rub'il'i posna* — д.Белосток, Томская область.

Данная особенность северо-восточного подтипа «польщизны кресовой», не характерная для юго-восточных периферийных говоров, широко представлена в художественной литературе, отражающей особенности польского «кресового» диалекта северо-восточной разновидности. Ср. у М.Ваньковича в главе «Po Kresach» в книге «Ziele na kraterze» («Трава на кратере»): *w ta pora odkryli ta* ***wystawa***, *był* ***gęba*** *wytarłszy, sąsiad mój jeden zmyślił* ***wystawa*** *rolnicza w Podbrzeziu robić* [Wańkowicz 1993: 160–161].

[6] Отметим, что не все диалектологи соглашаются с этим впервые установленным Г.Турской фактом. Б.Двилевич пишет о том, что в ее родной д.Буйвидзы и в других регионах Виленщины у крестьян представлено «ослабление позиции среднего рода», «большее или меньшее колебание (пол.chwiejność) среднего рода» [Dwilewicz 1997: 37–38]. Свой тезис исследовательница мотивирует отсутствием в

говорах такого состояния, чтобы «вся парадигма среднего рода совпала с парадигмой женского рода» [Ibid.: 39]. На наш взгляд, достаточно совпадения Им.п.ед.ч. (причем с определителями по женскому роду). Приводимые Б.Двилевич примеры со сверхправильным *-o* в Им.п.ед.ч. *mšo* 'msza', *wełno* 'wełna' как раз свидетельствуют об обычном наличии в говоре *-a* в Им.-Вин.п.ед.ч. слов типа *jajka, pola*. Но еще более существенным является сочетание определения женского рода с односложными словами с ударным *-o* (*ta škło, ta dno*), употребление в качестве заменителя подобных субстантивов местоимения ona, а подчас и прямое указание информанта на женский род существительного (ср.: *ta žn'iva — žensk'i rot* — запись в д.Гайде Игналинского района Литвы). Эксперимент, стимулирующий замену существительного общепольского среднего рода дейктическим словом, неоднократно проводился нами как на территории виленских говоров, так и в смолвенском ареале (об ареалах польских говоров северо-восточного подтипа см. [Turska 1982]). Сочетание в одной парадигме слов типа *ta jajka // jajko, ta pola // pole, ta dno* флексий по женскому и мужскому роду позволяет с точки зрения внутрисистемных отношений в диалекте интерпретировать эту парадигму как парадигму контаминационного (смешанного) характера, в то время как парадигмы существительных женского рода на *-a* и мужского рода с нулевой флексией Им.п.ед.ч. рассматриваются как основные (подробнее [Ананьева 1978]). В какой-то степени наша позиция соотносима с точкой зрения Л.И.Масленниковой, которая, анализируя специфику категории рода в д.Арненай (пол. Orniany) на Виленщине и отмечая, что существительные, «которые квалифицируются в литературном языке как существительные среднего рода, в исследуемом говоре не имеют ни одной падежной флексии [*подчеркнуто нами. — Н.А.*], которая отличалась бы от соответствующих флексий мужского или женского рода», употребляет по отношению к таким существительным понятие «смешанный род» [Масленникова 1994: 132]. Однако в эту категорию Л.И.Масленникова включает также и другие слова, соотносящиеся с существительными мужского или женского рода ЛПЯ, которые в говоре имеют как маскулинные, так и феминативные морфологические показатели. Тем не менее основу «смешанного рода» (не-мужского и не-женского) составляют неодушевленные субстантивы, соотносящиеся с существительными среднего рода ЛПЯ. Общетеоретический характер имеет заключающее статью Л.И.Масленниковой предположение о начале нивелирования родовых значений и представление о категории смешанного рода у неодушевленных существительных как промежуточной фазе в перестройке родовой системы говора: на основе оппозиции «одушевленный (мужской и женский род) ~ неодушевленный».

С другой стороны, то обстоятельство, на которое указывает Б.Двилевич, что «в последнее время позиция среднего рода становится более сильной, в связи с усилением престижа польского языка и ростом национального самосознания литовских поляков» [Dwilewicz 1997: 38], относится к взаимодействию говора с

тическими, отсутствие кратких форм личных и лично-указательных местоимений и др. Любопытно, что при функционировании западнославянского диалекта в окружении восточнославянских идиомов и при функционировании восточнославянского диалекта в западнославянском окружении нередко конвергируются аналогичные компоненты системы. Так, в лемковских говорах украинского языка при контакте с польским и восточнословацким идиомами установилась паракситонеза, фиксируется среднеязычный ряд *ś, ź, ć, dź*, субстантивное окончание Дат.мн. *-om* и др. [Stieber 1936: 45–50; 1974: 474–479], а в восточных периферийных польских говорах под влиянием восточнославянских идиомов представлены морфологизированные результаты окситонезы (в 2 л.ед.ч. императива, компаративе наречий и др.), отсутствие ряда *ś, ź, ć, dź*, окончание существительных в Дат.мн.ч. *-am* (*babam, з'ес'am, l'из'am, krovam*) и др.

Тем не менее не следует абсолютизировать указанную тенденцию к «упрощению». Например, упрощение в двухродовую систему за счет отсутствия категории среднего рода в северо-восточном периферийном польском диалекте в то же время усложняет парадигматику, увеличивая число формантов (показателей формы, состоящих из основных морфологических признаков — флексий и вторичных морфонологических средств — альтернантов). При этом возрастает и степень вариативности изофункциональных формантов (ср. при *ta dno* — Род.ед *tej dny // tego dna* и т. д.).

На примере представленных в двух ареальных разновидностях восточных периферийных польских говоров словоизменительных парадигм субстантивов, которым в ЛПЯ соответствуют существительные среднего рода, проанализируем явление поливариантности изофункциональных форм, характерное для этих говоров. Одновременно сопоставление фрагмента словоизменительной субстантивной системы кресовых говоров юго-восточного подтипа и северо-восточной разновидности представляет собой очередной этап в подготовке конфронтативной грамматики двух территориальных подтипов «польщизны кресовой», на необходимость создания которой мы обращали внимание на XII Международном съезде славистов [Ананьева 1998].

На Таблице 1 представлена смешанная (контаминационная) деклинационная парадигма существительных, соответствующих субстантивам среднего рода ЛПЯ, функционирующая в части говоров северо-восточного подтипа (смолвенских говорах на территории Литвы и Белоруссии и в виленском ареале на территории Литвы).

ЛПЯ, воздействию последнего на диалект, а не к имманентным, внутрисистемным процессам.

Таблица 1

Падеж	**Твердая разновидность**		**Мягкая разновидность**		**С задненебной финалью основы**	
	Ед. ч.	Мн. ч.	Ед. ч.	Мн. ч.	Ед.ч.	Мн.ч.
Им.	*-a*: *ta škła, stada, b'odra* *-o*: *ta dno, stado, škło*	*-y*: *v'adry* *-a**: *nas'ona*	*-a*: *ta pol'a, zboža, moja vesel'a, serca, m'ejsca, ta zdjen'c'a* *-e*: *serce, słonce*	*-i* (*-'y*): *pol'i, sercy*	*-a*: *jajka, japka* *-o* (*-u*): *jajko, jajku, japko*	*-i*: *jajk'i, japk'i*
Род.	*-y*: *do v'adry, s tej błoty, b'odry* *-a*: *b'odra, c'asta, m'ensa*	*-of, -uf*: *žebruf, v'osłuf* *-ø*: *v'osel, šydel*	*-i* (*-'y*): *tej pol'i, m'ejscy* *-a*: *pol'a*	*-of, uf*: *zdjen't'uf* *-ø*: *pol'* *-i*: *zdjen't'i* *-ej**: *pol'ej*	*-i*: *jajk'i, japk'i* *-a*: *japka, jajka*	*-of, -uf*: *japkuf, jajkuf*
Дат.		*-am*: *žebram*	–	*-am*	–	*-am*
Вин.	= Им.		= Им.		= Им.	
Твор.	*-o* (*-u*): *z v'adro, z v'adru* *-em* (*-e^{a}m, -a, -e^{y}m*): *t'astem* *-oj**: *s pal'toj*	*-am'i*: *žebram'i* *-amy**: *v'osłamy*	*-o* (*-u*) *-em* (*-e^{a}m*)	*-am'i*	*-em* (*-e^{i}m, -im*): *jajk'e^{i}m, japk'em*	*-am'i*
Местн.	*-e* (*-e^{a}, -a*): *f c'est'e^{a}, na dn'e*	*-ax*: *v'osłax*	*-u*: *zbožu, vesel'u, na słoncu* *-i* (*-'y*): *f pol'i, f sercy*	*-ax*	*-u*: *v japku*	*-ax*

Комментарии к Таблице 1

1. Звездочкой в таблице помечены малочастотные и единичные флексии различного происхождения. Например, окончание *-oj* в Твор.ед. и *-ej* в Род.мн. мягкой разновидности (*s pal'toj, pol'ej*) — следствие влияния русского языка. Флексию *-amy* (с твердостью *m*) в Твор.мн. (*v'osłamy*) можно интерпретировать либо как северомазовецкое «родимое пятно» диалекта, либо как морфологизированный «гиперкорректизм», объясняющийся отсутствием в первичной системе полонизировавшихся автохтонов-литовцев гласного *y* (ср. подобную морфологизацию *i*, соответствующего *y* ЛПЯ, в составе флексии 1 л.мн.ч. презенса *-am* и *-em* спряжений: *gadam'i, v'em'i* и т. п.).
2. Для неодушевленных существительных, соответствующих существительным среднего рода ЛПЯ, не зафиксировано форм Дат.ед. Впрочем, и для одушевленных существительных эта падежная форма фиксируется довольно редко, поскольку прототипический глагол, управляющий в ЛПЯ дательным падежом, а именно глагол *dać*, употребляется в северо-восто́чном подтипе «польщизны кресовой» с предложно-падежной конструкцией *dla kogo* (*dac' karm dl'a krovy, dl'a žyv'oły* и т.д).

   Единственное существительное, обозначающее живое существо и соотносящееся с субстантивом среднего рода ЛПЯ, это слово *з'ecko*, которое, как и в юго-восточном подтипе кресового диалекта, имеет специфические флексии в парадигме множественного числа, присоединяющиеся к основе *з'ec'*- (Им.-Вин.-Род.мн. *з'ec'i*, Дат. *з'ec'am*). О совпадении и различии в некоторых плюративных формах данной лексемы между двумя территориальными вариантами «польщизны кресовой» см. в комментарии к Таблице 2б.
3. Из Таблицы 1 явствует, что вследствие функционирования в одной контаминационной парадигме флексий, восходящих с синхронной точки зрения к двум основным деклинационным типам, в ряде падежных форм представлены изофункциональные окончания. Максимальное число вариантов зафиксировано для Род.мн. мягкой разновидности (5), по 3 варианта отмечено в Твор.ед. твердой разновидности и Род.мн. твердой разновидности. В остальных случаях фиксации изофункциональных флексий представлено по 2 варианта (разнообразие фонетических реализаций, некоторые из которых приведены в круглых скобках, в данном случае элиминируется).
4. Примеры отдельных форм, зафиксированные другими исследователями:

Буйвидзы (Виленщина):

Им. ед. *ta sv'atła, jinteresna з'ec'instva* (твердая разновидность); *ta s'eзen'a, naša vystom'p'en'a, ta serca naval'ila, vesel'a była, jakas' podan'a* (мягкая разновидность); *zlota japka, jedna b'ałka* (на задненебный); при этом отмечаются также редкие формы Им. ед. на *-o* и *-e* (и даже с определениями *to, moje, takie*, что, на наш взгляд, относится к влиянию ЛПЯ): *moje vesel'e, k'il'o cukru, m'eškan'e, tak'e dževo, to з'ecko.*

Род. ед.: *do c'asta, s tego błota, ot pšemenčen'a, zboža, m'ęsa, v'ina // do v'adry połoš, on rad'ji barзo sluxa*;

Вин. ед.: *f ta c'epła m'ejsca*;

Твор. ед. *s pov'idłam*;

Местн. ед. *po Taз'uka vesel'u*;

Им. мн.: *-a*: *dva l'ata, vesel'a, sv'enta*; *-i/y*: *dva l'aty, čšy l'aty, ušk'i*;

Вин. мн.: *te jez'ora*; *-y*: *zdjel'i koły z «Volg'i»*; *okny škl'il* [Dwilewicz 1997: 36].

Тракайский район:

Им. ед. *a zboža ta tan:a* Свентники, *pol'ska v'il'na była tut* Ст. Троки; *taka g'eta* "getto» Ст. Троки;

Вин. ед. *zboža tam puз''ac' n'e ma gз'e* — Свентники;

Им. мн. *te gumny* — Свентники;

Вин. мн. *g'ety* 'getta' *purob'one* — Ст. Троки [Morita 2006: 116, 117, 118].

В юго-восточном подтипе польских периферийных говоров, в котором представлена категория среднего рода, разнообразие морфологических показателей в парадигме неодушевленных субстантивов ср.р. меньшее, чем в северо-восточном подтипе, хотя фонетическая реализация флексий, обусловленная разной степенью качественной редукции безударных гласных неверхнего подъема («уканье» и «иканье»), также отличается поливариантностью. В Таблицах 2а и 2б обобщен материал, собранный нами в с. Озерное и Степное в Казахстане (переселенческие говоры с Украины) и на Подолье (с. Шаровечка и Матьковцы под Хмельницким). Материал в целом совпадает с данными Э.Дзенгель по д.Зелена (Zielona) на Подолье. Наш материал представлен в двух таблицах (а — для неодушевленных существительных ср.р., б — для одушевленных), поскольку в этих говорах, в отличие от северо-восточного подтипа, значительное место занимают одушевленные существительные среднего рода, обозначающие живые невзрослые существа («детенышей»), в то время как в польских говорах на территории Литвы и Белоруссии для номинации подобных существ используются существительные мужского рода с суффиксом *-uk*: *kurč'uk, žreb'uk, ptaš'uk* и под. Фактически, как мы уже выше отметили, только одно слово, соответствующее существительному среднего рода ЛПЯ, называет в северо-восточном подтипе «польщизны кресовой» живое существо (*dziecko*).

Таблица 2а

Падеж	Твердая разновидность		Мягкая разновидность		С задненебной финалью основы	
	Ед. ч.	Мн. ч.	Ед. ч.	Мн. ч.	Ед. ч.	Мн. ч.
Им.	*-o (-o, -u): šydło, skšydło, žy^{e}to, stado, błoto, ml'iko, žondłu, prosu*	*-a: z'il'ony s'v'enta, płutna* *e*: dv'e dn'e*	*-e (-i): čytan'i, moji vesel'i, Bože Narozen'e, moji žyt'i, serce^{y}*	*-a: zdjen't'a*	*-o (-u): uxo, łuško, vuk'enku, jajku*	*-a: łuška, japka* *-i*: zdjen't'i moji* *-y*: dv'e ušy*
Род.	*-a: s''ana, du vokna, dževa*	*-uf: s''v'entuf* *-ø: dv'e kol'an, s''v'ont, s p'jur, dva słuf*	*-a: starčy gadan'a, s''p'ivan'a*	*-uf: imjuf* *-ø: jaj*	*-a: japka* *-i: japk'i*	*-uf: dl'a vočuf, dva łuškuf* *-ø: z ux, jajik*
Дат.	–	–	–	–	–	–
Вин.	= Им.		= Им.		= Им.	
Твор.	*-em (-ym, -e^{y}m): mydłym, pjurem, pud voknem* *-om*: pjurom, vapnom*	*-am'i: pjuram'i*	*-em (-im): čytan'im, žyt'im*	*-am'i: zdjen'c'am'i*	*-em (-e^{j}m, -im): japk'im, jajk'im*	*-am'i: japkam'i*
Местн.	*-e (-i, -y): f s'ol'e, f koryt'i, na n'eb'i, na dn'e, v v'adžy, v gn'ez'd'i, na čol'e*	*-ax: f kurytax*	*-u: na tym vesel'u, na mojim žyt'u, v možu, v zbožu*	*-ax: na vesel'ax*	*-u: v jajku, f pravym uxu*	*-ax: v uxax*

Комментарий к Таблице 2а

1. Форм Дат.п. для неодушевленных существительных среднего рода не отмечено. Ср. подобное отсутствие форм Дат. п. для неодушевленных существительных среднего рода в материалах Э. Дзенгель [Dzięgiel 2001: 72].
2. Наличие редкого окончания *-om* в Твор. п. ед. ч. (*pjurom*) — следствие контакта с восточнославянскими идиомами.
3. В отдельных случаях и в юго-восточном подтипе (в частности, в «польщизне казахской») отмечаются формы по женскому роду у существительных, относящихся в ЛПЯ к среднему роду. Ср.: *zd'jen'c'i moji, dv'e koryty, dv'e uxy, dževy*. Однако это, в отличие от говоров Литвы и Белоруссии, не означает отсутствия категории среднего рода. Ср. подобное несоответствие родовой квалификации между диалектным и литературным вариантами в других словоизменительных типах: *bomka/bonka* 'лит. *bąk*', *f t'onžu xod'i* 'лит. *w ciąży*', *tuaš/ tvaš — na tvažu* 'лит. *na twarzy*' (записи из с. Озерное).
4. В обследованных нами польских говорах Украины и Казахстана отмечаются с числительным 2 архаические формы дуалиса (*dv'e dn'e, dv'e ušy*). Ср. то же, но в большем объеме демонстрирует материал Э.Дзенгель в Зеленой. Исследовательница указывает на употребление форм двойственного числа с числительными 2–4, но для среднего рода приводит только примеры с 2 (dv'e): *dv'e džev'i, dv'e okn'i, dv'e pol'i, dv'e v'adžy* [Dzięgiel 2001: 95]. Однако более частотным, как и для существительных женского рода, является употребление с числительными 2–4 форм Род. п. мн. ч.: *dv'e jajik, dv'e skšydeł, dv'e jabłok, dva oknuf, dva łuškuf, dva słuf* и *dv'e nuk, dv'e roŋk, tšy goз'in, čtyᵉry goз'in, tšy kob'et, štyry doček* и т. д. То же отмечает Э. Дзенгель для д.Зелена, приведя значительное число примеров существительных среднего и женского рода в Род. мн. с числительными *dv'e, čšy, štyry//štery* [Dzięgiel 2001: 99–100]. Указанные формы характерны для говоров восточного пограничья. Подробнее о географии этих форм [Ананьева 1983: 44–45]. Наличие параллельных форм Род.мн., Им.мн. и более редких форм Им.двойств. с числительными 2–4 в юго-восточных периферийных польских говорах — также пример поливариантного выражения тождественного содержания.
5. О представленности категории среднего рода в других говорах юго-восточной периферии свидетельствуют, например, записи И. Цехош в Грудке Подольском под Каменец-Подольским. Ср. И.ед.ср.р.:

nasze państfo *zabron'iło rozmawyac' po pol'ski;* ***Bože Narodzeni; ine nabožeństwo*** и др. [Cechosz 1996: 293, 294].

Таблица 2б

Падеж	Единственное число		Множественное число	
	с расширением основы	без расширения основы	с расширением основы	без расширения основы
Им.	*-e(-i): jedno łoše, t'el'i moje, jagn'e*	*-o (-u): łošontku, to t'el'ontko, moje t'el'enku, jegn'ontko, kurčentku, kurčontko*	*-a: jagn'enta, zv'eženta, kurčenta*	*-a: kurčontka*
Род.	*-a: kurčen't'a*	*-a: lošontka*	*-ø: d'efčent* *-uf: d'efčentuf*	*-ø: kurčontek* *-uf: kurčontkuf*
Дат.	*-u: t'el'en't'u*	*-ov'i: mojemu t'el'enkov'i*	*-am: kurčentam*	*-am: kurčont-kam*
Вин.	= Им.		= Им./= Род.	
Твор.	*-em (-im): łošen't'im*	*-em (-im): łošontk'im*	*-am'i: kur-čentam'i*	*-am'i: kur-čentkam'i*
Местн.	*-u: na t'el'en't'u*	*-u: o t'el'ontku*	*-ax: kurčentax*	*-ax: kur-čentkax*

Комментарий к Таблице 2б

1. Наличие формы Дат.-Местн. на *-ov'i* — характерное отличие юго-восточных периферийных говоров от северо-восточных, связанное с контактами с украинским идиомом. Эти формы еще в большей степени характерны для одушевленных существительных мужского рода (как с нулевой флексией, так и оканчивающихся на *-o/-u* в Им.п.ед.ч.). Ср. формы Дат.п.ед.ч.: *psov'i,* (литер. *psu*), *bratov'i* (литер. *bratu*), *tatov'i, d'adunkov'i, d'adov'i.* Реже отмечается в Мест.п.ед.ч. сущ.м.р. неодушевленных: *v l'onov'i,* 'литер. *len*' (с сохранением вокалической огласовки корня во всех членах парадигмы: Род. *l'onu,* Мест. *v l'on'e*) (все примеры из говора с. Озерное в Казахстане).
2. В связи с выраженностью, хотя и непоследовательной, категории одушевленности во множественном числе во всех родовых типах

(влияние восточнославянских языков) Вин. мн. в одушевленных существительных среднего рода может совпадать с Род. мн. Наличие изофункциональных форм Вин. мн. = Им. мн. и Вин. мн. = Род. мн. — показатель вариативности репрезентации в диалекте категории одушевленности. Нестабильность проявления в плюративных формах Вин. п. категории одушевленности характерна также для сущ. ж. р. в северо-восточном подтипе крестьянских периферийных говоров, в отличие от одушевленных сущ. м. р., у которых в обеих территориальных разновидностях в функции Вин. п. мн. ч. употребляется Род. мн. (последовательное выражение категории одушевленности–неодушевленности).

3. В Таблицу 2б, как и в Таблицу 1, не включены флексии одушевленного существительного среднего рода *dziecko*, имеющего специфические окончания в парадигме множественного числа. Формы плюратива в целом совпадают в обеих территориальных разновидностях «польщизны кресовой». Ср.: Дат. мн. *зес'am* Озерное, *był kumem tym dz'iec'am* Грудок Подольски [Cechosz 1996: 295], *з'ес'am* Зелена [Dzięgiel 2001: 71]. Возможно, что в северо-восточном подтипе в этой лексеме чаще функционирует системная флексия Твор. мн. *-am'i*. Ср.: *z з'ecam'i* д. Липлюны (Lipluny) на Ковенщине [Język polski na Kowieńszczyźnie 2001: 55], а также *z d'et'am'i* в сибирской д. Белосток (переселенцы с Гродненщины) (подробнее о говоре этого пункта см. [Ananjewa 2006]). Ср. также соотносящуюся с *dziecko* формацию *dzieciątko*, употребляемую по отношению к младенцу Христу (*wu mnie jest Dz'ec'ontko Jezus tyl'ku pobiti* Грудок Подольски [Cechosz 1996: 294]).

Итак, на территории современной Славии представлены разнообразные по времени возникновения и форме проявления результаты межславянских контактов и взаимодействия славян с неславянскими народами. Говоря о центральных и периферийных зонах Славии, следует дифференцировать периферийные архаизмы, сохранившиеся со времен глубокой древности, и архаизмы исторического времени. Только со второго рода архаизмами мы имеем дело в таких «новообразованиях», как кресовые восточные польские говоры.

В последнее время предпринимаются попытки включить ту разновидность польского языка, которая функционировала в Великом княжестве Литовском (и наследником которой является северо-восточный подтип крестьянских периферийных польских говоров), наряду с белорусским языком, некоторыми русскими диалектами и бал-

тийскими языками, в так называемый «циркумбалтийский языковой союз» [Иванов 2003; Иванов 2004]. По всей видимости, такой подход углубит наше представление о природе ряда черт восточного периферийного польского диалекта (в частности, широкого характера произношения безударного е, находящего соответствие как в белорусском яканье, так и в наличии широких *е*-образных гласных в литовском и латышском языках). Вероятно, источником ряда особенностей этого языкового союза являются балтийские языки, которые при утрате многих балтийских диалектов «внешнего пояса балтийского ареала» [Топоров, 1990: 64] репрезентированы современными восточнобалтийскими (или, по В. Н. Топорову, относящимися к «внутренней зоне» балтийского ареала) идиомами: литовским, латышским и латгальским языками.

ЛИТЕРАТУРА

Ананьева 1978 — *Ананьева Н. Е.* Деклинационные типы субстантивов в одном периферийном польском говоре // Славянская филология. Сб. статей / Под ред. А. Г. Широковой и Е. З. Цыбенко. Вып. X. М., 1978. С. 53–72.

Ананьева 1983 — *Ананьева Н. Е.* К вопросу о диалектной принадлежности двух сел на территории УССР // Studia nad polszczyzną kresową. T. II / Pod red. J. Riegera i W. Werenicza. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1983. S. 31–47.

Ананьева 1998 — *Ананьева Н. Е.* Некоторые итоги и перспективы изучения польского периферийного диалекта. Конфронтативная грамматика двух его разновидностей. Словарь. Атлас // Научные доклады филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Выпуск 3. К XII Международному съезду славистов в Кракове 27 августа — 3 сентября 1998 года. М., 1998. С. 3–22.

Видоески 2000 — *Видоески Б.* Дијалектна диференцијација на македонскиот јазик // *Видоески Б.* Текстови од дијалектите на македонскиот јазик. Скопје, 2000. С. 13–42.

Иванов 2003 — *Иванов Вяч. Вс.* Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого княжества Литовского // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М., 2003. С. 258–288.

Иванов 2004 — *Иванов Вяч. Вс.* «По-просту»: языки Великого княжества Литовского // *Иванов Вяч. Вс.* Лингвистика третьего тысячелетия. Вопросы к будущему. М., 2004. С. 101–105.

Масленникова 1994 — *Масленникова Л. И.* Специфика категории рода в польском говоре на территории Литвы (в сопоставлении с литературным

языком) // Studia nad polszczyzną kresową / Pod red. J.Riegera. T. VII. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1994. S. 129–139.

Топоров 1990 — *Топоров В.Н.* Балтийские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 64–65.

ЭССЯ 1974/1 — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1 (А — *besědьlivъ) / Под ред. чл.-кор. АН СССР О.Н.Трубачева. М., 1974.

Ananjewa 2006 — *Ananjewa N.* Zróżnicowanie pokoleniowe polskich gwar kresowych (wybrane zagadnienia) // Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi. Poznań, 2006. S. 93–98.

Cechosz 1996 — *Cechosz I.* Teksty gwarowe z Gródka Podolskiego z komentarzem językowym // Język polski dawnych Kresów Wschodnich / Pod red. J.Riegera. T. 1. S. 289–296.

Dejna 1981 —*Dejna K.* Atlas polskich innowacji dialektalnych. Warszawa; Łódź, 1981.

Dwilewicz 1997 — *Dwilewicz B.* Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie. Warszawa, 1997.

Dzięgiel 2001 — *Dzięgiel E.* Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna. Kraków, 2001.

Gruchmanowa 1969; 2003 — *Gruchmanowa M.* Związki z Łużycami // *Gruchmanowa M.* Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w województwie zielonogórskim. Zielona Góra, 1969. S. 133–153. Перепечатано в: *Gruchmanowa M.* Gwary w ojczyźnie i na obczyźnie. Studia. Poznań, 2003. S. 57–70.

Język polski na Koweńszczyźnie 2001 — Język polski na Koweńszczyźnie. Historia. Sytuacja socjolingwistyczna. Cechy językowe. Teksty / Pod red. H.Karaś. Warszawa; Wilno, 2001.

Karaś 1958 — *Karaś M.* Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych. Język Polski XXXVIII, 1958. S. 286–295.

Kresy... 1997 — Kresy — pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów / Pod red. K.Handke. Warszawa, 1997.

Małecki 1933 — *Małecki M.* Do genezy gwar mieszanych i przejściowych (ze szczególnym uwzględnieniem granicy językowej polsko-czeskiej i polsko-słowackiej) // Slavia Occidentalis XII. Poznań, 1933. S. 81–90.

Milewski 1965 — *Milewski T.* Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN, Oddział w Krakowie, styczeń-czerwiec 1965. S. 134–137.

Milewski 1966 — *Milewski T.* Zasięg terytorialny słowiańskiej przestawki płynnych // Rocznik Slawistyczny, 26 (1966). S. 9–20.

Morita 2006 — *Morita Koji.* Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki). Studium porównawcze. Warszawa, 2006.

Popowska-Taborska 1980; 2004 — *Popowska-Taborska H.* Problem południowosłowiańskiej peryferii językowej w dociekaniach nad etnogenezą Słowian // Etnogeneza i topogeneza Słowian. Poznań, 1980. S. 55–63. Перепечатано в: *Popowska-Taborska H.* Z językowych dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa, 2004. S. 107–115.

Popowska-Taborska 1981_1; 2004 — *Popowska-Taborska H.* Połabszczyzna jako północno-zachodnia peryferia Słowiańszczyzny // Słowiańszczyzna połabska między Niemcami a Polską. Poznań, 1981. S. 95–108. Перепечатано в: *Popowska-Taborska H.* Z językowych dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa, 2004. S. 91–106.

Popowska-Taborska 1981_2 — *Popowska-Taborska H.* Lechickie jesiory, osiory i ich bałtyckie odpowiedniki // Acta Baltico-Slavica 14, 1981. S. 195–199.

Popowska-Taborska 1986; 2004 — *Popowska-Taborska H.* Problematyka centrum i peryferii obszaru etnicznego w świetle archaizmów i innowacji dialektalnych // Acta Universitatis Lodziensis, Folia linguistica 12, 1986. S. 171–180. Перепечатано в: *Popowska-Taborska H.* Z językowych dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa, 2004. S. 269–277.

Popowska-Taborska 1988; 2004 — *Popowska-Taborska H.* Problematyka peryferii językowych w badaniach etnogenetycznych // Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Językoznawstwo, Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988. Warszawa, 1988. S. 593–600. Перепечатано в: *Popowska-Taborska H.* Z językowych dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa, 2004. S. 285–293.

Popowska-Taborska, Boryś 1996 — *Popowska-Taborska H., Boryś W.* Leksyka kaszubska na tle słowiańskim. Warszawa, 1996.

Smułkowa 1993 — *Smułkowa E.* Propozycja terminologicznego zawężenia zakresu pojęć: gwary przejściowe — gwary mieszane // Rozprawy Slawistyczne UMCS, 6. Lublin, 1993. S. 283–289.

Stieber 1938; 1974 — *Stieber Z.* Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych. Prace Komisji Językowej PAU, № 27, Kraków, 1938. Перепечатано в: *Stieber Z.* Świat językowy Słowian. Warszawa, 1974. S. 38–65.

Stieber 1936; 1974 — *Stieber Z.* Wpływ polski i słowacki na gwary Łemków // Sprawozdania PAU, t. XLI, 1936, № 2. S. 45–50. Перепечатано в: *Stieber Z.* Świat językowy Słowian. Warszawa, 1974. S. 474–479.

Stieber 1974 — *Stieber Z.* O archaizmach i innowacjach peryferycznych // Studia indoeuropejskie. Kraków, 1974. S. 239–241.

Turska 1982 — *Turska H.* O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie // Studia nad polszczyzną kresową / Pod red. J.Riegera i W.Werenicza. T. I. Wrocław etc., 1982. S. 19–121.

Wańkowicz 1993 — Wańkowicz M. Ziele na kraterze. Warszawa, 1993.

Warchoł 1992 — *Warchoł S.* Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych // Rozprawy Slawistyczne UMCS, 5. Lublin, 1992.

П. М. Аркадьев

Уроки литовского языка для славянской аспектологии

Предварительные замечания. Аспектология является одной из наиболее активно развивающихся областей славянского языкознания. Тем не менее, типологическое изучение славянского вида, ставящее своей целью его сопоставление с материалом языков с близкими или, напротив, радикально отличными аспектуальными системами, находится скорее в начальной стадии (см. такие работы, как [Маслов 1978, 1984; Dahl 1985; Dahl (ed.) 2000; Плунгян 1997; Черткова (ред.) 1998]). Такое изучение, однако, представляется совершенно необходимым, причем не только для выявления типологически нетривиальных черт славянского вида, но и с целью уточнения системы понятий, используемых в славянской аспектологии, и прояснения спорных вопросов в этой области.

В данной статье я бы хотел показать, какие результаты может дать рассмотрение особенностей славянского вида sub specie типологически очень близкой системы литовского языка (ср. [Вимер 2001]).

Несмотря на то, что в литовском языке можно выделить фрагмент глагольной системы, обнаруживающий значительные черты сходства с категорией вида в славянских языках (в частности, в русском языке) как на уровне содержательных функционально-семантических противопоставлений, так и на уровне их формального выражения, литовский язык, с одной стороны, и славянские языки, с другой, отличаются по ряду важных параметров, в первую очередь касающихся степени грамматикализованности аспектуальной семантики и интегрированности аспектуально релевантных морфосинтаксических явлений в глагольную систему. В свете этого систематическое сопоставление литовской и славянской аспектуальных систем (с очевидной оговоркой о том, что видовые категории разных славянских языков отличаются друг от друга и не могут быть отождествлены) позволяет про-

---

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям». Я благодарю Б. Вимера, М. В. Завьялову, А. Ионкуса, В. Купрявичюса, Р. Микулскаса, Т. М. Николаеву, Ю. Пакериса, В. А. Плунгяна, Л. Савицки, А. Хольфута и А. Б. Шлуинского за помощь, советы и замечания.

лить свет на внутреннее устройство и особенности функционирования их обеих.

Общие замечания об аспектуальных системах. Типология видовых категорий и систем в языках мира весьма хорошо разработана, см. в первую очередь монографии [Dahl 1985; Smith 1997/1991; Bybee et al. 1994], сборники [Dahl (ed.) 2000; Ebert, Zuñiga (eds.) 2001] и статьи [Bybee, Dahl 1989; Плунгян 1997 [1]]. В рамках семантической зоны аспектуальности принято разграничивать количественный аспект, квантифицирующий ситуации (см. [Храковский (ред.) 1989; Шлуинский 2006]), и линейный аспект, характеризующий ситуацию с точки зрения ее внутренней структуры и протекания ее во времени. В рамках последнего можно выделить две основные зоны — перфективную и имперфективную. Перфектив рассматривает ситуацию «извне», в ее целостности, с учетом ее внешних границ, в то время как имперфектив, напротив, выделяет «срединную фазу» ситуации и представляет ее как длящуюся (ср. известное определение в монографии [Исаченко 1965: 133], ср. также [Comrie 1976]). Важно отметить, что сами по себе перфектив и имперфектив не являются атомарными значениями, но в свою очередь распадаются на целый ряд подтипов. Так, в рамках перфектива выделяются пунктив (представляющий ситуацию как точечную), комплетив (фокусирующий внимание на достижении ситуацией предела), лимитатив (обозначающий ограниченную во времени длительную ситуацию), а также, с определенными оговорками, результатив (обозначающий результат ситуации) и перфект (обозначающий ситуацию в прошлом, релевантную для настоящего). Имперфектив включает в себя такие подзначения, как дуратив (обозначающий длящуюся фазу ситуации) и конатив (значение неудавшейся попытки совершить действие).

Аспектуальные системы могут различаться тем, какие из указанных значений в них грамматикализованы, в частности, выражаются при помощи специализированных показателей, и какие типы сочетания различных значений аспектуальной зоны в них представлены.

Другой важнейший параметр типологии аспектуальных систем связан со способом выражения аспектуальных значений. То, что характер формального воплощения грамматических значений может быть связан с их функциональным содержанием, стало окончательно ясно с развитием теории грамматикализации (см. [Lehmann

[1] Дальнейшее изложение в этом разделе в основном следует данной статье.

1995/1982; Heine et al. 1991; Hopper, Traugott 1993]), главный тезис которой заключается в том, что лексический источник грамматической единицы предопределяет путь ее грамматикализации и, тем самым, ее семантику и функционирование в грамматической системе (см. [Bybee et al. 1994: 12, 15–16]).

Для нашего рассмотрения наибольшую значимость имеет выделенное в работах [Bybee, Dahl 1989; Bybee et al. 87–90] противопоставление перфективов, возникающих из перфекта (*anterior-based perfectives*, далее АВР) и перфективов, возникающих из сочетаний глаголов с «ограничителями» (*bounder-based perfectives*, далее ВВР). Примером первых могут послужить такие формы, как латинский перфект, *Passé composé* во французском языке, вторых — славянский совершенный вид.

Эта дихотомия проявляется в следующих основных признаках. Во-первых, АВР, как правило, морфологически существенно более регулярен, чем ВВР; в частности, при ВВР обычно не все глаголы способны сочетаться с «ограничителями», разные глаголы сочетаются с разными «ограничителями», а правила, регулирующие эту сочетаемость, могут быть весьма сложными и нередко словарно заданными. Во-вторых, АВР обычно выражают перфектив «в чистом виде», т. е. обозначают ограниченную во времени ситуацию без указания на то, достигла ли она предела; это позволяет перфективам такого рода свободно сочетаться практически с любыми аспектуальными классами глаголов, включая непредельные процессы и состояния. Напротив, для ВВР простой ограниченности во времени недостаточно, они выражают также достижение ситуацией предела, в связи с чем такой перфектив наиболее продуктивно образуется лишь от предельных глаголов, а с непредельными глаголами либо не сочетается вовсе, либо такие сочетания получают нестандартные интерпретации. В-третьих, АВР, как правило, встраиваются в систему временны́х форм и морфологически сочетаются лишь с прошедшим временем. ВВР в этом смысле менее ограничены и могут сочетаться, в принципе, с любыми временны́ми формами.

Важным свидетельством различия двух типов перфектива является возможность их сосуществования в рамках одной системы, ср. болгарский язык [Маслов 1984], где представлены как совершенный и несовершенный виды в обычном понимании этих терминов в славистике, так и противопоставление аориста и имперфекта в системе прошедшего времени.

написать$_{СВ}$ → **написывать*$_{НСВ}$. Такого рода ограничения также свидетельствуют о высокой степени внутренней интеграции категории вида, образующей систему пар соотносительных по виду глаголов.

С семантической точки зрения славянская категория вида весьма гетерогенна, проявляя значительную вариативность, как внутри каждого конкретного языка (так называемые «частные» видовые значения), так и между языками. Тем не менее, в ее рамках можно выделить довольно обширную «ядерную» зону, общую для всех славянских языков. Такого рода «центром» категории вида является бинарное противопоставление глаголов, обозначающих процессы с внутренним пределом (действия по Е. В. Падучевой [Падучева 2004] или accomplishments по З. Вендлеру [Vendler 1967]): формы НСВ (*писать*, *строить*, *гнить*) обозначают процесс в развитии, а формы СВ (*написать*, *построить*, *сгнить*) — достижение предела, имплицированного этим процессом. Именно в рамках этого класса лексики аспектуальные системы славянских языков обнаруживают наибольшую степень общности. Функционирование видов за пределами глаголов действия можно, в принципе, рассматривать как производное по отношению к наблюдаемому в центре системы. Высокая степень грамматикализованности славянского вида проявляется, в частности, в степени генерализации семантических оппозиций, им выражаемых, и в их абстрактности (ср., например, употребление видов в неассертивных и модальных контекстах, нередко лишь опосредованно связанное с их базовыми значениями, ср. [Wiemer 2001]).

Сильная грамматикализованность видового противопоставления в славянских языках (в особенности в восточной части этого ареала) выражается, в частности, в том, что результатом обобщения этой категории на всю глагольную лексику стало определенное «смещение» ее ядерного значения. Противопоставление «действия в развитии» и «достижения предела», релевантное лишь для части глагольного словаря, «уступило» в русском и в еще большей степени в болгарском языке противопоставлению единичной целостной ситуации и множества ситуаций (ср. определение тривиальной видовой пары Е. В. Падучевой [Падучева 1996: 89])[2]. Именно это соотношение является наиболее общим и продуктивным, в особенности в сфере вторичной имперфективации.

---

[2] Согласно монографии [Dickey 2000], данное противопоставление следует описывать скорее в терминах определенности ~ неопределенности ситуации, обозначаемой данным употреблением формы СВ resp. НСВ.

Характерные особенности славянского вида. Категория вида славянского типа является типичным представителем системы с противопоставлением перфектива (совершенного вида, СВ), основанного на ограничителях, и имперфектива (несовершенного вида, НСВ) двух типов: «первичного», морфологически непроизводного и мотивирующего префиксальный перфектив, и «вторичного», образованного от префиксального перфектива при помощи имперфективирующего суффикса.

Для славянских языков, несмотря на имеющиеся между ними различия, характерна весьма высокая степень грамматикализованности противопоставления СВ/НСВ, наиболее высокая в восточной части славянского ареала (включая сюда болгарский и польский языки), несколько меньшая в западной (см., в частности, [Петрухина 2000; Dickey 2000]). Она проявляется в следующих признаках.

Во-первых, принадлежность глагольной лексемы к одному из видов предопределяет устройство ее парадигмы (так, в целом ряде языков лишь глаголы НСВ образуют аналитические формы будущего времени, те или иные формы причастий и т. п.) и допустимые для нее синтаксические контексты (так, лишь глаголы НСВ способны сочетаться с фазовыми глаголами). Во-вторых, употребление видов в значительной степени является грамматически детерминированным; в целом ряде контекстов вне зависимости от семантического задания говорящий лишен выбора и вынужден употребить лишь один из видов; так, в русском языке в общефактическом (экспериенциальном), итеративном, узуальном (хабитуальном) значениях, а также в *praesens historicum* может быть употреблен лишь НСВ; чем больше степень грамматикализованности видового противопоставления, тем больше в языке наблюдается таких контекстов «нейтрализации» видов.

В-третьих, употребление видов, несмотря на их существенную связь с лексическим значением глаголов, в значительной степени «эмансипировано» от них: вышеперечисленными свойствами обладают все глаголы СВ resp. НСВ, независимо от их семантического класса. Наконец, ряд грамматических процессов может апеллировать к наличию у глагола «аспектуального коррелята». Помимо уже упомянутых контекстов, где вместо глагола данного вида должен выступать максимально близкий по значению глагол противоположного вида, можно указать на имеющееся в ряде языков (среди них русский) ограничение на образование вторичного имперфектива: данная форма образуется лишь от такого глагола СВ, который не является «тривиальным» видовым коррелятом некоторого первичного глагола НСВ, ср. *писать*$_{НСВ}$ → *подписать*$_{СВ}$ → *подписывать*$_{НСВ}$ vs. *писать*$_{НСВ}$ →

Итак, категория вида в славянских языках высоко грамматикализована, что проявляется как в ее семантике, так и в ее морфосинтаксисе. Рассмотрим теперь типологически очень близкую систему литовского языка.

Аспектуальная система литовского языка. Литовская грамматическая традиция (см. [Дамбрюнас 1962; Галнайтите 1963; Paulauskienė 1979; Амбразас (ред.) 1985, 199–202; Valeckienė 1998, 285–287], а также [Reklaitis 1980]) постулирует в литовском языке «лексико-грамматическую» категорию вида (*veikslas*) с двумя граммемами: «несовершенный вид» (*eigos veikslas*) и «совершенный вид» (*įvykio veikslas*)[3]. «Видовое» противопоставление в литовском языке обычно трактуется как лексическое (т. е. несловоизменительное; замечу, что вопрос о словоизменительном vs. словообразовательном статусе вида в славянских языках является дискуссионным, и потому непризнание «вида» в литовском словоизменительной категорией еще не может служить прямым свидетельством его коренного отличия от славянского вида). К «несовершенному виду» относятся глаголы, форма настоящего времени которых имеет актуально-длительное значение, а форма прошедшего времени обозначает длящуюся ситуацию в прошлом (например, глагол *rašyti* 'писать'), ср. примеры (1) и (2)[4].

(1) a. *Jon-as* *raš-o* *laišk-ą.*
Йонас-NOM.SG писать-PRS.3 письмо-ACC.SG
'Йонас пишет письмо.'
b. *Jon-as* *raš-ė* *laišk-ą.*
Йонас-NOM.SG писать-PST.3 письмо-ACC.SG
'Йонас писал письмо.'

(2) a. *Aš* *mat-a-u* *Algird-ą.*
я:NOM видеть-PRS-1SG Альгирдас-ACC.SG
'Я вижу Альгирдаса.'

---

[3] Более точный перевод этих терминов, предложенный в статье [Булыгина, Синева 2006: 115], — «процессуальный вид» и «событийный вид».

[4] При поморфемной нотации используются следующие сокращения: ACC — аккузатив, GEN — генитив, INF — инфинитив, INS — инструменталис, NOM — номинатив, PL — множественное число, PRS — настоящее время, PST — прошедшее время, PRV — преверб, RFL — показатель возвратности, SG — единственное число. В тех случаях, когда при примере не указан его источник, пример получен от носителя языка.

b. *Aš* *mač-ia-u* *Algird-ą.*
я:NOM видеть-PST-2SG Альгирдас-ACC.SG
'Я видел Альгирдаса.'

Как глаголы «совершенного вида» трактуются те, форма настоящего времени которых не имеет актуально-длительного значения, а употребляется лишь в хабитуальной и нарративной (*praesens historicum*) функциях, а форма прошедшего времени обозначает точечные события в прошлом (например, глагол *parašyti* 'написать'), ср. примеры (3) и (4).

(3) a. *Jon-as* *kasdien* *pa-raš-o* *laišk-us.*
Йонас-NOM.SG каждый день PRV-писать-PRS.3 письмо-ACC.PL
'Йонас каждый день пишет письма (те, что задумал, и до конца).'
b. *Jon-as* *pa-raš-ė* *laišk-ą.*
Йонас-NOM.SG PRV-писать-PST.3 письмо-ACC.SG
'Йонас написал письмо.'
(4) a. *Aš* *pa-mat-a-u* *Algird-ą.*
я:NOM PRV-видеть-PRS-1SG Альгирдас-ACC.SG
'[и вот] я [вдруг] вижу Альгирдаса.'
b. *Aš* *pa-mač-ia-u* *Algird-ą.*
я:NOM PRV-видеть-PST-1SG Альгирдас-ACC.SG
'Я увидел Альгирдаса.'

Также выделяется весьма обширный и гетерогенный класс «двувидовых» глаголов, форма настоящего времени которых, подобно глаголам «несовершенного вида», способна употребляться в актуально-длительном значении, а форма прошедшего времени выражает законченные ситуации, как у глаголов «совершенного вида» (например, *atidaryti* 'открывать/открыть'), ср. пример (5).

(5) a. *Jon-as* *atidar-o* *dur-is.*
Йонас-NOM. SG открыть-PRS.3 дверь-ACC. PL
'Йонас открывает дверь.'
b. *Jon-as* *atidar-ė* *dur-is.*
Йонас-NOM. SG открыть-PST.3 дверь-ACC. PL
'Йонас открыл дверь.'

Литовская система во многом похожа на славянскую. В ее основе лежит то же семантическое противопоставление («действие в развитии» vs. «достижение предела», ср. пару *rašyti* ~ *parašyti* 'писать ~ написать'), выражаемое сходными средствами — глагольными префик-

сами. Следует сразу отметить, что префиксальная «перфективация» (т. е. образование глаголов, указывающих на достижение ситуацией предела) в литовском языке весьма продуктивна, и, как и в славянских языках, не ограничена лишь глаголами действия: ей подвержены также лексемы, обозначающие состояния (ср. *matyti* ~ *pamatyti* 'видеть ~ увидеть') и непредельные процессы (ср. *rėkti* ~ *surėkti* 'кричать ~ закричать').

Наряду с превербами, образующими «перфективные» корреляты «имперфективных» глаголов, в литовском языке довольно широко представлены в изобилии имеющиеся в славянских языках «способы глагольного действия», т. е. словообразовательные модификации базовых глаголов (см. [Галнайтите 1980]). Ср., например, парадигму более или менее лексикализованных производных от глагола *rašyti* 'писать' [LKŽ]: *aprašyti* 'описать', *atrašyti* 'отписать, ответить на письмо', *įrašyti* 'вписать', *išrašyti* 'выписать (из книги); исписать (страницу); расписать (свод)', *nurašyti* 'списать', *perrašyti* 'переписать', *prirašyti* 'приписать', *surašyti* 'записать', *užrašyti* 'надписать'.

Помимо префиксальной «перфективации», в литовском языке имеется и суффиксальная: подобно тому, как в славянских языках однократные (семельфактивные) глаголы образуются при помощи суффикса *-ну-* (ср. *махать* ~ *махнуть*), в литовском языке имеются продуктивные семельфактивные суффиксы *-tel-/-ter-* (ср. *moti* ~ *mostelėti* 'махать ~ махнуть').

Наконец, в литовском языке имеется довольно продуктивный механизм образования «имперфективных» глаголов от «перфективных» — исходно итеративный суффикс *-inė-*, в настоящее время способный образовывать глаголы с чисто процессным значением (ср. *prisijungti* ~ *prisijunginėti* 'подключиться ~ подключаться').

Итак, в принципе, можно предположить, что литовская аспектуальная система обладает всеми основными структурно-функциональными особенностями, присущими категории вида в славянских языках. Более внимательное рассмотрение, однако, показывает, что между литовской и славянской системой имеются существенные различия (ср. также [Matthiassen 1996; Holvoet, Čižik 2004; Вимер 2001]).

Сопоставление литовской аспектуальной системы со славянской. Рассмотрение литовского материала в свете выделенных в предыдущем разделе параметров грамматикализации славянского вида демонстрирует, что практически ни один из них не принимает в литовском языке значений, близких к славянским языкам.

Во-первых, принадлежность литовской глагольной лексемы к одному из «видов» никак не сказывается на ее парадигматике: все литовские глаголы обладают одинаковым набором форм, как синтетических, так и аналитических, как финитных, так и нефинитных (причастия, деепричастия и отглагольные имена); не наблюдается и связанных с «видом» ограничений на образование пассивных конструкций. Во-вторых, в литовском языке нет и строгого запрета на сочетаемость «перфективных» глаголов с фазовыми матричными предикатами, ср. пример (6) из монографии [Dambriūnas 1960: 94] и (7) из [LKŽ]:

(6) *Ir policij-a* *ėm-ė* *j-uos* *į vakar-ą* ***pa-leis-ti.***
и полиция-NOM.SG начать-PST.3 он-ACC.PL в вечер-ACC.SG PRV-пускать-INF
'И полиция начала отпускать (букв. «отпустить») их по вечерам.'

(7) *Ryt-ais* *praded-a* ***pa-šal-ti.***
утро-INS.PL начать-PRS.3 PRV-холодать-INF
'По утрам начинает холодать (букв. «похолодать»).'

В-третьих, употребление глаголов «совершенного» и «несовершенного» «видов» в литовском языке в гораздо меньшей степени подвержено собственно грамматическим ограничениям и в большей степени мотивировано семантически, нежели функционирование видов в русском или других славянских языках. Глаголы типа *rašyti* 'писать' обозначают процесс, имеющий внутренний предел, однако оставляют последний «за кадром»; глаголы типа *parašyti* 'написать', напротив, обозначают достижение этого предела. Соответствующие компоненты значения литовских глаголов сохраняются во всех их употреблениях и не могут быть «подавлены» или нейтрализованы контекстом. В частности, в контексте «настоящего исторического», где в русском языке в значении однократного события может выступать лишь глагол НСВ, в литовском языке может быть употреблен лишь «перфективный» глагол, ср. следующий пример [Sawicky 2000: 138]:

(8) *Dėd-ė* *Luk-as* ***nu-kand-a*** *papiros-o* *gilz-ės*
дядя-NOM.SG Лукас-NOM.SG PRV-кусать-PRS.3 папироса-GEN.SG гильза-GEN.SG
gal-ą ***iš-spjaun-a*** *ir* ***už-si-deg-a*** *gražiai*
кончик-ACC. SG PRV-плевать-PRS.3 и PRV-RFL-жечь-PRS.3 красиво
perskelt-u *degtuk-u.*
расколотый-INS.SG спичка-INS.SG
'Дядя Лукас надкусывает кончик папиросы, выплевывает <его> и зажигает <его> себе расщепленной спичкой.'

Аналогичным образом, в контекстах, описывающих многократные ситуации, каждая из которых достигла своего предела, в литовском языке могут быть употреблены лишь «перфективные» глаголы, ср. пример (9):

(9) *Sekretori-us kasdien per dvi valand-as* ***pa-raš-o*** ||
секретарь-NOM.SG каждый день за два (ACC. PL) час-ACC.PL PRV-писать-PRS.3
**raš-o tr-is laišk-us ir iš-ei-na.*
писать-PRS.3 три-ACC.PL письмо-ACC.PL и PRV-идти-PRS.3
'Секретарь каждый день пишет (букв. «напишет») за два часа три письма и уходит.'

Таким образом, «видовое» противопоставление в литовском языке никогда не нейтрализуется, а само употребление «видов» в этом языке, как подробно показано в работах [Вимер 2001, 2004], диктуется скорее семантическими (подчас значительно лексикализованными), нежели чисто грамматическими факторами.

Итак, оппозиция «перфективных» и «имперфективных» глаголов в литовском языке содержательно не тождественна соответствующей оппозиции в славянских языках (точнее, в восточнославянских языках; сходства между литовской и западнославянской — чешской и словацкой — системами более значительны, хотя и здесь не приходится говорить о «тождестве» или «изоморфизме») даже в «ядерной» ее области — у глаголов ингерентно предельного действия. Помимо этого, статус так называемых «двувидовых» глаголов в литовском языке совсем не таков, как в славянских языках. Если в русском языке двувидовые глаголы в основном находятся на периферии системы и под давлением основной массы глагольной лексики постепенно «разделяются» на стандартные видовые пары (ср. исходно двувидовые глаголы *организовать*, который в контекстах НСВ все более вытесняется имперфективом *организовывать*, или *информировать*, у которого в современном узусе есть СВ-коррелят *проинформировать*; см. подробнее [Чанг 1997]), то в литовском языке положение существенно иное. Во-первых, «двувидовые» глаголы (т. е., напомню, глаголы, допускающие, с одной стороны, актуально-длительное значение презенса, и, с другой, — терминативное значение претерита) в литовском языке не могут быть охарактеризованы как периферийное явление. Среди «двувидовых» глаголов немало лексем, относящихся к центру глагольного словаря, в частности, *duoti* 'дать', *padėti* 'помочь', префиксальные глаголы движения (*ateiti* 'придти', *parbėgti* 'прибежать назад' и т. п.), некоторые типы «способов глагольного действия». Во-вто-

рых, тенденция встраивать такие глаголы в бинарную оппозицию «видов» в литовском языке, хотя и не может быть подвергнута сомнению, является существенно более слабой, чем в русском языке. Литовские «двувидовые» глаголы, таким образом, представляют собой довольно устойчивый класс, полноправно сосуществующий с «перфективными» и «имперфективными» глаголами.

Наконец, выше было отмечено, что в литовском языке имеется «имперфективирующая» деривация, способная образовывать «вторичные имперфективы» от префиксальных «перфективных» глаголов. Как показано еще в работе [Галнайтите 1966] [5], литовский «имперфективирующий» суффикс *-inė-* обладает характеристиками, существенно отличными от показателей вторичного имперфектива в славянских языках. Во-первых, в отличие от славянских языков (в особенности русского), в литовском языке нет ограничений на сочетаемость этого показателя с различными классами глаголов: суффикс *-inė-* равным образом присоединяется как к базовым «имперфективным» глаголам (ср. *rašyti* 'писать' → *rašinėti* 'часто писать', букв. *писывать), так и к префиксальным «перфективным» глаголам, независимо от семантического вклада префикса (ср. *parašyti* 'написать' → *parašinėti* 'часто писать до конца', букв. *написывать; *perrašyti* 'переписать' → *perrašinėti* 'переписывать'). С другой стороны, образование таких производных подвержено разнообразным, большей частью лексическим ограничениям и не является полностью продуктивным, а их функционирование (по крайней мере, в литературном языке) далеко не столь широко, как употребление их славянских соответствий.

Обсуждение. Итак, несмотря на то, что литовская и славянская аспектуальные системы обнаруживают, на первый взгляд, весьма значительные черты сходства, их соотношение далеко от изоморфизма. Типологическое родство литовской и славянской систем проявляется на уровне базовых структурно-функциональных противопоставлений. Действительно, для литовского языка, как и для славянских, высокой релевантностью обладает семантическое противопоставление ситуаций, не имеющих внутреннего предела, и ситуаций, такой предел имеющих, равно как и противопоставление процессуальной и событийной фаз комплексных (ингерентно предельных) ситуаций. И в славянских языках, и в литовском имеются схожие формальные средства

[5] Ср. также диалектные данные, приведенные в недавней статье [Wiemer, Kardelis 2002].

выразить эти противопоставления, причем в обоих случаях наиболее последовательно и единообразно эти средства употребляются в контекстах с максимальной степенью семантической мотивированности и «прозрачности». Наиболее отчетливо противопоставление видов в славянских языках и «видов» в литовском языке наблюдается при обозначении ситуаций, рассматриваемых в развитии, и, напротив, ситуаций, достигших своего внутреннего предела. Эти контексты являются для аспектуальных систем данного ареала (и для аспектуальных систем вообще) прототипическими и «сильными» (ср. [Маслов 1984: 72–75; Князев 2004]), однако именно эти контексты, в силу высокой степени их семантической мотивированности, наименее показательны при выяснении степени грамматикализованности видовых категорий.

Подобие между славянскими и литовской аспектуальными системами если и не исчезает, то становится существенно более слабым при переходе от «ядерных» контекстов к более «периферийным». Даже поверхностное исследование литовской глагольной системы демонстрирует, что в ее основе лежат не столько абстрактные бинарные противопоставления, такие как «целостность ~ нецелостность» или «терминативность ~ нетерминативность», постулируемые для отдельных славянских языков, сколько более дробная и в существенной степени лексикализованная таксономическая (акциональная) классификация ситуаций (подробнее см. [Аркадьев в печати]). Если в славянских языках над акциональной классификацией ситуаций «надстроена» бинарная система видов, во многом предопределяющая морфосинтаксические и семантические свойства лексем независимо от того, какой тип ситуаций они обозначают, то поведение литовских глаголов может быть охарактеризовано без учета того, к какому из двух (а точнее, трех, учитывая «двувидовые» глаголы) традиционно постулируемых «видов» они относятся. Это связано с тем, что в литовском языке принадлежность глагола к одному из «видов» полностью определяется его акциональной характеристикой. Более того, акциональная классификация глаголов в литовском языке имеет бóльшую предсказательную силу, нежели деление их на «виды» — бинарная (или тернарная) классификация оказывается, с одной стороны, неспособна отразить ряд релевантных различий между глаголами разных таксономических категорий, а с другой стороны, практически лишена независимой предсказательной силы ввиду отсутствия у литовских «видов» сколько-нибудь четких морфосинтаксических коррелятов.

Таким образом, мы приходим к во многом парадоксальному выводу: славянские языки разделяют с литовским базовые, «ядерные»

функциональные свойства аспектуальных систем, однако сами эти свойства оказываются почти нерелевантными для придания видовому противопоставлению грамматического статуса. То, что делает славянский вид грамматической категорией, лежит, как выясняется, скорее на «периферии». Данный вывод, однако, парадоксален лишь на первый взгляд. Лексико-семантическое противопоставление становится грамматическим лишь в том случае, когда оно делается в большой степени абстрактным и приобретает характер всеобщности, распространяясь на контексты, далекие от ядра категории и лишенные прямой семантической мотивации. Именно в таких контекстах обязательность употребления того или иного значения категории диктуется уже не семантикой (например, условиями истинности высказывания), но тонкими дискурсивными факторами и частично или полностью утратившими мотивацию языковыми конвенциями. Точно так же грамматический характер противопоставления, по своей природе лексического (а именно такова, по крайней мере в диахронии, природа славянского вида, см. хотя бы [Маслов 1961]), проявляется в наличии у значений категории морфосинтаксических или тем более чисто морфологических «последствий», в том, какие формальные ограничения накладывает то или иное значение категории на охарактеризованные ей глаголы. Именно тот факт, что славянские языки, как было отмечено нами, демонстрируют конвенционализованные и «эмансипированные» от значения ограничения, связанные с видом, причем ограничения как синтаксического, так и морфологического свойства, делает славянский вид грамматической категорией sensu stricto.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Амбразас (ред.) 1985 — Грамматика литовского языка / Под ред. В. Амбразаса. Вильнюс, 1985.

Аркадьев (в печати) — *Аркадьев П. М.* Теория акциональности и литовский глагол // Балто-славянские исследования — XVIII. М., (в печати).

Булыгина, Синева 2006 — *Булыгина Т. В., Синева О. В.*. Литовский язык // Языки мира. Балтийские языки. М., 2006. С. 93–155.

Вимер 2001 — *Вимер Б.* Аспектуальные парадигмы и лексическое значение русских и литовских глаголов // Вопросы языкознания. 2001. № 2. С. 26–58.

Вимер 2004 — *Вимер Б.* Таксис и коинциденция в зависимых предикациях: литовские причастия на *-damas* // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе / Под ред. В. С. Храковского, А. Л. Мальчукова, С. Ю. Дмитренко. М., 2004. С. 53–73.

Галнайтите 1963 — *Галнайтите Э.* Особенности категории вида глаголов в литовском языке (в сопоставлении с русским языком) // Kalbotyra. Т. 7. 1963. С. 123–144.

Галнайтите 1966 — *Галнайтите Э.* К вопросу об имперфективации глаголов в литовском языке // Baltistica. Т. 2. 1966. № 2. С. 147–158.

Галнайтите 1980 — *Галнайтите Э.* К проблеме способов глагольного действия в русской и литовской аспектологии // Kalbotyra. Т. 30. 1980. № 2. С. 7–22.

Дамбрюнас 1962 — *Дамбрюнас Л.* Глагольные виды в литовском языке // Вопросы глагольного вида / Под ред. Ю. С. Маслова. М., 1962. С. 365–381.

Исаченко 1965 — *Исаченко А. В.* Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Братислава, 1965. Т. II.

Князев 2004 — *Князев Ю. П.* Сильные и слабые позиции видового противопоставления // Труды аспектологического семинара Филологического факультета МГУ. Т. 4. М., 2004. С. 108–118.

Маслов 1961 — *Маслов Ю. С.* Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида // *Маслов Ю. С.* Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание / Сост. и ред. А. В. Бондарко, Т. А. Майсак, В. А. Плунгян. М., 2004. С. 445–477. (1-е изд. в кн. Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961.)

Маслов 1978 — *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии // *Маслов Ю. С.* Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание / Сост. и ред. А. В. Бондарко, Т. А. Майсак, В. А. Плунгян. М., 2004. С. 305–364 (1-е изд. в кн. Вопросы сопоставительной аспектологии / Под ред. Ю. С. Маслова. Л., 1978. С. 4–44).

Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии // *Маслов Ю. С.* Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание / Сост. и ред. А. В. Бондарко, Т. А. Майсак, В. А. Плунгян. М., 2004. С. 21–302 (1-е изд. Л., 1984).

Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Петрухина 2000 — *Петрухина Е. В.* Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.

Плунгян 1997 — *Плунгян В. А.* Вид и типология глагольных систем // Труды аспектологического семинара Филологического факультета МГУ. Т. I. М., 1997. С. 173–190.

Храковский (ред.) 1989 — Типология итеративных конструкций / Под ред. В. С. Храковского. Л., 1989.

Чанг 1997 — *Чанг П.-Ч.* Системны или маргинальны двувидовые глаголы в современном русском языке? // Труды аспектологического семинара Филологического факультета МГУ. Т. 3. М., 1997. С. 197–210.

Черткова (ред.) 1998 — *Черткова М. Ю.* (ред.). Типология вида. Проблемы, поиски, решения. М., 1998.

Шлуинский 2006 — *Шлуинский А. Б.* К типологии предикатной множественности: организация семантической зоны // Вопросы языкознания. 2006. № 1. С. 46–75.

Bybee, Dahl 1989 — *Bybee J. L., Dahl Ö.* The creation of tense and aspect systems in the languages of the world // Studies in Language. V. 13. 1989. № 1. P. 51–103.

Bybee et al. 1994 — *Bybee J. L., Perkins R. D., Pagliuca W.* The Evolution of Grammar. Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World. Chicago; London, 1994.

Comrie 1976 — *Comrie B.* Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge, 1976.

Dahl 1985 — *Dahl Ö.* Tense and Aspect Systems. Oxford, 1985.

Dahl (ed.) 2000 — Tense and Aspect in the Languages of Europe. (EUROTYP, Vol. 6) / Ed. by Ö. Dahl. Berlin; New York, 2000.

Dambriūnas 1960 — *Dambriūnas L.* Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai. Boston, 1960.

Dickey 2000 — *Dickey S.* Parameters of Slavic Aspect (A Cognitive Approach). Stanford, 2000.

Ebert, Zúñiga (eds.) 2001 — Aktionsart and Aspectotemporality in Non-European Languages / K. Ebert, F. Zúñiga (eds.). Arbeiten des Seminars für Allgemeine Sprachwissenschaft, 16. Zürich, 2001.

Heine et al. 1991 — *Heine B., Claudi U., Hünnemeyer F.* Grammaticalization. A Conceptual Framework. Chicago; London, 1991.

Holvoet, Čižik 2004 — *Holvoet A., Čižik V.* Veikslo priešpriešos tipai // Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 2. Gramatinių kategorijų tyrimai / Red. A. Holvoet, L. Semėnienė. Vilnius, 2004. P. 141–162.

Hopper, Traugott 1993 — *Hopper P. J., Traugott E. C.* Grammaticalization. Cambridge, 1993.

Lehmann 1995/1982 — *Lehmann Chr.* Thoughts on Grammaticalization. München; Newcastle, 1982 (1st version 1982).

LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas (http://www.lkz.lt/).

Mathiassen 1996 — *Mathiassen T.* Tense, Mood and Aspect in Lithuanian and Latvian. Meddelelser av Slavisk-baltisk avdeling, Universitetet i Oslo. Nr. 75. 1996.

Paulauskienė 1979 — *Paulauskienė A.* Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos. Vilnius, 1979.

Reklaitis 1980 — *Reklaitis J. K.* Aspect in the Lithuanian verb // Journal of Baltic Studies. V. 11. 1980. № 2. P. 158–171.

Sawicky 2000 — *Sawicky L.* Remarks on the category of aspect in Lithuanian // Linguistica Baltica. V. 8. 2000. P. 133–142.

Smith (1997/1991) — *Smith C.* The Parameter of Aspect. Dordrecht, 1997 (1st ed. 1991).

Valeckienė 1998 — *Valeckienė A.* Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius, 1998.

Vendler 1967 — *Vendler Z.* Verbs and times // *Vendler Z.* Linguistics in Philosophy. Ithaca; New York, 1967. P. 97–121.

Wiemer 2001 — *Wiemer B.* Aspect choice in non-declarative and modalized utterances as extensions from assertive domains. Lexical semantics, scopes, and categorial distinctions in Russian and Polish // Untersuchungen zur Morphologie und Syntax im Slavischen / Hrsg. von H. Bartels, N. Strömer, E. Walusiak. Oldenburg, 2001. S. 195–221.

Wiemer, Kardelis 2002 — *Wiemer B., Kardelis V.* Ausbildung von Aspektpaarigkeit in litauischen Grenz- und Inseldialekten (am Beispiel von Sprechverben) // Linguistica Baltica. T. 10. 2002. S. 51–80.

Е. Л. Березович

Славянская ксенонимия и типология мотивационных параллелей

Одной из наиболее важных проблем семантической реконструкции является выяснение характера связи между значениями производящей и производной лексемы. Эта связь нередко бывает непрямой, неявной, нетривиальной — особенно тогда, когда производное слово «питается» не основными, а коннотативными компонентами семантики слова производящего, которые выводятся из своего обычного латентного состояния и приходят в движение в процессах семантической деривации. В результате анализа «донорской» и «реципиентной» семантики может быть доказан факт наличия коннотации в семантике производящего слова и одновременно установлен факт участия коннотативного признака в мотивации слова производного.

Однако коннотация далеко не всегда может быть уловлена при «замыкании» производящего и производного друг на друга. Так, рус. литер. *татарник* 'сорное травянистое растение семейства сложноцветных с колючим стеблем и с красно-лиловыми цветами' соотносится с этнонимом *татарин*, но логика этой связи не лежит на поверхности (можно предполагать, что в названии отражено типичное место произрастания растения, или же допустить метафору — впрочем, с не очень ясным основанием: значим ли признак цвета? играет ли какую-то роль форма цветков? «колючесть»? и др.). В данном случае (как и во многих других подобных) анализ отношений производности затруднен в силу ряда причин: во-первых, денотаты, обозначаемые производящим и производным словом, обладают многими яркими признаками (а не каким-то одним — особо характерным или актуальным), что мешает установить, какой именно признак денотата-«донора» проецируется на свойство денотата-«реципиента»; во-вторых, эти денотаты принадлежат к совершенно разным и весьма удаленным друг от друга тематическим сферам, а сопряжение таких сфер требует нестандартного интерпретационного усилия; в-третьих, денотаты вызывают оценочно-аксиологическое

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 06-04-00591а.

Автор выражает глубокую благодарность С. М. Толстой за советы и консультации при разработке данной темы.

отношение субъекта номинации, вследствие чего отбор признаков может казаться алогичным.

В силу этих причин для выяснения мотивирующего признака, положенного в основу производного слова, весьма полезно «разомкнуть» пару «производящее — производное» и прибегнуть к подбору мотивационных параллелей — сходных моделей семантического развития, которые объединяют семантически близкие производящие лексемы (принадлежащие одной тематической группе или лексико-семантическому полю) и тождественные или сходные по значениям производные лексемы.

Интересующее нас мотивационное значение слова *татарник* проясняется при обращении к другим названиям сорных колючих растений (родов Carduus, Carex, Cirsium и Xanthium, известных в русском литературном языке как *чертополох*, *репейник*, *осока*), образованным на базе этнонимов и функционирующим в различных диалектах и языках, ср. рус. казан., нижегор., сарат. *мордовник*, влг. *жидовское кресло*, симб. *бусурманская трава* [Анненков: 84, 100], серб. *турек* [Симоновић: 97], болг. *черкезки тръни* [Ахтаров: 544], слвц. *ruský tŕň* («русская колючка») [Králik 2007: 28], карел. *ruoččihein'ä* («шведская (финская) трава») [СКЯ-Пунжина: 244], фин. *lapinsara* («саамская осока») [ФРС: 312], англ. *Gipsy* («цыган») [EDD II: 620], *Russian thistle* («русский чертополох») [НБАРС 3: 128] etc. Анализ свойств этих растений заставляет предположить, что их названия (дериваты на базе этнонимов) вряд ли связаны с местом произрастания, но воплощают оценочные признаки «вредный», «дикий», «неприятный», которые объединяют в народном сознании образы колючих сорных растений и чужих народов — этнических соседей и врагов[1].

Таким образом, мотивационные параллели сужают круг поисков мотивировки слова, поскольку факт их наличия помогает выбрать из спектра предполагаемых признаков такой, который объединяет два (и более) различных, хоть и близких денотата. Методика мотивационных параллелей[2] — известный прием реконструкции, однако по сей

---

[1] В подтверждение этой версии отметим, что в фольклоре данные растения тоже получают «иноземные» эпитеты: так, в русских загадках репейник, мордвинник и др. называются *дерево* (*древо*) *ливанское*, *панское*, *голанское*, *латынское* etc. [Юдин 2007: 59–60].

[2] Примерно в таком же значении этимологи и ономасиологи употребляют термин *семантические параллели*, под которыми понимаются примеры аналогичного развития значений, представленных в других лексемах того же поля.

день обнаружение мотивационных параллелей (особенно на межъязыковом уровне) нередко возлагается на интуицию исследователя и ведется бессистемно. Среди прочих недостаточно прояснены следующие вопросы: каковы границы параллелизма; какими могут быть внутрисистемные отношения между параллелями и на каких основаниях можно строить типологию параллелей; какие критерии помогают установить происхождение параллелей (контактное vs типологическое) и др.

В настоящей работе типология мотивационных параллелей будет рассматриваться на материале такой специфической деривационной группы, как славянская ксенонимия. Ксенонимы — слова и фразеологические сочетания, возникшие в результате семантической деривации на основе этнонимов и топонимов и мотивированные обобщенными представлениями о чужих народах и землях. Эти представления содержат оценку, которая чаще всего негативна (чужое оценивается как аномальное, «ненастоящее», вредное, дикое и т. п.): рус. *французское золото* 'самое плохое, низкопробное' [Даль$_2$ IV: 538], *татарик* 'несъедобный гриб' [СРГСУ 6: 90], блр. *жмодзь* (< 'литовец') 'саранча' [ЭСБМ 3: 231], кашуб. *židovskė ńebo* 'зонтик' [Sychta III: 227], чеш. *cikánsky knelliky* 'кнедлики из одного теста, без

Данные термины (в литературе встречается также *семантико-мотивационная параллель*) могут использоваться как взаимозаменяющие. Мы в данном случае предпочли термин *мотивационная параллель* только для постановки некоторых акцентов в изучении явления. Термин *семантическая параллель* уместно использовать, чтобы подчеркнуть собственно семантический аспект исследования, ср. применение его (и особенно связанного с ним термина *семантический параллелизм*) в работах С. М. Толстой, где изучаются семантические спектры отдельных этимологических гнезд, обнаруживающие сходство (параллелизм) в организации многозначности (ср., например, [Толстая 1999; 2003] и др.). Термин *мотивационные параллели* обращает внимание не столько на семантику, сколько на мотивационное значение производных лексических единиц, которое, как говорилось выше, может не вытекать напрямую из лексических значений производящих слов. Внутри одной семантической модели могут встречаться разные мотивационные модели. Так, названия растений, образованные от этнонимов, могут отражать не только оценочные признаки («вредный», «ядовитый», «дикий» и т. п.), но и представления о реальном месте произрастания: к примеру, растение тамарикс (Tamarix gallica), называемое в русских говорах *жидовник* и *жидовинник*, растет на Синае и в других местах каменистой Аравии (а также «источает… сорт манны, которою питались евреи») [см. Анненков: 347–348].

начинки' [Dial-Brno]), а в редких случаях позитивна (чужое как лучшее по качеству: рус. яросл. *аглецкий* 'хороший по качеству, добротный' [ЛКТЭ], укр. *польскі* 'хороший, красивый; наивысшего качества' [Аркушин 2: 69]). На основании обобщенности мотивационного значения ксенонимы могут быть выделены из числа других этнонимических дериватов — тех, которые сохраняют непосредственную связь с конкретным этнонимом и отражают «индивидуализированные» свойства, присущие или приписываемые тому или иному народу, стране (так, за рус. *лопарки* 'легкие домашние туфли из оленьего меха' [СРГК 3: 147], укр. *берлин* 'карета' [Гринченко 1: 52], польск. *wesoły* (*zuchwały*) *jak krakowiak* («веселый (дерзкий), как житель Кракова») [Бартминьский 2005: 181] и мн. др. стоит информация этнографического или этнопсихологического плана). В то же время семантика ксенонима не выводится непосредственно из этнонима первичного, а сохраняет с ним опосредованные связи, выявляя, как говорилось выше, его коннотативный фон.

Ксенонимы отмечаются во всех славянских языках (и за их пределами), однако в каждой языковой и диалектной зоне фиксируется специфический набор производящих основ, который определяется историческими, социальными и культурными факторами (производящими основами становятся обозначения внешних врагов, этнических и территориальных соседей и др.): так, для русских вологодских говоров специфичны производящие основы со значением «карел», «вепс», «вятич», для моравских говоров — «валах», «силезец», «словак» и т. п.

При разнообразии производящих основ в сфере ксенонимии представлен четко очерченный набор лексических значений производных слов, которые относятся к сферам «насекомые» ('таракан', 'саранча' и др.), «болезни» ('сифилис', 'лихорадка'), «дикие растения», «примитивные устройства и приспособления», «демонология» и др. (см. об этом подробно в [Березович 2007: 404–467]). Еще более узким и строго заданным является комплекс мотивационных значений ксенонимов, которые формируются на основе признаков «аномальный», «ненастоящий, фальшивый», «вредный», «лишний», «дикий» и т. п. К примеру, русские диалектные названия примитивных украшений (ср.-урал. *пермские кораллы* 'бусы из ягод' [ЛЗА], нвсиб. *цыганские кораллы* 'продолговатые бусы коричневого цвета' [СРГНО: 577], влг. *чухарские*[3] *бисера* 'бусы из гороха и рябины' [КСГРС]) имеют общее мотивационное значение: «ненастоящие бусы, такие, какие могли бы но-

[3] Ср. влг. *чухарь* 'вепс', *чухарский* 'вепсский' [КСГРС].

сить цыгане, пермяки или чухари». Элементы подобных рядов связаны отношениями мотивационного параллелизма. Таким образом, в сфере ксенонимии параллели образованы на базе одного мотивирующего кода (обозначений чужих народов и земель), обладают сходными мотивационными значениями и сходными лексическими значениями (принадлежат одному синонимическому ряду или лексико-семантическому полю; в редких случаях — разным полям, но имеют общие семантические признаки).

Мотивационный параллелизм представлен в ксенонимии очень широко благодаря сочетанию нескольких факторов. Лексическое значение производящей основы весьма конкретно (этнонимы «балансируют» на грани нарицательных и собственных имен, и «проприальное начало» в них обусловливает высокую степень детализации семантики, — если не ядерной, то энциклопедической). Мотивационное значение производного слова имеет обобщенно-оценочный характер. При этом номинация на базе этнонима является метафорической, в номинативном процессе участвует, как правило, не один признак, а образный комплекс, что определяет достаточно строгий отбор лексических значений производных слов (к примеру, не любые дикие растения, а те, которые составляют «пару» к культурным (похожие на них, но уступающие какими-то свойствами); не любые насекомые, а те, которые приносят вред и появляются во множестве, подобно захватчикам, и т. п.). Высокая аксиологичность и актуальность этнической метафоры обусловливают ей постоянство и вместе с тем разноликость проявлений (враги и соседи меняются во времени, пространстве и социуме) и заставляют говорящих вновь и вновь прибегать к ней, но накладываться она может на весьма ограниченный круг денотатов. Поэтому в рамках одной и той же метафорической мотивационной модели могут фигурировать образы представителей различных этносов, что и служит проявлением мотивационного параллелизма.

Отсюда вытекает особая роль параллелей в мотивационной реконструкции ксенонимов: если параллель не обнаружена, исследователь нередко оказывается вынужденным предполагать «реально-этническую» (не ксенонимическую) мотивацию или же вообще лишается ключа к интерпретируемой единице. К примеру, польск. диал. *cygańska ulica* ‘гортань’ [SGP IV/3: 580], взятое изолированно, является темным в мотивационном отношении сочетанием. «Завесу тайны» над ним приоткрывают польские и кашубские параллели, в которых цыганский образ сменяется немецким, а «улица» уточняется как «отверстие, проход» = «горло»: польск. *miemiecka dziurka* («немецкая дыр-

ка») 'гортань, трахея, когда туда попадает часть пищи' [Brzeziński II: 237], кашуб. *mńemńecke gardło* («немецкое горло») 'трахея' — «To mńe v mńemńecką gårʒel vlecało» [Sychta 3: 160]. Обнаруживается и более отдаленная параллель — русская, рассеивающая сомнения в природе этнического образа: ср.-урал. *татарский проход* 'трахея' [КЭИС]. В «народной анатомии» трахея воспринимается как «второе горло» (ср. простореч. *другое горло* 'трахея'), но при этом горло опасное, такое, которое не может служить «проводником» пищи. Для выражения этой идеи используются образы инородцев.

Вышесказанное делает возможным представить на ксенонимическом материале типологию мотивационных параллелей.

I. **Сфера функционирования**. По этому критерию мотивационные параллели подразделяются на следующие группы.

1. Внутридиалектные (диалект в данном случае понимается широко — и в территориальном, и в социальном смысле). 'Морозные узоры на стекле' [4]: рус. костр. *татарское кружево // китайское кружево* [ЛКТЭ: Анциферово Буйск. р-на Костромск. обл.]; 'дождь при солнце': полес. *жыдовски дошч // цыганьски дошч* [БДПА: Боровое Рокитновск. р-на Ровенск. обл.]; 'танец «шестерка»': польск. *cygan // miemiec* («немец») — «Sześciórka — taniec w 6 osób, zwany też miemiec albo cygan» [SGP IV/3: 576]; 'растение Eriophorum angustifolium': чеш. *cikánské peří // zidovo peří* («цыганские // жидовские перья») [Dial-Brno: Годонин]. Данный вид параллелей встречается редко, поскольку внутри одного языкового идиома дублеты такого рода избыточны — и язык пытается их «развести». Интересный случай такого разведения (которое, к сожалению, трудно бывает восстановить исследователю) — хронологическая дифференциация вариантных форм. Так, поцелуй, при котором допускалось «влагать язык», в русском обществе XIV в. (судя по текстам покаянных сборников) назывался *татарским*, а в текстах XVIII в. он же получил название *французского* [Пушкарева 2005: 86], что объясняется сменой представлений об источнике вредных иностранных влияний.

2. Междиалектные: рус. дон. *калмычина* 'грязь, чад, нечистота в доме' [СРНГ 12: 363] // арх. *зыря́нка* 'грязь, нечистота в доме'

---

[4] При подаче материала параллели вводятся через знак //. Каждая группа параллелей отделяется от следующей точкой с запятой. Если значения параллельных языковых фактов идентичны, то они даются в марровских кавычках перед самими лексическими единицами; если же значения различны, то они приводятся традиционно — после лексемы или фразеологизма.

[КСГРС]; 'нераспустившаяся почка': болг. плевен. *цѝганче* [БД 6: 237] // самоков. *тѝрчин* [Вакарелска-Чобанска: 360]; 'улитка без раковины': болг. родоп. *цѝгански шѝлей* («цыганский слизень») [БД 5: 216] // казан. *тѝрски дѝл'уф* («турецкий слизень») [Там же: 141].

3. Межъязыковые.

• В родственных языках (одной группы). 'Насекомое наземный клоп-солдатик': болг. *турчин-кукурчин* [Геров 5: 383] // укр. *москаль* [Гринченко 2: 447]; карел. (рус.) *татарка* 'печеный картофель' [СРГК 6: 444] // *зырянчик* 'круглый ломтик картошки, зажаренной на сковородке' [ОСВГ 4: 46] // блр. *цыганы* 'половинки неочищенной вареной картошки' [СПЗБ 5: 369] // *маскалі* '*шутл.* картошка, сваренная с кожурой' [ДСБ: 132].

• В языках одной семьи. Чеш. *žid* 'остаток (железа) при плавке, шлак' [PSJČ VIII: 1040] // англ. *Jews'-bowels* («еврейские кишки») 'маленькие кусочки расплавленного олова, которые находят в старых плавильных печах' [EDD III: 361]; 'membrum virile': рус. жарг. *турок* // *цукерман* (< 'еврей') [БСЖ: 602, 662] // *арап* [СМА: 24] // *чукча* [ЛЗА: Екатеринбург] // франц. *chinois* // исп. *negra* [Birken-Silverman 1993: 451]; польск. *żydowska niemoc* 'геморрой' [SW VIII: 733] // франц. *avoir les anglais* («иметь англичан») 'болеть геморроем' [Müller: 116].

• В родственных и неродственных языках. Укр., блр. *московська зозуля* («московская кукушка») 'удод' [Гура 1997: 600] // польск. *zieziulka moskiewska* («московская кукушка») 'ворона' [SW 8: 503] // манс. конд. *Maskåu kwǫ̈rəχ* («московская ворона») 'галка' [Аникин ЭСЗСиб: 374]; 'некрещеный ребенок': рус. *ло́пень, ло́пка*[5] [СРГК 3: 148] // *цыганка* [ССРГ: 533] // польск. *żyd* [SW VIII: 732] // болг. *еврейче* [РБЕ IV: 611] // серб. *турче* // *бугарче* // *влашче* // *циганчица* [СД 2: 86] // вепс. *ročō* («финн») [СВЯ: 477].

II. **Форма языкового воплощения**. Характеризуя лексические факты, объединенные мотивационным параллелизмом, с точки зрения формы языкового воплощения, следует выделять два уровня анализа: морфосинтаксический и образный. В первом случае имеется в виду словообразовательная (синтаксическая) структура этнонимных дериватов (наличие или отсутствие изоморфизма между единицами, объединенными параллелизмом); во втором — особенности организации образа, собственно образная фактура.

---

[5] Ср. карел. (рус.) *лопка* 'название женщины народа саами', *лопин* 'саам' [СРГК 3: 148].

1. Выделяются параллели, которые обладают изоморфизмом и тождественны в плане организации образа. 'Сифилис': рус. вят. *татарская оспа* [Попов: 346] // польск. *francuska ospa* [Dąbrowska: 130–131]; болг. *циганско лято* 'последние теплые дни в сентябре, которые обычно наступают после Димитрова дня' [ФРБЕ 2: 498] // англ. *Indian summer* 'бабье лето' [НБАРС 2: 228].

2. Есть случаи, когда параллели изоморфны и имеют близкую, но не тождественную образную фактуру. Рассмотрим шутливые названия чеснока: чеш. *židovská vanilka* [SSJČ IV: 918] // англ. *Italian perfume* [Winkler 1994: 334]. Эти сочетания реализуют структурную модель «определение + определяемое слово», а образная фактура вариативна за счет того, что к этническим образам добавляются образы различных веществ с приятным вкусом / запахом. Ср. подобную вариативность в названиях гриба-дождевика: иван. *цыганский табак* // *цыганская пудра* [Жмурко: 55] // арх. *цыганский дым* // влг. *цыганская банька* [КСГРС].

3. Наконец, параллели могут не быть изоморфными и иметь различия в организации образа: польск. *moskal* 'густые выделения из носа' [Steffen: 85] // кашуб. *žid komus palc z nosa vëtika* («еврей кому-л. палец из носа высовывает») 'о сопливом (обычно ребенке)' [Семенова 2006: 96]; польск. *cygón* 'вид узора для вышивания' [SGP IV/3: 576] // укр. *циган'ска дорога* 'вышивка в форме восьмерки' [Горбач: 94]; 'о чем-то пропавшем': польск. *cygany na drążkach ponieśli* («цыганы на повозке унесли») [SGP IV/3: 577] // укр. *перевів на циганський пшик* [Номис: 479].

III. Характер отношений между внутренними формами (попарно) и значениями (попарно) слов, объединенных параллелизмом.

При анализе отношений между «параллельными» ксенонимами мы будем принимать во внимание, во-первых, их внутренние формы (т. е. значения этнонимов, которые положены в основу ксенонимов; по сути, это этнические образы — образы представителей разных этносов, отраженные в ксенонимах); во-вторых, собственно лексические значения ксенонимов. Все варианты взаимоотношений между ксенонимами целесообразно рассматривать в составе двух больших групп: в первой внутренние формы тождественны друг другу, в другой — нетождественны (но объединены отношениями «синонимии», «антонимии» и др.).

Тождество внутренних форм

1. Внутренняя форма$_1$ = внутренняя форма$_2$, семантика$_1$ = семантика$_2$. В данном случае при тождестве производящих основ наблюдается семантическое тождество ксенонимов. Такие отношения

могут быть выделены только на межъязыковом уровне. Это «нулевой» тип параллелизма; возможно, здесь даже не имеет смысла употреблять данный термин. Мы сочли возможным включить этот тип в классификацию для полноты «шкалы». Приведем примеры. 'Рыжие муравьи': рус. арх. *немчура* [КСГРС] // чеш. *němci* [Kott (př.1): 184]; 'кованый гвоздь, сделанный вручную, не фабричный': болг. *цѝгънски гдѐздий, цѝгански пирдѐн'* («цыганский гвоздь») [БД 7: 166; 5: 216] // серб. *цѝгански клѝнци* [Елезовић 2: 421] // слвц. *cigaňski gvusc*, *cigánskí klinec* (*hrebík*) 'вид гвоздя с большой головкой' [SSN I: 209–210]; 'клякса на бумаге': рус. смол. *жид* [СОС: 223] // польск. *żyd* [SW VIII: 732].

• Особый случай фиксируется тогда, когда имеет место лексическая вариативность производящей основы, не изменяющая этнический образ (т. е. одно и то же этническое значение выражается разными способами). К примеру, этническое значение «еврей» выражается в славянских языках не только этнонимами «жид», «еврей», но и типичными для этого народа антропонимами, ср.: 'о состоянии дремоты': польск. *żyd mi depce po oczach* («еврей мне наступил на глаза») [Ondrusz: 241] // кашуб. *Ábram komu zazera do oči* («Абрам кому-л. заглядывает в глаза») [Семенова 2006: 190, 55]; чеш. *žid* 'пятно, грязная полоса' [PSJČ VIII: 1040] // слвц. *izák* 'пятно на стене от стекающей воды' [Machek$_2$: 727]. Ср. также ксенонимы, образованные от разных корней со значением «русский»: 'маринованная сардинка': укр. *москал'* [Горбач: 64] // польск. *moskalik* [SW 2: 1047] // чеш. *rus* [PSJČ IV/2: 1075].

2. Внутренняя форма$_1$ = внутренняя форма$_2$, семантика$_1$ ≈ семантика$_2$. При тождестве производящих основ наблюдается семантическое подобие ксенонимов.

• Наименьшая амплитуда семантических различий фиксируется в том случае, когда один и тот же образ лежит в основе ксенонимов, принадлежащих к одной тематической группе лексики (и обозначающих близкие разновидности растений, животных, заболеваний и др.): рус. твер. *жи́долка* 'рыба Cobitis taenia; щиповка, голец, подкаменщик' [СРНГ 9: 170] // блр. *жыдок* 'рыба верховодка' [ЖС: 68]; рус. влг. *цыганское мыло* 'растение Saponaria officinalis' [КСГРС] // слвц. *cigáňske midlo* 'растение грыжник, Herniaria hirsuta' [SSN I: 210]; чеш. *německá nemoc* 'недержание мочи' [Kott (př.1): 184] // слвц. *má ňemca* («имеет немца»), *ňemci ho naháňajú* («немцы за ним гонятся») 'о частом жидком стуле' [SSN II: 407].

• Амплитуда варьирования увеличивается в том случае, когда значения производных слов принадлежат разным тематическим группам

лексики, однако их объединяет общий семантический признак (дифференциальная сема). Так, рус. яросл. *жидовская кровь* 'застывшая смола' [ЛКТЭ] и польск. *zydzia krew* '*шутл.* о мармеладе' [SGO: 1085] имеют общие признаки цвета и консистенции вещества. Рус. арх. *жид* 'шар, по которому бьют палками в одноименной игре' [Покровский: 286] и франц. *le petit juif* («маленький еврей») 'чувствительное место на локте' [Robert 5: 853] (ср. также рус. простореч. *жида убить* 'сильно удариться локтем' [ЛЗА: Москва]) объединены признаком «объект воздействия (удара)».

3. Внутренняя форма$_1$ = внутренняя форма$_2$, семантика$_1$ ≠ семантика$_2$. При тождестве производящих основ семантическая связь ксенонимов отсутствует. Это тоже своего рода «нулевой» случай параллелизма, при котором не выполняется важное условие — семантическая коррелятивность производных единиц. В то же время мы сочли возможным упомянуть о такого рода отношениях для тех случаев, когда образ, отраженный в разных по значению этнонимах, обладает устойчивостью и высокой степенью «идиоматичности», образной эксклюзивности. Сила образа позволяет объединить разноплановые значения хотя бы ассоциативными связями.

Рассмотрим эту ситуацию на примере «цыганского молока». Принято считать, что кочующие цыгане не держат коров и не добывают молоко, поэтому образ «цыганского молока» является своеобразным аналогом «птичьего молока»: это что-то нереальное, парадоксальное. В украинском (лемк.) фразеологизме нереальное представлено как объект желания: *захцети са як циганяту молока* 'очень захотеть чего-л.' [ФСЛГ: 141]; в сербском оно оборачивается эфемерным: *кај цигáнско мл екó* 'ненадежный, ненадежно; кратковременно' [Марковић: 475]. В рус. брян. *цыганское молоко* 'растение (какое?)' [КСРНГ], вероятно, отражен признак «ненастоящего» сока этого растения, похожего на молоко (ср. близкий образ «цыганских сырков», представленный в названии мальвы, плоды которой содержат слизь: чеш. диал. *cigánské tvarůžky* [Hladká 2000: 174, 230]). Болг. сочетание *циганско мляко* 'род водки' [ФРБЕ 2: 498] тоже построено на «подмене» одной жидкости другой, в этот раз подмене шутливо-«эвфемистической» (ср. также рус. костр. *татарский чай* 'самогон' [ЛКТЭ], чеш. *valašský čaj* («валашский чай») 'водка с корицей, гвоздикой и медом' [SVN: 393]).

Другой образ — «цыганский гребень»: болг. *цѝгънски дърдàк* 'самодельный гребень для обработки шерсти, пеньки и др.' [БД 7: 166] // англ. *Gipsy comb* («цыганский гребень») 'колючая головка лопуха, Arctium Lappa', *Gipsy's combs* 'дикая ворсянка, Dipsacus sylvestris'

[EDD II: 620]; ср. также рус. одесск. *цыганóк* 'гребешок' — «Посли бани цыганком расщосывались, а патаму цыганок, што у цыган усигда пакупали» [СРГО 2: 269]. Очевидно, эти факты восстанавливают стереотип внешнего облика цыганки, носящей гребень. При различии в значениях слов здесь просвечивает единое представление — это «неправильный» гребень: болгары обратили внимание на его самодельность и «топорность» (им расчесывают не волосы, а шерсть); англичане еще больше «окарикатурили» образ, сравнив гребень с колючкой растения и сделав акцент на признаке «дикости» (в зеркале гиперболизирующей метафоры цыгане пьют сок растений вместо молока, умываются растительным мылом, расчесываются колючками и т. п.).

Сходным образом осмысляется в языке «цыганская ложка»: рус. одесск. *цыганские ложки* 'большие деревянные ложки' [СРГО 2: 269] // карел. *čigananluz'ikka* («цыганская ложка») 'папоротник' [СКЯ-Пунжина: 27].

Повторим: представленные выше факты не являются полноценными мотивационными параллелями, поскольку между производными значениями нет системных связей. Установление ассоциативных «сцепок» между значениями чревато исследовательским произволом, но отказываться от таких возможностей не хочется (неисчерпаемость образного потенциала языка всегда позволяет надеяться, что в будущем обнаружатся новые факты, прорисовывающие недостающие звенья, которые могли бы связать значения ксенонимов друг с другом).

Коррелятивность внутренних форм

При описании случаев, которые будут представлены ниже, встает проблема квалификации отношений между нетождественными внутренними формами. К последним будет применена традиционная терминология лексической системности (синонимия, антонимия), причем условность такой квалификации отмечается кавычками. Условность определяется тем, что в своих прямых значениях этнонимы не могут входить в отношения синонимии или антонимии; база для таких отношений возникает в результате семантической деривации, когда метафорический этноним приобретает качественную (характеризующую) семантику.

1. Внутренняя форма$_1$ ≈ внутренняя форма$_2$, семантика$_1$ = семантика$_2$. В данном случае этнические образы «синонимичны» друг другу, а производные значения совпадают. 'Плохо, небрежно': рус. нвсиб. *по-вятски* [СРГНО: 88] // польск. *po czerkiesku* [SW 1: 384]; 'рахит': слвц. *mad'arská choroba* // *anglická choroba* [Králik 2007: 29]; 'рыба Gobio fluviatilis, пескарь': болг. *циганчица* [Геров 5: 524] //

польск. *rusik* [Majewski II: 366]; 'игра испорченный телефон': англ. *Russian whisper* («русский шепот») = франц. *telephone Arabe* («телефон араба») [записано И. А. Седаковой от Э. Лайл]; 'чума': макед. *цыганка* (*еѓупка*) // *влашка* [Вражиновски: 433].

Данный тип параллелизма — «классический», «эталонный», он наилучшим образом иллюстрирует нейтрализацию различий между значениями производящих основ и выдвижение на первый план коннотативных сем «неполноценный», «вредоносный», «аномальный» и т. п.

2. Внутренняя форма$_1$ ≈ внутренняя форма$_2$, семантика$_1$ ≈ семантика$_2$. Здесь наблюдаются «синонимические» отношения между образами при подобии производных значений.

• Производные значения могут принадлежать к одной тематической группе: болг. *влашки спанакъ* («румынский шпинат») 'растение Chenopodium bonus, дикий шпинат' [Ахтаров: 344] // англ. *french spinach* («французский шпинат») 'лебеда садовая' [ABBYY Lingvo 11]; рус. влг. *хранцузики* 'подгоревшие при жарке вытопки от сала' [КСГРС] // укр. *цигани* 'подгорелые коржи' [Аркушин 2: 240]; слвц. диал. *cigánska lastovička, cigaňska lastovka* 'птица Hirundo rustica, ласточка обыкновенная' // *židovská lastoviška* 'птица Delichon' [Ferianc 1958: 168, 241].

Следует особо выделить последний пример, в котором параллельные факты фиксируются в одном языковом идиоме. В таких случаях трудно быть уверенным в том, что ксенонимы объединены именно отношениями «синонимии», а не «антонимии» (иначе говоря, различия между элементами тематической группы могут предполагать не сходство, а противопоставленность этих элементов). Судить об этом наверняка очень сложно. Единственный критерий, который поможет отличить «синонимию» от «антонимии», — это характер этнических образов. Если один из двух этнических образов, представленных в коррелятивной паре, является «своим» (обозначает свой этнос), то тогда логично предполагать его противопоставленность образу «чужому» (см. пункт 3 настоящего раздела классификации), а если оба образа «чужие», то перед нами, скорее всего, «синонимия». В словацкой паре, называющей близкие виды птиц, мы предполагаем «синонимию», поскольку образы еврея и цыгана регулярно выступают как взаимозаменяемые.

• Производные значения могут быть объединены общим семантическим признаком (дифференциальной семой): чеш. *židovská vanilka* 'чеснок' [SSJČ IV: 918] // польск. *cygański marcypan* 'набивка курительной трубки' [Karłowicz 3: 178] // *ruskie perfumy* 'газомет' [Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002: 114].

3. Внутренняя форма$_1$ ↑↓ внутренняя форма$_2$, семантика$_1$ ↑↓ семантика$_2$. В данном случае «антонимии» (противопоставленности) образов соответствует противпоставленность лексических значений ксенонимов. Эти отношения имеют место в одном языковом идиоме, при этом оппозицию этнических образов составляют образы «своего» и «чужого». Семантическая же оппозиция реализуется не только «традиционными» лексическими антонимами, но и теми словами, которые образуют таксономические оппозиции внутри какого-либо гипонимического класса (ряда), ср.: зап.-укр. *зазуля руска* 'кукушка' // *вудвуд жидовски* 'удод' [Гура 1997: 600–601]; слвц. диал. *panský strakoš* 'дятел обыкновенный, Lanius cristatus' // *anglický strakoš* 'дятел Lanius minor' [Ferianc 1958: 167–169] [6]; рус. арх. *татарский* (*бабий*) *узел* 'способ завязывания узла, при котором конец веревки идет в петлю с другой стороны, чем обычно' // *русский узел* 'узел, завязываемый традиционным способом' [КСГРС]; рус. *русские бобы* 'бобы, растение Vicia faba' // *турецкие бобы* 'фасоль' [Даль$_2$ I: 101]; рус. карел. *русские исподки* 'грубые, связанные в два слоя шерсти рукавицы для работы' // *панские исподки* 'рукавицы, связанные в один слой шерсти' [СРГК 2: 298]; болг. *български клини* («болгарские клинья») 'легкая форма паховой грыжи' // *турски клини* («турецкие клинья») 'тяжелая по форме протекания паховая грыжа' [ЕБНМ: 179] и др. [7].

Укажем, что пары, подобные вышеприведенным, встречаются гораздо реже, чем пары с немаркированным «своим» компонентом, т. е. такие, в которых опущено «свое» этническое определение. Оно оказывается избыточным, поскольку предполагает норму, стандарт — в

---

[6] Как указывает О. Ферианц, эпитет *anglický* в данном случае обозначает «чужой», отличный от обычного дятла [Ferianc 1958: 168].

[7] Мы не рассматриваем многочисленные случаи, когда оппозитивные пары имеют терминологическое значение, отражая объективно существующие различия реалий, ср.: *русский петух* // *английский петух* 'породы петухов для петушиных боев' [ЯСМ: 532], *русская рубаха* 'косоворотка' // *польская рубаха* 'с воротом' [Даль$_2$ IV: 114], *русское масло* // *чухонское масло* — «То пахтанное или битое масло, чухонское, а это мешаное, топленое, русское» [Даль$_2$ III: 26, 107], твер. *русская крыша* 'под слегу, когда солома наваливается вилами и пригнетается переметинами' // *польская крыша* 'крытая соломой не ворохом, а снопами, вгладь, со стрехой, обрубом' [Даль$_2$ III: 267] и др. Оппозиции такого рода классифицируют, а не оценивают. У ксенонимических пар оценочный компонент выражен более ощутимо (хотя элемент классификации тоже может быть проявлен).

то время как «чужое» определение обозначает аномалию, ср.: {*канифоль*} // твер. *карельская канифоль* 'канифоль плохого качества' [СРНГ 13: 86]; {ива} // костр. *татарская ива* 'ива, с которой не дерется кора' [ЛКТЭ]; {чеш. *brambory* 'картошка'} // *židovské brambory* («еврейская картошка») 'клубни топинамбура' [PSJČ VIII: 1043] и мн. др.

4. Внутренняя форма$_1$ ⇅ внутренняя форма$_2$, семантика$_1$ = семантика$_2$. Данной формулой описываются ситуации, когда «антонимии» образов соответствует семантическое тождество ксенонимов. Эти отношения проявляются обязательно в разных языковых идиомах, но говорить о самом факте таких отношений можно только в том случае, когда мы уверены в том, что лексические единицы возникли в ситуации лингвокультурного контакта, т. е. имел место «диалог народов» на «языке» номинативных моделей: в языке$_1$ появляется негативный ксеноним, направленный на народ$_2$, в качестве ответного шага в языке$_2$ создается ксеноним с тем же значением, в основу которого положено название народа$_1$.

Рассмотрим такой пример. В языках урало-алтайских народов, проживающих на севере Евразии, фиксируется номинативная модель, отражающая иерархические отношения между созвездиями: «центром» звездного неба, ярким и значимым в хозяйственном отношении созвездием является Большая Медведица, имя которой вводится в оппозицию по отношению к названиям менее ярких и важных объектов — Кассиопеи и Малой Медведицы. Эта антитеза формулируется с помощью ксенономинации: Большая Медведица признается «своим» созвездием (но определение «свой» чаще всего выражается нулевым способом, опускается), а Кассиопея и Малая Медведица трактуются как «чужая» Большая Медведица. Так, в финском языке Большая Медведица называется *Otava* или *Suomen* («финская») *Otava*, Кассиопея дублирует это название с эпитетом «русская»: *Ryssän Otava*, *Venäjän Otava* [Рут 1988: 86], а Малая Медведица — с эпитетами «саамская» или «шведская»: *Lapin* («саамская») *Otava* 'Малая Медведица' [ФРС: 428], *Ruotsin* («шведская) *Otava* 'то же' [SKES: 442]. Такие же отношения повторяются в некоторых других финно-угорских и тюркских языках: эст. *Rootsi* («шведская») *Otava* 'Пояс Ориона; Малая Медведица' [SKES: 442], нен. *Хăби" Со"ŏм'* («остяцкая Большая Медведица») 'Малая Медведица', якут. *sāmaj araŋas sulusa* («самоедская Большая Медведица») 'Кассиопея', *toŋus araŋas sulusa* («тунгусская Большая Медведица») 'Малая Медведица' [Аникин ЭСС: 432, 481, 566–567]. Эта модель фиксируется и в говорах Русского Севера, функционирующих в условиях интенсивных русско-финно-угорских

контактов: *Остяцкая Лось*, *Лось Остяцкая* 'Кассиопея' [СРНГ 17: 155; 24: 95], ср. также печор. *Немецкий Лось* 'Плеяды' [СРГНП 1: 475] (при поволж., севернорус., сиб., урал. *Лось* 'Большая Медведица' [СРНГ 17: 155]). Как видим, в русских говорах этническая составляющая меняется «с точностью до наоборот». Подобные отношения связывают русское и финское названия Плеяд: фин. *Venäjän Virsu* («русский лапоть») [Рут 1988: 86] // рус. арх. *Чухонский Лапоть* (*Лапоть*) [Рут 1992: 54]. Думая о генезисе модели в русских говорах, уместно предположить, что столь точные — но с «зеркальным переворачиванием» — соответствия номинативных моделей в русском и финно-угорских языках указывают на факт калькирования. Что касается направления калькирования, то явно здесь реализован путь от финно-угров к русским: охотники-финны более активны в номинативном освоении неба, чем севернорусские крестьяне, которые заимствовали у финно-угорских народов целый ряд астронимов, см. [Рут 1988].

Таким образом, «антонимичным» здесь остается лишь механизм образования (смысловое отталкивание), формула же явления соответствует формуле синонимии (одной семеме соответствуют две лексемы). Этот вариант мотивационного параллелизма столь же интересен, сколь и труден для обнаружения, поскольку он предполагает учет собственно механизмов номинации, т. е. решение вопроса о том, типологическим или контактным путем возникли номинативные модели. «Антонимия» возможна только при контактном пути, предполагающем в данном случае калькирование с «переворачиванием» — не только пассивный перевод чужой модели, но и адаптацию ее к собственным этнокультурным условиям, что предполагает замену этнической составляющей.

Вероятно, к числу интересующих нас случаев относятся эпизоды «перебранки», которую ведут между собой французы и англичане, давая одним и тем же реалиям и явлениям имя соседей по ту сторону Ла-Манша. Так, эти народы приписывают друг другу первенство в изобретении или использовании презервативов: англ. *french letter*, *french safe* 'презерватив' // франц. *capote anglaise* («английский плащ») 'то же' [Winkler 1994: 333]. Показательны также способы выражения значения 'уйти не попрощавшись'. Французы считают такую манеру поведения (оцениваемую негативно) типично английской: франц. *partir à l'anglaise* [ABBYY Lingvo 11], — в то время как англичане думают, что так поступают французы: англ. *to take a French leave* 'уйти не попрощавшись', ср. также сленг. *French leave* 'прогул', '*воен.* самовольная отлучка' [НБАРС 1: 818]. Эти выражения кальки-

рованы в литературные языки других народов Европы: нем. (*auf*) *französisch Abschied nehmen*, словен. *oditi po francosko*, рус. *уйти по-английски*, чеш. *zmizel po anglicku* и др. Но есть и другие нации, которые считаются «носителями» такого поведения: франц. (канад.) *partir eu Sauvage* («уйти как индейцы») [Кривоногова 1999: 295], мальтийск. «уйти как жители острова Гоцо[8]» [записано И. А. Седаковой от Дж. Мифсуд-Чиркапа]; ср. также нем. *der Holländer machen* («сделать голландца») 'убежать, спастись бегством (считается, что это выражение характеризовало голландских наемных солдат прежних времен, которые, как думали немцы, убегают с поля боя)' [Komenda: 50–51], англ. *to do the Dutch act* 'дать деру, удрать; навострить лыжи' [НБАРС 1: 634]. Наличие более широкого списка параллелей, нежели только англо-французская пара, осложняет решение вопроса о генезисе рассматриваемых идиом: каждый элемент списка мог возникнуть независимо от других, «вне диалога» — в соответствии с логикой наделения инородцев (и в первую очередь ближайших соседей-врагов) негативными чертами характера и манерой поведения. Во внедиалоговом режиме вопрос об «антонимии» ставиться не может, поскольку нет единого контекста, в котором может происходить противопоставление (отталкивание) этнических образов.

Во всех случаях, которые рассматривались выше, параллели носят внутрисистемный характер, т. е. принадлежат одному мотивирующему коду в системе естественного языка. Однако понятие мотивационного параллелизма может быть расширено и распространено на более широкий круг фактов, допускающих выход, во-первых, за пределы одного мотивирующего кода, во-вторых, за рамки языковой системы.

Преодолев рамки одного мотивирующего языкового кода, мы получим параллели, которые объединяют лексемы из тематически различных мотивирующих кодов, дающих тождественные или сходные производные значения. Продолжая использовать для обозначения отношений между внутренними формами терминологию лексической системности, можно употребить в данном случае термин «АНАЛОГИ», понимая под ними единицы, обладающие смысловым сходством, но находящиеся на большем расстоянии друг от друга, чем «синонимы»: при различиях в тематических (таксономических) характеристиках «аналоги» имеют сходство на уровне оценочной, коннотативной семантики.

---

[8] Гоцо — один из островов Мальты.

В качестве «аналогов» по отношению к обозначениям инородцев выступают названия животных (как правило, пейоративно оцениваемых — свинья, волк, собака), нечистой силы, нежелательных пришельцев — солдат или гостей, субъектов с низким социальным статусом — женщин и сирот и др. 'Туман': рус. костр. *вятские баню топят* [ЛКТЭ] // арх. *черти баню топят* // влг. *зайцы баню топят* [КСГРС]; 'теплая малоснежная зима': рус. влг. *цыганская зима* [КСГРС] // литер. *сиротская зима*; 'молескин, грубая ткань': нем. *Englischleder* («английская кожа») [ABBYY Lingvo 11] // рус. простореч. *чертова кожа*; 'menses': рус. *вятские приехали* [СПГ 1: 154] // жарг. *сестра из Краснодара приехала* [ЛЗА: Екатеринбург] // *красная армия в гости пожаловала, тетка пришла* [Журавлев 2005: 399] // блр. *гости заехали* [ПЛНМ: 33] // польск. *krewni przyjechali* [Dąbrowska: 79]; 'белладонна, сонная одурь': польск. *żydówka* // *psia wiśnia* // *wilcza jagoda* [Majewski 1: 101]; 'растение козлец, Arum maculatum L.': болг. *цигано грозде* // *змийско грозде* [Ахтаров: 537] etc.

Другая возможность расширить границы мотивационного параллелизма — вывести его за пределы языковой системы. В этом случае мы получим КУЛЬТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ. Они относятся к одному мотивирующему концептуальному коду, но фиксируются как в системе языка, так и в фольклорных текстах, ритуалах, верованиях и др.

В качестве примера рассмотрим «инородческий» образ гречихи. Различные культурные злаки (как и растения вообще) в народных представлениях нередко подвергаются ценностному ранжированию, при котором одно из растений считается «своим» и наделяется более высоким статусом, а другое квалифицируется как «чужое» и считается «сниженной» парой «своего». Такие отношения объединяют «белую» пшеницу и «черную» гречиху. В разных славянских языках гречиха (Fagopyron esculentum) получает целый ряд «инородческих» обозначений: рус. литер. *гречиха*, яросл. *цыганская пшеница* [ЛКТЭ], слвц., польск. *tatarka*, чеш. *pohanka* [Machek 1954: 88], диал. *němkyně* («немка») [Dial-Brno], польск. диал. *litewka* [SW II: 753]; ср. также франц. *le Sarrasin* [Анненков: 143][9]. Не все элементы этого ряда отражают истинную культурную историю гречихи: говоры ведут ее происхождение как из восточных стран (что признается «официаль-

[9] Отметим, что сам по себе этот ряд помогает раскрыть мотивировки входящих в него элементов: к примеру, на фоне других названий подтверждается возможность «инородческой» мотивации польск. *litewka* (ср. мнение А. П. Непокупного, который склонен отрицать отэтнонимическое происхождение этого слова [Непокупный 1976: 155]).

но»: считается, что гречиха появилась в Европе из Восточной Азии [Machek 1954: 88]), так и от немцев и литовцев, — и даже связывают ее с цыганами. Таким образом, язык дает представление о гречихе как «варварской» пшенице, которую возделывают инородцы. Это представление фиксируется и вне системы языка: так, поляки считают, что мазуры сеют гречиху вместо пшеницы [Kopaliński: 670]; по мнению жителей Восточной Моравии, валахи не знали пшеницы, а выращивали испокон веков гречиху [Dial-Brno]. Ср. также рус. яросл. загадку о зернах гречихи: «Маленькие цыганята весь мир накормили» [ЭМТЭ].

Представленная типология преследует не только цель систематизации материала, но и призвана помочь в решении ряда других проблем мотивологического анализа — в частности, вопроса о происхождении параллелей (контактного или типологического) и связанного с ним вопроса об их продуктивности/регулярности. Выше рассматривались эпизоды, где требовался учет механизмов образования параллелей (при установлении отношений «антонимии» между параллелями в разных языковых идиомах). Каждый случай требует исключительно «штучного» подхода, но все же могут быть предложены некоторые критерии, позволяющие предпочесть контактный или типологический вариант. Оговоримся, что в данном случае мы не учитываем традиционные для такой проблематики «внешние» критерии социолингвистического, лингвогеографического плана etc., а имеем в виду только лишь критерии внутрисистемные.

1. Структурная и образная сложность параллелей. Чем выше сложность строения лексических единиц (как морфолого-синтаксическая, так и образная) и чем выше при этом степень сходства между ними, тем менее вероятен типологический механизм возникновения параллелей.

2. Семантическое расстояние между производящим и производным значением (по «вертикали»). Чем ближе производящая и производная семантика друг к другу, тем более простое когнитивное усилие должен сделать субъект номинации, пытающийся выразить одно через другое, тем более регулярна модель смыслового перехода. Таким образом, при малом смысловом расстоянии типология более вероятна. К примеру, высокой степенью регулярности и, соответственно, типологическим звучанием обладает модель «говорить на иностранном языке» → «говорить непонятно» (и далее «нести вздор, галиматью»).

3. Конкретность vs абстрактность, рациональность vs экспрессивность семантики. Чем выше степень конкрет-

ности, «вещественности» («этнографичности») семантики и чем ниже степень ее экспрессивности, тем менее вероятна типология. Абстрактные характеристики (например, обозначения черт характера человека, обобщенные рациональные и экспрессивные оценки — 'правильно'/'неправильно', 'хорошо'/'плохо') более «типологичны» (в нашем случае — дают большое количество разнообразных ксенонимов, объединенных параллелизмом), а среди наименований артефактов — блюд, устройств и приспособлений и др. — параллели раритетны. В последнем случае их появление возможно в той мере, в какой денотат допускает экспрессию, оценку. К примеру, такая реалия, как лампа без стекла (дающая слабый, неровный свет), оценивается с долей экспрессии, что выражается параллельными ксенонимами: польск. *cyganek* [SGP IV/3: 578] // *żydek* [SW VIII: 732] // рус. влг. *чухарское солнышко* [КСГРС].

4. Диапазон вариативности внутренних форм в соотношении с «плотностью» параллелей в языковом идиоме. Чем шире диапазон вариативности внутренних форм, тем более вероятна типология; к примеру, в европейских наименованиях таракана представлен целый «парад наций»: «гураль», «датчанин», «каталонец», «киргиз», «пошехон» и др. (подробнее см. в [Березович 2007: 427–428]). Таким образом, параллели с коррелятивными (нетождественными) внутренними формами претендуют на статус типологических, а параллели с тождественными внутренними формами — на статус контактных или генетических. Однако следует делать поправку на такой фактор, как «плотность» параллелей. При высокой плотности (большом количестве) параллелей в одном или смежных (контактирующих) языковых идиомах можно предполагать не столько типологическую активность модели, сколько особый вариант контактного происхождения параллелей: речь идет не о межъязыковом контактировании, а о внутрисистемном номинативном «заражении», когда яркая модель начинает тиражироваться в небольшом лексическом пространстве, ср., к примеру, ряд обозначений таракана (Blatta germanica) в мазовецких говорах Польши: польск. *hiszpan // persak // góral // japonec // mazyr // moskal // szwab* [AGM: 82].

5. Прагматика номинативной деятельности. В ряде случаев при образовании параллельных номинаций требуется единство номинативного контекста, ситуации номинации. Это происходит тогда, когда говорящий не только называет и характеризует объекты действительности, но и испытывает потребность в более «связном» выражении отношения к ним, противопоставляя их по какому-либо

основанию (в нашем случае — в духе оппозиции «свое/чужое»). Тогда наблюдается «антонимия» внутренних форм, которая всегда предполагает контактный путь образования параллелей. Такой «антонимии» может соответствовать противопоставленность денотатов (в этом случае она разворачивается в одном языковом идиоме, ср. выше пары типа *татарский узел // русский узел*) или же противопоставленность представлений об этносах, которые оказываются связанными с одним и тем же денотатом (это имеет место в разных языковых идиомах, когда народы «дразнят» друг друга с помощью ксенонимов: при калькировании ксенонима происходит замена этнонимической основы, приписывающей какие-то негативные свойства чужому народу, на имя народа, в языке которого был порожден исходный ксеноним, ср. названия Кассиопеи с внутренней формой «русская Большая Медведица» // «остяцкая Большая Медведица»).

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аникин ЭСЗСиб — *Аникин А. Е.* Этимологический словарь русских заимствований в языках Сибири. Новосибирск, 2003.

Аникин ЭСС — *Аникин А. Е.* Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М.; Новосибирск, 2000.

Анненков — Ботанический словарь: Справочная книга для ботаников, сельских хозяев, садоводов... / Сост. Н. Анненков. СПб., 1878.

Аркушин — *Аркушин Г. Л.* Словник західнополіських говірок. Луцьк, 2000. Т. 1–2.

Ахтаров — Материали за български ботаниченъ речникъ / Ред. Б. Ахтаровъ. София, 1939.

Бартминьский 2005 — *Бартминьский Е.* Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005.

БД — Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962–1981. Кн. I–X.

БДПА — Полесский архив Института славяноведения РАН: база данных (Ин-т славяноведения РАН, сектор этнолингвистики и фольклора).

Березович 2007 — *Березович Е. Л.* Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М., 2007.

БСЖ — *Мокиенко В. М., Никитина Т. Г.* Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.

Вакарелска-Чобанска — *Вакарелска-Чобанска Д.* Речник на самоковския говор. София, 2005.

Вражиновски — *Вражиновски Т.* Речник на народната митологија на Македонците. Прилеп–Скопје, 2000.

Геров — *Геров Н.* Речникъ на блъгарския език. Пловдивъ, 1895–1904. Ч. I–V.

Горбач — *Горбач О.* Північно-наддністрянська говірка й діялектний словник с. Романів Львівської области. Мюнхен, 1965.

Гринченко — Словарь украинского языка / Сост. Б. Гринченко. Киев, 1907–1909. Т. 1–4.

Гура 1997 — *Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

Даль$_2$ — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1880–1882 (1955). Т. I–IV.

ДСБ — Дыялектный слоўнік Брэстчыны. Мінск, 1989.

ЕБНМ — Енциклопедия българска народна медицина. София, 1999.

Елезовић — *Елезовић Гл.* Речник косовско-метохијског дијалекта // Српски дијалектолошки зборник IV. Београд, 1932; VI. Београд, 1935. Књ. I–II.

Жмурко — *Жмурко О. И.* Лексика природы: Опыт тематического словаря говоров Ивановской области. Иваново, 2001.

ЖС — Жывёльны свет: Тэматычны слоўнік. Мінск, 1999.

Журавлев 2005 — *Журавлев А. Ф.* Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005.

Кривоногова 1999 — *Кривоногова М. М.* Национальное своеобразие фразеологических единиц различных вариантов одного языка (на примере французского языка в Квебеке и Франции) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 294–299.

КСГРС — картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).

КСРНГ — картотека Словаря русских народных говоров (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург).

КЭИС — картотека Этноидеографического словаря русских говоров Свердловской области (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).

ЛЗА — личные записи автора (материалы современной русской разговорной речи, собранные преимущественно в Екатеринбурге и Москве).

ЛКТЭ — лексическая картотека ТЭ УрГУ (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).

Марковић — *Марковић М.* Речник народног говора у Црной Реци // Српски дијалектолошки зборник XXXII. Београд, 1986. С. 243–500.

НБАРС — Новый большой англо-русский словарь. М., 2002. Т. 1–3.

Непокупный 1976 — *Непокупный А. П.* Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.

Номис — Українські приказки, прислів'я і таке інше. Уклав М. Номис. Київ, 1993.

ОСВГ — Областной словарь вятских говоров. Киров, 2006. Вып. 4: Е–И.

ПЛНМ — *Никончук М. В., Никончук О. М., Мойсієнко В. М.* Поліська лексика народної медицини та лікувальної магії. Житомир, 2001.

Покровский — *Е. А. Покровский.* Детские игры: преимущественно русские. СПб., 1994 (репринт — М., 1895).

Попов — *Попов Г. И.* Русская народно-бытовая медицина: По материалам этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева // *Торэн М. Д.* Русская народная медицина и психотерапия. СПб., 1996. С. 277–471.

Пушкарева 2005 — *Пушкарева Н. Л.* «Мед и млеко под языком у нее». (Женские и мужские уста в церковном и светском дискурсах России X — начала XIX в.) // Тело в русской культуре. М., 2005. С. 78–102.

РБЕ — Речник на българския език. София, 1977–. Т. 1–.

Рут 1988 — *Рут М. Э.* Взаимодействие языков в области народной астронимии // Русский язык в его взаимодействии с другими языками. Тюмень, 1988. С. 84–89.

Рут 1992 — *Рут М. Э.* Образная номинация в русском языке. Екатеринбург, 1992.

СВЯ — *Зайцева М. И., Муллонен М. И.* Словарь вепсского языка. Л., 1972.

СГРС — Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001–. Т. 1–.

СД — Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. М., 1995–. Т. 1–.

Семенова 2006 — *Семенова А. В.* Идеографическая классификация кашубской фразеологии и языковая картина мира кашубов: Дис. … канд. филол. наук. М., 2006.

Симоновић — *Симоновић Д.* Ботанички речник: Имена биљака. Београд, 1959.

СКЯ-Пунжина — Словарь карельского языка (тверские говоры) / Сост. А. В. Пунжина. Петрозаводск, 1994.

СМА — *Елистратов В. С.* Словарь московского арго: Мат-лы. 1980–1994 гг. М., 1994.

СОС — Смоленский областной словарь / Сост. В. Н. Добровольский. Смоленск, 1914.

СПЗБ — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларуси і яе пагранічча. Мінск, 1978–1986. Т. 1–5.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–2005. Вып. 1–6.

СРГНО — Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.

СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры. СПб., 2003–2005. Т. 1–2.

СРГО — Словарь русских говоров Одесщины. Одесса, 2000. Т. 1–2.

СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964–1987. Т. 1–7.

ССРГ — Словарь современного русского города. М., 2003.

Тищенко 2007 — *Тищенко О. В.* Мовно-культурний образ «своїх і чужих» в етнономінаціях: семантика й прагматика (на матеріалі західно- та східнослов'янських мов і фольклору) // Слов'янський вісник. Ривне, 2007. Вип. 7. С. 3–14.

Толстая 1999 — *Толстая С. М. Играть* и *гулять*: семантический параллелизм // Этимология 1997–1999. М., 2000. С. 164–171.

Толстая 2003 — *Толстая С. М.* Семантическая реконструкция и проблема синонимии в праславянской лексике // Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов. Докл. рос. делегации. М., 2003. С. 549–563.

ФРБЕ — *Ничева К., Спасова-Михайлова С., Чолакова К.* Фразеологичен речник на българския език. София, 1974–1975. Т. 1–2.

ФРС — Финско-русский словарь. Таллинн, 1998.

ФСЛГ — *Вархол Н., Івченко А.* Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини. Братіслава, 1990.

ЭМТЭ — картотека фольклорных и этнографических материалов ТЭ УрГУ (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ, Екатеринбург).

ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978–. Т. 1–.

Юдин 2007 — *Юдин А. В.* Ономастикон восточнославянских загадок. М., 2007.

ЯСМ — *Елистратов В. С.* Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический словарь. М., 2004.

ABBYY Lingvo 11 — ABBYY Lingvo 11: шесть языков. Электронный словарь [www.lingvo.ru].

AGM — *Kowalska A., Strzyzewska-Zaremba A.* Atlas gwar mazowieckich. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1985. T. 7, cz. 2.

Bartmiński, Lappo, Majer-Baranowska 2002 — *Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U.* Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie // Etnolingwistyka: Problemy języka i kultury. Lublin, 2002. № 14. S. 105–152.

Birken-Silverman 1993 — *Birken-Silverman G.* Bedeutungsentwicklungen ethnischer Appellativa in den romanischen Sprachen // Sprache — Kommunikation — Informatik. Akten des 26. Linguistischen Kolloquiums. Poznań, 1991. Tübingen, 1993. Bd. 2. S. 447–454.

Brzeziński — *Brzeziński W.* Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem. Wrocław, 1982–. T. 1–.

Dąbrowska — *Dąbrowska A.* Słownik eufemizmów polskich. Warszawa, 2005.

Dial-Brno — архив отдела диалектологии Института чешского языка Академии наук Чешской Республики (Брно).

EDD — The English Dialect Dictionary. Oxford, 1981. Vol. I–VI.

Ferianc 1958 — *Ferianc O.* Slovenské názvoslovie vtákov. Bratislava, 1958.

Hladká 2000 — *Hladká Z.* Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: K sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Brno, 2000.

Karłowicz — *Karlowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911. T. 1–6.

Komenda — *Komenda B.* Holendrować z angielskim humorem: Słownik znaczeń sekundarnych nazw narodowości i krajów w języku niemeckim i polskim. Szczecin, 2003.

Kopaliński — *Kopaliński W.* Słownik mitów i tadycji kultury. Warszawa, 1985–2001.

Kott (př. 1) — *Kott F.* Příspěvky k česko-německému slovníku. Praha, 1896. Sv. 8.

Králik 2007 — *Králik L.* Überlegungen zum Zusammenhang zwischen dem übertragenen Gebrauch von Ethnika im Slowakischen und der Existenz ethnischer Stereotype // Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Sonderdruck, 2007. S. 25–38.

Machek 1954 — *Machek V.* Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954.

Machek$_2$ — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého / Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968 (1971).

Majewski — *Majewski E.* Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich. Warszawa, 1889–1894. T. 1–2.

Müller — *Müller K.-L.* Übertragener Gebrauch von Ethnika in der Romania. Eine vergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung der englischen und der deutschen Sprache. Meisenheim am Glan, 1973.

Ondrusz — *Ondrusz J.* Przysłowia i przemówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego. Wrocław, 1960.

PSJČ — Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. D. 1–8.

Robert — *Robert P.* Grand Robert de la langue française. Paris, 1990. T. 1–9.

SGO — *Kąś J.* Słownik gwary Orawskiej. Kraków, 1900–1911. T. 1–6.

SGP — Słownik gwar polskich. Kraków, 1979–. T.1, z.1–.

SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1958–1981. T. 1–7.

SSJČ — Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1960–1971. T. I–IV.

SSN — Slovník slovenských nárečí. Bratislava, 1994–. T. I–.

Steffen — *Steffen W.* Słownik warmiński. Wrocław etc., 1984.

SVN — Slovník valašského nářečí / Sest. S. Kazmíř. Vsetín, 2001.

SW — *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1904–1927 (1952–1953). T. I–VIII.

Sychta — *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976. T. 1–7.

Winkler 1994 — *Winkler A.* Ethnische Schimpfwörter und übertragener Gebrauch von Ethnika // Muttersprache. 1994. № 4. S. 320–337.

А. В. Бондарко

Дифференциация и интеграция в системе категориальных единств

1. Типы категориальных единств. Говоря о категориальных единствах, мы имеем в виду понятие, интегрирующее различные типы категорий и разрядов в сфере грамматики. В рамках данного понятия выявляются особенности и связи охватываемых им системных объектов[1].

Тенденция к интеграции системных объектов в области грамматики проявляется в языковедческой традиции. Так, понятие «грамматическая категория» в истолковании А. А. Потебни используется по отношению к таким предметам анализа, как имя существительное, глагол, время, совершенность и несовершенность, число, одушевленность и неодушевленность, 3-е лицо, творительный падеж [Потебня 1958: 38–55, 82]. Широкое истолкование понятия «грамматическая категория» встречается и в литературе более позднего времени. В статье М. Докулила под понятие «грамматическая категория» подводятся такие объекты, как имя существительное, одушевленные существительные, инфинитив, спрягаемый глагол, время, настоящее время, подлежащее, придаточное предложение [Докулил 1967: 4–5]. В подобных интерпретациях грамматических категорий находят отражение общие признаки системных классов в сфере грамматики, отличающие их от лексических единиц.

Могут быть выделены категориальные единства трех типов: а) грамматические, б) лексико-грамматические и в) функционально-семантические. Имеются в виду:

а) грамматические категории (вид, время, наклонение, лицо и т. п.) и синтаксические конструкции (содержательно-структурные разновидности предложений и словосочетаний, представляющие собой синтаксические единства);

б) части речи и выделяемые в их составе лексико-грамматические классы (ср. предельные и непредельные, переходные и непереходные,

---

Исследование осуществлено при содействии Фонда Президента РФ на поддержку ведущих научных школ, грант НШ-6124.2006.6.

[1] В ранее опубликованных работах (см. [Бондарко 2002: 303–309; 2004: 34–42]) шла речь о «грамматических единствах». В настоящее время представляется, что терминологический вариант «категориальное единство» в большей мере соответствует содержанию данного обобщающего понятия.

личные и безличные глаголы и т. п.), а также более дробные разряды (например, способы действия);

в) семантические категории в их языковом выражении (в разрабатываемой нами модели функциональной грамматики — функционально-семантические поля, например, аспектуальность, темпоральность, квалитативность, локативность, бытийность).

В дальнейшем изложении дается более подробная характеристика выделяемых типов категориальных единств.

2. Грамматические единства. При анализе языков разных типов понятие «грамматическая категория» (ГК) получает истолкование, учитывающее многообразие возможных типов категориальных структур (см., в частности, [Плунгян 2003: 109, 130–141]). По отношению к славянским языкам (и шире — к языкам флективно-синтетического и флективно-аналитического типов) ГК трактуется нами как система рядов грамматических форм с категориальным значением, представляющим собой родовое понятие по отношению к значениям компонентов данной категории как понятиям видовым. Категориальный родовой признак (наклонения, времени, лица, числа и т. п.) раскрывается в видовых признаках противопоставленных друг другу граммем (разных наклонений, времен, лиц, чисел и т. п.).

Данная трактовка ГК ориентирована на морфологические категории (ср. глагольные категории вида, времени, наклонения и т. п.). Термин «грамматическая категория» применительно к синтаксису нередко выступает в таких выражениях, как «грамматическая категория подлежащего», «категория вводности», «категория обособления», «категория простого предложения», «категория предикативности». Фактически речь идет о тех системных объектах в сфере синтаксиса, которые можно назвать синтаксическими единствами. Поскольку объединение морфологических и синтаксических структур в едином понятии ГК встречается с существенными затруднениями, синтаксические конструкции, на наш взгляд, целесообразно рассматривать как особую разновидность грамматических единств (наряду с ГК) — синтаксические единства.

Один из существенных аспектов классификации ГК основан на отношении их компонентов к лексическим значениям словоформ. Обычно речь идет о словоизменительных и несловоизменительных (классификационных, словоклассифицирующих) категориях. Предлагаемая нами классификация базируется на признаке коррелятивности. Коррелятивность трактуется нами как соотношение компонентов данной ГК (граммем) в тех условиях, когда разные граммемы противо-

поставлены друг другу в рамках одного и того же лексического значения. Могут быть выделены два типа коррелятивности: 1) соотносительность форм одного и того же слова; 2) соотносительность лексически тождественных форм за пределами словоизменения, т.е. форм разных слов. Коррелятивность в пределах одного и того же слова — это свойство структуры словоизменительных категорий (ср., например, соотносительность граммем ед. и мн. числа: *лампа — лампы* и т. п.). Говоря о коррелятивности в рамках одного и того же лексического значения, но не одного и того же слова, мы имеем в виду структуру тех категорий, которые не могут быть признаны словоизменительными, однако допускают возможность соотносительности граммем в условиях тождества лексического значения (ср., например, видовые пары типа *делать — сделать*: видовое противопоставление проходит в рамках одного и того же лексического значения; при этом члены видовых пар рассматриваются нами как разные слова).

Особенностью предлагаемого истолкования соотносительности граммем, конституирующих определенную ГК, является признание того, что понятие коррелятивности охватывает не только формы одного и того же слова (например, формы лица *пишу — пишешь — пишет* и т. п.), но и формы разных слов (ср., например, формы глагольного вида: *переписать — переписывать, писать — написать* и т. п., залоговые формы типа *рассматривать — рассматриваться)*. Этим предлагаемая интерпретация коррелятивности отличается от трактовки данного понятия, ограничивающей сферу коррелятивности лишь соотносительностью граммем в рамках одного и того же слова. Классификационная схема включает ГК трех типов: а) последовательно коррелятивные; б) непоследовательно коррелятивные; в) некоррелятивные (см. [Бондарко 2004: 67–78; 2005: 44–112; 207–211]).

3. Лексико-грамматические единства. Выявляется иерархия рассматриваемых системных объектов. Единства I ранга — части речи. Единства II ранга — выделяемые в составе частей речи наиболее крупные классы лексики — лексико-грамматические классы (ЛГК). Имеются в виду обладающие общим семантическим признаком группировки слов в рамках данной части речи (т. е. ее подклассы), взаимодействующие с семантически связанными с ними морфологическими категориями. ЛГК представлены в таких противопоставлениях, как имена существительные считаемые и несчитаемые, одушевленные и неодушевленные, прилагательные качественные, относительные и притяжательные, глаголы предельные и непредельные, переходные и

непереходные, личные и безличные. В отличие от морфологических категорий, соотношения рассматриваемых разрядов не представляют собой оппозиций рядов морфологических форм (оппозиций граммем). Единства III ранга — это выделяемые в рамках ЛГК лексико-грамматические разряды (ЛГР); ср. такие ЛГР, как существительные конкретные, вещественные, собирательные, отвлеченные и т. п., способы действия глагола (начинательный, ограничительный, прерывисто-смягчительный, кумулятивный и т. п.)[2].

Между грамматическими и лексико-грамматическими единствами нет резкой грани. Трудности проводимого членения сопряжены прежде всего с характеристикой частей речи. Следует обратить внимание на те особенности частей речи, которые сближают их с собственно грамматическими единствами. Части речи отличаются друг от друга по составу свойственных им морфологических категорий и по синтаксическим признакам. Они обладают категориальными значениями, которые охватывают всю лексику внутри данного грамматически характеризованного класса слов. Вместе с тем есть основания для отнесения частей речи к сфере лексико-грамматических единств (имеется в виду статус единства наиболее высокого ранга). Хотя лексика, относящаяся к той или иной части речи, является грамматически характеризованной, т. е. отличается определенным комплексом грамматических форм, части речи представляют собой классы слов. Это обширные классы лексики, в рамках которых выделяются лексико-грамматические разряды. Значение части речи обусловливает общий характер семантики лексико-грамматических классов и более дробных разрядов. Ср. присущее имени существительному значение предметности и семантические признаки одушевленности/неодушевленности, вещественности и т. д. Итак, при всех признаках близости к собственно грамматическим единствам части речи целесообразно трактовать как единства лексико-грамматические.

Воздействие лексико-грамматических единств на семантически связанные с ними ГК проявляется прежде всего в том, что рассматриваемые ЛГК и ЛГР могут определять соотносительность/несоотносительность компонентов данной категории. Так, от принадлежности

---

[2] Для разработки вопроса о грамматических и лексико-грамматических единствах важное значение имеют суждения Ю. С. Маслова о грамматической категории вида в ее отношении к аспектуальным классам (имеются в виду глаголы действия, состояния и отношения, глаголы предельные и непредельные) и подклассам (способам действия) [Маслов 1984: 8–15; 2004: 27–34].

глаголов к ЛГК с признаками предельности/непредельности и от способов действия зависит видовая соотносительность/несоотносительность; классы переходных/непереходных глаголов, а также разряды возвратных глаголов определяют соотносительность/несоотносительность действительного и страдательного залогов; принадлежность имен существительных к ЛГР конкретных, с одной стороны, или к разрядам собирательных, вещественных и отвлеченных — с другой, обусловливает соотносительность/несоотносительность форм числа; формы степени сравнения присущи лишь качественным прилагательным (при невозможности образования этих форм от прилагательных относительных и притяжательных).

Один из сложных вопросов, связанных с изучением лексико-грамматических единств, — соотношение морфемно характеризованных и нехарактеризованных ЛГР (см. суждения Ю. С. Маслова о способах действия: [Маслов 1965: 71–72; 2004: 385–386]). Ср. морфемно характеризованные собирательные имена существительные, например, существительные на *-ство, -ество*: *крестьянство, купечество*; *-ура*: *аппаратура, профессура* и т. п., и относящиеся к тому же разряду морфемно нехарактеризованные существительные, например: *мебель, хлам, сласти*; ср. также морфемно характеризованные отвлеченные существительные на *-изм, -аж, -ация* и нехарактеризованные: *скука, хандра, вздор, блажь, месть, горе, добро, зло* и т. п. Морфемно нехарактеризованные разряды, так же как и характеризованные, оказывают воздействие на парадигму связанных с ними морфологических категорий, на соотносительность/несоотносительность их компонентов. Так, морфемно нехарактеризованные отвлеченные существительные типа *хандра, блажь, ширь, горе* ведут себя по отношению к категории числа точно так же, как и морфемно характеризованные отвлеченные существительные с формативами *-изм, -аж, -б-а, -от-а, -изн-а, -отн-я* и т. п. (*комизм, саботаж, косьба, слепота, белизна, беготня* и др.). Вещественные существительные (например, *каучук, фарфор, золото, капуста, пыль*), являющиеся в большинстве случаев морфемно нехарактеризованными, не отличаются от собирательных и отвлеченных существительных, имеющих словообразовательное ядро, по характеру и степени воздействия на категорию числа (подробнее см. [Бондарко 2005: 144–155]).

4. Функционально-семантические единства. В разрабатываемой нами теории функциональной грамматики базисным понятием, определяющим построение грамматики данного типа, является «функциональ-

но-семантическое поле» (ФСП). Как уже было отмечено выше, ФСП — это семантическая категория, рассматриваемая в единстве с комплексом разнородных (морфологических, синтаксических, лексико-грамматических, лексических) средств ее выражения в данном языке.

В шеститомном коллективном труде «Теория функциональной грамматики» [ТФГ 1987; 1990; 1991; 1992; 1996а; 1996б] описываются ФСП, отличающиеся друг от друга не только категориальным содержанием, но и структурными типами его выражения. Анализируются ФСП а) с предикативным ядром: аспектуальность, временная локализованность, таксис, темпоральность, модальность; персональность, залоговость; б) с субъектно-объектным ядром: субъектность, объектность, коммуникативная перспектива высказывания, определенность/неопределенность; в) с качественно-количественным ядром: качественность, количественность; г) с предикативно-обстоятельственным ядром: локативность, бытийность, посессивность, обусловленность (комплекс полей причины, условия, цели, следствия и уступки).

В настоящее время обсуждаются и частично реализуются возможности расширения системы ФСП. Так, ставится вопрос о поле одушевленности/неодушевленности (см. [Володин 2001: 36–43]). В последние годы в составе «аспектуально-темпорального комплекса» помимо аспектуальности, временной локализованности, темпоральности и таксиса выделяется поле временного порядка (см. [Бондарко 1996: 167–196; 2002: 519–540]). По-видимому, существуют и другие возможности некоторого расширения «списка основных ФСП». В ряде случаев состав ФСП становится предметом дискуссии (см., в частности, [Клобуков 2000]).

Понятие ФСП соотносится с истолкованиями семантических категорий, представленными в языковедческой традиции и в ряде современных исследований (используются различные терминологические варианты: категории понятийные, мыслительные, семантические, когнитивные). Речь идет о категориях высоких уровней абстракции в сфере мыслительного (смыслового) содержания, находящего выражение в языках разных типов. В типологических и сопоставительных исследованиях семантические категории трактуются как общие и универсальные понятия, рассматриваемые в качестве основания для сравнения различных способов их выражения в языках различного строя (см. [Типология...1992; 1998; 2004]).

В теории функциональной грамматики важную роль играет понятие «категориальная ситуация» (КС). Имеется в виду родовое понятие, интегрирующее видовые понятия аспектуальной, таксисной,

персональной, квалитативной, локативной, кондициональной ситуации и т. п. КС — это выражаемая различными языковыми средствами типовая содержательная структура, а) репрезентирующая в высказывании определенную семантическую категорию и соответствующее ФСП; б) представляющая собой один из аспектов выражаемой в высказывании «общей» сигнификативной ситуации; в) являющаяся категориальной характеристикой (одной из характеристик) высказывания (см. [Бондарко 1983: 160–200]).

Рассматриваемые КС трактуются как ситуации сигнификативные, относящиеся к сфере языкового содержания. Разумеется, КС отражают денотативные ситуации, однако предметом анализа являются именно семантические структуры. Эти структуры представляют собой значения, выступающие на уровне высказывания в определенной языковой интерпретации, связанной с используемыми средствами формального выражения.

В описании КС важную роль играет интерпретационный компонент языковых значений, т. е. способ представления смысловой основы семантического содержания в значениях, выражаемых определенными формальными средствами. Для исследования типовых сигнификативных ситуаций существенно изучение их многоуровневой вариативности. Эта сторона анализа КС дает возможность представить категоризацию семантики на уровне высказывания во всем многообразии выявляемых семантических оттенков.

Понятие КС используется в ряде разделов коллективных трудов по теории функциональной грамматики (см. анализ лимитативных [ТФГ 1987: 85–98], аспектуально-таксисных ситуаций [Там же: 256–294], императивных ситуаций [ТФГ 1990: 80–89], ситуаций возможности [Там же: 134–140], необходимости [Там же: 142–156], оптативных ситуаций [Там же: 174–175], ситуаций качественной характеризации [ТФГ 1996а: 79–93], ситуаций бытийных [ТФГ 1996б: 53–80], посессивных [Там же: 100–118], ситуаций обусловленности [Там же: 140–174]; ср. также книги, относящиеся к рассматриваемому направлению функциональной грамматики: [Voeikova 2000: 112–121; Матханова 2000; Смирнов 2001; Милютина 2005]).

Понятия ФСП и КС дают основу для сопоставительных исследований, направленных на соотнесение общего и различного в изучаемых единствах (см., в частности, [Козинцева 1991; Петрухина 2000; Гладров 2001; Воейкова 2005: 193–218]). Необходима детальная разработка системы субкатегоризации в рамках аспектуальных, темпоральных, персональных, локативных и других КС.

5. Принцип естественной классификации. Анализ отношений дифференциации и интеграции изучаемых категорий и разрядов связан с принципом естественной классификации. В истолкованиях данного понятия подчеркивается, что естественная классификация строится на основе существенного признака, определяемого природой («естеством») изучаемых объектов, в отличие от искусственной классификации, базирующейся на признаке, значимом для целей проводимого исследования (см. [Кондаков 1976: 172, 217; Шайкевич 1980: 319–357]). Непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу имеют часто цитируемые суждения Л. В. Щербы о том, что в вопросе о частях речи исследователь «...должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой, или точнее, — ибо дело вовсе не в „классификации", под какую общую категорию подводится то или иное лексическое значение в каждом отдельном случае, или еще иначе, какие общие категории различаются в данной языковой системе» [Щерба 1974: 78–79].

В отношениях, анализируемых на основе принципа естественной классификации, выявляются сочетания оппозиций, базирующихся на едином основании членения, и неоппозитивных различий, которые не сводятся к единому основанию членения, т. е. включают неоднородные признаки. Говоря о структуре ГК, следует заметить, что и в тех случаях, когда категориальные значения компонентов ГК образуют явно выраженную однородность, на уровне частных значений и конкретных семантических функций грамматических форм доминируют элементы неоднородности или лишь частичной однородности. Это связано с тем, что частные значения и соответствующие семантические функции формируются в результате взаимодействия категориальных значений как компонентов грамматической системы с разнородными элементами окружающей среды (имеются в виду элементы контекста и речевой ситуации, лексические и словообразовательные значения). Ср. конкретно-фактическое, наглядно-примерное, потенциальное и суммарное значения совершенного вида, являющиеся результатом взаимодействия категориального значения глагольной формы и разнородных элементов среды; ср. также частные значения несовершенного вида — конкретно-процессное, неограниченно-кратное, обобщенно-фактическое, реляционное и др. Для многочленных ЛГР характерно преобладающее отсутствие единого основания выявляемых членений. Примером могут служить такие способы действия, как начинательный (*запеть* и т. п.), финитивный (*отшуметь*), ограничительный (*полежать*), кумулятивный (*набросать*), прерывисто-смягчительный (*поглядывать*)

и т. п. (см. [ТФГ 1987: 63–85]). Можно сослаться также на соотношение существительных отвлеченных, вещественных, собирательных и т. п. Элементы неоднородности четко выражены в области ФСП. Ср., например, такие поля, как аспектуальность, персональность, определенность/неопределенность, качественность, локативность, посессивность.

Связи между компонентами категорий, рассматриваемые со ссылкой на принцип естественной классификации, сходны с отношениями, которые трактуются на основе понятия «семейного (фамильного) сходства», введенного Л. Витгенштейном [Wittgenstein 1953]. Речь идет о том, что между членами одной и той же категории, а также разных категорий возможны отношения типа «компонент *a* сходен с компонентом *b*, который проявляет сходство с компонентом *c*, который, в свою очередь, может иметь сходство с *d* и т. д., так что компоненты *a* и *d* могут не быть сходными друг с другом» [Givón 1986: 78]. Понятие «семейное сходство» играет важную роль в современной когнитивной лингвистике, особенно при обсуждении конкретной реализации прототипического подхода (см., в частности, [Lakoff 1988]). Ср. отсутствие единых оснований членения в системе частей речи, ЛГР и ФСП.

6. Аспектуально-темпоральный комплекс. Одной из разновидностей функционально-семантических единств являются поликатегориальные единства, включающие ряд взаимосвязанных категорий (ср., в частности, поликатегориальный комплекс с общим признаком обусловленности, охватывающий ФСП причины, цели, условия, уступки и следствия; см. [ТФГ 1996б: 138–213]). Рассматриваемый в дальнейшем изложении аспектуально-темпоральный комплекс (АТК) трактуется нами как группировка категорий, отражающих разные стороны идеи времени (о понятии «идея времени» см. [Koschmieder 1965: 70–89; Маслов 1978: 5–9; 2004: 306–311]). В разрабатываемой нами модели грамматики предметом анализа является группировка ФСП аспектуальности, временной локализованности, темпоральности, таксиса и временного порядка (см. [ТФГ 1987; 1990; Проблемы функциональной грамматики 2003; 2005; Бондарко 1996; 2002: 359–540]).

В анализируемом поликатегориальном комплексе выявляется многомерность отношений дифференциации и интеграции разных сторон языкового представления идеи времени. Каждая из анализируемых категорий во всех случаях функционирования ее элементов оказывается связанной по крайней мере с частью других категорий в составе данного поликатегориального единства. Семантика темпоральности и локализованности/нелокализованности ситуации во времени представлена в

любом высказывании (эти категории входят в состав предикативности), семантика вида — во всех высказываниях, содержащих глагол, семантика таксиса и временного порядка — в полипредикативных конструкциях и в синтагматике текста. Взаимосвязи в рамках АТК дополняются «внешними» связями с другими семантическими категориями.

Остановимся на вопросе об отношении ряда рассматриваемых категорий к различию «категорий-шифтеров» и «не-шифтеров». Р. О. Якобсон трактовал «шифтеры» как категории, характеризующие сообщаемый факт и/или его участников по отношению к факту сообщения либо к его участникам. Категории, не являющиеся шифтерами (в частности, таксис), трактуются как обозначающие сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения (см. [Якобсон 1972: 101]).

Семантика темпоральности отличается явно выраженными признаками категории-шифтера. Типичным представителем категорий, не относящихся к числу шифтеров, является таксис.

Некоторых пояснений в рассматриваемом отношении требует категория временной локализованности. В истолковании локализованности/нелокализованности действия (и ситуации в целом) во времени важное значение имеет ориентация на «точку зрения говорящего». Отражение в языковой семантике (признак Л) конкретного местоположения тех или иных процессов и событий в однонаправленном и необратимом потоке времени и языковая интерпретация регулярной или нерегулярной повторяемости процессов и явлений с возможными элементами обобщения и оценки (НЛ) соотносятся с мыслительными процессами конкретизированного и абстрагированного представления идеи времени в человеческом сознании. Таким образом, семантика временной локализованности, как и семантика темпоральности, характеризует «сообщаемый факт по отношению к факту сообщения», т. е. обладает признаками, связанными с понятием «шифтер».

Характеристика категорий-шифтеров в некоторых отношениях (речь идет о признаке «отношение к факту сообщения», т. е. прежде всего к позиции говорящего, к его точке зрения) сближается с введенным А. М. Пешковским понятием субъективно-объективной категории. Это понятие предполагает выражение «отношения говорящего к своей собственной речи» (см. [Пешковский 1956: 88–90]); ср. также предложенное В. Г. Адмони подразделение грамматических категорий на «категории логико-грамматические, обладающие денотатом, не соотнесенные непосредственно с актом речевой коммуникации», и «категории коммуникативно-грамматические, в той или иной форме отра-

жающие те или иные стороны процесса речевой коммуникации и позиции (роли) участников речевого процесса» (см. [Адмони 1988: 67]).

На наш взгляд, признаки категорий, относящихся к числу «не-шифтеров», могут сочетаться с элементами связи передаваемого содержания с точкой зрения говорящего. Рассмотрим в данной связи некоторые стороны категории временного порядка. Временной порядок в предлагаемом истолковании — это отражаемая в высказывании и целостном тексте языковая интерпретация «времени в событиях», т. е. представление временной оси, репрезентируемой событиями, процессами, состояниями, обозначением моментов времени и интервалов (*на другой день, через пять минут* и т. п.). Структура временного порядка образуется в тексте различными комбинациями признаков динамичности/статичности на основе семантических элементов «возникновение новой ситуации» / «данная ситуация», а также признаков одновременности/последовательности. В русском и других славянских языках комбинации указанных признаков выражаются с участием форм совершенного и несовершенного вида. Важную роль играет последовательность глагольных словоформ.

Семантика временного порядка предполагает наблюдаемость с точки зрения говорящего (пишущего). Имеется в виду прослеживание «хода событий» — от более ранних событий к более поздним (в соответствии с «естественным течением времени»), а также возможная наблюдаемость в направлении от недавних событий к тому, что им предшествовало. Заслуживают внимания суждения Г. Рейхенбаха о связи восприятия временного порядка с понятием наблюдателя: «По отношению к двум событиям, которые достаточно разделены во времени, наблюдатель обладает непосредственным ощущением временного порядка и использует это ощущение в качестве основы для упорядочения событий» [Рейхенбах 1985: 156]. Возможная актуализация направлений временного порядка в мыслительно-речевой деятельности говорящего (пишущего) находит отражение в размышлениях (замечаниях), встречающихся в художественных текстах. Например: *Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя, по существу, никаких событий не было. Но все-таки. Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону...* (К. Паустовский. Бросок на юг); ср. пример рассуждения, базирующегося на восстановлении хода прошедших событий в направлении «от недавнего к тому, что было до этого: *Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось*

добраться до того истока, от которого пошли все события (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Сказанное выше свидетельствует о том, что между категориями-шифтерами и не-шифтерами нет резкой грани. Континуальность в отношениях к данному признаку проявляется, в частности, в семантике глагольного вида. С одной стороны, в категориальных значениях СВ и НСВ отсутствует та связь сообщаемого факта с фактом сообщения, которая характерна для семантики времени и лица (и шире — темпоральности и персональности) как прототипов категорий-шифтеров. С другой стороны, в семантике глагольного вида представлены элементы «взгляда» на характер протекания действия (его «внутреннего времени») с точки зрения говорящего (пишущего). Речь идет о том, что нередко называют «ориентационным подходом» к истолкованию видовых значений.

Идея «взгляда на действие» получает отражение в ряде общих характеристик глагольного вида. Так, Ю. С. Маслов писал: «Вид отражает „оценку" говорящим временной структуры самого действия. Не будучи, следовательно, дейктической категорией, вид принадлежит к категориям субъективно-объективным..., устанавливающим тот угол зрения, под которым рассматривается в формах языка объективная внеязыковая действительность» [Маслов 1984: 5–6]. Ср. теории, базирующиеся на таких понятиях, как «видовой ориентир» [Тимберлейк 1985: 266–267, 284–285] и «точка отсчета» [Падучева 1986: 413–424] (о роли элементов перцептивности в аспектуальных ситуациях см. [Бондарко 2006]).

7. Заключительные замечания. Вопрос о дифференциации и интеграции в системе грамматических, лексико-грамматических и функционально-семантических единств тесно связан с проблематикой языковой категоризации. Конкретное содержание понятия «категоризация» определяется предметом исследования, его задачами и теоретическими основаниями. В лингвистической литературе представлены классификации категорий в сфере грамматики, базирующиеся на различных (частично пересекающихся) признаках (ср. [Маслов 1959: 167–171; Кацнельсон 1972: 17–94; 2001: 564–568; 591–601; Кубрякова 1998; Lehmann 1998; 2004; Грамматические категории 2003]). Встречаются и более широкие интерпретации категориальности, выходящие за пределы грамматики (см. рассматриваемые в статье [Kačala 2002] понятия «языковая категория» и «категориальная система», охватывающие сферы грамматики и лексики). В работах по когнитивной лингвистике чаще всего речь идет о «категоризации мира» (см., в частности,

[Rosch 1978; Lakoff 1988; Langacker 1987]). Обращение к широкой сфере «знания о мире» соответствует междисциплинарной природе когнитивных концепций.

Предлагаемая трактовка категоризации включает ряд аспектов: 1) стратификация семантики; значение и смысл; 2) эксплицитность/имплицитность семантического содержания в его отношении к формальному выражению; 3) инвариантность/вариативность в сфере семантики; 4) центр и периферия; прототипы и их окружение; 5) отношения между категориями и их компонентами, выявляемые на основе принципа естественной классификации; 6) взаимодействие системы и среды; 7) межкатегориальные связи; 8) грамматические категории и лексико-грамматические разряды; 9) функционально-семантические поля; 10) категориальные ситуации (см. [Бондарко 2002: 9–338; 2004; 2007]).

В проводимом исследовании грамматических, лексико-грамматических и функционально-семантических единств так или иначе отражаются все выделенные выше аспекты категоризации семантики. Особое внимание обращается на языковую интерпретацию семантического содержания; учитывается заключенный в семантике элементов категориальных единств интерпретационный компонент — способ представления смысловой основы семантического содержания, отражающий специфику именно данной формы, данного комплекса языковых средств.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Адмони 1988 — *Адмони В. Г.* Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.

Бондарко 1983 — *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983 (2-е изд., стереотипное, — М., 2001; 3-е изд. — М., 2003; 4-е изд. — М., 2007).

Бондарко 1996 — *Бондарко А. В.* Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.

Бондарко 2002 — *Бондарко А. В.* Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М., 2002.

Бондарко 2004 — *Бондарко А. В.* Теоретические проблемы русской грамматики. СПб., 2004.

Бондарко 2005 — *Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. М., 2005.

Бондарко 2006 — *Бондарко А. В.* Перцептивность и аспектуально-темпоральный комплекс // Glagol'nyj vid i leksikografija. Semantika i struktura slavjanskogo vida. IV. München, 2006.

Бондарко 2007 — *Бондарко А. В.* Аспекты категоризации семантики в сфере грамматики // Зборник Матице српске за славистику. 71–72. Нови сад, 2007.

Воейкова 2005 — *Воейкова М. Д.* Выражение квалитативной характеристики человека в русском и немецком языках // Проблемы функциональной грамматики: Полевые структуры. СПб., 2005.

Володин 2001 — *Володин А. П.* О функционально-семантическом поле одушевленности/неодушевленности // Исследования по языкознанию. СПб., 2001.

Гладров 2001 — *Гладров В.* Функциональная грамматика и сопоставительная лингвистика // Исследования по языкознанию. СПб., 2001.

Гловинская 2001 — *Гловинская М. Я.* Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.

Грамматические категории 2003 — Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 22–24 сентября 2003 г.). СПб., 2003.

Докулил 1967 — *Докулил М.* К вопросу о морфологической категории // Вопросы языкознания. 1967. № 6.

Кацнельсон 1972 — *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.

Кацнельсон 2001 — *Кацнельсон С. Д.* Категории языка и мышления: Из научного наследия. М., 2001.

Клобуков 2000 — *Клобуков Е. В.* Семантическая категория падежности в системе функциональной грамматики русского языка // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.

Козинцева 1991 — *Козинцева Н. А.* Временная локализованность действия и ее связи с аспектуальными, модальными и таксисными значениями (на материале армянского языка в сопоставлении с русским). Л., 1991.

Кондаков 1976 — *Кондаков Н. И.* Логический словарь-справочник. М., 1976.

Кубрякова 1998 — *Кубрякова Е. С.* О двоякой сущности языковых категорий и новых приемах в их изучении // Общие проблемы строения и организации языковых категорий. М., 1998.

Маслов 1959 — *Маслов Ю. С.* Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (Значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.

Маслов 1965 — *Маслов Ю. С.* Система основных понятий и терминов славянской аспектологии // Вопросы общего языкознания. Л., 1965.

Маслов 1978 — *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.

Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Маслов 2004 — *Маслов Ю. С.* Избранные труды: Аспектология. Общее языкознание. М., 2004.

Матханова 2000 — *Матханова И. П.* Высказывания с семантикой состояния в современном русском языке. Новосибирск, 2000.

Милютина 2005 — *Милютина М. Г.* Семантика конативности и потенциальная модальность: Комплекс «попытка—результат» и его выражение в современном русском языке. М.; Ижевск, 2005.

Падучева 1986 — *Падучева Е. В.* Семантика вида и точка отсчета (В поисках инварианта видового значения) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 45. 1986.

Петрухина 2000 — *Петрухина Е. В.* Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.

Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

Плунгян 2003 — *Плунгя́н В. А.* Общая морфология: Введение в проблематику. 2-е изд., исправленное. М., 2003.

Потебня 1958 — *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I–II. М., 1958.

Проблемы функциональной грамматики 2003 — Проблемы функциональной грамматики. Семантическая инвариантность/вариантность. СПб., 2003.

Проблемы функциональной грамматики 2005 — Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. СПб., 2005.

Рейхенбах 1985 — *Рейхенбах Г.* Философия пространства и времени / Перев. с английского. М., 1985.

Смирнов 2001 — *Смирнов И. Н.* Категория временной локализованности действия в современном русском языке. СПб., 2001.

ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987 (изд. 2-е, стереотипное, — М., 2001; изд. 3-е — М., 2003, изд. 4-е — М., 2006).

ТФГ 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

ТФГ 1991 — Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

ТФГ 1992 — Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. СПб., 1992.

ТФГ 1996а — Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.

ТФГ 1996б — Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.

Тимберлейк 1985 — *Тимберлейк А.* Инвариантность и синтаксические свойства вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.

Типология... 1992 — Типология императивных конструкций. СПб., 1992.

Типология... 1998 — Типология условных конструкций. СПб., 1998.

Типология... 2004 — Типология уступительных конструкций. СПб., 2004.

Шайкевич 1980 — *Шайкевич А. Я.* Гипотезы о естественных классах и возможность количественной таксономии в лингвистике // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.

Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Якобсон 1972 — *Якобсон Р. О.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Givón 1986 — *Givón T.* Prototypes: Between Plato and Wittgenstein // Noun Classes and Categorization. Proceedings of Symposium on Categorization and Noun Classification, Eugene, Oregon. October 1983 (Typological Studies in Language, Vol. 7). Amsterdam; Philadelphia, 1986.

Kačala 2002 — *Kačala J.* Kategoriálny systém v gramatike a v lexikóne (na materiáli slovenského jazyka) // Зборник Матице српске за славистику. 61. Нови Сад, 2002.

Koschmieder 1965 — *Koschmieder E.* Beiträge zur allgemeinen Syntax. Heidelberg, 1965.

Lakoff 1988 — *Lakoff G.* Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago; London, 1988.

Langacker 1987 — *Langacker R. W.* Foundations of cognitive grammar. Vol. I. Theoretical prerequisites. Stanford, 1987.

Lehmann 1998 — *Lehmann V.* Lexikalischer Stamm und grammatische Kategorie // Slavistische Linguistik. München, 1998.

Lehmann 2004 — *Lehmann V.* Grammaticalization via extending derivation // What makes grammaticalicalization?: a look from its fringes and its components. Berlin; New York, 2004.

Rosch 1978 — *Rosch E.* Principles of categorization // Cognition and categorization. New York, 1978.

Voeikova 2000 — *Voeikova M. D.* Russian existential sentences: A functional approach. München, 2000.

Wittgenstein 1953 — *Wittgenstein L.* Philosophical Investigations. New York, 1953.

Ж. Ж. Варбот

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ГНЕЗДА И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ В ДИАХРОНИИ И СИНХРОНИИ

Опыты практической опоры на принцип системности в анализе лексического уровня языка убедили исследователей в специфичности организации лексики, предопределенной непосредственной связью с внеязыковыми реалиями и проистекающей отсюда количественной неограниченностью составляющих. Преобладающим стало понимание организации лексики как отношений разнотипных взаимосвязей (непосредственного или опосредованного примыкания, частичного наложения, производности) лексико-семантических полей, составляющие которых также связаны разнотипными отношениями, определяемыми как языковыми факторами (синонимия, гипонимия и под.), так и внеязыковыми (отношениями реалий). Однако в лексике есть и другой системообразующий фактор — этимологические гнезда: «гнезда слов — наиболее подходящее единство в лексикологическом исследовании» [Malkiel 1954: 274].

Лексико-семантические поля формируются исторически из лексем, образованных на базе (точнее, в составе) различных этимологических гнезд. Этимологические гнезда являются исторически словообразовательными: они создаются последовательными словообразовательными актами, которые отражают потребности этноса в языковом выражении определенных представлений о реалиях или понятиях. Этимологические гнезда, таким образом, оказываются исторически естественной основой генетической организации лексики, будучи результатом разновременных словообразовательных актов, создающих более или менее сложные по степени разветвленности словообразовательные цепочки. Утрату осознания мотивационных связей между отдельными звеньями этих цепочек на определенном диахроническом уровне часто называют разрушением этимологического гнезда. Представляется, что такое истолкование исторического забвения мотивации неверно, прежде всего теоретически, поскольку это забвение не может стереть из истории лексики факта мотивационной и словообразовательной связи лексем — их генезиса и, соответственно, не может отменить их историческую принадлежность к определенному этимологическому гнезду. Теоретически и исторически корректнее говорить о преобразовании некоторой части словообразова-

тельных связей в гнезде в этимологические. Постепенность этого процесса обеспечивает преемственность основных структурных и семантических характеристик гнезда, о чем свидетельствует воспроизведение словообразовательных моделей и семантики производных на разных хронологических уровнях: ср., например, праслав. **lono* < **log-sno* и ст.-слав. **ложесно**; русск. *пройдоха*, *проходимец*, диал. перм. *прошлéдь* 'пройдоха' [СлПерм 2: 241]; русск. простореч. *уходить* 'утомить, измучить' (*уходили сивку крутые горки*) и чеш. диал. *ôšlé*, *ôjité* 'утомленный дорогой' [Kopečný 1957: 144].

Выбор производящих корней/основ (гнезд) при создании новых лексем определяется, с одной стороны, ономасиологическими предпочтениями, отражающими в моделях мотивации связь реалий, понятий в картине мира этноса, а с другой стороны — ограничивается существующим в языке набором производящих корней /основ (гнезд). Потребность в реализации определенного набора мотивационных моделей, организующих одно лексико-семантическое поле, может удовлетворяться и повторным обращением к материалу одних и тех же гнезд, и использованием производящих возможностей других гнезд. В то же время, этимологическое гнездо может иметь весьма разветвленную семантику. Таким образом, каждое лексико-семантическое поле оказывается исторически стимулом для разрастания целого набора этимологических гнезд, а каждое гнездо — базой для реализации потребностей в формировании лексики нескольких полей, отражающих представления этноса об отдельных явлениях, понятиях — различных фрагментах картины мира. Следовательно, этимологические гнезда и лексико-семантические поля являются генетически системообразующими и взаимосвязанными составляющими лексики. И этимологические гнезда, и лексико-семантические поля претерпевают в истории языка внутренние изменения, и следует, очевидно, предполагать отражение также и этих процессов на их взаимосвязях. Поэтому актуальной задачей лексикологических исследований представляется комплексный анализ взаимосвязанных лексико-семантических полей и этимологических гнезд.

Генетическо-историческую связь этимологических гнезд и лексико-семантических полей в значительной степени учитывал В.Г.Гак, предложивший термин «этимолого-семантические поля», которые понимал как группировки, «охватывающие все слова языка, произошедшие от слов, этимон которых связан с определенным понятием», причем «основная задача при анализе этимолого-семантического поля состоит в выявлении путей семантической и структурной деривации

слов с общим этимоном» [Гак 1995: 107–108]. Предлагаемый аспект анализа ориентирован на вскрытие семантическо-ономасиологических потенций этимологического гнезда, что бесспорно очень полезно и широко осуществляется в последнее время (см. ниже), но не учитывает интересы ономасиологического (мотивационного) аспекта анализа собственно семантического поля. Этимологические гнезда и семантические поля представляют собою как правило объединения, частично встроенные друг в друга, но не тождественные. При учете этой сложности их связей, более рационально разделение (с взаимной корректировкой) двух аспектов анализа соотношения этимологических гнезд и семантических полей: анализ набора полей, порождаемых одним гнездом, и анализ набора этимологических гнезд, порождающих одно лексико-семантическое поле. К этим аспектам следует присоединить еще два, а именно: анализ влияния отношений лексем внутри полей на моделирование гнезд и анализ влияния преобразований лексем в этимологических гнездах и самих гнезд на мотивационные модели отдельных полей.

Анализ набора лексико-семантических полей, порождаемых одним этимологическим гнездом, и есть по существу предложенный В.Г.Гаком анализ «этимолого-семантических полей». Даже при ориентации на собственно этимологические цели — расширение лексического состава этимологического гнезда путем анализа его словообразовательно-семантических потенций [Мельничук 1969], определение этих потенций является базой и для пополнения лексического состава некоторых полей, и для корректировки мотивационных моделей некоторых лексем. Данный аспект анализа существен также для установления генетической и мотивационной близости различных полей.

Особенно перспективно (также намеченное В.Г.Гаком) сравнительное исследование семантических характеристик гнезд, восходящих к синонимичным корням, привлекающее в последнее время многих исследователей [Черныш 1985; Шальтяните 1990; Калашников 1993; Пятаева 1995; Галинова 2000; Черниш 2003 и др.]. Выявление константных значений, воспроизводящихся на протяжении истории каждого из группы таких гнезд и при этом общих для всей группы, сопровождаемое реконструкцией словообразовательных связей, является надежной основой для обоснования и корректировки мотивационных моделей различных полей.

Анализ набора этимологических гнезд, порождающих определенное лексико-семантическое поле, постепенно входит в практику исследования полей. Ожидаемые и реальные результаты — это, прежде всего, само

определение такого набора как потенциальной лексической базы поля, особенно для выяснения происхождения «темных» лексем поля. Результаты анализа набора гнезд, порождающих определенное поле, необходимо дополняются и корректируются результатами анализа структур отдельных гнезд и групп исходно синонимичных гнезд (о котором см. выше), а именно — определением непосредственных производящих основ лексем с близкой семантикой в каждом из исходных гнезд: так уточняется степень близости их первичных мотивационных моделей, что позволяет «снять» позднейшие сближения и проверить реальность самих моделей. Так, например, при близости семантики исходных гнезд для *знаменитый* (*знать*) и *известный* (*ведать*), словообразовательная производность др.-русск. *знаменитыи* 'отмеченный, известный' [СДРЯ Ш: 397] от *знамя* 'знак' определяет первичность значения 'отмеченный' и мотивационно отличает это слово от *известный*, сближая по мотивационной характеристике *знаменитый* с *заметный*.

Другой аспект анализа групп гнезд, порождающих одно лексико-семантическое поле, — это словообразовательно-диахроническое определение места лексем различной частеречной принадлежности (включение которых в состав лексико-семантического поля стало аксиомой полевого анализа) в этой группе гнезд. Этот аспект особенно существен для реконструкции на базе истории словообразовательных связей процесса ментально-языкового освоения различных явлений и понятий. Например, недавнее исследование поля «судьба, счастье, удача» обнаружило исторический и количественный приоритет имен существительных, что истолковано автором исследования как отражение субъектного восприятия судьбы (определяющей жизнь человека) и объектного — счастья (как данного человеку) [Урбанович 2007: 9]; диахронический и словообразовательный анализ лексико-семантического поля «ругать(ся)» показал, что соответствующая семантика в различных этимологических гнездах впервые возникает чаще всего у глаголов [Хелемендик 2007: 13], тогда как предварительным результатом проводимого аналогичного анализа поля «лень» оказывается историческо-словообразовательный приоритет существительных со значением лица. Подобные наблюдения, очевидно, перспективны для реконструкции истории этнической картины мира.

Два рассмотренных выше аспекта анализа взаимосвязей этимологических гнезд и лексико-семантических полей опираются на реальность их исходного и исторически продолжающегося взаимного порождения в соответствии с ономасиологическими и словообразовательными моделями. Но лексемы, входящие в какое-либо поле, находятся синхронно, на

каждом хронологическом уровне в определенных внутриполевых отношениях, как семантических, так и формальных. Давление лексем, наиболее ярко выражающих семантику поля, может вызывать в других преобразования, оказывающиеся отступлением от мотивационных или словообразовательных моделей, что вносит неорганичность в формирование гнезд. Представляется, что так можно объяснить появление так называемого «усилительного» *не* [Толстой Н.И. 1971; Петлева 1998]: негативная коннотация полевой семантики, особенно при наличии в поле лексем с отрицательным *не* в структуре, провоцирует присоединение отрицания к лексемам, входящим в поле уже по основному лексическому значению: ср. (из не упоминавшихся, кажется, ранее случаев) русск. *невзрачный, невидный* — диал. новг. *немра́чненький* 'то же' [НовгСл 6: 45]; *непристойный* — диал. сиб. *несоро́мный* 'то же' [СлСиб 2: 381]; *насильно, не по своей воле* — диал. карел. *неспоневóли* 'то же' [СлКар 4: 13], *безвыходное положение, непроходимое место* — диал. новг. *непромока́емый* 'находящийся в безвыходном положении' [НовгСл 6: 49], при топониме *Непромокаемое болото* [Там же].

Давление поля может проявляться в активизации какой-либо словообразовательной модели; следствием такового являются, вероятно, разновременные, но структурно однотипные названия обуви, образованные субстантивацией прилагательных с суфф. *-ьн-*, производных от основ, обозначающих способ изготовления, надевания или использования: др.-русск. *поръшьни* 'башмаки, гнутые из одного куска кожи' [СлРЯ XI–XVII вв. 17: 145], русск. диал. арханг., олон., влад. *ве́рзни* 'лапти (обычно из бересты)' [СРНГ 4: 146]. олон. *ве́ртни* 'берестяные лапти' [СРНГ 4: 154], арханг. *бу́чни* 'род кожаной обуви, поршни' [СРНГ 3: 331], пск., твер. *со́вень* 'башмак' [СРНГ 39: 180], пск., твер. *насовень* 'то же' [СРНГ 20: 179], сев., вост. *сту́пни* 'лапти' [Даль[2] IV: 349].

Одновременное структурное и семантическое влияние лексем типа *заполнить, занять* может объяснить появление неожиданного для гнезда *простой* (ср. *опростать* 'освободить') значения диал. перм. *запроста́ть* 'занять чем-либо' [СлПерм 1: 305]; параллелизм прилаг. *женатый* — (*за*)*мужняя* в поле родственных отношений может быть причиной употребления карел. *му́жный* в значении 'женатый' [СлКар 3: 269].

Фонетические и морфологические преобразования, которым исторически подвергаются лексемы, входящие в состав этимологических гнезд, вызывают преобразования и структур этих гнезд, и сближение/взаимодействие лексики различных гнезд на различных хронологических уровнях. Последнее весьма существенно для соответствую-

щих лексико-семантических полей, поскольку следствием и сближения, и взаимодействия этимологических гнезд может быть мотивационная переориентация составляющих поля лексем. Я уже рассматривала типологию взаимодействия этимологических гнезд в докладе на одном этимологическом симпозиуме в Брно [Варбот 2003], но сейчас представляется полезным вернуться к этому вопросу в связи с возможным влиянием этих процессов на лексико-семантические поля.

Сближение/взаимодействие этимологических гнезд имеет несколько «степеней», которые могут по-разному проявляться в истории отдельных групп гнезд. Начальным этапом сближения разных гнезд часто бывает омонимизация производных вследствие фонетических изменений. Ср. русск. *весло́* 'орудие гребли' (праслав. **vezslo*, от **vezti*) и диал. арханг., волог. *весло́* 'ручка корзины': *Весло* к корзине покрасивее **приплетали**. *Весло* али *перевесло* тоже из бересты, как ручка это, держать) [СлРусСев II: 78] — от *вязать* (ср. там же *вести́ло* 'приспособление, на котором **вьют** веревки'). Если, при подобной омонимизации, значения слов как-то согласуемы, отношения омонимии переходят в полисемию. Например, серб. *разре́дити* '1. классифицировать, разделить на классы, разряды; 2. разредить, сделать реже' [Толстой И. И. 1957: 802], очевидно, представляет собою слияние производных из двух гнезд: от *ре́дити* (**rędъ*) и *ре́дак* 'редкий' (**rědъkъ*). На фоне этого случая и значение русск. типогр. *разря́дка* '**разреженная** расстановка букв в слове' представляется следствием подобного же сближения. Составители Старо-чешского словаря сочли возможным оформить как единую лексему *otdělati*, *-aju* со значениями 'отделить, отнять, вычленить из какого-л. целого; отработать кому (чем), возместить работой', указав производность от *dělati* [StčSl 13: 803], хотя первое значение явно принадлежит производному от **dělъ* и составители отметили, что «нельзя исключить влияния глагола *otdieleti*».

Фонетическое изменение в слове одного гнезда, сближающее его с образованиями другого гнезда, может обусловить усвоение первым гнездом производных второго, что выглядит как появление в этих производных второго гнезда семантики, свойственной первому: преобразование русск. *вы́ткать* (праслав. гнездо **tъk-* < и.-е. **teukh-*) > диал. новгор., влад. *вы́токать* 'выткать' [СРНГ 6: 40] и сближение последнего по корневой огласовке *о* с гнездом *течь/точить* обусловило появление, при регулярном русск. диал. тамб., южн. *вы́точить* 'выпустить (жидкость) струей' [СРНГ 6: 41], также и селигер., влад., ленингр. *вы́точить* 'выткать' [Селигер 1: 158; СРНГ 6: 41], с дальнейшими производными.

К рассмотренному мною ранее материалу, свидетельствующему об отождествлении в ряде русских говоров инфинитивов **vęzti* и **vezti* в форме *везти*, откуда далее *возить* 'вязать'[Варбот 2003: 59], можно добавить производные от этого глагола со значениями того же поля «вязать, связывать, привязывать»: диал. петерб., арханг., новг. *при́во́з* 'цеп', иван. *привóз* 'рукоятка цепа', новг. *при́возь* 'било цепа', *при́воза* 'цеп, рукоятка цепа' [СРНГ 31: 145], с дальнейшими производными, при этимологических производных гнезда **vęz-*: ряз., орл. *при́вя́з* 'ремешок, которым привязывается било к рукоятке цепа', пск. *привя́за* 'цеп, молотило с длинной рукояткой' и под. [СРНГ 31: 153].

Следствием отождествления производных может быть, далее, полное объединение сопутствующих им форм двух гнезд как вариантов: в результате фонетического отождествления рефлексов праслав. **duti* и **dǫti* в украинском инфинитиву *надути* соответствуют две парадигмы настоящего времени — *надую* и *надму* и два варианта производного несоверш. вида — *надувати* и *надимати*. Примечательно, что в глагольных парах с разными префиксами возобладали значения разных гнезд: в *надути* (и т. д.) — семантика **dǫti*, в *продути*, *продую*, *продму*, *продувати*, *продимати* — семантика **duti*.

Паронимическая близость корней двух гнезд иногда вызывает аналогическое морфонологическое преобразование производного одного из гнезд в направлении отождествления с производным другого гнезда, а это влечет за собою образование следующего производного уже по модели этого другого гнезда: исторически закономерное чеш. *odpočinouti* 'отдохнуть' (производное от праслав. **-čiti*) под влиянием формы *počnouti* 'начать' (праслав. **čęti*) преобразовано в разгов. и диал. *odpočnouti* 'отдохнуть' [Machek 409] (ср. также польск. XVI в. *odpocząć* 'то же'), от которого образовано разгов. *odpočatý* 'отдохнувший' (ср. *počátek* 'начало').

Слиянию гнезд особенно способствует, разумеется, утрата непосредственной производящей основы одной из фонетически близких лексем, превращающейся в осколок этимологического гнезда. Так, русск. диал. арханг. *подвы́удить* 'взять, забрать, постепенно вынимая откуда-н.' [Нефедова 2001: 87] — производное из гнезда *уда*, но *нау́диться* [Там же: 74], в значении которого 'поесть досыта, наесться, вытаскивая, вынимая откуда-н.' [Хлеба ломоть отрежэш, наудисьсе йейо (о рыбных консервах)] сема извлечения (откуда-н.) объединена с семой сытости, наполнения, является, вероятно, генетически производным от утраченной основы *уд-*(*/выд-*) 'толстеть, наливаться, зреть': ср. цслав. наоудити molestum esse [Miklosich LP], русск. диал.

у́дить 'зреть (о зерне), наливаться' [Фасмер IV: 149]. Первичность связи с последними обнаруживается накоренным ударением, сема извлечения усвоена от производных гнезда *уда*.

Роль фонетического отождествления образований отдельных гнезд во взаимодействии гнезд определяет необходимость сравнительно-исторического анализа гнезд, базирующихся на паронимичных корнях, который пока осуществляется редко [Субботина 2005].

Существенную роль в сближении/взаимодействии гнезд играет ошибочное (аналогическое) восстановление производящих основ в случае формального отождествления производных двух гнезд. При этом происходит соединение структуры производящей основы, закономерной для одного гнезда, с семантикой другого: например, формальное тождество итеративов, производных от *сорвать* и *срыть*, — *срывать* стало базой для появления рядом с регулярным диал. карел. *сорва́ть* 'порвать, изорвать' также карел. *сорва́ть* 'засыпать землей, сравнять с землей' [СлКарел 6: 225]. То же может происходить и с последующими производными. Широкое распространение в славянских языках подобных сближений/ взаимодействий продолжений праслав. гнезд **god-*, **gon-* и **gъb-* исследовано в книге [Šivic-Dular 1999], причем эти сближения зависят от пережитых производными гнезд фонетических изменений и потому различаются по языкам. Например, отождествление в словенском языке форм настоящего времени *ugánem* от глаголов *ugániti* 'угадать' и *ugeníti* 'передвинуть' имело следствием словен. *ugíbati* 'отгадывать' и 'Conjekture machen' [Šivic-Dular 1999: 167]. В русском языке представлено взаимодействие всех трех гнезд: отождествление *гонити* (от **god-nǫti* и из **gon-iti*) породило диал. карел. *отогна́ть* 'отгадать' [СлКарел 4: 311], а отождествление корней в *гнать* (**gъnati*) и *гнуть* (**gъbnǫti*) — параллелизм диал. селигер. *вы́гнаться* 'выгнать скот на пастбище' и *выгну́ть* 'выгнать, прогнать' [Селигер 1: 143], а также моск., калуж., том., барнаул. *вы́гнуть* 'выгнать' [СРНГ 5: 265].

Как следует из рассмотренных случаев сближения/взаимодействия этимологических гнезд, эти преобразования (при различиях в путях их реализации) приводят к появлению в определенном этимологическом гнезде лексемы, формально принадлежащей к нему, но имеющей семантику, характерную для другого гнезда. Таким образом, в этимологическом гнезде обнаруживается неорганичное для него сочетание значений, воспринимаемое как семантическое изменение. Это-то сочетание значений = «изменение» может стать мотивационной моделью для новообразований. Такой случай в белорусской лексике был описан Г. А. Цыхуном: полесск. и прибалт. *сту́жни* 'деталь саней' (к **sъtǫg-*),

вследствие амбивалентности *ж* (и **gj-*, и **dj-*) понятое как производное от *студ-* и родственное *стужа*, послужило образцом мотивационной модели 'смерзшееся' → 'деталь саней' для появления синонимичного *на́морожни* и под. [Цыхун 1990: 279–281], ср. еще русск. новосиб. *на́морзни* 'бруски, прикрепляемые на копылья саней' [СРНГ 20: 41].

Аналогичным образом омонимичность русск. *страсть* 'страх' (родственного лтш. *struõstît* 'угрожать') и *страсть* 'мука' (производного от *страдать*) объясняет появление в ярославских говорах *постращать* 'наказать' [СРНГ 30: 237] (при литер. 'напугать') и *казниться* 'бояться, опасаться' [СРНГ 12: 321] (при литер. и диал. 'мучиться').

Представляется, что подобным образом можно объяснить возникновение ю.-слав. **boraviti* (болг. *бора́вя* 'заниматься чем-л.', *забора́вя* 'забывать', макед. *борави* 'рыться, делать, выполнять', с.-хорв. *бдрави* 'жить, находиться', *забдравити* 'забывать') на основе **boriti*, **borti* 'одолевать, бороться'. В [БЕР 1, 67–68] эта производность объясняется промежуточной семантической ступенью 'справляться с препятствиями'. Следует, вероятно, учитывать ареал этого новообразования — южнославянский и специфику фонетического изменения в нем праслав. **byti* > **biti*, которое привело к фонетическому отождествлению этого глагола с продолжениями праслав. **biti*. Совмещение в одной словоформе семантики бытия и борьбы и послужило моделью для появления аналогичного сочетания (то есть развития 'бороться' → 'жить, пребывать', с последующим 'забывать') в производном от **borti*, **boriti*.

Подобные случаи обнаруживают потенциальную сложность формирования мотивационных моделей лексико-семантических полей: не для всех моделей следует предполагать непосредственное отражение ментальных процессов — представлений этноса о связях реалий окружающего мира или понятий, необходимо учитывать возможность собственно языкового порождения мотивационных моделей — вторичных — на базе преобразований в этимологических гнездах, питающих лексико-семантические поля. Очевидно, различение первичных (непосредственно отражающих представления этноса о связях реалий) и вторичных мотивационных моделей необходимо для адекватного представления о соотношении языковой картины мира и собственно картины мира этноса, причем не только в диахронии, но и в синхронии, поскольку вторичные, как обусловленные языковыми преобразованиями, наименее свидетельствуют о специфике картины мира этноса. Соответственно совершенствование исследования лексико-семантических полей требует его самой непосредственной связи с исследованием условий и типологии взаимодействия этимологических гнезд. Этот аспект исследования может

быть реализован при параллельном анализе этимологических гнезд, создающих определенное лексико-семантическое поле, и омонимичных/паронимичных гнезд или хотя бы при параллельном анализе группы синонимичных гнезд, реализующих в данном поле одну мотивационную модель, и соответствующих им паронимичных гнезд.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БЕР — Български етимологичен речник / Ред. Вл. И. Георгиев, И. Дуриданов. Т. 1–6. София, 1971–2002.

Варбот 2003 — *Варбот Ж. Ж.* К типологии взаимодействия этимологических гнезд // Studia etymologica Brunensia / Ed. I. Janyšková, H. Karlíková. Praha, 2003.

Гак 1995 — *Гак В. Г.* Этимолого-семантические поля в лексике // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова). М., 1995.

Галинова 2000 — *Галинова Н. В.* Этимолого-словообразовательные гнезда праславянских корней со значениями 'гнуть, вертеть, вить' в говорах Русского Севера. АКД. Екатеринбург, 2000.

Даль[2] — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. I–IV. М., 1955 (= СПб., 1880–1882).

Калашников 1993 — *Калашников А. А.* Структурно-семантический анализ славянских синонимичных словообразовательно-этимологических гнезд (гнезда глаголов с исходным значением 'вязать, плести'). АКД. М., 1993.

Мельничук 1969 — *Мельничук А. С.* Об одном из важных видов этимологических исследований // Этимология 1967. М., 1969.

Нефедова 2001 — *Нефедова Е. Ф.* Экспрессивный словарь диалектной личности. Изд. Московского университета, 2001.

НовгСл — Новгородский областной словарь / Отв. ред. В. П. Строгова. Вып. 1–13. Новгород, 1992–2000.

Петлева 1998 — *Петлева И. П.* Еще раз к вопросу о *не* — не 'не' // Слово и культура. Памяти Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1998.

Пятаева 1995 — *Пятаева Н. В.* История синонимичных этимологических гнезд **em-* и **ber-* 'брать, взять' в русском языке. АКД. Уфа, 1995.

СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Гл. ред. Р. И. Аванесов (т. I–V), И. С. Улуханов (т. V–VI), В. Б. Крысько (т. VII). Т. I–VII. М., 1988–2004.

Селигер — Селигер. Материалы по русской диалектологии. Словарь / Под ред. А. С. Герда. Вып. 1–2. СПб., 2003–2004.

СлВолог — Словарь вологодских говоров / Ред. Т. Г. Паникаровская. [Вып. 1–4]. Вологда, 1983–1990.

СлКар — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А.С.Герд. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005.

СлПерм. — Словарь пермских говоров / Сост. Г.В.Бажутина, А.Н.Борисова и др. Вып. 1–2. Пермь, 2000–2002.

СлРусСев — Словарь говоров Русского Севера / Под ред. чл.-корр. РАН А.К.Матвеева. Т. 1–III. Екатеринбург, 2001–2005.

СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. С.Г.Бархударов (вып. 1–6), Ф.П.Филин (вып. 7–10), Д.Н.Шмелев (вып. 11–14), Г.А.Богатова (вып. 15–26), В.Б.Крысько (вып. 27). Вып. 1–27. М., 1975–2006.

СлСиб — Словарь русских говоров Сибири / Под. ред. А.И.Федорова. Т. 1–3. Новосибирск, 1999–2002.

СлСрУр — Словарь русских говоров Среднего Урала / Гл. ред. П.А.Вовчок (т. I), Н.П.Костина (т. II), А.К.Матвеев (т. III–VII). Т. I–VII. Свердловск, 1964–1988.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин (вып. 1–23), Ф.П.Сороколетов (вып. 24–39). Вып. 1–40. Л. = СПб., 1966–2006.

Субботина 2005 — *Субботина В.Н.* Состав и соотношение русских этимологических гнезд, восходящих к омонимичным праславянским корням **ver-/*vor-*. АКД. М., 2005.

Толстой И.И. 1957 — *Толстой И.И.* Сербско-хорватско-русский словарь. М., 1957.

Толстой Н.И. 1971 — *Толстой Н.И. Не* — не ‘не’ // Фонетика, фонология, грамматика. К семидесятилетию А.А.Реформатского. М., 1971.

Урбанович 2006 — *Урбанович Г.И.* Генетическая характеристика лексико-семантического поля «судьба, счастье, удача» в русском языке. АКД. М., 2007.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Перевод с нем. и доп. О.Н.Трубачева. Т. 1–4. М., 1964–1973.

Хелемендик — *Хелемендик А. В.* Генетическая характеристика лексико-семантического поля ‘ругать(ся)’ в русском языке. АКД. М., 2007.

Цыхун — *Цыхун Г.* Пра адзін выпадак народнаэтымалагічнай субстытуцыі (усх.-слав. *наморожня* ‘дэталь у санях’) // Slavia orientalis. T. XXXIX. Nr. 3–4. 1990.

Черниш 2003 — *Черниш Т.О.* Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні. Київ, 2003.

Черныш 1995 — *Черныш Т.А.* Этимологические гнезда с исходным значением горения в славянских языках (**gor-/*žer-*, **žeg-/*žig-*, **pel-/*pol-*). АКД. Киев, 1985.

Шальтяните 1990 — *Шальтяните А.П.* Семантика группы словообразовательно-этимологических гнезд в русском языке (на материале гнезд глаголов со значением ‘драть, дергать’). АКД. М., 1990.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева (вып. 1–31), О. Н. Трубачева и А. Ф. Журавлева (вып. 32), А. Ф. Журавлева (вып. 33). Вып. 1–33. М., 1974–2007.

Kopečný 1957 — *Kopečný F.* Nářečí Určíc a okolí. Prostějovský úsek hanáckého nářečí centralního. Praha, 1957.

Machek — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. [Praha, 1997].

Malkiel 1954 — *Malkiel J.* Etymology and the structure of word families // Word. 1954. V. 10. № 2–3.

Miklosich LP — *Miklosich Fr.* Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865.

StčSl — Staročeský slovník / Hl. red. B. Havránek (sv. 1–12), V. Křístek (sv. 13), J. Petr (sv. 14–20), I. Němec (sv. 21–25). Sv. 1–25. Praha, 1968–2004.

Šivic-Dular 1999 — *Šivic-Dular A.* Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih. Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu. Ljubljana, 1999.

Т. И. Вендина

Общеславянский лингвистический атлас (1958–2008). Итоги и перспективы

XX век в истории диалектологии ознаменован своеобразной «диалектологической революцией» (Ж. Фурке), обеспечившей победу лингвистической географии. Он открывается знаменитыми атласами Франции Ж. Жильерона и Э. Эдмона (Atlas linguistique de la France. Paris, 1902–1910), Германии Г. Венкера (Sprachatlas der Rheinprovinz. Marburg, 1926), Румынии Г. Вейганда (Linguistischer Atlas des daco-rumänischen Sprachgebiets. Leipzig, 1889–1909), а заканчивается публикацией Общекарпатского диалектологического атласа, а также очередных томов Общеславянского и Европейского лингвистических атласов.

Процесс становления лингвогеографии как науки был довольно трудным и не всегда триумфальным: в начале XX в. результаты лингвистической географии часто ставились под сомнение. Известно, например, что карты Г. Венкера, вдохновленного идеями младограмматиков, не подтвердили их тезиса о регулярности действия фонетических законов, так как не обнаружили четкой диалектной дифференциации [Бах 1955: 101]. Спорными оказались и результаты лингвистического картографирования лексики в атласе Ж. Жильерона: достаточно вспомнить, как много нападок выдержал этот атлас, ошеломляющим открытием которого явилось то, что диалектные границы растворились в отдельных изоглоссах. Этот вывод был настолько неожиданным, что заставил создателя атласа высказать даже сомнения в существовании диалектов (подробнее см. [Бородина 1966: 34]).

И только лишь в конце XX в. лингвистическая география прочно заняла свои позиции, став одним из важнейших источников лингвистической информации о внутренней динамике языковых, этнических и культурных процессов. Становление лингвогеографии как науки было во многом обусловлено осознанием роли карты в осмыслении многих исторических и современных процессов в эволюции языка. Понимание того, что картографическое изображение выгодно отличается от текстового изложения, сделало карту важнейшим инструментом лингвистического анализа. Лингвистическая карта «вооружила» диалектологов и историков языка лингвогеографическим методом исследования, благодаря которому она превратилась в источник сравнительно-исторической и/или типологической информации. Стало ясно, что любая лингвистическая

карта (как аналитическая, так и синтетическая) является богатейшей «библиотекой» не только фактических данных, но и сведений, касающихся диалектной дифференциации того или иного языка.

За прошедшие сто лет многое изменилось в лингвогеографических исследованиях: сложились новые представления о типах карт и атласов, их репрезентативных возможностях в решении тех или иных задач, расширились и цели исследования, в результате сегодня диалектологические атласы различаются между собой не только территорией картографирования, но и поставленными перед ними задачами, и соответственно характером представленных в них карт, объектом и способом картографирования.

В этом процессе утверждения лингвогеографии немаловажная роль принадлежит Общеславянскому лингвистическому атласу, благодаря которому славистика вышла за рамки национальных филологий и, преодолевая атомарность и поверхностность отдельных славистических штудий, обратилась к изучению праславянских явлений в общеславянском масштабе.

Программа Атласа предусматривает решение двух качественно разных задач — сравнительно-исторического и синхронно-типологического изучения славянских диалектов.

Первая — традиционная область славянского языкознания — «охватывает такие вопросы, как образование славянского языкового единства и последующее его диалектное членение, а в дальнейшем образование современных славянских языков. Вместе с данными историческими в широком смысле, включая этнографические и археологические, ОЛА дает материал для решения вопроса о первоначальной территории, занимаемой славянами, и их последующего распространения в разных направлениях в разные географические зоны и в разные исторические эпохи, о контактах славянских языков с языками неславянских народов... Помимо проблемы реконструкции праславянского языка в его общих и диалектных чертах ОЛА дает материал и для освещения вопросов общеславянских, т.е. более поздних процессов, охватывающих в той или иной мере все славянские языки и диалекты, процессов, основанных на общности предшествующей эпохи, но протекавших в разных частях Славии в значительной мере самостоятельно и приведших к разным результатам... Наконец, ОЛА дает материал для изучения истории формирования современных славянских диалектов, внутриславянских контактов — процессов более позднего времени» [ОЛА Вступительный выпуск: 28–30].

Другая задача Атласа, также не менее важная и к тому же в значительной степени новая, — задача синхронно-типологическая, акту-

альная для всех уровней языка от фонетического до грамматического, включая синтаксический. Решение этой задачи предполагает создание карт принципиально нового типа, которые должны репрезентировать отдельные фрагменты языковых систем славянских языков.

Таким образом, Атлас является грандиозным лингвогеографическим проектом сравнительно-исторического языкознания XX в., аналога которому славистика не знает. В нем обобщен опыт славянской и европейской лингвистической географии и впервые дана территориальная стратификация многих праславянских языковых явлений.

Работа над созданием Общеславянского лингвистического атласа продолжается уже 50 лет. Несмотря на то что процесс создания Атласа растянулся во времени и при этом знал разные коллизии, его коллективу удалось опубликовать шесть томов фонетико-грамматической серии — «Рефлексы *ě» (Београд, 1988), «Рефлексы *ę» (Москва, 1990), «Рефлексы *ǫ» (Warszawa, 1990), «Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl» (Warszawa, 1994), «Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные» (Скопје, 2003), «Рефлексы *ъ, *ь» (Загреб, 2006) и пять томов лексико-словообразовательной серии — «Животный мир» (Москва, 1988), «Животноводство» (Warszawa, 2000), «Растительный мир» (Мінск, 2000), «Профессии и общественная жизнь» (Warszawa, 2003), «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» (Москва, 2007), и это при том, что в 80-х годах публикацию Атласа пришлось «заморозить», так как в процессе работы возникли сложности экстралингвистического характера, преодолеть которые удалось практически только спустя двадцать лет (подробнее об этом см.: [Иванов 1993: 315]). В настоящее время во всех странах-участницах этого международного проекта ведется работа по подготовке к печати очередных томов Атласа — лексико-словообразовательной серии («Сельское хозяйство», «Народная техника. Транспорт и пути сообщения», «Человек», «Степени родства» и др.) и фонетико-грамматической («Рефлексы *e», «Рефлексы *o», «Рефлексы *a», «Рефлексы *i, *y, *u», «Рефлексы *tort, *tolt, *tert, *telt», «Местоимения» и др.).

В истории этого проекта важной вехой явился VIII съезд славистов, на котором Р. И. Аванесов, один из основателей Атласа, говорил о том, что будет или должно быть в ОЛА. Сегодня **можно говорить о том, что уже есть**, что уже видно, что уже реально дают карты Атласа для изучения диалектов славянских языков в их истории и современном состоянии, какую новую лингвистическую информацию содержат карты ОЛА, в чем проявляется специфика состояния современного диалектного континуума Славии, характера его дифференциации, какие коррективы вносит Атлас в существующие представления о

складывании дифференциации отдельных зон Славии, включая динамику этой дифференциации.

И здесь прежде всего следует сказать о том, что работа над ОЛА со всей очевидностью показала, что **реконструкция системы праславянского языка, решение вопроса о локализации прародины славян невозможно без** изучения современного славянского диалектного континуума методами **лингвогеографии**. В этом смысле Атлас содержит бесценную **информацию об ареалах** многочисленных явлений как фонетико-грамматических, так и лексико-словообразовательных, локализация которых ранее была неизвестна в славистике.

Оценивая предварительные итоги проделанной работы, следует также отметить то, что **Атлас предоставил исследователям богатейший диалектный материал,** бывший ранее во многом неизвестным, а потому долгое время остававшийся в тени при изучении диалектной дифференциации Славии. И этот **во многом новый и свежий языковой материал является главным итогом международного проекта**.

Как уже отмечалось выше, Атлас имеет прежде всего **сравнительно-историческую** направленность, поскольку в основе его лежит генетический принцип установления диахронического тождества слов и морфем, реконструируемых для позднего праславянского периода. Эта диахроническая направленность Атласа особенно хорошо прослеживается в его фонетико-грамматической серии, где отчетливо видна дифференциация славянских диалектов в зависимости от исторического развития картографируемых праславянских единиц.

Давая представление о шкале возможных и допустимых перемещений в исторической эволюции праславянских фонем, карты этой серии впервые предоставили возможность исторического прочтения лингвистического ландшафта Славии, продемонстрировав эффективность синтеза сравнительно-исторического и лингвогеографического методов исследования.

Публикация **фонетических** томов Атласа позволила **критически оценить высказанные ранее гипотезы о фонетической субституции некоторых праславянских единиц** в позднепраславянском и современных славянских языках. Так, например, материалы первого фонетического тома «Рефлексы *ě» дали возможность ответить на два принципиально важных вопроса, а именно: 1) какова была фонетическая природа *ě, в частности его линейный характер (являлся ли он дифтонгом или был монофтонгом) и 2) что представлял собой *ě в артикуляционном отношении (если это был дифтонг, то каковы были его компоненты, если монофтонг, то каково было его качество).

На фоне синхронных и ареальных показателей Атласа более убедительной представляется эволюционная теория *ě, когда в качестве исходной для одних диалектов признается широкая открытая артикуляция типа *ea* (*ęa, eä, 'ä*), а для других узкая закрытая типа *ę* с последующим преобразованием их либо в сторону дальнейшего сужения (ср. модель *ea* > *ę* > *ie* > *i* (*iie*), характерную для многих сербских, хорватских, словенских, а также, возможно, и некоторых севернорусских говоров, или *ę* > *ie* > *i* — для украинских и некоторых севернорусских говоров, *ea* > *e* — для македонских, северо-восточных штокавских и западноболгарских), либо в сторону расширения (ср. модель *ea* > *'a* > *'a*, которая характерна для ряда восточноболгарских и македонских говоров, или модель *ę* > *e* — для многих русских говоров; подробнее см.: [Вендина 1997: 209; Вендина 1998: 136]).

Таким образом, сам материал Атласа говорит о том, что фонетическая система праславянского языка была чрезвычайно сложной и при этом диалектно дифференцированной. Включение в систему доказательств фактора пространства позволяет не только определить фонетическую субституцию праславянской единицы, но и является убедительным свидетельством отсутствия единого в фонетическом и лексическом отношении «праславянского наречия» [Мейе 1951: 1], из которого традиционно выводились все славянские языки.

Карты Атласа позволяют **пересмотреть** и некоторые **древние изоглоссы**, которые традиционно считались релевантными для южно- и восточнославянской языковой группы. Так, в частности, материалы тома «Рефлексы *ę» вносят коррективы в существующие представления о том, что рефлекс *a* на месте *ę является исключительной принадлежностью восточнославянских языков, так как в южнославянских диалектах после праславянских шипящих и j на месте *ę выступает гласный более широкий, чем после других согласных (см., например, карты *žędlo, *žędja, *žędьnъ, *žęlъ, *jęčьmy, *językъ, *(-)jęla, *zajęcь и др.).

Неравномерность развития диалектных систем, помноженная на исключительное многообразие праславянских континуантов, представленных на картах Атласа, позволяет установить и **последовательность различных стадий исторической эволюции** праславянских фонем, выявить типологию их развития, что дает возможность внести коррективы в сложившиеся в славистике представления об этих процессах: см., например, материалы томов, посвященных праславянским носовым, на картах которых прослеживаются различные стадии процесса деназализации рефлексов праславянских *ǫ, *ę и обнаруживаются факты, ранее неизвестные в славистике. Карты обоих томов по-

казали, что носовой резонанс этих праславянских гласных характерен далеко не для всех польских диалектов: полностью, в виде вокальной назальности, он сохранился в кашубских, в отдельных мазовецких и малопольских говорах, кроме того, он наблюдается также в отдельных говорах Каринтии, хотя и только у представителей старшего поколения; в большинстве других польских диалектов, а также в южномакедонских говорах он представлен лишь в виде консонантной назальности [Topolińska, Видоески 1990: 110]. Таким образом, карты Атласа свидетельствуют о высокой исторической информативности диалектного ландшафта Славии, ибо разрозненная фиксация языковых фактов, представленная в отдельных сравнительно-исторических штудиях, выстраивается на его картах в логически последовательные цепи, отражающие реальную связь изучаемых явлений в пространстве и времени.

Возможность рассмотреть то или иное явление в общеславянском контексте позволяет **по-новому взглянуть и на факты истории фонетических систем отдельных славянских языков**. Так, в частности, материалы четвертого тома Атласа «Рефлексы *ьг, *ъг, *ьl, *ъl» дают основания для пересмотра существующих в русистике взглядов на явление аккомодации сонанта предшествующему гласному переднего ряда, традиционно рассматривавшееся как исконно русское, отражающее следы т. н. «второго полногласия». Широкое распространение этого явления не только в русских, но и во многих западнославянских говорах, наличие разорванных (часто неконтактных) ареалов в отдельных украинских (прежде всего юго-западных) и белорусских (витебско-могилевских) говорах позволяет квалифицировать его как одно из диалектных праславянских явлений, которое охватило северные диалекты Славии, способствуя тем самым формированию диалектного различия, противопоставившего севернославянский ареал южнославянскому.

Таким образом, картографирование имеет уже не просто иллюстративную функцию, а становится важной теоретической составляющей сравнительно-исторического языкознания. Карты Атласа нередко свидетельствуют о том, что **традиционно принятые аргументы при объяснении тех или иных фонетических явлений теряют свою объяснительную силу**, как только в систему доказательств включается фактор пространства, ср., например, судьбу редуцированных *ъ и *ь перед слогом с гласным полного образования в формах типа **тъха*, представленных в 4б томе «Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные»: вокализация редуцированных в начальном слоге перед слогом с глас-

ным полного образования, засвидетельствованная практически повсеместно в западно- и восточнославянских диалектах, а также в словенских и некоторых сербских, доказывает возможность фонетического обоснования развития редуцированных в данной праформе и подрывает традиционную точку зрения о влиянии морфологической аналогии, ибо морфологическая аналогия, проявляющаяся, как правило, индивидуально, вряд ли могла стимулировать изменение фонетического облика слова на таком обширном языковом пространстве, в противном случае это означало бы признание морфологической аналогии таким необъяснимым феноменом, который распространяется на огромной территории и на большой временной протяженности (ибо падение редуцированных в разных языках шло в разное время), что едва ли правомерно (подробнее см.: [Калнынь 1996: 40]).

Следует отметить также, что фонетические тома, посвященные редуцированным, заставляют по-другому взглянуть и на проблему, которая до сих пор в славистике казалась давно уже решенной, а именно на оценку их «сильной» и «слабой» позиции. Карты ОЛА показывают, что в восточнославянских диалектах правило Гавлика в т. н. «слабой» позиции перед слогом с гласным полного образования «не работает», поскольку в этой позиции прослеживается вокализация «слабых» редуцированных (см., например, карты **trъstina*, **drъva*, **krъvavъ*, **xrьbьtъ*, **trьbuxa*, **grьmitъ* и др.). Это обстоятельство заставляет историков языка вновь вернуться к вопросу о том, чем обусловлено прояснение редуцированных в данной позиции — влиянием морфологической аналогии (выравниванием основ в парадигме), как это традиционно считалось, но против чего «восстает» фактор пространства, или собственно фонетическими условиями, признанием того, что редуцированные и в этом случае находились в «сильной» позиции. Таким образом, «те аргументы, какие могут быть выдвинуты для объяснения определенных явлений в истории отдельных славянских языков или диалектов и какие в этом случае могут считаться достаточными, — эти аргументы теряют свою доказательную силу, когда такие явления обнаруживаются на большом языковом пространстве» [Иванов 1996: 17].

Публикация томов **лексико-словообразовательной** серии также дает основания для нового взгляда на ряд нерешенных вопросов славистики, в частности, на **проблему лексического фонда праславянского языка**. Известно, что праславянская «словарная коллекция» довольно долгое время создавалась в отрыве от ее лингвогеографической проекции, в связи с чем лексический состав праславянского язы-

ка из-за отсутствия достоверных материалов и надежных сведений по древним лексическим изоглоссам воспринимался не дифференцированно.

Между тем каждый том лексико-словообразовательной серии Атласа содержит в себе целую серию **древних лексических диалектизмов**, имеющих нередко эксклюзивные сепаратные связи, поскольку та или иная лексема «самым причудливым образом всплывает на разных концах Славии, объединяя порой неблизкие диалекты между собой и даря нам таким образом фрагменты древней лингвистической географии с ее проницаемостью диалектных границ» [Трубачев 2003: 19].

Наличие таких изоглосс придает Атласу статус особо ценного источника сравнительно-исторических и этимологических штудий, так как, в отличие от праславянских этимологических словарей, он **позволяет выявить пространственную локализацию межъязыковых схождений и, что самое главное, оценить их с ареальной точки зрения**, так как эти схождения могут иметь разный характер — точечный (см., например, ситуацию на карте 'ель' (т. 3), где распространение лексемы *//edl-a* в хорватских (п. 146а), словацких (п. 156) и македонских (п. 93) говорах имеет ярко выраженный точечный характер) или системный, т. е. они могут охватывать значительные ареалы, отражая сложные отношения между двумя и более диалектами (см., например, на той же карте украинско-западно-южнославянскую изоглоссу лексем *smerk-ъ, smerk-a*). Совершенно очевидно, что классификационный вес этих изоглосс будет разным, так же как и изоглосс, связывающих пограничные диалекты разных языков и диалекты, не имеющие точек соприкосновения. Поэтому ценность материалов Атласа определяется еще и тем, что его карты дают возможность визуально оценить «значимость» (valeur) каждой изоглоссы в общеславянском масштабе, так как география и характер ареала многое проясняет в природе возникновения этих схождений. Так, например, лексико-словообразовательные корреспонденции между восточнославянскими (а также частично западнославянскими) диалектами и говорами северо-западной части южной Славии могут квалифицироваться как северные черты в южнославянских диалектах, см., например, распространение лексем *melz-iv-o, melz-iv-a* (вост.-сл., чеш., слц., слн., хрв. диалекты) на карте 'молоко коровы сразу после отела' (т. 6), и наоборот, соответственные явления, характерные для центральной части южнославянского диалектного континуума и карпатоукраинских говоров могут расцениваться как южные черты в этих говорах [Ивић 1991: 98, 194], см., например, распространение лексемы *soln-in-a* (серб., мак., частично хрв., карпа-

тоукр., слц., плс. диалекты) на карте ‘подкожный слой жира в свинине’ в шестом томе ОЛА.

Материалы карт позволяют выявить роль конвергентных процессов в формировании статистической близости языков, особенно пограничных диалектов (при отсутствии подобных схождений в других языках), и тем самым сделать выводы о языковых «предпочтениях» тех или иных диалектов более строгими и убедительными. Более того, эта возможность пространственной визуализации межъязыковых схождений делает реальной временную стратификацию картографируемых лексем подобно той, которой располагает славистика, предлагая относительную и даже абсолютную хронологию для многих фонетических и грамматических явлений праславянского языка (так, например, классификационный вес изоглоссы *os-ik-a* (т. 3, карта № 34 ‘осина’), связывающей украинские диалекты с западно- и южнославянскими в хронологическом плане будет, несомненно, выше любой, даже эксклюзивной, украинско-польской или украинско-словацкой изоглоссы).

В этом смысле Атлас обогатил славистику не только новым, четко стратифицированным материалом, позволяющим с высокой степенью достоверности создать фонд праславянских лексических единиц, но и предоставил исследователям еще одну уникальную возможность, ранее совершенно нереальную — рассмотреть те или иные диалекты в общеславянском контексте, став бесценным источником для **изучения истории формирования современных славянских языков и диалектов**, и в частности вопроса о диалектной основе праславянского языка и о праславянском элементе в словарном составе того или иного славянского языка.

Не менее важным является и другой аспект Атласа — **синхронно-типологический**, так как ОЛА охватывает целую семью хотя и близкородственных языков, но существенно отличающихся по своему строю. Этот аспект Атласа реализуется как в фонетико-грамматической, так и в лексико-словообразовательной серии.

Так, в частности, во всех томах фонетико-грамматической серии ОЛА содержатся **типологические карты**, репрезентирующие целые фрагменты языковой системы, на которых в обобщенном виде представлена информация, содержащаяся на отдельных картах, посвященных континуантам той или иной праславянской фонемы.

Синтезируя и упорядочивая огромный материал целого тома, эти обобщающие карты являются по своей сути интерпретационными, поскольку на них репрезентируются результаты сопоставления со-

временных континуантов с более ранними, при этом факты, не являющиеся продолжением развития собственно праславянских единиц, авторами элиминируются. На этих картах получают отражение не только рефлексы картографируемых праславянских фонем, но и их позиционное поведение.

Обобщающие карты посвящены исследованию таких, например, вопросов, как влияние консонантного окружения на рефлексацию праславянских вокалов. В большинстве сравнительно-исторических исследований эта информация, как правило, отсутствует или носит эпизодический характер. Между тем карты Атласа продемонстрировали, как важен учет консонантного окружения при изучении рефлексации праславянских гласных, поскольку наличие или отсутствие влияния фонетического контекста может являться причиной возникновения древнейших диалектных различий, ср., например, развитие гласного *ę [Пожарицкая, Попова 1990: 174].

Новой и принципиально важной для сравнительно-исторического языкознания является и информация о влиянии вокального количества на рефлексацию праславянских гласных *ě, *ǫ и *ę. На обобщающих картах Атласа, посвященных рефлексации этих праславянских гласных, впервые четко обозначен ареал влияния вокального количества (польские, чешские, словацкие, словенские, сербские и хорватские диалекты) и определен тип влияния — непосредственное (что чаще всего наблюдается в словенских диалектах) и опосредованное (примером такого влияния являются, как правило, польские диалекты); подробнее см.: [Ivić, Logar 1990: 112; Ивич, Логар 1990: 170; Ивич, Логар 1988: 154].

Предметом картографирования в Атласе стал также вопрос о влиянии ударения на рефлексацию праславянского вокала (ср., например, обобщающую карту «Отношение рефлексации *ě к ударению» [Вендина, Калнынь 1988: 152]), на которой отчетливо выделяются две группы говоров: 1) **говоры, в которых рефлексация *ě зависит от ударения**, так как в них *ě сохранил свою специфику лишь под ударением, поскольку без ударения он утратил свою индивидуальность, совпав либо с более широким низким гласным (серболужицкие, значительная часть севернорусских говоров, большинство белорусских и украинских севернополесских говоров; из южнославянских — часть словенских говоров и отдельные пункты в говорах Эгейской Македонии (п. 112), либо с более узким высоким гласным (что наблюдается значительно реже и встречается в основном в отдельных новгородских говорах — п. 609–610, словенских — п. 12–14, 21, 149,

сербских — п. 168 и македонских — п. 106); 2) **говоры, в которых ударение не влияет на рефлексацию** *ě, так как в них он либо утратил свою специфику (большинство русских, сербских, хорватских и македонских диалектов, частично белорусских и словенских), либо сохранил ее независимо от ударения (большинство украинских диалектов и отдельные пункты в сербских штокавских говорах).

Новым перспективным направлением в лингвистической географии является и создание в ОЛА обобщающих фонетико-фонологических карт, репрезентирующих факт сохранения или утраты фонологической индивидуальности праславянской фонемы в ее отношении к другим функциональным единицам фонологической системы праславянского языка независимо от ее современной фонетической реализации. Авторы этой серии карт (Б. Видоески и З. Тополиньска) вскрывают сложные отношения континуантов картографируемой фонемы с другими единицами диалектной системы вокализма, которые во многих славянских диалектах возникли вследствие частичного позиционного или факультативного ее совпадения с другими фонемами.

Сопоставительный анализ этих структурно-типологических карт ОЛА позволит в будущем «нащупать» механизм развития многих праславянских фонем **и выявить внутренние связи сходных по своим результатам рефлексаций** (например, *ě и *ę), что в конечном итоге позволит создать типологию фонетико-фонологических систем славянских диалектов.

Такой принципиально новый подход к интерпретации материалов Атласа позволил по-новому взглянуть на диахроническую типологию славянских языков, с докладом о которой на IX съезде славистов выступил П. Ивич. В своем докладе он поднял вопрос о причинах, вызывающих изменения в системе вокализма славянских языков. Одной из таких причин является тенденция к упрощению системы вокализма. И хотя это упрощение в разных славянских языках протекало по-разному, однако определенные закономерности все же прослеживаются. Они связаны с действием главным образом двух факторов — просодических (ударение, количество, тон) и позиционных (граница слова — начало или конец, качество предшествующего и последующего согласного, а также качество гласного следующего слога). Главными из них, по мнению П. Ивича, являются **ударение** (а точнее безударность), **количество** и **мягкость** соседнего согласного. Причем территориальная дистрибуция действия этих факторов разная: в восточнославянских языках, как и на восточной окраине южнославянских языков, наблюдается комбинация двух факторов — ударения и мягкости соглас-

ного. В западнославянских диалектах наибольшую силу имело количество и мягкость согласного. В словенском языке и ближайших к нему хорватских диалектах существенным было влияние количества и ударения. В кайкавских и чакавских говорах особенно значимо было количество, а ударение оказало небольшое влияние. В штокавских говорах, а также в большинстве македонских и некоторых западноболгарских говорах действия этих факторов практически не наблюдается [Ivić 1983: 1].

Таким образом, материалы фонетико-грамматической серии Атласа являются ярким свидетельством того, что ОЛА дает возможность не только для сравнительно-исторического, но и для типологического изучения современных славянских диалектов, выявления их типологических особенностей.

Не менее значимой является структурно-типологическая информация и лексико-словообразовательной серии карт. Это относится прежде всего к мотивационным картам как к новому типу лингвистической интерпретации картографируемого материала. Пока удельный вес этих карт в Атласе сравнительно невелик, однако число их в каждом томе увеличивается. Ценность их определяется тем, что, эксплицируя внутреннюю форму того или иного слова, они позволяют не только выявить принципы номинации реалии, но и, в отличие от этимологических исследований, прояснить причины или мотивы их возникновения. А возможность рассмотреть их в общеславянском контексте позволяет выявить некоторые типологические универсалии. Более того, публикация ЛАЕ и ОКДА дает возможность «встроить» эти карты в более широкие рамки, спроецировав их данные на материал европейских языков (ср., например, карту, посвященную названию одуванчика (Leontodon Taraxacum) в третьем томе Атласа «Растительный мир»: если в славянских диалектах в его названиях чаще всего актуализируется качественно-характеризующий признак (по выделяемой на изломе стебля жидкости, ср. плс., луж., чеш., слц., слн., серб. *mel͡č-ь*, мак. *mel͡č-ьk-a*, блр., укр., плс. *mel͡č-aj-ь*), а также акторный (название как результат действия, ср. рус., блр. *o-duv-an-ьč-ik-ъ*), то в английском и немецком языках чаще всего используется реляционный признак с семой ‘подобия’ (ср. англ. *dandelion*, нем. *Löwenzahn* (оба названия мотивированы формой листьев этого цветка: франц. *dent-de-lion* ‘львиный зуб’ > англ. *dandelion*), а во французском (*pissenlit*) — функциональный, связанный с медицинским воздействием этого растения («стандартный французский термин был заимствован в соседних немецких и нидерландских диалектах как *Bettpisser* и *Bettseicher* ‘мочащийся в постель’» [Фирек 2003: 31]).

Отражение на карте всех зафиксированных в славянских диалектах названий (за исключением единичных или случайных) позволяет увидеть реальную картину фрагмента славянского языкового мира. В этом смысле материалы Атласа имеют еще одну чрезвычайно важную ценность — лингвокультурологическую. Несмотря на то что культурно-историческая направленность Атласа в опубликованных томах пока еще ясно не эксплицирована, однако в дальнейшем она может быть достаточно четко представлена на его этнолингвистических картах, соединяющих в себе принципы собственно лингвистического и культурологического анализа картографируемого материала (опыт составления таких карт имеется уже в ЛАЕ; см., например.: [Гак 1996: 105, Alinei 1997: 3].

Создание таких карт в ОЛА — дело, несомненно, будущего. Однако и сегодня соединение лингвистического, этнолингвистического и лингвогеографического подходов в интерпретации материалов Атласа позволяет не только выявить много интересного, но и внести коррективы в саму «идеологию» картографической концепции.

Так, в частности, осмысление опубликованных материалов лексико-словообразовательной серии Атласа приводит к мысли о необходимости включения данных этнолингвистических исследований в лингвистический комментарий лексической, лексико-словообразовательной и мотивационной карты, поскольку этнолингвистика помогает многое прояснить в мотивационных признаках картографируемых лексем, мимо которых часто «проходит» автор карты: например, внимательное прочтение карт первого тома ОЛА «Животный мир» обнаруживает сходство в морфемной структуре лексем *last-ъk-a* и *last-ъč-ъk-a* на картах, посвященных названию ласки и ласточки (к. 9 ‘ласка’ и к. 24 ‘ласточка’), причем сходство не только формальное, но и ареальное: обе лексемы имеют приблизительно одинаковую географию (восточнославянские диалекты, а точнее — южнорусские, восточноукраинские и восточнобелорусские). Объяснение этому странному совпадению дает этнолингвистика, указывающая на то, что «в народной традиции ласточка обнаруживает сходство с лаской (обеим свойственна женская символика, обе они благоприятствуют скоту, обе наделяются функцией щекотания («лоскотания»)» и т.д. (подробнее см.: [Гура 1997: 631–632]).

Эти примеры свидетельствуют о том, что разрешающие возможности лексического материала Атласа могут быть значительно увеличены, если при его анализе будут использоваться и данные этнолингвистики.

Однако ценность Атласа этим не исчерпывается, она определяется еще и тем, что он может служить важным источником информации и

для самой этнолингвистики. И хотя эта информация существует на картах ОЛА чаще всего в латентном, непроявленном состоянии, а потому нуждается в своей экспликации, однако выявить ее можно с помощью методов лингвистического и лингвогеографического анализа.

Этнолингвистическая информация может быть извлечена прежде всего из лексических и лексико-словообразовательных карт, посвященных лингвогеографической репрезентации названий тех или иных реалий внешнего мира. При этом ключом к декодированию культурно-исторических смыслов могут служить метафорические номинации, в которых нередко сохраняются следы мифологических воззрений славян на природу (в этом отношении чрезвычайно ценный материал содержат первые три тома Атласа «Животный мир», «Животноводство» и «Растительный мир»).

Однако самым надежным источником этнолингвистической информации, как представляется, являются мотивационные карты, поскольку они позволяют увидеть мотивационный признак в пространстве языка той или иной культуры и поэтому являются, по сути дела, лингвогеографической проекцией языка этой культуры.

Так, например, в шестом томе Атласа «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» находится мотивационная карта, посвященная названию ‘первого куска хлеба, отрезанного от буханки, горбушки’. На этой карте наряду с пространственным и процессуальным мотивационным признаком (ср. *kraj-ьc-ь, kraj-ьč-ę, kraj-išč-e* или *kroj-ь, sъ-kroj-ьk-ъ; pri-lěp-ъk-a, sъ-lěp-ъk-ъ; rǫb-ъ, rǫb-ьč-ę; na-čęt-ъk-ъ, na-čin-ъk-ъ, ob-ber-ьk-a*) представлен антропоморфный признак (ср. лексемы *gъ̯rb-ux-a, gъ̯rb-uš-a, gъ̯rb-uš-ьk-a, gъ̯rb-uš-ьk-ъ, gъ̯rb-ъk-ъ* и др., распространенные главным образом в русских и частично украинских и белорусских диалектах; или лексемы *pęt-ъk-a, pęt-ič-ьk-a* и др., характерные в основном для периферийных македонских, южнопольских и чешских диалектов; лексема *lъb-ъk-ъ*, отмеченная только в украинских диалектах; лексемы *jan-ъk-ъ, jan-ъk-o* и др., встречающиеся в словацких и изредка в чешских диалектах). Все эти названия говорят о том, что хлеб в языке этих культурных традиций воспринимался как живое существо, имеющее свои «части тела». На это косвенно указывает и другая карта Атласа — ‘подходит, растет (о тесте)’, которая свидетельствует о том, что тесто практически во всех славянских диалектах уподобляется живому существу. Это существо **живет** (ср. лексемы *ži-v-e-tь, za-ži-v-e-tь* — севернорусские диалекты), **движется** (ср. лексемы *xod-i-tь, podъ-xod-i-tь, vъzъ-xod-i-tь, vy-xod-i-tь* и др. — восточнославянские, словенские и частично чешские диалекты; или *vъzъ-jьd-e-tь, podъ-jьd-e-tь* и др. —

македонские, частично южнорусские, болгарские и сербские диалекты; *dvig-a-je-tь sę, o͡rz-dvig-ne-tь sę, dviž-e-tь sę, na-dviž-e-tь sę* и др. — лужицкие, хорватские и словенские диалекты), **растет** (ср. лексемы *o͡rst-e-tь, o͡rst-ne-tь* и др. — польские, западноукраинские, сербские и македонские диалекты) и даже работает (ср. *o͡rb-i-tь* и др. — кашубские диалекты). Наконец, об этом же говорит и распространенное практически во всех славянских диалектах название зернового хлеба — *žito*, в котором реализуется идея жизни.

Карты Атласа позволяют не только увидеть разные мотивационные признаки в пространстве языка той или иной культуры, но и провести глубинную смысловую реконструкцию метафорических образов, лежащих в основе этих мотивационных признаков (см., например, реконструкцию метафорических образов божьей коровки в [Топоров 1999: 491; Вендина 2000: 193]). Этнолингвистический подход к репрезентации материала на карте, предполагающий объясняющую интерпретацию лингвистической карты, открывает, таким образом, большие перспективы перед Общеславянским лингвистическим атласом в картографической проекции духовной культуры славян. Расширение практики мотивационной картографии «позволит отвлечься от формальных различий между языками и сосредоточиться на сходных или одинаковых идеологических и культурных представлениях для исследования „мотивационного метаязыка“, общего для всех языков мира» [Донадзе 2004: 107]. Следует отметить, что именно на этом направлении международный коллектив ЛАЕ достиг наиболее заметных результатов.

Говоря о синхронно-типологической направленности лексико-словообразовательной серии Атласа, следует особо подчеркнуть тот факт, что карты этой серии имеют существенное предпочтение перед любым диалектным или сравнительно-историческим исследованием монографического характера, поскольку они **позволяют одномоментно увидеть пространственную стратификацию всей лексико-семантической группы** на территории Славии. В этом смысле на карте как бы в конденсированном виде отражен фрагмент славянской языковой картины мира. А наличие разных мотивационных признаков, четко выявляемых в легенде к каждой карте, дает возможность реально ощутить **своеобразие национального языкового сознания** в сложном процессе восприятия мира человеком, его познавательной и классифицирующей деятельности.

Синхронно-типологический аспект Атласа проявляется и в том, что его материалы дают исследователю возможность «реально пред-

ставить» общую картину **механизма эволюции славянских языков**. Сравнение материалов карт лексико-словообразовательной и фонетико-грамматической серии Атласа свидетельствует о том, что в лексических и фонетических системах славянских языков процессы их дивергенции носили разный характер: если на фонетических картах мы можем довольно часто наблюдать четкое диалектное размежевание, своеобразные «разломы» на диалектном ландшафте terra Slavia (см., например, карты фонетических томов ОЛА, посвященных рефлексам носовых), то на лексических картах таких резких обрывов изоглосс не прослеживается, скорее здесь отражен процесс медленного разрушения праславянского единства, при котором следы прежней близости языков не только не утрачиваются, а, напротив, довольно долго сохраняются (хотя нередко и лишь в виде осколков). И эта разная картина эволюции славянских языков на фонетическом и лексическом уровне порождена кумулятивным принципом развития лексического состава каждого языка, когда новое не устраняет старое, а прекрасно «сосуществует» с ним, усложняя эту систему во времени и в пространстве.

Карты лексико-словообразовательной серии Атласа позволяют **выявить** и некоторые **тенденции**, которые прослеживаются на диалектном **ландшафте** Славии. Это прежде всего тенденция к сужению ареалов праславянских лексем за счет широкого распространения региональных диалектизмов. И это обстоятельство чрезвычайно повышает ценность лингвогеографического критерия при определении диалектов, отличающихся наибольшей концентрацией лексической архаики.

При этом степень сохранности праславянских диалектизмов во многом определяется их принадлежностью к той или иной семантической группе, поскольку она, как правило, выше в лексике, принадлежащей миру «дикой» природы, нежели в доместикатах, относящихся к миру «второй» природы, созданной самим человеком: именно в этой лексике чаще всего прослеживается яркое своеобразие в видении и назывании предметов и явлений, отсюда богатство как корневых морфем, так и цельнолексемных номинаций, имеющих эксклюзивный характер (см., например, карты, посвященные звукоподражательным глаголам в томе «Животноводство»: ‘блеет (овца)’, ‘лает’, ‘мяукает’, ‘поет (о петухе)’и др., которые свидетельствуют о том, что каждый славянский народ слышит эти звуки по-своему).

Ценность лексико-словообразовательных карт проявляется и в том, что они **позволяют внести коррективы в картину сходств и различий**

славянских языков, которая традиционно устанавливалась на базе данных исторической фонетики. Оперирование многочисленными лексическими изоглоссами, в количественном отношении во много раз превосходящими фонетические, дает исследователю возможность быть более объективным в восстановлении сложной картины схождений и расхождений родственных диалектов праславянского языка, нежели при использовании фонетических данных.

Материалы Атласа являются наглядной иллюстрацией пространственной стратификации совокупности лексико-словообразовательных явлений, соотносимых с теми или иными диалектами. При внимательном изучении карт Атласа можно обнаружить определенную повторяемость и устойчивость ряда изоглосс, связывающих те или иные языковые группы или отдельные диалекты. Причем она наблюдается не только в отдельных морфемах (корневых или аффиксальных), но и, что особенно важно, в цельнолексемных номинациях, что придает выявленным схождениям высокий классификационный вес и, соответственно, особую строгость и ценность, делая их надежными ориентирами при реконструкции системы славянского языкового родства.

В этом отношении чрезвычайно ценным является выход в свет шестого тома ОЛА «Домашнее хозяйство и приготовление пищи», в котором содержится полный свод материалов по всем славянским диалектам (включая болгарские), что позволяет впервые увидеть истинную картину междиалектных схождений и расхождений (см., например, к. 42 'белая часть яйца', на которой просматриваются связи **болгарских диалектов с восточнославянскими**, а также **словацкими, чешскими и польскими** (*běll/-ъk-ъ*); или карты, демонстрирующие связи двух южнославянских периферий, **словенской и болгарской** (*běl-O, běl-Ъ, běl-E* 'белая часть яйца', к. 42); карты, выделяющие **северо-западный ареал** южнославянского языкового континуума (*dobr-Ъ* 'вкусный', к. 65) и **юго-восточный** ((*xun*)-*ij-a* 'воронка', к. 5; *kraj-itj-ьn-ik-ъ* 'первый кусок хлеба, отрезанный от буханки, горбушка', к. 18; *gor-ęt-j-Ь, žeŽ-ьk-Ъ* 'горячий' (о воде), к. 48; *pьrst-ьn-Ъ, pьrst-ěn-Ъ* 'сделанный из глины', к. 50) или **целиком южный** (*xin-ъk-a* 'воронка', к. 5); карты, иллюстрирующие распространение эксклюзивных лексем, **выделяющих**, например, **болгарские диалекты** на лингвистическом ландшафте Славии (*kal-ěn-Ъ* 'сделанный из глины', к. 50; *bolg-Ъ* 'вкусный' к. 65); карты, репрезентирующие сепаратные изоглоссы, например, **болгарско-чешские** на карте № 22 *gov-ęd-j-E* (subst) 'мясо коровы или вола' или **болгарско-польские** на к. 34 *doj-ač-ьk-a* 'доярка' и т. д.

Не имея возможности подробно останавливаться на анализе схождений каждого из славянских языков и его диалектов (подробнее см.: [Вендина 1996: 18; Falińska 2001; Клепикова 2005: 51]), отметим, что общий ареалогический анализ лексических материалов, содержащихся в опубликованных томах лексико-словообразовательной серии Атласа, свидетельствует о том, что восточнославянские языки на фоне западно- и южнославянских демонстрируют удивительное лексическое единство (подробнее см.: [Вендина 2003: 63]), что свидетельствует о высокой степени гомогенности восточнославянского диалектного континуума, в отличие от южно- и западнославянских языков, отличающихся гетерогенностью. Этот факт не может остаться без внимания при рассмотрении вопроса о лингвистическом этногенезе южных и западных славян. Успешное решение этой проблемы, как представляется, лежит на пути выявления наиболее значимых сепаратных связей для каждой группы языков. В этой связи хотелось бы отметить, что привлечение болгарского материала в шестом томе Атласа позволило выявить ряд интересных изоглосс, свидетельствующих о древних болгаро-лехитских связях (ср., например, блг.-плс. изоглоссы: *svin-ьsk-O* (subst) 'мясо свиньи', к. 21; *sъ-met-an-a* 'пенка (на молоке)', к. 31 ; 3sg praes asp perf *u-got-ъv-i-tь* 'варит', к. 46; и др.).

Материалы Атласа, а также исследования, ведущиеся в этом направлении, говорят о «сложных и длительных процессах дивергентного и конвергентного развития славянской языковой семьи, начиная с праславянской эпохи, инициированных, в частности, интенсивными миграциями древних славян (а позднее — отдельных славянских этносов). Отсюда — существование, с одной стороны, диалектной дифференциации уже в праславянском, а с другой — «вторичных» сближений как на уровне прадиалектов, так и в дальнейшем — между отдельными славянскими языками в целом или некоторыми диалектами различных языков» [Клепикова 2005: 62].

Иллюстрацией таких сложных исторических процессов является картина, отраженная на картах, представляющих распространение заимствований в славянских языках. В этом отношении ОЛА дает уникальный материал для решения вопроса о **контактах славянских языков с языками неславянских народов** (см., например, **сводные карты заимствований** в шестом томе ОЛА «Домашнее хозяйство и приготовление пищи», посвященные заимствованиям из тюркских языков, из романских и германских, из латинского и греческого, а также из албанского и венгерского). На картах Атласа отчетливо видно, что география этих заимствований, а также их объем разный: наи-

более распространенными и частотными являются заимствования из немецкого языка (они покрывают практически всю территорию Славии за исключением болгарских и македонских диалектов), за ними следуют заимствования из тюркских языков, характерные в основном для восточно- и южнославянских диалектов, далее идут заимствования из итальянского языка (они распространены в основном в словенских диалектах в Италии и в хорватских на побережье Адриатического моря), из греческого (они локализуются в основном в южнославянском ареале, причем главным образом в болгарских и македонских диалектах), а также из латинского (они характерны преимущественно для западнославянских диалектов, и прежде всего польских, а также частично южнославянских — словенских и хорватских), из венгерского (они отмечены главным образом в словацких диалектах, а также в юго-западных украинских и частично на юго-востоке чешских), из румынского языка (в юго-восточном ареале южнославянских языков, а также в юго-восточных словацких и украинских закарпатских говорах), наконец, самая немногочисленная группа заимствований из албанского языка (они свойственны в основном македонским диалектам). Интересно, что и в восьмом томе ОЛА «Профессии и общественная жизнь» эта картина в принципе повторяется, хотя число заимствований здесь значительно выше (подробнее см.: [Siatkowski 2003: 174–184]).

Однако карты Атласа позволяют провести исследование и в обратном направлении и изучить заимствования славизмов в пограничные неславянские диалекты (например, румынские или немецкие), поскольку они содержат информацию об ареальной характеристике отдельных лексем такой высокой точности и детализации, что **позволяют выявить зоны активных иррадиационных процессов** и не только провести каталогизацию таких славизмов, но и **установить их относительную хронологию** (подробнее см.: [Бернштейн, Клепикова 1988: 52; Siatkowski 2004]).

Лингвогеографическое изучение славянских диалектов позволило обратиться к **рассмотрению типологии ареалов**, их величины, конфигурации, иерархии и задуматься над закономерностями, действующими в лингвистическом пространстве, а именно над такими лингвоареальными явлениями, как системность ареала (когда на огромном географическом пространстве наблюдается последовательное распространение одного и того же рефлекса или одной и той же лексемы) и противоположная ей асистемность, размытость ареала (когда на сравнительно небольшой территории наблюдается огромное разнообразие рефлексов или высокая концентрация разнолексемных номинаций (ср., например,

словенские диалекты, где чаще всего наблюдается такая ситуация, которую можно сравнить, пожалуй, с эффектом «прибрежных волн»).

Таким образом, материалы Атласа позволяют **определить специфику** современного состояния **диалектного ландшафта Славии**. Лингвистическое картографирование свидетельствует о том, что ареалы, выявляющиеся на картах Атласа, отличаются не только своей конфигурацией и местоположением (островной, центральный, маргинальный, контактный, дистантный), но и своими сущностными характеристиками, степенью своей дифференциации: например, на фонетических картах Атласа (а нередко и на лексических) восточнославянские языки часто выделяются своей монотонностью, в отличие от южно- и западнославянских языков, уровень диалектной дифференциации которых является довольно высоким. Однако и т. н. «чистые» ареалы (в которых отсутствуют существенные диалектные различия), и «мозаичные» (степень дифференциации которых так высока, что изоглоссы также не просматриваются) служат свидетельством тех сложных внутридиалектных процессов, которые и определили специфику этих ареалов. В этом отношении чрезвычайно существенным является пространственно-статистический комментарий к картам Атласа (первый опыт которого был предложен Б. Фалинской [Falińska 2001] в томе «Животноводство»), позволяющий проследить пути формирования ареала, этапы исторической эволюции картографируемой единицы языка.

Как уже отмечалось, одной из важнейших задач Атласа является задача определения «первоначальной территории, занимаемой славянами, и их последующего распространения в разных направлениях в разные географические зоны и в разные исторические эпохи» (ОЛА Вступительный выпуск: 28), т. е., иными словами, **задача определения прародины** славян. Следует, однако, признать, что Атлас пока не может решить этого вопроса. Решение его затруднено прежде всего тем обстоятельством, что практически все вышедшие тома Атласа (за исключением одного, шестого — «Домашнее хозяйство и приготовление пищи») имеют лакуну в виде болгарского материала, что делает какие-либо предположения и выводы по этой проблеме не вполне корректными. Думается, что устранение этой лакуны в последующих томах Атласа (или в виде дополнительной публикации болгарских материалов по сетке ОЛА) поможет найти ее решение. Пока же можно сказать, что материалы Атласа не подтверждают традиционной точки зрения о существовании единого в лексическом отношении праславянского языка. Благодаря этим материалам «на смену представлению о первоначально бездиалектном праславянском языке при-

ходит учение о диалектно сложном древнем языке славян с сильно развитым диалектным словарем» [Трубачев 1983: 236]. Поэтому механизм его развития сегодня переосмысляется: «прямолинейные схематичные построения в духе теории родословного древа уступают место более сложным представлениям о процессе развития, вытекающим из положения о динамичности праславянского языка, незамкнутости, проницаемости занимаемой им территории» [Куркина 1985: 61].

Создание Общеславянского лингвистического атласа, накопление изоглосс самого разного характера поможет со временем выработать надежные лингвистические критерии для хронологического расслоения языкового материала. А это в свою очередь даст возможность ответить на вопрос, ЧТО в диалектной структуре современных славянских языков является продолжением праславянского наследия, а ЧТО сложилось позднее, в эпоху миграций, под влиянием факторов культурно-исторического характера.

Во всяком случае уже сейчас можно с уверенностью сказать, что если раньше при решении проблемы этногенеза славян привлекались разрозненные факты (а иногда лишь интуиция ученого), то с созданием ОЛА она получает твердые основы и достаточно убедительную аргументацию.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Бах 1955 — *Бах А.* Немецкая диалектология // Немецкая диалектография. М., 1955.

Бернштейн, Клепикова 1998 — *Бернштейн С. Б., Клепикова Г. П.* Славяно-румынские языковые контакты в свете новых данных славянской лингвистической географии // XII Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады российской делегации. М., 1998.

Бородина 1966 — *Бородина М. А.* Проблемы лингвистической географии. М.; Л., 1966.

Вендина, Калнынь, 1988 — *Вендина Т. И., Калнынь Л. Э.* Отношение рефлексации *ě к ударению // Общеславянский лингвистический атлас, серия фонетико-грамматическая. Вып. I. Рефлексы *ě. Београд, 1988.

Вендина 1996 — *Вендина Т. И.* Общеславянский лингвистический атлас, серия лексико-словообразовательная. Вып. I. «Животный мир». М., 1988. Ареалогический комментарий // ОЛА. Материалы и исследования. М., 1996.

Вендина 1997 — *Вендина Т. И.* Общеславянский лингвистический атлас и сравнительно-историческое языкознание // Славянский альманах. М., 1997.

Вендина 1998 — *Вендина Т. И.* Общеславянский лингвистический атлас и лингвистическая география //XII Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады российской делегации. М., 1998.

Гак 1996 — *Гак В. Г.* Сноха (по материалам Atlas Linguarum Europae) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1991–1993. М., 1996.

Гура 1997 — *Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

Донадзе 2004 — *Донадзе Н. З.* Новые перспективы в лингвогеографии — Лингвистический атлас Европы // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2001–2002. М., 2004.

Иванов 1993 — *Иванов В. В.* История и современное состояние диалектов славянских языков на картах Общеславянского лингвистического атласа // XI Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады российской делегации. М., 1993.

Иванов 1996 — *Иванов В. В.* Общеславянский лингвистический атлас (1978–1993). Итоги и перспективы // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1991–1993. М., 1996.

Ивић 1991 — *Ивић П.* Избрани огледи. Ниш, 1991.

Ивич, Логар, 1988 — *Ивич П., Логар Т.* Влияние вокального количества на рефлексы *ě // Общеславянский лингвистический атлас, серия фонетико-грамматическая. Вып. I. Рефлексы *ě. Београд, 1988.

Ивич, Логар, 1990 — *Ивич П., Логар Т.* Влияние вокального количества на рефлексы *ę // Общеславянский лингвистический атлас, серия фонетико-грамматическая. Вып. 2а. Рефлексы *ę. М., 1990.

Калнынь 1996 — *Калнынь Л. Э.* Рефлексация *ъ, *ь перед слогом с гласным полного образования по материалам ОЛА // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1991–1993. М., 1996.

Клепикова 2005 — *Клепикова Г. П.* Типы ареалов, репрезентирующих македонско-севернославянские параллели // Ареална лингвистика. Теории и методи. Скопје, 2005.

Куркина 1985 — *Куркина Л. В.* Праславянские диалектные истоки южнославянской языковой группы // Вопросы языкознания. 1985. №4.

Мейе 1951 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.

Пожарицкая, Попова 1990 — *Пожарицкая С. К., Попова Т. В.* Влияние консонантного окружения на рефлексы *ę // Общеславянский лингвистический атлас, серия фонетико-грамматическая. Вып. 2а. Рефлексы *ę. М., 1990.

Топоров, 1999 — *Топоров В. Н.* Об одной мифоритуальной «коровье-бычьей» конструкции у восточных славян в сравнительно-историческом и типологическом контекстах // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999.

Трубачев 1983 — *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1983.

Трубачев 2003 — *Трубачев О. Н.* Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974–2003) // XIII Международный съезд славистов в Любляне. Доклад пленарного заседания. М., 2003.

ОЛА Вступительный выпуск — Общеславянский Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы. Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 1994.

Фирек 2003 — *Фирек В.* Лингвистический атлас Европы и его вклад в европейскую историю культуры // ВЯ. 2003. № 5.

Alinei 1997 — *Alinei M.* Magico-religious Motivations in European Dialects: A Contribution to Archaeolinguistics // Dialectologia et Geolinguistica. 1997. № 5.

Falińska 2001 — *Falińska B.* Leksika dotycząca hodowli na mapach Ogólnosłowiańskiego atłasu językowego. Białystok, 2001. T. 1–2.

Ivić, 1983 — *Ivić P.* Faktori koji uticu na razvoj vokala u slovenskim jezicima// Јужнословенски филолог. XXXVIII. Београд, 1983.

Ivić, Logar, 1990 — *Ivić P., Logar T.* Влияние вокального количества на рефлексы *ǫ // Общеславянский лингвистический атлас, серия фонетико-грамматическая. Вып. 2б. Рефлексы *ǫ. Warszawa, 1990.

Siatkowski 2003 — *Siatkowski J.* Заимствования // Общеславянский лингвистический атдас, серия лексико-словообразовательная. Вып. 8. Профессии и общественная жизнь. Warszawa, 2003.

Siatkowski 2004 — *Siatkowski J.* Studia nad wpływami obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym. Warszawa, 2004.

Topolińska, Видоески 1990 — *Topolińska Z., Видоески Б.* Сохранившаяся назальная артикуляция *ǫ и *ǫ: // Общеславянский лингвистический атлас, серия фонетико-грамматическая. Вып. 2б. Рефлексы *ǫ. Warszawa, 1990.

М. В. Всеволодова

Типология славянского предлога. Системность: категории и парадигмы

С 2001 года осуществляется межнациональный проект «Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис», в котором к настоящему времени помимо инициаторов проекта — лингвистов-профессоров, преподавателей и научных сотрудников университетов Белоруссии (Гродно), России (Москва) и Украины (Донецк) — участвуют наши коллеги из университетов в городах Велико Тырново (Болгария), Нови Сад (Сербия) и Ополе (Польша). Проект в отдельных странах периодически поддерживают государственные научные фонды. Наша работа позволила выявить ряд принципиально новых для славистики фактов, в частности, в рамках восточнославянских языков, которые до сих пор не были зафиксированы нашей грамматикой и словарями.

Специфика нашего подхода состоит в том, что своей первой задачей мы поставили не анализ семантики тех или иных групп предлогов, а сбор максимально полного корпуса самих единиц, выполняющих всегда или в определенных условиях функции предлога — эквивалентов предлога. Эквиваленты предлога — это словоформы других частей речи, которые в определенных условиях выполняют функции предлога, оставаясь в то же время в рамках своей части речи. Совокупность собственно предлогов и их эквивалентов мы называем предложными единицами. Нас интересуют не только случаи, зафиксированные в словарях и грамматиках, но и все реальные случаи употребления предложных единиц независимо от степени их кодифицированности. Материал показал также, что и среди единиц, выполняющих функции предлога и только предлога есть достаточно сложные по своей формальной устроенности образования, как, например, ***в непосредственной близости от*** *кого-чего*, что обусловило наш интерес к типам морфосинтаксической устроенности наших единиц. К настоящему времени в каждом из восточнославянских языков за-

---

Российскую сторону в 2002–2003 гг. поддерживал фонд РФФИ (грант № 02-06-80435). Российскую и белорусскую часть проекта в 2004–2005 гг. — фонд РГНФ (грант № 04-04-78403а/Б.)

фиксировано порядка семи тысяч единиц предложного типа, и это в принципе открытый список. Сопоставление материалов показывает типологическое единство категории русского, белорусского и украинского предлога при наличии некоторых конкретных различий для отдельных единиц. Первичные сопоставления с материалами польского языка дают аналогичные результаты. Российская группа сдала в печать «Материалы к „Словарю русских предложных единиц (предлогов и их эквивалентов). Функциональная грамматика реального употребления". Выпуск первый. Атрибутированный список в диапазоне букв А–И». Уже на материале частичной атрибуции (заполнены 10–12 позиций из 20 в каждой словарной статье) можно сделать ряд интересных выводов:

1. Категория предлога имеет полевую структуру, органично формируемую не только типами предложных единиц, но и их морфосинтаксической устроенностью, которая представляет собой категориальное образование, позволяющее увидеть процесс формирования всего корпуса этих единиц. Можно говорить о наличии в языке не только функционально-семантических, но и функционально-грамматических полей.
2. Выявлена типология эквивалентов предлогов (аналоги и корреляты) и условия, в которых они выполняют функции предлога.
3. Сами морфосинтаксические типы предложных единиц выявляют механизм их образования не только путем грамматикализации отдельных словоформ, но и путем комбинирования самих предложных единиц как друг с другом, так и с другими частями речи: наречиями, прилагательными, частицами, местоимениями. В настоящее время мы можем представить этот механизм в грамматике предлога.
4. В рамках категории предлога выявлены следующие парадигмы: 1) семантическая, 2) текстовая, включающая ряд подтипов, 3) морфосинтаксическая.
5. Выявлена тенденция к построению мощных синонимико-вариативных рядов единиц (членов морфосинтаксической парадигмы) на основе одного базового предлога, например: *в цвет платья — в цвет платью — в цвет к платью — в цвет с платьем — в цвет под платье*. В некоторых случаях численность такой парадигмы доходит до 20 единиц.

6. Такие ряды образуются в некоторых семантических зонах и отличаются **системностью членов парадигмы**, что, с одной стороны, позволяет прогнозировать наличие единицы, не отмеченной в словарях и грамматиках, а с другой, объясняет «упорное» функционирование в речи вариантов, с которыми не менее упорно и столь же безуспешно борется нормативная грамматика. Система оказывается сильнее нормы.
7. Выявлены случаи изоморфизма предложных единиц и средств других уровней языка, например: 1) Конвертирование: *Корабль плыл **в виду** берега* (= с корабля видели берег) — *Берег был **в виду** корабля* (= с корабля видели берег). До сих пор конверсивы: лексические (Ю. Д. Апресян) и грамматические (Т. П. Ломтев) отмечались только по отношению к предложению. 2) Способность предложных единиц участвовать в актуальном членении, в частности, возможность постановки предлога в постпозицию к именной словоформе с его рематическим выделением, ср.: *Приехал назло мне* и *Приехал мне **назло***; и — для составных предлогов — способность ставить свои компоненты в отношения предицирования: *Я живу **далеко от работы** — **От** работы я живу **далеко***.
8. Выявлены некоторые особенности управления, не фиксируемые нашей грамматикой, что позволяет внести определенные коррективы в категорию управления.
9. На основе категории предложных единиц можно сделать предварительные выводы, по крайней мере, о восточно-славянских языках, как языках, стремящихся в речевых построениях к максимальной экспликации смыслов и часто к их дублированию. Выявлено, что синонимико-вариативные ряды предложных единиц формируются двумя способами: 1) набором лексических синонимов: *отсутствовать **по** болезни* / ***из-за** болезни* / ***по причине** болезни*; 2) набором морфосинтаксических синонимов (см. выше *в цвет платья* и др.).

Конкретизируем некоторые из приведенных положений.

1. Грамматическое поле предлога имеет своим центром единицы, выступающие в функции предлога и только предлога (см. схему 1). Ядро представлено двумя зонами: 1) центровая ядерная зона — первообразные, или первичные (немотивированные) предлоги, 2) приперифе-

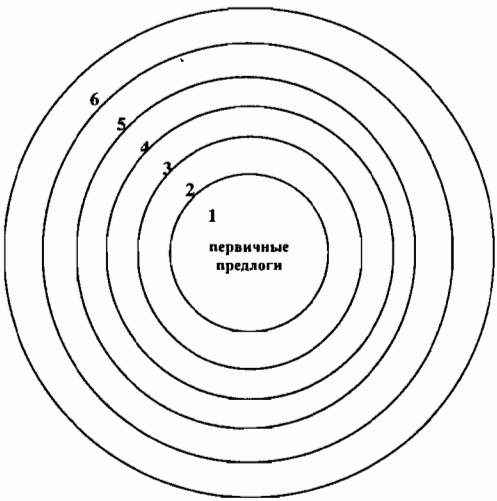
рийная ядерная зона — вторичные (мотивированные) предлоги-дериваты (независимо от сложности их структуры, как, например, *в непосредственной близости от* кого-чего).

Первую приядерную зону образуют аналоги предлогов, формирующие два подтипа: 1) аналоги, формируемые существительными-классификаторами тоже по образцу уже опредложившихся единиц. Так, по образцу предлогов ***в пределах / в пределы / вне пределов / из пределов / за пределами / за пределы*** *чего* возникают употребления типа ***в сфере*** *науки* — ***в сферу*** *науки* — ***из сферы*** *науки* — ***вне сферы*** *науки* и под.; 2) аналоги, образующиеся по типу существующих вторичных предлогов при наличии соответствующей лексической единицы в определенной семантической зоне. Так, очень продуктивно образуются предложные единицы с целевым значением по образцу предлогов ***во избежание***, ***в ознаменование*** *чего*: ***в утешение***, ***в исправление***, ***в оправдание*** *кого-чего* и под. Судя по всему, это зона, в которой происходит или не происходит процесс опредложивания таких единиц. В случае полного опредложивания единица переходит в разряд предлогов.

Вторую периферийную зону образуют корреляты предлогов — словоформы существительных с параметрическим значением типа ***высотой***, ***в ширину***, ***на глубине***, ***с диагональю*** *сколько единиц* и компаративы тоже в большинстве случаев с параметрическим значением типа ***больше, выше*** *скольких единиц*: ***больше*** *трех метров*; и ***больше, выше*** *чего на сколько единиц / сколькими единицами*: *двумя метрами / на два метра* ***выше*** *кого-чего* (плюс словоформы типа ***южнее***).

Третья периферийная зона — окказионализмы. Окказионализмы тоже представлены двумя типами: 1) авторская метафора, не выходящая за пределы нормы, как, например: *Рассмотреть проблему* ***на канве*** *этногенеза* (Л.Гумилев). В случае, если метафора «прижилась», она начинает системно функционировать: ***в русле*** *синтаксиса*, ***в русле*** *экономических реформ* и под. 2) «ненормативные» образования, которые, однако, отражают определенные системные характеристики нашей категории, как, например: *специалист* ***в вопросах по дизайну*** (ср. *специалист в вопросах дизайна/специалист по дизайну*), где налицо «удвоение» формальных средств выражения, ср. также: ***Вдоль по*** *улице метелица метет*. Представим общую структуру поля предлога:

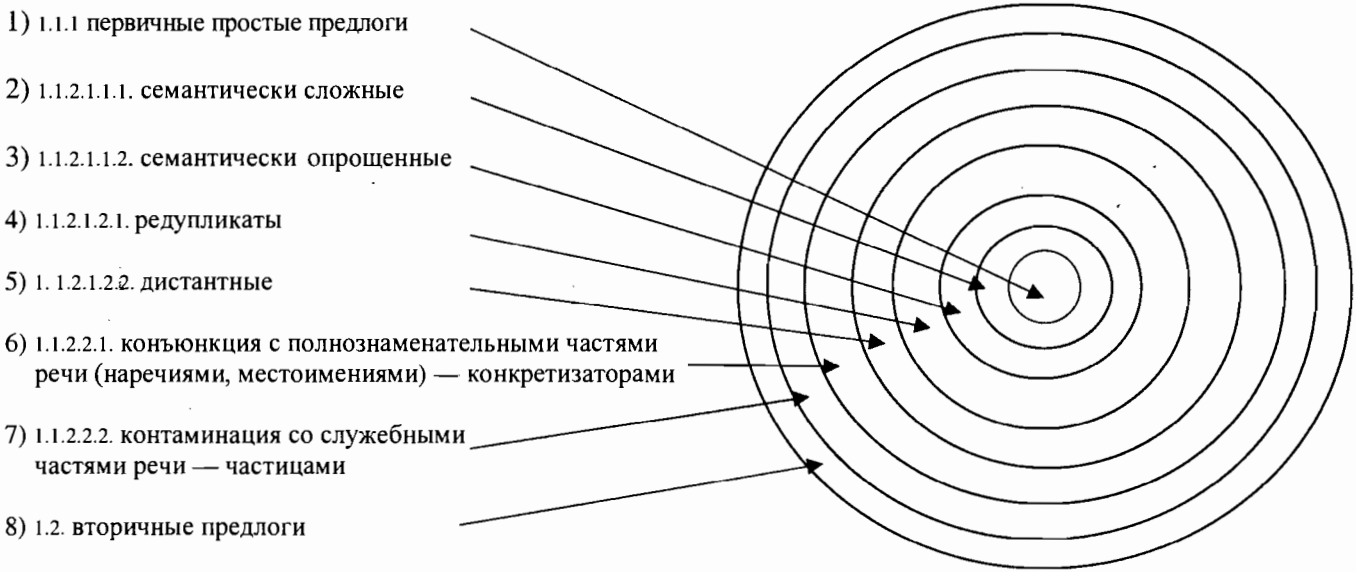
Схема 1. Функционально-грамматическое поле предложных единиц русского языка



1. **Ядро поля** (центровая ядерная зона) — первообразные предлоги.
2. **Ядро поля** (припериферийная ядерная зона) — опредложенные синтаксемы, или «вторичные предлоги», выполняющие функции предлога и только предлога: ***в качестве*** *эксперта* (выступать), ***во избежание*** *аварии* (остановить работу).
3. **Приядерная зона — аналоги предлогов** — образования двух типов:
   1) Единицы, образуемые с помощью существительных-классификаторов разной степени опредложенности (зона предлогообразования): (специалист) ***в вопросах*** *ценообразования* — ***по*** *ценообразованию*; (работать) ***в сфере*** *бизнеса* — ***в*** *бизнесе*.
   2) Единицы, образуемые «по потребности» по образцу уже существующей предложной единицы: ***в дополнение*** *проекта*, ***в изменение*** *приказа*, ***в исправление*** *ошибок*, ***в улучшение*** *качества* (здесь — семантическая зона целевых отношений).
4. **Периферийная зона — корреляты предлогов** — словоформы других частей речи, в определенных условиях выполняющие функции предлогов, оставаясь в рамках своей части речи:
   1) словоформы параметрических существительных, составляющие с квантитативом одну синтаксему: *Доска* ***длиной два метра***;
   2) компаративы: *Рост* ***выше двух метров***, *озеро* ***южнее города***.

Схема 2. Дендраграмма первичных предлогов (и их место в общей структуре категории)

Схема 3. Структура центровой части ядра грамматического поля предложных единиц русского языка



Примечание. В других славянских языках возможны дополнительные оппозиции, которые, однако, как кажется, не нарушают целостности данной системы. Так, в болгарском языке первую оппозицию в рамках сложных предлогов, судя по всему, составят единицы, составленные одним и тем же предлогом (собственно редупликаты): **във**, **със** vs. единицы, составленные разными предлогами, типа **из-за**. А уже последние дадут оппозицию, общую с восточнославянскими языками.

Схема 4. Дендраграмма вторичных предлогов (их морфосинтаксические реализации)

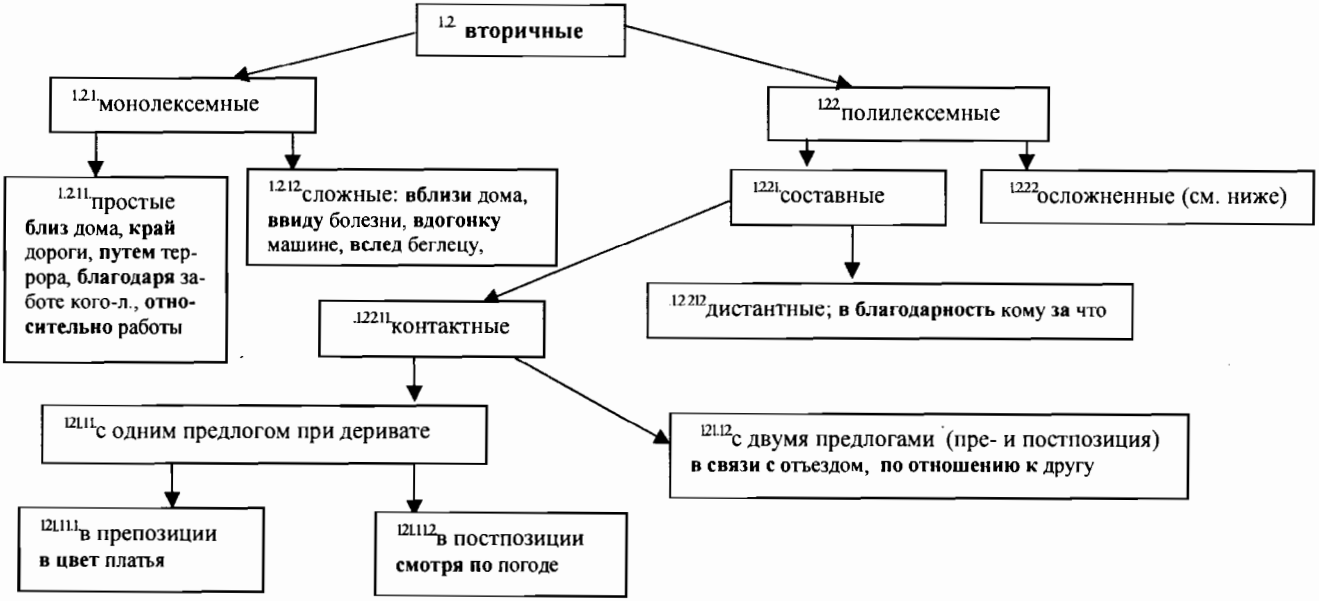
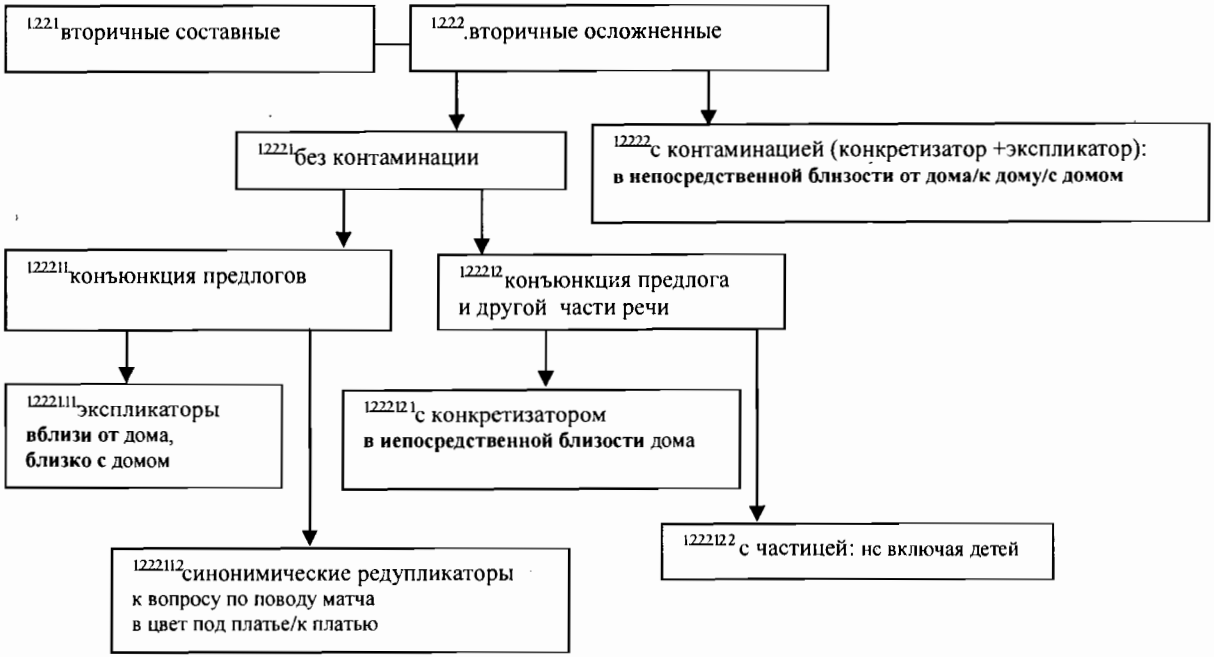


Схема 5. Дендраграмма вторичных осложненных предлогов (их морфосинтаксические реализации)



5. **Дальняя периферия** — окказионализмы:
   1) авторские образования-метафоры, не нарушающие норму: (рассмотреть явление) ***на канве*** *этногенеза*; (некоторые факты только появились) ***на горизонте*** *науки*;
   2) употребления, выходящие за рамки современной нормы, но вписывающиеся в систему языка: (прийти) ***в сообществе с*** *друзьями*.
6. **Потенциальные предлоги** — единицы, предсказываемые системой, но не представленные / представленные единичными примерами: *Мой анекдот* ***не в пандан веселья***.

2. Как любое языковое поле, грамматическое поле предлога органично взаимодействует и, более того, формируется **категориальной системой**, которую образуют **морфосинтаксические типы предложных единиц**. Такую дихотомическую систему с разграничением (в первой оппозиции) 1. собственно предлогов и 2. их эквивалентов нам удалось построить (см. ниже схему 2). Собственно предлоги, т.е. единицы, выступающие только в этой функции, как известно, образуют два подмножества: 1.1. первичные (немотивированные) и 1.2. вторичные (мотивированные). Покажем взаимодействие поля и категории на примере ядра поля — на материале первичных предлогов.

1.1. Первичные предлоги — это все так называемые первообразные предлоги (можно предположить, что их состав очень медленно, но пополняется за счет продвижения к центру единиц, теряющих мотивацию, как, например, ***вне***, ***против***) и так называемое наречие-предлог ***мимо***. В реальности это слово может употребляться только при наличии антецедента. Фактически здесь нужно говорить о нуль-форме имени актанта и о способности предлога выступать с нуль-формой анафорического местоимения. Ср. в [СОШ[1], *365*]: *Он прошел* ***мимо*** (кого? чего? — *Авт.*). То же относится и ко вторичным так называемым предлогам-наречиям, ср.: *Она ушла, а он все смотрел* ***вслед*** (= ей) и англ. ***after her***, корейск. ***ее след*** (Что не означает, что в каких-то условиях предлоги не могут переходить в наречия, но не наоборот). Вне контекста пример из СОШ неинформативен.

Все предлоги этой группы выступают: либо самостоятельно, входя в состав словоформы управляемого слова: ***в*** *доме*, ***из*** *воды*, ***к*** *лесу*, ***через*** *год* и пр. (1.1.1.), либо в комбинации (1.1.2.) как с другими предлогами этой же группы (**гомогенные** единицы): ***из-за*** *дома*, ***напротив*** *дома*, ***для ради*** *детей* — 1.1.2.1., так и с другими частями речи (**гетерогенные** единицы): на-

[1] СОШ — *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1992.

речиями, местоимениями и частицами — 1.1.22, что дало нам основание для разбиения всех первичных предлогов на **простые** и **комбинированные** (термин О.В.Кукушкиной) (схемы 2 и 3).

Гомогенные единицы дают нам: 1.1.21.1. **Сложные** предлоги, в которых можно выделить единицы 1.1.2.1.1. **Семантически сложные**, где каждая составляющая сохранила свое значение: ***из-за*** *угла,* ***из-под*** *стола,* ***по-над*** *берегом*, ***вовне/извне*** *Солнечной системы,* ***из-между*** *бровей.* 1.1.21.1.2. **Семантически опрбщенные**: *ссориться* ***из-за книги***; ***промежду*** *домами.* Кстати, обращение к материалам русских диалектов и белорусскому языку позволило выявить семантику и состав предлогов ***возле*** и ***подле***, входящих в эту группу, но явно стремящихся в самый центр. **Составные** предлоги, которые тоже дают оппозицию. Составные **контактные**, так называемые **синонимические редупликаты** — единицы, где два синонимических предлога выступают в конъюнкции, управляя одной словоформой: ***для ради*** *детей* (просить о чем-н.); ***за через*** *неделю* (начинает действовать) и нек. др. Синонимические редупликаты системны и для других типов предложных единиц, ср.: *здание* ***в стиле а-ля*** *поздний модерн.* Составные **дистантные**, где две или три единицы управляют каждая своей словоформой: ***в*** *километре* ***к*** *югу* ***от*** *озера*; ***за*** *неделю* ***до*** *экзаменов*, ***через*** *час* ***после*** *еды.*

1.1.22. Гетерогенные предлоги (в рамках первичных предлогов) выступают в конъюнкции с другой частью речи и образуют оппозицию по характеру присоединяемого компонента, что влияет и на тип структуры. Структуры с полнознаменательными частями речи, которые уточняют, конкретизируют значение предлога. Такие включения мы назвали **конкретизаторами**. В подавляющем большинстве случаев они семантически облигаторны, но структурно факультативны. Это могут быть (для первичных предлогов): 1. Знаменательная часть речи: 1) наречия: *прийти* ***задолго/незадолго до*** *урока* (ср.: *прийти* ***до*** *урока*), *работать в фирме* ***вплоть до*** *отъезда* (ср.: *работать* ***до*** *отъезда*), *подойти* ***ближе к*** *окну* (ср.: *подойти* ***к*** *окну*), *стоять* ***ближе у*** *окна* (*стоять* ***у*** *окна*); 2) местоимение **самый**: *работать* ***до самого*** *отъезда* (= *работать* ***до*** *отъезда*), *жить* ***у самого*** *моря* (*жить* ***у*** *моря*), *подойти* ***к самому*** *дому* (= *подойти* ***к*** *дому*); 2. Структуры со служебной частью речи — частицами, которые создают самостоятельную предложную единицу, не синонимичную базовому предлогу. Для первичных предлогов (в диапазоне букв А–И) выделены пока три таких единицы: ***до*** *кого-чего* ***ли*** *кому* и *кому* ***не до*** *кого-чего* — ***До*** *книг* ***ли мне*** *сейчас! Мне сейчас* ***не до*** *книг!* (= у меня нет времени, сил, настроения читать, разбирать книги и под.); и ***не без*** *кого-чего*: *работа* ***не без*** *недостатков* (= в работе есть некоторые недос-

татки); *сказать что-либо* ***не без*** *иронии* (= с некоторой долей иронии): *Выполнил работу* ***не без*** *помощников* (= ему, конечно, помогали).

Представим графически соотношение этих фрагментов категории и центра ядра поля: каждый более правый член оппозиции занимает более периферийную позицию (схемы 2 и 3).

Ветвь 1.2. — морфосинтаксическая структура вторичных (мотивированных) предлогов представляет собой аналогичную дихотомическую структуру, в которой появляются, однако, интересные образования, не отмеченные в рамках первичных предлогов. Это единицы типа *сидеть* ***близко к*** *окну* / ***близко от*** *окна* / ***близко с*** *окном*, *шляпка* ***в цвет к*** *платью* / ***в цвет с*** *платьем*, в которых конструктивно облигаторным является как раз первый компонент (ср. **сидеть к окну* / **сидеть от окна* / **сидеть с окном*), в то время как второй выполняет функцию формального «усилителя» первого, собственно предложного компонента. Мы назвали их **экспликаторами**. Представим эту систему (см. схемы 4 и 5).

Аналоги, а особенно корреляты предлогов требуют в этом отношении дополнительных исследований, но, судя по всему, они не нарушат принципов построения данной системы. Так, предварительный анализ показал, что корреляты-компаративы вполне могут претендовать на более близкое к ядру место, поскольку, вводя в предложение квантинатив выполняют функцию предлога и только предлога, ср.: *Его рост больше двух метров* (в польском здесь выступает предлог *ponad dwa metry*).

Что касается коррелятов — словоформ параметрических существительных типа *доска* ***длиной*** *два метра*, то в ходе анализа их структуры и семантики была выявлена не описанная в литературе функционально-семантическая категория — один из фрагментов функционально-семантического поля количественности — категория именной параметрической характеризации, представленная двумя субкатегориями: именной атрибутивной (*валун* ***массой порядка пяти тонн***) и именной обстоятельственной характеризации (*подняться* ***на высоту около тысячи метров***; *работать* ***в продолжение десяти часов***; *ехать* ***со скоростью более двухсот километров в час***), а также «проявился» разряд числительных, не фиксируемый в наших грамматиках. Мы назвали их «комплексными». Их специфика состоит в том, что в составе образуемых словоформами типа **длиной**, **высотой** они после любых компонентов выступают в форме именительного падежа: *частицы с энергией* ***свыше десять в двадцатой***; *работать с картинками* ***размером не более сто шестьдесят на сто шестьдесят***; *раствор* ***крепо-***

стью порядка один к трем; *частицы* ***размером не более ноль целых пять десятых нанометра.***

Таким образом, к настоящему времени можно утверждать, что выявлена система структурных типов восточно-славянских предложных единиц.

3. Материал выявил наличие ряда **парадигматических** характеристик предложных единиц. Можно говорить о наличии в системе предлога следующих парадигм: 1) семантической, 2) текстовой с несколькими подтипами, и 3) морфосинтаксической.

1. **Семантическую парадигму** к настоящему моменту составляют два типа: 1) антонимические пары, из которых в словарях обычно фиксируется только один член, как, например, ***с помощью*** *чего*, но не фиксируется его антоним ***без помощи*** *чего*; 2) компоненты функционально-семантической категории, как, например, комплекс предлогов, обслуживающих именную локативность: ***в пределах / в пределы / вне пределов / за пределами /за пределы / из пределов*** *чего*; ср.: ***в сфере*** *чего* — ***в сферу*** *чего* — ***из сферы*** *чего* — ***вне сферы*** *чего*, из которых в словарях фиксируется только первый.
2. «**Текстовая парадигма** слова — это ряд противопоставленных друг другу изофункциональных словоформ разного категориального статуса, включающий исходное слово и его контекстуальные корреляты, и в то же время объединенных общим денотативным содержанием» (Рабочая формулировка Ф. И. Панкова). Текстовая парадигма объединяет все ипостаси предложной единицы, проявляющиеся в процессе функционирования единицы в тексте. К настоящему времени выявлены следущие факторы, влияющие на ипостась предложной единицы:
   1) **Наличие антецедента** в пред/пост тексте, когда припредложную позицию должна занимать анафора/катафора (вероятно, можно говорить об анафорической парадигме). Здесь выявлены следующие факторы: *1.* Предложная единица не способна принять анафорическое местоимение, тогда вместо него выступает: *1.1.* лексический повтор: *Завтра* ***среда, а в среду*** *у меня лекция*; *1.2* дескрипция: *Завтра* ***среда, а в этот день*** *у меня лекция*; ср.: **Завтра* ***среда, а в нее*** *у меня лекция*; *2.* выступает в сочетании с анафорой, в качестве которой обычно называют личное местоимение. Вместе с тем, как показывает материал, *2.1.* не все предложные единицы способны принимать именно личное местоимение, но системно сочетаются с другими типами местоиме-

ний, в частности: 2.1.1. с притяжательными: *Взял нож и* ***с его помощью*** *открыл банку* (ср. **с помощью* ***него***); 2.1.2. с определительными/указательными: *Нужен эксперт, и* ***в этом качестве*** *пригласили Иванова* (ср.: **в качестве него*); 2.2. в качестве анафоры выступают в ряде случаев местоимения, которые мы назвали двухчастными: *друг друга, один ... другой, никто, ничто, некого, нечего*, правила сочетаемости которых с предложными единицами в наших грамматиках не прописаны, а они достаточно многофакторны, ср.: ***в отношении к*** *друг другу* — ***в отношении*** *друг* ***к*** *другу* — *друг* ***в отношении к*** *другу*; *кое* ***о*** *чем*, но ***относительно*** *кое-чего*, но не: **кое* ***относительно*** *чего*. Соответственно, при характеристике каждого предлога эти особенности должны быть указаны, независимо от того, считаем мы единицу типа ***с его помощью*** предлогом или нет.

2) **Адъективация имени актанта** (адъективационная парадигма). В речевых построениях при решении конкретных коммуникативных задач возможна — далеко не для всех вторичных предлогов — адъективация имени актанта, ср.: *летать в условиях* ***Севера*** — *летать в* ***северных*** *условиях*; *поступить так по соображениям* ***этики*** — *поступить так по* ***этическим*** *соображениям*; *выступил в роли* ***эксперта*** — но не: **выступил в* ***экспертной*** *роли*. Мы пока не знаем, какие предлоги такую адъективацию допускают, какие — нет. Прилагательное в такого типа сочетаниях и семантически и структурно облигаторно — это ипостась имени актанта, вводимого предлогом. Соответственно, указать на возможность/невозможность такого функционирования предложной единицы в словаре и в грамматике необходимо, независимо от того, считаем ли мы единицу типа ***в северных условиях*** предлогом или нет.

3) **Актуальное членение как текстовая категория** (актуализационная парадигма), которое определяет в большинстве случаев расположение предложной единицы по отношению к управляемой словоформе. Само слово «предлог» свидетельствует о препозиции единицы по отношению к существительному. В большинстве случаев это — в формальной схеме — обычно так, не считая, например, предлога **назад**, **тому назад**, обычно выступающего в постпозиции: *неделю* (***тому***) ***назад***. Но в реальных речевых употреблениях возможны и другие случаи, как, например: *Я работаю не только* ***славы ради, но и денег для***, — где на предлог в постпозиции падает рематическое ударение. Не вдаваясь в под-

робности, покажем типологию возможных случаев взаимного расположения предложных единиц и управляемой формы.

Предлагаемая классификация позиций предложных единиц по отношению к управляемому слову

1. Препозиция: ***в столе***;
2. Постпозиция: *день* ***назад***;
3. Интерпозиция: *тон* ***в*** *тон, неделю* ***за*** *неделей, друг* ***к*** *другу*;
4. Инверсия частей: ***от*** *моря* ***в непосредственной близости*** (< **в непосредственной близости от** моря); *Я живу* ***от*** *работы* ***далеко*** (< Я живу **далеко от** работы); *шляпка* ***с*** *платьем* ***в*** *тон* (< **в тон с** платьем);
5. Рамочная конструкция, когда компоненты единицы разведены на позиции темы и ремы и между ними в парентезе (в безударной позиции) стоят главные члены предложения:
   1) Прямая: ↑***Далеко*** *я живу* ***от*** ↓***работы***, *а от*↗*родителей* — ↘*близко*;
   2) Инвертированная: ***От*** ↗***работы*** *я живу* ***далеко***, *еду целый час*; ↑*Далеко я живу от* ↓*работы, а* ***от***↗***родителей*** — ↘***близко***, но не: **с* ***платьем*** *шляпка была на ней* ***в тон***, **к* ***платью*** *шляпка была на ней* ***в тон***.
6. Пересечение структур: ***по отношению*** *друг* ***к*** *другу* — в составе некоторых двухчастных местоимений.

Отметим, что многие (хотя и далеко не все) составные предлоги с конкретизаторами, экспликаторами или с двумя собственно входящими в структуру первообразными предлогами типа ***в связи с*** *чем*, легко ставят свои компоненты в отношения предикации, то есть в тему и в рему, ср. выше (5). Это тоже специфика русского и, вероятно, других славянских языков, способных «развести» компоненты словосочетания на позиции предицируемого и предицирующего компонентов: ↑***Книгу*** *я купил вчера* ↓***интересную***. Это еще один случай изоморфизма собственно предложенческого и предложного уровней языка. Способность каждого предлога занять ту или иную позицию по отношению к управляемой форме тоже должна быть зафиксирована в словаре и в грамматике. Какие выводы можно будет сделать из этого, станет ясно, когда мы проанализируем весь корпус предлогов.

3. **Морфосинтаксическая парадигма** — это наличие синонимико-вариативного ряда разных реализаций одной базовой единицы. Выше приводились примеры с экспликаторами типа *стоять* ***близко к*** *окну* — ***близко у*** *окна* — ***близко от*** *окна* — ***близко с*** *окном*, где базовой едини-

цей является (стоять) *у окна*. Материал показал системность таких рядов в определенных семантических зонах. Так, для семантической зоны реляционных отношений (в широком понимании этого слова) системной оказалась парадигма предлог + род.п. — предлог + дат.п. — предлог + к + дат.п. — предлог + с + тв.п., ср.: *в цвет платья — в цвет платью — в цвет к платью — в цвет с платьем; в тон обоев — в тон обоям — в тон к обоям — в тон с обоями; в дополнение сказанного — в дополнение сказанному — в дополнение к сказанному — в дополнение со сказанным; безотносительно нашего разговора — безотносительно нашему разговору — безотносительно к нашему разговору — безотносительно с нашим разговором.* Независимо от того, насколько кодифицированными (нормативными) являются конкретные употребления, они в рамках языка системны. Синонимичность этих реализаций проявляется и в том, что синонимы употребляются в одном предложении: *Галстук нужно покупать не* ***в цвет рубашки****, а* ***в цвет носкам*** (Инт.). Мы уже знаем, как и по каким правилам формируются морфосинтаксические парадигмы. Оговорим, что вопрос о том, во всех ли случаях все эти реализации взаимозаменимы, требует специальных конкретных исследований, поскольку выбор падежной формы не всегда обусловлен требованиями управляющей единицы. Во многих случаях таким фактором являются характеристики управляемого слова. Так, предлоги **во благо, во вред** одинаково управляют родительным и дательным падежами, но личные и возвратное местоимения выступают только в дательном падеже, даже если другое слово выступает в родительном падеже, ср. примеры из нашего корпуса: *Работать* ***во благо общества и себе*** (Инт.); *Он действовал* ***во вред всех и мне*** *лично* (Инт.). Вполне возможно, что какие-то условия дополнительной дистрибуции (мы их пока не знаем) будут обусловливать выбор того или иного члена парадигмы. Это непосредственный выход в категорию управления. Для примера приведу типичную парадигму предлога ***в вопросах*** *чего* (семантическая зона делиберативa).

Морфосинтаксическая парадигма предложной единицы **в вопросах** *чего*

— *РФ будет осторожна* ***в вопросах сокращения*** *экспорта нефти* (Инт[2].);

[2] Помета «Инт.» показывает, что пример получен из одной из поисковых систем Интернета, в первую очередь системы Яndex. Эта парадигма была представлена в статье «Язык как система и системность как атрибут языка в аспекте функциональной грамматики», опубликованной в Лінтвістічні студії. Збірнік науковых праць. Випуск 24. Донецьк: ДонНУ, 2006. С. 13–19.

— ***в вопросах в отношении*** *чего*: *Ну а* ***в вопросах в отношении коррупции*** *еще нужно разбираться* (Инт.);
— ***в вопросах касаемо*** *чего*: *Помогу советом* ***в вопросах касаемо кампусных сетей!*** (Инт.);
— ***в вопросах касательно*** *чего*: *Мы всегда рады помочь* ***в вопросах касательно покупки или ремонта*** *машин марки Toyota* (Инт.);
— ***в вопросах о*** *чем*: *О непонимании* ***в вопросах о лженауке*** (Инт.);
— ***в вопросах относительно*** *чего*: *Посредническая деятельность* ***в вопросах относительно экспорта и импорта*** *военного и специального оборудования* (Инт.);
— ***в вопросах по*** *чему*: ***В вопросах по защите отраслей,*** *не числящихся у наших чиновников в списке стратегических <...>, переговорщики готовы уступать* (Инт.);
— ***в вопросах по поводу*** *чего*: *Между членами Fed появились расхождения* ***в вопросах по поводу инфляции и рисков роста*** *в 2005 году* (Инт.);
— ***в вопросах про*** *что*: *А* ***в вопросах про видео*** *никто не смыслит?* (Инт.);
— ***в вопросах с*** *чем*: *Манера не указывать место жительства* ***в вопросах с территориальной привязкой*** *привилегия москвичей* (Инт.);
— ***в вопросе*** *чего*: *Рассмотрен вопрос о ценообразовании* ***в вопросе выпуска хлебобулочных изделий*** (Инт.);
— ***в вопросе в отношении*** *чего*: ***В вопросе в отношении*** *иномарок мы все согласны* (Инт.);
— ***в вопросе касаемо*** *чего*: *Во, мля! советов и рекомендаций получил* ***в вопросе касаемо буров*** *Северного завода* (Инт.);
— ***в вопросе касательно*** *чего*: *Зато был найден общий знаменатель* ***в вопросе касательно вебпортала*** (Инт.);
— ***в вопросе о*** *чем*: *ВАС РФ поддержал приоритет нового закона о банкротстве* ***в вопросе об очередности...*** (Инт.);
— ***в вопросе относительно*** *чего*: *Война должна быть короткой, однако есть много неизвестного* ***в вопросе относительно продолжительности военной акции,*** *передает Reuters* (Инт.);
— ***в вопросе по*** *чему*: *Тогда многими коммунистами подобные обвинения были восприняты как своеобразная месть за инициативу их фракции* ***в вопросе по вотуму*** (Инт.);
— ***в вопросе по поводу*** *чего*: *Все описанное* ***в вопросе по поводу маршруток,*** *к сожалению, существует* (Инт.);
— ***в вопросе про*** *что*: *Опрос* ***в вопросе про печать*** (Инт.);
— ***в вопросе с*** *чем*: ***В вопросе с москвичами*** *есть некоторая напряженка* (Инт.).

4. Кроме парадигматики определенный интерес представляет и синтагматика предлогов. Обычно считается, что предлог сочетается толь-

ко с именем существительным или его субститутами, а все остальные части речи выступают при предлоге в функции существительного и только существительного. Несомненно, такие случаи есть. Вероятно, числительное — квантитатив — это субститут существительного. Именно для введения квантитативов «работают» корреляты предлогов — словоформы параметрических существительных типа *Нужна доска **длиной** два с половиной метра.* Вместе с тем, нельзя отрицать, что при предлоге встречаются, и достаточно системно, и другие части речи, например, инфинитив, ср. кодифицированное употребление: *Приехал **в расчете познакомиться** с выставкой; **В надежде уладить** конфликт позвонил Ивану.* Не менее частотны окказионализмы: *Как ты **насчет пообедать**? Вывел его в коридор **под предлогом покурить**.* В таких случаях как: *отложить **на завтра** / **на потом**; уехать **в никуда**, сдать **на отлично**, выпьем **за наше завтра**, не вспоминай **про вчера***; или *Она ходит **в черном**, Как ты относишься **к желтому**?*, — представляется, не обязательно видеть существительные. Тем более, что в некоторых языках сочетание предлогов с глаголами — явление грамматики. Какие именно предлоги могут / не могут сочетаться с другими частями речи, также необходимо выявить.

5. Весьма интересными представляются случаи конвертирования, когда предлог «выбирает» имя одного из релянтов — участников отношений, см. выше пример *Корабль плыл **в виду берега** — **В виду корабля** был берег.* Покажем это на примере предлога **аналогично**. Как и для других предлогов зоны реляционных отношений, морфосинтаксическая парадигма этого предлога представляет ряд: предлог + дат. п.: ***Аналогично американцам** действовали и другие западные страны* (Инт.); предлог + к + дат. п.: *Спиртное*: ***аналогично к курению*** (Инт.); предлог + с + тв. п.: ***Аналогично с Виталием** не считаю шторм в 3 балла серьезной помехой* (Инт.). (Вариант с род. п. нами пока не обнаружен, но в принципе системен). Но предлог ***аналогично с** кем-чем* представлен двумя вариантами: 1) Как во всех приведенных выше случаях, в предложении названы имена обоих релянтов: американцы и другие страны, Виталий и я, спиртное и курение. Причем имя первого релянта — при предлоге — известно из предтекста, ср.: *Объединение батарей называется **фортом** и управляется **аналогично с эскадрой*** (Инт.). Как управляется эскадра, адресату известно. 2) Припредложную позицию занимает имя второго релянта, имя первого остается в предтексте: *Дивергенция — это когда, например, новый максимум цены оказался выше предыдущего, а при этом новый максимум индикато-*

ра — ниже. Или ***аналогично с минимумами*** (Инт.). *Настройка на этой закладке производится при запущенном клиенте. На пульте ДУ нажимаете нужную кнопку, потом даете ей название и нажимаете. Установить.* ***Аналогично с остальными кнопками пульта ДУ*** (Инт.). Именно для этого лексико-семантического варианта предлога **аналогично с** кем-чем есть свой синоним **аналогично для** *кого-чего*: *Повторить* ***аналогично для левой ноги*** (Инт.); *Например, для 1813 года: m = @ 2,8. T (x, 218).* ***Аналогично для*** *других годов* (Инт.). Таким образом, вместо одной кодифицированной словарной единицы — **аналогично** *кому-чему* — в нашем реестре отмечено пять.

Работая над словарной статьей предложной единицы, участники проекта выработали своего рода схему атрибуции предлога. В нашем первом выпуске число позиций составляло 26. Приступая к работе над вторым выпуском «Материалов к „Словарю русских предложных единиц“», мы переработали список позиций, укрупнив некоторые из них и принципиально изменив другие. Возможно, это тоже не последний вариант. Сейчас число позиций, по которым мы считаем нужным атрибутировать каждый лексико-семантический вариант предлога, составляет двадцать. Представим эту схему.

Атрибуция предложной единицы

1. **Заголовочное слово или сочетание слов + морфологическая форма присоединяемого слова**:
   1) Падежная форма существительного или его субститута, определяемая комплексом факторов (см. п. 5);
   2) Инфинитив
      – облигаторный: *в расчете узнать, в надежде познакомиться*
      – вариативный (существительное/инфинитив): *с целью купить — с целью покупки*
      – окказиональный: ***насчет поесть, выйти под видом покурить.***
2. Общая стилистическая характеристика: ***без*** — общерусский, нейтральный, ***вза*** — диалектный; ***оборот*** чего — устаревший.
3. **Варианты**:
   1) Морфонологические:
      — вокализация:
         – первичная: **со, ото, ко** и др.
         – вторичная: **обо**
      — консонантизация: **об**
      — смягчение: **близь, впротивь**

2) Стилистические (с указанием сферы и частотности)
3) Графические: *а ля — а-ля — a la* и орфографические: *в глубь — вглубь, в догонку за — вдогонку за*

4. Статус единицы

1. Предлог: ***в, на, к; в качестве*** *кого-чего,* ***в непосредственной близости к*** *чему.*
2. Эквивалент предлога
   — Коррелят: ***длиной в один метр, левее*** *правого края листа*
   — Аналог: ***в жертвоприношение*** *идолу,* ***в сосуществовании с*** *безударными,* ***в предвкушении*** *похвал.*
   — Окказионализм:
   √ формально нормативный: ***на горизонте*** *современного научного знания,* ***на канве*** *исторических событий того времени*
   √ формально не нормативный: ***в сообществе с друзьями*** (прийти).
   — Потенциальный предлог (не представленный или представленный единичным примером): ***вдогонку*** *кого*

5. Степень смысловой самостоятельности синтаксемы, формируемой с участием предлога:

1. Самостоятельная (свободная, достаточная) синтаксема (мотивированное управление):
   – Тип логических отношений (общее категориальное и конкретное, если есть данные, значение): **в** + Nп *в доме, в столе, в шкафу, в скале* — пространственные — конкретная сопространственность, местонахождение внутри ориентира; за + N до + Nр *за час до урока* (пришел) — временные, предшествующее время, удаленный от ориентира объективно характеризуемый момент действия;
   – Внутренние факторы синтаксемы, влияющие на образование формы (*в среду — в мае, в прошлый май; в Альпах, в Андах — на Урале, на Кавказе, на Алтае*).
2. Несамостоятельная:
   2.1. Обусловленная синтаксема (обусловленное управление) — значение выявляется в структуре предложения (возможная ролевая функция: ***С мамой / У мамы*** *обморок* — субъект состояния; *Брат* ***у Маши*** *в школу пошел* — посессор; *Трудность* — ***в отсутствии денег*** — предикат с причинным значением); форма — характером модели и правилами синтаксиса, еще не до конца нами осмысленными.
   2.2. Связанная синтаксема (немотивированное управление) — в структуре словосочетания; значение определяется смыслом управляющего слова; форма определяется одним из следующих факторов:
   — Лексико-грамматическая валентность управляющего слова: ***стремиться к*** *чему*; ***уповать на*** *что*;

— Лексико-грамматическое согласование (на уровне грамматического присоединения или грамматической валентности), в том числе тип глагола (управляющего слова), системный для:
  1) члена семантической парадигмы: **в основу** чего — **положить, лечь, положен**; **из сферы** чего — **выйти, уйти, перейти**;
  2) синтагматических связей: **благодаря** чему — **смочь, суметь, удаться**: ***Благодаря темноте врагу удалось скрыться.***
— Морфологический состав управляющего слова с вариантами:
  – Сингармонизм приставки и предлога: ***влюбиться в кого, вслушаться во что***; ***напасть, наехать, наговорить на кого-что***;
  – Системные соотношения приставки и предлога: **к** + Nд — глаголы с приставкой **при-**: ***привыкнуть, приобщиться к чему***; — глаголы с приставкой **под**: ***подплыть, подбежать, подползти, подключиться к кому-чему.***
— Грамматическая форма управляющего слова: компаратив + Nр: ***выше метра, южнее города***; компаратив + **на** + Nв: ***выше на два метра, южнее на километр.***
— Грамматическая специфика управляемого слова или сочетания слов: (*каждый получил*) ***по одной тысяче*** (Nд) ***триста сорок*** (Nв) ***одному рублю*** (Nд); *работать* ***во благо общества*** (Nр) ***и себе*** (Nд); *частица с энергией* ***свыше десять*** (Nи) ***в двадцатой.***

6. Функционально-семантический (строевой) тип единицы:
— релятор: ***по причине*** *болезни*;
— классификатор: ***в роли*** *адвоката,* ***в сфере*** *бизнеса*;
— модальный модификатор: **во власти** кого (изменить), **в силах** чьих (помочь)
— авторизатор: ***по*** *Ломоносову, вес веществ до …*

7. Возможные позиции синтаксемы:
— Вне предложения (заголовок, этикетка и пр.)
— Обусловленная:
  – в предикативной паре:
    • примарной: при имени субъекта: *Мне —* ***не до книг.***
    • секундарной:
      √ при тематизации или рематизации синтаксемы в конъюнкции с главными членами предложения: ***В отличие от тебя*** *он никогда* ***не опаздывает***; ***На море*** *они не поехали.*
      √ в отсутствие субъекта и предиката: ***От Пушкина — до Чехова.***
      √ при постановке в отношения предикации компонентов структуры предложной единицы: ***От дома*** *я работаю* ***далеко.***
  – копредикат: *Он вернулся домой с фронта* ***без руки.***
  – вне предикативной пары:

√ не обособленная: *Нам и без огня тепло*;

√ обособленная: *Он выпил кофе* (*без сахара и сливок*).

— Присловная:

– приглагольная: *работать над книгой*;

– приименная: *работа над книгой*;

– приадъективная: *зеленый до половины*;

– принаречная: *страшно до ужаса*;

– принумеральная: *без двух пятьсот*.

8. Частотность по корпусу.

9. Лексический (мотивированность/немотивированность) и морфосинтаксический тип единицы:

1. Предлог/Эквивалент: (коррелят, аналог)

Предлог характеризуется по следующим параметрам:

1а. Лексический тип:

1) немотивированный (первичный): **в, на, мимо, вне** и др.

2) мотивированный (вторичный, дериват):

– отыменный: **методом** *прессинга, вблизи моря, в роли эксперта*;

– отглагольный: *недоходя дома, благодаря помощи*;

– отадъективный: *относительно кого-чего*.

1б. Морфосинтаксический тип:

1) монолексемный:

▪ Для первичных предлогов:

√ мономорфемный (простой): **в, на, к, без, до, через** и др.; *мимо дома;*

√ полиморфемный (сложный) моносубстантивный:

–сложно-семантический (передаюший двойную ориентацию): *из-за дома, извне Солнечной системы, из между нами.*

–опрощенный: *промежду них, напротив дома.*

▪ Для вторичных предлогов:

— Простой: *методом давления, относительно сроков, порядка года, спустя год, подобно птице*;

— Сложный: *ввиду ремонта, недоезжая дома, наперерез* машине.

2) полилексемный (составной):

♦ Составной-контактный

▪ Для первичных предлогов:

–предлог + предлог-экспликатор (пока не отмечено);

–предлог (редупликант) + предлог (редупликатор) — синонимический редупликат: *для ради денег, за через границу.*

▪ Для вторичных предлогов:

а) составной не осложненный (составная форма деривата):

— с одним предлогом:
–в препозиции: ***в цвет** платья, **с помощью** ключа*;
–в постпозиции: ***несмотря на** уговоры*; ***исходя из** положений договора*;
— с двумя предлогами — в препозиции и постпозиции к деривату: ***в связи с** отъездом, **по отношению к** форме*.

б) составной осложненный:
— конъюнкция предлогов:
–не синонимичных (вторичный предлог + первичный предлог-экспликатор): ***вблизи от** моря / **к** морю / **с** морем*; (сидеть) ***близко к** окну*; (решение) ***в вопросах о** поставках газа*;
–синонимичных (синонимическая редупликация): вторичный предлог + первичный предлог; ***в вопросах по** поставкам газа* вторичный предлог + вторичный предлог ***в вопросах касательно** поставок газа, **вдоль** по улице*;
— конъюнкция вторичного предлога и другой части речи (наречие, прилагательное, частица):
–предлог + наречие, предлог + прилагательное (предложное сочетание): (подойти) ***близко к** окну, **в непосредственной близости** моря*;
–отрицание + предлог: ***не включая** детей*.

- Составной полисубстантивный (двух- и трехпадежный, дистантный)
  - Для первичных предлогов:
    –со словоформами одной лексемы: ***от** дома **до** дома, **из** года **в** год, **с** ноги **на** ногу* (переминаться);
    –со словоформами разных лексем: ***от** Москвы **до** Владивостока, **с** севера **на** юг, **в** двух милях **к** скверу **от** городища*.
  - Для вторичных предлогов: ***в благодарность** другу **за** помощь*.

По отношению к конкретизатору (предложные сочетания) указывается:
— возможность/невозможность конкретизаторов: **в соответствии с** законом — ***в полном соответствии с** законом*, но: (как-либо поступить) ***по отношению к** брату* — невозможность введения конкретизатора;
— их факультативность (***вплоть до** — до*) / облигаторность (***в непосредственной** близости*);
— семантика конкретизатора:
– скаляр (количественная характеристика): ***на значительном** расстоянии от дома, **задолго до** звонка*;

– вектор: *слева **от** дома, с **правой** стороны **от** окна, в **личных** интересах ученого*;
– авторизатор: (выступить) *в **сомнительном** качестве посредника*, (действовать) *в **привычных** рамках закона*.

— частеречный класс конкретизатора:
– наречный: *близко к ночи*;
– адъективный: *в **полном** соответствии с законом*;
– словосочетание: *по **правую** руку от него*;
– компаратив: *ближе к вечеру*.

— характер конкретизатора:
– свободный: *почти до сорока лет*;
– связанный: *вплоть до сорока лет, незадолго перед уроком* (конкретизатор вне сочетания с предлогом не употребляется).

2. Эквивалент предлога — аналог: *по цене два рубля штука*; *в исправление ошибок*; коррелят: *длиной одна десятая метра*; *днем позже*;

Структура эквивалентов предлога характеризуется по аналогии со структурой вторичных предлогов.

10. Семантическая парадигма предлога: *в пределах — в пределы — из пределов — вне пределов — за пределами — за пределы чего*.

11. Текстовая парадигма предлога:

11.1. Сочетаемость с анафорическими местоимениями. Анафора и ее характер:

— Анафорическое местоимение и его тип:
– личное: *к брату / к нему*;
– притяжательное: *с помощью ножа — с его помощью*;
– указательное (определительное): *в качестве инструктора — в этом качестве*.

— Анафорическое словосочетание, ср.: *войти в школу / в нее*, но: *приехать в среду / в этот день*.

11.2. Способность выступать с 0-формой существительного:
– при наличии синтаксемы с антонимичным предлогом: *Я в шапке, он — без*;
– при наличии антецедента (0-форма анафорического/катафорического местоимения): *Она ушла, а он все смотрел вслед*.

11.3. Адъективация имени актанта: *в условиях ночи — в ночных условиях*.

11.4. Зависимость словопорядка в предложной синтаксеме от актуального членения предложения и возможные варианты взаиморасположения предлога и управляемого слова. Соответственно выделяются позиции предлога по отношению к управляемой словоформе:

— Препозиция: *для работы*.
— Постпозиция
  – облигаторная: *минуту **назад***;
  – факультативная: *ради денег — денег **ради***; ***в отмщение вам за завет — вам в отмщение за завет***.
— Интерпозиция
  – в местоимениях:
    • двучастных:
      √ собственно интерпозиция: *друг с другом, один к другому, друг **по отношению** к другу*;
      √ пересечение компонентов предлога и местоимения: ***по отношению** друг к другу*.
    • отрицательных: *ни с кем, не с кем*;
    • неопределенных: *кое с чем*, но только: ***относительно** кое-кого*;
  – между словоформами одной лексемы: *рука **в** руке, нога **за** ногу, бок **о** бок*;
  – между словоформами разных лексем: *гвозди лежат валетом — шляпка **к** ножке*.
— Способность образовать рамочную конструкцию (для составных предлогов и предложных образований):
  – прямую: ***Далеко** я живу **от** работы, а от родителей близко*;
  – инвертированную: ***От** работы я живу **далеко**, еду целый час*.
— Способность к инверсии компонентов (для бисубстантивных предлогов): *вам **за завет в отмщение***.
— Способность компонентов вторичного составного предлога образовать предикативную пару: ***От дома** — **далеко***.

12. Морфосинтаксическая парадигма (базовый предлог и его варианты): ***вблизи** чего — **вблизи от** чего, **вблизи к** чему, **в пару** кому-чему — **в пару к** кому-чему — **в пару с** кем-с чем*.

13. Сочетаемость с другими частями речи, кроме существительного и инфинитива:
— прилагательным — субститутом существительного: *она ходит **в черном***;
— наречием: *отложить на потом, сдать на отлично*;
— числительным: *без двух три*;
— междометием: *приняли на «ура»*;
— придаточной частью предложения: *Защиту перенес на когда выйдет книга*.

14. Просодические и фонетические характеристики.

15. Синонимы лексические (первичный предлог, вторичные предлоги и предложные сочетания): ***вблизи** чего, **близ** чего, **недалеко от** чего, **невдалеке от** чего* и пр.

16. Антонимы: ***вблизи** чего — **вдали от** чего, **вдалеке от** чего* и пр.

17. Способность/неспособность к образованию союзов и союзных слов. Типы союзов. 1) **из** чего: а) не образует союзов в причинном значении: *уступить из вежливости* — **уступить из того, что*; б) в остальных случаях союзные средства типа: **из того, что**: ***Из того, что** он не пришел, еще не следует, что он уехал*; 2) **из которого**: *Эта серия* (листов) *заключалась между двумя досками..., **нижняя из которых** имела шпеньки...* (Зализняк и др. ВЯ 1/03); способность/неспособность к образованию причастных оборотов: *...отношение к **вопросам безопасности** — отношение к вопросам, **касающимся** безопасности.*
18. Особенности отображения в словарях: ***в сторону** кого-чего* (СОШ, МАС — в знач. предл.).
19. Иллюстрации.
20. Употребление в разного рода паремиях: пословицах, поговорках, идиомах, фразеологизированных оборотах и т. п.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Проблемы функциональной грамматики 2003 — Проблемы функциональной грамматики. Семантическая инвариантность/вариантность. СПб., 2003.

Проблемы функциональной грамматики 2005 — Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры. СПб., 2005.

Рейхенбах 1985 — *Рейхенбах Г.* Философия пространства и времени / Пер. с английского. М., 1985.

В. А. Дыбо

Система порождения акцентных типов производных в балто-славянском праязыке и балто-славянская метатония

Исследования по реконструкции систем порождения акцентных типов производных в праславянском и пралитовском языках привели к восстановлению двух праязыковых систем, тождественных по своим основополагающим принципам, правилам и единицам. В одних случаях они совпадают как в словообразовательном, так и в акцентологическом отношении, в других они представляют собой разные части («обломки») фактически одной системы, которые могут быть объединены в ходе дальнейшей реконструкции.

Введение понятия морфонологической акцентуационной валентности и рассмотрение явления, отраженного этим понятием, как некоего просодического явления праславянского и балто-славянского языков привело к ряду нетривиальных результатов.

Производные с первичными (прикорневыми) суффиксами

Изучение славянского и балтийского отглагольного словообразования с прикорневыми суффиксами приводит к выводу, что они делятся на два класса, аналогичных двум классам вторичных суффиксов: I класс — класс балто-славянских прикорневых «рецессивных» суффиксов, т. е. (–)-суффиксов, и II класс — балто-славянские прикорневые суффиксы, которые можно рассматривать как «доминантные», т. е. (+)-суффиксы. Как и следовало ожидать, при «рецессивных» суффиксах производные сохраняли а.п. производящих[1], тогда как при «доминантных» суффиксах производные получали неподвижный акцентный тип независимо от а.п. производящего[2].

---

[1] Выбор акцентных типов у производных с «рецессивными» суффиксами см. [Николаев 1989: 56–74].

[2] К группе вторичных суффиксов добавляются еще суффиксы с «категориальным» выбором акцента, класс, по-видимому, вторичного происхождения. Эта классификация суффиксов, которую мои литовские коллеги называют иногда «классификацией П. Гарда» (P. Garde'o afiksų klasifikacija — [Mikulėnienė 2005]), была открыта Ф. де Соссюром в 1896 г. ([Saussure 1896], русский перевод — [Соссюр: 624–625]). О значении её см. [Дыбо 1968; Дыбо 1977b: 591–592; Дыбо 1978c; Дыбо 1981a: 65–66; Дыбо 1989c: 242–244; Дыбо 2006a: 9–10].

Наряду с этим предсказываемым теорией результатом был получен также результат [Николаев 1986], который непосредственно теорией не предсказывался[3]: оказалось, что в производных с «доминантными» суффиксами от акутированных корней «рецессивного», т. е. (–)-класса, происходит метатония «акут ⇒ циркумфлекс», тогда как в таких же производных от акутированных корней «доминантного», т. е. (+)-класса, метатония отсутствует:

I. *Балто-славянская метатония в производных с суффиксами «доминантного» класса (**-to-**, **-sto-**, **-tlo-**/**-dlo-** и под.).*

Акутированные корни с (–)-маркировкой меняют интонацию на циркумфлекс.

Производные от балто-славянских глаголов подвижного акцентного типа:

Балтийские (лит. ⇒ а.п. 2; лтш. ˆ ⇒ ˋ)

а) суфф. ***-ta-s***

1. лит. *stõtas* (2) 'телосложение' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *stóti* 'стать, становиться', лтш. *stât* 'остановиться, останавливаться'; слав. **-stâjǫ*, **-stajètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 302–303].

2. лит. *klõtas*, pl. *klõtai* (2) 'мостки' ~ лит. *klóti* 'стелить; накрывать', лтш. *klât* 'покрывать, стлать'; слав. **klâdǫ*, **kladètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 354–355].

3. лит. *graũžtas* (2) 'огрызок' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *gráužti* 'грызть, глодать', лтш. *graûzt* 'грызть, глодать'; слав. **grŷzǫ*, **gryzètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 354].

4. лит. *dõtas* (2) 'подарок' ~ лит. *dúoti* 'дать, давать', лтш. *duôt* 'дать, давать'; слав. **dâjǫ*, **dajètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 299–300].

5. лит. **nuo-dẽtas* (> жемайт. *nū-dẽtas*) (2) 'Sünde' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *dė̃ti* 'класть, ставить, помещать', лтш. *dêt* 'класть яйца'; *dêtiês* 'деваться, деться'; слав. **dẽjǫ*, **dějètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 296–298, 512].

6. лит. **mõtas* (2) в adv. (instr. pl.) *mõtais* 'in Betracht' ~ лит. *móti* 'махать; кивать', лтш. *mât* Kr., Lis., Kl., Bers., N.-Peb., Arrasch 'махать; кивать'; слав. **mâjǫ*, **majètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 301].

7. лит. *sõstas* (2; [SkŽD: 321]) 'трон, престол' [Николаев 1989: 78] при вторичном *sóstas* (1), *pa-sẽstas* (2) 'сидение' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *sė̃sti* (*sė̃d-*) 'сесть, садиться', лтш. *sêstiês* (*sêd-*) 'сесть, садиться'; слав. (caus.) **sâdi̯ǫ*, **sadĩtь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 458].

---

[3] Ср., однако, [Дыбо 1981b: 259 и 262], где предложен первичный вариант теории, предполагающей обнаруженный результат.

8. лит. *džiaũtas* (2; [SkŽD: 320]) 'pintinaitė sūriams džiovinti' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *džiáuti* 'вешать для просушки', лтш. *žaût* 'развешивать для просушки'.

9. лит. *plaũtas* (2) 'полóк' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *pláuti* 'полоскать, стирать, мыть' [ср. лтш. *plaûst* 'ausgiessen; nass machen (durch Waschen namentlich)']; слав. **plòvǫ*, **plovètь* и **plỳnǫ*, **plynètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 286, 329].

10. лит. *ap-maũtas* (2) 'чехол', *pa-maũtas* (2) 'недоуздок' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *máuti* 'надевать, напяливать', лтш. *maût* 'anziehen, aufziehen; zäumen'.

11. лит. *plaũstas* (2; [Šl. 352]) 'парóм' [Николаев 1989: 78] при вторичном *pláustas* (1) ~ лит. *pláusti* (*pláud-*) 'полоскать, мыть, стирать', лтш. *plaûst* (*plaûd-*) 'ausgiessen; nass machen (durch Waschen namentlich)'.

12. лит. *kliũtas* (2; [Jušk. II: 167]) 'карша, замоина' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *kliũti* 'задевать, зацепить; попасть, попадать', также *kliáutis* 'полагаться на кого-л., доверять кому-л.; льнуть; держаться за кого-л., что-л.', лтш. *kļaût* 'прижимать (к себе)', ср. также: *kļũt* [Dond., Līn., Nigr., Ruj., C., PS., Jürg., *kļût* Mar. n. RKr. XVII, 125, *kļût*[2] Dunika] '(unwillkürlich) geraten, gelangen'; *kļũ|t*, *~st*, *kļuva* 'стать-становиться; сделаться-делаться' [Андронов 2002: 92[b]]; слав. **kljûjǫ*, **kljujètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 293].

13. лит. *naŕtas* (2) 'норов' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *nérti* 'вязать, плести, набрасывать (петлю); нырять'; лтш. *nirt* 'нырять'; слав. **nerti*, **nъrǫ*, **nьrètь* (а.п. *c*: словен. praes. 1.sg. *pondrèm*, ст.-слав. aor. 3.sg. **понр•тъ**).

14. лит. *spraũstas* (2) 'шпунт' [Николаев 1989: 78] ~ лит. *spráusti* (*spráud-*) 'втискивать, впихивать', лтш. *spraûst* (*spraûd-*) 'втыкать, вкалывать'.

b) суфф. ***-sta-s***

1. лит. *klõstas* (2), pl. *klõstai* 'жерди, которыми надавливается мочимый лен; мостки' [Николаев 1989: 79] ~ лит. *klóti* 'стелить; накрывать', лтш. *klât* 'покрывать, стлать'; слав. **klâdǫ*, **kladètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 354–355].

2. лит. *mõstas* (2) 'жест' [Николаев 1989: 79] ~ лит. *móti* 'махать; кивать', лтш. *mât* 'махать; кивать'; слав. **mâjǫ*, **majètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 301].

3. лит. *aũkštas* (2) 'этаж, ярус, чердак' [Николаев 1989: 79] ~ лит. *áugti* 'расти', лтш. *aûgt* 'расти'.

4. лит. *šluõstas* (2) 'тряпка для вытирания' [Николаев 1989: 79] ~ лит. *šlúoti* 'мести, подметать', лтш. *sluôt* 'ohne Zweck umhergehen, schlendern, bummeln'.

5. лит. *pa-grẽbstai* (pl.; 2) 'сгребки, сгребенные остатки' [Николаев 1989: 79] ~ лит. *grẽbti* 'грести (граблями), сгребать', *gróbti* 'хватать'; лтш. *grâbt* 1. 'грести'; *g. sìenu* 'грести // сгребать сено'; 2. 'хватать' [Андронов 2002: 61[b]]; ср. слав. **grèbǫ*, **grebètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 363].

6. лит. *nařstas* (2; [SkŽD: 324]) 'verknotete Stelle der Peitsche, damit sie kürzer wird' ~ лит. *nérti* 'вязать, плести, набрасывать (петлю); нырять', лтш. *nìrt* (C.), *nìrt*[2] 'нырять'; слав. **nerti*, **nъrǫ*, **nъrètь* (а.п. *c*: словен. praes. 1.sg. *pondrèm*, ст.-слав. aor. 3.sg. **понр•тъ**).

7. лит. *lamstas* (2) 'разводы, узор'; лтш. (с другой ступенью огласовки) *lùmsts* 'die Weberhefteln, Nietenhölzer', 'skieto dalis' [Būga RR II: 261; Николаев 1989: 79, 82] ~ лит. *lémti* 'судить; решать; определять'; *lìmti* 'надламываться, ломаться, ломиться'; лтш. *lemt* Serbigal, Linde, Kl., Nerft, Kr. 'jemandem bestimmen, festsetzen', *lìmt*[2] Ruj., Salis; слав. caus. praes. 1.sg. **lòmiǫ*, 3.sg. **lomītь* (болг. [Геров] *ломѭ, úшь*; русск. вост. *ломлю́(сь), ломúт(ся)*)[4].

8. лтш. *gràusts* PS., [Schujen, Trik., N.-Peb.] 'развалина, развалюха; трущоба', 'pussagruvusi ēka' [Николаев 1989: 82] ~ лтш. *graût* 'громить; сокрушать', *grût* 'рушиться; разрушаться; разваливаться' [Андронов 2002: 62[a], 63[a]].

9. лтш. **dęsts* 'саженец' [Николаев 1989: 82] (интонация установлена, вероятно, по отыменному глаголу: в [Mühl.–Endz. I: 464] *dęsts* 'der Setzing' и *dèstît* 'pflanzen' = [Шмидт: 37] *dēstìt* 'садить, разводить'), такое интонирование этого имени поддерживается лтш. (зап.) *dęsts*[2] [Endz.–Haus. I: 319] (вторично лтш. *dæsts* 'саженец', при *dēstît* 'сажать' [Андронов 2002: 51[a]]) ~ лит. *dėti* 'класть, ставить, помещать', лтш. *dêt* 'класть яйца'; *dêtiês* 'деваться, деться'; слав. **dějǫ*, **dějètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512].

c) суфф. ***-kla-s***

1. лит. *dėklas* (2) 'кобура, футляр', *padėklas* (2) 'подставка, подкладка; поднос', *įdėklas* (2) [LRKŽ 1962: 175], так же в LKŽ 'вкладыш' [Николаев 1989: 77, 79] ~ лит. *dėti* 'класть, ставить, помещать', лтш. *dêt* 'класть яйца'; *dêtiês* 'деваться, деться'; слав. **dějǫ*, **dějètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512]. (В лтш. *padękls* PS., по-видимому, совпадение нисходящей интонации с плавной в непервых слогах.)

2. лит. *pa-būklas* (2) 'орудие' [Николаев 1989: 79] ~ лит. *būti* 'быть', лтш. *bût* 'быть'; слав. (*l*-part.) **bъlъ*, **bylà*, **bъlo* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000a: 513, 500].

3. лит. *tiñklas* (2) 'сеть, невод'; лтш. *tìkls* 'das Netz' [Николаев 1989: 79] ~ лит. *tìnti* 'пухнуть', лтш. *tît* 'мотать, наматывать; навивать; накручивать; крутить, свертывать; окутывать, пеленать'.

4. лит. *pa-neřklas* (2) 'wiązadło, którym przywiązuje się bat do biczyska', *pri-neřklas* (2) 'virvelė botagui prie koto pririšti (prinerti); spragilo jungas' ~ лит. *nérti* 'вязать, плести, набрасывать (петлю); нырять', лтш. *nìrt* (C.),

---

[4] Наличие лтш. *lemt*, *lìmt* с плавной интонацией и, соответственно, слав. 1.sg. **lomiǫ*, 3.sg. **lòmītь* (варианта а.п. *b*) С. Л. Николаев объясняет существованием этой вариантности уже в балто-славянском.

nìrt[2] 'нырять'; слав. **nerti*, **nъrǫ*, **nьrètь* (а.п. *c*: словен. praes. 1.sg. *pondrèm*, ст.-слав. aor. 3.sg. **понр•тъ**).

5. лит. *spiřklas* (2) 'пинок, удар (ногой)' ~ лит. *spìrti* 'брыкнуть, брыкать, пнуть, пинать, лягать, ударять (ногой); упирать, подпирать', лтш. *speŕt* 'ударить, пнуть; лягать, брыкать'; слав. **pěrǫ*, **perètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000а: 274, 254–257].

Славянский (⇒ а.п. *b*)

c) суфф. ***-dlo***

1. слав. **dědlo* > **dědlò* [Николаев 1989: 85] ~ слав. **dějǫ*, **dějètь*; inf. **dějáti*; лит. *dėti* 'класть, ставить, помещать', лтш. *dêt* 'класть яйца'; *dêtiês* 'деваться, деться' ‖ см. [Дыбо 2000а: 296–298, 512].

2. слав. **pędlo* > **pędlò* [Николаев 1989: 85] ~ слав. **pъnǫ*, **pьnètь*; inf. **pęti*; лит. *pìnti* 'плести, вить; спутывать', лтш. *pît* 'плести, заплетать' ‖ см. [Дыбо 2000а: 258–259, 267].

3. слав. **žeřdlo*, **žьřdlo* > **žerdlò*, **žьrdlò* [Николаев 1989: 86] ~ слав. **žěrǫ*, **žerètь*; **žъrǫ*, **žьrètь*; inf. **žьráti*, **žerti*; лит. *gérti* 'пить', лтш. *dzeŕt* 'пить' ‖ см. [Дыбо 2000а: 266, 273, 490, 493, 501, 506].

4. слав. **stãdlo* > **stadlò* [Николаев 1989: 86] ~ слав. **stâjǫ*, **stajètь*; inf. **stajáti*; лит. *stóti* 'стать, становиться', лтш. *stât* 'остановиться, останавливаться' ‖ см. [Дыбо 2000а: 302–303].

5. слав. **žĩdlo* > **židlò* [Николаев 1989: 88] ~ слав. **žívǫ*, **živètь*; inf. **žíti*; лит. *gýti* 'заживать' (в Библии Хилинского 'жить', см. Ch, Chl), лтш. *dzît* 'заживать' ‖ см. [Дыбо 2000а: 287–288].

6. слав. **bỹdlo* > **bydlò* [Николаев 1989: 88] ~ слав. (l-part.) **bỹlъ*, **bylà*, **bỹlo*; лит. *būti* 'быть', лтш. *bût* 'быть' ‖ см. [Дыбо 2000а: 513, 500].

7. слав. **žędlo* > **žędlò* 'жало' [Николаев 1989: 86] ~ лит. *gélti* 'жалить, кусать; болеть, ныть, ломить', лтш. *dzelît* 'жалить, кусать (о змее); жечь, обжигать (о крапиве)'.

8. слав. **veřdlo* > **verdlò* 'источник' [Николаев 1989: 86] ~ лит. *vìrti* 'кипеть; вариться', лтш. *vîrt* 'кипеть, вариться'.

9. слав. **tvьřdlo* > **tvьrdlò* 'загон для скота' [Николаев 1989: 86] ~ лит. *tvérti* 'огораживать, ставить забор; делать перевязку, перевязывать; прикреплять, вставлять', лтш. *tverît* 'хватать, ловить'.

10. слав. **peřdlo* > **perdlò* 'проход' [Николаев 1989: 86] ~ слав. **pěrǫ*, **perètь*; inf. **pьráti* (а.п. *c*); ? лит. *spìrti* 'брыкнуть, брыкать, пнуть, пинать, лягать, ударять (ногой); упирать, подпирать', лтш. *speŕt* 'ударить, пнуть; лягать, брыкать' ‖ см. [Дыбо 2000а: 274, 266].

II. *Отсутствие балто-славянской метатонии в производных с суффиксами «доминантного» класса (**-to-**, **-sto-**, **-tlo-**/**-dlo-** и под.).*

Акутированные корни с (+)-маркировкой не меняют интонации.

Производные от балто-славянских глаголов неподвижного акцентного типа:

Балтийские (лит. а.п. 1; лтш. ˜)

а) суфф. ***-ta-s***

1. лит. *káltas* (1) 'долото' [Николаев 1989: 80]; лтш. *kaĩts* 'das Stammeisen, der Meissel; ein kleiner Hammer'[5] ~ лит. *kálti* 'ковать, вбивать, долбить', лтш. *kaĩt* 'ковать; долбить (о дятле)'; слав. **kolją*, **kòljeto*; inf. **kółti* (а.п. *b/a*) || см. [Дыбо 2000а: 265].

2. лит. *bùrtas* (1) 'жребий, ворожба, чары' [Николаев 1989: 80] ~ лит. *bùrti* 'гадать, ворожить, колдовать', лтш. *buŕt* 'колдовать'.

3. лит. *gniáužtas* (1) 'кулак', pl. 'тиски' [Николаев 1989: 80] ~ лит. *gniáužti* 'сжимать, стискивать', лтш. *gņaũzt* Dunika 'drücken, quetschen' и *gnaũzît*, *-zu*, *-zīju* Nigr., но *gnaûzt*[2], *-žu*, *-zu* Bl. 'drücken, quetschen, knittern, knillen, auswinden wie nasse Wäsche' [Mühl.–Endz. I: 633, 634].

4. лит. *mìltai* (pl.; 1) 'мука' [Николаев 1989: 80]; лтш. *mĩlti* pl. 'das Mehl' ~ лит. *málti* 'молоть, размалывать', лтш. *maĩt* 'молоть'; слав. **meljǫ*, **mèljeto*; inf. **mělti* (а.п. *b/a*) || см. [Дыбо 2000а: 265].

5. лит. *síetas* (1) 'сито' [Николаев 1989: 80] (относительно прерывистой интонации в лтш. *siêts* 'das Sieb' см. [Иллич-Свитыч ИА: 82][6]) ~ слав. **sějǫ*, **sějeto*; inf. **sějati* 'сеять, просевать' (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 289–290].

6. лит. *vìltas* (1) 'предательство, измена, обман' [Николаев 1989: 80] ~ лит. *vìlti* 'обманывать в надеждах, разочаровывать', лтш. *viĩt* A.-Ottenh., Salisb., Zögenhof 'обманывать, вводить в заблуждение'.

7. лит. *rĕžtas* (1) 'заведенный порядок; старая дорога' (*sàvo rĕžtu* 'своим чередом; по-своему'); *rúožtas* (1) 'полоса, участок, область' (*sàvo rúožtu*

---

[5] Приводимое Р. Дерксеном [Derksen 1996: 117] в качестве «пропуска» С. Л. Николаевым важного контраргумента слав.**koĩto-* > **koltȯ-* 'колотушка' [схрв. диал. *kláto* 'деревянный треугольник, надеваемый на шею свиньи, мешающий ей пролезть в щель забора', словен. *kláto*, слвц. *kláto* 'палочка' ~ чеш. *klát* 'палочка, колотушка'] непосредственно к данному корню не относится, являясь нормальным девербативом к глаголу **koltĩti*, praes. 3.sg. **koĩtīto* (а.п. *b*) с корнем **kolt-*, и его просодия является дополнительным аргументом против сомнительных попыток связать этот корень с корнем **kolə-* 'колоть'. С. Л. Николаев в своей работе принимает эту спорную этимологию и учитывает её в числе вторичных образований, см. [Николаев 1989: 54, 89].

[6] Особенностью балто-славянских имен neutra, имеющих прерывистую интонацию в латышском, является то, что они часто избегают закономерной метатонии и, как правило, имеют вариант 3-й а.п. в литовских диалектах. Это согласуется с объяснением В. М. Иллич-Свитыча, но не требует принятия предполагаемой Я. Эндзелином вторичности латышской прерывистой интонации.

'своим чередом; по-своему') [Николаев 1989: 80] ~ лит. *rẽžti* 'резать'; лтш. *riẽzt*, *-žu*, *-zu* 'scheiden' Dunika; слав. **rẽ̑zjǫ*, **rẽ̑zjeťь*; inf. **rẽ̑zati* (а.п. *a*).

b) суфф. ***-sta-s***

1. лит. *žióstas* (1; [SkŽD: 324]) 'tai, kiek vienu kartu galima apžioti' [Николаев 1989: 80] ~ лит. *žióti* 'разевать, раскрывать'; слав. **zẽ̑jǫ*, **zẽ̑jeťь* (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 289][7].

c) суфф. ***-kla-s***

1. лит. *dùrklas* (1) 'штык' [Николаев 1989: 80]; лтш. *duŕkls* 'ein spitzes Eisen, womit Löcher gemacht, gestochen werden' ~ лит. *dùrti* 'колоть, тыкать', лтш. *duŕt* 'колоть'.

2. лит. *ìrklas* (1 > 3) 'весло'; лтш. *iŕkls* 'das Ruder' ~ лит. *ìrti* 'двигать судно шестом или веслами; грести (веслами)', лтш. *iŕt* (*uz krastu*) 'гнать лодку, грести (к берегу)', *iŕtiês* 'грести (веслами)'.

3. лит. *piū́klas* (1) 'пила' [Николаев 1989: 80] ~ лит. *piáuti* 'резать, отреза́ть; пилить; жать (хлеб на поле); косить (сено, траву)', лтш. *pļaũt* 'косить; жать (хлеб)'.

4. лит. *žénklas* (1) 'знак, признак, знамение' [Николаев 1989: 80] ~ лит. *pa-žìnti* 'знать кого-л., быть знакомым; узнать', лтш. *pa-zĩt* 'знать кого-л., что-л.; быть знакомым; узнать, узнавать'.

5. лит. *pa-véikslas* (1) 'картина, изображение, образ, пример, образец' ~ слав. **vĩdi̯ǫ*, **vĩdītь*; inf. **vĩděti* (а.п. *a*).

6. лит. *sĕkla* (1; f.) 'семя'; лтш. *sę̃kla* f. Wolm., Karls., Ruj., Salis, Serbigal, AP., Līn., Iw. 'der Samen, die Saat' ~ лит. *sĕti* 'сеять, рассевать', лтш. *sẽt* 'сеять'; слав. **sẽ̑jǫ*, **sẽ̑jeťь* (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 289–290, 498, 533].

Славянский (а.п. *a*)

c) суфф. ***-dlo***

1. слав. **bĩdlo* [Николаев 1989: 84] ~ слав. **bĩjǫ*, **bĩjeťь*; inf. **bĩti* (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 276].

2. слав. **dū́dlo* [Николаев 1989: 84] ~ слав. **dū́jǫ*, **dū́jeťь*; inf. **dū́ti* (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 279].

3. слав. **mȳdlo* [Николаев 1989: 84] ~ слав. **mȳjǫ*, **mȳjeťь*; inf. **mȳti* (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 277–278].

4. слав. **rȳdlo* [Николаев 1989: 84] ~ слав. **rȳjǫ*, **rȳjeťь*; inf. **rȳti* (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 278].

5. слав. **čū́dlo* [Николаев 1989: 84] ~ слав. **čū́jǫ*, **čū́jeťь*; inf. **čū́ti* (а.п. *a*) || см. [Дыбо 2000а: 279].

---

[7] Менее надёжно: 2. лит. *váistas* (1) 'средство, лекарство' [Николаев 1989: 80] ~ слав. **vẽ̑děti* 'знать, ведать' (а.п. *a*).

6. слав. *šĭdlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *šĭjǫ, *šĭjetь; inf. *šĭti (а.п. *a*); лит. *siū́ti* 'шить', лтш. *šūt* 'шить' ‖ см. [Дыбо 2000а: 276].

7. слав. *mę̑dlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *mьnǫ̑, *mьnetь; inf. *mę̑ti (а.п. *a/b*); лит. *mìnti* 'топтать, растаптывать; мять', лтш. *mīt* 'топтать, мять' ‖ см. [Дыбо 2000а: 254, 263].

8. слав. *tŕdlo [Николаев 1989: 84] ~ слав. *tьrǫ̑, *tьretь; inf. *tŕrti (а.п. *a/b*); лит. *tìrti* 'исследовать, расследовать; изучать', *trìnti* 'тереть, натирать, стирать', лтш. *trīt* 'точить; править; направлять; тереть' ‖ см. [Дыбо 2000а: 254–256, 263].

Исключения из данного соотношения единичны и легко объясняются либо наличием древних акцентуационных вариантов у некоторых глаголов, либо сменой акцентных характеристик у них в более поздний период.

Примечание. Следует иметь в виду, что метатония, будучи результатом словообразования и его конструктивным элементом, подвергается в дальнейшем тем же процессам, что и другие конструктивные элементы словообразования, такие, как акцентный тип (акцентная парадигма), т. е., например, генерализации в определенном словообразовательном типе, аналогическому воздействию параллельных словообразовательных типов и подобным. Первый случай хорошо наблюдается в литовских именах на *-ius*:

I. В именах, образованных от акутированных основ подвижного акцентного типа — 1) *lañgius* 2 'оконщик' (*lángas* 3 'окно', лтш. *luôgs*); 2) *stõgius* 2 'кровельщик' (*stógas* 3 'крыша, кровля', при вторичном диал. l NdŽ, Dt; лтш. *stâgs* 'Dach'); 3) *nuõgius* 2 'голыш' (*núogas* 3 'нагой, голый', лтш. *nuôgs*); 4) *skỹsčius* 2 'легкомысленный человек' (*skýstas* 3 'жидкий', лтш. *šķîsts* 'dünnflüssig'); 5) *malĩkius* 2 'возчик дров, торговец дровами' (лтш. *malĩka* 'das Brennholz', при лит. *málka* 1 'дрова'); 6) *plaũkius* 2 'длинноволосый' (*pláukas* 3 'во́лос', лтш. *plaûki* 'was im Weben vom Kamme abfällt; Schneeflocken; Staub; Mutterkorn'); 7) *taũkius* 2 'любитель жира' (*taukaĩ* pl., acc.pl. *táukus* 'жир', sg. *táukas* 'Fettstück' [Būga RR II: 633]; в лтш. *tàuki* 'Fett', *tàuks* 'fett, feist' генерализация рефлексов метатонического циркумфлекса); 8) *šluõčius* 2 'метельщик' (лтш. *sluôta* 'Besen', при лит. *šlúota* 1 'метла', ср. также лтш. *sluôt* 'ohne Zweck umhergehen, schlendern, bummeln'); 9) *puõdžius* 2 'гончар' (лтш. *puôds* 'der Topf', при вторичном лит. *púodas* 1 «горшок»); 10) *sluñkius* 2 'лентяй' (лтш. *sluņķis* 'Lümmel, Schlingel, Faulenzer, Trödler', ср. лит. *slunkis* '(träger) Schleicher, wer langsam geht; Faulenzer(in)' [Nesselmann 486]); 11) *daĩg-((s)l)ius* 2 'всходы, прорастание; росток' (*dáigas* 3 'росток', *díegas* 3 'росток', *dieglỹs* 3, 4 'рост', *dyglỹs* 4 'рост'; лтш. *daîga* 'lange dünne Stange', *daîgi* du. Kr., *diêgs* 'Zwim, Keim', *diêglis* (*dîglis*) 'Keim'); 12) *snarãglius* 2 'сопляк' (*snarglỹs*, gen. *snárglio* 3 и диал. *snarãglio* 4 'сопли'); 13) *aũglius* 2 'рост; возраст' (лтш. *aûglis* 'Frucht'; но лит. *auglỹs* 4 'побег; опухоль', при *áugti* 'расти'); 14) *mẽšlius* 2 'навозник' (*mẽšlas* 3 'навоз'; лтш. *mę̃sls* 'Dünger, Mist'); 15) *õdžius* 2 'кожевник' (лтш. *âda* 'Balg, Haut', два лит. норм. варианта *óda* 1 и *odà* 4 'кожа' — результат двух направлений перестройки 3-й а.п.); 16) *naũdžius* 'ростовщик, лихоимец' (*naudà* 3 'польза, выгода'; лтш. *naûda* 'Geld'); 17) *smirdẽlius* 2 'вонючка' (лит. *smirdẽti*, praes. 3.sg. *smìrda*, praet. 3.sg. *smirdẽjo* 'вонять'; лтш. *smirdêt* 'riechen, stinken').

II. Но также и в именах, образованных от акутированных основ неподвижного акцентного типа — 1) *duõnius* 2 'любитель хлеба' (*dúona* 1 'хлеб', лтш. *duõna*

'Schnittbrot'); 2) *giřnius* 2 'жерновщик' (*gìrna*, pl. *gìrnos* 1 'жёрнов', лтш. *dziřnus*, *dziřnas* pl. 'die Quirne'); 3) *šaũkščius* 2 'ложкарь' (*šáukštas* 1 'ложка'); 4) *smuřgius* 2 Up, Vn, Kv [LKŽ XIII: 227] 'сопляк' (*smùrgis* 1 'сопля'; лтш. *smuřga* 'Rotz'); 5) *balčius* 2 Alk, Skr, Trgn [LKŽ I: 589] 'белое животное' (лтш. *baĩts* при вторичном лит. *báltas* 3); 6) *ilčius* 2 [LKŽ IV: 38] 'žmogus ilgomis iltimis' (*iltis* 1 'клык', лтш. *il(k)ts*, *ilĩkss* 'Hauer, Hauzahn, Fangzahn'); 7) *juõdžius* 'juodos, tamsios spalvos gyvulys, juodis' (*júodas* 3 K, J, Š; 1 Ms, KlvrŽ, SD34, B, R320, M 'черный'; лтш. *juõds* 'Waldteufel, Feldteufel, böser Geist'); 8) (*didỹlis*) *milčius* 2 'большой мучной хрущак' (*mìltai* pl. 1 'мука', лтш. *milĩti* 'Mehl'); 9) *pỹpkius* 2 'курильщик, трубочник' (*pýpkė* 1 'трубка', но также диал. *pýpka* 1, *pypkà* 2, *pipkà* 2, *pỹpkė*, *pýpkis* '(Tabaks)pfeife'); 10) *kaĩlius* 2 'скорняк, меховщик' (*káilis* 1 'шкура, мех', лтш. *kaĩls* Tr., Gr.-Essem, Ahs., Zabeln и *kaĩls* Wolm., Kl., PS., Lis., N.-Peb., Arrasch, C., Trik. 'kahl, nackt, splitternackt' [Mühl.–Endz. II: 133; Endz.–Haus. I: 574] и лтш. *kailis* 'ein Schafsfell zum Pelz; ein abgetragener Pelz' Wid.); 11) *maĩlius* 2 'мальки; малёк' (*máila* 'etwas Kleines, Unbedeutendes, insbesondere Bez. kleiner Fische', лтш. *maĩle* 'Weißfisch, Löffelfisch, Grundling, kleiner Fisch'); 12) *seĩlius* 2 'слюнтяй' (*séilė* 'слюна'; но лтш. *saĩlas* pl. Kreuzb., Ober-Kurl. (n. U.) 'der Geifer, Speichel', *sèilas*[2] pl. Kreuzb., *sèiles*[2] pl. Gr.-Jungfernhof (n. U.); 13) *gỹslius* 2 'высохший [хилый] человек' (*gýsla* 1 'жила', но лтш. *dzî(k)sla* 'Ader, Sehne'); 14) *piẽnius* 2 'любитель молочного' (*píenas* 1 'молоко'; лтш. *piẽns* 'Milch'); 15) *pluñksnius* 2 'перяник; человек пера' (*plùnksna* 1 'перо'; лтш. *plũksnas* pl. C., Katzd. 'Charpie, Abfall von Flachs, Hede'); 16) *krõsnius* 2 'печник' (*krósnis* 1 'печь'; но лтш. *krâsns* 'Ofen'); 17) *klumpius* 2 'изготовитель деревянных башмаков' (*klùmpės* pl. 1 'деревянные башмаки, клумпы'; лтш. *klumpača* C., Dr. 'der Plattfuss'); 18) *kuřpius* 2 'сапожник; башмачник' (*kùrpė* 1 'башмак'; лтш. *kuřpe* 'Schuh'); 19) *bulvius* 2 'любитель картофеля' (*bùlvė* 'картофель'; лтш. *bùlva*); 20) *muřzius* 2 'грязнуля; марашка' (*mùrza* 1 'грязнуля'; лтш. *muřza*); 21) *suõdžius* 2 'грязнуля, замарашка' (*súodys* pl., *súodžių* gen.; *súodžiai* pl. 1 'сажа'; но лит. *suodýti*, *suodẽti* 'rußig werden', лтш. *suôdrẽji* 'der Russ; Tabaksöl'); 22) *snaũdžius* 'соня' (лтш. *snaũda* 'Schlummer, Halbschlaf', *snaũst*, praes. 1.sg. *snaũžu*, praet.1.sg. *snaũdu*; лит. *snáusti*, praes.1.sg. *snáudžiu*, praet.1.sg. *snáudžiau* 'дремать'; но *snaudà* 4 'snaudìmas; snaudãlius', Šl. *snaudà*, gen. *snaũdos* 2 'drzemała; śpioch').

Однако именно у этой второй группы производных (от акутированных имен и глаголов неподвижного акцентного типа) наблюдается и ряд исключений и вариантов, в которых метатония отсутствует: 1) *jáučius* 'pastuch wołów, pasterz' [при варианте *jaũčius*] (*jáutis* 1 'вол, бык') [Otr.gr.II: 81]; 2) *mùrzius* 1 'грязнуля; марашка' (*mùrza* 1 'грязнуля'; лтш. *muřza*); 3) *mìlčius* 1 BŽ.603 'duonvabalis (*Tenebrio molitor*)', 'мучной хрущ' (*mìltai* pl. 1 'мука', лтш. *milĩti* 'Mehl'); 4) *smùrgius* 1 NdŽ [LKŽ XIII: 227] 'сопляк' (*smùrgis* 1 'сопля'; лтш. *smuřga* 'Rotz'); 5) *ámžius* 1 'век; возраст'; 6) *ýžius* 1 жемайт. 'status krantas, skardis, nugriuvęs šlaitas' [DLKŽ 1954: 285_2] (при варианте *ỹžius* Šilālė, raj.c.).

Производные с вторичными суффиксами

Согласно «второму принципу парадигматического акцента» выбор акцентных типов в этом реконструированном фрагменте акцентной

системы определяется двумя параметрами: акцентной парадигмой (а.п.) производящего и морфонологическим классом суффикса. Двум а.п. непроизводных: **1**-й а.п. (лит. 1-й и 2-й а.п.) и **2**-й а.п. (лит. 3-й и 4-й а.п.)[8] — соответствовали три акцентных типа производных: тип ***A*** — неподвижное ударение на корне; тип ***B*** — неподвижное ударение на суффиксе; тип ***C*** — подвижное ударение (= **2**-й балтийской а.п.). Суффиксы делились на два морфонологических класса — I класс (рецессивные суффиксы): *-išk-a-* (adj.), *-in-a-* (adj.), *-at-i-*, *-ast-i-*, *-um-â-* (f.), *-ing-a-* (adj.), *-îst-â-* (f.), *-îb-â-* (f.); II класс (доминантные суффиксы): *-el-ĭs*, *-išk-ĭs* (adj.), *-in-ĭs* (adj.), *-esn-ĭs* (adj., сравн. ст.), *-um-a-*, *-at-â-* (f.), *-īst-ē*, *-inīk-a-*, *-īb-ē*, *-uot-a-* (adj.), *-(j)aus(j)-a-* (adj., превосх. ст.). Выбор акцентного типа производился следующим образом: от основ **1**-й а.п. независимо от класса суффикса выбирался акцентный тип ***A***, от основ **2**-й а.п. при суффиксах I класса — тип ***C***, при суффиксах II класса — тип ***B***:

	А.п. производящих	**1**-я	**2**-я
Класс суффикса	I	***A***	***C***
	II		***B***

I. Суффиксы I класса

А. *С краткими гласными*

1. Суффикс *-osti-s*

Формы производных		А.п. производящих			
		Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. subst. ***-ast-i-***					
Sg.	nom.	*pílnastis*	*bi̯aũrastis*	*gîvastìs*	*nerimastìs*
	gen.	*pílnasties*	*bi̯aũrasties*	*gîvastiẽs*	*nerimastiẽs*
	acc.	*pílnastį̄*	*bi̯aũrastį̄*	*gī́vastį̄*	*nèrimastį̄*
Слав. subst. ***-ost-ь-***					
Формы		a^a (= *A*)	a^b (= *E*)	c^c (= *C*)	
Nom.sg.		*rȁdostь*	*mǫdrȍstь*	*lẽnostь*	*čę̑stostь*
Dat.sg.		*rȁdosti*	*mǫdrȍsti*	*lẽnosti*	*čę̑stosti*
Instr.sg.		*rȁdostьjǫ*	*mǫdrȍstьjǫ*	*lěnostьjǫ̀*	*čęstostьjǫ̀*
Loc.sg.		*rȁdosti*	*mǫdrȍsti*	*lěnostĩ*	*čęstostĩ*
Gen.pl.		*rȁdostьjъ̄*	*mǫdrȍstьjъ̄*	*lěnostьjъ̄*	*čęstostьjъ̄*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 107–122], балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 135–136].

[8] Реконструированное состояние относится к периоду до действия закона де Соссюра.

2. суффикс *-in-o-*

Формы производных		А.п. производящих			
		Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. adj. *-in-a-*					
Sg.	m.	*áuksinas*	*vàrinas*	*pláukinas*	*krùvinas*
	f.	*áuksinâ*	*vàrinâ*	*plaûkinã*	*kruvinã*
Pl.	m.	*áuksiniê*	*vàriniê*	*plaûkiníe*	*kruviníe*
	f.	*áuksinās*	*vàrinās*	*pláukinās*	*krùvinās*
Слав. adj. *-ьn-o-*					
Формы		a^a (= *A*)	a^b (= *D*)	c^c (= *C*)	
Sg.	m.	*vĕ̑rьnъ*	*grĕšьnъ*	*mîrьnъ*	*dȕlžьnъ*
	f.	*vĕ̑rьna*	*grĕšьna*	*mirьnà*	*dъlžьnà*
	n.	*vĕ̑rьno*	*grĕšьno*	*mîrьno*	*dȕlžьno*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 72–94], балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 131–134].

3. суффикс *-iṣk-o-*

Формы производных		А.п. производящих			
		Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. adj. *-išk-a-*					
Sg.	m.	*vĩriškas*	*dvàsiškas*	*sū̃niškas*	*diẽviškas*
	f.	*vĩriškâ*	*dvàsiškâ*	*sûniškã*	*dieviškã*
Pl.	m.	*vĩriškiê*	*dvàsiškiê*	*sûniškíe*	*dieviškíe*
	f.	*vĩriškās*	*dvàsiškās*	*sū̃niškās*	*diẽviškās*
Слав. adj. *-ьsk-o-*					
Формы		a^a (= *A*)	a^b (= *D*)	c^c (= *C*)	
Sg.	m.	*brā̃tьskъ*	*ženьskъ*	*źvĕ̑rьskъ*	*mǫ̑žьskъ*
	f.	*brā̃tьska*	*žènьska*	*źvĕrьskà*	*mǫžьskà*
	n.	*brā̃tьsko*	*žènьsko*	*źvĕ̑rьsko*	*mǫ̑žьsko*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 62–72], балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 119–131].

B. *С долгими акутированными гласными*

4. Балт. *-iĩng-a-*

Вид производящей основы		Формы производных	А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	одно-сложные	m.	*kū̃niĩngas*	*gàliĩngas*	*náudiĩngas*	*žàliĩngas*
		f.	*kū̃niĩngã*	*gàliĩngã*	*naûdiĩngã*	*žaliĩngã*
	дву-сложные	m.	———	*àkmeniĩngas*	———	*ìšmintiĩngas*
		f.	———	*àkmeniĩngã*	———	*išmintiĩngã*

Латышский суффикс *-îg-* соответствует по своим просодическим характеристикам литовскому суффиксу, а производные с ним в деталях согласуются с реконструированными литовскими.

1. От имен с плавной интонацией: лтш. *piẽnîgi luõpi* 'milchreiche Kühe' (Gr. 271–272); *pũcîgs* 'böse wie eine Eule' (Gr. 272); *vaĩnîgs* 'schuldig' (Gr. 272); *tĩrîgs* 'reinlich' (Gr. 273); *piĩnîgs* 'füllig (von körperlicher Fülle); vollständig, vollkommen' [Mühl.–Endz. III: 215] и мн. др.

2. От имен с прерывистой интонацией: лтш. *zâlîga pl'ava* 'grasige (grasreiche) Wiese' (Gr. 271); *naîdîgs* 'feindselig' (Gr. 272); *sirdîgs* 'zornig, heftig, eifrig' (Gr. 272); *priêcîgs* 'freudig' (Gr. 272); *darbîgs* 'arbeitsam' (Gr. 272); *pêdîgs* 'der letzte' (Gr. 273); *saĩdîgs* 'süsslich' [Mühl.–Endz. III: 669] и мн. др.

Очевидно, что латышское отражение совершенно точно соответствует реконструированному состоянию[9]. И конечно, оно не требует объяснений посредством оттяжки иктуса; это хорошо видно, как только мы расставим соответствующие маркировки [(+) ставится под доминантной морфемой, т. е. с плавной интонацией, (–) поставлен под рецессивной морфемой, т. е. с прерывистой интонацией]: *piĩnîgs*, но *saĩdîgs*.

В славянских языках обращает на себя внимание суффикс *-ęn-* (видимо, *-ę̆n-*), который занимает близкие позиции в системе словообразования и просодически тождествен балтийскому *-îng-a-*. Сложность его сегментного состава достаточно убедительно соотносится со сложностью его просодической характеристики.

Слав. adj. ***-ęn-o-***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (**1-я**)		Подвижная (**2-я**)	
После действия закона Иллич-Свитыча	Акц. тип		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
			a^a (= *A*)	a^b (= *E*)	c^c (= *C*)	
	Sg.	m.	*mĕdęnъ*	*stьklę̆nъ*	*pŏrstęnъ*	*lĕdęnъ*
		f.	*mĕdęna*	*stьklę̆na*	*pьrstęnà*	*ledęnà*
		n.	*mĕdęno*	*stьklę̆no*	*pŏrstęno*	*lĕdęno*

Примечание. Материалы по реконструкции славянской системы выбора акц. типов у прилагательных с суфф. *-ęn-* см. в [Дыбо 1981b: 127–140], балтийская реконструкция и материалы акцентной системы прилагательных с суфф. *-iĩng-* в [Дыбо 2006b: 137–142].

[9] О моем отношении к предлагаемому Эндзелином объяснению возникновения различия между прерывистой и плавной латышскими интонациями см. [Дыбо 2005b: 207–210].

II. Суффиксы II класса

А. *С краткими гласными*

1. суффикс *-ot-â-*

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. subst. *-at-ā*						
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*svéikatâ*		*gîvàtâ*	
		gen.	*svéikatās*		*gîvàtās*	
		acc.	*svéikatą̄*		*gîvàtą̄*	
		instr.	*svéikatą̂*		*gîvàtą̂*	
Слав. subst. *-ot-a*						
После действия закона Иллич-Свитыча	Акц. тип		a^a (= *A*)	a^b (= *D*)	c^c (= *C*)	
	Sg.	nom.	*níščeta*	*dobròta*	*lěpotà*	*prostotà*
		acc.	*níščetǫ*	*dobròtǫ*	*lěpotǫ̀*	*prostotǫ̀*
		instr.	*níščetojǫ*	*dobròtojǫ*	*lěpotòjǫ*	*prostotòjǫ*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 122–125], балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 204–208].

2. суффикс *-tuu̯-o-/-tuu̯-â-*

Балт. *-tuvas* и *-tuvė*

I. От глаголов балто-славянского неподвижного акцентного типа:

1. *dùmtuvė* 'мех' (лит. *dùmti* 'дуть') ~ слав. **dъmǫ̀*, **dъmetь*; *l*-part. *dǫ̑lъ*, f. *dǫ̑la*, n. *dǫ̑lo* (а.п. *b/a*) 'дуть' ‖ см. [Дыбо 2000a: 263, 503, 510].

2. *káltuvė* «ковальня» (Šakýna, Žagarės raj.) (лит. *kálti* 'ковать') ~ лтш. *kaĩt* 'schmieden, schlagen'; слав. **koljǫ̀*, **kòljetь*; inf. **kȍlti*, sup. **kȍltъ*; aor. 1.sg. **kȍlxъ* (то же ударение в pl.), 2–3.sg. **kȍl*; *l*-part. **kȍllъ*, f. **kȍlla*, n. **kȍllo* 'колоть' ‖ см. [Дыбо 2000a: 265, 488, 491, 503].

3. *kártuvės* pl., gen. *kártuvių* (1) BŽ54$_1$ 'виселица' (лит. *kárti* 'вешать') ~ лтш. *kãrt* 'hängen, behängen'.

4. *kùltuvas* BŽ606$_2$ 'цеп' (лит. *kùlti* 'молотить') ~ лтш. *kuĩt* 'schlagen, prügeln, dreschen'.

5. *kùrtuvės* 'новоселье' (лит. *kùrti* 'разжигать огонь') ~ лтш. *kuŕt* 'Feuer anmachen, heizen'.

6. *máltuvė* «молольня» (Šakýna, Žagarės raj.) (лит. *málti* 'молоть') ~ лтш. *maĩt* 'mahlen, drehen, schwatzen'; слав. **meljǫ̀*, **mèljetь*; inf. **mȅlti*, sup. **mȅltъ*; aor. 1.sg. **mȅlxъ* (то же ударение в pl.), 2–3.sg. **mȅl*; *l*-part. **mȅllъ*, f. **mȅlla*, n. **mȅllo* 'молоть' ‖ см. [Дыбо 2000a: 265, 488, 491, 503].

7. *mìntuvai* 'мяло, льномялка, трепало' (лит. *mìnti* 'мять') ~ лтш. *mĩt* 'treten'; слав. **mьnǫ̀*, **mьnetь*; *l*-part. **mę̑lъ*, f. **mę̑la*, n. **mę̑lo* || см. [Дыбо 2000a: 263, 503].

8. *pjáutuvas* 'серп' (уже в древнелитовском зафиксирован переход в подвижный акцентный тип: др.-лит. *piéutuwu* instr.sg. DP 605_{46}, *piautuwų* gen.pl. DP 38_{44}) (лит. *pjáuti* 'жать, косить') ~ лтш. *pļaũt* 'резать, жать', 'mähen, ernten'.

9. *rietuvė* [SkŽD] 'штабель, поленица' (лит. *rieti* 'складывать в штабели') ~ лит. *rieklas* (1) 'zwei hängende Stangen bzw. Gerüst unter der Stubendecke (beim Ofen) zum Trocknen des Brennholzes oder der Kleider', также *rieklas* и pl. *rieklai* 'Dachboden' (отсутствие метатонии свидетельствует о первичности неподвижного акцентного типа производящего глагола).

10. *sėtuvė* 'лукошко (с зерном), посевной ящик' (лит. *sėti* 'сеять') ~ лтш. *sēt* 'säen, besäen'; слав. **sę̑jǫ*, **sę̑jetь*; part. praes. act. **sę̑ję*, **sę̑jǫtj-*; aor. 1.sg. **sę̑jasъ* (то же ударение в pl.), 2–3.sg. **sę̑ja*; *l*-part. **sę̑jalъ*, f. **sę̑jala*, n. **sę̑jalo* || см. [Дыбо 2000a: 289–290, 486–487, 498; 512].

11. *skìltuvas* 'огниво; ударник' (лит. *skìlti* 'высекать') ~ лтш. *šķilĩt* 'Feuer anschlagen'.

12. *šiáutuvas* 'винтовка, ружье; ткацкий челнок' (лит. *šáuti* 'стрелять') ~ лтш. *šaũt* 'eine heftige Bewegung nach einer Richtung hin machen; schnell schieben oder stoßen'; слав. **sůjǫ*, **sůjetь*; inf. **sovȃti*, sup. **sovȃtъ*; *l*-part. **sovȃlъ*, f. **sovȃla*, n. **sovȃlo*; part. praet. act. f. **sovȃvъši* || см. [Дыбо 2000a: 289, 489, 512, 517].

13. *trìntuvai* в выражении *mìntuvai-trìntuvai* 'móterų darbas' [Būga RR III: 67] (лит. *trìnti* 'тереть') ~ лтш. *trĩt* 'reiben, schleifen, schärfen'; ср. слав. **tьr(j)ǫ̀*, **tьr(j)etь*; inf. **tȗrti*, sup. **tȗrtъ*; aor. 1.sg. **tȗrxъ* (то же ударение в pl.), 2–3.sg. **tȗr*; *l*-part. **tȗrlъ*, f. **tȗrla*, n. **tȗrlo*; part. praet. act. nom.sg. m. **tьrъ*, f. **tьrъši* || см. [Дыбо 2000a: 263, 488, 491, 503, 514].

II. От глаголов балто-славянского подвижного акцентного типа:

1. *artùvas* 'darbininkas arklys' [SkŽD: 383] (лит. *árti* 'пахать') ~ лтш. *arît* 'pflügen'; слав. **ȍr(j)ǫ*, **or(j)ètь*; inf. **orȃti*, sup. **ȍratь*; aor. 1.sg. **orȃxъ* (то же ударение в pl.), 2–3.sg. **ȍra*; *l*-part. **ȍralъ*, f. **oralà*, n. **ȍralo* || см. [Дыбо 2000a: 274–275, 488, 494, 507].

2. *bliautùvė* 'kas vis bliauja, rėkia', 'сквернослов, похабник' (лит. *bliáuti* 'блеять, реветь') ~ лтш. *bļaût* 'blöken, schreien'; слав. **bljûjǫ*, **bljujètь* || см. [Дыбо 2000a: 293].

3. *dėtùvai* 'укладчик; кладовая; хранилище' (лит. *dėti* 'класть, ставить; помещать') ~ лтш. *dêt* '(Eier) legen'; слав. **dę̑jǫ*, **dę̑jètь*; *l*-part. **dę̑jalъ*, f. **dę̑jalà*, n.**dę̑jalo* || см. [Дыбо 2000a: 296–298, 512].

4. *nu-duotùvės* 'обет, брак' (др.-лит. *nudůtúwiu* 'šlub' gen.pl. DP 281_{31}) (лит. *dúoti* 'давать') ~ лтш. *duôt* 'geben'; слав. **dâjǫ*, **dajètь*; *l*-part. **dâjalъ*,

f. *dajalà, n. *dâjalo и *dâlъ, f. *dalà, n. *dâlo; part. praet. act. nom.sg. m. *dâvъ, nom.pl. *davъšė, nom.sg.f. *davъši и *dajavъši || см. [Дыбо 2000a: 299–300, 512, 513, 516, 517].

5. *pra-gertùvės* J[5]9, *už-gertùvės* Šl. 'zapicie, wypicie (po załatwieniu jakiejś sprawy; za czyjeś zdrowie)' (лит. *gérti* 'пить') ~ лтш. *dzeŕt* 'trinken, saufen, zechen'; слав. *žъrǫ, *žьrètь и *žěrǫ, *žerètь; aor. 1.sg. *žeřxъ, *prožeřxъ (1.pl. *žerxòmъ, *prožerxòmъ, 2.pl. *žerstė, *prožerstė, 3.pl. *žeršę, *prožeršę), 2–3.sg. *žêrtъ, *prȍžertъ и 1.sg. *žьrȃxъ (то же ударение в pl.), 2–3.sg. *žъra; *l*-part. *žъrlъ, f. *žьrlà, n. *žъrlo и *žъralъ, f. *žьralà, n. *žъralo || см. [Дыбо 2000a: 266, 273, 490, 493, 501, 506].

6. *keltùvės* 'обряд поднимания молодых с постели в первое утро после свадьбы' (лит. *kélti* 'поднимать')[10] ~ лтш. *celît* 'heben'.

7. *klotùvas* (2) tech. 'укладчик' (Lyb.), *pa-klotùvė* [SkŽD: 385] 'простыня', 'paklodė' ~ лтш. *klât* 'hinbreiten, decken'.

8. *lietùvai* 'форма, в которой отливают свечи, фигуры' (лит. *líeti* 'лить') ~ лтш. *liêt* 'gießen, vergießen'; слав. *lîjǫ, *lijètь и *lějǫ, *lějètь; inf. *lȋti, sup. *lîtъ и inf. *lьjȃti, sup. *ľьjatъ; aor. 1.sg. *lȋxъ (то же ударение в pl.), 2–3.sg. *lîtъ и aor. 1.sg. *lьjȃxъ (то же ударение в pl.), 2–3.sg. *ľьja; *l*-part. *lîlъ, f. *lilà, n. *lîlo и *ľьjalъ, f. *lьjalà, n. *ľьjalo; part. praet. act. nom.sg. f. *livъši || см. [Дыбо 2000a: 282, 294, 489, 495, 498, 508, 512, 517].

9. *pintùvės* Šl. (2): *pintùvių vãkaras* — 'wieczór przed ślubem, na którym dla młodej wiją wianek' (лит. *pìnti* 'плести, вить; сплетать') ~ лтш. *pît* 'flechten'; слав. *pъ̀nǫ, *pьnètь; aor. 1.sg. *pę̑xъ (1.pl. *pęxòmъ, 2.pl. *pęstė, 3.pl. *pęšę), 2–3.sg. *pę̑tъ; *l*-part. *pę̑lъ, f. *pęlà, n. *pę̑lo; part. praet. pass. *pę̑tъ, f. *pętà || см. [Дыбо 2000a: 267, 491, 502, 525].

10. *tintùvas* (2) 'прибор для отбивки кос'[11] (лит. *tìnti* 'отбивать, направлять, точить (косу)') ~ слав. inf. *tętі, praes. 1.sg. *tъ̀nǫ, 3.sg. *tьnètь (а.п. *c*; см. [Дыбо 2000a: 267] и [Дыбо 1981b: 235]).

---

[10] Но также *kéltuvių rýts* Šakýna, Žagãrės raj., *kéltuvės* и *keltùvės* Tvẽrai, Rietãvo raj.; *kéltuvas* (l) DLKŽ, LRKŽ, *kéltuvas* (3[[a]]) Šl., *kéltuvas* SkŽD, *kéltuva* (l) J, DLKŽ, LRKŽ, *keltuvà* [3[a]] SkŽD, *keltuvẽ* (3[a]) DLKŽ, KLD, [Otr.Twer. 148]. Столь широкая фиксация накоренного неподвижного акц. типа и его рефлексов свидетельствует, по мнению С. Л. Николаева, о переходе этого корня в лит. языке в доминантный тип, об этом же свидетельствует и отсутствие метатонии в словах *kéltas* (l), *kélta* (l) 'паро́м'.

[11] Зафиксировано также *tìntuvas* (l) и *tìntuvai* pl. 'прибор для отбивки кос', что̀ указывает на первично неподвижный акцентный тип литовского глагола; но в латышском соответствие отсутствует, в славянском глаголе реконструируется а.п. *c* на основании словенской и ст.-хорватской акцентовки презенса, поддержанной ст.-словацкими и ст.-хорватскими данными по акцентовке инфинитивной основы, см. [Дыбо 2000a: 267] и [Дыбо 1981b: 235]; однако словен. *za-*

11. *virtùvas* Šl. (2) 'rondel; samowar' (лит. *vìrti* 'кипеть, вариться; кипятить, варить') ~ лтш. *vîrt* intr. 'kochen, sieden', tr. 'kochen'.

12. *vytùvai* 'мотовило, моталка' (лит. *výti* 'вить, свивать') ~ лтш. *vît* 'winden, flechten'; слав. **vîjǫ*, **vijètь*; inf. **vĭti*, sup. **vîtъ*; aor. 1.sg. **vĭxъ* (то же ударение в pl.), 2–3.sg. **vîtъ*; *l*-part. **vîlъ*, f. **vilà*, n. **vîlo*; part. praet. act. nom. m. **vîvъ*, f. **vivъši* ‖ см. [Дыбо 2000a: 283, 489, 495, 508, 515].

Слав. subst. ***-tъv-â-***

I. От глаголов неподвижного акцентного типа:

1. слав. **bĭtъvâ*, acc.sg. **bĭtъvǫ̑* [схрв. *bȉtva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Би́тва** Гр. 29, 49, 52; словен. *bîtva*; чешск. *bitva*] ~ слав. **bĭti*, praes. 1.sg. **bĭjǫ*, 3.sg. **bĭjetь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 276].

2. слав. **brĭtъvâ*, acc.sg. **brĭtъvǫ̑* [схрв. *brȉtva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Бри́тва** Гр. 21, 29; словен. *brîtva*, чешск. *břitva*] ~ слав. **brĭti*, praes. 1.sg. **brĭjǫ*, 3.sg. **brĭjetь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 276–277].

3. слав. **žŕtъvâ*, acc.sg. **žŕtъvǫ̑* [схрв. *žȑtva*, словен. *žȓtva*] ~ лтш. *dzirt* (*-tiês*) [praes. *dziru*, praet. *dzīru*] ‖ см. [Дыбо 2000a: 330].

4. слав. **žę̑tъvâ*, acc.sg. **žę̑tъvǫ̑* [схрв. *žȅtva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Же́тва** Гр. 29, 49, 52; словен. *žę̑tva*, чешск. *žatva*] ~ слав. **žę̑ti*, praes. 1.sg. **žьnǫ̑*, 3.sg. **žьnetь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 263].

5. слав. **sę̑tъvâ*, acc.sg. **sę̑tъvǫ̑* [схрв. *sjȅtva*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Си́тва** Гр. 29, 49, 52; словен. *sę̑tva*] ~ лтш. *sēt* 'säen, besäen'; слав. **sę̑jǫ*, **sę̑jetь*; part. praes. act. **sę̑ję*, **sę̑jǫtj-*; aor. 1.sg. **sę̑jasъ* (то же ударение в pl.), 2–3.sg. **sę̑ja*; *l*-part. **sę̑jalъ*, f. **sę̑jala*, n. **sę̑jalo* ‖ см. [Дыбо 2000a: 280–281, 289–290, 486–487, 498; 512].

6. слав. **lę̑ztъvâ*, acc.sg. **lę̑ztъvǫ̑* [схрв. *ljȅstva*; словен. *lę̑stva*] ~ слав. **lę̑zti*, praes. 1.sg. **lę̑zǫ*, 3.sg. **lę̑zetь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 349–350].

II. От глаголов подвижного акцентного типа:

1. слав. **klętъvā́*, acc.sg. **klętъvǫ̑* > **klę̑tъvǫ̑* [схрв. *klêtva*, схрв. диал. посавск. *klẽtva* (зафиксировано М. Каповичем 1.09.2007), ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Клѣ́тва** Гр. 29, 49, 52; польск. *klątwa*] ~ слав. praes. 1.sg. **klъnǫ*, 3.sg. **klьnètь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 268].

2. слав. **pastъvā́*, acc.sg. **pastъvǫ̑* > **pȧ̃stъvǫ̑* [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Паства̀** Гр. 29; польск. диал. **påstwa* (по [Kucała: 253]: *ńe påcf͡ʲiu̯byi̯ śe*)] ~ слав. **pȧ́sti*, praes. 1.sg. **pâsǫ*, 3.sg. **pasètь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 355].

3. слав. **plytъvā́*, acc.sg. **plytъvǫ̑* > **plỹtъvǫ̑* [ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) **Плꙋ̃тва** Гр. 29, **Плꙋ̃тва** Гр. 52; ст.-чешск. *plýtva* и совр. чешск.

---

tèt ([SSKJ V: 791]: = *zatȅt*), супин от *zatę́ti* 'hineinhauen; überraschen, ereilen' может оказаться реликтом первичного неподвижного акцентного типа.

ploutev] ~ слав. **plòvǫ*, **plovètь* и **plỳnǫ*, **plynètь* (а.п. *c*) ‖ см. [Дыбо 2000a: 286, 318–319, 329].

4. слав. **pręstъvā́*, acc.sg. **pręstъvǭ* > **prę̄stъvǭ* [чешск. *přástva*] ~ слав. **prę̄sti*, praes. 1.sg. **prę̄dǫ*, 3.sg. **prędètь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 354].

5. слав. **žьratъvā́*, acc.sg. **žьratъvǭ* > **žьrā̃tъvǭ* [русск. *жратвá*] ~ слав. praes. 1.sg. **žěrǫ*, 3.sg. **žerètь* ‖ см. [Дыбо 2000a: 273].

6. слав. **vьrstъvā́*, acc.sg. **vьrstъvǭ* > **vьr̃stъvǭ* [польск. диал. *vâštfa* F., *vâštef*, *vâštfe* S. [Kucała: 112]] ~ слав. **vьrtěti*, praes. 1.sg. **vьrtiǫ*, 3.sg. **vьrtĩtь*.

B. *С долгими акутированными гласными*

3. Балто-славянский суффикс ***-ôt-o-/-ôt-ā-***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Балт. adj. ***-uot-a-/-uot-ā-***						
До действия закона де Соссюра	Sg.	m.	*míltuôtas*	*dum̃bluôtas*	*taûkúotas*	*kraujúotas*
		f.	*míltuôtâ*	*dum̃bluôtâ*	*taûkúotâ*	*kraujúotâ*
	Pl.	m.	*míltuôtiê*	*dum̃bluôtiê*	*taûkúotiê*	*kraujúotiê*
		f.	*míltuôtās*	*dum̃bluôtās*	*taûkúotās*	*kraujúotās*
Слав. adj. ***-ât-o-/-ât-a-***						
После действия закона Иллич-Свитыча	Формы		a^a (= *A*)	a^b (= F_1)	a^c (= F_2)	
	Sg.	m.	*vȕlnatъ*	*ženā́tъ*	*golvā́tъ*	*mǫžā́tъ*
		f.	*vȕlnata*	*ženā́ta*	*golvā́ta*	*mǫžā́ta*
		n.	*vȕlnato*	*ženā́to*	*golvā́to*	*mǫžā́to*

Примечание. Материалы по славянской реконструкции см. [Дыбо 1981b: 174], балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 227–228]. Основные параметры балтийской акцентной системы производных с этим суффиксом были установлены уже Ф. де Соссюром (см. [Соссюр: 625]).

Можно привести также пример с двусложным доминантным суффиксом.

4. Балто-славянский суффикс ***-inīk-o-***

Балт. subst. ***-inīk-a-***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*áuksinīkas*	*viẽtinīkas*	*daȓbinĩkas*	*daržinĩkas*
		gen.	*áuksinīkā*	*viẽtinīkā*	*daȓbinĩkā*	*daržinĩkā*
		acc.	*áuksinīką*	*viẽtinīką*	*daȓbinĩką*	*daržinĩką*
		instr.	*áuksinīkuô*	*viẽtinīkuô*	*daȓbinĩkuô*	*daržinĩkuô*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 214–218].

Я не привожу здесь славянскую систему парадигматического выбора, она, как известно, тождественна балтийской (см. [Дыбо 1981b: 187; Дыбо 2000a: 147–149]). Должен только здесь напомнить, что в том случае, когда с этим суффиксом появляется вариант женского рода, *-ī-* получает акутовую интонацию. Так как в обоих случаях мы имеем дело, по-видимому, с долгим монофтонгом, приходится принять, что акут здесь первичен, а циркумфлекс — результат метатонии, что́ вызывает предположение, что акут в этом суффиксе первично рецессивный (об этом см. ниже).

ВТОРИЧНАЯ ДОМИНАНТНОСТЬ И МЕТАТОНИЯ В СУФФИКСАХ

I. *Структура вторичных суффиксов.*

Рассматривая структуру вторичных суффиксов, мы видим, что их можно представить как последовательность минимум из двух частей: ***-oko-*** = *-o-* + *-ko-*; ***-āko-*** = *-ā-* + *-ko-*; ***-iko-*** = *-i-* + *-ko-*; ***-uko-*** = *-u-* + *-ko-*; ***-īko-*** = *-ī-* + *-ko-*; ***-īkā-*** = *-ī-* + *-kā-*; ***-ovo-*** = *-o-* + *-vo-*; ***-āvo-*** = *-ā-* + *-vo-*; ***-īvo-*** = *-ī-* + *-vo-*; ***-ito-*** = *-i-* + *-to-*; ***-īto-*** = *-ī-* + *-to-*; ***-oto-*** = *-o-* + *-to-*; ***-ōto-*** = *-ō-* + *-to-*; ***-āto-*** = *-ā-* + *-to-*; ***-ijo-*** = *-i-* + *-jo-*; ***-ijā-*** = *-i-* + *-jā-*; ***-ājo-*** = *-ā-* + *-jo-*; и под.

II. *Морфонологические характеристики составляющих и просодическое поведение вторичных суффиксов.*

Первая часть — либо тематический гласный *-o-*, извлеченный из тематических основ, либо иной основообразующий формант, сросшийся с первичным суффиксом (*-i-*, *-u-*, *-ā-*, *-ī-*, *-ū-*), а вторая — первичный суффикс. Тематический гласный (в норме) и другие основообразующие форманты при самостоятельном функционировании являются рецессивными морфемами, т. е. (–)-морфемами, что́ непреложно вытекает из наличия у всех этих видов основ подвижного акцентного типа. Естественно предположить, что доминантность такого рода суффиксов обусловлена доминантностью их второй части. Иначе говоря, доминантная вторая часть суффикса изменяет морфонологический статус первой его части, делая ее (вторично) доминантной так же, как первичный доминантный суффикс изменяет морфонологический статус первично рецессивного корня, делая его (вторично) доминантным.

Если первая часть вторичного суффикса представляет собой изначальный долгий монофтонг и должна быть согласно правилу де Соссюра акутированной, в ней происходит метатония, и акут заменяется на циркумфлекс.

III. *Примеры метатонии в суффиксах.*

Проще всего, по-видимому, начать с примеров словообразовательного типа с вторичным суффиксом *-ykla-s*, вторая часть которого нам уже встречалась в примерах с метатонией: *gýdyklas* 'лекарство' (от *gýdyti* 'лечить'), *výstyklas* (3 < *1) 'пеленка' (от *výstyti* 'пеленать, свивать'), но *kabỹ-*

klas (2) 'вешалка' (от **kabýti* > *kabìnti* 'вешать'), *kibỹklas* (2) 'крюк, зацеп' (от *kibýti* 'вешать, зацеплять'), *kratỹklas* (2) 'labai slidus šypelis pakuloms kratyti' (от *kratýti* 'трясти'). Суффикс *-ykla-s*, очевидно, состоит из доминантного первичного суффикса *-kla-s* и основообразующего форманта каузативных глаголов *-y-* (< *-ī-*), морфонологическим статусом которого, как показывают славянские данные, была рецессивность (ср. наличие в каузативах а.п. *c* и тип ее акцентной кривой: inf. **gubíti* ~ sup. **gûbitъ*; *l*-part. **gûbilъ*, **gubilà*, **gûbilo*; pl. **gûbili* и т. д.). По двум первым примерам производных видно, что суффикс *-ykla-s* не наводит метатонию на корень, однако сама первая часть его (*-y-*), что́ обнаруживается при рассмотрении последних трех примеров, подвергается метатонии и получает морфонологический статус доминантности. Подвижность акцента у второго производного, очевидно, вторична (а.п. первого слова неизвестна), ср. подобное же вторичное развитие подвижности у производных с суффиксом *-tuva-s* и под. Возникает вопрос, почему не подвергся метатонии акут в *salýklas* (1) 'солод' (по-видимому, от не сохранившегося **salýti*, итератива от *sálti* 'делаться сладким, солодеть'). Но если *-y-* в данном производном извлечено из основы итеративного глагола, а не каузатива, мы имеем дело с закономерным отсутствием метатонии, так как в итеративах, по свидетельству славянского, основообразующий формант *-ī-* сам обладал статусом доминантности, а доминантные акутированные морфемы, как мы видели, метатонии не подвергались.

IV. *Морфонологическое представление просодического поведения вторичных суффиксов.*

Такое различие в морфонологическом поведении вторичных и первичных суффиксов, а равно и составляющих вторичных суффиксов, по-видимому, свидетельствует о сложном характере статуса доминантности.

Можно отразить установленные нами различия в типе доминантности соответствующей маркировкой. Для обозначения первичной доминантности корней, первичных суффиксов и соответствующих частей вторичных суффиксов оставим знак (+), для обозначения вторичной доминантности корней и соответствующих частей вторичных суффиксов введем знак (∓). В этом случае суффикс *-ykla-s* должен получить следующую маркировку: *-y̲-kl̲a̲-s*. Различие между соответствующими адъективными и субстантивными суффиксами выразятся так: 1. adj. *-ā̲-ko̲-s* ~ subst. *-ā̲-ko̲-s*; 2. adj. *-u̲-ko̲-s* ~ subst. *-u̲-ko̲-s*; 3. adj. *-ā̲-vo̲-s* ~ subst. *-ā̲-vo̲-s*; 4. adj. *-ī̲-ko̲-s* ~ subst. *-ī̲-ko̲-s* (ср. здесь же, по-видимому, первичное противопоставление subst. f. и m.: subst.f. *-ī̲-kā̲-* ~ subst. m. *-ī̲-ko̲-s*; первоначальная рецессивность суффикса subst. f. отражается лишь в отсутствии метатонии, в остальном суффикс был преобразован, вероятно, в результате действия

закона Хирта). Приведем еще некоторые характерные морфонологические представления вторичных суффиксов: 1. adj. *-in-o-s* ~ adj. *-in--io-s*; 2. adj. *-isk-o-s* ~ adj. *-isk-io-s*; 3. subst. *-īb-ā-* ~ subst. *-īb-iā-*; 4. subst. *-ĕn-ī-ko-s*, *-ov-ī-ko-s* и под. Уже из этого перечня видны некоторые особенности внутренней структуры вторичных суффиксов: во-первых, вторично доминантные составляющие не наводят вторичную доминантность и, следовательно, метатонию на предшествующие им части суффиксов, т. е. ведут себя так же, как вторично доминантный суффикс в целом по отношению к корневой морфеме; во-вторых, бросается в глаза некоторая произвольность членения, связанная с наличием «чередующихся» пар и их структурой: если у нас представлены пары с рецессивными адъективными суффиксами, в которых первичный *-k-* осложнен сросшимися с ним явно рецессивными основообразующими формантами, и с соответствующими доминантными субстантивными суффиксами, мы предпочитаем вычленять первично рецессивный основообразующий формант, а различие статусов парных суффиксов сводить к различию статусов первичных суффиксов adj. *-ko-* и subst. *-ko-*, следуя за аналогичным рассмотрением первичных суффиксов adj. *-to-* и subst. *-to-*, в тех же случаях, когда в наших парах наведение вторичной доминантности осуществляется заменой тематического гласного или другого основообразующего форманта каким-либо иным формантом, мы выделяем в качестве носителя акцентуационной валентности этот тематический гласный. В действительности, по-видимому, в большинстве случаев носителем акцентуационной валентности был тематический гласный, форманты *-k-*, соответственно *-t-*, субстантивов и адъективов генетически тождественны, и следует, по-видимому, предполагать для индоевропейского существование двух тематических гласных, различавшихся какими-то просодическими качествами, которые отобразились в балто-славянском в виде двух различных морфонологических статусов (акцентуационных валентностей).

V. *Дистрибуционные характеристики процесса* (–) ⇒ (∓):

1) он происходит на любом слоговом отрезке, маркированном знаком (–), количество или качество этого слога, по-видимому, какой-либо существенной роли не играет;

2) он происходит в непосредственной близости (смежности) к следующему за ним звуковому отрезку, в надежно установленных случаях слоговому, маркированному знаком (+), каких-либо ограничений процесса количеством или качеством данного слогового отрезка не обнаружено;

3) на краткостных и циркумфлектированных слогах фонетически данный процесс никак не проявляется, в первоначально акутированных слогах он переводит акутовую интонацию в циркумфлекс (´ ⇒ ˜).

VI. *Интерпретация.*

Такие дистрибуционные особенности этого процесса указывают на ассимиляционный его характер, т. е. мы имеем скорее всего дело с результатом тоновой ассимиляции. Можно попытаться более точно определить фонетический характер как самого этого процесса, так и элементов, участвующих в нем:

1) Очевидно, что мы имеем дело лишь с частичной ассимиляцией, т. е. (∓) не равняется (+), так как в слоге с маркировкой (∓) ´ ⇒ ˜, тогда как в слогах с маркировкой (+) акут не изменяется.

2) Можно думать, что характер самого процесса ´ ⇒ ˜ как-то связан с фонетическим характером элементов, принимавших в нем участие, т. е. (–) и (+); при частичных просодических ассимиляциях обычно просодическая характеристика первой части слога (первой моры) сохраняет близость к первоначальной просодической характеристике данного слога, тогда как просодическая характеристика второй части слога (второй моры) уподобляется просодической характеристике слога, который стимулирует ассимиляцию, т. е. слога, смежного с тем, в котором произошла (в данном случае) метатония.

3) Циркумфлекс в литовском представляет собой восходящую интонацию, и нет серьезных оснований считать, что он был качественно иным в балто-славянском.

Примечание. Предположение о качественном изменении балто-славянского циркумфлекса в литовском основывалось на убежденности в генетическом тождестве славянского и литовского циркумфлексов. Поскольку это тождество отклонено, и доказано, что литовскому циркумфлексу в славянском соответствует восходящая интонация типа нового акута, это предположение отпадает.

Всё это дает основание полагать, что просодические характеристики, принимавшие участие в рассматриваемом процессе, были, скорее всего, регистровыми тонами: маркировке (–) соответствовал низкий тон, маркировке (+) — высокий тон. В этом случае при регрессивной частичной ассимиляции в порядке (– +) на первом слоге должен был возникнуть восходящий тон: |_|¯| ⇒ |_¯|¯| ⇒ |/ |¯|. Этот ассимиляционный восходящий тон как бы взломал возникающий по правилам де Соссюра и Бещенбергера акут и создал на этом (первом) слоге интонацию, достаточно близкую фонетически к балто-славянскому циркумфлексу, в дальнейшем совпавшую с ним. Интерпретация акцентуационных валентностей (–) и (+) как отображений праязыковых низкого и высокого регистровых тонов хорошо поддерживается типологическими сопоставлениями (ср. контурные правила, тождественные балто-славянским, в сахарских языках (группа теда-канури).

Чередование акцентных валентностей и метатония в суффиксах

А. Краткосложные рецессивные суффиксы ⇒ краткосложные доминантные суффиксы.

1. суффикс ***-in-o-*** ⇒ суффикс ***-in-io-***

Балт. adj. ***-in-io-***

Формы производных		А.п. производящих			
		Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Sg.	m.	*dúminĩs*	*vìštinĩs*	*beŕžìnĩs*	*daržìnĩs*
	f.	*dúminẽ*	*vìštinẽ*	*beŕžìnẽ*	*daržìnẽ*
Pl.	m.	*dúminiai*	*vìštiniai*	*beŕžìniai*	*daržìniai*
	f.	*dúminẽs*	*vìštinẽs*	*beŕžìnẽs*	*daržìnẽs*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 176–179].

Эта иммобилизация образований с суффиксом *-ьn-* при его йотации характерна и для славянского, где в подобных образованиях не только не отмечается конечноударных членных форм, но и отмечены у Ю. Крижанича краткие формы типа *D* [= a^b] и типа *B* [= b^c]:

Тип *D*: **блѝжньи** (Гр. 59) ~ слав. **blĭzъ* > **blizь* (а.п. *b*).

Тип *B*: **срѝдньи** [т. е. **срѝдньѝ**] (Гр. 55) ~ слав. **serdā*, acc.sg. **sêrdǫ* (а.п. *c*).

По-видимому, полезно продемонстрировать подобное преобразование в балтийском и балт.-слав. суффикса прилагательных *-iṣk-o-*. При присоединении «темы» *-i̯o-* он приобретает доминантность и таким образом переходит во второй класс (этот вариант суффикса, возможно, существовал в праславянском, но, естественно, был потерян после радикальных фонетических процессов.

2. суффикс ***-iṣk-o-*** ⇒ суффикс ***-iṣk-i̯o-***

Балт. ***-išk-ia-***

Формы производных		А.п. производящих			
		Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
Sg.	m.	*vĩriškĩs*	*dvàriškĩs*	*beŕnìškĩs*	*galìškĩs*
	f.	*vĩriškẽ*	*dvàriškẽ*	*beŕnìškẽ*	*galìškẽ*
Pl.	m.	*vĩriškiai*	*dvàriškiai*	*beŕnìškiai*	*galìškiai*
	f.	*vĩriškẽs*	*dvàriškẽs*	*beŕnìškẽs*	*galìškẽs*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 175–176].

3. суффикс *-ит-â-* ⇒ суффикс *-ит-о-*

Балт. subst. *-ит-â-*

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До падения системы из 4-х а.п. у адъективов	Sg.	nom.	*brángumâ*	*àklumâ*	*nuôgumā́*	*gerumā́*
		gen.	*brángumās*	*àklumās*	*nuôgumā̃s*	*gerumā̃s*
		acc.	*brángumą̄*	*àklumą̄*	*núogumą̄*	*gèrumą̄*
		instr.	*brángumą̂*	*àklumą̂*	*núogumą̂*	*gèrumą̂*
После падения системы из 4-х а.п. у адъективов	Sg.	nom.	*brangumà*	*aklumà*	*nuogumà*	*gerumà*
		gen.	*brangumõs*	*aklumõs*	*nuogumõs*	*gerumõs*
		acc.	*brángumą*	*ãklumą*	*núogumą*	*gẽrumą*
		instr.	*brángumą*	*ãklumą*	*núogumą*	*gẽrumą*

В приводимых ниже списках опущены образования от приставочных основ и имена, словообразовательные связи которых не устанавливаются.

Существительные на -ита, образованные от основ неподвижного акцентного типа [1, 2 (> 3, 3^a, 3^{4a}; 4, 3^b, 3^{4b}) ⇒ 1]. Так как все прилагательные, от которых образовывались эти существительные, перешли в подвижный акцентный тип, имён, сохранивших старую акцентовку, немного. Они зафиксированы как диалектные варианты или в старых лексикографических источниках[12]:

1) *glū́duma* 1 NdŽ 'custodia, tutela noctis' (*glū́dus* 1 J 'полночь', *glū́da* J adv. 'прижавшись', а.п. по LKŽ, *glū́doti* 'лежать или стоять прижавшись', *glū́sti*, praes.3. *glū́sta*, praet.3. *glū́do* intr. 'rimti' LKŽ, но *glaũsti* 'сплачивать, смыкать'; лтш. *glaũst* Tr., Erwahlen, Dunika, Nigr., Wandsen, Salis, Bl(ied). и *glàust* AP., Jürg., Serbigal, C., PS., Trik. 'glätten, streicheln, liebkosen; schmiegen, anschmiegen')[13]; 2) *lýguma* 1 Slnt 'равнина' (*lýgus*, *-i* 3 < 1 'ровный, гладкий; равный', др.-лит. 1-я а.п.: nom.sg. m. *lîgus* DP 48_5 и др. 12×, *ligus* DP 447_{33}, 450_{38}; nom.sg. f. *Lîgi* DP 83_{28}, 286_{37}, *lîgi* DP 87_{25} и др. 6×; gen. sg. m. *lîgaus* DP $52l_{50}$; gen.sg. f. *lîgios* DP 80_{13}, 88_{37}, $26l_{39}$, $6l8_{19}$; dat.sg. m. *lîgiam'* DP 363_{12}, *lî=|giam'* DP 533_{44-45}; instr.sg. m. *lîgumi* DP 79_{21} и др. 4×; 170_{25}, $26l_{35}$, *ligumi* DP 40_{33}, 434_{13}, *lîgumi* DP 249_{35}, *ligumi* DP $26l_{34}$, 470_{40}; instr.sg. f. *lîgia* DP 169_{37}; gen.pl. m. *lîgiu* DP 233_{48}; acc.pl. m. *lîgius* DP 203_{18}, *lîgus* DP 69_{16}, 93_8, 597_{30}, *ligus* DP 96_6; acc.pl. f. *lîgies* DP 429_{40}, *lîges* DP 385_{41}; instr.pl. m. *lîgumis* DP $29l_{16}$, *ligumis* DP 25_{37}, $6ll_3$; instr.pl. f. *lîgiomis* DP 166_{35} ; лтш. *līdzs* adj., *līdzi*, *līg*, *līga* adv. 'gleich, eben', *līdzęns*, *līgans* 'eben, gleichmässig'); 3) *próguma* 1 'прогалина, поляна; промежуток' (*próga* 1 'случай, оказия', диал. *prógymė*, *prógmas* 'прогалина, поляна'); 4) *támsuma* 1 Dk;

---

[12] Приводимые ниже списки-имен, акцентовка которых связана с подвижным акцентным типом производящих, разделены на части по предполагаемой первичности или вторичности их акцентовки.

[13] Отмечено также сохранение архаической 1. а.п. в образовании на *-umas*: *glū́dumas* BŽ560, sub v. *тишь*, в сочетании *Ночная тишь*, *naktiẽs glū́dumas*.

H, H175, R, MŽ, N, L, J, Rtr, Š 'тёмное место' (диал. сев.-лит. и вост.-лит.[14], Šl. *támsus*, f. *támsi* 1 'ciemny; nieuczony', др.-лит. ***támsus, -i*** 1 'ciemny; zewnętrzny': gen.sg. m. *tóm*ˢ*ſaus* DP 33_{14-15}; gen.sg. f. *támſios* DP 556_{39}; instr.sg. f. *támſia* DP 88_{28}; dat.pl. m. *támſumus* DP 156_{49}; acc.pl. m. *támſſus* DP 15_{14}; при наличии форм 4-й а.п.: *tamſús* nom.sg. m. DP 556_{37}, 559_{45}, *tamſiąſęs* acc.pl. f. DP 33_2; ср. *témti* 'dunkel werden').

Существительные на ***-uma****, образованные от основ подвижного акцентного типа* [3 ⇒ 3^a, 3^a ⇒ 3^{4a}; 4 ⇒ 3^b].

От прилагательных 3-й а.п. [3 ⇒ 3^a, 3^a ⇒ 3^{4a}]:

1) *aukštumà* 3^a 'возвышенность; возвышение' (*áukštas* 3 'высокий'; лтш. *aûgsts* 'hoch, hochgestellt, vornehm'); 2) *drūtumà* 3^a 'утолщение, толща' (*drū́tas* 3 'толстый; крепкий, сильный'; лтш. *drûkts* «resns, stiprs, zaļuoksnis, plecîgs» U [Būga RR III: 206]); 3) *gūdumà* 3^a 'глушь; жуткое место; жуткое время' (*gūdùs* 4 и диал. 1 [LKŽ] 'жуткий', но лтш. *gaũst* 'jammern, klagen'); 4) *karštumà* 3^a 'горячее место; горячее время' (*kárštas* 3 'горячий'; лтш. *karsts* 'heiß, hitzig, schnell'); 5) *minkštumà* 3^a 'minkštoji dalis, minkštimas' (*mìnkštas* 3 'мягкий'; лтш. *mîksts* 'weich, schwach'); 6) *nuogumà* 3^a 'обнаженное место' (*núogas* 3 'голый, нагой, обнаженный'; лтш. *nuôgs* 'nackt, arm'); 7) *plynumà* 3^a 'гладкое [ровное] место' (*plýnas* 3 'гладкий, ровный'; ср. лтш. *pliēņi* 'platte Kalksteine, Kalkschiefer, Schiefersteine'); 8) *plonumà* 3^a 'тонкое место' (*plónas* 3 'тонкий'; лтш. *plâns* 'flach, eben, schwach'); 9) *plokštumà* 3^a 'плоскость' (*plókščias* 3, *plokštùs* 'плоский'); 10) *riebumà* 3^a 'жирное место' (*riebùs* 3 'жирный'; ср. лтш. *riêbt* 'ekeln, zuwider sein', *riêba* 'der Ekel', *raîba*, *raîbs* 'Ekel'); 11) *šaltumà* 3^a 'холодное место; холодное время' (*šáltas* 3 'холодный; студёный; морозный'; лтш. *salts* 'kalt, bloß, nackt'); 12) *tvirtumà* 3^a 'tvirtoji vieta' (*tvìrtas* 3 'крепкий, сильный; прочный, твёрдый; здоровый'; лтш. *tvirts* 'stark, fest, prall, drall'); 13) *vienumà* 3^a 'одиночество; уединение' (*víenas* 3 'один'; лтш. *viêns* 'allein'); 14) *žydrumà* 3^a 'голубое место' (*žýdras* 3 'голубой, лазурный'; ср. лтш. *ziêdêt* 'Blüten treiben, blühen; bunt sein, schimmeln', *ziêds* 'Blume, Blüte, Blütezeit').

От прилагательных 4-й а.п. [4 ⇒ 3^b]:

1) *ankštumà* 3^b 'тесное место, теснина' (*aĩnkštas* 4 'тесный, узкий»); 2) *aštrumà* 3^b 'острое место' (*aštrùs* 4 'острый, резкий'); 3) *daugumà* 3^b 'большинство' (*daugùs* 4 'многочисленный'); 4) *didumà* 3^b 'бóльшая часть, большинство' (*didùs* 4 'величественный'); 5) *didžiumà* 3^b 'бóльшая часть, большинство' (*didùs* 4 'величественный'); 6) *dykumà* 3^b 'пустыня' (*dỹkas* 4 'пустой, порожний'); 7) *dubumà* 3^b 'впадина' (*dubùs* 4 'глубокий, впалый'); 8) *erdvumà* 3^b 'просторное место; простор' (*erdvùs* 4 'обширный, просторный'); 9) *gailumà* 3^b 'kartumas, aštrumas' (*gailùs* 4 'едкий, терпкий'); 10) *gelsvumà* 3^b 'желтоватое место' (*gel̃svas* 4 'желтоватый'); 11) *gerumà* 3^b 'лучшая часть, лучшее место' (*gẽras* 4); 12) *giedrumà* 3^b 'ясное небо' (*giẽdras* 4 'ясный'); 13) *gilumà* 3^b 'глубина' (*gilùs* 4 'глубокий'); 14) *gražumà* 3^b 'красивое место; красивое время' (*gražùs* 4 'красивый, хороший'); 15) *grubumà* 3^b 'неровное [бугристое] место' (*grubùs* 4 'неровный'); 16) *kaitrumà* 3^b 'жаркое [знойное] время' (*kaitrùs* 4 'жаркий, знойный'); 17) *kreivumà* 3^b 'кривизна' (*kreĩvas* 4 'кривой'); 18) *melsvumà* 3^b 'melsva vieta, dėmė' (*mel̃svas* 4 'синеватый'); 19) *nykumà* 3^b 'жуть,

[14] Локализацию см. [Būga RR II: 402, 425, 442; III: 78].

жуткое настроение' (*nykùs* 4 'жуткий, мрачный; глухой'); 20) *platumà* 3^b 'ширь; широта' (*platùs* 4 'широкий'); 21) *plikumà* 3^b 'голое место' (*plìkas* 4 'лысый'); 22) *retumà* 3^b 'реди́на' (*rẽtas* 4 'редкий'); 23) *sausumà* 3^b 'суша, материк' (*saũsas* 4 'сухой'); 24) *seklumà* 3^b 'мель' (*seklùs* 4 'мелкий, неглубокий, мелководный'); 25) *siaurumà* 3^b 'узкое место; узость' (*siaũras* 4 'узкий, тесный'); 26) *skaidrumà* 3^b 'светлое [прозрачное] место' (*skaidrùs* 4 'прозрачный; светлый'); 27) *slėsnumà* 3^b 'понижение, низменность' (*slėsnùs* 4 'низкий, низменный'); 28) *slidumà* 3^b 'скользкое место' (*slidùs* 4 'скользкий'); 29) *smailumà* 3^b 'остриё' (*smailùs* 4 'острый'); 30) *sraunumà* 3^b 'быстрина' (*sraunùs* 4 'быстрый; стремительный'); 31) *statumà* 3^b 'крутизна, круча' (*statùs* 4 'крутой'); 32) *šakumà* 3^b 'развилина, разветвление' (*šakà* 4 'ветвь; отрасль'); 33) *šlapumà* 3^b 'мокрое место; дождливое время, слякоть, мокредь' (*šlãpias* 4 'мокрый, дождливый'); 34) *tylumà* 3^b 'тишина, тишь; тихое время' (*tylùs* 4 'тихий; молчаливый'); 35) *tiršlumà* 3^b 'гуща' (*tiršlas* 4 'густой'); 36) *tolumà* 3^b 'даль' (*tolùs* 4 'дальний, далёкий; отдалённый'); 37) *tuštumà* 3^b 'пустота; полость' (*tùščias* 4 'пустой, порожний'); 38) *vėlumà* 3^b 'позднее время' (*vėlùs* 4 'поздний'); 39) *vėsumà* 3^b 'прохлада; прохладное время' (*vėsùs* 4 'прохладный, свежий'); 40) *viešumà* 3^b 'публичность; гласность' (*viẽšas* 4 'публичный, открытый'); 41) *visumà* 3^b 'целое; совокупность' (*vìsas* 4 'весь'); 42) *žalsvumà* 3^b 'зеленоватое место; зеленоватость' (*žalsvas* 4 'зеленоватый'); 43) *žalumà* 3^b 'зелень, зелёное место' (*žalùs* 4 'пышный, тучный»); 44) *žemumà* 3^b 'низменность' (*žẽmas* 4 'низкий; низменный'); 45) *žilumà* 3^b 'седое место, проседь' (*žìlas* 4 'седой').

Вторичны:

От прилагательных первично 1-й а.п. [1 (> 3) ⇒ (1 >) 3^a, 1 (> 3^a) ⇒ (1 >) 3^{4a}]:

1) *amžinumà* 3^{4a} 'вечность' (*ámžinas* 3^a 'вечный'; но диал. вост.-лит. Šl. 1-я а.п.: *ámžinas*, *-a* 'wieczny', в др.-лит. 1-я а.п.: *ámžina* nom.sg. f. DK 42_{19}, *ámžinos* gen.sg. f. DK 13_{19}, 96_9 *ámžinoś* gen.sg. f. DK 142_{18}, *ámžinų* gen.pl. f. DK 43_5; с тенденцией перехода в а.п. 3^a); 2) *baltumà* 3^a 'белое место' (*báltas*, *-à* 3 < *báltas*, *-a* 1 KlvtŽ, Ms, Slnt; лтш. *balts* 'weiß, sauber, rein'); 3) *brangumà* 3^a 'дороговизна; время, когда всё дорого' (*brangùs* 3 'дорогой', диал. Šl. *brángus*, *-gi* 1; *brágiai* 'drogi'; лтш. диал. *brañgs* 'prächtig, herrlich, vortrefflich, fett, korpulent'); 4) *geltonumà* 3^a 'жёлтое место' (*geltónas* 1 'жёлтый'; лтш. диал. *dzęltãns* 'gelb'); 5) *glūdumà* 3^a 'глубокая ночь' (*glū́dus* 1 'полночь', *glū́da* adv. 'прижавшись', но *glaũsti* «сплачивать, смыкать'; лтш. *glaũst* 'glätten; schmiegen, anschmiegen'); 6) *grynumà* 3^a 'gryna, plika vieta' (*grýnas* 3 'чистый', др.-лит. [D.] 1: nom.sg.f. *grînoii* DP 526_{44}; gen.sg.f. *grînos* DP 425_{41}, 613_{22}; instr. sg. *grînu* DP 108_7, *grînų* DP 615_{50}; loc.sg. m. *grîname* DP 582_{41}; nom.pl. m. *grînieii* DP 615_3; gen.pl. *grînų* DP 278_7, *grînu* DP 602_1; acc.pl. *grînus* DK 165_8, DP 90_{45}, *grînůſius* DP 341_9, 526_{45}, 533_{12}, 615_{18}, *grî=|nůſius* DP 377_{39-40}); 7) *ilgumà* 3^a 'длина; долгота' (*ìlgas*, *-à* 3 'длинный; долгий, продолжительный', несколько форм в др.-лит. могут интерпретироваться как реликт 1-й а.п.: *ne iłga* nom.sg. f. DP 272_{25}, *po iłgomus* dat.pl. f. DP 564_{11}, 564_{20}; лтш. *ilgs* 'lang'); 8) *juõdumà* 3^a 'чернота, черное место' (*júodas* 3 'черный', лтш. *juõds* 'Waldteufel, Feldteufel, böser Geist'); 9) *kiaurumà* 3^a 'дырявое место; полость' (*kiáuras* 3 'дырявый; сквозной'; но лтш. *caũrs* 'durchlöchert'); 10) *kietumà* 3^a 'отверделость, отвердение' (*kietas* 3 'твёрдый; жёсткий'; 1-я а.п. в др.-лит.: gen.sg. f. *kiétos* DP 312_{20}; ср.ст. gen.sg. m. *kietęſnio* DP 508_{48}; слав. **čĭtъ*, f. **čĭta* 'це-

лый, невредимый; истинный': русск. диал. *чи́тый* 'трезвый', блр. диал. *чы́ты* 'трезвый'; схрв. *čȉt*, чл.ф. *čȉtī* 'целый, сам'; но лтш. *cìēts* 'твёрдый; жёсткий'); 11) *laibumà* 3[a] (*láibas* 3 'тонкий'; лтш. *laĩbs* 'dünn, schwach'); 12) *lygumà* 3[a] 'равнина', *nelygumà* (*lýgus* 3 < 1 'ровный, гладкий'; лтш. *līdzs* 'gleich, eben'); 13) *mėlynumà* 3[4a] 'mėlyna vieta, dėmė' (*mĕlynas* 3[a], 1 'синий'; лтш. *mę̃lns* 'schwarz, schmutzig'); 14) *storumà* (3[a]) 'утолщение' (*stóras* 3 'толстый'; но слав. **stărъ*); 15) *tyrumà* 3[a] 'dykuma; stepė; tyrulis' (*týras* 3 'чистый'; но лтш. *tīrs* 'rein, unvermengt, unverfälscht').

От прилагательных первично 2-й а.п. [2 (> 4) ⇒ (1 >) 3[b]]:

1) *aklumà* 3[b] Šl. 'ślepe, głuche miejsce' (*aklùs* 4 'слепой' < др.-лит. D. ***ãklus*** 2/4); 2) *biaurumà* 3[b] 'гадкое место' (*bjaurùs* 4 'гадкий' < др.-лит. D. ***biaũrus, -ì*** 2/4); 3) *klampumà* 3[b] 'топкое [вязкое] место (*klampùs* 4 'топкий, вязкий', диал. Tw. *klum̃pus, -i* 'grząski' [Otr.Twer. 258]); 4) *mažumà* 3[b] 'меньшинство' (*mãžas* 4 'малый, маленький', реликты 2-й а.п. в др.-лит.: *máʒeus* adv. comp. DK 4_{II} и *máʒiémus* dat.pl.m. DP $32I_2$); 5) *ramumà* 3[b] 'покой, спокойствие; спокойное место' (*ramùs* 4 'спокойный, тихий' < **rãmus* 2, см. [Дыбо 2006b: 135–136]); 6) *stiprumà* 3[b] 'didžiausio stiprumo laikas; pati stiprioji vieta' (*stiprùs* 4 'сильный, крепкий, мощный', диал. Tw. *śćīprus, -i* 'mocny' [Otr.Twer. 258] < др.-лит. D. ***stìprus, -ì*** 2/4); 7) *šviesumà* 3[b] 'светлое место' (*šviesùs* 4 'светлый', диал. Tw. *śv́iēsus, -i* 'widny, biały' [Otr.Twer. 258] < др.-лит. D. ***šviẽsus, -ì*** 2/4); 8) *tamsumà* 3[b] 'тёмное место' (диал. Šl. *tamsùs*, f. *tamsì* 4 'ciemny; nieuczony', при варианте 1-й а.п. < др.-лит. D. ***támsus, -i*** 1 и ***tamsùs, -ì*** 4); 9) *tiesumà* 3[b] 'прямое направление; прямой путь' (*tiesùs* 4 'прямой', диал. Tw. *ćiēsus, -i* 'prosty, niekrzywy' [Otr.Twer. 258] < др.-лит. D. ***tiẽsus, -ì*** 2/4).

Балт. subst. ***-um-a-***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*brángumas*	*àklumas*	*nuôgùmas*	*gerùmas*
		gen.	*brángumā*	*àklumā*	*nuôgùmā*	*gerùmā*
		acc.	*brángumą̃*	*àklumą̃*	*nuôgùmą̃*	*gerùmą̃*
		instr.	*brángumuô*	*àklumuô*	*nuôgùmuô*	*gerùmuô*
После действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*brángumas*	*àklumas*	*nuôgùmas*	*gerùmas*
		gen.	*brángumā*	*àklumā*	*nuôgùmā*	*gerùmā*
		acc.	*brángumą̃*	*àklumą̃*	*nuôgùmą̃*	*gerùmą̃*
		instr.	*brángumuô*	*àklumuô*	*nuôgumúo*	*gerumúo*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 192–204].

В этом словообразовательном типе мы фактически возвращаемся к тому же типу метатонии, который мы наблюдали в именах с первичным суффиксом *-to-*:

лит. *klótas* (3) (part.praet.pass. от лит. *klóti* 'стелить; накрывать') ~ лит. *klõtas*, pl. *klõtai* (2) 'мостки'.

лит. *áukštas* (3) 'высокий' (ср. лтш. *aûgsts* 'hoch') ~ лит. *aũkštas* (2) 'этаж'.

И это, естественно, возвращает нас к проблеме двойственного характера индоевропейского тематического гласного.

В. Долгосложные рецессивные суффиксы ⇒ долгосложные доминантные суффиксы и метатония: акут ⇒ циркумфлекс.

4. суффикс ***-îb-â-/-ib-â-*** ⇒ суффикс ***-īb-iā-***
Балт. ***-îb-â-***

Формы производных		А.п. производящих			
		Неподвижная (**1**-я)		Подвижная (**2**-я)	
		Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	nom.	*lĩgîbâ*	*làbîbâ*	*sa̧ldîbā́*	*gerîbā́*
	acc.	*lĩgîbą̄*	*làbîbą̄*	*sáldîbą̄*	*gèrîbą̄*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 150–156].

Приведенной реконструкции, по-видимому, противоречит латышская плавная интонация на этом суффиксе: лтш. *lĩdzība* 'die Ähnlichkeit; das Gleichnis; die Gleichheit'; лтш. *dzîvība* 'das animalische Leben, das Leben im Gegensatz zum Tode'; лтш. *verdzība* 'die Sklaverei, Knechtschaft, Leibeigenschaft' и под. И. Сержантс считает её согласующейся с литовской 1-й а.п. соответствующих имен [Seržants 2003: 97–98], однако, как показано выше, нужно исходить из рецессивности этого суффикса в пралитовском и, следовательно, из первичности прерывистой интонации в этом суффиксе, ср. суфф. adj. *-îg-* и *-âk-*. Как всё же объяснить это отклонение в латышском? Можно думать, что в данном случае мы имеем дело с нисходящей интонацией, слившейся, по свидетельству Эндзелина, с плавной в непервых слогах, а нисходящая интонация появилась (в результате метатонии) в основах на *-ībe*, так же как и в литовском, контаминировавших с основами на *-ība*.

В славянском этому балтийскому суффиксу соответствует суфф. *-ьb-ā*; вероятно, количественное различие гласного (*ī* ~ *ĭ*) возникло в результате генерализации в балтийском *ī*, форманта *i*-глаголов, а в славянском форманта именных *ĭ*-основ[15]: в обоих языках производные с этим суффик-

[15] Иное решение предлагает С. Г. Болотов: указывая на лит. диал. *senóbė* 'древность' и сопоставляя его со славянскими именами с суффиксом **-obā*, он хочет привлечь сюда закон Винтера, утверждая, что количественные различия в суффиксах между славянским и балтийским [**-ьbā* ~ *-ībâ/-ībē*, **-obā* ~ *-ābē*, **-ьdā* ~ *-īdâ/-īdē* (*apýdė* 'хмельник'; лит. *dailýda*, *dailýdė*, диал. тж. *dailỹdė* 'плотник'; cf. греч. *-ίς*, *-ῖδος*), **-odā* ~ *-ādâ* subst. (лит. *varioda* 'сход(ка), сбор(ище)' при *varýti* 'гнать,

сом образовывались от имен и глаголов. Скудный материал с суфф. *-ьb-ā* позволяет установить в этих производных первичное наличие парадигматического выбора: тип *A* [= a^a] — **svātьba*, acc.sg. **svātьbǫ*, gen.pl. **svātьbъ̄*; тип *D* [= a^b] — **slūžьba*, acc.sg. **slūžьbǫ*, gen.pl. **slūžьbъ̄*; тип *C* [= c^c] — **tęžьbā*, acc.sg. **tęžьbǫ*, gen.pl. **tęžьbъ̄*.

Тип *A* [= a^a] достаточно надежно фиксируется в двух основах: 1) русск. *сва́дьба*, укр. *сва́дьба*, *сва́йба*, блр. *сва́дзьба*; болг. *сва́тба*; схрв. *свȁдба*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) nom.sg. **Сва́дба** Гр. 49, *swádba* Пол. 140, 145, *Swádba* Пол. 143, gen.sg. *swádbi* Пол. 122, acc.sg. *swádbu* Пол. 143, loc.sg. *Na swádbe* Пол. 143, nom.pl. *swádbi* Пол. 145, gen.pl. *swádob* Пол. 140, acc.pl. *swádbi* Пол. 140, 141, 156, 186, loc.pl. *swádbech* Пол. 140 (< **svātьba*) ~ слав. **svātь* (а.п. *a*); 2) русск. диал. *кра́дьба* [Даль[3] 2: 473, 484]; болг. *кра́жба* [Геров 2: 408]; схрв. *krȁdba* [RJA V: 430] (< **krādьba*; в связи с тенденцией перевода производящего глагола в а.п. *c* это производное переводится в окситонную а.п. или её рефлексы, отсюда др.-русск. **крадба**\ Сб.0: 177, 177б; блр. *крадзьба́*; болг. диал. *кражба́*; схрв. *кра̀дба* [Ристић–Кангрга 394]) ~ слав. **krāsti*, praes. 1.sg. **krādǫ*, 3.sg. **krādetь*[16].

Тип *D* [= a^b] даёт рефлексы с накоренным ударением у ряда имен в восточнославянских языках и в болгарском: русск. *слу́жба*, *дру́жба*, *про́сьба*; укр. *слу́жба*, *дру́жба*, *про́сьба*; болг. *слу́жба*, *дру́жба*, *про́сба* (ср. слав.

гонять; вести, проводить; двигать')/*-ādas* adj. (лит. *vienódas* 1, диал. тж. *víenodas* 1, лтш. *viênâds*; cf. греч. *-άς*, *-άδος*), **-ьgā* ~ *-īgâ* (слав. *šulьga* ~ лит. *kairyga* 'левша')] возникли из-за того, что в славянском закон Винтера действовал лишь в первом слоге, тогда как в балтийском он распространялся и на вторые слоги. Не говоря уже о бедности предлагаемого материала, это предложение наталкивается на тот факт, что балто-слав. **b* в данном суффиксе восходит к и.-е. **bh* (по значению и дистрибутивным характеристикам этот балто-славянский суффикс соответствует герм. *-ba*, сохранившемуся в готском: гот. *abraba*, *raíhtaba*, *arniba*, *agluba*, *harduba* и под., ср. также греч. *ἄργυφος*, *στέριφος*; др.-инд. *sthūlabhá-* 'massig', *hardabhá-s* 'осёл' < *'крикун'; см. [Osthoff KZ 23: 93], [Kluge Urgermanisch: 246 (§ 292)] и [Brugmann Grdr.[2] II, 1: 386–390]). Саму основу *senóbė* (при принятии её древности, а не первичности *senóvė*) можно было бы объяснить законом Винтера, если принять, что **bh* перед *j*, как и перед другими сонорными, теряло своё «придыхание» и переходило в **b*, но это никак не способствует объяснению балтийского **ī*.

[16] Остается неясной первоначальная акцентовка **rězьba*. [Skok III: 135] приводит схрв. *rèzba* (источник?), эта акцентовка хорошо согласуется с а.п. слав. **rězati*, praes.3.sg. **rězjetь*. Но обычная акцентовка этого имени: схрв. *rèzba* [RJA XIII: 917], *рѐзба* [Ристић–Кангрга 887]; русск. *резьба́*; укр. *різьба́*; болг. *резба́*; является ли это положение завершением подобного тому, что наблюдается в основе **krādьba*, или здесь отражается древнее состояние (ср. интонацию у соответствующих основ в латышском: *riēzt*, *-žu*, *-zu* 'schneiden' Dunika), требует особого исследования.

služíti*, praes. 1.sg. **služi̯ǫ́*, 3.sg. **slũžītь*; **družíti*, praes. 1.sg. **druži̯ǫ́*, 3.sg. **drũžītь*; **prosíti*, praes. 1.sg. **prosi̯ǫ́*, 3.sg. **pròsītь*), — а в других проводит вторичный тип *B* [= b^b]: русск. *борьба́*, *мольба́*; укр. *борба́* [Желеховский I: 39], *мольба́*; болг. *борба́*, *молба́* (ср. слав. **bŏrti*, praes. 1.sg. **borjǫ́*, 3.sg. **bòrjetь*; **modlíti*, praes. 1.sg. **modli̯ǫ́*, 3.sg. **mòdlītь*); так как процесс перевода в тип *B* морфонологический (аналогия), результаты его могут не совпадать, ср. русск. *ходьба́*, *стрельба́*, *судьба́* (др.-русск. nom.pl. **сѹдбы Чуд. 105[2], **сѹдбы** Чуд. 54[1]); укр. *ходьба́*, *стрільба́*, *судьба́*, *тужба́*; но болг. *хо́дба*, *стрѣ́льба*, *сѫ́дьба*, *тѫ́жба* (ср. слав. **xodíti*, praes. 1.sg. **xodi̯ǫ́*, 3.sg. **xòdītь*; **strělíti*, praes. 1.sg. **strěli̯ǫ́*, 3.sg. **strělītь*; **sǫdíti*, praes. 1.sg. **sǫdi̯ǫ́*, 3.sg. **sǫ̃dītь*; **tǫžíti*, praes. 1.sg. **tǫži̯ǫ́*, 3.sg. **tǫ̃žītь*). Этот же тип акцентовки получают имена, образованные от основ а.п. *c*: русск. *ворожба́*; укр. *ворожба́*; болг. *вражба́*; др.-русск. **татбы** nom.pl. Чуд. 9[3], т тат j =|**бъ** Чуд. 153[1]; ср.-болг. nom. pl. **тѧ́бы** Ev. 1139: 75г15; ст.-русск. *тяжба́* САР$_1$ VI: 377 (совр. *тя́жба*, вероятно, под влиянием ц.-слав. **тѧ́жа**); укр. *тяжба́* [Желеховский II: 997]. В современном сербохорватском языке все двусложные имена на *-ьba*, за исключением перечисленных выше имен типа *A*, имеют восходящее краткое ударение на корне, т. е. относятся как бы к типу *B*: *слу̏жба*, *прòзба*, *drȕžba*, *бо̀рба*, *мо̀лба*, *ту̏жба*, *seòba*; *diòba*, *sȑdžba*, *žàlba*, *žȕrba*. Однако материалы древнесербских штокавских памятников XV в. дают основание полагать, что в древнесербском сохранялись все три акцентных типа имен на *-ьba*: типы *A* [= a^a], *D* [= a^b] и *C* [= c^c]. Чтобы были ясны мотивы интерпретации этого, к сожалению, довольно скудного материала, привожу акцентовку типа *C* имени **злоба** в этих текстах: 1) nom.sg. **злоба̑** Ев.-апр. 62^{б}1; 2) gen.sg. **зло́бы** Апост. 59^{б}23, 105^{б}19, 146^{а}21, **зло́**|**бы** Апост. 181^{а}19; 3) dat.sg. **зло́б•** Апост. 115^{а}13, 240^{б}15; 4) acc.sg. **зло́боу** Апост. 114^{а}4, 254^{б}15; 5) instr.sg. **злобо́ю** Апост. 196^{а}15, **злобо̑ю** Апост. 238^{а}3; 6) loc.sg. **въ злобѣ̑** Апост. 288^{б}19; 7) gen.pl. •| **зло́бь** Апост. 36^{б}9–10. Словоформ акцентного типа *A* в рассматриваемых текстах нет, но они и не требуются для подтверждения наличия этого типа у основ на *-ьba* в праславянском ввиду того, что их рефлексы хорошо сохранены в современных славянских языках (см. выше). Наличный материал делится на два типа: **1**. тип *D* — 1) nom.sg. **слоу́жба** Апост. 292^{а}24, **и҆ да слоу́**|**жба** Апост. 171^{б}24; dat.sg. **слоу́жб•** Апост. 246^{а}20; acc.sg. **слоу́жбоу** Ев-апр. 19^{а}15, 45^{б}14, 275^{а}14, **слоу́**|**жбоу** Апост. 164^{а}8–9, **слу́**|**жбоу** Апост. 59^{а}9–10, **и҆ слоу́**|**жбоу** Апост. 81^{а}12–13, **въ слоу́жбоу** Апост. 271^{а}16, 284^{б}9, 289^{б}22, **на слоу́**|**жбоу** Апост. 57^{а}6–7; loc.sg. **слоу́жб•** Апост. 254^{а}17, **и҆ слоу́жб•** Апост. 245^{б}5, **и҆ ѡ҆ слоу́жб•** Апост. 203^{б}8, **ѡ҆ слоу́жб• бо** Апост. 213^{б}14; acc.pl. **слоу́**|**жбы** Апост. 303^{б}19–20; 2) loc.sg. **и҆ мо́лб•** Апост. 241^{а}11; **2**. тип *C* — 1) nom.pl. **та́тбы** Ев.-апр. 135^{б}10; 2) acc.pl. **те́**|**жбы** Апост. 182^{а}9–10.

Материалы старохорватского языка XVII в. (Ю. Крижанич) дают реликт следующей системы выбора: от основ а.п. *a* — тип *A* [= a^a]: nom.sg.

svädba, acc.sg. *svädbu*, gen.pl. *svädab*; от основ а.п. *b* и *c* — тип *C* [= c^c]: 1) nom.sg. *službä*, acc.sg. *slûžbu*, gen.pl. *služâb*, loc.pl. *službäh*; 2) nom.sg. *tężbä*, acc.sg. *tę̂žbu*. Материал распределяется на три группы по праславянским акцентным типам следующим образом:

I. Тип *A* [= a^a]: nom.sg. **Свáдба** Гр. 49, *swádba* Пол. 140, 145, *Swádba* Пол. 143; gen.sg. *swádbi* Пол. 122; acc.sg. *swádbu* Пол. 143; loc.sg. *Na swádbe* Пол. 143; nom.pl. *swádbi* Пол. 145; gen.pl. *swádob* Пол. 140; acc.pl. *swádbi* Пол. 140, 141, 156, 186; loc.pl. *swádbech* Пол. 140.

II. Тип *D* [= a^b]: 1) nom.sg. **Слꙋжба̀** Гр. 49, *służbá* Пол. 129; gen.sg. *służbí* Пол. 119, 209, bis, *ot służbí* Пол. 74; dat.sg. *ko slúżbe* Пол. 141; acc.sg. *slúżbu* Пол. 74, 75, 167, 241, *na slûżbu* Пол. 71, *ná służbu* Пол. 209; loc.sg. *na... służbé* Пол. 209, *w' służbé* Пол. 24; nom.pl. *slúżbi* (?) Пол. 204; gen.pl. **Слꙋжâб** Гр. 21, *służób* Пол. 209; dat.pl. *Służbám* Пол. 112; acc.pl. **слꙋжби** Гр. I, *slúżbi* (?) Пол. 204; loc.pl. *służbách* Пол. 217; 2) nom.sg. **Дрꙋжба̀ 'Говúт'**, **Дрꙋжба̀ 'дрꙋ̑г'** Гр. 33; acc.sg. *w' drúżbu* Пол. 115, 264; 3) nom.sg. **Прозба̀** Гр. 49; loc.pl. *prozbách* Пол. 124; 4) loc.pl. *i strelbách* Пол. 138; 5) nom.sg. **Сꙋдба̀** Гр. 49; 6) nom.sg. **Тꙋжба̀** Гр. 49, *tużbá* Пол. 167; acc.pl. *tûżbi* Пол. 190; 7) nom. sg. **Хранба̀** Гр. 136 (ср. слав. **xorníti*, praes. 1.sg. **xornją*, 3.sg. **xoŕnīть*).

III. Тип *C* [= c^c]: 1) acc.sg. *czez tâdbu* Пол. 161; acc.pl. *tadbí* Пол. 192; 2) nom.sg. *tężbá* Пол. 266, *Tężbá* Пол. 267; acc.sg. *tężbu* Пол. 265, 267; nom.pl. *tężbí* Пол. 266; 3) nom.sg. **Грозба̀** Гр. 49; 4) loc.sg. *w'... dwoibé* Пол. 267; 5) nom.sg. *sredbá* Пол. 24; loc.sg. *po sredbé* Пол. 36; acc.pl. *sredbí* Пол. 28.

Последняя группа деривационно относится к следующим праславянским основам: 1) слав. **tâtь* (а.п. *c*): схрв. *mâm*, gen.sg. *mâma*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) nom.sg. **тâт** Гр. 5, *tât* Пол. 103; dat.sg. **тâтꙋ** Гр. 10; nom.pl. **Тâти** Гр. 11, *tâti* Пол. 104, 189, 208 и **Тâтје** Гр. 11; gen.pl. **Татôв** Гр. 13, *tatôw* Пол. 192, *Tatôw* Пол. 214; словен. *tât*, gen.sg. *tâta*, *tatû*; 2) слав. **tęžā-ti*, praes. 1.sg. **tę̂žją*, 3.sg. **tęžīть* (а.п. *c*): ст.-слав. **сътѧжати, -жѫ, -жиши** 'приобрести, получить', ц.-слав. **тѧжати, -жѫ, -жиши** 'ἐργάζεσθαι; ἀποτίνειν' [Miklosich Lex: 1026]; болг. *тяжья́, и́шь, —жа́ть* [Геров]; схрв. *те́жити*, *те́жӣм* 'streben; trachten' (но *тѐжити*, *тѐжӣм* 'bebauen'); ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) inf. *težát* Пол. 35, 38, 39, 40, 41, 51; praes. 1.pl. **Тежӣм** Гр. 85, 198, *tezîm* Пол. 136 'обрабатывать землю, ухаживать за растениями'; словен. *težíti*, praes. *težím* 'beschweren, schwer drücken; — Beschwerden machen, belästigen; schwer lasten; wuchten; — wiegen; streben'; 3) слав. **grozí-ti*, praes. 1.sg. **gröząją*, 3.sg. **grozīть*: русск. *грози́ть*, praes. 3.sg. *грози́т*; болг. *грозя́*; схрв. *гро̀зити*, praes. 1.sg. *гро̀зӣм*; ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 3.pl. *se grozêt* Пол. 24; словен. *grozíti*, praes. 1.sg. *grozím*; 4) слав. **dъvojī-ti*, praes. 1.sg. **dъvojją*, 3.sg. **dъvojīть*: русск. *двои́ться*, praes. 3.sg. *двои́тся*; болг. *двоя́*, *двои́ш*, *двои́л*; схрв. *дво̀јити*, praes. 1.sg. *дво̀јӣм*; ст.-хорв.

XVII в. (Ю. Крижанич) praes. 1.sg. **Двоьім** Гр. 86, 227; словен. *dvojíti*, praes. 1.sg. *dvojím*; 5) ст.-хорв. XVII в. (Ю. Крижанич) *sredbá* непосредственно связано с глаголом слав. **serdĭti sę*, этот глагол отмечается в текстах Ю. Крижанича, но сейчас известен в формах инфинитивной основы: inf. *se sredít* Пол. 55 и *i sredîwszi se* Пол. 53, первичная а.п. *c* этого глагола диктуется а.п. производящей основы: слав. **śerdā*, acc.sg. **śêrdǫ* (а.п. *c*).

Такое распределение, вероятно, говорит о слиянии акцентных типов *B* [= b^b] и *C* [= c^c] в данном типе имён в старохорватском в едином подвижном акцентном типе. Таким образом, материалы древнесербских текстов и текстов Ю. Крижанича, по-видимому, достаточно надежно указывают, что от имен и глаголов а.п. *c* выбирался подвижный акцентный тип *C* [= c^c], т. е. выбор был тем же, что и в балтийском: суфф. *-ьb-ā-* был рецессивным[17].

Балт. ***-ī̍b-i̯ā-***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (2)
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*támsībē*	*bi̯aũrībē*	*aũgštī̃bē*	*gerī̃bē*
		gen.	*támsībēs*	*bi̯aũrībēs*	*aũgštī̃bēs*	*gerī̃bēs*
		acc.	*támsībę̄*	*bi̯aũrībę̄*	*aũgštī̃bę̄*	*gerī̃bę̄*
		instr.	*támsībę̂*	*bi̯aũrībę̂*	*aũgštī̃bę̂*	*gerī̃bę̂*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 218–226].

5. суффикс ***-îst-â-*** ⇒ суффикс ***-ī̍st-i̯ā-***

Балт. ***-îst-â-***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*brā̃lîstâ*	*keřdžîstâ*	*žmôgîstā̃*	*dievîstā̃*
		gen.	*brā̃lîstās*	*keřdžîstās*	*žmôgîstā̃s*	*dievîstā̃s*
		acc.	*brā̃lîstą̄*	*keřdžîstą̄*	*žmȭgîstą̄*	*diẽvîstą̄*
		instr.	*brā̃lîstą̂*	*keřdžîstą̂*	*žmȭgîstą̂*	*diẽvîstą̂*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 142–149].

[17] Пользуюсь случаем выразить свою благодарность И. С. Пекуновой, снабдившей меня полными списками соответствующих основ из двух древнесербских текстов, и М. В. Ослону, представившему полную роспись соответствующих основ из текстов Ю. Крижанича.

Балт. ***-īst-i̯ā***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут (лит. 1)	Циркумфлекс, краткость (2)	Акут (3)	Циркумфлекс, краткость (4)
До действия закона де Соссюра	Sg.	nom.	*brā́līstė̃*	*beñdrīstė̃*	*viênĩstė̃*	*draûgĩstė̃*
		gen.	*brā́līstės̃*	*beñdrīstės̃*	*viênĩstės̃*	*draûgĩstės̃*
		acc	*brā́līstę̃*	*beñdrīstę̃*	*viênĩstę̃*	*draûgĩstę̃*
		instr.	*brā́līstę̂*	*beñdrīstę̂*	*viênĩstę̂*	*draûgĩstę̂*

Примечание. Балтийская реконструкция и материалы в [Дыбо 2006b: 209–214].

6. суффикс adj. ***-âko-*** ~ суффикс subst. ***-āko-***

Балт. ***-âka-***

Формы производных			А.п. производящих			
			Неподвижная (1-я)		Подвижная (2-я)	
			Акут	Циркумфлекс, краткость	Акут	Циркумфлекс, краткость
До действия закона де Соссюра	Sg.	m.	*ílgâkas*	*màžâkas*	*šáltâkas*	*rètâkas*
		f.	*ílgâkâ*	*màžâkâ*	*šal̩tâkā́*	*retâkā́*
	Pl.	m.	*ílgâkiê*	*màžâkiê*	*šal̩tâkíe*	*retâkíe*
		f.	*ílgâkās*	*màžâkās*	*šáltâkās*	*rètâkās*

Примечание. Балтийскую реконструкцию и материалы см. также в [Дыбо 2006b: 239–245].

В славянском этот суффикс в адъективном употреблении сохранился лишь у местоименных прилагательных и показывает в них отчетливо рецессивный характер, ср.: 1. **jâkъ*, **jakà*, **jâko* (от **jь̀*, **jà*, **jë* — а.п. *c*); 2. **tâkъ*, **takà*, **tâko* (от **tь̀*, **tà*, **tь̀* — а.п. *c*); 3. **kâkъ*, **kakà*, **kâko* (ср. **kъ̀to*, **čь̀to* — а.п. c); но от местоимений неподвижного акцентного типа: 1. **ínakъ*, **ínaka*, **ínako* (от **ínъ*, **ína*, **íno* — а.п. *a*); 2. **vьśěkъ*, **vьśěka*, **vьśěko* (от **vьśь*, **vьśě*, **vьśė* — а.п. *b*).

В литовском нормативном прилагательные с суффиксом *-oka-s* (< *-ako-s*) относятся к неподвижному акцентному типу с постоянным акутовым ударением на суффиксе: *ilgókas* (ср. лтш. *ilgs*), *plonókas* (ср. лтш. *plâns*), *sunkókas* (ср. ст.-лит. *suñkus*, 2-я а.п. у Даукши), *platókas* (ср. *platùs*, 4-я а.п. у Даукши и в совр.). Это явно перестроенная акцентовка с генерализацией акцентного типа, возникшего в результате действия закона де Соссюра в производных от циркумфлектированных и краткостных имен неподвижного акцентного типа и в результате наложения деформаций акцентной кривой, вызванных действием законов де Соссюра и Хирта в производных от циркумфлектированных и краткостных имен подвижного акцентного типа, с устранением неподвижного акцентного типа с акутовым ударением на корне и деформированного действием за-

кона Хирта акутированного подвижного типа. Это достаточно надежно подтверждается литовским диалектным материалом говора Zietela:

От прилагательных подвижного акцентного типа:

1. лит. диал. (Zt.) *kartókas*, f. *kartokà* (3) 'горьковатый' (Ziet. 273), при варианте *kartókas*, f. *-a* (1) ~ др.-лит. ***kartùs*, *-ì* (3)** 'gorzki'.

2. лит. диал. (Zt.) *šaltókas*, f. *šaltokà* (3) 'холодноватый' (Ziet. 653), при варианте *šaltókas*, f. *-a* (1) ~ лит. *šáltas* (3) 'холодный'; лтш. *sal̃ts* 'kalt, bloß, nackt'.

3. лит. диал. (Zt.) *retókas*, f. *retokà* (3) 'редковатый', pl. *ratoḱì ľinaĩ*; adv. *retokaĩ* 'редковато': *retokaĩ pas'ëjau* (Ziet. 545) ~ др.-лит. ***rẽtas*** (4) 'rzadki'.

4. лит. диал. (Zt.) *trumpókas*, f. *trumpokà* (3) 'коротковатый' и *trumpókas*, f. *trumpóka* (1): kæ̃ľinės trumpókos, reĩka dadúrt (Ziet. 713) ~ др.-лит. ***trum̃pas*, *-à*** (4) 'krotki; doczesny; mały'.

От прилагательных неподвижного акцентного типа:

1. лит. диал. (Zt.) *ilgókas*, f. *ilgóka* (1) 'длинноватый; довольно долгий, долговатый', adv. *ilgókai* 'довольно долго' (Ziet. 232) ~ др.-лит. ***ílgas*** (1).

2. лит. диал. (Zt.) *gerókai* adv. 'nemaža' (Ziet. 202) ~ др.-лит. ***gẽras*, *-à*** (2-я а.п. по памятникам Прусской Литвы, см. [Иллич-Свитыч ИА: 56]).

3. лит. диал. (Zt.) *mažókas*, f. *mažóka* (1) 'маловатый' (Ziet. 287) ~ др.-лит. ***mãžas*** (2).

В латышском языке при помощи суффикса *-āk-* образуется сравнительная степень; прерывистая интонация гласного суффикса регулярно отражает балто-славянский рецессивный акут.

1. от прилагательных с плавной интонацией: лтш. *mĩľâks* 'lieber' (Gr. 352); *iĩgâki* 'länger' (Gr. 353); *vaĩrâk* 'mehr' (Gr. 353); *liẽlâks* 'größer' (Gr. 353); *sũrâks* (Ērģ.3: 460).

2. от прилагательных с прерывистой интонацией: лтш. *aûgstâku* 'höher' (Gr. 353); *jaûnâkus* (Ērģ.2: 14); *jaûnâkãs ziņas* (Ērģ.2: 15); *ciêtâkus* (Ērģ.1: 216), *ciêtâku* (Ērģ.1: 216), *ciêtâka* (Ērģ.1: 217), *ciêtâks* (Ērģ.1: 217); *mîkstâka zeme* (Ērģ.2: 316), *mîkstâki* (Ērģ.2: 316), *mîkstâka* (Ērģ.2: 317), *mîkstâks* (Ērģ.2: 317); *plânâki zùobi* (Ērģ.3: 98), *plânâkã ķem̃mẽ* (Ērģ.3: 98).

Очевидно, что латышское отражение, так же как и в предыдущем случае, совершенно точно соответствует реконструированному состоянию. И оно также не требует объяснений посредством оттяжки иктуса.

Для балто-славянского следует таким образом восстанавливать рецессивный статус этого адъективного суффикса.

Этот же суффикс в субстантивном употреблении показывает циркумфлектированный характер гласного *-ā-* и акцентный тип с постоянным насуффиксальным ударением: лит. *naujõkas* (2) 'новичок; новобранец', *bėrõkas* (2) 'гнедая лошадь, гнедко', *kaulõkas* (2) диал. 'ребро с мясом' и под., этому соответствует и метатония в аналогичных случаях в латыш-

ском: *bàrnàks*, *sunàks*, *vapràks*[18] [Seržants 2003: 113] (= *sunãks* [Mühl.–Endz. III: 1121], с отмеченным Эндзелином слиянием нисходящей и плавной интонации в непервых слогах), ср. генетически тождественную а.п. *b* в подобных образованиях в славянском: **durākъ*, **prostākъ*, **rybākъ*, **mǫdrākъ* и под. Очевидно, что и в этом словообразовательном типе мы встречаемся с генерализацией акцентного типа с насуффиксальным ударением и устранением акцентного типа с первично накоренным ударением. Например, два последних славянских примера первоначально должны были иметь следующую акцентовку: **rȳbākъ* и **mǫdrãkъ*.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Андронов 2002 — *Андронов А. В.* Материалы для латышско-русского словаря. СПб., 2002.

а.п. — акцентная парадигма.

Апост. — Ст.-сербская рукопись начала XV в. «Апостол и въскресни евангелия» // НБКМ № 889 (по Цоневу).

Геров — *Геровъ Найденъ*. Рѣчникъ на блъгарскъй языкъ. Ч. 1 (А–Д): 1895; Ч. 2 (Е–К): 1897; Ч. 3 (Л–О): 1899; Ч. 4 (П): 1901; Ч. 5 (Р–ꙗ): 1904; Ч. 6 (Допълнение. Събралъ, наредилъ и изтълкувалъ *Т. Панчевъ*): 1908. Пловдив. [Репринт: София., 1975–1978.]

Гр. — **Граматично ꙗсказаніе об рꙋском •езикꙋ, попа Іꙋрка Крижанин••, презванием Сербл•нина меджу Кꙋпо•ꙋ и Вꙋно•ꙋриками, во ꙋ•ездех Бꙋх••града, окол Дꙋбовца, Озльа и Рибника Острогов/Писано вь Сибꙗри/Лита ,зрод** / Издано Бодянскимъ. М., 1859. [Арабские цифры передают славянскую пагинацию книги.]

Даль[3] — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусскаго языка. Т. I (А–З): 1903; Т. II (И–О): 1905; Т. III (П–Р): 1907; Т. IV (С–V): 1909. СПб.–М.

Дыбо 1968 — *Дыбо В. А.* Акцентология и словообразование в славянском // Славянское языкознание. VI международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.). Доклады советской делегации. М., 1968.

Дыбо 1977b — *Дыбо В. А.* Работы Ф. де Соссюра по балтийской акцентологии // В: [Соссюр: 583–597].

Дыбо 1978c — *Дыбо В. А.* К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в прабалтийском // Конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом». 11–15 декабря 1978 г. Предварительные материалы. М., 1978. С. 79–80.

Дыбо 1981a — *Дыбо В. А.* К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в прабалтийском // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981.

Дыбо 1981b — *Дыбо В. А.* Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981.

Дыбо 1989c — *Дыбо В. А.* Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. II. Западнокавказские акцентные системы как аналог балто-славянской // Балто-славянские исследования 1987. М., 1989.

Дыбо 2000a — *Дыбо В. А.* Морфонологизованные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис. Т. I. М., 2000.

[18] В Zvirgzdine [совр. Zvirgzdene, = нем. Swirsdino] по [Mühl.–Endz. IV: 538] записано *vęprėks*[2].

Дыбо 2005b — *Дыбо В. А.* Балтийская сравнительно-историческая и литовская историческая акцентологии // Аспекты компаративистики, I. РГГУ, М., 2005. С. 177–213.

Дыбо 2006a — *Дыбо В. А.* Сравнительно-историческая акцентология, новый взгляд: по поводу книги В. Лефельдта «Введение в морфологическую концепцию славянской акцентологии» // Вопросы языкознания, 2. М., 2006.

Дыбо 2006b — *Дыбо В. А.* Порождение акцентных типов производных имен в балтийском // Балто-славянские исследования XVII. М., 2006.

Ев.-апр. — Евангелие-Апракос (полный). [Сербская рукопись XV в. // РГБ, отдел рукописей, ф. 178, № 7364.]

Желеховский — *Желеховский Євгений* і *Недільский Софрон.* Малоруско-нїмецкий словар / Під зарядом Беднарского. Т. I–II. Львів, 1886.

Иллич-Свитыч ИА — *Иллич-Свитыч В. М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском. М., 1963.

Николаев 1986 — *Николаев С. Л.* Балто-славянская акцентуационная система и ее индоевропейские истоки. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1986 (частично опубликовано в [Николаев 1989: 46–109]).

Николаев 1989 — *Николаев С. Л.* Балто-славянская акцентуационная система и ее индоевропейские истоки // Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989. С. 46–109.

НБКМ — Народна библиотека «Кирил и Методи». София.

Ристић–Кангрга — *Светомир Ристић* и *Јован Кангрга.* Речник српског, хрватског и немачког језика. Други део: Српскохрваско-немачки. ~ Wörterbuch der serbokroatischen und deutschen Sprache. Zweiter Teil: Serbokroatisch-deutsch. Београд, 1928.

Пол. — *Крижанич Ю.* Политика. М., 1965. [Цифры обозначают страницы рукописи.]

САР$_1$ — Словарь Академіи Россійской. СПб., 1789–1794. [Репринт: М., 2006.]

Сб.0 — Сборник XVI в. // ГПБ, Софийское собр., 1460. Пример из этого Сборника приводится по работе *В. В. Колесова* «Очерки по русской исторической акцентологии; Szeged, 1978, с. 12.

Соссюр — *Фердинанд де Соссюр.* Труды по языкознанию. М., 1977.

Шмидт — *Шмидтъ П.* Троякая долгота въ латышскомъ языкѣ // Сборникъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи наукъ. Т. LXVII, № 2. СПб., 1899. С. 1–48.

Ahs. — (диал.) Ahsuppen [совр. Asuppen] = Aizupe (лтш.) [сокращение ME].

Alk — (диал.) Alksnėnai, Vilkavìškio raj. [сокращение LKŽ].

A.-Ottenh. — (диал.) Alt-Ottenhof (нем.) = Vęc-Ate [совр. Vęcate] (лтш.) [сокращение ME].

AP., A.-Peb. — (диал.) Alt-Pebalg (нем.) = Vęc-Piēbalga [совр. Vęcpiēbalga] (лтш.) [сокращение ME].

Arrasch (нем.) = (диал.) Āraiši (лтш.) [источник ME].

B — Lexicon Germano-Lithvanicvm et Litvanico-Germanicvm, darinnen... von *Iacobo Brodowskij*, Praecentore Trempensi. (XVIII amž. pradžios (1713–1744 m.) rankraštis, du tomai. Msc. 127, 128.) [сокращение LKŽ].

Bers. — (диал.) Bersohn (нем.) = Bę̄rzaune (лтш.) [сокращение ME].

Bl. — vārdu saraksts *Bīlenšteina* [*A. J. G. Bielenstein*, Die lettische Sprache, nach ihren Lauten und Formen. Bd. I–II. Berlin, 1863–1864], Bd. I: 51–77 [сокращение ME].

Bl., Blied. — (диал.) Blieden (нем.) = Blīdiene [совр. Blīdene] (лтш.) [сокращение ME].

Brugmann Grdr.^{2} — *Brugmann K., Delbrück B.* Grunriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2. Aufl. Bd. I–II. Straßburg. 1897–1916.

Būga RR — *Būga K.* Rinktiniai raštai. T. I–III. Vilnius, 1958–1961 (указатели: *Būga K.* Rinktiniai raštai. Rodyklės. Vilnius, 1962).

C. — *J. Cīruļa* (no Drustiem) dotais vārdu saraksts ~ die von *J. Cīrulis* aus Drostenhof gegebenen Wörter: RKr., XV: 70–103 [сокращение ME].

Ch; Chl — Biblie su didžiu dabojimu perguldita Lietuwos žmonėms Ant iszganitingos naudos, iszspausta Londone 1660 m.; Biblia litewska *S. B. Chylińskiego*. Nowy Testament. T. II (Tekst): 1958; T. III (Indeks): 1964. Poznań [сокращения LKŽ].

D. = тексты *Н. Даукши* (DK и DP).

Derksen 1996 — *Derksen Rick*. Metatony in Baltic. Amsterdam–Atlanta, 1996.

Dk = *Mikalojus Daukša* [сокращение LKŽ].

DK — *Mikalojaus Daukšos* 1595 metų katekizmas. Vilnius, 1995 [буква K (вместо №-а строки) указывает на колонтитул].

DLKŽ — Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / Red. *J. Balčiconis*. Vilnius, 1954, 1972 и др.

Dond. — (диал.) Dondangen (нем.) = Duñdanga (лтш.) [сокращение ME].

DP — материал из «Постилы *Н. Даукши*» цитируется по изданию: *Daukšos* Postilė. Fotografuotinis leidimas. Kaunas, 1926.

Dr. — (диал.) Druweenen [совр. Druween] (нем.) = Druviena (лтш.) [сокращение ME].

Dunika (лтш.) — диал. [= нем. Dunniken; источник ME].

Endz.–Haus. — *Endzelīns J.* un *Hauzenberga E.* Papildinājumi un labojumi *K. Mūlenbacha* Latviešu valodas vārdnīcai. Sēj. I–II. ~ *Endzelin J.* und *Hausenberg E.* Ergänzungen und Berichtigungen zu *K. Mühlenbachs* Lettisch-deutschem Wörterbuch. Bd. I–II. Rīga, 1934–1946.

Ērģ. — *Kagaine E.*, *Raģe S.* Ērģemes izloksnes vārdnīca. T. 1–3. Rīgā, 1977–1983.

Erwa(h)len, Erw. (нем.) = (диал.) Ārlava (лтш.) [источник ME].

Ev. 1139 — среднеболгарское Евангелие конца XIV в. // НБКМ № 1139, цитируется по работе: *Wolfgang Hock*. Der Flexionsakzent im mittelbulgarischen Evangelie 1139 (NBKM), Bd. I: Akzentgrammatik, Bd. II: Akzentwörterbuch. München, 1992.

Garde 1976 — *Garde P.* Histoire de l'accentuation slave. T. 1–2. Paris, 1976.

Gr. — *Endzelin J.* Lettische Grammatik. Rīgā, 1922.

Gr.-Essern — (диал.) Groß-Essern (нем.) = Liēl-Ezere [совр. Liēlezere] (лтш.) [сокращение ME].

Gr.-Jungfernh., Gr.-Jungfernhof, Gr.-Jgfh., Gr.-Jgfrnh. — (диал.) Groß-Jungfernhof (нем.) = Liēl-Jumprava [совр. Liēljumprava] (лтш.) [сокращение ME].

H — Vocabularium Lithuanico-Germanicum et Germanico-Lithuanicum, darin alle im Neuen Testament und Psalter befindliche Wörter nach dem Alphabet enthalten sind... ausgefertigt von *F. W. Haack*... zur Zeit Docente im Lithauischen Seminario zu Halle. Halle, 1730. H с номерм стр. = немецко-русская часть словаря [сокращение LKŽ].

Iw. — (диал.) Iwanden (нем.) = Īvande (лтш.) [сокращение ME].

J = Jušk. [сокращение LKŽ].

J[5] — Svotbïnė rėda Velůnýčių Lietùvių surašýta par *Antáną Juškėvičę* 1870 mėtůse. Kazanius, 1880.

JR — *Rozwadowski Jan.* Litewska gwara okolic Zdzięcioła na Nowogródczyźnie. Kraków, 1995.

Jürg., Jürgensb. — (диал.) Jürgensburg (нем.) = Jaûnpils, Zaube [сокращение ME].

Jušk. — *Юшкевичъ А.* Литовскій словарь. Вып. I–III. СПб., 1904–1922.

K = KLD [сокращение LKŽ].

Karls. — vārdi, ko *Karlsons* (no Naukšēniem) iesniedzis *K. Mūlenbacham* ~ Wörter, die *Karlson* aus Naukschen *K. Mühlenbach* eingereicht hat [сокращение ME].

Katzd., Kazd. — (диал.) Katzdangen (нем.) = Kazdanga (лтш.) [сокращение ME].

Kl. — Prof. *J. Kauliņš* no Sausnējas [= нем. Saussen; сокращение ME].

KLD — Littauisch-deutsches Wörterbuch von *Friedrich Kurschat*. Halle, 1883.

Kluge Urgermanisch — *Kluge Fr.* Urgermanisch. Vorgeschichte der Altgermanischen Dialekte. Strassburg, 1913.

KlvrŽ — (диал.) Žemaĩčių Kalvarijà [в сов. время Vrd, см.], Plùngės raj. [сокращение LKŽ].

Kr. — die Wortliste *Krumbergs*: Mag. XVI, 2: 66ff. [сокращение ME].

Kreuzb. — (диал.) Kreuzburg (нем.) = Krustpils (лтш.) [сокращение ME].

Kucała — *Kucala M.* Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.

Kv — (диал.) Kvédarna, Šilālės raj. [сокращение LKŽ].
LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas (2-as leidimas). T. I–XX. Vilnius, 1968–2002. (Доступен online по адресу www.lkz.lt.)
L — Lietuviškos ir angliškos kalbų žodynas / Sutaisė *Antanas Lalis*. Chicago, 1915 [сокращение LKŽ].
Līn. — vārdi, ko uzrakstījis *K. Līniņš* no Aizputes apgabala ~ von *K. Līniņ* aufgeschriebene Wörter aus der Umgegend von Hasenpot [сокращение ME].
Linde — *Lindes* intonēti vārdi ~ von *Linde* gegebene Wörter [Mag. XVI, 2: 43ff.; источник ME].
Lis — (диал.) Lisohn [совр. Lysohn] (нем.) = Lizums (лтш.) [сокращение ME].
LRKŽ — *Lyberis A.* Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1962, 1971 и др.
Lyb. — *Lyberis A.* Lietuvių-rusų kalbų žodynas. Vilnius, 1988.
M — *Miežinis M.* Lietuviszkai-latviškai-lenkiszkai-rusiszkas žodynas. Tilžėje, 1894 [сокращение LKŽ].
Mag. — Magazin, heraugeg. von der lettisch-literarischen Gesellschaft. Mitau [= лтш. Jęĩgava], 1928ff. [сокращение ME].
Mar., Marienb. — (диал.) Marienburg (нем.) = Alûksne (лтш.) [сокращение ME].
ME = Mühl.–Endz.
Miklosich Lex — *Miklosich Fr.* Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum emendatum auctum. Vindobonae, 1862–1865.
Mikulėnienė 2005 — *Mikulėnienė Danguolė.* Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė. Vilnius, 2005.
Ms — (диал.) Mósėdis, Skuõdo raj. [сокращение LKŽ].
Mühl.–Endz. — *Mūlenbachs K.* Latviešu valodas vārdnīca / Rediģējis, papildinājis, turpinājis *J. Endzelīns*. Sēj. I–IV. ~ *Mühlenbach K.* Lettisch-deutsches Wörterbuch / Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von *J. Endzelin*. Bd. I–IV. Rīgā, 1923–1932.
MŽ — Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch, worinn das vom *Pfarrer Ruhig* zu Walterkehmen ehemals herausgegebene zwar zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern, Redens-Arten und Sprüchwörtern zur Hälfte vermehret und verbessert worden von *Christian Gottlieb Mielcke*... Königsberg, 1800 [сокращение LKŽ].
N — *Nesselmann G. H. F.* Wörterbuch der Littauischen Sprache. Königsberg, 1851 [сокращение LKŽ].
NdŽ — Lietuvių rašomosios kalbos žodynas. Lietuviškai-vokiška dalis. I–IV t. / Sudarė *M. Niedermann'as, A. Senn'as, F. Brender'is* ir *A. Salys*. Heidelberg, 1932–1963.
Nerft, Ner. (нем.) = (диал.) Nęręta (лтш.) [источник ME].
Nigr. — (диал.) Nigranden (нем.) = Nīgranda (лтш.) [сокращение ME].
N.-Peb. — (диал.) Neu-Pebalg (нем.) = Jaûn-Piēbalga [совр. Jaûnpiēbalga] (лтш.) [сокращение ME].
n. RKr., n. U. — по RKr. или nach RKr. (см.), по *Ulmann* или nach *Ulmann* (см. $U_{(.)}$).
Ober-Kurl., Oberk. — (диал.) Ober(-)Kurland (нем.) = Augš-Kurzeme [совр. Augškurzeme] (лтш.) [сокращение ME].
Osthoff KZ 23 — *Osthoff H.* Etymologisches, Lautliches und Grammatisches // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Bd. XXIII. Berlin, 1876. S. 84–94.
Otr.gr. — *Otrębski J.* Gramatyka języka litewskiego. T. I (Wiadomości wstępne. Nauka o głoskach): 1958; T. II (Nauka o budowie wyrazów): 1965; T. III (Nauka o formach): 1956. Warszawa.
Otr.Twer. — *Otrębski J.* Wschodniolitewskie narzecze twereckie, I. Kraków, 1934.
PS. — Prof. *P. Šmits* no Raũnas [совр. тж. Rona, = нем. Ronneburg; сокращение ME].
R — Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon, Worinnen ein hinlänglicher Vorrath an Wörtern und Redensarten, welche sowol in der H. Schrift, als in allerley Handlun-

gen und Verkehr der menschlichen Gesellschaften vorkommen, befindlich ist: Nebst einer historischen Betrachtung der Littauischen Sprache; Wie auch einer gründlichen und erweiterten Grammatick, mit möglichster Sorgfalt, vieljährigem Fleiss, und Beyhülfe der erfahrensten Kenner Sprache gesammelt von *Philipp Ruhig* ... Königsberg, 1737 [сокращение LKŽ].

RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. T. I–XXIII. Zagreb. 1880–1976.

RKr. — Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas rakstu krājums [сокращение ME].

Rtr — Lietuviškai-latviškas žodynas / Sudarė *J. Ryteris*. Ryga, 1929 [сокращение LKŽ].

Ruj. — (диал.) Rujen (нем.) = Rūjiena (лтш.) [сокращение ME].

Salis, Sal. (нем.) = (диал.) Liēl-Salaca [совр. Liēlsalaca] (лтш.) [источник ME].

Salisb. — (диал.) Salisburg [также Waltenberg] (нем.) = Maz-Salaca [совр. Mazsalaca, Valbergi] (лтш.) [сокращение ME].

Schujen (нем.) = (диал.) Skujene (лтш.) [источник ME].

SD — Dictionarium trium lingvarum, In usum Studiosae Iuventus, Avctore ... *Constantino Szyrwid* ... Qvinta editio ... Vilnae ... M. DCC.XIII. SD1 — 1-е издание (ок. 1629). SD3 — 3-е издание (1642). (Цифры указывают страницы.) [сокращение LKŽ].

Serbigal, Serbig. (нем.) = (диал.) Cirgaļi (лтш.) [источник ME].

Seržants 2003 — *Seržants Ilja*. Die Intonationen der suffixalen und Endsilben im Lettischen. Synchronie und Diachronie // Baltu filoloģija. XII (1). Rīgā, 2003.

Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatsoga ili srpskoga jezika. ~ Dictionnaire étymologique de la langue croate ou serbe. Knj. I (A–J): 1971; Knj. II (K–poni¹): 1972; Knj. III (pōni²–Ž): 1973; Knj. IV (Kazala ~ Les indexes): 1974. Zagreb.

SkŽD — *Skardžius Pr.* Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943.

Skr — (диал.) Skiřsnemunė, Jùrbarko raj. [сокращение LKŽ].

Slnt — (диал.) Salantaĩ, Kretingõs raj. [сокращение LKŽ].

SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. I–V. Ljubljana, 1970–1991.

Š — Lietuvių ir rusų kalbų žodynas / Sudarė *J. Šlapelis*. Vilnius, 1921 [сокращение LKŽ].

Šl. — *Šlapelis J.* Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas. 2-oji laida. Vilnius, 1940.

Tr. — *Treilanda* (no Rokaižiem Aizputes apkārtnē) intonēti vārdi viņa apakšā minētos izdevumos ~ von *Treiland* in seinen unten genannten Ausgaben intonierte Wörter [1) Tr., Treil., Treiland mat. — *Трейландъ* [*Ѳ. Я.*] .Матеріалы ‹къ› [ME: по] этнографіи латышскаго племени [// Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія. «Труды этнографическаго отдѣленія», кн. VI]. M., 1881; 2) Tr. nar. p., Treil. nar. p. — *Трейландъ* [*Ѳ. Я.*]. Латышскія народныя пѣсни [въ русской транскрипціи и передачѣ // Сборникъ антропологическихъ и этнографическихъ статей. Т. II]. M., 1873] [сокращение ME].

Trgn — (диал.) Taurāgnai, Utenõs raj. [сокращение LKŽ].

Trik. — (диал.) Trikaten (нем.) = Trikâta (лтш.) [сокращение ME].

Tw. — материал из диал. Тверечюс (Tverėčius, Ignalìnos raj.), приводится по [Otr.Twer.].

U (сокращение [Būga RR]), U. (сокращение ME) — *Ulmann Carl Christian*. Lettisches Wörterbuch. Ertser Th. (Lettisch-deutsches Wörterbuch): 1872; Zweiter Th.: (Deutsch-lettisches Wörterbuch): 1880. Riga.

Up — (диал.) Upýna, Šilālės raj. [сокращение LKŽ].

Vn — (диал.) Vainùtas, Šilùtės raj. [сокращение LKŽ].

Vrd — (диал.) Várduva [в советское время, «бывш. KlvrŽ»; сокращение LKŽ].

Wands. — (диал.) Wandsen (нем.) = Vandzene (лтш.) [сокращение ME].

Wolm. — (диал.) Wolmar (нем.) = Vaĩmiêra (лтш.) [сокращение ME].

Zabeln (нем.) = (диал.) Sabile (лтш.) [источник ME].

Ziet. — *Vidugiris Aloyzas*. Zietelos šnektos žodynas. Vilnius, 1998.

Zietį. — *Vidugiris Aloyzas*. Zietelos Lietuvių šnekta. Vilnius, 2004.

Zögenhof (нем.) = (диал.) Sēja (лтш.) — [источник ME].

Zt. — (диал.) Zíetela (лит.) [сокращение LKŽ] = Дзя́тлава (блр.) = Дя́тлово (рус.) = Zdzięcioł (пол.) = זשעטל [Žetl] (идиш), рай. ц. Гродненской обл. (Белоруссия).

А. А. Зализняк

Эволюция энклитик в истории русского языка

Для древних индоевропейских языков характерно существование фразовых (то есть относящихся по смыслу ко всей фразе в целом) энклитик, расположение которых во фразе подчиняется так наз. закону Вакернагеля, состоящему в том, что такие энклитики ставятся в конце первой тактовой группы фразы. При соединении фразовых энклитик друг с другом их взаимное расположение подчиняется ранговому принципу. По своей жесткости ранговая организация энклитик близка к правилам порядка морфем внутри словоформы.

Среди живых славянских языков максимально четкий механизм вакернагелевских энклитик сохранен в сербском и хорватском. (К ним приближаются в этом отношении закарпатские и прикарпатские говоры.) Здесь соответствующие правила (в частности, правило взаимного порядка энклитик) вошли даже в состав традиционных грамматик (чего нельзя сказать о других славянских языках).

В живых восточнославянских языках от этой системы осталось так мало, что грамматисты ее вообще не отмечают (особые свойства закарпатских говоров тоже оставались почти незамеченными в научной литературе). Более того — молчаливо предполагалось, что такова же была ситуация и в древнерусском. Следует признать, что для этого были и некоторые объективные основания: до открытия берестяных грамот (точнее, до систематического анализа их синтаксиса) понять, что это не так, было действительно нелегко.

Анализ берестяных грамот с полной очевидностью показал: закон Вакернагеля в живом древнерусском действовал, причем вполне активно и последовательно. И, как это часто бывает, вскоре после этого обнаружилось, что данное явление хорошо прослеживается также и по ряду других древнерусских памятников (давно известных), только на это не обращали необходимого внимания.

Функционирование энклитик в русском языке последнего тысячелетия отмечено быстрыми по меркам истории языков изменениями — к счастью для лингвистов, достаточно хорошо прослеживаемыми по памятникам. На протяжении этого тысячелетия одни единицы постепенно включаются в категорию энклитик, другие из нее (или вообще из языка) выпадают; изменяются и сами механизмы размещения энклитик

во фразе. В результате формируется новая система энклитик, в которой уже очень мало что осталось от древнерусской системы.

Древнейшие энклитики, унаследованные из праславянского, — *же, ли, бо, ти* (частица) и местоимения Д. падежа (*ми, ти, си* и т. д.). Как в старославянском, так и в древнерусском они обладают вполне устойчивым просодическим статусом.

Позднее входят в категорию энклитик местоимения В. падежа (*мѧ, тѧ, сѧ* и т. д.), глагольные словоформы *бы, быхъ* (и т. д.), еще позднее — связки. В старославянском единицы этих групп выступают в качестве энклитик лишь в части случаев (в связи с чем А. Вайян называет их полуэнклитиками). Но в живом древнерусском языке они уже практически не отличаются по своему поведению от старых энклитик.

Фразовые энклитики (за вычетом самых редких) включены в древнерусском языке в следующую систему рангов: 1) *же* (противительное, причинное, усилительное), 2) *ли* (частица, не союз), 3) *бо*, 4) *ти* (частица), 5) *бы*, а также *быхъ, быхомъ, быша* и т. д. (в качестве показателей сослагательного наклонения), 6) энклитические формы местоимений в Д. падеже (*ми, ти, си* и т. д.), 7) энклитические формы местоимений в В. падеже (*мѧ, тѧ, сѧ* и т. д.), 8) связки (*есмь, еси* и т. д.).

Ранговые системы разных славянских языков неодинаковы между собой, из чего ясно, что они складывались в значительной мере независимо друг от друга в ходе истории отдельных языков. В частности, система рангов сербских энклитик, хотя и имеет много общего с древнерусской, все же далеко с ней не совпадает. Наиболее заметное отличие здесь состоит в том, что связки (кроме *je*) составляют в сербском один из начальных рангов, а в древнерусском — последний ранг.

Важнейшее понятие, необходимое для понимания действия вакернагелевского механизма — ритмико-синтаксический барьер. Оно впервые предложено мною в работе Зализняк 1993 (с. 286); но здесь необходимо рассмотреть его подробнее.

Это понятие представляет собой важное дополнение к закону Вакернагеля: без него этот закон выглядит гораздо менее точным механизмом, чем на самом деле. Оно позволяет объяснить большое число кажущихся нарушений закона Вакернагеля. Тем самым становится ясно, что этот закон действовал в древнерусском языке гораздо более последовательно и строго, чем это представляется на первый взгляд.

Имеется в виду следующее. Начальная часть фразы может быть как бы отчленена (в произношении этому может соответствовать короткая остановка или пауза, но может и ничего не соответствовать); правила о распо-

ложении энклитик действуют после этого так, как если бы отчлененной части во фразе вообще не было. Иначе говоря, действительное начало клаузы заменяется (с точки зрения действия этих правил) точкой «условного начала», находящейся непосредственно после отчлененной части.

Именно эту точку «условного начала» мы и называем ритмико-синтаксическим барьером (в недвусмысленном контексте может быть сказано просто «барьер»). Ритмико-синтаксический барьер как бы преграждает энклитикам возможность продвинуться влево, к действительному началу фразы. Он отсекает начало фразы таким образом, что сферой действия закона Вакернагеля оказывается лишь послебарьерная часть фразы.

Чтобы яснее понять, что такое ритмико-синтаксический барьер, полезно обратиться к современному русскому языку, поскольку остатки древней системы в нем все еще существуют. Лучше всего сохранило древние «вакернагелевские» свойства противительное и усилительное *же*: оно до сих пор с высокой последовательностью ставится после первого полноударного слова фразы. Например: *Ты же сам знаешь*; *Второго же числа он уже уедет*; *Вчера же Петя этого еще не знал* и т. п.; также с проклитиками: *Но я же вам говорил*; *Так Иван же Петрович отказался* и т. п. (Правда, современный язык, в отличие от древнего, уже допускает постановку *же* не после одного, а после двух полноударных слов, если они образуют смысловое единство, например: *Иван Петрович же отказался*; *Железную дорогу же ему не оплатят* и т. п.)

Но *же* все-таки может оказаться не после первого, а после одного из последующих полноударных слов и в других случаях, например: *Вчера Петя же этого еще не знал.* Чем же отличается фраза с *Вчера Петя же ...* от фразы с *Вчера же Петя ...*? Нетрудно убедиться, что *Вчера Петя же...* произносится с маленькой остановкой после *вчера* или по крайней мере с некоторым протяжением конечного *а* в этом слове; а на уровне смысла ощущается некоторый нажим на это *вчера*: подчеркивается, что фактор времени тут играл решающую роль. Всё это значит, что данную фразу можно представить так: *Вчера // Петя же этого еще не знал*; то есть что здесь имеется ритмико-синтаксический барьер. Это и есть современный аналог того, что мы предполагаем для древнерусского.

И мысленный эксперимент показывает, что во фразах с «ушедшим вправо» противительным *же* (сочетания типа *железная дорога* не в счет) перед той тактовой группой, в которую оно входит, как правило есть подобный же барьер, например: *Без записки от родителей // его же не отпустят*; *На первый рейс // он же никак не мог успеть*; *Такую работу // они же в любом городе найдут*.

Одни барьеры обязательны, другие факультативны. Обязательны барьеры:

1) После начинающего клаузу обращения, междометия, вводного слова. Пример: *кнѧже, // ты сѧ на насъ не гнѣваи.*

2) После вклиненной деепричастной клаузы или после вклиненного придаточного. Примеры: *зане ѡнъ, мнии боуда, // не покорить ми сѧ*; *и все доброє дѣꙗниє, ꙗже человѣкы въводить в раи, // путь сѧ нарѣчеть.*

3) После вынесенного в начало общего члена двух или более клауз. Пример: *доколѣ со Всеволодомъ и с Давыдомъ // любо сѧ оуладимъ, любо сѧ не оуладимъ.*

В факультативном порядке барьер может быть поставлен после любой целой актантной или инородной группы (но внутри актантной группы барьер в нормальном случае стоять не может — по крайней мере в древнерусском языке).

Факультативных барьеров, как и обязательных, во фразе может быть несколько.

В отличие от обязательных барьеров, факультативный барьер возникает не автоматически. Он представляет собой просодическое выражение некоторого выделения того или иного звена фразы (или хотя бы его ритмического отделения от последующего текста). Такое выделение всегда предполагает соответствующую интенцию говорящего, а ее, разумеется, может и не быть. Соответственно, одна и та же (если не считать размещения энклитик) фраза может быть реализована как с барьером, так и без него.

Общий принцип состоит в том, что фразы без барьера предполагают сообщение без каких-либо специальных выделений или подчеркиваний, тогда как наличие барьера говорит о том, что начальное слово (или словосочетание) в какой-то степени выделено. Например, *оуже <u>есмь</u> пошелъ* означает ‘я уже выступил в поход’ (в ситуации, когда адресат этого уже ожидал); а *оуже // пошелъ <u>есмь</u>* означает приблизительно: ‘уже произошло вот что: я выступил в поход’ (в ситуации, когда адресат не знал, как будут развиваться события).

Этот пример, между прочим, может служить иллюстрацией того, что место энклитик в древнерусской фразе, которому интерпретаторы чаще всего не придают никакого значения, могло в действительности заметно видоизменять смысл фразы и передавать семантические детали, которых носитель современного языка уже не чувствует. Можно привести аналогии и из современного языка: например, во фразе *Вчера Петя <u>же</u> этого еще не знал*, даже если после *вчера* никакой реальной паузы или замедления ритма нет, место энклитики

же заставляет слушателя воспринимать слово *вчера* как несколько выделенное по смыслу. Иначе говоря, и сейчас может оказаться так, что выделение некоторого слова выражено только тем, куда попадает энклитика.

Из сказанного понятно, что никаких формальных правил, которые позволили бы гарантированно предсказать реализацию некоторого факультативного барьера, построить невозможно. Можно говорить лишь о факторах, которые повышают вероятность реализации факультативных барьеров.

Основные семантические факторы: 1) противопоставление или эмфаза (*кнѧже, // мы не на тѧ // востатѣ есмы, но не хочемь кланѧтисѧ попадьи*); 2) наиболее общие случаи соотнесенности (*онъ ..., а ты ...*); 3) прочие случаи выделения темы (*а братьиа // прислалисѧ ко мнѣ*); 4) выделение обстоятельства (*и тогда // мьщюсѧ Всеволодоу ѡбидъı своеѣ*).

Основной синтаксический фактор — усложненная структура фразы (или просто большая длина предглагольной части фразы). Чаще всего таким фактором оказывается неодночленная начальная актантная группа (*а дроужина моиа // изнемогласѧ*; *а в Руськои земли // не велю ти быти*); реже такой же эффект дает срединная тяжелая группа.

Важный факт, ранее не отмечавшийся, представляет собой различие между двумя классами энклитик, которые можно назвать сильными и слабыми энклитиками.

Сильные энклитики почти всегда располагаются в том месте фразы, которого требует закон Вакернагеля в его простейшем виде, т.е. без модификаций, проистекающих из наличия барьеров. Иначе говоря, они весьма редко подвергаются действию барьера (который заставил бы их уйти правее этого места). Напротив, слабые энклитики подвергаются такому действию (и, соответственно, оказываются правее некоторого барьера) сравнительно часто. При наличии барьера нередко происходит разделение энклитик: сильные остаются левее барьера, а слабые ставятся правее его.

В древнерусском языке сильными являются энклитики первых пяти рангов указанной выше шкалы, слабыми — энклитики последних трех рангов.

Следует, правда, признать, что градация здесь в действительности не строго бинарная, а ступенчатая; в частности, ранг 6 в принципе можно считать и переходным, поскольку энклитики этого ранга в некоторых отношениях приближаются к сильным. Но для практических целей обычно достаточно деления на два класса.

Особое явление, при котором проявляется различие двух классов энклитик, — так называемое разделение энклитик, которое в большинстве случаев состоит в том, что сильная энклитика остается левее барьера, а слабая уходит правее его. Например: *ты же // реклъ еси.*

Сильные энклитики — почти всегда более древние (= ставшие энклитиками очень давно), а слабые — сравнительно молодые (= еще недавно бывшие полноударными).

В истории русского языка период максимально полного и последовательного функционирования энклитик — это древнерусский период, в особенности его ранняя половина, т.е. XI — начало XIII века.

Позднее начинается процесс постепенного распада этой системы. Он идет по двум линиям.

Первая линия — это выход из употребления и последующее полное исчезновение из языка существенной части древних энклитик.

Из числа сильных энклитик со временем исчезают частицы *бо* и *ти* — просто как лексические единицы. Соответствующие значения начинают передаваться другими средствами (или даже, как в случае с некоторыми из значений частицы *ти*, они уже более никак не передаются — так что часть древних фраз с *ти* вообще невозможно адекватно перевести на современный язык).

В сфере слабых энклитик в ходе эволюции реализуется следующая закономерность: во всех случаях, когда у энклитики имелся акцентно самостоятельный синоним, из двух членов синонимической пары сохраняется только акцентно самостоятельная словоформа, а энклитика выходит из употребления. Это значит, что древние конструкции типа *даи ми*, *кланяю ти сѧ*, *увижу тѧ* замещаются новыми *даи мнѣ*, *кланяюсѧ тобѣ*, *увижу тебе* (позднée *тебѧ*). Эта закономерность распространяется также на пары, образуемые связкой и соответствующим личным местоимением, типа *ѥсмь – ѩзъ*, *ѥси – ты* (где первый член есть энклитика, а второй — акцентно самостоятельная словоформа); а именно, древние конструкции *далъ есмь*, *купилъ еси*, *знали есте* и т. п. замещаются новыми *ѧ далъ*, *ты купилъ*, *вы знали.*

Такое замещение энклитик акцентно самостоятельными словоформами представляет собой не что иное, как результат постепенного расширения тех возможностей, которые существовали уже в рамках древней системы. В самом деле, древняя система тоже позволяла передавать соответствующие значения с помощью акцентно самостоятельных словоформ; но эта возможность использовалась только в некоторых особых случаях — прежде всего при смысловом выделении или под-

черкивании. Дальнейшее развитие есть частный случай хорошо известного явления «износа» экспрессивности, когда средство передачи экспрессии постепенно утрачивает свою первоначальную силу и данный способ выражения становится нейтральным; соответственно, из редкого он превращается в преобладающий или даже единственный.

Так, первоначальное правило употребления полноударных *мънѣ*, *тобѣ*, *мене*, *тебе* и т. д. предписывало их использование только в строго очерченном круге синтаксических позиций и в случае смыслового выделения. Но со временем формируется новое правило, снимающее эти ограничения и допускающее употребление полноударных местоимений в любых контекстах. То же самое происходит в сфере употребления местоимений-подлежащих: древнее правило содержало жесткие ограничения, которые новое правило снимает.

В описанном развитии не было никакого взрыва или перелома; просто полноударные варианты с ходом времени стали употребляться всё шире и чаще, а энклитические всё уже и реже, пока последние не сошли вообще на нет.

Указанные изменения практически означают исчезновение всех слабых энклитик, кроме *сѧ*. У этой энклитики акцентно самостоятельный синоним (*себе*) имелся только в сочетаниях с предлогом (*за сѧ* – *за себе* и т. п.); и в этой своей функции *сѧ* имело ту же судьбу, что и прочие слабые энклитики, т. е. исчезло, уступив место полноударному *себе* (позднée *себѧ*).

Но в приглагольном употреблении, т.е. в своей основной функции, *сѧ* не могло участвовать в данном процессе, поскольку в этой функции у него не было полноценного акцентно самостоятельного синонима.

В самом деле, в винительном падеже парность *сѧ* – *себе* (в более позднюю эпоху *себѧ*) ограничена практически лишь позицией после предлога; например, *за сѧ* и *за себе* значат одно и то же. Что же касается возвратных глаголов, т.е. основной сферы применения *сѧ*, то здесь *сѧ* не равнозначно *себе*. *Сѧ* имеет гораздо более широкий круг функций, чем *себе*. В частности, оно может быть средством передачи пассивного значения (скажем, *посѣкати сѧ*), может сочетаться с непереходными глаголами (*бѣлѣти сѧ*, *загорѣти сѧ*, *па́сти сѧ* 'упасть' и т. п.) или с глаголами, не употребляемыми в простой форме (*боѭти сѧ*, *смиѭти сѧ*, *сумьнѣти сѧ* и т. п.) и др. Во всех этих случаях соответствующее сочетание с *себе* невозможно. Даже там, где, казалось бы, сочетания с *сѧ* и с *себе* должны означать одно и то же, реально практически всегда имеется большее или меньшее различие в значе-

ниях; например, не равны по значению *хвалити себе* и *хвалити сѧ*, *называти себе* и *называти сѧ*, *слушати себе* и *слушати сѧ* и т. д.

Показательна в этом отношении также другая точка системы, где в нарушение общего правила уже в глубокой древности было невозможно заменить *сѧ* на *себе* (в данном случае речь идет о *себе* в функции Р. падежа). Такую точку составляют возвратные супины, например, *бить сѧ*. Супин управляет Р., а не В. падежом, следовательно, ожидалось бы **бить себе*. Но реально сохраняется то же *сѧ*, которое выступает в остальных формах. Это значит, что пара «глагол + *сѧ*» уже образует тесное единство, где элемент *сѧ* утрачивает свой статус словоформы В. падежа и становится неизменяемым.

Разрешением указанной коллизии стало то, что *сѧ* постепенно перешло в постоянную контактную постпозицию к глаголу и превратилось в морфему — часть глагольной словоформы. Тем самым как энклитика *сѧ* точно так же перестала существовать, как и прочие слабые энклитики. Но, в отличие от них, физически *сѧ* сохранилось — в новом качестве.

Связь между исчезновением в русском языке (и других восточнославянских) всех слабых энклитик и сращением *сѧ* с глагольной словоформой косвенным образом подтверждается ситуацией в южно- и западнославянских языках: здесь, с одной стороны, не исчезли энклитики **mi*, **mę*, **jesmь* и т. д., с другой — не произошло сращения **sę* с глагольной словоформой.

Вторая линия распада первоначальной системы — это постепенное выведение начальной части фразы из сферы действия закона Вакернагеля с помощью ритмико-синтаксических барьеров, в силу чего энклитики удаляются от начальной тактовой группы. Здесь тоже эволюция осуществляется за счет все более широкого использования факультативных возможностей, заложенных уже в первоначальной системе. Так, механизм превращения древней фразы типа *ѿ мене сѧ ему поклони* в современную *от меня ему поклонись* в сущности сводится к максимальному использованию всех допустимых факультативных барьеров: *ѿ мене сѧ ему поклони* → *ѿ мене // ему сѧ поклони* → *ѿ мене ему // поклони сѧ*.

При этом в чем большей степени постпозиция энклитики становилась нормой, в тем меньшей степени здесь становился нужным реальный барьер как средство смыслового выделения чего бы то ни было. В конечном счете постпозиция энклитики стала законной в любом синтаксическом контексте — без того, чтобы для этого требовался какой-либо барьер.

Таким образом, в трансформации энклитики *сѧ* действовал тот же механизм эволюции, который проявился в процессе исчезновения слабых энклитик: средства, первоначально предназначенные только для выделения или подчеркивания, со временем теряют экспрессивность и становятся нейтральными.

Помимо основной совокупности фразовых энклитик, очерченной при описании системы рангов, в ходе истории русского языка достаточно рано появляются и некоторые другие единицы, которые хотя бы в части случаев ведут себя как фразовые энклитики: *нъ*, *былъ* (*было*, *были*), *вѣдѣ* (*вѣдь*), *дѣи* (*дѣ*), *мол*, *рече* и др. В современном литературном языке от них сохранилось только *было* и *ведь*; в сниженном стиле и в просторечии сохранились также *де* и *мол*.

Из старых фразовых энклитик основного круга в литературном языке остаются только *же*, *ли*, *бы*. Эти «выжившие» энклитики и поныне до некоторой степени сохраняют свои древние свойства в том, что касается их места в предложении. В частности, ни одна из них ни при каких условиях не может стоять в начале клаузы.

В наибольшей степени сохраняет древние позиционные свойства частица *же* (противительная, причинная, усилительная). В безусловном большинстве случаев и поныне ее позиция во фразе соответствует требованиям закона Вакернагеля (разумеется, с учетом возможности появления ритмико-синтаксических барьеров). Отклонения касаются в основном соединений частицы *же* с неодночленной актантной группой. В этом случае современный узус неустойчив — возможны, с одной стороны, фразы типа *Иван же Петрович отказался*, *Железную же дорогу там проложить нельзя*, *Собственного же дома у него нет* (с непроективностью, требуемой здесь законом Вакернагеля), с другой — фразы типа *Иван Петрович же отказался*, *Железную дорогу же там проложить нельзя*, *Собственного дома же у него нет* (где *же* уже не нарушает проективности, но нарушает закон Вакернагеля).

В значительной части случаев сохраняет вакернагелевскую позицию также частица *ли*, например: *Не пустое ли дело ты затеял?*; *В своем ли ты уме?* Такую позицию *ли* может занимать даже и в том случае, когда оно уже выступает в роли союза (обычно парного: *ли... ли...*), причем в роли клаузы здесь оказывается каждое из связываемых словосочетаний, например: *в большом ли городе*, *в глухой ли деревушке...*

У частицы *бы* наследием ее прежнего вакернагелевского статуса является прежде всего то, что, будучи теснейшим образом связана по

смыслу со сказуемым, она тем не менее и ныне может уходить от него сколь угодно далеко влево. Наследием вакернагелевского статуса является также запрет на дистантную постпозицию к сказуемому (возможна только контактная постпозиция). Например, невозможно **Он этого не понял никогда бы* — при том, что и после *он*, и после *этого*, и после *понял* частицу *бы* здесь поставить можно.

Сохраняется также, хотя и не полностью, древняя ранговая организация энклитик *же*, *ли*, *бы*. Так, в НКРЯ последовательность *ли бы* отмечена около 700 раз (например, *Не согласились ли бы вы?* [Петрушевская]), а последовательность *бы ли* — только 5 раз.

Последовательность *же бы* отмечена 303 раза, например, *Что же бы вы думали, ваше сиятельство?* [Пушкин] (но из этого числа следует вычесть около 70 примеров с отождествительным *же*, которое является локальной, а не фразовой энклитикой и тем самым к рассматриваемому вопросу отношения не имеет); последовательность *бы же* отмечена только 3 раза.

Для пары *же* и *ли* аналогичная проверка, к сожалению, затруднена тем, что *же* в соседстве с *ли* — это почти всегда отождествительное *же* (например, *Такой же ли это цвет?*). Редкие примеры соединения *ли* с противительным *же*, содержащиеся в НКРЯ, имеют тот же порядок, что в древности: *Не все же ли это равно для него?* [Белинский]; *Не сейчас же ли вы говорили?* [Герцен].

Из сравнительно поздних фразовых энклитик полнее других сохраняют вакернагелевские свойства энклитики *было* и *де*. Так, *было* никогда и *де* почти никогда не встречается в начале фразы; и самым частым местом их расположения во фразе до сих пор является конец первой тактовой группы фразы, то есть главная вакернагелевская позиция.

Что касается прочих более поздних фразовых энклитик — *ведь*, *мол*, а также новых местоименных энклитик (*его*, *ее*, *их*, *ему*, *ей*, *им* и др.), то все они выступают в качестве энклитик не постоянно, а лишь в части случаев. Любая из них в принципе может оказаться и в начале фразы, например: *Ведь я же вас предупреждал.* Расположение в главной вакернагелевской позиции является для них не более чем тенденцией.

При соединении со старыми энклитиками любая из поздних ставится правее, например: *же ведь*, *бы ведь*, *ли де*, *же мол*, *ли мол*, *же их* и т. д. Обратный порядок возможен лишь там, где *ведь*, *мол*, *их* и т. д. выступают не в энклитическом, а в полноударном варианте (в частности, в начале фразы или после проклитики), например, *А ведь бы мог!* (наряду с более обычным *А ведь мог бы!*), *Их же знают*

и т. п. В прочих случаях такой порядок был бы воспринят как явная неправильность. Это значит, что ранговый принцип действует и в современном языке, несмотря на существенное сужение сферы функционирования энклитик по сравнению с древнерусским языком.

В изучении истории древнерусских энклитик эффективен метод количественных оценок: при наличии обширного документального материала статистические данные позволяют выявить темпы эволюции изучаемого фрагмента синтаксического строя на протяжении всей письменной истории русского языка.

Нами были изучены с этой точки зрения процесс замещения энклитических местоимений полноударными, процесс замещения связок личными местоимениями и процесс закрепления за энклитикой *сѧ* позиции непосредственно после глагольной словоформы, превративший ее из самостоятельного слова в морфему.

В качестве примера продемонстрируем вкратце результаты наблюдений над последним из этих процессов, представляющим наибольший интерес для истории русского языка.

Мерой продвижения некоторой точечной языковой системы (например, системы, отраженной конкретным памятником) по пути превращения словоформы *сѧ* в морфему может служить коэффициент препозиции *сѧ* (Q) — отношение числа случаев препозиции *сѧ* к общему числу случаев употребления *ся* во фразах с неначальной позицией глагола (т. е. таких случаев, где в принципе допустима как постпозиция, так и препозиция *сѧ*).

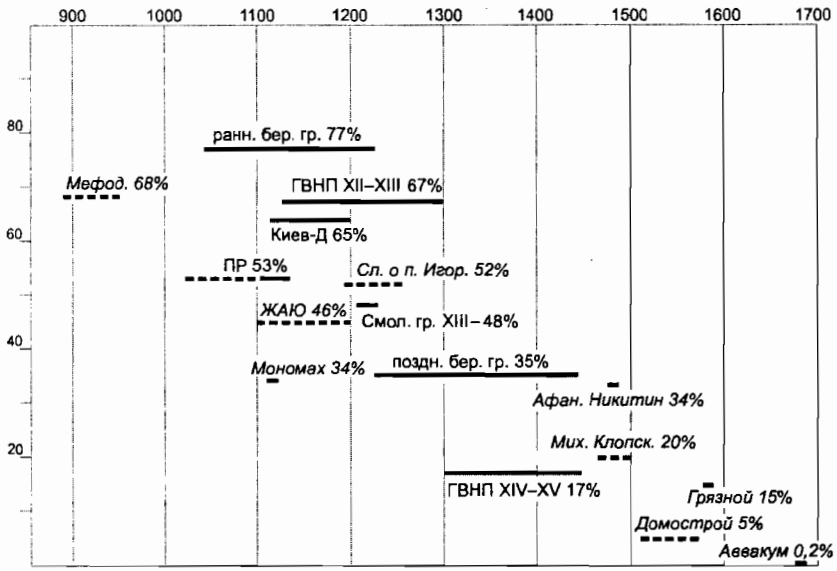
Самое высокое значение коэффициент Q принимает в берестяных грамотах домонгольского времени; здесь он равен 77%. (Этот коэффициент нигде не равен 100%, поскольку какое-то число факультативных барьеров, пусть небольшое, реализуется даже и в древнейших текстах.) С другой стороны, в современном языке Q очевидным образом равно нулю; и такое состояние практически было уже достигнуто в XVII в.

Можно было бы ожидать, что, изучая памятники разных веков, мы станем свидетелями плавного снижения коэффициента препозиции *сѧ* от высших показателей в XI–XII вв. до нуля в новое время. Анализ памятников показывает, однако, что реальность намного сложнее.

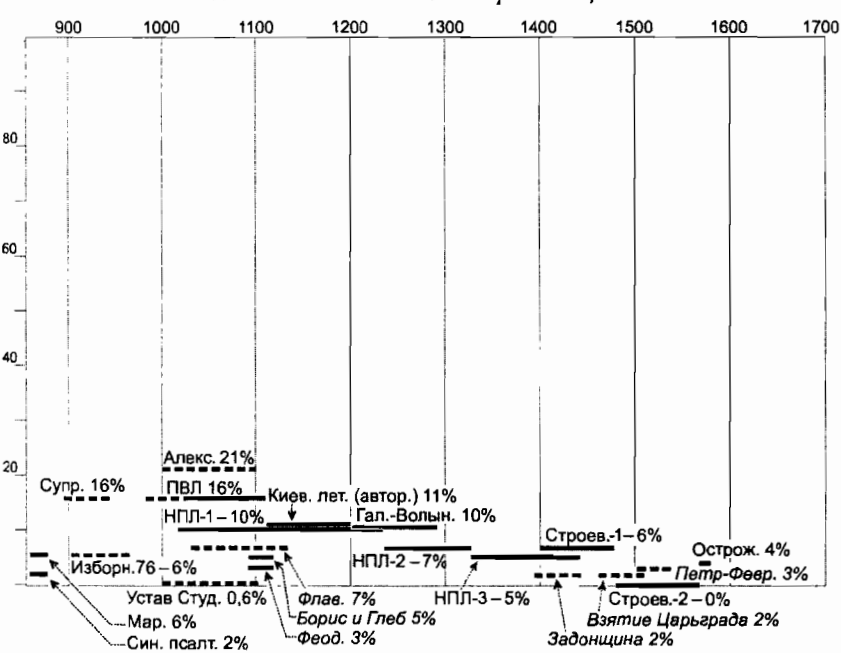
Ниже приводятся две диаграммы, демонстрирующие результаты этого анализа. В них показан коэффициент препозиции *сѧ* в нескольких десятках памятников X–XVII вв. (включая некоторые старославянские).

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕПОЗИЦИИ *СА*: ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

А. Памятники некнижной ориентации



Б. Памятники книжной ориентации



Оказалось необходимым подразделить памятники на две группы, обозначенные (с некоторой долей условности) как памятники некнижной ориентации и памятники книжной ориентации. В первую входят деловые и бытовые документы, а также такие литературные произведения, которые обнаруживают более или менее ясно выраженную ориентацию на живой, некнижный язык. Во вторую входят церковные тексты (старославянские и более поздние церковнославянские), а также литературные произведения книжной ориентации и летописи.

В диаграммах каждый памятник представлен линией (или точкой), соответствующей на хронологической шкале времени его сочинения или перевода (но не изготовления дошедшего до нас списка). Пунктирная линия означает, что это время известно лишь приблизительно. Для библейских текстов и «Домостроя» отражено время составления соответствующей редакции.

Линия, символизирующая памятник, располагается на высоте, соответствующей величине коэффициента препозиции *сѧ* в этом памятнике.

Курсивом даны обозначения литературных произведений и пространных посланий, прямым шрифтом — грамот, летописей и церковных памятников. Расшифровку обозначений см. в списке сокращений.

Как можно видеть из диаграмм, наше ожидание плавного уменьшения коэффициента препозиции *сѧ* от высших значений до нуля оправдывается только в сфере памятников некнижной ориентации.

Совершенно иную картину дают памятники книжной ориентации. Здесь с самого раннего времени коэффициент препозиции *сѧ* удивительно низок, а в некоторых ранних памятниках (например, в Уставе Студийском) он практически такой же нулевой, как в современном русском языке.

При этом, однако, нет оснований предполагать, что живая южнославянская речь отличалась в этом отношении от восточнославянской: в частности, в непереводном Житии Мефодия *сѧ* ведет себя как в живом древнерусском языке.

Объяснение явно нужно искать в другом: кирилло-мефодиевские переводы трактовали энклитики (по крайней мере слабые) как полноударные словоформы. Это соответствовало особой торжественной манере чтения текста, при которой каждое слово полновесно и в определенной степени отделено от соседей. В то же время это, в частности, давало возможность ставить сочетания глагола с *сѧ* на то же место во фразе, что и соответствующая единая словоформа медиума или пассива, представленная в греческом оригинале; отсюда решительное преобладание постпозиции *сѧ* в древних переводах.

А далее такое поведение энклитик по контрасту с живым языком, где действует четкий вакернагелевский механизм, уже переосмысляется как характерная черта книжного стиля.

Постоянную постпозицию *сѧ* можно сравнить в этом отношении, например, с неповторением предлога в сочетаниях типа *къ отьцу своему*, *въ городѣ Пьсковѣ*. В живом древнерусском языке, в отличие от кирилло-мефодиевских переводов, нормой здесь было повторение предлога: *къ отьцу къ своему*, *въ городѣ въ Пьсковѣ*. В этой ситуации неповторение предлога стало восприниматься как черта книжного стиля.

Характерно, что в обоих случаях в том же направлении развивался и живой русский язык; только он достиг того состояния, которое соответствует книжной норме древнерусского периода, лишь на несколько столетий позднее.

Отметим, наконец, значение изложенных выше наблюдений для лингвистической истории славянского мира в целом.

Если мы непосредственно сравним поведение энклитик, например, в сербском и в старославянском, то непременно должны будем заключить, что в сербском вакернагелевский механизм действует гораздо последовательнее, чем в старославянском. Отсюда легко может возникнуть представление о позднем развитии этого механизма в отдельных новых славянских языках.

Однако открывающаяся ныне картина четкого функционирования энклитик в живом древнерусском языке свидетельствует о неправдоподобии такой гипотезы. Раннедревнерусская система энклитик, засвидетельствованная всего лишь одним-двумя веками позже классических старославянских источников, намного более последовательна, чем то, что представлено в кирилло-мефодиевских переводах; и мы имеем все основания считать именно эту систему наиболее прямым отражением общеславянского состояния.

Вектор эволюции раннедревнерусской системы энклитик в последующие века, состоящий в постепенном ослаблении действия закона Вакернагеля, дает основание предполагать, что в века, предшествующие началу письменной истории древнерусского языка, действие этого закона было еще более последовательным, чем в XI–XII веках.

Тем самым, в частности, и современные южнославянские системы энклитик надлежит выводить не из состояния, сходного с показаниями старославянских памятников, а из реконструируемого состояния, весьма близкого к раннедревнерусскому.

Таким образом, изучение истории восточнославянских энклитик оказывается весьма информативным и для понимания их эволюции в славянском мире в целом.

ЛИТЕРАТУРА И СОКРАЩЕНИЯ

Аввакум — «Житие» протопопа Аввакума, 1670-е гг.

Алекс. — Александрия, перевод XI в.

Афан. Никитин — «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, 1470-е гг.

Борис и Глеб — Житие Бориса и Глеба, XI/XII в.

Вайян — *Вайян А.* Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

Взятие Царьграда — Повесть о взятии Царьграда турками, XVв.

Гал.-Волын. — Галицко-Волынская летопись (за XIII в.) по Ипат.

ГВНП XII–XIII — пергаменные грамоты XII–XIII вв. из собрания «Грамоты Великого Новгорода и Пскова».

ГВНП XIV–XV — пергаменные грамоты XIV–XV вв. из собрания «Грамоты Великого Новгорода и Пскова».

Грязной — письма Василия Грязного, 1576 г.

ЖАЮ — Житие Андрея Юродивого, перевод XI–XII вв.

Зализняк 1993 — *Зализняк А. А.* К изучению языка берестяных грамот // *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993. С. 191–318.

Изборн. 76 — Изборник 1076 г.

Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. М., 1962.

Киев. лет. (автор.) — авторская речь в Киевской летописи (за XII в.) по Ипат.

Киев-Д — прямая речь в Киевской летописи (за XII в.) по Ипат.

Лавр. — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись. Вып. 1–3. Л., 1926–1928.

Мар. — Мариинское евангелие.

Мефод. — Житие Мефодия.

Мих. Клопск. — Житие Михаила Клопского, XV в.

Мономах — сочинения Владимира Мономаха.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка: http://www.ruscorpora.ru.

НПЛ — Новгородская первая летопись.

НПЛ-1 — Синодальный список НПЛ, записи за 1016–1234 гг.

НПЛ-2 — Синодальный список НПЛ, записи за 1235–1337 гг.

НПЛ-3 — Комиссионный список НПЛ, записи за 1333–1446 гг.

Острож. — книга Экклезиаста по Острожской Библии 1581 г.

ПВЛ — «Повесть временных лет» по Лавр.

Петр.-Февр. — Повесть о Петре и Февронии, XV в.
Поздн. бер. гр. — поздние (XIII–XV вв.) берестяные грамоты.
ПР — Правда Русская.
Ранн. бер. гр. — ранние (XI — нач.XIII в.) берестяные грамоты.
Син. псалт. — Синайская псалтирь.
Сл. о п. Игор. — Слово о полку Игореве.
Смол. гр. XIII — смоленские грамоты XIII в.
Строев.-1 — Строевский список Псковской 3-й летописи, записи за 1400–1478 гг.
Строев.-2 — Строевский список Псковской 3-й летописи, записи за 1479–1567 гг.
Супр. — Супрасльский кодекс.
Устав Студ. — Устав Студийский, перевод XI в.
Феод. — Житие Феодосия, XI/XII в.
Флав. — «Иудейская война» Иосифа Флавия, перевод XI в.

Н. Н. Запольская

Грамматика и субграмматика славянских литературных языков (XVI–XVIII вв.): теория и история норм

1. Типы норм. Движение лингвистики от понимания языка как функциональной системы знаков к пониманию языка как особой динамической данности, присущей человеку, предстает как движение от этнолингвоцентризма к антрополингвоцентризму. Интерес человека к самому человеку актуализирует понятие «языкового поведения», которое отражает мнемонический и операциональный, интуитивный и рефлективный процессы взаимодействия человека с языком. В свете антропоцентрических научных воззрений *норма* предстает как *результат лингвистической рефлексии авторитетных носителей языка, содержанием которой является выбор языковых элементов в позициях потенциальной вариативности.* Необходимость нормы возникает при нарушении «прозрачности» языка, обусловленной формальной или формально-семантической избыточностью и недостаточностью. Позиции потенциальной вариативности, т.е. *позиции выбора*, позволяют решать проблемы избыточности/недостаточности, при этом позиции, в которых решается только одна проблема, являются *мононормативными* в отличие от *полинормативных* позиций, в которых могут быть решены разные проблемы. Процедура выбора элементов в отдельной позиции заключается в действии механизмов *унификации, дифференциации* или *мотивированной вариативности.* Объем выбора элементов задает *состав норм,* а цели и задачи выбора определяют *характер норм.*

Обращение носителей языка потенциально ко всем позициям выбора, возможным в рамках осмысляемого литературного языка, приводит к созданию ***формационных норм*** [Едличка 1988: 140]. Цель выбора языковых элементов состоит либо в исправлении функционирующего литературного языка, либо в создании нового литературного языка, что определяет ***корректирующий*** или ***креативный характер***

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» по проекту «Русская книжно-языковая культура XIV–XVII вв.: типология текстов, языковых норм и книжно-языковой рефлексии».

норм. В зависимости от конкретных задач выбора нормы оказываются ***функционально*** (***генетически***) ***мотивированными*** или ***немотивированными.*** В ситуации, когда носители языка обращаются к литературному языку как к отдельной данности, решая задачу языковой «правильности», выбираемые ими элементы становятся показателями «правильности» независимо от функциональных и генетических параметров. Рассмотрение литературного языка в контексте других литературных языков или в его отношении к языку повседневного общения, а также рассмотрение литературного языка в динамике приводит к тому, что идея «правильности» осложняется или заменяется установками на «чистоту», «понятность» или «архаизацию/новизну» литературного языка. Выбираемые элементы при этом получают функциональную или генетическую мотивацию, т. е. оцениваются как «свои//чужие», «книжные//некнижные», «старые//новые». Реализуясь в конкретном времени и в конкретном пространстве, нормы обладают и разными *признаками*, т. е. разной *степенью стабильности и распространенности.*

Обращение носителей языка уже к отобранному языковому материалу, т. е. расширение или сужение его границ с целью культурно-идеологической спецификации отдельных языковых элементов, приводит к созданию норм, которые могут быть названы ***делимитативными нормами.*** В процессе создания делимитативных норм носители языка учитывают императивы культуры, которые предписывают языку либо специфическую семантику, либо специфическую сферу употребления, что задает различие ***идеосемантических*** и ***идеофункциональных норм.*** Идеосемантические нормы возникают в результате наложения на исходную языковую семантику дополнительной, культурно переменной семантики, например, в результате рассмотрения элементов в рамках оппозиции «сакральное//профанное». Идеофункциональные нормы предполагают наложение на потенциально полифункциональные языковые элементы определенной культурно переменной функциональной обязанности, например, рассмотрение элементов в рамках оппозиций «поэтическое//прозаическое» или «высокое//низкое». Соответственно, именно делимитативные нормы демонстрируют своеобразное «языковое моделирование культурных ценностей» [Топоров 1995: 432]. Позиции, в которых происходит пересечение формационных и делимитативных норм, образуют *перекрестки норм*, задающие кульминацию лингвистической рефлексии.

Базовыми формационными и делимитативными нормами являются нормы морфологические, которые формируют ***нормативную грамматику*** и ***субграмматику*** языка. Выбор элементов осуществляется

либо на уровне грамматических категорий при решении проблем формально-семантической избыточности/недостаточности, либо на уровне формантов при решении проблем формальной избыточности/недостаточности.

Динамика норм, обусловленная, с одной стороны, системными изменениями языка, а с другой стороны, нормализаторскими установками носителей языка, предстает как процесс активного реагирования носителей языка на рефлективные опыты друг друга, поскольку мысль, обращенная на язык, будучи «гуманитарной мыслью», всегда «рождается как мысль о чужих мыслях» [Бахтин 1986: 297]. Содержанием процесса *культурно-языкового реплицирования* являются два типа изменений — *смена норм,* т.е. изменения в составе формационных и делимитативных норм, и *сдвиг норм*, т.е. переход формационных норм в делимитативные.

Нормы языка, отвечающие на вопрос, какие элементы допустимы в литературном языке, следует отличать от ***норм употребления языка***, отвечающих на вопрос, как должны употребляться языковые элементы. Своеобразным «нормативным пограничьем» являются идеофункциональные нормы, отвечающие на оба вопроса. В зависимости от характера реализации языка выделяются ***коммуникативные нормы***, регулирующие употребление элементов в соответствии с ситуативно-коммуникативными стратегиями, и ***текстовые нормы***, регулирующие употребление элементов в соответствии со структурно-функциональным статусом текста (ср.: [Едличка 1988: 135–148]).

Нормы языка и нормы употребления языка подвергаются кодификации, «осознаваемой и принимаемой в определенную эпоху данным языковым коллективом как набор обязательных правил» [Там же: 66). *Аналитический тип кодификации* задает нормы эксплицитно, на уровне метатекстов — грамматик, словарей, поэтик и риторик, а *синтетический тип кодификации* представляет нормы имплицитно, на уровне текстов-образцов (см.: [Там же: 70]; ср.: [Живов 2004: 44]). Тип кодификации влияет на *тип освоения* норм и тем самым на соотношение *декларативного и процедурного знания норм.*

Характер проведения выработанных и кодифицированных норм в языковую практику определяется нормативной приобщенностью носителей языка и статусом бытующих текстов. Носители языка, вырабатывающие, кодифицирующие или активно реализующие нормы, могут быть названы *носителями нормы* и противопоставлены *пользователям нормы*, осваивающим и пассивно реализующим нормы, а также *пользователям узуса*, обладающим лишь определенными навы-

ками. Различия в нормативном статусе текстов выражаются в том, что одни жанры должны демонстрировать «дисциплинирующую принудительность» [Аверинцев 1996: 11] норм, а другие могут представлять только привычность узуса.

Характер норм, характер кодификации, освоения и реализации норм задаются типом и вариантом культуры, а также конкретной культурно-исторической ситуацией, поскольку *норма*, будучи результатом рефлексии, порожденной в определенное время и в определенном пространстве, является *категорией исторической.*

Для исследования нормализаторской рефлексии представляется необходимым использовать особую *технику выявления норм,* включающую следующие операции:

— установление целей и задач лингвистической рефлексии и тем самым установление характера норм,

— выделение из метатекстового и текстового пространства рассматриваемой эпохи «сильных источников», т.е. метатекстов и текстов, созданных носителями норм,

— определение позиций выбора, задающих формационные и делимитативные нормы,

— реконструкция процедуры выбора при создании формационных норм в мононормативных и в полинормативных позициях,

— реконструкция процедуры выбора при создании делимитативных норм в позициях, являющих собой перекресток норм,

— рассмотрение норм в динамике, т.е. выявление позиций смены норм и сдвига норм.

При этом исследование литературно-языковых норм конкретного исторического периода может включать разный состав операций, а также может носить «полевой» или «точечный» характер, т.е. учитывать все или некоторые релевантные позиции выбора.

В настоящей работе техника выявления норм в «точечном» варианте применяется для изучения славянской нормализаторской рефлексии XVI–XVIII вв.

2.0. Формационные нормы церковнославянского языка XVI–XVIII вв. В конце XVI — начале XVIII в. в славянских культурно-языковых пространствах лингвистическая рефлексия, имевшая ***корректирующий характер***, была обращена на церковнославянский язык, однако парадигмы рефлексии различались, поскольку отражали разные идеологемы.

В пространстве Slavia Orthodoxa на протяжении XVII в. идея православного изоляционизма сменялась идеей православного универса-

лизма, развившейся под влиянием культурно-языкового пограничья, при этом выражением разных идеологем являлся церковнославянский язык, понимаемый либо как «свой», либо как «общий» литургический и литературный язык православных славян. Лингвистическая мысль была направлена на поддержание языковой «правильности», которая не актуализировала функциональные и генетические параметры выбираемых элементов. Нормализаторская рефлексия получила выражение в грамматических сочинениях Юго-Западной и Московской Руси, составляющих цепочку конкурирующих кодификаторских реплик:

Грамматика Зизания 1596 г. **Грамматіка словенска** (Зизаний 1596, далее ГЗ) < анонимный трактат **Кніга глмаꙗ грмматіка по ꙗзыку словенску**, написанный в Московской Руси около 1620 г. и содержащий критику норм, которые предлагал **лаврентій зизаній во своей грамматіцѣ**, а также связанный с ним трактат **Кніга глемаꙗ буквы грамматічнаго оученіѧ** (Грамматический сборник 2002, далее Кгг, Кгб);

Грамматика Смотрицкого 1619 г. **Грамматіки Славенскиѧ правилное Сунтагма** (Смотрицкий 1619, далее ГС) < московская редакция грамматики Смотрицкого, подготовленная Роговым и Наседкой, **Грамматика** 1648 г. (Грамматика 1648, далее Г 1648) < грамматические сочинения Поликарпова — **Грамматіка** 1721 г. (Грамматика 1721, далее Г 1721), связанный с ней рукописный трактат **Художество грамматіческое**, а также рукописный трактат 1725 г. **Технологіа то есть художное собесѣдованіе ѿ грамматіческом художествѣ...** (Поликарпов 2000, далее ГПх, ГПт).

Особый интерес представляет ранее неизвестная анонимная рукописная грамматика 30-х гг. XVII в. — ***Грамматика доброгливаго и пространнаго словенского ꙗзыка*** (далее ГА), автор которой, **избравъ ѿ многих воедино совокупивъ**, составил **книгу, глемую грамматику** [ГА: л. 1 об.], явившуюся репликой одновременно и на грамматику Зизания, и на грамматику Смотрицкого[1].

В культурно-языковом пространстве Slavia Latina реализовалась концепция христианского универсализма, в рамках которой актуализировалась идея возвращения славян к единству по вере посредством

[1] Автору статьи удалось обнаружить грамматику в рукописном отделе ГИМ в составе сборника XVII в.: Син. 734, 4°, русская скоропись разных рук, 277 л., текст грамматики содержится на л. 1–102; водяные знаки — кувшин под полумесяцем с литерами N/FT на тулове, кувшин под полумесяцем с литерами I/PO; 1631–1633 гг. [Дианова 1989: № 157, 158, 161]; в настоящее время осуществляется подготовка грамматики к научному изданию.

конфессионального подчинения греческого мира латинскому. Мотивированная данной идеей лингвистическая рефлексия была обращена на церковнославянский язык как изначально общий славянский литургический и литературный язык для достижения не только его «правильности», но также «чистоты» и «понятности» для всех славян, в силу чего выбираемые элементы оценивались с точки зрения происхождения и употребления. Выразителем идеи единения славян по вере посредством единения по языку стал Крижанич, написавший лингвистические сочинения Объасньѣнїе вн҃вóдно о пн҃смѣ Словѣнском 1660–1661 гг. (Крижанич 1891, далее КОб.) и Граматúчно изказа̑нїе об рꙋ̑ском їезúкꙋ 1666 г. (Крижанич 1859, далее КГИ), которые явились результатом «исправления» грамматики Смотрицкого 1619 г. [Запольская 2003: 97–148, 183–212].

Представления книжников о церковнославянском языке наиболее последовательно реализовались при выработке и кодификации именных норм. Особое напряжение лингвистической мысли проявилось при рассмотрении книжниками имен мужского рода, поскольку в рамках данных парадигм решались проблемы и омонимии, и синонимии, а также проблемы семантической и функциональной спецификации.

2.1. Функционально и генетически немотивированные нормы.

2.1.1. Проблема омонимии. Характерная для пространства Slavia Orthodoxa идея поддержания «правильности» церковнославянского (сло/авенскаго) языка предполагала решение проблем формальной недостаточности/избыточности. В конфессиональной культуре особую важность приобретал вопрос снятия омонимии, поскольку слова и формы в императивных текстах культуры, по которым созидалась жизнь верующих, должны были обладать ясностью. Соответственно, лингвистическая рефлексия славянских книжников была направлена в первую очередь на слова и формы, которые два разꙋма содержат. Снятие омонимии было возможно двумя способами — орфографическим, основанным на дистрибуции графических элементов, и грамматическим, предполагавшим включение в состав средств выражения неомонимичных формантов. При этом книжники соотносили разные способы снятия омонимии с разными видами омоморфемности: в рамках именного словоизменения числовая омонимия снималась по преимуществу орфографическими средствами, а падежная омонимия — грамматическими средствами.

Особое внимание славянские книжники уделяли омонимии по числу, поскольку в грамматико-риторической традиции классических языков непременным признаком «правильности» языка считалось

«правильное обозначение множественного и единственного числа» [Аверинцев 1996: 385]. Основным графическим средством снятия числовой омонимии являлись дублетные буквы о, є, ꙋ / ѡ, Є, оу и ь, и, а / ъ, ы, ѧ (после непарных t и t'), которые наделялись смыслоразличительными функциями, т.е. книжники **разꙋмѣли единство и множество писменами**. Использование данного орфографического способа для разрешения числовой омонимии было мотивировано ориентацией на греческую модель, в рамках которой буквы о / ѡ маркировали формы единственного и множественного числа [Успенский 2002: 326–328]. Экстраполирование данного принципа дифференциации грамматических омонимов на славянский материал привело к расширению состава противопоставленных букв и к расширению возможностей их употребления, поскольку славянские книжники реализовали дистрибуцию не только во флексиях, но и в основах, особенно при невозможности дистрибуции во флексиях. Однако, несмотря на расширение состава и расширение условий реализации дублетных букв, использование их в качестве «числовых» показателей не могло привести к последовательной и единообразной дифференциации форм. По этой причине славянские книжники пытались использовать и другие графические средства: надстрочные знаки (оксия или вария//камора), а также строчные и прописные буквы. Такая конкурентная демонстрация разных дифференцирующих графических средств представлена в трактате **Кнїга гл҃маꙗ грⷨматїка по ꙗзыкꙋ словенскꙋ**, автор которого, представляя процесс словоизменения как изменение последней буквы слова, возражал против употребления Зизанием дублетных букв не в абсолютном конце слова и предлагал снимать любую грамматическую омонимию оппозицией конечных строчных и прописных букв: **Лаврєньтїй зизанїй в началѣ своеѧ грⷨматицѣ вкратцѣ обꙑꙗви различїе множественых і єдинственых писменъ, оно круглым и троеро́гим... но оꙋво тако достоитъ писати, ідѣже слꙋчитсѧ онъ в концѣ рѣчѣ, а не в среднѣ... Всѧко бо рѣчѣ і имене паденїе і склоненїе послѣднее писмо наричетсѧ... на слоѩно не токмо онъ различен лицем потребен, но і всѧ ꙗ҃, гласных писмена двообразна требѣ притѧжати. обꙗвленїѧ раѧ єдинственаго і множественаго разꙋма во імено же і рѣчех... Їхже двообразнаѧ лица се єсть. а А, є Є. и И. і І. о ѡ. ꙋ оꙋ. ъ Ъ. ы Ы. ь Ь. ѧ Ѧ** [Кгг: л. 3–4]. Несмотря на то, что такое «двообразное» написание являлось универсальным средством снятия числовой омонимии, оно не было распространено. При невозможности последовательного устранения числовой омонимии орфографическим способом книжники использовали в качестве дополнительного способа грамматический способ.

Разные условия и, соответственно, разные пути снятия числовой омонимии представлены в омонимичных рядах **Т. ед. = Д. мн.** и **И. ед. = Р. мн.** имен м. р. на t.

В ряду **Т. ед. = Д. мн.** все книжники использовали только орфографический способ, поскольку флексия *-омъ* позволяла последовательно и единообразно снимать омонимию противопоставлением букв *о* / *ѡ*. Отсутствие флексии *-амъ* свидетельствовало об избыточности в позиции **Д. мн.** грамматических средств для снятия омонимии, а отнюдь не о «консервативности дат. мн.» и не об «отсутствии стремления избавиться от омонимии» (ср.: [Живов 2004: 355]).

-омъ / -ѡмъ

ГЗ: **бо́гомъ / бг҃ѡм, чл҃комъ / чл҃кѡмъ, снѣ҃гом / снѣгѡм** (л. 26 об.–27 об.),

ГС 1619 = Г 1648 = Г 1721: **Клевре́том / клевре́тѡм, ѩрмо́мъ / ѩрмѡ́мъ, во́иномъ / во́инѡм, дрꙋ́гомъ / дрꙋ́гѡмъ, проро́комъ / пророкѡм, грѣхо́мъ / грѣхѡ́мъ, сн҃омъ / сн҃ѡм, сн҃о́вѡмъ, до́момъ / до́мѡмъ** [ГС: л. 43–58, Г 1648: л. 105–118 об.; Г 1721: л. 39 об.–53 об.],

ГА: **члко́м / члкѡмъ, другом / дрꙋгѡмъ** (л. 39 об.),

ГПх: **бг҃омъ / бг҃ѡм, сосꙋ́домъ / сосꙋ́дѡмъ** (с. 120–121).

В ряду **И. ед. = Р. мн.** книжники предлагали разные способы и разные средства снятия омонимии, поскольку омонимичная флексия -ъ (нулевая флексия) не давала возможности использовать оппозицию дублетных букв в окончании.

Зизаний устранял омонимию орфографическим и грамматическим способом, вводя в **Р. мн.** на правах вариантов неомонимичную флексию *-ѡвъ* и омонимичную флексию -ъ, при наличии которой в основах реализовалась оппозиция букв *о* / *ѡ*.

(о)-ъ / -ѡвъ, (ѡ)-ъ

Бо́гъ / бг҃ѡв, бѡг, Чл҃къ / чл҃кѡвъ, члѡве́къ, Снѣ҃гъ / снѣгѡв, снѣ҃гъ (л. 26 об.–27 об.).

Смотрицкий также снимал омонимию орфографическим и грамматическим способом, однако он ограничивал сферу реализации грамматических средств, расширял состав дифференцирующих графических средств и вводил принцип дифференциации флексий. Характер флексий в **Р. мн.** был мотивирован структурой слова: для односложных имен на правах вариантов вводились флексии *-ѡвъ* и -ъ, а для многосложных имен нормативной являлась только флексия -ъ. При наличии флек-

сии -ъ у односложных имен омонимия последовательно снималась противопоставлением надстрочных знаков и возможным противопоставлением букв *о* / *ѡ* в основе, у многосложных имен омонимичность компенсировалась возможным противопоставлением не только букв *о* / *ѡ*, но и букв *є* / *ѥ* в основе. Московские книжники Рогов и Наседка воспроизвели эту схему снятия омонимии в грамматике 1648 г.

(́, ѻ́)-ъ / -*ѡвъ*, (ᾶ, ѿ)-ъ (односложные сущ.)

дрꙋ́гъ / дрꙋ́гѡвъ, и҆лѝ дрꙋ̑гъ, грѣ́хъ / грѣхѡ́въ и҆лѝ грѣ̑хъ, сн҃ъ / сы̑нъ и҆лѝ сынѡ́въ, до́мъ / до́мѡвъ и҆лѝ дѡ̑мъ (ГС: л. 46–47 об., 50–50 об., 57 об.–58; Г 1648: л. 109–109 об., 110–110 об., 114–114 об., 118–118 об.),

(*о*)-ъ / (*ѡ*)-ъ, (*є*)-ъ / (*ѥ*)-ъ (многосложные сущ.)

ю҆родъ / ю҆рѡ́дъ, проро́къ / прорѡ̑къ (ГС: л. 44 об.–47; Г 1648: л. 107–109 об.),

клевре́тъ / клеврѥ́тъ, ꙗ҆ре́мъ /ꙗ҆рѥ́мъ, ѻ҆те́цъ / ѻ҆тѥ́цъ, чва́нецъ / чва́нѥцъ (ГС: л. 43–44, 48–48 об., Г 1648: л. 105–106 об., 110–111 об.).

Автор анонимной грамматики использовал только орфографический способ, признавая нормативной флексию -ъ, при которой омонимия устранялась возможным противопоставлением в основе не только букв *о* / *ѡ*, но и букв *ꙋ* / *ꙋ́*.

(*ꙋ*)-ъ / (*ꙋ́*)-ъ

дрꙋгъ / дрꙋ́гъ (л. 39 об.).

Поликарпов, наоборот, расширял сферу реализации грамматического способа снятия омонимии и предлагал в своих лингвистических сочинениях разные возможности использования грамматических средств. Так, в **Хꙋдо́жестве грамматі́ческом** характер флексий был мотивирован грамматическими особенностями имен, при этом пересекались уровень формантов и уровень грамматической категории одушевленности/неодушевленности: в **Р. мн.** одушевленные имена получали только флексию -*ѡвъ*, а неодушевленные допускали вариативность флексий -*ѡвъ*, -ъ. В грамматике 1721 г. Поликарпов следовал Зизанию, а не Смотрицкому, допуская вариативность флексий -*ѡвъ*, -ъ для всех имен мужского рода.

ГПх:

-ъ / -*ѡвъ* (одушевленные сущ.)

Бг҃ъ / Бг҃ѡвъ (Сни́це, оц҃ъ, сн҃ъ, дх҃ъ, Інс҃ъ, Хрⷭ҇то́съ, Прр҃окъ, ѻ҆́рестъ и҆ вся про́чая *ѡ҆душевленныѧ и҆́мена*, Члк҃ъ, во́инъ, дрꙋ́гъ, и҆ про́чая);

(*о*)-ъ / *-ѡвъ*, (*ѡ*)-ъ (неодушевленные сущ.)

...примѣ́ръ безд҃ушны҃х вещéй... сосꙋ́дъ / сосꙋ́дѡвъ, сосꙋ́дъ (с. 120–121).

Г 1721 (? = ГЗ):

(*о*, *є*)-ъ / *-ѡвъ*, (*ѡ*, *Є*)-ъ

ю҆ро́дъ / ю҆ро́дѡвъ, ю҆рѡ́дъ, во́инъ / во́инѡ҃, вѡ́инъ, проро́къ / проро́кѡ҃, прⷪ҃къ (л. 40–41 об., 43 об.); клевре́тъ / клеврЄтъ, *тѡ҃* (л. 39 об.–40).

Для решения проблем падежной омонимии основным являлся грамматический способ, поскольку сама категория падежа осмыслялась как смена формантов. Снятие омонимии достигалось посредством включения в состав средств выражения неомонимичных флексий, которые вступали с омонимичными флексиями в отношения вариативности или дистрибуции, или становились инвариантами.

Разные возможности преодоления падежной омонимии представлены в омонимичном ряду **В. мн. = Т. мн.** имен м. р. на t.

Зизаний в **Т. мн.** не просто допускал наряду с флексией *-и* флексию *-ами*, а представлял разные схемы отношений флексий, за которыми просматривалась сложная лексико-грамматическая оппозиция «сакральность//профанность: одушевленность/неодушевленность» = *-и*: *-и*, *-ами* / *-ами*, *-и* (ср. [Живов 2004: 355]).

-и = *-и*

бѡгѝ — бѡгѝ (? сакральная лексика)

-и / *-и*, *-ами* (? одушевленные сущ.)

чл҃ки / чл҃ки, чл҃ками

-и / *-ами*, *-и* (? неодушевленные сущ.)

снѣ́ги / снѣ́гами, снѣгѝ (л. 27–27 об.)

Смотрицкий для большинства имен м. р. предлагал в **Т. мн.** вариативность флексий *-ами*, *-ы* (*-и*), для односложного существительного домъ флексия *-ами* выступала как инвариант, а для существительных с неравносложной основой нормативной признавалась омонимичная флексия *-ы*. Схема распределения флексий, представленная Смотрицким, была воспроизведена в грамматике 1648 г.

-ы (*-и*) / *-ами*, *-ы* (*-и*)

клевре́ты / клевре́тами и҆ клевре́ты, а҆рмы̀ / а҆рма́ми, и҆ а҆рмы̀, во́ины / во́инами, и во́ины, дрꙋ́ги / дрꙋ́гами и҆ дрꙋ́ги, проро́ки / проро́ками,

пророки, грѣхи / грѣхами и грѣхи, отцы / отцами, отцы, сыны, и сновы / сны и снами,

-ы / -ами

домы / домами

-ы = -ы

Римляны — Римляны [ГС: л. 43–57 об., Г 1648: л. 105–118 об.; Г 1721: л. 39 об.–53 об.),

Автор анонимной грамматики снимал падежную омонимию посредством введения флексии *-ами* как единственного нормативного форманта.

-ы (-и) / -ами

члки / члками, дрꙋги / дрꙋгами (л. 39 об.)

Поликарпов в трактате **Хꙋдожество грамматическое** предлагал схемы соотношения флексий *-ы (-и)*, *-ами*, напоминающие схемы Зизания: одушевленные имена, включая сакральную лексику, получали две флективные модели — варианты *-ы (-и)*, *-ами* или инвариант *-и*, неодушевленные получали варианты *-ами*, *-ы (-и)* (ср. [Живов 2004: 360]. В грамматике 1721 г. Поликарпов воспроизвел схему Смотрицкого и распространил принцип вариативности на существительные с неравносложной основой.

ГПх (? = ГЗ):
-ы (-и) / -ы (-и), *-ами*, или *-и* (одушевленные сущ.)

Бги / Бги, Бгами, или Бги (Сиꙗце, оц҃ъ, сн҃ъ, дх҃ъ, Іс҃ъ, Хрстосъ, Прокъ, ѿрестъ и вся прочая ѡдушевленых имена, Чл҃къ, воинъ, дрꙋгъ, и прочая),

-ы (-и) / -ами, *-ы (-и)* (неодушевленные сущ.)

...примѣръ бездꙋшных вещей... сосꙋды / сосꙋдами или сосꙋды (с. 120–121),

Г 1721 = Г 1648 +
(+ **Римляны / Римлянами, Рнмляны** — л. 49 об.).

2.1.2. Проблема синонимии. Формальная избыточность могла быть производной, возникающей при снятии омонимии грамматическим способом, или непроизводной, обусловленной наличием стандартных и нестандартных флексий. Книжники не проявляли единства взглядов

в отношении непроизводной избыточности: одни предлагали унификацию флексий, а другие допускали вариативность или дифференциацию флексий.

Разное отношение к формальной избыточности и разные схемы распределения синонимичных флексий представлены в грамматической позиции **И. мн.** имен м. р. на t'.

Зизаний в **И. мн.** для имен на t' допускал вариативность флексий *-и*, *-ѣ*: кѡ́ни и кѡ́нѣ (л. 34 об.).

Смотрицкий стремился сохранить все возможные синонимичные форманты и представлял в **И. мн.** сложную схему дифференциации и вариативности флексий, мотивированную структурой слова. Для большинства имен с основой на t' нормой являлась вариативность флексий *-іе*, *-е*, а для ряда односложных имен вариативность увеличивалась посредством флексии *-еве*.

-іе, *-е*

па́стыріе, па́стыре; матѐжіе, матѐже; свѣди́теліе, свѣди́теле (л. 63 об.–65),

-іе, *-е*, *-еве* (ряд односложных сущ.)

...имена̀ /ѐдиносло́жнаѧ ѝзраѧ́днѣе, растворѧ́ема бы́ти ѡ҆брѣта́емъ... вра́чіе, вра́че, и҆лѝ вра́чеве (л. 72–72 об.).

Автор анонимной грамматики, наоборот, предлагал в **И. мн.** для всех имен с основой на t' только флексию *-іе*: царіе (л. 40 об.).

Московские книжники Рогов и Наседка внесли изменения в схему, предложенную Смотрицким, посредством увеличения зоны и характера вариативности флексий: в **И. мн.** стандартная флексия *-и*, представленная Смотрицким только у имен с основой на t, была распространена на имена с основой на t'. Для разных лексем с основой на t' предлагалась либо вариативность флексий *-іе*, *-и*, либо вариативность флексий *-іе*, *-е*, а для односложных имен допускалась вариативность флексий *-іе*, *-и*, *-еве*.

-іе, *-и*, *-іе*, *-е*

па́стыріе, па́стыри; матѐжіе, матѐже, свидѣ́теліе, свидѣ́теле (л. 122–125),

-іе, *-и*, *-еве* (ряд односложных сущ.)

вра́чіе, вра́чи, и҆лѝ вра́чеве (л. 131–131 об.).

Поликарпов в своих лингвистических сочинениях пытался найти компромисс между схемами, предложенными в грамматиках 1619 г.

и 1648 г. В **Хꙋдо́жестве грамматі́ческом** для большинства имен с основой на t' допускалась только вариативность флексий *-іє*, *-и*, а в грамматике 1721 г. только вариативность флексий *-іє*, *-є*.

ГПх : *-іє*, *-и*
цр҃іє, и҆лѝ цр҃и (с. 124),

Г 1721: *-іє*, *-є*
па́стыріє, па́стыре; мѧте́жіє, мѧте́же; свидѣ́теліє, свидѣ́теле (л. 61–64).

2.1.3. Проблемы омонимии или синонимии. Особую формальную сложность представляли полинормативные позиции выбора, в которых совмещались проблемы омонимии и синонимии, в силу чего книжники должны были решать ту проблему, которая являлась для них наиболее важной. Такой полинормативной позицией являлась позиция **Д. ед.**

Зизаний и автор анонимной грамматики уделяли особое внимание числовой омонимии, учитывая не только необходимость противопоставления форм ед. и мн. числа, но и необходимость противопоставления форм ед. и дв. числа. Для этих книжников значимым стал омонимичный ряд **Д. ед. = Р. (П) дв.**, в котором они снимали омонимию посредством дифференциации дублетных букв *-ꙋ*, (*-ѵ*) / *-оу* и *-ѵ* / *-ꙋ*.

ГЗ: **Д. ед. // Р. дв.:** *-ꙋ*, (*-ѵ*) / *-оу*
бг҃ꙋ, и҆лѝ ѵ / бг҃оу, чл҃кꙋ / чл҃коу, снѣ́гꙋ / снѣ́гоу (л. 26 об.–27).

ГА: **Д. ед. // Р. дв.:** *-ѵ* / *-ꙋ*
дрꙋ́гѵ / дрѵгꙋ (л. 39 об.).

Для Смотрицкого важным было только противопоставление форм ед. и мн. числа, поэтому его лингвистическая мысль оказалась направленной в этой позиции на решение проблем падежной омонимии и синонимии. Для большинства имен Смотрицкий представлял только флексию *-ꙋ*, для односложных имен с вариантными парадигмами во мн. числе он, соответственно, допускал варианты *-ꙋ*, *-ови* (*-еви*). Для лексемы **домъ** вариативность флексий *-ꙋ*, *-ови* (*-еви*) была мотивирована необходимостью снять омонимию в ряду **Д. ед. = Р.**, **З. ед.**, поскольку для этой лексемы в **Р. ед.** и **З. ед.** нормативной признавалась нестандартная флексия *-ꙋ*. Данная схема распределения флексий была воспроизведена в грамматике 1648 г.

Д. ед.: -ꙋ

Клевре́тꙋ, ѩ҆рмꙋ̀, во́инꙋ, ю҆родꙋ, дрꙋ́гꙋ, проро́кꙋ, грѣхꙋ̀, ѻ҆тцꙋ̀, чва́нцꙋ [ГС: л. 43–48 об., Г1648: л. 105–111 об.],

Д. ед.: -ꙋ, *-овн / -еви*

...и҆зрѧ^нѣ̀е є҆дино́сложнаѧ раствори́тисѧ мощн҃и... сы́нꙋ и҆лѝ сн҃ови, жерцꙋ̀ и҆лѝ жерце́ви [ГС: л. 50–50 об., Г 1648: л. 113–113 об.],

Д. ед. // Р. ед., З. ед.: -ꙋ, *-овн / -ꙋ*

до́мꙋ и҆лѝ до́мови / до́мꙋ [ГС: л. 57 об.; Г 1648: л. 118].

Поликарпов в **Хꙋдо́жестве грамматі́ческом** решал в этой позиции формальные и формально-семантические проблемы, соединяя проблему синонимии с проблемой объема реализации категории одушевленности/неодушевленности: одушевленные имена допускали вариативность флексий **-ꙋ**, ***-овн***, а неодушевленные получали только флексию **-ꙋ**. В грамматике 1721 г. Поликарпов воспроизвел схему, представленную в грамматике Смотрицкого и в грамматике 1648 г.

ГПх:

Д. ед.: -ꙋ, *-овн* (одушевленные сущ.)

Бг҃ꙋ н^ѧ Бг҃ови (Сн҃це, оц҃ъ, сн҃ъ, дх҃ъ, Іс҃ъ, Хр^с^то́съ, Прр҃окъ, ѻ҆ре́стъ и҆ вся про́чая ѡ҆душевленны^х^ и҆мена, Чл҃къ, во́инъ, дрꙋ́гъ, и҆ про́чая),

Д. ед.: -ꙋ (неодушевленные сущ.)

сосꙋ́дꙋ... примѣ́ръ бе^з^дꙋ́шны^х^ веще́й... (с. 120–121).

2.2. Функционально и генетически мотивированные нормы.

2.2.1. Проблема омонимии. Лингвистическая рефлексия Крижанича, сформированная в культурно-языковом пространстве Slavia Latina, была направлена на достижение не только «правильности», но также «чистоты» и «понятности» языка, который назывался им **рꙋ́скиѣ кньн҃жниѣ ј҆ези́к**. «Правильность» языка требовала снятия омонимии и синонимии, «чистота» требовала устранения греческого и особенно польского влияния, поскольку в польском языке **полови́на ричѣ̀ ј҆ест от и҆ни́х разни́тих ј҆ези́ков примн҃шена** [КГИ: III], а «понятность» языка диктовала необходимость устранения неупотребительных элементов, в силу чего нормативные элементы получали генетические и функциональные характеристики [Запольская 2003: 97–139, 183–212].

В отличие от юго-западнорусских и московских книжников, использовавших орфографический и грамматический способы снятия чи-

словой омонимии, Крижанич применял только грамматический способ, поскольку орфографический способ воспринимался им как результат недопустимого влияния греческого языка: ...ꙋста́виша пра́вило, да въ ѥдини́чних па́дежѣх пи́шетсе є да о, а во множи̑нних Є да ѡ... А̑бовѣ̑м ꙋ Гре́ков очиви́ста ѥст потрѣ̑ба и причи́на... ра̑зли́чно бо ѥ́ст провлечѣ̑нѥ гла̑са, о́но кра́тко, о́во до́лго. Ꙋ на́с пак тѣ́е разно́сти ни̑т, въ тако́вих мѣ́стѣх. А̑ къ тому́ ѥшще пи̑таем: чему́ невеля̑т во множи̑нниχже па́дежѣх пото́мже пи̑сат ве̑ликого А̑, да великого И?.. пра́вило то ѥст бездѣ̑лно и пи̑смо́ поста́ет несли́чно [КОб.: 12]. При невозможности снятия омонимии средствами, отвечавшими требованиям «чистоты» и употребительности, омонимия признавалась нормой.

В омонимичном ряду **Т. ед. = Д. мн.** имен м. р. Крижанич, не признавая орфографических приемов снятия омонимии, приводил омонимичную флексию *-ом* как единственно возможный нормативный элемент, поддержанный хорватским языком.

-ом

Противник вножи̑нниѣ творі̑тсе ѥдна̑к сь Орꙋ́дником ѥдини́чним: кт̃, против *Братом* [КГИ: 15].

В омонимичном ряду **И. ед. = Р. мн.**, с позиции Крижанича как носителя хорватского языка, представлявшего флексию *-ов* как стандартную, а флексию **-ъ** (нулевую флексию) как нестандартную, именно флексия *-ов* должна была стать нормативным инвариантом.

(-ъ) / *-ов*

***Смотри́цкнь* чини̑т се́ѣ прѣ́ги́б ѩменни̑кꙋ ѥдини́чномꙋ сподо́бен... А̑ от ни́коѣих чини̑т дві̑ кончи́ни... Вса́ ѩмена ли̑по и пра́вилно се творѣ̑т на ОВ... По Херва̑тскꙋ... все́ и́дет пра́вилно на ОВ... А̑ вь ѩних вно̑гих ѩменех, оприч пра́вилного творѣ̑нѩ на ОВ (ко́ѥ ѥст оби́чно льꙋ́дем племени́тим, и чисти́ѥ бесі́ди бригꙋ̑щим) по дрꙋ́гом обли̑чѩꙋ творі̑тсе се́ѣ прѣ́ги́б сподо́бен ѩменни̑кꙋ ѥдини́чномꙋ...** [КГИ: 13, 14].

Для снятия падежной омонимии в ряду **В. мн. = Т. мн.**, по мнению Крижанича, не могла использоваться флексия *-амн*, поскольку она рассматривалась как результат влияния польского языка. В хорватском языке стандартной являлась флексия *-мн*, а нестандартной флексия *-н*, при которой омонимия снималась посредством разницы ударения, в силу этого Крижанич также отдал предпочтение флексии *-мн*, имевшей поддержку и в церковнославянском языке у существительных с основой на t'.

-и / -ми

Нѣмци́ и Жи́дови јесѹт ѹ Ле́хов на́ш јези́к ме́рзко сказѝли, а Билорѹ́сјани сѹт того скажѐнја вного за́вдели: и на сем ми́стѹ чинѐт нестѐрпен прѐврат, јеже о́в прѣги́в творѐт на АМИ... [КГИ: 16].

2.2.2. Проблема синонимии. Формальная избыточность снималась Крижаничем посредством унификации стандартных употребительных флексий.

В **И. мн.** имен м. р. на t' Крижанич признал флексию *-и* единственной нормой:

А по избѝткѹ, и по припро́стом изро́кѹ, двојескла́дни јменни́ки́ преминьа́јѹтсе... на ЄВЄ. А јнијe кончи́ни, на ЈЄ и на Є, јесѹт згола́ ска́зни и ме́рзки...[КГИ: 10–11].

В полинормативной позиции **Д. ед.** Крижанич актуализировал проблему синонимии и решал ее посредством унификации стандартной флексии *-ѹ*:

О́в прѣги́в јма́јет двѝ кончи́ни, једну́ на ѹ, а дру́гу на ОВИ... Али Херва́ти ни́колиж неѹжива́јѹт тоје́ кончи́ни на ВИ: и за кме́тскѹ јѹ почита́јѹт [КГИ: 9, 10].

Таким образом, при выработке формационных норм церковнославянского языка книжники по-разному оценивали языковые элементы и предпочитали разные процедуры выбора — унификацию (анонимный автор и Крижанич), вариативность (Зизаний), дифференциацию, обусловленную структурой слова (Смотрицкий) или грамматическими параметрами слова (Поликарпов). Соответственно, следует отказаться от традиционного представления о доминировании процедуры вариативности книжных//некнижных (старых//новых) языковых элементов.

3.0. Делимитативные нормы церковнославянского языка XVI–XVIII вв.

3.1. Идеосемантические нормы. В пространстве христианской культуры идеосемантические нормы являлись результатом процесса «христианизации» языка [Топоров 1995: 429], процесса наложения на буквальные смыслы смыслов сакральных. На грамматическом уровне «христианизация» языка проявлялась в идеосемантической спецификации грамматических вариантов, т.е. в характеристике вариантов в рамках оппозиции «сакральное//профанное». Сакральную субграмматику формировали имена и глаголы, правильное понимание лексической и грамматической семантики которых определяло правильное

понимание основных богословских положений. Доминирующий в христианской культуре вопрос о возможности познания человеком Бога определил значимость вопроса именуемости Бога, соответственно, в этом познавательном контексте лингвистическая рефлексия была направлена на раскрытие, сохранение и трансляцию идеосемантики собственных библейских имен [Запольская 2007: 133–150].

В центре внимания книжников было имя ***Иисус***, лингвистическая рефлексия над которым предполагала выявление идеосемантики и особого характера употребления этого имени применительно к Богу Сыну по сравнению с другими лицами Библии, т.е. решение проблемы тезоименности. Согласно богословскому толкованию, имя ***Иисус*** становится именем Бога только будучи наделено особой семантикой, поскольку многие носят имя ***Иисус***, но один ***Спаситель всех — Иисус Христос***. Смотрицкий, рассматривая имя ***Иисус*** только как **преча́стное х҃а Г҃да и҆мѧ**, решал проблему тезоименности на уровне формантов, приводя нормативную парадигму, маркером которой являлись флексии в **Д. ед.** Имя ***Иисус*** получало в **Д. ед.** помимо стандартной флексии ***-ꙋ*** нестандартную флексию ***-овн*** и оказывалось грамматически сопоставлено существительному **Гсдь**, имевшему нестандартную флексию ***-евн***, и тем самым противопоставлено всем остальным многосложным существительным мужского рода, имевшим только нормативную флексию ***-ꙋ***: **Інсꙋс/ преча́стное х҃а Г҃да и҆мѧ̀/ ѹ҆́вогда склонѧ́етсѧ пра́вилнѣ̀, І҃с, І҃са, І҃сꙋ/ и҆лѝ І҃сови, І҃са, І҃се, І҃сомъ, ѡ І҃сѣ̀** [ГС: л. 56 об.]. В составе именной формулы ***Иисус Христос*** имя ***Иисус*** могло не склоняться, что подчеркивало нераздельность номинативной единицы, выражающей суть христианства: **спасителномꙋ и҆́мени х҃с, припра́жено пребыва́етъ и҆ногда несклонѧ́емо: ꙗ҆́кѡ/ Имен**: **І҃с х҃с, Ро**д: **І҃с х҃а, Да**т: **І҃с х҃ꙋ, Ви**н: **І҃с х҃а, Зва**т: **ѡ҆̀ І҃с х҃е, Тво**р: **І҃с х҃омъ, Ска**з: **ѡ І҃с х҃ѣ̀** [Там же].

Идеосемантическую нагруженность получало и существительное ***Слово***, когда обозначало Бога Сына, т.е. приобретало функцию имени собственного. Согласно богословскому толкованию, Бог Сын называется ***Словом*** потому, что относится к Отцу, как слово к уму, не только по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом и потому что являет Его. Соответственно, лингвистическая рефлексия была направлена на проблему формальной дифференциации имени собственного и имени нарицательного. Славянские книжники использовали для регламентации употребления ***Слова*** как имени собственного и ***слова*** как имени нарицательного грамматические параметры — вариантные парадигмы и особые флексии. Так, собственное имя получало формы косвенных падежей без форманта ***-ес-***, а нарицательное имя

употреблялось в косвенных падежах с формантом *-ес-* [Успенский 2002: 38]. В грамматических позициях **В. ед.** и **З. ед.**, в которых происходила нейтрализация парадигм, поскольку употреблялись только формы без -ес-, допускалось расширение состава нормативных формантов.

Смотрицкий представлял для лексемы «слово» нормативную парадигму ед. числа с формантом *-ес-*, однако сопровождал ее примечанием, в котором предлагал особое правило склонения имени собственного: в **В. ед.** наряду с флексией *-о* допускалась флексия *-а*, в **З. ед.** наряду с флексией *-о* допускалась флексия *-е*. При этом Смотрицкий толковал флексии *-а, -е* как показатели мужского рода, что позволяло, во-первых, рассматривать *Слово* в одном грамматическом ряду с именами **Гсдь / Бгъ / Ѿцъ / Снъ / Дхъ С: Тс / Хс / Спсъ** и, во-вторых, демонстрировать грамматическое тождество греческого и церковнославянского языков. Тот же состав флексий и то же толкование были представлены в грамматике 1648 г.:

ГС = Г 1648: **словесо́, сло́во; словесе́, словесѝ,** *сло́во, сло́во,* **словесе́мъ, словесѝ.**

*Сло́во: ѐгда̀ превѣ́чное Бга̀ Ѿца̀ Сло́во знаменꙋ́етъ/ вини́телный и̇ зва́телный сꙋгꙋ́въ прие́млетъ, сі̇ е́стъ *сре́дня ро́да и̇ мꙋ́жеска*/ Сло́во и̇ *Сло́ва*: Сло́во/ и̇ *Сло́ве* [ГС: л. 52 об.–53].

Автор анонимной грамматики представлял без объяснения для лексемы «слово» вариантные парадигмы ед. числа, т.е. без форманта -ес- и с формантом -ес-, при этом в **В. ед.** он приводил только флексию *-о*, а в **З. ед.** только флексию *-е*, выделяя тем самым форму молитвенного обращения к Богу:

ГА: **слово; слова, словесе; слову, словеси; слово;** *сло́ве*, **словомъ, словесемъ; словѣ, словесѝ** (л. 39).

Поликарпов в **Хꙋдо́жестве грамматі́ческом** также допускал для лексемы «слово» вариантные парадигмы ед. числа, однако сопровождал парадигмы особым примечанием. В отличие от Смотрицкого Поликарпов представлял для имени собственного только особые флексии в **В. ед.** и **З. ед.**, т.е. флексии *-а* и *-е*, которые он толковал как показатели одушевленности, что также позволяло рассматривать *Слово* в одном грамматическом ряду с именами существительными **Гсдь / Бгъ / Ѿцъ / Снъ / Дхъ С: Тс / Хс / Спсъ**, однако указывало уже на грамматическую особенность церковнославянского языка по сравнению с

греческим языком. В грамматике 1721 г. он воспроизвел примечание Смотрицкого:

ГПх: **слово; сло́ва, словесѐ; сло́вꙋ, словесѝ; сло́во; сло́во; словомъ; сло́вѣ, словесѝ.**

Сло́во, ѐгда̀ превѣ́чное Бга оца̀ сло́во зна́менꙋетъ, вини́телный, и̇ зва́телный, ѻ́бразо" ѡ҆дѡ҆шевле́нныхъ полага́ется, ꙗ҆́кѡ тогѡ̀ сло́ва, ѡ҆ сло́ве (с. 122).

Таким образом, грамматические позиции **Д. ед.** и **В. ед.**, **З. ед.** для имен м. р. являлись нормативными перекрестками, в которых происходило идеосемантическое расширение норм, задававшее в грамматических формах «имплицитное богословие».

3.2. Идеофункциональные нормы. Секуляризация культуры, проявившаяся сначала в Юго-Западой Руси, а затем и в Московской Руси, выразилась в расширении функций церковнославянского языка, который должен был уже обслуживать не только книжные тексты, выполнявшие догматические задачи, но и литературные тексты, выполнявшие задачи эстетические. В такой секуляризованной перспективе рефлексия оказывалась направленной на достижение «украшенности» языка. Актуальным приемом «украшенности» являлись *поэтические вольности,* поскольку в виршевой поэзии, составлявшей основу литературы XVI–XVII вв., книжнику было важно учесть все многообразие параллельных вариантов, чтобы, заменяя их, укладываться в нужный размер по числу слогов. Учение о поэтических вольностях, разработанное в риториках и грамматиках классических языков, стало составной частью и грамматики Смотрицкого. Система поэтических вольностей включала версификационные варианты, основанные на прибавлении//убавлении буквы или слога в начале/середине/конце слова: **Стра́сть рече́ній/ ѐсть рече́нїѧ и̇змѣ́на/ мѣ́ры ра́ди Стїхотво́рны бываемаѧ. Страсти сꙋ́ть сꙋгꙋ́бы. *Изобнлїѧ, и̇ Скꙋдости*** [ГС: л. 249]. В набор поэтических вольностей включались и неравносложные грамматические варианты.

Так, отношения между вариантными формами имен м. р. в **И. мн.** с флексиями *-є* и *-еве* рассматривались как пример «прибавления» слога в конце слова: ***Припа́тїе/ ѐсть сло́га в̾ концѝ рече́нїѧ приложе́нїе: ꙗ҆́кѡ... вра́чеве, в мѣ́стѡ вра́че*** [ГС: л. 251].

Отношения между вариантными формами имен м. р. в **Р. мн.** с флексиями *-ъ* и *-ѡвъ* рассматривались как пример «убавления» слога из середины слова, при этом буква *-ъ* рассматривалась как носи-

тель слога: *Стисненіе/* ѣсть слога ѯ среди реченіа изложеніе: ꙗкѡ *человѣкъ*, в мѣстѡ *чл҃вѣкѡвъ* [ГС: л. 250]. Полные и краткие формы прилагательных и причастий демонстрировали в **Им. ед.** «убавление» слога в конце слова: *Оусѣченіе/* ѣсть слога в конци реченіа *Ѡ҃рѣшеніе*: ꙗкѡ/ *чистъ*, в мѣстѡ *чистый*, *біюц*, в мѣстѡ *біющій*... [Там же: л. 251].

Таким образом, грамматические позиции **И. мн.** и **Р. мн.** для имен м.р. также являлись нормативными перекрестками, поскольку представленные в них нормативные форманты «еще раз подверглись регламентации путем вступления в силу определенных эстетических правил» [Лахман 2001: 12].

4.0. Декларативное и процедурное знание норм церковнославянского языка. Грамматические сочинения, кодифицировавшие церковнославянский язык, задавали как декларативное, так и процедурное знание норм.

Декларативное представление норм отвечало на вопрос, что является нормой. При этом книжники использовали три методических приема демонстрации нормативных элементов: «системный» прием — фиксация нормативного элемента в парадигме, «атомарный» прием — толкование нормативного элемента в отдельном правиле, **дабы і простѣйшиⷨ вѣдомо было** [Кгб: л. 23], «иллюстративный» прием — приведение примера употребления нормативного элемента в библейском или литургическом тексте, т.е. **на полехъ воꙋображено еⷭ в коей книзѣ каꙗ рѣчь обрѣтаетсꙗ** [Там же: л. 24]. Такую подачу нормативных элементов представляют грамматика Зизания и соотнесенные с ней московские грамматические трактаты: формы **И. ед.** и **Р. мн.**, в которых разными орфографическими средствами решается проблема омонимии, в грамматике даются в составе парадигмы, в трактате **Книга глемаꙗ бꙋквы** эти формы фиксируются как отдельная оппозиция, а в трактате **Книга гл҃маꙗ грⷨматіка** приводится стих псалма, в котором употреблена форма **Р. мн.**

ГЗ: *Конь*, **конꙗ, конѡ, коневи, и кони, конемъ, конꙗ, конѡ; Кѡни, и кѡнѣ, *кѡнь*, и кѡній, кѡнемъ, и кѡнехъ, кѡними, кѡни, и кѡнѣ, кѡни, и кѡнѣ** (л. 34–34 об.),

Кгб: *Любитель* **нашъ** — *любителЬ* **нашихъ**, *ловитель* **нш҃ъ** — *ловителЬ* **нш҃иⷭ** (л. 39 об.) (над именами указаны падежи **пр.** или **в.–р.**),

Кгг: **На сѣдалищи *гꙋбителЬ* не сѣде — Ь ѱл҃оⷨ, а҃** (л. 4).

Процедурное представление норм отвечало на вопрос, как употреблять нормативные элементы. Книжники задавали образец грамматического изменения слова в рамках императивных текстов — молитв, тропарей, кондаков, определяющих повседневную молитвенную и литургическую жизнь верующих. Так, в грамматике 1648 г. был помещен образец склонения слова *апостолъ* в составе тропаря и дана рекомендация просклонять подобным способом имена ср. и ж. р.: **Снмъ образо^м^ пишѝ наклонéніѧ падéжей и въ жéнскомъ рóдѣ, и срéднѣмъ** [Г 1648: л. 375 об.]. Методической репликой явились опыты склонения в составе тропарей слов *апостолъ*, *чадо*, *дв҃а* и *мч҃ница*, представленные в рукописном сборнике XVII в. (ГИМ, Син. 850). В позициях выбора печатные и рукописные упражнения совпадали и расходились, демонстрируя единство и различие нормализаторских взглядов: в **Д. мн.** в печатном и рукописном упражнениях приведена флексия *-ѡмъ*, в **Р. мн.** в печатном упражнении дана только флексия *-ъ*, а в рукописном представлена вариативность флексий *-ѡвъ*, *-ъ*, в **Т. мн.** в печатном упражнении предпочтение отдано флексии *-амн*, а в рукописном варианте флексии *-ы*, однако в собственном имени, являющемся приложением, даются две флексии: *-ы*, *-амн*.

тропáрь. гла^с^ г҃ прáвагѡ клонéніѧ единственнаго числà

Ап҃лъ **ст҃ый филúппъ, мóлитъ мúлостиваго бг҃а, да грѣхѡ^м^ ѿставлéніе подáстъ дш҃ѧмъ нáши^м^**

рóднагѡ клонéніѧ мнóжественнаго числà

апóстолъ, *ѝли апóстолѡвъ* (*Г 1648: только *ап҃лъ*) **ст҃ы^х^ молѧ́щихсѧ мл҃^с^тивомꙋ бг҃ꙋ, пáмѧт^т^ прáзднꙋюще мóлн^м^ полꙋчúти ѿ бг҃а грѣхѡ́въ ѡставлéніе.**

творúтелнагѡ клонéніѧ единственнаго числà

ап҃ломъ **ст҃ы^м^ филúппо^м^ молѧ́щнмсѧ мл҃^с^тивомꙋ бг҃ꙋ. ѿ всѧ́ки^х^ ѕѡлъ ѝзбáвленъ бы^х^ и мл҃твами ѐгò сохранéнъ.**

дáтелнагѡ клонéніѧ мнóжественнаго числà

*ап҃лѡ^м^* **ст҃ымъ молѧ́щимсѧ мúлостивомꙋ бг҃ꙋ мóлимсѧ, да грѣхѡ́въ ѡставлéніе ѝспросѧ^т^ дш҃ѧ́мъ нáши^м^.**

винóвнагѡ клонéніѧ мнóжественнаго числà

Апóстолы **ст҃ыѧ, молѧ́щыѧсѧ и предстоѧщыѧ мúлостивомꙋ бг҃ꙋ прославлѧе^м^, да ѝспросѧ^т^ оу҆ негѡ̀ нáмъ, грѣхѡ́въ ѡставлéніе.**

творѝтелнагѡ клонѐніѧ мно́жественнаго числа̀

Апѯлы (*Г 1648: *Апѯлами*) сѷ̃тыми *филѝппы или филѝппами*, молѧ́щимисѧ ми́лостивомꙋ бг҃ꙋ, мо́лимъ и мы того̀, да пода́стъ нам҃ грѣхѡ́мъ на́шим҃ прощѐніе.

[ГИМ, Син. 850: л. 534 об.–535 об., 536, Г 1648: л. 375–375 об.].

5.0. Нормы церковнославянского языка > нормы русского литературного языка. Осуществлявшийся в XVIII в. переход от конфессиональной культуры к секулярной мотивировал создание нового типа литературного языка, ориентированного на разговорный язык, что определило ***креативный характер*** лингвистической рефлексии. Дистанция между церковнославянским и русским языком, разговорным и/или литературным, осмыслялась, прежде всего, как дистанция формально-семантическая, т.е. дистанция на уровне грамматических категорий. Так, Поликарпов в трактате **Технологїа...** 1725 г. представлял отличия «великороссийского» языка от «словенского» как отличия в характере грамматических категорий одушевленности/неодушевленности, числа и падежа: **в̀ числѣ множе́ственном҃ живꙋ́щих҃ вещей́, не та́кѡ винѝтеленъ ꙗ̀кѡ родѝтеленъ быва́етъ во ѹ҆потребле́ніи, двойственное число̀ не ѹ҆потребляе҃тся, зва́телный всѣ́хъ склоне́ній числа̀ ѥ҆диншвен. подо́бенъ и҆мени́телномꙋ бывае҃т** [ГП: 288]. Если формально-семантические параметры нового литературного языка были определены однозначно, то выявление формальных параметров, обеспечивающих и «понятность», и «правильность» языка, требовало особого напряжения лингвистической мысли. Установка на «понятность» определяла рассмотрение языковых элементов как книжных//некнижных, а установка на «правильность» требовала рассмотрения этих же элементов с точки зрения пригодности для снятия синонимии и омонимии. В рамках секулярной культуры актуализировалась проблема синонимии, от решения которой зависело решение проблемы омонимии, при этом в новых условиях омонимия должна была устраняться только грамматическим способом. Нормализаторская рефлексия над русским языком получила последовательное выражение в грамматических сочинениях И.-В. Пауса («Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache», 1729 г.), М. Шванвитца («Compendium Grammaticae Russicae», 1731 г.) и В.Е. Адодурова («Anfangs-Gründe der Russischen Sprache», 1731 г.), возникших как альтернирующие реплики на грамматики церковнославянского языка. Конкурирующий характер самих первых русских грамматик определялся тем, что Паус хотел систематизировать языковые вари-

анты внутри единого «славяно-русского языка», а Шванвитц и Адодуров стремились создать «русский литературно-языковой стандарт» [Живов 2004: 368–214]. Наиболее отчетливо установки первых кодификаторов проявлялись в грамматических позициях **И. мн.**, **Р. мн.**, **Д. мн.** и **Т. мн.** имен м. р., в которых решались и проблемы синонимии, и проблемы омонимии. В **И. мн.** у имен с основой на t' грамматисты снимали синонимию, вводя инвариант ***-и***, соотнесенный с инвариантом ***-ы***, введенным у имен с основой на t. В **Д. мн.** флексия ***-ѡмъ***, демонстрировавшая снятие омонимии орфографическим способом и уже тем самым являвшаяся книжной флексией, определялась Паусом как «славянская» флексия, которой соответствовала «русская» флексия ***-амъ***, демонстрирующая снятие омонимии грамматическим способом; соответственно, Шванвитц и Адодуров флексию ***-амъ*** считали нормативным инвариантом. Грамматическая позиция **Р. мн.** давала возможность и в рамках русского языка допускать два нормативных элемента — флексию ***-овъ*** как стандартную и флексию ***-ъ*** (нулевую флексию) как нестандартную, закрепленную за отдельными лексемами. В позиции **Т. мн.** проявлялась разница нормализаторских взглядов: Паус допускал вариативность флексий ***-ами***, ***-ы***, а Шванвитц и Адодуров признавали нормой флексию ***-ами*** (см. парадигмы в: [Шванвитц 1731: 191–192; Адодуров 1731: 18–21; ср.: Живов 2004: 368–379]).

Слова с сакральной идеосемантикой сохраняли и в русском литературном языке грамматическую особость, которая в новых грамматических условиях реализовалась в позиции **З. ед.** Так, Адодуров в примечании к парадигме имен м. р. не только отмечал возможность склоняемости/несклоняемости имени ***Иисус*** в формуле ***Иисус Христос***, но и указывал на несовпадение форм **И. ед.** и **З. ед.**: ***Іисусъ Христосъ*** и ***Іисусе Христе*** [Адодуров 1731: 20].

Развитие в этот период поэтических литературных жанров особо остро поставило вопрос об «умении подчинять требованиям метрики грамматически оформленное слово» [Винокур 1959: 127], т. е. актуализировало необходимость создания системы поэтических вольностей, возможных в стихах на русском языке. Перед книжниками стояла дилемма: либо учитывать систему поэтических вольностей, заданную церковнославянской традицией, либо отказаться от предшествующего опыта использования неравносложных морфологических вариантов. Первую возможность реализовал Кантемир, заявив в «Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских», что «все сокращения речей, которые славенской язык узаконяет, можно понужде смело принять в стихах русских» [Кантемир 1744: 27]. При этом

Кантемир отнюдь не «формулировал общий закон вольностей», согласно которому в русские стихи допускались любые неравносложные «славянизмы» (ср.: [Винокур 1959: 128]), а отсылал к двум видам поэтических вольностей — **стисне́нію** и **оу҆сѣче́нію**. Ключом к такой отсылке являлись примеры «сокращений», совпадающие с примерами **стисне́нія** и **оу҆сѣче́нія** в грамматике Смотрицкого: ...**стисне́ніе**... ***человѣ́къ, в мѣ́стѡ чл҃вѣ́кѡвъ***... **оу҆сѣче́ніе**... ***чи́стъ, в мѣ́стѡ чи́стый*** = «изрядно употребляется ***человѣ́къ, чистъ*** *вместо* ***человѣ́ковъ, чистый***» [Кантемир 1742: 22]. Инновацией, включенной в систему поэтических вольностей, Кантемир считал форму **Т. мн.** с флексией ***-ы / -и***: «Изрядно употребляются вместо творительнаго на ***ами*** сокращенное на ***ы***, ***и***...» [Там же]. Тредиаковский в трактате «Новый и краткий способ сложения российских стихов» 1735 г. предложил новую систему поэтических вольностей, включив в нее формы существительных м. р. в **З. ед.** как показатели церковнославянского языка: «Многие звательные падежи, которые у нас все подобны именительным (кроме преблагословенных и превысоких сих имен: Боже, Господи, Іисусе Хрісте, Сыне, Слове, то есть воплощенное Слово) могут иногда в стихах образом славенских кончиться» [Тредиаковский 1735: 18]. Однако позже Тредиаковский характеризовал и формы **Р. мн.** и **Т. мн.** в терминах поэтических вольностей, а отнюдь не в терминах, отражающих общие представления о механизмах формопроизводства [ср. Живов 2004: 376–379]. Он отступал от традиции только в том, что считал форму **Р. мн.** в соответствии с реальным произношением результатом «усечения», а не «стиснения»: «Сие ***усечение***, или ***стиснение*** бывает наибольше в родительных и творительных падежах, множественнаго числа. Например, целый падеж есть родительный множественный: ***человѣковъ***, усекается сим образом: ***человѣкъ***, и целый же множественный творительный ***человѣками***, стисняется так: ***человѣки***» [Тредиаковский 1849, III: 50].

Таким образом, рефлексия над новым литературным языком приводила не просто к замене книжных элементов некнижными, а являла собой сложный процесс, включавший смену формационных и делимитативных норм (**И. мн.**, **Д. мн.**), переход формационных норм в делимитативные, т.е. сдвиг норм (**Т. мн.**, **З. ед.**), а также некоторую преемственность формационных и делимитативных норм (**Р. мн.**).

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев 1996 — *Аверинцев С. С.* Риторика и истоки европейской литературной традиции, М., 1996.

Адодуров 1731 — [*Адодуров В. Е.*] Anfangs-Gründe der Russischen Sprache // Weismanns Petersburger Lexikon von 1731. Grammatischer Anhang. München, 1983.

Бахтин 1986 — *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1986.

Винокур 1959 — *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.

Грамматика 1648 — **Грамматика** 1648 г.

Грамматика 1721 — **Грамматіка** 1721 г.

Грамматический сборник 2002 — Грамматический сборник 1620 г. / Издание и исследование Е. А. Кузьминовой. Napoli, 2002.

Дианова 1989 — *Дианова Т. В.* Филигрань «кувшин» XVII в. М., 1989.

Едличка 1988 — *Едличка А.* Литературный язык в современной коммуникации. Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XX. М., 1988. С. 38–134, 135–149.

Живов 2004 — *Живов В. М.* Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.

Запольская 2003 — *Запольская Н. Н.* «Общий» славянский литературный язык: типология лингвистической рефлексии. М., 2003.

Запольская 2007 — *Запольская Н. Н.* Рефлексия над именами собственными в пространстве и времени культуры // Имя. Семантическая аура. М., 2007. С. 137–150.

Зизаний 1596 — *Зизаний Л.* **Грамматіка словенска. Съвѣршенна^г^ искꙋства ѻсми частій слова и йны^х^ нꙋжны^х^. Новѡ съста^в^ле^н^на Л. З. В Вилни,** 1596 (репринт: Лаврентий Зизаній. Граматика словенська. Київ, 1980).

Кантемир 1744 — [*Кантемир А.*] Квинта Горация Флакка десять писем первой книги. Переведены с латинских стихов на русские и с примечаниями изъяснены от знатнаго некотораго охотника до стихотворства с приобщенным при том письмом о сложении русских стихов. СПб., 1744.

Крижанич 1859 — **Граматично изказанје об рꙋском језикꙋ, попа Јурка Крижанича** / Издание О. М. Бодянского. М., 1859 (репринт: То же / Abdruck der Erstausgabe von 1848/1859 besorgt von Gerd Fneidhof. Frankfurt am Main, 1976).

Крижанич 1891 — **Објасньенје вводно о писмѣ Словенском** // *Крижанич Ю.* Собрание сочинений. М, 1891. Т. 1.

Лахман 2001 — *Лахман Р.* Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического. СПб., 2001.

Поликарпов 2000 — *Поликарпов Федор.* **Технологіа.** Искусство грамматики / Издание и исследование Е. Бабаевой. СПб., 2000.

Смотрицкий 1619 — **Грамматіки Славенскиѧ правилное Сꙋнтагма Мелетіѧ Смотрискогѡ. В Евѣ.** 1619 (репринт: *Мелетій Смотрицький.* Граматика. Київ, 1979).

Топоров 1995 — *Топоров В. Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995.

Тредиаковский 1735 — *Тредиаковский В. К.* Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих знаний. СПб., 1735.

Тредиаковский 1849 — *Тредиаковский В. К.* Сочинения. СПб., 1849. Т. I–III.

Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка. М., 2002.

Шванвитц 1731 — Compendium Grammaticae Russicae (1731). Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache / Herausgegeben von Helmut Keipert in Verbindung mit Andrea Huterer. München, 2002.

Е. А. Земская,
О. П. Ермакова,
Z. Rudnik-Karwat

Особенности русского и польского языков на рубеже XX–XXI вв.

I. Рубеж XX–XXI вв. отличается значительными изменениями в структуре многих языков, в том числе славянских.

1. Интернационализация. Один из важнейших процессов, который характеризует рубеж XX–XXI вв., — интернационализация, вхождение в славянские языки лексических и фразеологических единиц из других языков, прежде всего из английского в его американском варианте. См.: [Крысин 1996а].

Способствовало увеличению числа заимствованных слов появление компьютера и интернета. Вот новые широко распространенные слова: *факс, сканер, принтер, картридж, файл, сайт, провайдер, сервер, монитор, модем,* многие другие. Они получают все большее распространение и известность.

Среди заимствований есть, конечно, и такие, которые лишь входят в язык и далеко не каждому понятны. Приведем пример из газеты «Сегодня» (19.04.1997 г.). Заголовок гласит: «„Аэрофлот“ собирается превратить пять российских аэропортов в *хабы*».

Опрос показал, что слово *хаб* (от англ. *hub*) неизвестно большинству русских людей. Одно из значений этого заимствования связано с авиацией. Так называют транспортные узлы. Вот цитата, объясняющая смысл этого слова: «В текущем году „Аэрофлот“ открывает восемь новых регулярных линий и изучает возможность использования аэропортов Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Хабаровска в качестве *хабов*. В *хабах* будет проводиться стыковка внутрироссийских и зарубежных рейсов». Пока для нас неясно, войдет ли слово *хаб* в русский язык, но в авиации оно называет важное явление, требующее наименования, которое не заменяет ни одно русское слово.

Слово *хаб* имеет и другое значение, связанное с компьютером. Так именуют сетевой концентратор, управляющий перенаправлением электронной почты между пользователями сети.

Отметим, что далеко не все заимствования связаны с техникой [Крысин 1996а]. Ср., например, такие слова, как *грант, электорат, дефолт, блейзер, презентация, спонсор, рейтинг, бутик, имидж, фуршет* и многие другие.

К области интернационализации примыкает особое явление, которое называют термином **слова-гибриды**. Исследователи словообразования разных языков, в т. ч. славянских, отмечали в середине XX в. разграниченность двух систем словообразования — национальной и иноязычной, которая опирается на интернациональную, по большей части новолатинскую базу [Акуленко 1972].

Новейший этап истории русского языка (конец XX — начало XXI в.) характеризуется высокой активностью гибридного словообразования, т.е. производства слов, которые содержат и русские, и иноязычные элементы (как корневые, так и аффиксальные). В качестве материала мы используем данные русского языка метрополии и диаспоры. Многие явления, отмечаемые в современном русском языке, свойственны и другим славянским языкам [Kleszczowa 2000; Ohnheiser 2000; Waszakowa 1994, 2000].

Не имея возможности подробно охарактеризовать всю сферу гибридного словообразования, рассмотрим наиболее активные типы слов-гибридов разных частей речи в русском языке конца XX — начала XXI в. (см. также: [Земская 1992, 1996, 1997, 2002, 2006; Нещименко 2000]).

Глагол. ***Класс слов: русские префиксы + иноязычные основы.*** Этот класс слов проявляет большую активность. Присоединение приставки переводит глаголы несовершенного вида в морфологическую систему русского языка. Наиболее продуктивны приставки, выражающие значение чистой перфективности или результативности. Основная масса таких слов — глаголы на *-ировать, -изировать*, т.е. включающие иноязычные компоненты в основу, например, *с-*: *срежиссировать, спрогнозировать, скоординировать*; *от-*: *отреставрировать, отрефлексировать, отсканировать*; *про-*: *профинансировать, проинспектировать, просканировать*; *за-*: *зарезервировать*.

Приставки с другими значениями не столь активны. Из них наиболее продуктивна *пере-* со значением 'произвести действие заново, изменить его': *перепрограммировать, переструктурировать*.

А как ведут себя приставки пространственных значений и экспрессивные приставки, выражающие различные степени совершения действия? Они, как правило, не соединяются с глаголами иноязычного происхождения. Таким образом, подчеркнём: русские глагольные приставки выполняют в составе слов-гибридов функцию грамматическую, интегрирующую, а не семантическую, не экспрессивную.

Класс слов: иноязычные приставки + русские глагольные основы. Этот класс не обнаруживает активности. Достойна упоминания лишь одна приставка *де-* со значением уничтожения результатов действия.

Но и она более продуктивна при образовании не глаголов с русскими корнями, а существительных на *-изация*, имеющих процессуальное значение, например, *десталинизация*, при отсутствии глагола **сталинизировать*.

Класс слов: русский суффикс + иноязычная основа. Здесь имеется ряд особенностей. Глаголы от иноязычных основ, как правило, образуются с помощью суффиксов, включающих иноязычные компоненты *-ировать*, *-изировать* (*компьютеризировать, финансировать* и т. п.). Наиболее продуктивные русские суффиксы *-и-*, *-а-* не обнаруживают активности в производстве глаголов от иноязычных основ. Если посмотреть, например, на глаголы на *-ить* (не новообразования последних лет!), то число их невелико (см. [Улуханов 1977]). Как правило, такие глаголы имеют разговорную окраску. Например: *одеколонить, керосинить, командирить, франтить*. Лишь редкие глаголы на *-ить* лишены резкой разговорной или более сниженной окраски (*каламбурить, дежурить, штукатурить*). Создаются ли глаголы на *-ить* от иноязычных основ в конце века? Да, но их в литературном языке считанное число. Прежде всего, это глагол *банкротить — обанкротить*.

Назовем еще два новых глагола на *-ить* от иноязычных основ: *ксерить — отксерить* (от названия аппарата *ксерокс*). Заметим, что от названия аппарата *факс* нет глагола **факсить* (редко встречается *офаксить*), но есть *факсовать*. Нет глагола на *-ить* и от слова *компьютер*, есть *компьютеризировать* (с другим значением). В производстве глаголов-гибридов используются экспрессивные суффиксы *-ну-* и *-ану-*: *факсануть*; шутл. в рекламе *сникерсни!*; ср. жарг. *дембельнуться*.

Следует отметить, что суффиксу *-и(ть)* не вполне закрыта дорога к сочетаемости с иноязычными основами. На наших глазах английская аббревиатура *пиар* (*pr*) порождает глаголы *пиарить* и префиксальные *пропиарить, отпиарить* — шутливые. Вот лишь один пример: «Кто и зачем *отпиарил* сочинский ураган?» (Изв., 06.03.2001).

В области производства глаголов-гибридов способом суффиксации наблюдается резкое различие между языком метрополии и диаспоры. Эмигранты разных стран (например, Германии, Франции, США) широко образуют глаголы от иноязычных основ по образцу русских глаголов продуктивных классов на *-ать, -ить, -овать*. Так создаются глаголы-гибриды (иноязычная основа + русские грамматические показатели). На почве английских слов в США: *инджоить* (получать удовольствие), *шопиться, шапать* (от *to shop* — с амер. произношением; покупать), *юзать* (от *to user* — использовать), *драйвать* (от *to drive* — вести машину).

Литературный язык метрополии более устойчив в соблюдении нормы. А многовековая норма русского словообразования свидетельствует, что от иноязычных основ образуются глаголы на *-овать, -ировать, -изировать* [Авилова 1967]. Язык диаспоры в отношении нормы не столь строг, именно поэтому в речи эмигрантов, не следящих за своим языком (обычно это эмигранты последних волн), употребительны глаголы на *-ить* и *-ать*. Подобные глаголы в речи старых эмигрантов редки. Они могут встречаться у тех лиц, которые не берегут свой русский язык, не обладают многоязычием и которым не свойственна высокая языковая рефлексия. Действует такая закономерность: чем больше человек знает языков, тем меньше он склонен подгонять один язык под другой, переиначивая слова.

В России глаголы от иноязычных основ на *-ить, -ать* наблюдаются в жаргоне, прежде всего компьютерном, например: *юзать, зашерить* (от *to share*), *приаттачить* (от *attachment*); шутливое: *емелить* (от *e-mail*).

Существительные и прилагательные.

Префиксация. Для именной префиксации характерна очень высокая активность иноязычных приставок, см. [Земская 1996, 1997, 2006; Земская и др. 1998]. Отсылая читателя к этой литературе, здесь назовем лишь основные группы приставок, включая в них и русские синонимы: *анти-, контр-, не-*; *супер-, гипер-, архи-, сверх-; квази-, псевдо-, лже-*; *пост-, после-*; *де-, раз-*; *про-*; *транс-, меж-*; более новое *мега-*.

Иноязычные приставки присоединяются и к иноязычным, и к русским основам. Особо выделим приставку *де-*, о которой упоминалось выше. Она производит наименования процессов уничтожения того, что составляло сущность прошлого. Сочетается преимущественно с существительными на *-изация*, имеющими иноязычные и русские корни: *десталинизация, десоветизация, деленинизация, дерублевизация, дебольшевизация.*

Приставка *де-* имеет русский синоним *раз-*, ср.: *дебюрократизация* и *разбюрокрачивание, деконсервация* и *расконсервирование.* Ср. старое: *раскулачивание*, при отсутствии **раскулакизация*.

Русские приставки в именном словообразовании малоактивны, кроме приставок *не-, без-, небез-* (*небезынтересный, небезденежный, небессмысленный*), действующих преимущественно в словообразовании прилагательных.

Суффиксация. Существительное. Активность обнаруживает несколько классов слов.

В наименованиях лиц наиболее активны русские суффиксы *-щик/-чик, -ник, -ец* (с различными интерфиксами) и иноязычный *-ист*. Эти суф-

фиксы сочетаются и с русскими, и с иноязычными основами. Примеры слов-гибридов: *компьютерщик, пиарщик, интернетчик, бюджетник*. В языке диаспоры активно порождаются наименования лиц с суффиксом *-щик* типа *фудстемпщик* (от *food stemp* — продовольственные талоны), *велферщик*.

Единичные производные новообразования дает суффикс *-овик/-евик*: *биржевик*.

В конце XX в. активизируется производство **наименований лиц женского пола** — коррелятов к существительным мужского рода с помощью разговорного суффикса *-ш(а)*, который легко присоединяется к иноязычным основам на сонорные и сочетание *-нт*. Подобные слова могут не иметь оттенка сниженности. Новизна этого процесса заключается в том, что образования на *-ш(а)* функционируют не только в разговорной речи, но и в языке газет и устных массмедиа: *стриптизерша, режиссерша, президентша, риэлтерша, провизорша, спонсорша, матадорша*. Показательно, что нередко они используются в газетных заголовках: «*Матадорша*, которую мы потеряли» (Изв., 03.09.2001).

Отвлеченные существительные-гибриды образуются с помощью и русских, и иноязычных суффиксов. Наиболее активны иноязычный суффикс *-изациј(а)* и русские *-ость, -ство*.

Суффикс *-изациј(а)* производит существительные со значением 'наделение свойствами того, что именует базовая основа'. Эти слова называют процессы, но процессы особые — в основе их лежит субстантив, и этим они резко отличаются от глагольных названий процессов на *-ние, -ка*, ср.: *чтение, разборка* и *компьютеризация, долларизация*.

В сфере **наименования признаков** обнаруживают активность русские суффиксы *-ость* и *-ство*. Первый сочетается с основами прилагательных, ср.: *политкорректность, читабельность, диссертабельность*; (из речи эмигрантов: *шармантность, комильфотность*). Второй — с основами существительных: *имиджмейкерство, брокерство, премьерство*.

К **экспрессивным производным** относим разговорные универбаты на *-ка*, синонимичные сочетаниям «существительное + прилагательное» типа *эпохалка, гуманитарка* (гуманитарная помощь), «*офшорка*» (офшорная зона). В изучаемый период возрастает употребительность экспрессивных модификационных образований от иноязычных основ: *фондик, рекламка, репортажик, дипломчик, пирамидка*.

Прилагательное. Наиболее активны в производстве слов-гибридов самые продуктивные суффиксы прилагательных с общим относительным значением: *-ов-, -н-, -ск-*, сочетающиеся и с русскими, и с иноязычными основами: *компьютерный, фьючерсный, принтерный,*

офисный, офшорный; интернетовский, тинэйджеровский (с интерфиксом *-ов-*), *брокерский.*

В настоящее время лидер в этой группе суффикс *-ов-*, который присоединяется к основам любого строения — с исходом на *-нг* (*маркетинговый, роулинговый, рейтинговый*), на сочетание согласных (*факсовый, имиджевый*), односложным (*спидовый*), конструкциям типа *on line, off line* (*онлайновый, офлайновый*). Вот примеры некоторых новообразований из газет начала XXI в.: *онлайновое казино, онлайновый магазин, офлайновая реальность, рекрутинговое агентство.*

Прилагательные-гибриды с суффиксами, обозначающими оценку, подобие, степени признака, немногочисленны. Например, *панковатый* ('похожий на панков'); *джунглистый, дэндистый.*

Суффикс *-оньк/-еньк* слова-гибриды порождает редко. В разговорной речи отмечены производные типы *миниатюрненький, аккуратненький*; массмедиа: *стандартненькая история* [Нещименко 2000: 73].

Таким образом, русские суффиксы прилагательных выполняют преимущественно грамматическую функцию, т.е. транспозицию иноязычных субстантивных основ в прилагательные. Этим они напоминают поведение русских глагольных приставок.

Морфемизация частей иноязычных слов — более редкое, но и более яркое проявление процесса интернационализации. На наших глазах в русском языке появился суффикс *-гейт* со значением 'скандал' (из англ. *gate* — 'калитка, ворота'), вычленившийся из названия нью-йоркского отеля, связанного с нашумевшим на весь мир политическим скандалом (см. об этом подробнее [Земская 1997: 180–181]). Вот ряд новообразований: *кремльгейт, мраморгейт, комбайнгейт; Рейгангейт, Моникагейт, Кучмагейт.* Знаменательно, что суффикс *-gate* отмечают исследователи и польского языка [Kreja 1993].

Элемент *евро-* (связанный со словами *Европа* и *европейский*) обнаруживает изменение семантики, которое демонстрирует его движение в сторону префикса. Об этом свидетельствует расширение его сочетаемости. Так, до недавнего времени существовали немногие слова типа *евроальянс, европарламент* и *евровалюта* (два последние отмечены в ТСРЯ конца XX в.). В настоящее время число слов с *евро-* растет. Широкую употребительность получило слово *евроремонт.* Встречаются и другие номинации с *евро-*, связанные с бытом: *еврочистка, евроокна* (газ. «Экстра М», 21.07.2001), *евросеть.*

В этих и подобных сочетаниях у элемента *евро-* усиливается оценочное значение 'лучший', 'самый современный', 'супермодный', за счет ослабления относительного значения 'европейский'. Важно под-

черкнуть, что подобное развитие семантики элемента *евро-* отражает некоторые общие закономерности семантического развития современных языков, оно свойственно не только русскому языку. Так, К.Вашакова отмечает, что в современном польском языке слова с элементом *euro-* могут иметь значение 'представляющий высокий уровень, стандарт', 'самый современный', и приводит в качестве примеров слова *eurookna, eurotoaleta* [Waszakowa 2000: 68].

Показателем активности гибридного словообразования является его использование в качестве средства экспрессии, языковой игры (см.: [Хёйзинга 1992: 62]). Ограничимся одной иллюстрацией. По образцу слова *кириллица* порождается *интернетица*. Заголовок в газете: «*Кириллица, мефодица, интернетица*» (Изв., ноябрь 2000).

В газетной статье используется официальное название *роботизированная собака*, рядом игровое словечко *робопес* (Изв., 15.05.2001). В частном электронном письме: «Я не ожидал такого *блицответа*» (26.06.2001).

Распространен прием столкновения двух алфавитов — кириллицы и латиницы: *dogmeобразная* картина (Изв., 20.06.2001); заголовок из газеты «Известия»: «*Изба — PR — читальня*» (26.02.2001). Комизм усиливается тем, что новое книжное заимствование вклинивается в своей заморской оболочке в сочетание *изба-читальня*, включающее простонародное слово *изба*. При объединении двух алфавитов в игру вступает и каламбурное столкновение прочтений и осмыслений получающихся слов. Особенно часто сталкиваются *net* (англ. 'сеть', входящее в слово *интернет*) и *нет* (русское отрицание), ср. газетный заголовок: «*Сила — есть, интер — net*» (Изв., 26.02.2001). А вот реклама средства от комаров в московском метро: *Москитол. www.komarov.net*. Юмор усиливается тем, что иноязычное слово *москитол* дается русскими буквами, русское *комаров* по требованию интернета латиницей, а последний компонент *net* используется и как русское отрицание, и как англ. *net* — сеть.

Выводы. В последние десятилетия XX в. между национальной и интернациональной системами словообразования происходит постоянное взаимодействие: борьба, отталкивание, тонкое перераспределение функций и условий сочетаемости разных аффиксов с основами. Взаимодействие наблюдается, например, между приставками *пост-* и *после-*, *де-* и *раз-*, *супер-* и *сверх-*, *псевдо-*, *квази-* и *лже-*, суффиксами лица *-ист* и *-ец* (ср. *сталинист* и *ленинец, ельцинист* и *путинец*).

Резкая граница между национальным и интернациональным (или иноязычным) словообразованием сглаживается. Существующее ранее

положение, когда иноязычные аффиксы порождали преимущественно книжную лексику и сочетались с иноязычными по происхождению основами, меняется. Иноязычные аффиксы широко сочетаются с русскими основами, а русские аффиксы с иноязычными основами. При этом, однако, сохраняется в известной мере тенденция относить слова с иноязычными аффиксами к книжной лексике.

Этот процесс применительно к разным языкам называют обычно **интернационализацией**. Подчеркнем, что он охватывает не только лексику, но и словообразование. Однако процесс интернационализации не является односторонним. Происходит **русификация** иноязычных заимствований: они вплавляются в грамматическую и семантическую систему русского языка. С другой стороны, русские аффиксы, имеющие разговорный характер, соединяясь с иноязычными основами, создают слова, стилистический статус которых повышается. Они могут использоваться как нейтральные. Расширяется база иноязычных элементов, входящих в русский язык. Это не только латинские и греческие элементы, но и элементы других языков, прежде всего английского.

Английское включение заимствований разной структуры в русское словообразование приводит к порождению новых словообразовательных гнезд. Например, англ. аббревиатура-одиночка *PR* на наших глазах обрастает гнездом: *пиар — пиарщик, пиаровский, пиарить, отпиарить, пропиарить*.

Слова-гибриды с русскими аффиксами выполняют разные функции словообразования [Земская 1992]. Гибридное словообразование способствует увеличению числа многоморфемных слов в русском языке.

В производстве слов-гибридов наблюдается резкий контраст между именными частями речи и глаголом, а внутри имен неодинаково ведут себя существительные и прилагательные.

Контраст имя — глагол проявляется особенно ярко в сфере **префиксации**. В словообразовании **глаголов** активны **русские приставки**, они выполняют грамматическую функцию перфективации, интегрируя иноязычные глагольные основы в систему русского языка. Иноязычные приставки в сфере глагола не активны. Русские приставки с экспрессивными значениями редко присоединяются к иноязычным основам.

В сфере **имен** активны **иноязычные приставки**, имеющие значения, актуальные для современной жизни: значения высокой степени; противоположности, отрицания, уничтожения; неистинности, ложности; временны́е значения, 'происходящий после чего-то'. Русские приставки в сфере имен мало активны.

Приставки и суффиксы различаются по их способности присоединяться к русским и иноязычным основам. У приставок, как правило, нет ограничений на сочетаемость с тем или иным по происхождению видом основ, тогда как у суффиксов они имеются. Это, несомненно, объясняется их различной природой. Приставки не спаяны с флексиями, они более лексичны (т.е. по своему поведению больше похожи на слова). Суффиксы в русском языке спаяны с флексиями, с системой словоизменения. Именно этим можно, например, объяснить тот факт, что при образовании глаголов от иноязычных основ русские суффиксы *-и-*, *-а-* в литературном языке малоактивны. Соответствующие глаголы-гибриды еще, как правило, не перешагнули границу литературного языка.

Между существительным и прилагательным наблюдается сходство в сфере префиксации. Иноязычные приставки активно сочетаются с основами и той, и другой части речи.

В области суффиксации можно отметить различие между существительными и прилагательными. Русские суффиксы, присоединяясь к иноязычным основам, порождают новые номинации, т.е. слова, называющие нечто иное, чем базовая основа. Ср.: *бюджетник* и *бюджет, компьютерщик* (человек) и *компьютер*, *валютка* (магазин) и *валюта*. Русские суффиксы, порождая прилагательные от иноязычных основ, как правило, выполняют функцию транспозиции, т.е. переводят субстантивную основу в класс прилагательных, обозначающих признак через отношение к предмету. В этом обнаруживается сходство между глаголом и прилагательным как признаковыми частями речи, противопоставляющее их «предметной» части речи — существительным.

2. Рост аналитизма и черт агглютинативности. Общеизвестно, что русский язык относится к числу синтетических. Вопрос о том, есть ли в нем черты аналитизма, разные лингвисты решают по-разному. На наш взгляд, наиболее убедительно этот вопрос осветил М. В. Панов. Он писал: «Языки изменяются. Например, русский язык, отчетливо синтетический, обнаруживает медленное движение в сторону аналитизма. Это движение микроскопично, оно проявляется в незначительных деталях, но этих деталей — ряд, а других деталей, показывающих противодвижение, т.е. действующих в пользу синтетизма, нет. <…> Будет ли продолжаться оно [движение к аналитизму] в будущем? Предсказать трудно. Но нет сомнения в том, что при крайне медленном темпе изменений — наш язык будет оставаться ярко синтетическим» [Панов 1984: 26]. На протяжении исторического развития в структуре русского языка активизируются черты аналитизма и агглю-

тинативности. Этот вопрос исследовали в коллективных монографиях РЯСО. В конце XX в. черты аналитизма возрастают и укрепляются (см. [Гловинская 1996; Ильина 1996]; см. также: [Костомаров 1994: 159–160]). Показательна коллективная монография, изданная в Германии: «Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp» (Hrsg. U. Hinrichs unter Mitarbeit von U. Büttner. Wiesbaden, 2004). В этой книге рассматриваются данные многих языков, в том числе славянских (русский, болгарский, сербский, польский, румынский, албанский, немецкий, ряд африканских и др.), в которых выявляются черты аналитизма. См. также: [Аналитические конструкции 1965].

Обратимся к русскому языку. В нем рост аналитизма обнаруживается на определенных участках системы языка:

1. Увеличение числа неизменяемых слов, т.е. единиц, которые выражают грамматические значения не формой слова, а средствами, находящимися за пределами слова (предлогами, порядком слов). Этому способствует рост неизменяемых заимствований существительных и несклоняемых аббревиатур: *РГНФ, СМИ, НТВ, РГГУ, РФФИ, ОРТ*; *шоу, топ, хит, ноу-хау, барбекю* и мн. другие (см., например, [Маринова 2006]).

2. В русском языке формируется класс аналитических прилагательных (термин М.В.Панова). См.: [Панов 1960; 1971]. Их число резко возрастает. Е.И.Голанова посвящает «аналитам» особую статью [Голанова 1998]. Несколько примеров: *теле, гос, авто, авиа, космо, мото, вело, диско*...

3. Среди русских географических наименований появляются слова несклоняемые: Живу в *Ростокино*; Его похоронили в *Кунцево*; Он приехал из *Останкино* [Ильина 1996: 330–333].

4. М.Я.Гловинская отмечает тенденцию к ослаблению падежных функций: конструкции с предлогами заменяются беспредложными. Ср., например: письмо *к сестре* и *письмо сестре*; купил подарок *для брата* — купил *подарок брату*; итог *за полугодие* — *итог полугодия*; опыт *в работе* — *опыт работы* [Гловинская 1996: 240–242].

Рост агглютинативности обнаруживается в ослаблении чередований. Ср. старые: *Рига — рижский, Устюг — устюжский* и новые: *Чикаго — чикагский, Владивосток — владивостокский, Нью-Йорк — нью-йоркский* (см. [Земская 1997: 192]).

II. В предыдущих работах, посвященных семантическим процессам, происходящим в русском языке на рубеже веков, мы отмечали, как наиболее активные, следующие:

1. Перераспределение активности прямых и переносных значений у некоторых групп лексики — прежде всего актуализацию ***прямых*** значений у конфессиональной лексики и лексики, связанной с верой в чудесное (ср., *ведьма, колдун, ясновидящий, гадалка, оборотень, вампир* и т. п.). Всплеск активности прямых значений этой лексики, в отличие от конфессиональной, в последние годы не имеет такого бурного характера.

2. Расширение значений, приводящее к дефразеологизации производных слов, к превращению идентифицирующих слов в предикатные и к гиперонимизации некоторых групп гипонимов.

3. Развитие полной и частичной энантиосемии.

4. Образование новых семантических оппозиций и другие процессы. См. [Ермакова 2006].

В этой работе сделаем лишь отдельные дополнения к ранее отмеченным процессам и кратко остановимся на некоторых других.

1. Энантиосемия. Процесс развития разных типов энантиосемии продолжается прежде всего в сфере оценочной лексики (сочетание противоположных оценок в одном слове). Процесс этот не является новым для русской экспрессивной речи. Ср. просторечные бранные слова, которые используются и для выражения восхищения: *Зараза!* и др. Аналогично употребляются (уже в XIX в.) и в разговорной речи — *каналья, шельма, сволочь* и под. Интересны современные наблюдения над словами *стерва* [Kudlińska 2006] и *гадюка*.

Слово *стерва* приобретает в настоящее время статус характеристики ***женщины*** особого типа: «Она самодостаточна, гуляет сама по себе, не тяготится одиночеством // Стерва — это уверенность в себе, это сила, ответственность, но и — неспособна любить, использующая в своих целях ум, красоту и т. д.» [Kudlińska 2006: 158].

Слово *стервец* не располагает определенным набором таких признаков, хотя может употребляться для выражения одобрения и возмущения.

2. Семантические оппозиции. Отмеченные нами ранее семантические оппозиции в именах лиц — оппозиции типа — А–Б и А–*не*–А [Ермакова 2003] характерны и для настоящего времени (прежде всего типа А–Б): *человек — мужик — мужчина*; *женщина — баба, женщина — тетка, женщина — дама, женщина — мадам*; *хозяин — реализатор*; *сыщик — преступник*; *натурал — ненатурал*; *бюджетник — небюджетник* и др. Можно заметить, что кроме оппозиции *хозяин — реализатор*, распространились и оппозиции *хозяин — прислуга* (в доме); *хозяин — обслуга* (*охранник, шофер* и др.), а также — *хозяин — подчиненные*.

В этих оппозициях *хозяин* в настоящее время имеет отрицательные коннотации, не обязательно в речи подчиненных лиц, но у разных представителей интеллигенции. Слово содержит окраску легкого презрения.

В оппозиции *мужик — мужчина* слово *мужик* все больше укрепляется в разговорной речи (особенно в формах множественного числа), нередко вытесняя слова *мужчина* и *человек*. Вот один из примеров употребления, которое до недавнего времени было бы невозможно:

— *Ну почему ты думаешь, что он обязательно нахамит?* — с упреком сказала Ира [актриса, вполне интеллигентная женщина. — *авт.*] — *Может, он окажется* ***нормальным, воспитанным мужиком*** (А. Маринина).

В конкуренции *мужик — мужчина* есть ряд тонкостей, связанных с этикетом: говорится ли об отсутствующих, о присутствующих и т. д. Кроме того, остаются контексты, в которые слово *мужик* пока не проникает. Так, носитель литературного языка вряд ли скажет: *Он был ее первым мужиком*.

В смысловом поле «свои — чужие» в советское время существовала оппозиция: *москвичи — приезжие*. Эта оппозиция возникла на чисто бытовом уровне у малоинтеллигентных людей. У каждого члена оппозиции были отрицательные коннотации: москвичи, с позиции провинциалов, — незаслуженно пользующиеся благами жизни: в магазинах есть масло, колбаса и т. д.; приезжие, с позиции москвичей, создают в магазинах очереди, все хватают в большом количестве («Понаехали!»).

В последние годы эта оппозиция уже неактуальна. Ее заменила другая: *русские* (коренные жители во всех российских городах) — *приезжие* (прежде всего кавказцы и азиаты). Здесь отрицательные коннотации у второго члена оппозиции: заняли все места на рынке, контролируют рынки, а также открывают новые магазины и т. д.

3. Гиперонимизация. Этот процесс по-прежнему активен в литературной разговорной речи. На основе расширения круга денотатов у определенной группы слов происходит расширение значения до уровня гиперонима, «поглощающего» ряд гипонимов. В предыдущих работах мы отмечали гиперонимизацию у слов конкретно-предметной лексики: *контейнер* ('любая емкость от пробирки до мусорных баков'); *коктейль* ('любая смесь'); *ниша* ('место в работе, политике, экономике и т. д.'); *свитер* — «поглощает» и *джемпер*, и *пуловер*; *майка* — и мужская, и женская, и нижняя, и верхняя трикотажная рубашка; *суп* — 'любое первое блюдо' (отмечено еще ранее Л. А. Капанадзе [Капанад-

зе 1973: 453]) и т. п. Ср. также *хит* — 'любое модное, популярное произведение'. В последнее время активно используется в разговорной речи [под влиянием просторечия] *булка* в значении 'любой белый хлеб'. Но тенденция к сокращению количества обозначающих в пределах некоторых тематических групп не действует прямолинейно и совсем не одинаково активна в разных сферах литературного языка.

Небезынтересна в этом отношении тематическая группа цветообозначений в русском языке. Принято считать, что в настоящее время сократилось количество единиц в этой тематической группе по сравнению с XIX в. и началом XX в. По мнению Б.Ю.Нормана, здесь произошло «укрупнение „картинки“»: «В русском языке многие цветовые наименования прошлых веков объединились в сознании носителей языка с иными, более простыми цветами» [Норман 2004: 225].

В самом деле современное молодое поколение чаще всего не знает, какой цвет обозначался словами *маренго, электрик, индиго, кармин* и др. Но может ли это быть показателем сокращения цветовых обозначений в русском языке? Вышло из употребления несколько несклоняемых заимствованных слов, преимущественно французских (*маренго* — итальянское). Но наряду с этим чрезвычайно обогатилась цветовая палитра в некоторых специальных сферах. Так, в автомобильной промышленности наблюдается очень тонкая дифференциация цветов машин, для чего в сферу цветового обозначения вовлекаются названия самых разных реалий: растений, плодов, минералов, драгоценных и полудрагоценных камней, живых существ — рыб и разных животных. Вот лишь некоторые примеры таких обозначений цвета автомобилей: *баклажан, абрикос, миндаль, сандал, папирус, чароит, дельфин, мурена, пиранья, форель, скат, хамелеон*. Кроме того, используются чисто условные обозначения цвета (хотя и среди уже приведенных есть такие: носителю русского языка отнюдь не ясно, какого цвета пиранья или мурена): *мираж, юпитер, сафари, бриз, нептун*.

Отмечен и целый ряд составных наименований цвета автомобиля: *белая ночь, млечный путь, зеленый лист, зеленый сад, мокрый асфальт, синий металл* и др. Некоторые сравнительно новые названия цвета используются и в автомобильной, и в легкой промышленности (в названиях тканей, колготок) такие, как *асфальт, мокрый асфальт, антрацит* и др.

Помимо специальных сфер — промышленности, торговли и т. п., что также отмечает Норман [Норман 2004: 225], дифференцированное обозначение цвета давно было характерно для минералогии. Ср., например, у А.Е.Ферсмана: *стально-серый, мясо-красный, семгово-розовый* и т. п. А в языке художественной литературы XX в. оттенки

цветов последовательно обозначались сочетаниями прилагательных с наречиями на *-о* типа: *мелово бледный, восково желтый, березово белый, ситцево пестрый.*

Аналогичную «антигиперонимизацию» можно отметить в названных сферах языка и в отношении других тематических групп — в названиях одежды и др. бытовых предметов — там сохраняется и даже развивается дифференциация номенклатурных названий (ср. *пиджак, блейзер, френч* и т. д.).

Таким образом, процесс гиперонимизации, в конечном итоге обусловленный подсознательным стремлением обойтись меньшим количеством знаков, что естественно для массового носителя языка (это касается вообще расширения значений, развития энантиосемии, сокращения гипонимов в пределах одного гиперонима и т. п.), не распространяется на все сферы русского языка. Эта тенденция в разговорной литературной речи и в просторечии получает заметное сопротивление в специальной терминологии.

4. Метонимизация. Среди семантических процессов, отражающих «лицо эпохи», чаще всего отмечается метафоризация. Этот процесс вечный, поскольку метафора служит не только способом наименования, но и орудием мышления: «Метафора удлиняет „руку“ интеллекта» [Ортега-и-Гассет 1990: 72].

Принято считать, что метонимия менее социальна, гораздо менее отражает общественное сознание. Однако это не совсем так. Вряд ли можно утверждать, что активизация некоторых видов метонимии не связана с усилением личностного начала в российском обществе — в языке это проявляется в выдвижении на первый план роли субъекта действия. Это наблюдается в одной из метонимических моделей, весьма активизировавшейся в последние десятилетия в русском языке. Перенос: свойство действия (события, ситуации) — свойство субъекта: *вынужденное переселение — вынужденный переселенец*; *успешное предприятие — успешный бизнесмен*; *эффективное руководство* ('действие') — *эффективный руководитель* (игрок, менеджер и т. п.); *публичное выступление — публичный человек*; *креативные способности — креативная личность* и т. п. (этот тип метонимии подробно проанализирован М.В.Сандаковой) [Сандакова 2004: 141–160].

5. Ирония. Использование различных форм иронии — характерная черта языка прессы последних десятилетий XX в. Определились и некоторые типичные для прессы особенности иронии: ее явный (а не скрытый) характер, стандартизированность субъектно-объектной структуры, преимущественное использование одной–двух иронических ма-

сок, чаще всего маски доверчивого глупца, склонность к употреблению иронических клише и др.

В разговорной речи, где ирония была всегда, активизировались наиболее агрессивные формы иронии — издевательские поощрения, издевательские вопросы и т. п. Стала проникать в иронию и некоторая грубость, вообще нехарактерная для нее. См. [Ермакова 2002, 2005].

III. 1. В польском и русском словообразовании и лексике отмечаются тенденции, являющиеся знаком перемен узуса и нормы. Они связаны с воздействием на язык внешних факторов: политических, социальных, экономических и культурных, происходивших в Польше с 1989 г. и в России с 1991 г.

Динамические процессы в сфере словообразования стимулированы прежде всего усиленными контактами с западными странами, стремительной и неограниченной передачей информации. Наблюдается интенсивный процесс заимствования англо-американской лексики и словообразующих формантов, часто имеющих интернациональный характер, а также процесс заимствования иных иноязычных моделей.

2. Яркий показатель процесса образования новых словообразовательных моделей и их экспансии — лавинообразный рост структур типа: польск. *ekogospodarstwo, ekożywność*; *euroentuzjasta, eurosceptyk*; *wideodrukarka, wideoimpreza, wideowypożyczalnia*; *seksafera, seksskandal, seksnowość*; *cyberjęzyk, cyberportret, cyberpowieść*; русск.: *рок-альбом, рок-движение, рок-тусовка, телесезон, экспресс-курс, экспресс-опрос, экспресс-поставки* и т. п. Заимствованные структуры, например, англ. *videoclip* (прошедшее адаптацию: *videoklip, wideoklip*), *sex shop* (*sex-shop, seks-shop*), *cyberspace, cyberwar* (адаптированные в виде калек: *cyberprzestrzeń, cyberwojna*), послужили основой для создания уже на польской почве аналогичных структур с серийно повторяемым членом: *wideoimpreza, wideowypożyczalnia, seksafera, seksnowość, cyberportret, cyberspołeczność* (см. подробнее: [Waszakowa 1994, 1995, 2001, 2005; Jadacka 2001]). Аналогичный процесс наблюдается в русском языке (см. [Земская 1997; Земская и др. 1998; Rudnik-Karwatowa 2000, 2003]). Особенностью указанных структур[1] является **безаффиксный способ** их образования. Причем определяющий член выступает в препозиции, определяемый — в постпозиции. Отметим, что сама модель с **препо-**

[1] Статус этих образований, отличный от традиционных в славянских языках сложных слов (определяемых термином *złożenia, wyrazy złożone*) дает основу определять их по-польски *struktury złożeniowe* (см. [Rudnik-Karwatowa 2000; 2003]).

зицией относительного определения чужда польскому языку. Как известно, в польском языке в отличие от русского относительное определение ставится после определяемого: польск. *gospodarstwo ekologiczne, komisja specjalna, taśma wideo,* русск. *экологическое хозяйство, специальная комиссия*, но неизменяемые прилагательные, почти все иностранного происхождения, выступали в постпозиции, например: *стиль модерн, картофель фри* и др. [РГ 1980: 556]. В течение последних 25 лет заметна тенденция к перемещению такого типа определений из постпозиции в препозицию, например, сначала возможно: *запись видео, кассета видео*, но теперь узуально и нормативно: *видеозапись, видеокассета*; см. подробнее: [Rudnik-Karwatowa 2007].

Семантически и структурно стабильные определения, являющиеся компонентами рассматриваемых образований, — это аналитические прилагательные (термин М.В.Панова). Свои грамматические признаки и функцию они реализуют в контексте, в сочетании с определяемым компонентом. Таким образом, в рассматриваемых сложных структурах типа *ekogospodarstwo, speckomisja* нарушается правило постпозиции определения, характерное для польского языка, в отличие от образований *экохозяйство, спецгруппа, видеозапись*, в которых препозиция определения соответствует системе русского языка.

Среди образований этого типа можно выделить две группы действующей структуры с первым членом, оканчивающимся на гласный, типа польск. *biopaliwo, ekożywność, wideopirat*; русск.: *биогель, теленаселение*, и структуры с первым членом, оканчивающимся на согласный, например, польск.: *seksafera, cyberjęzyk*; русск.: *рок-тусовка, секс-меньшинство*, *экспресс-опрос* и под.

Образования первого типа, рост активности которых отмечается с конца 80-х гг. XX в., образуются по действующей в истории польского и русского языков (и вообще европейских языков) модели, создающей в основном в области научной и технической терминологии сложные структуры с двумя или, редко, тремя морфемами греческого и латинского происхождения. Фактором, поддерживающим в обоих языках активность структур, определяющий член которых оканчивается на гласный, является внешнее, формальное сходство с традиционными сложными словами: конечное *о* первого члена имитирует интерфиксальную морфему, используемую при образовании композитов, т.е. сложных слов, типичных для славянских языков. В условиях расширения международных контактов (прежде всего с США, а также со странами Евросоюза) в течение последних 20 лет наблюдается вторая волна активизации таких образований (ср. новые термины: польск. *biogaz, biokomponent,*

biomasa 'любое органическое вещество натурального происхождения как источник энергии', *ekolingwistyka, fotoradar, wideotelefon, wideorejestrator*; русск.: *биооператор, биостимуляция, видеотехника, телеприставка*), использующая интернациональные элементы. Отмечается не только количественное расширение состава отдельных серий, но и образование новых серий, например: *био-1/bio-1* — 'относящийся к живым организмам', *био-2/bio-2* — 'природный, естественный', *био-3/bio-3* — 'изготовленный из живых организмов, использующий органические вещества'; *эко-1/eko-1* — 'относящийся к экологии (науке)', *эко-2/eko-2* — 'относящийся к окружающей среде, соответствующий нормам окружающей среды', *эко-3/eko-3* — 'связанный с защитой (обеспечением чистоты) окружающей среды', новейшее *эко-4/eko-4* — 'натуральный; изготовленный из натуральных материалов'; *евро-1/ euro-1* — 'относящийся к Европе, европейский', *евро-2/euro-2* — 'относящийся к Евросоюзу', *евро-3/ euro-3* — 'относящийся к *евро* (денежной единице)'; *видео-1/video-1* — 'относящийся к визуальной информации и техническим средствам', *видео-2/video-2* — 'относящийся к фильму'; *porno-, info-* и т. п. (см. подробнее [Waszakowa 2005]).

3. Новизна происходящих процессов состоит в том, что эти «неоклассические» образования не ограничиваются уже терминологией (кстати, некоторые термины, например: *biokomponent, biopaliwo, ekolingwistyka, wideotelefon* и под., легко принимаются в общелитературном обиходе) — в общепольском языке **они выходят за рамки** специальной лексики и распространяются по различным типам и сферам коммуникации, употребляются в официальной и неофициальной коммуникации, в области публицистики, политики, торговли, рекламы, массовой культуры и т. п.

Часто это иронические или шутливые окказионализмы, распространяемые в массмедиа: *ekoterroryzm, eurognębiciel, narkogłód, pornominister, pornogrubas, еврожизнь, евросон*. Прагматическую функцию приобретают структуры: *eurookna, eurodrzwi, eurowygoda, ekojedzenie, ekoprodukt, ekosklep, biokosmetyk* и много других, распространяемых в рекламе и торговле, обеспечивающей экологический, т. е. здоровый образ жизни.

Рассматриваемая модель более продуктивна в русском языке, чем в польском. Об этом свидетельствует отсутствие во многих случаях в польском языке структурных аналогов образований, функционирующих в русском языке как термины и как сложные структуры нетерминологического характера. Ср. некоторые цельнооформленные структуры в русском языке и их соответствия в польском: русск. *какао-масло* — *masło kakaowe,*

авиабилет — bilet lotniczy, автолюбитель — miłośnik samochodów, автоответчик — automatyczna sekretarka (см. [Rudnik-Karwatowa 2007]).

В польском языке в случае конкуренции рассматриваемых образований и составных выражений наблюдается предпочтительность составных образований, в которых определяющий член имеет статус самостоятельного слова (т.е. получает его и в польском языке), ср. например, *aktor porno* (реже, главным образом в текстах переводов с английского, употребляется *pornoaktor*), *sprzęt wideo* (редко встречается в объявлениях в прессе, в витринах магазинов, в инструкциях по обслуживанию видеотехники: *wideosprzęt*), *radio stereo* (**stereoradio*), *wejście audio* (**audiowejście*) и т. п. Иногда (редко) в одном и том же тексте употребляются обе конструкции, например, в рецензии выставки: *wideoinstalacja — instalacja wideo, wideoprojekt — projekt wideo*, что объясняется желанием автора разнообразить текст. Чаще всего рассматриваемые образования выступают в заглавиях различных типов текстов, привлекая внимание читателей своей нетипичной структурой. Важную роль играет в массмедиа выразительность, краткость, экономность. Итак, в большинстве примеров употребление рассматриваемой структуры и составного наименования четко распределяется по типам коммуникативных ситуаций. В образцовом употреблении, особенно в официальной коммуникации, выступают составные наименования типа *film wideo, nagranie wideo, sprzęt wideo, taśma wideo, aktor porno, radio stereo* и т. п., образования же *wideofilm, wideonagranie, wideosprzęt, pornoaktor* и т. п. живут в неофициальной и профессиональной речи, в массмедиа, рекламе и др.

4. Образования с первым членом (определением), оканчивающимся на согласный, несмотря на их некоторое структурное сходство с вышеупомянутыми образованиями (первый член которых — определение — оканчивается на гласный), целесообразно рассматривать отдельно. В этом убеждает их история и характер функционирования в современном русском и польском языках.

Отдельное место занимают рассматриваемые структуры в русском языке, традиционно считающиеся сложносокращенными словами. Часть из них, особенно старшие, образовалась с целью конденсации неудобных в употреблении описательных наименований. Надо подчеркнуть, что при сокращении составных номинативных единиц часто не учитывались морфологические границы и омонимичность образуемых компонентов, например, *запчасти, комсостав* 'командный состав', ср. также не рассматриваемые здесь сокращенные структуры типа *комроты* 'командир роты', *комбат, генсек*.

В ходе развития русского языка создался механизм, состоящий в образовании серий структур путем соединения компонентов, «приклеивания» одного и того же неизменяемого определения (в препозиции) к семантически различным определяемым компонентам (в постпозиции). Большая активность такого типа определений, повторяемость словообразовательных процедур с теми же компонентами в функции определений в сериях цельных слов позволяет трактовать эти стабильные семантически, функционально и структурно языковые единицы как аналитические прилагательные. Мысль о классе аналитических прилагательных в русском языке, высказанная более 40 лет тому назад [Панов 1960, 1971; Реформатский 1960; РЯСО], нашла развитие только в 90-е гг. XX в. [Земская 1992; 1997; Голанова 1998]. Массовое возникновение (в т. ч. калькирование) и употребление в разных сферах современного языка образований типа *секс-культура, секс-меньшинство, гей-тусовка, интернет-кафе, интернет-клуб, бизнес-справочник, рок-пресса* позволит пересмотреть традиционное мнение о статусе многих наименований с аналитическими прилагательными.

В истории польского языка рассматриваемые образования с первым членом, оканчивающимся на согласный, занимали особое место. Они заимствовались из немецкого и калькировались с немецкого, распространявшись главным образом в торговле, ремесле, строительстве и других областях, связанных с жизнью горожан. С течением времени многие из них лексикализовались, часть заменилась родными непроизводными или производными словами либо составными образованиями. Остальные не выходят за рамки технической терминологии, будучи нередко непонятными для носителей польского языка. Эта словообразовательная модель ощущалась как чуждая системе польского. Обстановка не изменилась и тогда, когда с начала XX в. стали появляться в польском языке заимствования из английского языка (до войны отмечалось небольшое количество составных образований, относящихся прежде всего к специальной лексике, например, *sparringpartner, jachtklub* и т. п.).

Только в последнее время (после 1989 г.) лавинообразно распространились в массмедиа подобные конструкции по образцу английского языка с первым членом *seks-, cyber-* [‘кибер-’], *biznes-* и т. п. Такие структуры, образованные уже на польской почве, очень активны. Большой продуктивностью отличается серия образований с членом *seks-*, чему способствовала пропаганда массовой культуры с ее эротизацией, например, *seksafera, seksnowości, seksprodukty, seksskandal*. Очень активна серия *cyberkawiarnia* (род интернет-кафе), *cybermuzyka, cyberpop*

(род музыки), *cyberportret, cyberrandka* (рандеву), распространившаяся в интернете; она насчитывает уже около ста слов [Ochmann 2000].

В середине 90-х гг. появляется в польских массмедиа компактная группа слов с определяющим членом *spec-*, которые имеют терминологический характер и относятся к важной области современной польской политической действительности, например: *specagent, specgrupa, specsłużby, specłączność* 'спецсвязь', *specraport, specustawa* 'спецустав' и т. д. В социалистическое время были попытки перенести эту словообразовательную модель из русского языка на польскую почву (например, иногда в прессе мелькали такие слова, как *litredakcja, partkomisja, politbiuro* и т. п.), однако они не увенчались успехом; такие слова ощущались как идеологически окрашенные и отвергались носителями языка не только из-за их идеологических коннотаций[2], но и потому, что они противоречили самой системе польского языка[3]. Именно на это указывали главные и наиболее авторитетные польские лингвисты, например, Х. Саткевич [Satkiewicz 1973: 98]. Не оценивая их статус (цельнооформленное образование типа «словосочетания» или сложносокращенное слово), отмечаем у них черты аналитизма [Земская 1997: 191].

Теперь ситуация изменилась, и лишь немногие лингвисты, например, Я. Медек [Miodek 2000: 66], К. Сициньска [Sicińska 2005: 145], категорически высказываются против модели *speckomisja*; А. Марковски считает образования типа *specgrupa* не соответствующими словообразовательной системе [Markowski 2005: 58], но допускает терпимое отношение к ним. Вопрос о принятии этих структур считает открытым Х. Ядацка [Jadacka 2006: 105–106]. Объективная оценка возможна только на основе многостороннего анализа новой тенденции и ее последствий, способствующих развитию языка или нарушающих гармоничное строение системы.

---

[2] Те слова этого типа, которые прежде употреблялись в польском как кальки с русского и заимствования из русского, сохранили свои идеологические коннотации и функционируют в сознании носителей польского языка как советизмы (например, *specszpital, specposiołki, speczadania* и т. п.). Многие из них использовались в советской действительности как эвфемизмы, камуфлирующие антигуманность и патологию коммунистической системы и деятельность обслуживающего ее идеологического аппарата [Крысин 1996б: 392–393].

[3] Особый статус получило образование *socrealizm* (русск. *соцреализм*), прочно вошедшее в мировой лексикон как термин, обозначающий направление в литературе, архитектуре и искусстве в коммунистических странах. Кроме него, в нормативных словарях польского языка не зарегистрировано ни одного слова этого типа.

Смягчение языковой нормы проявляется в изменении иерархии **критериев нормативности**. Ослабевает роль традиции в системе критериев и так называемый национальный критерий, который в прошлом был очень важным: норма допускает и нарушение системных правил языка (в данном случае правила постпозиции определения и некоторых словообразовательных правил), и усвоение чужих моделей (английского и русского языков) особенно в условиях расширения международных контактов. Вместе с тем возрастает аналитизм языковых выражений.

Экономичность, экспрессивность, клишированность и стандартизованность моделей особенно присущи СМИ, которые в современном мире считаются четвертой властью и в последнее время играют исключительно важную роль в формировании языкового узуса и языковых норм. Прежние языковые авторитеты (такие как школа, театр, литература) снизили свою роль, а влияние СМИ стало очень значительным в связи с господством массовой культуры. Журналисты и политики, редакторы и ведущие программ телевидения, которые часто отличаются пассивностью по отношению к языку или используют языковые средства для того, чтобы потворствовать вкусам невзыскательных читателей и телезрителей, становятся авторитетами и законодателями языковых норм.

Язык живет и имеет право изменяться. Пока еще не пришло время для объективной оценки происходящих явлений — может ли ослабление роли традиции в системе критериев словообразовательных норм нарушить гармоничное развитие языка или, наоборот, создаст новые возможности его развития.

ЛИТЕРАТУРА

Авилова 1967 — *Авилова Н.С.* Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени (глаголы с заимствованной основой). М., 1967.

Акуленко 1972 — *Акуленко В.В.* Вопросы итернационализации словарного состава языка. Харьков, 1972.

Аналитические конструкции 1965 — Аналитические конструкции в языках различных типов. М.; Л., 1965.

Голанова 1998 — *Голанова Е.И.* О «мнимых сложных словах» (развитие класса аналитических прилагательных в современном русском языке) // Лики языка. К 45-летию научной деятельности Е.А. Земской / Отв. ред. М.Я.Гловинская. М., 1998. С. 31–39.

Гловинская 1996 — *Гловинская М.Я.* Активные процессы в грамматике (на материале инноваций и массовых языковых ошибок) // Русский

язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996. С. 237–304.

Ермакова 2002 — *Ермакова О. П.* Ирония и словообразование // Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik / Hrsg. S. Mengel. Münster; Hamburg; London, 2002. S. 403–412.

Ермакова 2003 — *Ермакова О. П.* Семантические оппозиции как отражение жизни российского общества в последние десятилетия XX в. // Procesy innowacyjne w językach słowiańskich / Red. nauk. Z. Rudnik-Karwatowa. Warszawa, 2003. S. 51–62.

Ермакова 2005 — *Ермакова О. П.* Ирония и ее роль в жизни языка. Калуга, 2005.

Ермакова 2006 — *Ермакова О. П.* Семантические процессы в русском языке на рубеже веков // Acta Neophilologica. VIII. Olsztyn, 2006. S. 23–32.

Земская 1992 — *Земская Е. А.* Словообразование как деятельность. М., 1992.

Земская 1996 — *Земская Е. А.* Активные процессы словопроизводства // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996. С. 90–141.

Земская 1997 — *Земская Е. А.* Активные тенденции словопроизводства // Русский язык / Red. nauk. E. Širjaev. Opole, 1997 (seria: Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich). S. 167–201.

Земская 2002 — *Земская Е. А.* Специфика семантики и комбинаторики производства слов-гибридов // Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik / Hrsg. S. Mengel. Münster; Hamburg; London, 2002. S. 157–169.

Земская 2006 — *Земская Е. А.* Активные процессы в русском словообразовании нашего времени // Acta Neophilologica. VIII. Olsztyn, 2006. S. 9–22.

Земская и др. 1998 — *Земская Е. А., Ермакова О. П., Рудник-Карват З.* Активные процессы в словообразовании славянских языков (на материале русского и польского языков) // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998. Доклады российской делегации / Отв. ред. О. Н. Трубачев. М., 1998. С. 296–311.

Ильина 1996 — *Ильина Н. Е.* Рост аналитизма в морфологии // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996. С. 326–344.

Капанадзе 1973 — *Капанадзе Л. А.* Номинация // Русская разговорная речь. М., 1973. С. 403–463.

Костомаров 1994 — *Костомаров В. Г.* Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994.

Крысин 1996а — *Крысин Л. П.* Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996. С. 142–161.

Крысин 1996б — *Крысин Л. П.* Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996. С. 384–408.

Маринова 2006 — *Маринова Е. В.* Особенности формирования новых словообразовательных гнезд в современном русском языке (нормативный аспект) // Русский язык сегодня. 4 / Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2006. С. 371–383.

Нещименко 2000 — *Нещименко Г. П.* Активизация использования словообразования в языке публичной коммуникации в конце столетия // Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji / Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, 2000. S. 70–77.

Норман 2004 — *Норман Б. Ю.* Паронимия, метафора или гиперлексема? // Язык и речевая деятельность. Т. 5. Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2004.

Ортега-и-Гассет 1990 — *Ортега-и-Гассет Х.* Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990.

Панов 1960 — *Панов М. В.* О частях речи в русском языке // Филологические науки. 1960. № 4. С. 3–14.

Панов 1971 — *Панов М. В.* Об аналитических прилагательных // Фонетика, фонология, грамматика. М., 1971. С. 240–253.

Панов 1984 — *Панов М. В.* Аналитические и синтетические языки // Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). М., 1984. С. 25–26.

РГ 1980 — Русская грамматика / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. М., 1980. Т. 1.

Реформатский 1960 — *Реформатский А. А.* Введение в языковедение. М., 1960.

РЯСО — Русский язык и советское общество [2] // Словообразование современного русского литературного языка / Под ред. М. В. Панова. М., 1968.

Сандакова 2004 — *Сандакова М. В.* Метонимия прилагательного в русском языке. Киров, 2004.

ТСРЯ — Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Ред. Г. Н. Скляревская. СПб., 2002.

Улуханов 1977 — *Улуханов И. С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977.

Хёйзинга 1992 — *Хёйзинга Й.* Homo ludens. Человек играющий. М., 1992.

Яруллина-Тодорова 1995 — *Яруллина-Тодорова Т.* О некоторых функциях латиницы как средства коммуникации в современном кириллопишущем обществе // Проблема на социолингвистиката IV. Социолингвистика и коммуникация. Материали на 4 конференция по социолингвистика. София, 1995. С. 105–108.

Jadacka 2001 — *Jadacka H.* System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000). Warszawa, 2001.

Jadacka 2006 — *Jadacka H.* Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa, 2006.

Kleszczowa 2000 — *Kleszczowa K.* Rola pożyczek w przekształcaniu polskiego systemu słowotwórczego // Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji / Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, 2000. S. 203–208.

Kreja 1993 — *Kreja B.* Drobiazgi słowotwórcze. 31. O formancie *-gate* 'afera, skandal' // Język Polski. LXXIII. 1993. S. 63–69.

Kudlińska 2006 — *Kudlińska H.* Стервология, czyli o współczesnej kobiecie rosyjskiej bez cenzury // Acta Neophilologica. VIII. Olsztyn, 2006. S. 155–162.

Markowski 2005 — *Markowski A.* Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa, 2005.

Miodek 2000 — *Miodek J.* Jaka jesteś, polszczyzno? Wrocław, 2000.

Ochmann 2000 — *Ochmann D.* Złożenia z *cyber-* we współczesnym języku polskim // Język Polski. LXXX. Z. 1–2. 2000. S. 23–34.

Ohnheiser 2000 — *Ohnheiser I.* Еще раз об опосредствованной мотивации // Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji / Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, 2000. S. 158–164.

Rudnik-Karwatowa 2000 — *Rudnik-Karwatowa Z.* Jeszcze o tendencjach rozwojowych w słowotwórstwie języka polskiego i rosyjskiego końca XX wieku (struktury typu *wideoimpreza, seksnowość* oraz *видеозапись, секс-культура*) // Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład / Pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego. Wrocław, 2000. S. 193–201.

Rudnik-Karwatowa 2003 — *Rudnik-Karwatowa Z.* O najnowszych tendencjach w słowotwórstwie słowiańskim (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego) // Procesy innowacyjne w językach słowiańskich / Red. nauk. Z. Rudnik-Karwatowa. Warszawa, 2003. S. 199–210.

Rudnik-Karwatowa 2007 — *Rudnik-Karwatowa Z.* Ekspansja struktur złożeniowych w językach słowiańskich: diagnoza i rokowania // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. LXIII. 2007. S. 157–167.

Satkiewicz 1973 — *Satkiewicz H.* Słowotwórstwo // *Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H.* Kultura języka polskiego. Warszawa, 1973. S. 80–123.

Sicińska 2005 — *Sicińska K.* Błędy językowe i ich rodzaje // *Frycie S., Jurkowski M., Sicińska K.* Kultura języka polskiego. Warszawa, 2005. S. 131–154.

Waszakowa 1994 — *Waszakowa K.* Tendencje rozwojowe w słowotwórstwie polszczyzny końca XX wieku // Przemiany wpółczesnej polszczyzny / Red. nauk. S. Gajda, Z. Adamiszyn. Opole, 1994. S. 53–60.

Waszakowa 1995 — *Waszakowa K.* Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny // Poradnik Językowy. 1995. Z. 3. S. 1–12.

Waszakowa 2000 — *Waszakowa K.* Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych // Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji / Red. K. Kleszczowa, L. Selimski. Katowice, 2000. S. 63–69.

Waszakowa 2001 — *Waszakowa K.* System słowotwórczy // Język polski / Red. nauk. S. Gajda. Opole, 2001 (seria: Najnowsze Dzieje Języków Słowiańskich). S. 88–107.

Waszakowa 2005 — *Waszakowa K.* Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa, 2005.

Вяч. Вс. Иванов

Развитие *(-)*tl*-, *(-)*dl*- > (-)*kl*-, (-)*gl*- в циркумбалтийской языковой зоне и диалектное членение праславянского

Настоящая статья ставит своей целью выяснение соотношений славянских и балтийских диалектов (в развитие идей, изложенных в предшествующих работах: [Иванов 1982, 2003, 2005]) на основе изучения изоглосс, касающихся сочетаний переднеязычных смычных ***t***, ***d*** с последующим латеральным ***l***. Хотя некоторые основные факты и выводы, необходимые для прояснения соответствующих особенностей диалектов, были еще в начале прошлого века независимо друг от друга в один и тот же год (100 лет назад — в 1907 г.) намечены Васильевым [1972] в отношении древнепсковского и Брюкнером [Brückner 1907] на материале польских говоров, но ни эти новые идеи, ни поразительный по проницательности и широте охвата всех языков общий обзор Шахматова [Шахматов 1915] не оказали заметного влияния на последующие изыскания. Далее, несмотря на открытия Теньера [Tesnière 1933] в отношении словенских говоров и на накопление все большего числа увлекательных свидетельств в прусском и других балтийских языках, основные схемы строго традиционного трехчленного деления диалектного ареала, принятые в славистике, оставались без изменения. Прошли почти незамеченными и первые попытки обнаружить сходное с севернолехитским развитие группы типа ***tl*** в западнокарпатском [Gerovskij 1929] и комментарии Романа Якобсона к записям Фенне [Jakobson 1967, 1972]. Только в последние десятилетия блистательные открытия А.А.Зализняка [1986, 1993, 1995] в отношении древненовгородского наконец сделали неотложной переоценку всех соотношений в балто-славянской зоне.

I. Сохранение *(-)*tl*-, *(-)*dl*-. Альпийский славянский (карантанский) и инославянские и древнепрусские соответствия. Исследования альпийского славянского (карантанского [Pohl 2005: 132–133, ср. уже [Kronsteiner 1976]) позволяют выявить круг общеславянских основ, в которых в этом диалекте праславянского сохранялась, как и во многих западнославянских языках и некоторых юго-западно-славянских диалектах позднейшего времени и в одном из диалектов западнобалтийского (древнепрусского), исходная группа *(-)***tl**-, *(-)***dl**-, также сохранившаяся, но преобразовавшаяся в сочетание типа (-)***kl***-, (-)***gl***- в севернолехитском и древнекривичском (возможно и в одном из древнекарпатских

диалектов), входивших вместе с балтийскими диалектами в циркумбалтийскую зону (в широком смысле, включавшем и славянские языки Великого Княжества Литовского периода его расцвета), и терявшая первый (переднеязычный смычный) элемент в значительной части остальных восточнославянских диалектов и в юго-восточно-славянском (отчасти и в юго-западно-славянском). Приведем наиболее характерные соответствия:

(1) Карантанск. топоним ***Tscharniedling*** (Вост. Тироль) < ***čьrnidlo***; в.-лужицк. ***čornidlō*** «черная краска, чернила», польск. ***cze(/a)rnidlo*** «черная краска, чернила, тушь», чешск. ***černidlo*** «черная краска, чернила», словацк. ***černidlo*** «черная краска, чернила»

при изменении ***-dl- > -l-***:

ст.-слав. **ЧРЬНИЛО** «μέλαν, atramentum, чернила» (Супрасл.), болг. ***чернило*** «черная краска», македон. ***црнило*** «черный цвет, чернота», серб.-хорв. ***црнило*** «черный цвет, чернота», словен. ***črnílo*** «черная краска, черные чернила»; церк.-слав. русск. извода **ЧЬР(/РЬ/ЕР)НИЛО** «черная краска для письма»; русск. ***чернило***, ***-а*** «жидкая краска для письма»; укр. ***чорнило*** «черная краска, употребляемая для окраски тканей, чернила», ст.-укр. закарпатск. ***чернило*** «чернила» [Трубачев ЭССЯ/4: 152]; белор. ***чарніла*** «чернила».

(2) Карантанск. топоним *Matschiedl/Močidlo* < ****močidlo***; польск. ***moczydło*** «болото < мокрое место», чешск. ***močidlo***, словацк. ***močidlo***

при изменении ***-dl- > -gl-***:

псковское ***мочигло*** «болото» в двух псковских грамотах XIV–XV вв. [Зализняк 1993: 198];

и при изменении ***-dl- > -l-***:

в центральных словенских говорах, в серб.-хорв. ***мочило***, в ряде карантанских форм типа *Mötzlach* (Loc. Pl.), где предположено это развитие; ср. словен. ***močile*** и вероятный след заимствования из исчезнувшего славянского паннонского диалекта в венгер. ***moczolya***; из раннеславянского балканского греч. ***Μουτσίλα*** (о возможной связи с румынск. ***mocirlă*** и литературе вопроса ср.: [Cvetko Orešnik 1993]).

(3) Многочисленные карантанские топонимы, куда входят производные от ****jedla*** «ель»: *Jedl, Edlitz, Edelz, Ödlitz, Edliczen, Edlitz, Hediliz*; *Pojedl/Pogedl* < **Pojedlьje*, ср. тип *Полесье*; *Edlnz* < **Jedlьnica*; др.-польск. ***iedl*** «пихта», ***jedła*** «ель», польск. ***jodła***, словинц. ***jedla***, полабск. ***jadlă*** «ель», в.-лужицк. ***jědla***, н.-лужицк. ***jedła***, др.-чешск.

jedl «ель», ***Jedlina*** (название леса), чешск. ***jedle***, словацк. ***jedl'a*** (ср. [Трубачев ЭССЯ/6: 14–15]).

В этом случае (в отличие от других форм из Эльбингского словаря, рассмотренных ниже) древнепрусский диалект, отраженный в этом словаре (с. 596), сохраняет ***dl***: ***addle*** «Tanne, ель» [Mažiulis 1981: 38; 1988/1: 48; Топоров 1975/I: 56–57), ср. лат. ***ebulu-s*** «бузина» (с другим корневым гласным)

при изменении ***-dl- > -gl-***:

в вост.-балтийском: лит. ***ẽgle, ãgle,*** гидроним *Agluonà* [Vanagas 1981: 36]; латыш. ***egle*** и в мертвом куршск. ***Egel, Eglinen, Eggle-purwe***, XV в. [Топоров 1975/I: 56]; мертвый зап.-балт. (самый восточный из языков этой ветви) ятвяжский обнаруживает сходные формы: ***agle***, ***Aglinis > Jeglinec*** [Ibid.];

в сев.-зап. славянском в северно-лехитских диалектах ***jegla, jagla, leglija*** «пихта», словинцск. ***yagłɷ*** «пихта», ***yaglǝna***, ***yaglǫnka***; в псковском ***егль*** «ель»; предполагается, что с этой формой связана ***негла*** «лиственница», распространившаяся на восток от Новгородской земли [Шахматов 1915: 102; Shevelov 1964: 371];

при изменении ***-dl- > -l-***:

словен. ***jēl*** «ель», сербо-хорв. ***јела*** «ель», болг. ***ела*** «ель», русск. ***ель***, ***ёлка***, ***елач***, укр. ***ялиця***, бел. ***елка***.

II. Прабалтийское изменение *(-)*tl*-, *(-)*dl*- > (-)*kl*-, (-)*gl*-. Литовско-латышское изменение совпадает с древнепрусским диалектом Эльбингского словаря в отношении и.-е. суффикса *Nomina Instrumenti* *-*tl-o*/ *-*dhl-* (балт. /*-*dl-*) > *-kl-* (с вариантом *-gl-*, особенно в латгальском [Endzelīns 1951: 349, §177]). По Мейе [1938: 283; Mažiulis 1988/1: 426–427], этот суффикс — тематическое соответствие суффиксу имен деятеля *-*tel/r-*: праслав. *-*tel-ĭ-*, хетт. *-talla-/-galla-*: ***a-ku-ga-al-li-it*** и ***a-ku-ta-al-li-iš***, если это название серебряной чаши, используемое при описании омовения рук царя в [KUB II 13 I 8] и [KUB IX 3 20 5], образовано от анатолийского ***eku-/ a-ku-***‘ пить’ (тохар. А и Б ***yok-***) посредством суффикса *-tall-* (< *-*dhl-?*) > *-gall-* (= *-*gl-* [Иванов 1957: 19; Puhvel 1984–1991: 25, 266, но ср. [Friedrich-Kammenhuber 1975: 25]), ср. хетт. ***eku-ttara-*** «чашник, виночерпий» (к семантике производных ср. лат. *pō-culu-m* «чаша»: *pō-ter* «пьющий»).

(4) Лит. ***auklė*** «подобие лаптей, тесемки на обуви, сшитой, как мокасины, из одного цельного куска звериной шкуры» (ср. [Jaunis 1916: 103]), латышск. ***aukla*** «струна», др.-прусск. ***auclo*** «Halfter = узда» ([Elbing: 451; Mažiulis 1981: 33; 1988/1: 113]; об архаизме термина

см. [Топоров 1975/I: 150; Ernout, Meillet 1994: 207; Delamarre 1984: 112]): в производных от этого и.-е. корня сходный суффикс используется в латинск. [*sub/ind-*]-*ūcula* < **ou-t-l/r-* > авест. *aoθra* «обувь» [Bartholomae 1979: 42];

(5) лит. диалект. жемайт. *tinklas* «сеть» [Jaunis 1916: 80], латыш. *tikls*, др.-прус. *sasin-tinclo* «Hasengarn = заячья западня» [Elbing: 697; Mažiulis 1981: 42; 1997/4: 68–69] вероятно родственно санскр. *tántram*, фарси *târ* «нитка, струна» < **tathra-* (< **tānþra* [Абаев 1979/III: 262]; < **tentlo-* согласно [Delamarre 1984: 124]);

(6) лит. *pjūklas* «пила», др.-прус. *piuclan* «Sichel = серп» [Elbing: 547; Mažiulis 1981: 36; 1996/3: 288];

(7) др.-лит. *riekles* [Bretkūnas 1983]; ср. [Būga 1958/I: 591–592, прим. 1; 1959/II: 694], др.-прус. *riklis* «Suller = Soller, чердак» [Elbing: 205; Mažiulis 1981: 25; 1997/4: 27–29);

(8) Лит. *ìrklas* «весло», ср. санскр *aritram, aritras* [Delamarre 1984: 118].

Судя по италийским соответствиям иногда прабалт. **-tl-* > **-kl-* соответствует варианту суффикса **-dhl-* (> лат. -**bl-*) в зап.-и.-е.:

(9) лит. *stāklės*, латыш. *stakle*, др.-прус. *stacle* «Stütze beim Hause» [Elbing: 197; Mažiulis 1981: 42; 1997/4: 149) родственно лат. *stabulum* «стойло», умбр. *stafflarem* «для Юпитера (Stabilis)», др.-в.-нем. *stadal* «сарай»<√*staH-+-dhl-* [Мейе 1938: 283–284].

В тех случаях, где (как в (3) выше) **-tl-*, **-dhl-* > **-dl-* сохранено в древнепрусском, но не в литовском (восточнобалтийском), предполагаются диалектные различия:

(10) лит. *žénklas* «знак» [Мейе 1938: 182, 283], жемайт. *žinklas* [Jaunis 1916: 12] и ст.-лит. глагольная форма *paszenklinoiey* соответствует др.-прус. *eb-sentl-iuns* «bezeichnet = обозначаемый, символизируемый»: форма принадлежит религиозному словарю, засвидетельствованному в поздних катехизисах [Schmalstieg 1974: 205]. Праформа **źentlā* (также в топониме *Kogonas-santle*) в лит.-прус. диалекте прабалтийского (согласно [Mažiulis 1988/1: 245]) может быть сопоставлена [Топоров 1979/2: 17; Delamarre 1984: 201] с производными от того же корня с суффиксами **-tl-* (др.-в.-нем. *be-knuodilen* «подать знак», *ein-knuadil* «insignis» < **knōþla*; *-tl-* или *-tr-* отражено в санскр. *jñā-tra* «способность к восприятию и познанию»), **dhl-* в лат. *(g)nōbilis* (ср. [Ernout-Meillet 1994: 445]). Консервативные фонетические особенности возвышенной семиотической терминологии и.-е. диалектов могли отличаться от от-

раженного в приведенных словах Эльбингского диалекта разговорного языка, легче меняющегося и подверженного инновациям, но для (3) это объяснение не подходит.

III. Проблема изменений начала слова в балтийском. Балто-славянское название «оборотня». Рассмотренные выше изменения в балтийском касаются как правило соотношений внутри одной морфемы, часто — одного слога и не затрагивают начального положения в слоге. В этом последнем случае ситуация оказывается другой.

(11) Диалектные (и хронологические) различия в западнобалтийском могут быть представлены в отражениях начального ***tl-* > *kl-*** в древнепрусском названии «медведя» ***tlok-*** (в словосложении в топониме: ***Tlok-un-pelk*) > *klok-*: *cloc-is*** «Ber = медведь» [Elbing 655, ср. ***calcestis-clok'*** «Zidelber = медведь на пасеке» [Elbing 656; Топоров 1980: 181–182; 1984: 74; Endzelīns 1982/I: 241; Mažiulis 1981: 40, прим. 161; 1993/2: 208; 1997/4: 220–223]. Начальное прабалт.****tl-*** сохранено в словосложении в диалектном древнепрусском топониме и изменено в ****kl-*** в другом зап.-балтийском диалекте (представленном, как и в других подобных случаях, рассмотренных выше, в Эльбингском словаре). Эта начальная группа утрачивает первый смычный и превращается в ****l-*** в восточно-балтийском: лит. ***lokys***, латыш. ***lâcis*** «медведь»; в сложении с предшествующим названием «волка» в значении «вурдалак» слово выступает в славянском с озвончением начального смычного, в восточнославянском и части южнославянских диалектов исчезающего согласно общей закономерности: ****-dlak-* > *-lak-*** (о формах в балтийском и славянском см. [Иванов, Топоров 1963: 139; Топоров 1984/4: 68–78; Зализняк 1986: 122; Николаев 1989; Mažiulis 1997/4: 220–223; Eckert 2001: 15; Andersen 2006: 45]; гипотеза о сев.-кавказском заимствовании, предложенная в специальной статье [Nichols 1987], фантастична и безосновательна, но сходство с северокавказским нуждается в объяснении. Ср. [Николаев 1983]). Согласно той точке зрения, которую мы в ряде работ пробовали обосновать с В.Н.Топоровым, слово уже в прабалто-славянском (или в том прабалтийском, который был праязыком и для праславянского) было словосложением, где соединилось два древних названия животных: и.-е. ****wl̥k^{w}o-s*** > прабалто-слав. ****vl̥ko-s*** «волк» > лит. ***vilkas*** / ст.-слав. **вълкъ** и и.-е. ****Hr̥t-ko-s*** «медведь». Реконструкция первой основы, как в общеиндоевропейском, так и в балто-славянском, не

вызывает сомнений. Что же касается второй основы, то ее древнейшую форму удается восстановить благодаря др.-хет. ***ḫartagga-š*** «медведь», значение которого (вопреки сомнениям, высказывавшимся вплоть до недавнего времени) удалось подтвердить окончательно, в частности, по тому, как в хеттских текстах описываются повадки животного, обозначаемого этим словом [Puhvel 1991: 201–202]. В древнехеттском ритуальном обращении к деревьям используется глагол ***ark-*** «крыть, futuere»: UR.MAḪ-*aš kattan šeškit* UG.TUR-*aš kattan šeškit ḫartaggaš-ma-šmaš šarā arkiškitta* «лев (львица) долго спал(а) с вами (под вами), пантера долго спала с вами (под вами), но медведь с силой покрывал вас (сверху)» [KUB XXIX 1 I 28–30, Puhvel 1984: 142]. В этом существительном в хеттском сохранен древний порядок фонем внутри того комплекса «акцессивного ряда», позднейшие результаты преобразования которого в отдельных исторических языках когда-то дали основание Бругману восстановить особые спиранты (Бенвенистом переинтерпретированные как аффрикаты). Другой специфической морфонологической особенностью индоевропейского слова, отраженной в хеттском, было то, что оно начинается с ларингального, после исчезновения которого первой фонемой могло стать ***r̥*** слоговое. Этот плавный из вибранта (дрожащего) превратился в балто-славянском в латеральный (боковой). В прабалтийском после исчезновения ларингального осуществилась метатеза, благодаря которой латеральный занял второе место после переднеязычного смычного или образовал с ним единый латеральный комплекс (типа латеральных фонем в северокавказском, юто-ацтекском или майя-киче; к фонетической интерпретации изменения ср.: [Ekblom 1928; Travniček 1926]). Это отражено в ранней древнепрусской форме ***tlok-un*** (***Tlok-un- pelk*** «Медвежье болото»). Позднее и в западнобалтийском (прусском, позднейшее др.-прусск. ***cloc-is, clok*** [Elbing: 655–656]), и в восточнобалтийском начальная группа (глухой переднеязычный смычный + латеральный или же латеральный комплекс «северокавказского» типа) преобразовалась. В западнобалтийском действовал звуковой закон * ***tl-*** > ***kl-***, ставший общим для многих диалектов циркумбалтийского ареала, тогда как в восточнобалтийском упрощение начальной группы или комплекса произошло (как и в лехитском в этом словосложении) за счет выпадения первого согласного (или первой части латерального комплекса): лит. ***lokỹs***, латыш. ***lācis*** «медведь».

(12) Представляет интерес возможное совпадение изменения начала слова в и.-е. прилагательном со значением «долгий, длинный», которое в восточно-балтийском утратило начальное ***d-*** в позиции перед слоговым ***l̥***: лит. ***ilgas*** «длинный», латыш. ***ilgs*** при сохранении начального смычного в западнобалтийском ятвяжском ***Dulgas*** и в родственном славянском ****dь(/ъ?)lgъ*** (см. литературу: [Трубачев ЭССЯ/5: 209]; кн. Н. С. Трубецкой возводил к этой балтийской форме название ***Волги***). Но исчезновение начального **d-* в словах этого корня характеризует зап.-и.-е. языки и может быть более древним.

В разных формах названия оборотня в литовских традициях, таких, как ***vilktakis, vilktakys, vilktakas, vilkalotas, vilkalatas, vilkatas, vilkatakas*** ([Vėlius 1977: 268–281; ср. [Sinkevičius 2003]) по гипотезе В. Н. Топорова, «может быть отражено балт. **vilk-* & **(t)lak-*, отсылающее к образу 'волко-медведя'» [Топоров 1984/IV: 74].

Развитие начального ****tl-*** > ***l-*** в восточнобалтийском совершенно отлично от рассмотренного выше развития в середине слова и совпадает с восточно- и южнославянским, быть может, под влиянием позднейших диалектных контактов, но вероятны и другие объяснения.

Ранняя форма начала второй основы отличалась в южнославянском и в праславянском словосложении от древнепрусской озвончением начального переднеязычного смычного из-за смешения с другим словом (ю.-слав. ****dlak-(a)*** «шкура, шерсть») и/или под ассимилятивным влиянием последующего плавного сонанта. Такая измененная форма сохранилась в этом диалектном (южно-) праславянском слове и в приводимых ниже славянских сложных словах-названиях оборотня. После возникновения нового (эвфемистического) названия «медведя» как «питающегося медом = медоеда» (общего для праславянского и индо-арийского, др.-инд. ***madhv-ad-***) древнее название зверя в славянском скорее всего утратило прежний денотат (по-видимому, из-за табу) и приобрело более общее значение: ю.-слав. ****dlak-(a)*** «шкура, шерсть», если не считать этого значения более древним по сравнению с отнесением слова к «медведю». Однако до сих пор остается проблематичным вопрос о том, которое из двух значений считать исходным: предполагать ли (как считал я в предшествующих работах [Иванов 1965, 1975, 1977] и как это сформулировано выше) позднейшим развитие «медведь» (> «медвежья шкура») > «шкура»/«шерсть (зверя)» (представлено в этом значении и в этой звуковой форме вне сложения только в южнославянском) или же предположить обратное измене-

ние: «шкура»/«шерсть (зверя)» > «обросший шерстью, косматый» > «медведь». Диалектное праслав. ***vl̥ko-t/dlak(-ъ)*** первоначально могло сохранять более древнее значение гибридного мифологического существа, имевшего черты двух опасных диких зверей — волка и медведя. Типологически сходное сочетание отражено во многих древнегерманских личных именах, являющихся словосложениями со значением «волко-медведь»: др.-исл. ***Ulf-biorn***, др.-в.-нем. ***Wulf-bero*** [Иванов 1977]; хотя второй элемент сложения выражен собственно германской основой, заменившей общеиндоевропейскую, не приходится сомневаться в единстве исходного северо-западно-индоевропейского мифологического представления, сказавшегося в этих германских и славянских словосложениях. Архаические хеттские ритуалы, включающие хеттское название «медведя», относят его в «медвежьим людям», которые выступают параллельно «волчьим людям». Эти ритуалы делают правдоподобным соединение «волка» и «медведя» в одном слове, относящемся к человеку-оборотню [Иванов 1965: 31–34; 1975; 1977]. По закарпатскому преданию, вурдалак может быть один месяц волком, а другой — медведем [Николаев 1983: 42; Гура, Левкиевская 1995: 418]. Предполагаемая праславянская форма ***vl̥ko-dlak(-ъ)*** почти без изменений отражена в чешск. ***vlko-dlak(-ъ)***. Но возможный книжный характер формы [Machek 1957: 571], отчасти отличающий ее от диалектного (ляшск.) ***vyl'ko-dlak*** и словацк. ***vyl'ko-lak*** (с упрощением начальной группы второй основы того же типа, что в соответствующем лехитском сложном слове), делает вероятным влияние на нее позднепраславянской или не дошедшей до нас старославянской (ранней южнославянской или смешанной древнемакедонско-моравской) формы с приблизительно таким же фонемным составом и значением. Для более ранней эпохи развития прачешского диалекта можно предположить наличие формы, достаточно близкой к древнепрусской по составу фонем и со значением, которое может быть архаизмом: др.-чешск. ***tlak-a, -y*** «*pub(e)s*, растительность на теле как признак зрелости, возмужалости» (в частности, у Кларета: Flajšhans 1926, Clar., Gloss., VI, 7, строка 1305: Pubs **tlaka**). Семантика древнечешского слова и контекст его употребления у Кларета могли бы говорить в пользу влияния табу на процессы изменения и заимствования данной формы. Можно было бы распространить на «волко-медведя» психоаналитическое истолкование «ликантропии» (ср. о славянском князе-оборотне Всеславе [Jakobson 1966]) в духе работы Фрейда о комплексе «человека-волка» и интерпретировать в этой связи зооморфные символы, использовавшиеся при инициации. Ср. образ жени-

ха-вурдалака на свадьбе в славянском фольклоре [Попов 1985: 221; Гура, Левкиевская 1995: 418].

Если вслед за специалистами по истории чешского языка принять большую древность приводимой древнечешской формы у Кларета по сравнению с той основой, которая представлена вне сложения в южнославянском и в составе сложения в других славянских языках, то можно было бы думать, что более поздние (в том числе книжные) влияния привели к замене более древнего слова, по звучанию, но быть может и по значению, еще мало отличавшегося от древнепрусского. Иначе говоря, можно было бы реконструировать для прачешского варианта праславянского ***tlak-a*** «растительность на теле, делающая мужчину внешне похожим на медведя» и ***vьlko-tlak-ъ*** «оборотень; мужчина с чертами медведя или волка». Другие западнославянские варианты названия волка-оборотня [Słupecki 1987] характеризуются инновационным (или ему типологически и ареально подобным) изменением латеральной группы по южно- или восточнославянскому типу (польск. ***wilkolak***, словацк. ***vyl'ko-lak***), где исходная форма могла быть с равным успехом и ***tl***-, и ***dl***: второй тип мог победить под позднейшим влиянием южнославянского.

Представляется возможным поставить вопрос о том, не отразилась ли архаическая форма названия «шерсти» с исходным ***tl- *tlok-ъ/ *tlak-ъ*** в общеславянском названии «пучка шерсти» (русск. ***клок***), если допустить в этом случае раннее заимствование и распространение формы с измененным началом в тех диалектах, где это развитие по фонетическим причинам не могло наблюдаться. Если это слово, не имеющее четкого объяснения, происходит из балто-славянских диалектов с развитием ***tl- > kl***-, то оно могло бы стать свидетельством наличия и в них исходного ***tlok***-, подобного древнечешской форме. Но развитие ***tlok- > *klok***-, аналогичное диалектному древнепрусскому, осуществлялось только в части диалектов, где слово представлено, и тогда нужно предположить интенсивные взаимовлияния и контакты диалектов в достаточно ранний период, когда предполагаемое заимствование (из диалекта типа прадревнепрусского или пракривичского) распространилось по всем славянским языкам вероятно в связи с сопутствующими мифологическими или ритуальными представлениями. *Клок шерсти* или *клочок одежды* оборотня фигурирует в некоторых из фольклорных историй, связанных с вурдалаком.

В словенск. ***vołko-dlak*** и сербо-хорват. ***vuko-dlak*** вторая основа выступает в форме, отличающейся от древнепрусской и древнечешской и в то же время совпадающей с названием «шерсти, шкуры» в юго-за-

падно-славянских диалектах. Для этого могут быть предложены следующие альтернативные объяснения. Во-первых, исходя из предложенной выше индоевропейской и балто-славянской этимологии слова, можно было бы думать, что по фонетическим причинам (озвончение начального переднеязычного смычного под ассимилятивным влиянием последующего плавного сонанта) начало существительного изменилось. Это произошло одновременно с развитием в старом названии «медведя» нового значения «шерсть, шкура». Во-вторых, принимая ту же этимологию, можно, однако, думать, что слово с последним значением уже существовало в языке и фонетический фактор (озвончение первого смычного согласного) только способствовал семантической переинтерпретации второй части словосложения, которая стала восприниматься как это существительное.

Старосербский текст 1262 г. сохранил форму, в которой можно было бы видеть след более ранней (книжной) старославянской формы: **влькодлаци**. Наличие первого латерального, в сербо-хорватском отсутствующего (в отличие от словенского, сохранившего раннеюго-западно-славянский облик слова), указывает на вероятность влияния аналогичной незасвидетельствованной формы, которую соответственно можно реконструировать в раннеюго-восточно-славянском. Мифологические существа, обозначаемые этим словом, поглощают солнце и луну во время затмения, и поэтому их можно было бы реконструировать и для раннего славянского язычества в той мере, в какой оно было связано с палеоастрономическими наблюдениями. В позднейшей сербской традиции (о топонимике ср. [Rospond 1974]), как и в других южнобалканских, слово *вукодлак* означает вампира. Отсутствие старославянских форм (по понятным семантическим причинам) затрудняет выяснение наиболее ранней ситуации в юго-восточно-славянском. Приходится обратиться к тем формам, в которых, как уже в упомянутой книжной чешской и как в цитированной старосербской, можно было бы видеть влияние не дошедшей до нас диалектной предстарославянской.

Особенностью развития в юго-восточно-славянском в отличие от юго-западно-славянского была потеря ***d-*** в начальной группе ***dl-* > *l-*** (как в этом сложном слове в восточнославянском, лехитском, словацком) и ранняя диссимиляция двух латеральных фонем, из которых первая (****l***) в болгарском изменилась в ****r***: болг. *върколак*. По сравнению с предполагаемой исходной индоевропейской формой порядок плавных оказывается обратным: ****r* . **l*** вместо ****l* . **r*** (через промежуточное состояние ****l* . **l*** в балто-славянском и диалектах, из него про-

исходящих). В болгарских традициях речь идет о злокозненном волке-оборотне, который выходит из своей могилы, чтобы мучить и убивать живых людей [Krause 1908: 137, 139; Маринов 1914: 221; Moszyński 1968: 544; Арнаудов 1969: 634; Георгиев 1970: 472; Попов 1985]. Сюжет превращения в волка жениха на свадьбе у болгар [Попов 1985: 221; Гура, Левкиевская 1995: 418] совпадает с лехитско-западновосточнославянским мотивом.

В достаточно древний период раннеболгарское название с измененным составом плавных заимствуется в румынский (рум. *vîrcolak,* вариант *svîrcolak* [Mihailă 1960: 149; Rossetti 1968: 314; Ionescu 1975: 674; 1977: 61–62]; румынский вариант ***vălcolak*** [Ionescu 1975, 1977] рассматривается как заимствованный из такой южнославянской формы, где развитие плавного по болгарскому типу еще не произошло) и в аромунские диалекты дако-романского (аромун. ***vurcolác, vurculác*** «вампир, призрак»). Существительное в румынском обозначает душу ребенка, умершего до крещения (христианский мотив внутри более древней мифологемы) и воплотившегося в оборотня-волка; он поедает солнце и луну и вызывает этим затмения [Vulcănescu 1962]. В греческий (как в континентальные диалекты новогреческого, так и в диалекты островов) была заимствована юго-восточно-славянская (болгарская) форма слова с измененным первым плавным: греч. *βουρκόλακας,* диалектный вариант *βαρβάλακκας* [Meyer 1894: 8; Vasmer 1941: 286; Dukova 1977: 107–108]. Не имеет фонетических оснований предположение, по которому развитие плавного произошло не в болгарском, а в греческом, откуда якобы форма с ***r*** вместо ****l*** была потом заимствована в болгарский [Dukova 1977: 107]. По фонетическим признакам предполагается, что албанск. ***vurvollak, vurvullák*** заимствовано из греческого. В западной части восточнославянской области — в белорусском *воўколак,* украинском *вовкулак* — фонетическое развитие второй части словосложения аналогично болгарскому, а первая часть теряет латеральный. По своему значению эти слова достаточно близки к польск. ***wilkolak*** и обозначают волка-оборотня в нескольких однотипных фольклорных сюжетах.

В восточной части восточнославянской области слово отсутствовало и появилось в первой половине XIX в. в индивидуальном поэтическом языке Пушкина, откуда проникает в общерусский литературный язык. Можно не сомневаться в том, что это — результат ознакомления Пушкина с балканскими языками и диалектами в пору его пребывания в Кишиневе (и Одессе). В это время он мог слышать главным образом речь и отдельные слова на румынском языке (и его

молдавском диалекте), новогреческом и цыганском, который мог содержать заимствования из разных балканских языков. Начало слова ***вурдалак*** скорее всего указывает на греческий источник. Однако вторая половина словосложения верна своему более раннему прообразу, который мог быть почерпнут из юго-западно-славянских форм или заимствований из них. В таком случае следовало бы предположить склеивание этих слов, происходившее в поэтическом языке Пушкина. Значение у Пушкина общебалканское, не зависящее от предыстории термина.

IV. Переходные славянские диалекты с частичной утратой согласного **d-* перед *-l*. В то время как в большинстве южнославянских диалектов изменение **(-)t/dl- > -l-* регулярно, первоначальные группы согласных (с озвончением первого из них) сохранились в некоторых современных сев.-зап.-словенских диалектах [Шахматов 1915: 100–101; Tesnière 1933; Мейе 1950: §145; Ramovš 1935; Kronsteiner 1976; Pohl 2005; Andersen 2006: 40–43 с картой 1, p. 41] так же, как частично во Фрейзингских отрывках и в карантанском (см. выше (1)–(3)). Этот архаизм наблюдается внутри морфа/слога в середине основы (в сев.-зап.-словенском) и также (во Фрейзингских фрагментах и в центральных словенских диалектах) в формах типа ***v-sed-li***, где морфемный шов (граница морфов, которая может совпадать со слоговой границей) проходит между глагольной основой с исходом на *-d-* и начальной фонемой *-l-* глагольного окончания (различие между изменением внутри слога и на границе слогов считал для судьбы данного сочетания особенно существенным кн. Н. С. Трубецкой [Trubetskoy 1925], ср. [Дурново 1969: 153, прим. 52; Schuster-Ševc 1964: 364]); морфемный шов — juncture — внутри сочетания согласных фонем может сделать его более устойчивым [Иванов 1982: 213]; о таутоморфемном и гетероморфемном изменении данной группы фонем см. [Andersen 2006].

Как видно уже из (1–3), сохранение ****-tl-/-dl-*** имеет место в полабском, верхнелужицком (нижнелужицкий частично утратил архаичные формы), чешском и польских южных диалектах и силезском (как и в современном литературном польском языке), тогда как в словацком и словенском архаичные (консервативные) диалекты с сохранением групп ****-tl-/-dl-*** противопоставляются инновационным, в которых осуществляется замена групп фонемой ****-l-***. Поскольку в словацком в диалектах продолжаются частично словенские изоглоссы с этим фонетическим изменением, можно было бы думать, что эволюция началась до разделения словацкого и словенского ареалов, вызванного вторжением пришлецов в VIII–IX вв., говоривших по-немецки и по-вен-

герски ([Shevelov 1964: 202, §13.7]; см. уже [Шахматов 1915: 100]). Предположено, что паннонский диалект, вытесненный венгерским и давший ему ряд заимствований, был особенно близок к сербо-хорватскому [Richards 2003], ср. выше, по поводу группы форм (2) (архетип ***močidlo** «мокрое место > болото»), о венгер. ***moczolya*** как о вероятном следе паннонской формы с развитием типа ***-dl-* > *-l-***. Однако по отношению к началу слова паннонский обнаруживает возможный след сохранения древнего сочетания ***tl-***, которое при заимствовании в венгерский получило вставляемый между согласными эпентетический гласный: венгер. ***talp-*** с отражением исконной (праславянской по реконструкции Соболевского, в недавнее время поддержанной Николаевым и Андерсеном) глухости первого согласного, как в чешск. ***tlapa***, ***tlápa*** «лапа, ножища» (с ногами соотнесен и производный глагол ***tlapati***, звукоподражательный вариант которого ***šlapati*** может помочь при объяснении ю.-слав. соответствий типа словен. ***šapa***). Наблюдается позднейшее озвончение в моравск. и словацк. ***dlapa*** «лапа» [Machek 1957: 530]. Утрата первого согласного в восточнославянском и части других диалектов могла привести к смешению с другим словом-названием ладони, для которого соответствие усматривается в германском: гот. ***lofa***; исконное слово в славянском относилось к лапам животного: др.-чеш. ***t/dlapa*** параллельно ***tlaka*** и могло относиться именно к медвежьей лапе [Holub, Kopečný 1952: 386].

Наблюдаемое при сравнении диалектных чешских и словацких форм с южно- и восточнославянскими озвончение и исчезновение начальной фонемы ***tlapa* > *dlapa* > *lapa*** подтверждает переход ***tlaka* > *dlaka* > *lak-***, реконструированный выше для славянского названия «вурдалака», и позволяет уточнить схему эволюции других подобных форм.

Шахматов [1915: §178, 180] предположил, что праславянский суффикс ***-dlo-* <*-tlo-*** в позиции после гласных и ***r-***. Он сравнил это изменение с аналогичным озвончением зубного смычного ***-t* > *-d*** в конце глагольной основы в позиции перед ***-l*** глагольного аффикса в словенских диалектах. Идея такого озвончения как предварительного этапа при переходе ***-tl-* > *-dl-* > *-gl-*** развита в недавней работе Хеннинга Андерсена, в частности, применительно к рассмотренным ниже западнокарпатским формам, сходным с теми, которые характерны для северо-западных словенских диалектов [Andersen 2006].

Может представить интерес тимокский диалект, рассматриваемый как переходный от сербо-хорватского (юго-западно-славянского) к болгарскому (юго-восточно-славянскому). Тимокские формы, в которых при сочетании конечного зубного (переднеязычного) смычного ***-d/-t***

глагольной основы и начального *-l-* окончания вся группа и противопоставление звонкого и глухого смычного в ней сохраняется на границе морфов (***iskrad-la*** «она украла», ***uplet-le*** «они сплели»), пробовали объяснить как новообразования, в которых сказалось позднейшее влияние спряжения в настоящем времени [Shevelov 1964: 372]. Но нельзя считать исключенным совпадение с архаичными северо-западно-словенскими формами.

V. Севернолехитские и севернокривичские (древнепсковские и западноновгородские) формы с развитием **dl > gl.*

(13) Сохранению праславянского *-dl-* < и.-е. **-ld-* (др.-хетт. ***maldai-*** 'молиться принося жертву», 𒀀𒌅𒄩𒄿𒄭𒄿𒄭𒄿𒄭𒄿𒄭𒄿𒄭 ***nu ma-a-al-taḫ-ḫu-un*** «и я помолился, совершив жертвоприношение», надпись Анитты, 59; лит. ***maldýti***, латыш. [***sa***]***maldît***, к этимологии [Kluge-Seebold 1999: 551–552]; ср. мену последовательности ***l***... ***d*** ~ ***d***... ***l***: ст.-сл. ***длань***: рус. *ладонь*) в др.-слов. ***modliti se*** «молиться» (и в соответствующих формах в современных сев.-словенских диалектах) отвечают сходные формы в зап.-слав. языках: словацк. ***modliti sa***, чеш. ***modliti se***, польск. ***modlić się***, в.-луж. ***modlić so***, н.-луж. ***modliś***. Изоглосса ****modl-*** > ****mol-*** характеризует большинство ю.-слав. языков (за исключением сев.-зап. словенского, частично древнесловенского и тимокского диалекта) и вост. диалекты за исключением испытавших влияние балтийской зоны. В последних осуществился переход ****-dl-*** > ***-gl-*** [Rudnicki 1927; Селищев 1928; Авксентьева 1976; Иванов 1990]. Зап.-слав. ****modl-*** «молиться» и вост.-слав./ю.-слав. ****mol-*** соответствует ****mogl-*** в польских диалектах Мазовши и Куявы [Brückner 1907; Шахматов 1915: 100; Taszycki 1957; Karaś 1986]. В др.-польск. текстах с такими диалектными чертами обнаруживаются формы от ***moglić*** «молиться» (***się moglił***, «De morte prologus», написано в 1463–1465 гг., l. 23 [Chr.St.pol.: 268]; «Historia Aleksanra Wielkiego, krola macedońskiego», переведенная с латинского в 1510 г., l. 172 [Chr. St. pol.: 227]; ***się mogliła***, «O pokusie celestnej panny Eufraksyjej», переведено с латинского в 1524 г., l. 30 [Chr.St.pol.: 119]), ***moglitwa*** «молитва» (***moglytwa***, «Jako panna Eufraksyja w naprawy ducha złego mało sobie oka nie wykłoła», переведено с латинского в 1524 г., l. 87 [Chr. St. pol.: 120]).

(14) ***mgleć*** «слабеть» (***mgleję***, «De morte prologus», l. 99 [Chr. St. pol.: 270]; стандартная зап.-слав. форма этой основы представлена в польск. ***mdleć***, др.-польск. ***mdlić*** в текстах с другой диалектной ос-

новой, напр. в рецептах на лекарства [Chr. St. pol.: 215]; соответствие в вост.-слав. есть в русск. ***млеть***), ***zemgleć*** «истратить силы» (***zemglała***, Władisław из Gielniow, знаменитая народная песня «Jezusa Judasz przedał...», сочинена в самом начале XVI в., l. 32 [Chr. St. pol.: 250]; стандартная зап.-слав. форма этой основы имеется в польск. ***zemdleć***), ***mgly*** «нездоровый» (***człowieka ſubtilnego á mglego przyrodzenia*** «человека слабого и нездорового с самого рождения», Andrzej Glaber «Problemata Aristotelis. Gadki z pisma wielkiego filozofa Arystotela i też inszych mędrcow wybrane», напечатано в 1535 г., l. 88 [Chr. St. pol.: 367]); стандартная форма основы ***mdlego*** встречается в «Fortuny i knoty rozność...» в 1524 г., l. 117 [Chr. St. pol.: 337], ср. псковск. диалект. ***моглявина*** [Зализняк 1993: 199]. К хронологии: топонимы как *Hartlow* (XIV–XVI вв.) позднее выступают в виде *Harklow*.

(15) В словинском сходное изменение осуществилось в **smord-l-ina* > ***smãrglänă*** «черная смородина» (ср. ***-d-l*** в ст.-польск. ***smordliwy*** l. 89, 101 [Chr. St. pol.: 337]; чешск. моравск. диал. ***smradlina*** [Machek 1954: 98]; полаб. ***smordla*** inf).

(16) Словинск. ***žę-dlo > žãglö*** «жало», ю.-кашуб. ***žąglo*** [Шахматов 1915: 100; Shevelov 1964: 371] тождественно др.-псковск. ***жагло***. Изменение этого типа характерно для всех сев.-зап.-славянских диалектов включая польские (см. [Schuster-Ševc 1964]).

Как видно из приведенных примеров (14), (16), изменения в древнепсковском очень сходны с севернолехитским.

В севернокривичском псковском, после работы Васильева ([Васильев 1972]; ср. [Shevelov 1991]) изученном обстоятельно (особенно благодаря рукописи Фенне [F]), встречается много случаев глагольных форм на ***-l-*** (того же типа, что и в словенских диалектах, которые сохраняют гетероморфемную группу ***-t/d-l-***, в севернокривичском меняющуюся в ***-k-l/-g-l-***):

(17) ***соустрѣкле*** [*sustrēkle*] 'он встретил', Псковская летопись, XV в., ср. [*sustrēkal*] (от **rēt-*, бел. ***sustrakác'*** «встретить» как южное продолжение формы [Shevelov 1964: 371];

(18) ***чѣкли*** [*čēkli*] [F], ***čĭkli*** «учли», Сборник Софийской библиотеки № 1262, XV в. AD, ***pritzklos*** «присчитал» [F: 308, 4] (ср. ***прицклась*** в современном диалекте начала XX в. [Шахматов 1915: 101]); ***pritzkle*** «сосчитал» [F: 310, 1, 2] (об этой и других подобных формах см. [Jakobson 1971: 204]); ***vtzkle*** «я подсчитал» [F: 359; 387, 1]; ***otzkles*** «ты ошибся при подсчете» [F: 326; 357, 6; 384,1]; ***obotzkles***

«ты обчелся» [F: 360; 388, 3]; ***otzkles*** «ошибся при подсчете» [F: 326; 357, 6]; ***sotzkles*** «счелся» [F: 309; 343, 3].

(19)–(21) Похожее изменение звонкого ***d- + -l- > -gl-*** наблюдается в Первой Псковской летописи в ***оуссегли***, ***повегле*** (***po-ved-***, инфинитив ***po-vesti***, Погодинский список второй половины XVI в. [Каринский 1909: 87; Jakobson 1971: 205–206]), ***rosvogel*** [***rozvëgle = розвёгле***] «развёл = разрешил, уладил» [F: 423; 441, 9 (Jakobson 1971: 205)], ***блюглися*** (Первая Псковская летопись), ***ne poblugl*** «не сохранил» [F: 249; 289, 2].

(22) Суффикс *-glo-* < **dlo-* того же типа, что в (1)–(2); ср. (4)–(10), обнаружен в основе ****ryglo***, восстановленной по собственному имени [Зализняк 1993: 199]: ср. ***рыло*** **rylo** < ****ry-dlo***).

(23) В этом суффиксе развитие того же типа, что в балтийском (4)–(10), давно замечено в псковск. ***žereglo*** «жерло» (в псковском тексте XVII в. и в современном псковском диалекте [Шахматов 1915: 101 и 368] при польск. ***źródło***, н.-луж. ***žřodło***, чеш. ***zřídlo*** с сохранением **-dl-*, замененного **-l-* в рус. ***жер(е)ло*** и словен. ***žrélo***); соответствующая форма с другой огласовкой корня, но с аналогичным развитием суффикса ****-tl- > -kl-*** восстановлена для прабалтийского на основе др.-прус. ***gurcle*** «Gurgel = глотка» [Elbing 97, Mažiulis 1981: 18; 1988/1: 425–428; Топоров 1979/II: 248–350], лит. ***gurkle*** (в древнелитовском предположено древнепрусское заимствование, ср. в текстах Бреткунаса: [Bretkūnas 1983: 265, Kalbessei Salomono, XXIII, 2: 303, Giesmiy giesme Salomono, II, 3: 367]), ср. латыш. ***gurklis*** «лоб». Происхождение *-g/kl-* в нескольких родственных формах в западнославянском (чешск. моравск. ***žiglo***) и особенно в ю.-слав. (болг. ***grəklàn*** «верхняя часть дыхательного горла», сербо-хорв. ***gŕkl'an***) объясняли смешением с другими словами [Skok 1971: 621], но связь с только что приведенными формами не исключена (древняя балто-балканская изоглосса?).

(24)–(25) Как заметил уже Шахматов ([1915: XIV, прим. 2], ср. в последних работах [Зализняк 1993: 198]), псковский диалект был источником очень ранних заимствований в эстонском с таким именно отражением сочетаний с ***-l-*** в этом суффиксе:

(24) эст. ***mugel*** (Gen.Sg. ***mugl-a***) «мыльный порошок», псковск. ***myglo*** «мыло», ср. новгородское заимствование в вепсском ***mugl*** (****mūgloa***) (об архаичном гласном первого слога ср. [Shevelov 1964: 371, 379]), рус. ***мыло***, польск. ***mydło***, зап.-словацк. и сев.-вост. чеш. диалект. ***mīlo*** с долгим ***l̄-*** <****-dl-*** (ср. у Фенне написания типа ***mollitsa***; подобные геминированные формы латерального могли

быть промежуточными при переходе от комбинации фонем к одному латеральному [Shevelov 1964: 372–374]); сербо-хорв. ***milo***;

(25) эст. ***vigel*** «вилка» (Gen. Sg. ***vigl-a***), зап.-новгородск. топоним ***Виглино***, вост.-новгородск. ***Вилино***, рус. ***вилы, вилка***, польск. ***widły***.

Как недавно открыл А. А. Зализняк [1986: 119–122] (ср. [Николаев 1989: 193–194; 1990; 1994; Andersen 2006: 25–26]), в севернокривичском псковском (и отчасти в зап.-новгородском) диалекте развитие типа ***tl-* > *kl-*** осуществлялось также в начале слова (как в одном из зап.-балтийских диалектов в древнепрусском, выше (11));

(26) ***клещ*** соответствует ст.-польск. ***kleszcz*** «лещ», засвидетельствованному с XIV в., словинцск. ***klìwšč***, н.-луж. ***klěšć***, др.-чеш. ***dlešč***, рус. ***лещ***;

(27) псковск. и сев.-вост. рус. диалект. ***klëskat'***, ***kleskat'*** (один из старых глаголов звукопроизводства с суффиксом -**sk*-): ю. рус. диал. ***łëskat'***, варианты гласного корня ***kl'askat'/l'askat'***, укр. ***kl'askati/loskati***, бел. ***kl'askac'***, польск. ***klaskać/leszczeć***, н.-луж. ***klaskaś***, в.-луж. ***kleskać***, чеш. ***tleskati/dleskati***;

(28) рус. ***kl'ost*** «*Loxia curvirostra*», польск. ***klesk*** (в текстах XVII–XVIII вв.), словацк. ***glezg***, диалект. ***glask, dlask***, чешск. ***dlask***, н.-луж. ***dłusk***, слов. ***dlesk/klesk***.

Согласно выводам А. А. Зализняка [1986, 1993, 1995: 60] в зап. части новгородского ареала изменение группы согласных происходило как в псковском, тогда как в новгородском койне встречаются наряду со словами этого типа и формы с преобразованием ***k/gl-* > *-l-***.

(29) В IV Новгородской летописи есть форма ***воз-мяклася*** [Shevelov 1964, p. 371], ср. в псковской берестяной грамоте № 6 ***из-макле*** < **iz-mętle* [Зализняк 1993: 198].

Как заметил Соболевский [1909] (ср. [Шахматов 1915: 101]), в синодальной копии I Новгородской летописи форма ***подъвегли*** (ср. выше (19)) употреблена при описании событий во Пскове. Число таких псковско-подобных форм в новгородских берестяных грамотах невелико: ***клещь*** упомянут в документе конца XIV в. по поводу рыбного налога [Зализняк 1986: §34–36; 1995: 60–61, 535, 623]; встретилась глагольная форма ***вег***[***лесе***] «обвинил» от основы *ved-*(+*-le-*) (юридическое значение «ссоры» сохранено в современном псковском говоре). В списке убытков новгородцев (*utschrift van den Nowgrodschen schaden*), сочиненном в 1412 г., есть фрагменты, написанные на древ-

неновгородском диалекте. В них употреблены несколько глагольных форм с суффиксом *-l-* — ***веглѣ***; ***повеглѣ*** (2 раза), **вывеглѣ** [Зализняк 1995: 41, 574, 576, 578].

Представляется также существенным отмеченное в работах А. А. Зализняка географическое распределение топонимов с сочетаниями (-)***kl-***, ***-gl-*** < ****(-)tl-,*-dl-***: среди западных форм типа ***Виглино*** (выше (25)) встречаются такие, как ***Клещино*** (см. выше (26)), ***Еглино*** (выше (3), особенно ***Eglinin***, зап.-балт. ятвяжск. ***Aglinis***). Но в восточных (Бежецком, Деревском, Обонецком) ареалах географические имена часто имеют обычную вост.-слав. форму с изменением **(-)tl-*, **-dl-* > (-)*l-*: ***Лещево***, ***Елино*** [Зализняк 1993: 200; 1995: 41], тогда как в западных округах (Шелонском, Водском) этот тип практически отсутствует. Распределение топонимов подтверждает противопоставление западной циркумбалтийской и восточной зон.

VI. Изменение группы **-d-l-* в закарпатских глагольных формах. На юго-западной границе вост.-слав. диалектов вдали от циркумбалтийской зоны, но в пределах Великого Княжества Литовского в его максимальных границах обнаруживаются следы изменения **-tl-/*-dl-* > *-gl-*. Такие следы были предположены в некоторых западноукраинских закарпатских глагольных формах прошедшего времени с необъясненным изменением конца основы. Уже в позднесреднеукраинских (по терминологии Шевелёва) молитвах из Нягива (в копии 1758 г. подлинника, написанного на языке, близком к местному разговорному, в 1602 г. в Западном Закарпатье, Shevelov 1974, p. 708 и 716) есть формы типа ***вывјух*** (***Лота вывјух***). 80 лет назад было предположено, что такие закарпатские формы прошедшего времени, как ***vjux*** (от ***ved-*** «вести», 1 л. ед.ч. наст.вр. ***vedú***), ***bux*** «проткнул» (от ***bod-***, 1 л. ед.ч. наст. вр. ***bod-ú***), ***mjux*** «мел» (от ***met-***, 1 л. ед.ч. наст.вр. ***met-ú***), ***pljux*** «плел» (от ***plet-***, 1 л. ед.ч. наст.вр. ***plet-ú***), происходят от древних форм типа ****vedl-*** >****vegl-*** (ср. приведенные выше псковские формы этого глагола) > ***veg*** > ***veh*** [Gerovskij 1929]). Исчезновение конечного *-l* в этой позиции подтверждается историей украинских форм типа ***mohl*** (все еще использовавшихся в текстах XV в. и раннего XVI в. и позднее вплоть до 1561 г. [Shevelov 1979: 471–472]) > *moh* [Ibid: 593]. Представляется, что для доказательства реальности исчезновения конечного суффикса в форме ****vegl*** > *veg* > *veh* существенна рус. диалект. форма ***perecok*** «перечитал, перечел» (в псковском сказочном тексте [Шахматов 1915: 101, 102]). После исчезновения конечного *-l* в конце формы осуществляется цепь изменений *-g* > *-γ* > *-h* > *-x*. Andersen [2006], предполо-

живший в развитие приведенной идеи Шахматова тенденцию к озвончению *-t* перед *-l*, допускает, что, если озвончение происходило рано, было возможно развитие типа **met-l- > *medl- > *megl- > meg > meγ > meh > mex*. Предполагаемые изменения сходны с моделью развития **mog-* «мочь»: закарпат. *mux* «он мог» *-mohlá* «она могла» (ср. рус. *мог — могла*) из **moglŭ- *mogla* [Gerovskij 1929; Andersen 2006: 47]. Утрата конечного *-l* приводит к тому, что грамматическое противопоставление форм выражено не окончанием, а чередованиями гласного и конечного согласного корня. По отношению к таким формам можно говорить о тенденции к устранению конечного *-l* в исходной комбинации, что противоположно преобладающему в восточнославянском стремлению.

На основе новых данных о закарпатских диалектах [Будовская 1992] установлены соотношения ***vjux — vehlá, bux — bohlá, mjux — mehlá, pl'ux-***. Андерсен [Andersen 2006: 47–48] возводит их к **wed-*: **wedlŭ-*wedla > *veglŭ-*vegla*, *bod-*: **bodlŭ-*bodla > *boglŭ-*bogla*, **met-*: **medlŭ-*medla > *meglŭ-*megla*; *plet-*: **pledlŭ > pleglŭ*.

Закарпатская зона, как и псковская, могла бы рассматриваться как сохранявший архаизмы маргинальный ареал, в пределах которого еще видны процессы, начавшиеся в балтийской области и распространившиеся на территории Великого Княжества Литовского (ср. об этом в связи с данной изоглоссой [Иванов 2003; 2005]). С этой точки зрения данное фонетическое изменение может рассматриваться в качестве одной из примет циркумбалтийского языкового союза, понимаемого как группа языков и диалектов, общие черты которых сформировались благодаря их нахождению в пределах Великого Княжества Литовского и/или благодаря интенсивному контакту с ним.

VII. Основные диалектные группы и их тенденции. Приведенные изоглоссы позволяют выявить по данным изменениям архаическую западную группу консервативных диалектов праславянского (праальпийскую-карантанскую, праполабскую, пралужицкую, праюжнолехитскую, прачешскую) и прабалтийского (часть празападнобалтийских диалектов), сохраняющих исходную комбинацию ***-dl-***, промежуточную северную группу (циркумбалтийские праславянские прасевернолехитские и пракривичские диалекты с примыкающими к ним празападнокарпатскими и основная масса прабалтийских, не только западных, но и восточных, при известном ограничении серединным положением в слове), заменяющую исходную комбинацию на ****-kl-/-gl-***, и инновационную восточную группу (основная часть правосточнославянских диа-

лектов, праюго-восточнославянские и некоторые празападно-восточнославянские, часть правосточно-балтийских), осуществляющую (во всех положениях или хотя бы в начальном) полную утрату первого фонетического элемента (смычного) и сохраняющую только латеральную (вторую) фонему. Кроме этих основных групп выделяются, в частности, в прасловацко-прапаннонско-прасловенской области и на границе праюго-западно-славянского с праюго-восточнославянским и в переходных празападнобалтийских говорах диалекты четвертой группы, промежуточные между первой (консервативной западной) и третьей (инновационной восточной) группами. Интересно сугубо инновационное положение старославянского и древнерусского, которые по этим изоглоссам не близки к общеславянскому архаичному состоянию. Любопытным представляется возможное противопоставление диалектов по этому фонетическому критерию в соотношении с грамматическим — увеличением функциональной нагрузки и статистического преобладания личных глагольных форм с показателем *-l-* в предикативной функции; судя по вновь обнаруженным древнехеттским, лидийским и тохарским (понтийским, по Б.Розенкранцу [Rosenkranz 1978: 133–136], включавшему праславянский в эту диалектную индоевропейскую группу по данному морфологическому признаку) параллелям, это употребление могло быть древним. Ранняя частота сочетаний этого рода могла способствовать более длительному сохранению комбинаций с этим показателем на стыках морфем. Поэтому особую роль могло играть число личных форм с показателем, в старославянском и в одном из двух диалектных и хронологических вариантов древнерусского имеющим преимущественно только функции причастия перфекта, что может оказаться инновацией, а не архаизмом этих двух последних языков, позднее испытавших сильное культурное влияние греческой модели глагольных форм. Ориентацией на эти два инновационных древних языка — старославянский и древнерусский — можно объяснить мысль кн. Н.С.Трубецкого об общеславянском характере тенденции к замене комбинации фонем одним латеральным *-l-* [Trubetzkoy 1925]. Упрощение сочетания фонем, заменяемого однофонемным, можно связать с внутренними тенденциями исходной сложной системы, эволюции которой могло способствовать и двуязычие и смешение языков в области славяно-неславянского (славяно-греческого, славяно-палеобалканского или протоалбанского, славяно-иранского, славяно-тюркского, славяно-уральского и т. п.) контакта на Балканах и в Восточной Европе. Развитие в другой тип двухфонемных комбинаций, наблюдаемое во второй (циркумбалтийской) группе диалектов,

едва ли связано с внутрисистемными тенденциями и поэтому могло бы объясняться главным образом чертами (звонких и глухих?) латеральных в палеосевероевропейском субстрате прасаамского или предсаамского характера, следы которого можно видеть и в циркумбалтийской политонии, включающей тоны типа латышско-ливской прерывистой интонации и датского *stød* (в обоих случаях артикуляционная база субстрата могла способствовать выдвижению на первый план тех частей речевого аппарата, которые максимально удалены от входа в полость рта). Дальнейшее изучение этого предполагаемого субстрата могло бы послужить темой совместного исследования лингвистов, генетиков, этнологов и историков культуры, занимающихся следами шаманизма в циркумбалтийской области.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БСИ — Балто-славянские исследования. М.

РФВ — Русский филологический вестник.

Chr. St. pol. — Wydra, Rzepka 1984.

C W UV — Carl Winter Universität Verlag.

Elbing — Elbing словарь // Mažiulis 1981.

F — Jakobson 1967.

IJSLP — International Journal of Slavic Linguistics and Poetics.

KUB — Keilschrifturkunden aus Boghazköy. Berlin, 1921–.

PF — Prace filologiczne.

ZfSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie.

Абаев 1958/I; 1979/III — *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Л., 1958. Т. I; 1979. Т. III.

Авксентьева 1976 — *Авксентьева А. Г.* Палатальная корреляция и мена *tl, dl* > *kl, gl* в славянских языках // Проблемы исторического языкознания. М., 1976. С. 5–18.

Арнаудов 1969 — *Арнаудов М.* Очерци по българския фолклор. Т. 2. София, 1969.

Будовская 1992 — *Будовская Е. Э.* Некоторые акцентологические изоглоссы закарпатских украинских говоров (ударение тематических глаголов) // Исследования по славянской диалектологии. Т. 1. Карпатоукраинские диалекты. М., 1992. С. 75–127.

Васильев 1972 — *Васильев Л.* О случае сохранения общеславянской группы *dl* в одном из старых наречий русского языка // Труды по истории русского и украинского языков / Edited and with introd. by George Y. Shevelov. Slavische Propyläen; Bd. 94. München: W. Fink, 1972 (статья Васильева впервые напечатана в РФВ, 58, 1907).

Георгиев 1970 — *Георгиев В.* Трите фаза на славянската митология // Исследования в чест на акад. Михаил Арнаудов. София, 1970.

Гура, Левкиевская 1995 — *Гура А. В., Левкиевская Е. Е.* Волколак // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. А–Г. М., 1995. С. 418–420.

Дурново 1969 — *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка. М., 1969.

Зализняк 1986 — *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.) Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986. С. 89–219.

Зализняк 1993 — *Зализняк А. А.* К изучению языка берестяных грамот // *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993. С. 191–321.

Зализняк 1995 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М., 1995 (2-е изд. — 2004).

Иванов 1957 — *Иванов Вяч. Вс.* О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков // Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., 1957. С. 3–28.

Иванов 1965 — *Иванов Вяч. Вс.* Общеиндоевропейская, анатолийская и праславянская языковые системы. М., 1965.

Иванов 1965 — *Иванов Вяч. Вс.* Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т.34. 1975. 5. С. 394–408.

Иванов 1977 — *Иванов Вяч. Вс.* К балкано-балто-славяно-кавказским параллелям // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 143–164 (переиздание в кн.: *Иванов Вяч. Вс.* Работы по этимологии. Т. II. М., в печати).

Иванов 1982 — *Иванов Вяч. Вс.* Диалектные членения славянской языковой общности и единство славянского языкового мира // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 212–236.

Иванов 1990 — *Иванов Вяч. Вс.* О связи северославянской зоны с балтийской // Balto-słowiańskie zwiazki językowe. Wrocław, 1990. S. 185–186.

Иванов 2003 — *Иванов Вяч. Вс.* Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого Княжества Литовского // Славянское языкознание: XIII Международный Съезд славистов, Любляна, 2003 г. М., 2003. С. 422–436.

Иванов 2005 — *Иванов Вяч. Вс.* Языки, языковые семьи и языковые союзы Великого Княжества Литовского // Speculium Slaviae Orientalis: Московия, Юго-Западная Русь и Литва в период позднего Средневековья / Ред.

Вяч. Вс. Иванов, Ю. Верхоланцева (UCLA Slavic Studies, New Series, vol. 4). М., 2005. С. 93–121.

Иванов, Топоров 1963 — *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание. Доклады. М., 1963.

Каринский 1909 — *Каринский Н. М.* Язык Пскова и его области в XV в. СПб., 1909.

Маринов 1914 — *Маринов Д.* Народна вяра и религиозни народни обичаи. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1914. Кн. 28.

Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

Мейе 1950 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1950.

Николаев 1983 — *Николаев С. Л.* Один из типов названий хищных млекопитающих в северо-кавказских и индоевропейских языках // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов Второй балто-славянской конференции. Москва, 29 ноября — 2 декабря 1983 г. М., 1983. С.42.

Николаев 1988–1989 — *Николаев С. Н.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. 1. Кривичи // БСИ 1986, 1987. М., 1988. С. 115–154; 1989. С.187–225.

Николаев 1990 — *Николаев С. Л.* К истории племенного диалекта кривичей // Советское славяноведение. 1990. № 4. С. 54–63.

Николаев 1994 — *Николаев С. Л.* Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // Вопросы языкознания. 1994. № 3. С. 23–49.

Попов 1985 — *Попов Р.* За върколака в българската народни вервания (исторички корени и място в народната култура) // Известия на Националния исторически музей. 1985. 5. С. 213–227.

Селищев 1928 — *Селищев А. М.* Критические замечания о реконструкции древнейшей судьбы русских диалектов // Slavia, VII, 1928, 1.

Соболевский 1909 — *Соболевский А. И.* Важная особенность старого русского говора // РФВ, 62, 1909.

Топоров 1975/I, 1979/II, 1980/III, 1984/IV, 1990/V — *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. М., 1975. A–D; 1979. E–H; 1980. I–K; 1984. K–L; 1990. L.

Трубачев 1977–1979 — Этимологический словарь славянских языков (ЭССЯ) / Ред. О. Н. Трубачев. М., 1977–.

Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С.* Избранные труды по филологии. М., 1987.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11.1. Пг., 1915.

Andersen 2006 — *Andersen H.* On the Late Common Slavic Dialect Correspondences Kl-Tl-l // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics

XLIV–XLV 2002-03. Henrik Birnbaum in memoriam / Ed. Michael Flier, Vjacheslav Ivanov, Jos Schaeken, Dean S. Worth. Bloominton, Indiana, 2006. P. 38–48.

Bartholomae 1979 — *Bartholomae Ch.* Altiranisches Wörterbuch zusammen mit den Nacharbeiten und Vorarbeiten. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1979.

Bretkūnas 1983 — *Bretkūnas J.* Rinktiniai raštai. Vilnius: «Mokslas», 1983.

Brückner 1907 — *Brückner A.* Studia fonetyczne, II. Polskie tl i dl // PF, t. VI, 1907. P. 598–601.

Būga 1958/I; 1959/II — *Būga K.* Rinktiniai Raštai. I, II. Vilnius: Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla, 1958, 1959.

Cvetko Orešnik 1993 — *Cvetko Orešnik, V.* Kritische Sicht der Literatur über die (südslawische) Entsprechung der Gruppe *tl/dl unter spezieller Berücksichtigung des Rumänischen mocirlă // Linguistica XXXIIII. Bojan Čop septuagennario in honorem oblata. Ljubljana, 1993. P. 35–48.

Delamarre 1984 — *Delamarre X.* Le vocabulaire indo-européen. Lexique étymologique thématique. Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient, 1984.

Dukova 1977 — *Dukova U.* Zur slawischen Schicht in der Lexik des Volksglaubens und Brauchtums in den Balkansprachen // Linguistique balcanique. XX. 1977. 1–2.

Eckert 2001 — *Eckert R.* Altpreussische Studien. Tolkemita-Texte. Dieburg: Tolkemita, 2001.

Ekblom 1928 — *Ekblom R.* Le developpement de dl, tl en slave // Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski, 2. Kraków, 1928.

Endzelīns 1951 — *Endzelīns J.* Latviešu valodas gramatika. Rīgā: Latvijas Valsts izdevniecības, 1951.

Endzelīns 1982 — *Endzelīns J.* Darbu izlāse. 2 daļa. Rīgā, 1982.

Ernout, Meillet 1994 — *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Paris, 1994.

Flajšhans 1926 — *Flajšhans V. Klaret a jeho družina.* Sv. I. Praha 1926 (http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/slav/acech/klaret/klare.htm).

Friedrich, Kammenhuber — *Friedrich J., Kammenhuber A.* Hethitisches Wörterbuch. Lief. 1. Heidelberg: CW UV, 1975.

Gerovskij 1929 — *Gerovskij G. I.* Zur Behandlung der Lautverbindungen -dl-, -tl- im Südkarpatorussischen (Ugrorussischen). Berichtigung // ZfSlPh. 6. 1929. S. 77–85.

Holub, Kopečný 1952 — *Holub J., Kopečný F.* Etymolgický slovník jazyka českého. Praha: Státní nakldatelství učebnic, 1952.

Ionescu 1975 — *Ionescu A. I.* Á propos de l'influence slave dans la terminologie mythologique roumaine // Revue roumaine de linguistique. T. XX. 1975. № 6.

Ionescu 1977 — *Ionescu A. I.* Les relations linguistiques roumano-sud-slaves et les croyances populaires // Linguistique balcanique. XX. 3. София, 1977.

Jakobson 1966 — *Jakobson R.* Selected Writings. Vol. IV. Slavic Epic Studies. The Hague: Mouton, 1966.

Jakobson 1967 — *Jakobson R.* Transliteration and Translation. Tönnies Fenne' Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1607. Copenhague: Munksgaard, 1967.

Jakobson 1971 — *Jakobson R.* Дублеты типа sočkle:sčël в показаниях Т. Фенне о языке Пскова на пороге XVII века // *Jakobson R.* Selected Writings. Vol. II. Word and Language. 2nd ed. The Hague; Paris: Mouton, 1971. P. 203–211.

Jaunis 1916 — *Явнис К. О.* Грамматика литовского языка / Пер. К. К. Буги под редакцией Ф. Ф. Фортунатова. Пг., 1916.

Karaś 1986 — *Karaś M.* Jeszcze o zachowaniu się grup spólgloskowych dl, tl w języku polskim // Język polski i jego istoria. Wybor pism. 1986. P. 178–181 (первая публикация: PF. T. XXV. Warszawa, 1974. P. 79–81).

Kluge-Seebold 1999 — *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23. erweiterte Auflage bearb. von Imar Seebold. Berlin: de Gruyter, 1999.

Krause 1908 — *Krause F. S.* Slawische Volksforschungen. Leipzig, 1908.

Kronsteiner 1976 — *Kronsteiner O.* Die Bedeutung der Lautgruppe dl, tl für die sprachliche Klassifizierung des Alpenslawischen // Opuscula slavica et linguistica. Festschrift für Issatchenko. Klagenfurt, 1976.

Machek 1954 — *Machek V.* Česká a slovenská jména rostlin. Praha: Nakladatatelství Československé Akademie Věd, 1954.

Machek 1957 — *Machek V.* Etymolgický slovník jazyka českého i slovenského. Praha: Nakladatatelství Československé Akademie Věd, 1957.

Mažiulis 1981 — *Mažiulis V.* Prūsų kalbos paminklai. II. Vilnius: Mokslas, 1981.

Mažiulis 1988/1, 1993/2, 1996/3, 1997/4 — *Mažiulis V.* Prūsų kalbos etimologijos žodynas. 1988. A–H; 1993. I–K; 1996. L–P; 1997. R–Z. Vilnius: Mokslas, 1988; Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 1996; Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

Meyer 1894 — *Meyer E.* Neugriechische Studien. II // Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse. Berlin, 1894.

Mihailă 1960 — *Mihailă G.* Îprumuturi sud-slave în limba rumîna. Studiu lexico-semantic. Bucureşti, 1960.

Moszyński 1968 — *Moszyński K.* Kultura ludowa Słowian. T. 2. Kultura duchowa, cz. 1. Warszawa, 1968.

Nichols 1987 — *Nichols J.* Russian vurdalak and cognates // Language, Literature, Linguistics. Berkeley, 1987.

Pohl 2005 — *Pohl H. D.* Die Slavia submersa in Österreich: ein Überblick und Versuch einer Neubewertung // Linguistica XLV. Ioanni Orešnik septuagenario in honorem oblata. Ljubljana, 2005. S. 129–150.

Puhvel 1984–1991 — *Puhvel J.* Hittite Etymological Dictionary. Vol. 1–2. Words beginning with A, E, vol. 3. Words beginning with H, Trends in Linguistic Documentation-1/5. Berlin; New York; Amsterdam: Mouton Publishers, 1984, de Gruyter, 1991.

Ramovš 1935 — *Ramovš Fr.* Historična gramatika slovenskego jezika. Vol. 7. Dialekti. Ljubljana; Učitelska Tiskarnja, 1935.

Richards 2003 — *Richards R. O.* The Pannonian Slavic Dialect of Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. UCLA Slavic Studies / Ed. Vyacheslav Ivanov & Brent Vine, vol. 2. Los Angeles, 2003.

Rosenkranz 1978 — *Rosenkranz B.* Vergleichende Untersuchungen der Anatolischen Sprachen. Berlin: Mouton, 1978.

Rospond 1974 — *Rospond S.* Stratygrafia słowjańskich nazw miescowych. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974.

Rossetti 1968 — *Rossetti A.* Istoria limbii române de la origine pînîn secolul al XVII-lea. Bucureşti, 1968.

Rudnicki 1927 — *Rudnicki M.* Gruppy tl, dl w językach słowiańskich // PF, 12, 1927.

Schmalstieg 1974 — *Schmalstieg W. P.* The Old Prussian Grammar. The Phonology and Morphology of the Three Catechisms. University Park and London: Pennsylvania University Press, 1974.

Schuster-Ševc 1964 — *Schuster-Ševc H.* Noch einmal zur Behandlung der Liquidaverbindungen tl, dl in den slawischen Sprachen // Slavia. XXX. III. 1964. S. 359–368.

Shevelov 1964 — *Shevelov G. Y.* A Prehistory of Slavic. Heidelberg: C W UV, 1964.

Shevelov 1979 — *Shevelov G. Y.* A historical Phonology of The Ukrainian Language. Heidelberg: C W UV, 1979.

Shevelov 1991 — *Shevelov G. Y.* Leonid Vasil'ev: a forgotten page in the History of Russian Linguistics // *Shevelov, George Y.* In and around Kiev. Twenty-two studies and essays in Eastern Slavic and Polish linguistics and philology. Heidelberg: C W UV, 1991. P. 367–401.

Sinkevičius 2003 — *Sinkevičius R.* Vilktakių tradicija lietuvių kalendorinėse žiemos šventėse // Šiaurės Atėnai. nr. 642. 2003 (03–01).

Skok 1971 — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj.1. Zagreb: Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 1971.

Słupecki 1987 — *Słupecki L. P.* Wilkolactvo. Warszawa, 1987.

Taszycki 1957 — *Taszycki W.* O gwarowych formax mgleć, mgły, moglić się, moglitwa itp. Rozdział z historycznej dialektologii polskiej // Studia z filologii Polskiej i Slowiańskiej. 2. 1957. P. 230–246 (переизд.: *Taszycki W.* Rozprawy i studia polonistyczne. Warszawa: Osslineum, 1961. P. 259–274).

Tesnière 1933 — *Tesnière L.* Les diphones tl, dl en slave: essai de géolinguistique // Revue des etudes slaves. 13. 1933. P. 51 ff.

Travniček 1926 — *Travniček F.* Ke změné dl-l, tl-l // *Travniček F.* Přispěvky k českemu hláskoslovi // Spisy filofické fakulty Masarykovy University. 16. Brno, 1926.

Trubetzkoy 1925 — *Trubetzkoy Fürst N.S.* Die Behandlung der Lautverbindungen tl. dl in den slawischen Sprachen // ZfSlPh. 2. 1925. S. 117–121 (рус. пер. в: Трубецкой 1987).

Vanagas 1981 — *Vanagas A.* Lietuvių hidronimų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1981.

Vasmer 1941 — *Vasmer M.* Die Slaven in Griechenland // Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse, 12. Berlin, 1941.

Vėlius 1977 — *Vėlius N.* Mitinės lietuvių sakmių būtibės. Vilnius, 1977.

Vulcănescu 1962 — *Vulcănescu R.* Des éléments slaves dans la mythologie roumaine // Československá etnografie. X. 1962. № 2.

Wydra, Rzepka 1984 — *Wydra W., Rzepka W. R.* Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław; Warszawa: Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1984.

Е. Ю. Иванова

Семантические типы предложений в славянских языках: проблемы и возможности сопоставительного анализа как маркеры традиции

Разные виды семантического структурирования языковой системы, которые предлагаются современной наукой, могут быть эффективно использованы при сопоставительном изучении синтаксиса славянских языков. Далее мы остановимся на возможностях двух совершенно разных, но в одинаковой мере значимых для современной славистики классификаций: (1) семантических типов предикатов и (2) логико-синтаксических типов предложений, а затем рассмотрим (3) вариант соединения применяемых в них классификационных признаков.

I. При любой классификации предложений основное внимание уделяется предикату как структурному и смысловому организующему центру, при этом основанием классификации может являться либо семантика признака, заключенного в предикате [напр., Гак 1986; 1998, Мразек 1990], либо вся предикатно-актантная структура, что позволяет связать семантику предложения с количеством и характером обязательных компонентов пропозиции [напр., Адамец 1978]. Даже пропозиционально-семантические [Шмелева 1994; Гладров 2002] и логико-семантические [Арутюнова 1976; Ширяев 1997] классификации, которые учитывают прежде всего характер мыслительного процесса, организующего пропозицию, на последующих ступенях классификации неизбежно обращаются к семантике предиката.

Поэтому очевидна значимость появления «**классификационных сеток**» [Булыгина 1982; Селиверстова 1982; Падучева 1996; 2004], представляющих варианты таксономии предикатов. Семантические типы предикатов (которые мыслятся и как классы ситуаций) устанавливают наиболее типичные соотношения между семантикой предиката и характером отображаемой ситуации. Они выявляются при учете таких основных факторов, как локализованность или нелокализованность признака во времени, его статичность или динамичность, контролируемость или неконтролируемость. Последний признак либо выдвигается как один из главных классификационных параметров

(Е.В.Падучева), либо является «внутренним» и работает в рамках того или иного семантического подтипа (Т.В.Булыгина).

Различие задач каждого исследования определило разную степень внимания к неглагольным предикатам, а также к производным предикациям. Е.В.Падучева определяет прежде всего первичные, непроизводные таксономические категории (Т-категории) глаголов, — классы, к которым глаголы принадлежат в силу своего лексического значения, а не в силу грамматической формы или контекста, т.е. анализируются глаголы исходной залоговой формы, основного видового значения, немаркированных способов действия и др. [Падучева 1996: 125–126]; при этом предполагается исчисление и производных Т-категорий. В концепциях Т.В.Булыгиной и О.Н.Селиверстовой периферийные явления рассматриваются в рамках каждой классификационной ячейки.

Несмотря на различие исходных положений и разное применение дифференциальных признаков, полученные классификационные группы (если снять несколько неудобную терминологическую омонимию) оказались близки во всех трех концепциях и составляют надежную основу для дальнейших научных и практических разработок.

В аспекте сопоставительного синтаксиса родственных языков представляет интерес как выделение групп предикатов, для которых семантический тип является постоянной, сущностной характеристикой, так и определение таксономического класса предиката в разных его трансформациях, значениях и употреблениях под влиянием контекста.

Эти серьезные задачи — пока еще дело будущего. Более обозримым представляется сравнение языков в плане реализации того или иного частного классификационного признака. Рассмотрим это на примере столь важной характеристики предиката, как «**контролируемость/неконтролируемость действия**».

1.1. Во всех славянских (и не только славянских) языках предикаты контролируемых действий участвуют в формировании функционально близких конструкций — со значением цели, запланированности, «прямого» побуждения, то есть тех, в которых реализуются тривиальные признаки, проистекающие из содержания понятия «контролируемость». Однако состав таких агентивных форм в языках не одинаков. Например, **запланированность действия** находит выражение не только в особом значении настоящего времени (ср. рус. *Завтра я работаю дома*, польск. *Jutro pracuję w domu*, болг. *Утре заминавам*, серб. *Сјутра путујем*), но и в некоторых разновидностях инфинитивных предложений (как рус. *Мне завтра ехать*; *Мне еще гладить*), а в

болгарском, например, еще и в придаточных потенциального условия с формой будущего времени глаголов несовершенного вида вместо нормативного настоящего: *Ако* ***ще питаш****, питай, сега е моментът!*; *Тръгваш ли? Ако* ***ще си тръгваш****, загаси лампата*. Такое употребление возможно только в том случае, если действие-условие предварительно оговорено с субъектом речи и/или воспринимается им как установленный факт [Кошелев 2003: 52–57]. Вне такой заданности в придаточном используется настоящее время: *Ако те* ***питат****, ще кажеш, че не си получавал такава телеграма.*

1.2. Межъязыковые расхождения обнаруживаются и в ограничениях, которые регулируют допуск предикатов неконтролируемых действий в агентивные формы. Конечно, некоторые конструкции ведут строгий отбор глаголов. Таковы, например, **сдвоенные целевые сказуемые** с первым компонентом — глаголом движения или позиционирования; вторым здесь может быть только агентивный предикат: рус. *Иди обними меня*; *Сядь послушай сказку*; *Пойди помой посуду*; болг. *Седни си почини*; *Стани разтреби масата*; польск. *Chodź obejmij mnie!*; *Idź pomyj naczynia!*

В большинство агентивных конструкций все же допускаются предикаты с нецелеполагающим субъектом, но такое употребление приводит к семантическим сдвигам и прагматическим наращениям. Самый известный пример — это использование предикатов неконтролируемых действий в **императиве** в качестве пожелания, упрека, совета и пр.: *Выздоравливай!*; *Забудь!*; *Стыдитесь!* Глаголы совершенного вида, обозначающие неловкие и ошибочные действия человека, в отрицательных формах выражают предостережение, ср. рус. *Не упади!*; *Не поскользнись!*; *Не опоздай!*, польск. *Nie upadnij!*, серб. *Не падни!* Но, допустим, в болгарском языке имеется грамматическое ограничение: употребление отрицания с императивом совершенного вида невозможно ни с какими глаголами: **Не падни!*; **Не закъсней!*; призыв к предотвращению неловких и ошибочных действий здесь выражается с помощью конструкции *Да не* + настоящее время глагола: *Да не се подхлъзнеш!*; *Да не закъснееш!*, где признак контролируемости нерелевантен.

Примером прагматических наращений, связанных с внедрением предикатов с нецелеполагающим субъектом в типично агентивные «сферы влияния», может служить и упомянутое выше болгарское условное предложение с будущим временем глагола. Если в эту форму со значением запланированности включаются предикаты неконтролируемых физиологических реакций, конструкция получает скрытый обвинительный смысл: *Ако ще кашляш така, как ще гледаме спек-*

такъла!? — «Если ты будешь кашлять [+ дополнительная семантика — „намереваешься кашлять так и дальше“], как мы сможем смотреть спектакль?!»; *Ако ще хъркаш така, по-добре да спим в отделни стаи* — «Если ты будешь храпеть [+ дополнительная семантика — „если ты будешь/собираешься продолжать так храпеть“], лучше спать в разных комнатах». Как видим, раздражение говорящего находит выход в агентивной форме: она позволяет переложить вину с ситуации, не поддающейся контролю, на участника-субъекта — как не способного справиться с ней.

1.3. Различается набор трансформаций агентивных глаголов в каждом языке (см., в частности, [Градинарова 2007]). Более того, в свете семантических классификационных признаков обнаруживаются новые специфические характеристики у трансформов, которые считались общими для славянских языков.

Так, результатом трансформации русских активных глаголов являются конструкции, сообщающие о «необъяснимом», «непроизвольно возникшем» состоянии «внутренней предрасположенности к действию» [Булыгина, Шмелев 1997: 32]: *Мне не читалось*; *Здесь ему всегда хорошо писалось*; *Лучше всего мне спится на даче.* Подобная трансформация активна и в южнославянских языках, в гораздо меньшей степени она представлена в западнославянских. Но совпадают ли эти трансформы и правила их порождения? Покажем различие данных образований на примере двух языков с высокой частотностью модели — русского и болгарского, затем затронем и другие славянские.

В последнее время появились значимые работы, формулирующие правила порождения данной конструкции в русском языке, прежде всего [Апресян 2005: 8–10]. Исследования аналогичной болгарской формы [напр. Георгиев 1990: 76–82; Пенчев 2001: 87–89] позволяют, казалось бы, сделать вывод о большей свободе грамматических условий в болгарском языке: в частности, речь идет о возможности образования модели от возвратных глаголов (*не ми се смее*; *не ми се шегува*), от многих непереходных (*не ми се разговаря*; *не ми се отива*), о большей регулярности положительной и отрицательной формы (*пътува ми се / не ми се пътува*) и других отличных от русского языка допущениях, таких как способность болгарской конструкции эксплицировать объект желаемого действия: ***Води му се** в момента такъв един **разговор**, който прилича на цигара, запалена пред трудно изпитание* (М.Радев).

Однако сопоставление правил порождения модели в болгарском и русском языках не должно быть прямолинейным, поскольку у этих

конструкций имеются разные компоненты в толковании — факт, совершенно недостаточно учитываемый при их сравнении (см., однако, [Норман 1972]). Основное смысловое отличие состоит в том, что в толкование русской модели в качестве пресуппозиции включен компонент *X делает P* [Апресян 2005: 10], а для болгарской конструкции такой пресуппозиции нет. Это определяет разную временную соотнесенность между состоянием субъекта и действием, которое порождает это состояние: в русском языке состояние говорящего связано с успешностью/неуспешностью уже протекающего процесса, а болгарская конструкция ориентирована на предстоящее действие («желателна конструкция» [Пенчев 2001: 89]), ср. рус. *Работалось хорошо, жаль было отрываться* (В. Рыбаков)[1] и болг. *Пътува ми се, носят ми се красиви дрехи, ходи ми се на театър и в ресторант* (Д. Петрунова). Общим в значении этих трансформов оказывается их семантический результат, связанный с непроизвольностью, необъяснимостью состояния настроенности на действие (текущее — в русском, предстоящее — в болгарском).

Нет ничего удивительного в том, что семантические расхождения в пресуппозитивном компоненте будут отражаться в правилах порождения модели в каждом из рассматриваемых языков и в ее синтаксических возможностях.

Для образования русской конструкции необходимы предикаты с признаками «динамичность», «длительность», «личный субъект» [Апресян 2005: 9]. Признак «контролируемость» является несомненно преимущественным, но не обязательным условием вхождения глагола в данную форму. Выбор предиката скорее ограничен его способностью переосмысляться как деятельность и даже шире — как «времяпровождение», как процесс, в который человек вовлечен в данный отрезок времени и которым поглощен, будь то действительно занятие или же физиологические и психические явления: *Я спросила: как там* ***лежится****, в этой барокамере?* (М. Палей); *Как-то все* ***грустилось****, как-то не* ***писалось****...* (Г. Алексеев); *...так неистово и беспросветно* ***засыпается*** *посреди шепота приятелей, толкотни, и возни, и сказок — и* ***спится, спится*** *долго, до следующего яркого летнего дня* (Ю. Казаков).

Для формирования болгарской модели, в отличие от русской, оказывается нерелевантен признак «длительность». Действи-

[1] Русский материал собран с использованием Национального корпуса русского языка.

тельно, в соответствии с «желательной» семантикой болгарского трансформа семантических ограничений на моментальные действия (*прибирам се, влизам, ставам*) и не должно быть: ***Прибира** ми се вече вкъщи*; *Не му се **влизаше** вътре*; *Не ми се **става**.* Так что из предикатов контролируемых действий в болгарскую модель допускаются и процессы, и моментальные события.

Признак «контролируемость», конечно, тоже значим для болгарской конструкции, но в ином отношении, чем для русской. Если в русском языке форма заставляет переосмыслить неконтролируемое действие как занятие или времяпровождение, то в болгарском такого переосмысления не происходит, оно не заложено в значении модели. Агентивные предикаты предпочитаются просто потому, что «склонность», «расположенность» чаще испытывают к контролируемым действиям. Но вполне активны, например, глаголы некоторых физиологических реакций и состояний, напр. *спя*, *плача* и их синонимы: *Не й се **спеше** и продължи да обикаля из стаите* (С.Пайчев); *А и на мен ми идеше да рева. Като на лъв ми се **ревеше**, като на див звяр* (пример из [Норман 1972: 68]).

Семантическое различие русской и болгарской конструкций отражается и в разных сочетаемостных возможностях. Русская модель подразумевает осознание процесса как удачного, «гладко» протекающего [Вежбицка 1996: 68], поэтому подавляющее большинство таких употреблений (в положительной форме) включает оценочный наречный компонент: *В такую погоду всегда **хорошо** мечтается*; *Здесь ему и дышалось и думалось **вольготно*** (Ч.Айтматов). Позицию этих обстоятельств могут заполнять интенсификаторы *как, так*: *Ах, я нашел в Прибалтике такое местечко, там **так** пишется, **так** работается!* (В.Розов), высока частотность и вопроса к квалификатору: ***Как** спалось?*; *Ну, **как** тебе заведуется?* Без квалификаторов обходятся лишь конструкции с глаголами, обозначающими творческую деятельность: *Мне весь день сегодня работалось/писалось/сочинялось*, и это уже почти профессиональное употребление, ср.: *А вот то, что писатели все время говорят о том, как каждому из них сегодня **«работалось»** или **«не работалось»**, мне напоминает больницу в городе К., где я сорок дней лежал в желтушечном бараке, где только и говорили о еде…* (Е.Попов).

Отрицательный смысл (т.е. «трудно, неудачно осуществляемый процесс») формируется или отрицательными по смыслу обстоятельствами: *Мне при закрытой форточке **плохо** спится*, или отрицательной частицей: *Присядь-ка рядом, что-то мне **не** спится.* При отрица-

тельной форме оценочные наречия невозможны, допускаются только интенсификаторы (***совершенно*** *не работается*). Однако в русском языке конструкция с *не* — не всегда просто отрицание основного значения. Некоторые глаголы в отрицательной форме без квалификаторов могут развивать (помимо основной) иную семантику, близкую к болгарской (см. далее).

Болгарская модель, в отличие от русской, не допускает оценочных («хорошо»-«плохо») квалификаторов даже в положительной форме, ср. невозможность оценки своего состояния: **Пуши ми се приятно* или вопроса к квалификатору: **Как ти се пуши?* Единственно допустимым является включение интенсификаторов, указывающих на силу проявления желания или нежелания (*много*, *ужасно*, *адски*, *хич*, *как*, *колко* и под.): *Адски ми се спи*; *Колко му се пушеше!*; *Никак не ми се работи сега*; *Хич не ми се излиза днес!*

Разумеется, различаться будет в обоих языках состав временных детерминантов (ср. болг. *Днес след работа реших, че не ми се прибира* ***веднага***), а также локативных обстоятельств, которые в болгарском языке употребляются с глаголами движения и имеют значение места-цели: *Не му се ходеше* ***до прозореца***. *Не му се сядаше* ***зад бюрото*** (П. Вежинов); *И на мен не ми се влиза* ***в казарма***, в то время как в русской конструкции они всегда являются обусловливающими: ***На даче*** *мне лучше сочиняется*; *Не спится* ***в душной комнате.***

Вообще говоря, правила порождения и сочетаемостные возможности русской модели гораздо ближе не к «желательной» конструкции, а к другому болгарскому трансформу: *Иначе Татяна е човек, с когото се работи приятно*; *Много добре се спи тук, наистина*. Здесь употребляются такие же, что и в русском, оценочные наречия, обстоятельственные компоненты, релевантен признак «длительность», но запрет на выражение экспериенцера лишает эту болгарскую конструкцию семантики непроизвольности, необъяснимости состояния.

Тем не менее существует и область пересечения рассматриваемых болгарских и русских моделей по их отношению ко времени действия. С одной стороны, в русском языке ряд предикатов неконтролируемых физиологических состояний могут трансформировать значение модели как «настроенность» организма на это состояние, подобно болг. *дреме ми се*; *плаче ми се*. Ср. рус. *Впрочем, они уже были сыты. Даже несколько осоловели. Им* ***дремалось.*** *Ведь в лагере они привыкли спать после обеда* (А. Рыбаков); *А что человеку* ***плачется*** *при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится* (В. Ерофеев). В русском языке могут таким же обра-

зом функционировать глаголы эмоциональных состояний и — по аналогии с ними и обычно в их ряду — предикаты других тематических классов. Обычной является отрицательная форма таких конструкций как обозначение не соответствующего норме положения дел, а именно — необъяснимая неспособность «испытать» некоторое состояние: *Все вокруг плачут, а мне что-то совсем* ***не грустится***; *Что делать, если ничего не хочется,* ***не любится, не влюбляется****?*; *Женщины не всегда любят, когда мужчинам не* ***стреляется****, не* ***пишется****, не* ***любится****, не* ***строится*** (В. Альбинин)[2].

С другой стороны, если в болгарской конструкции использован глагол с признаком «длительность», она может быть употреблена не только до, но и во время протекания действия — как объяснение желания его продолжать (***Още ми се живее!***; *Изяждаше всичко и усещаше, че* ***все още*** *му се яде* (П. Вежинов), впрочем чаще в отрицательной форме — как нежелание возобновлять процесс: *Не ми се работи повече*; *Не ми се чака повече*; *Не ми се живее. Уморих се да се правя на силна* (Д. Петрунова). Заметим, что и в таких употреблениях сохраняется ориентация болгарской конструкции на предстоящее, будущее действие. В целом, временная соотнесенность состояния говорящего и действия у болгарской модели такая же, как и в русских предложениях с глаголом *хочется*, где «желательность/нежелательность названного действия может осознаваться субъектом и в процессе действия и до него» [Золотова 1998: 125].

Заканчивая краткое рассмотрение данных моделей, заметим, что во многих работах предшествующих десятилетий, описывающих эту конструкцию, проводится мысль о широкой ее представленности в русском языке. Для доказательств продуктивности модели (обычно сопровождающихся выводами об особенностях русского менталитета) привлекаются примеры из поэтической речи, из других произведений мастеров слова, а также прочие случаи намеренной игры с формой[3]. Но «нестандартные» употребления русской конструкции

---

[2] Обратим внимание, что данное значение существует в русском языке как дополнительное к основному: любой из приведенных выше глаголов способен выразить и основную («деятельностную») семантику, особенно очевидную при наличии характеризующего обстоятельства: *Под шум прибоя* ***хорошо*** *дремлется*; *В молодости всегда* ***бурно*** *любится и* ***бурно*** *страдается*; *Не грустится, и не любится, и не восхищается,* ***как раньше.***

[3] Особенно часто конструкция встречается в поэтической речи, но ее активность здесь является, вообще говоря, индивидуально-авторской особенно-

всегда стилистически отмечены. Если же обратиться только к примерам без намеренного, целенаправленного синтаксирования, станет ясно, как невелик список глаголов, работающих в этой форме, см. о лексикализации данной модели в русском языке [Норман 1972: 69, Георгиев 1990: 80 и др.]. И в этом плане русская и болгарская конструкция совершенно несопоставимы.

Что касается других славянских языков, близкие к болгарскому условия порождения, семантику и сочетаемость демонстрирует сербский язык: *Не разговара ми се са њим данас*; *Гледа ми се добар филм*. В польском и чешском, как известно, рассматриваемая форма не столь значительно представлена, имеет различные семантические и стилистические ограничения, но ее значение (в частности пресуппозитивный компонент, который определяет реальность действия) близко к семантике русской модели, ср. и аналогичную роль детерминантов и оценочных наречий в примерах: чеш. *Pracuje se mi dobře*; полск. *Bardzo trudno mi się pracuje, kiedy nic nie łączy mnie z ludźmi, których fotografuję.*

II. При всех богатых возможностях, которые открывает для сопоставительного анализа семантическая классификация предикатов, в ней не находят места те синтаксические различия, которые связаны с особенностями отражения в каждом языке «динамики» формирования мысли.

Как известно, **логико-семантический подход** к изучению построений естественного языка [Арутюнова 1976] ставит целью выявить, как в структуре предложения отражаются особенности человеческого мышления. При этом подходе принимаются во внимание возможные связи тех сущностей, которыми оперирует человеческое мышление, — это вещи (предметы), свойства (понятия) и имена — вершины известного «семантического треугольника». При этом мысль может двигаться в том или другом направлении, что находит отражение в коммуникативной перспективе предложения и референциальных характеристиках компонентов.

На основании этого Н. Д. Арутюновой [1976: 18–20] были выделены 4 основных логико-грамматических «начала»: 1) отношения экзистенции, или бытийности; 2) отношения характеризации, или преди-

---

стью, как напр. у М. Цветаевой, в творчестве которой снимаются многие запреты на образование данной конструкции в русском языке: *Как живется вам — хлопочется — Ежится? Встается — как? <...> Как живется вам — здоровится — Можется? Поется — как?* («Попытка ревности»).

кации в узком смысле этого термина, 3) отношения номинации, или именования, 4) отношения идентификации, или тождества. Четыре названных вида отношений соотнесены с особыми логико-синтаксическими структурами: предложениями бытия, характеризации, именования, тождества. Предложения каждой группы объединены тем, какие сущности являются отправной точкой формирования предикации и в каком направлении движется мысль: 1) хотим ли мы заявить о существовании объекта в определенном фрагменте мира (связь «понятие — предмет»): *В этом городе есть университет*; *У него нет друзей*; *У меня на душе печаль*; *На деревьях иней*; 2) сообщаем ли мы какие-либо признаки предмета («предмет — понятие»): *Ребенок читает*; *Море сегодня спокойно*; *Маша умница*; 3) называем ли его имя («предмет — имя»): *Этого мальчика зовут Коля*; 4) или указываем на идентичность предмета другому, уже известному нам («предмет — предмет»): *Это и есть твой брат Николай*; *Пострадавший — Иванов.*

По сути, «динамика формирования пропозиции» [Ширяев 1995: 7–8] при этом подходе определяется распределением в предложении разных видов референции. Так, в бытийных предложениях утверждается бытие или небытие в определенном месте или у определенного лица (исходная точка сообщения с конкретной референцией) некоторой сущности (неопределенный денотативный статус именной группы). В предложениях характеризации определенному объекту приписывается признак (предикатное употребление именной группы), а в предложениях именования — кодовое имя, вообще лишенное референции. В предложениях тождества оба именных компонента референтны.

Классификация предложений на логико-синтаксических основаниях, отражающих универсальную для языков динамику формирования мысли, открывает интересные возможности построения славянских параллелей в области четырех типов предложений: бытия, именования, идентификации, характеризации. При значительном сходстве в наборе логико-синтаксических структур наблюдаются стилистические, прагматические, функциональные особенности при реализации близких по форме моделей.

Например, предложения именования в славянских языках обладают похожими структурными характеристиками, но при выборе именующей модели в конкретном языке вступают в действие как функционально-прагматические, так и онтологические ограничения.

Так, во всех славянских языках работают три основные логико-синтаксические структуры, выражающие именование: 1) бисубстантивные предложения, напр. рус. *Познакомься, это Ира*, болг. *Аз съм Лиляна*;

Запознай се, това е Лиляна, чеш. *Já jsem Kát'a*; *To je Kát'a*, 2) глагольная семантически трехчленная модель, включающая объект именования (который может отсутствовать в поверхностной структуре), его имя и предикат — возвратный глагол: болг. *Тя се казва Лиляна*; *Казвам се Лиляна*, чеш. *Jmenuje se Kát'a* и 3) глагольная семантически четырехчленная модель, вводящая еще одного участника ситуации, который осуществляет акт именования: рус. ***Все*** *ее здесь зовут Асей*, болг. *Тя се казва Катерина, но* ***той*** *я нарича Рина*, чеш. ***Všichni*** *jí tady říkají Saša.*

При общности набора именующих моделей в сопоставляемых языках наблюдаются не только значительные расхождения в функциональной значимости каждой структуры и ее употребительности (это естественно и ожидаемо), но и дифференциация моделей в зависимости от типа именуемого объекта (лицо, предмет, животное, абстрактное понятие), от характера приписываемого имени (первичное или вторичное имя). Различается и количество ядерных (стилистически нейтральных и общеупотребительных) предикатов именования. Так, если в русском языке такими нейтральными предикатами являются только *звать, называть*, а в чеш. — *říkat, jmenovat*, то в болгарском языке в ядро входит не менее 5–6 лексем (*казвам*, *викам*, *наричам*, *кръстя* и др.). Ср. небольшой отрывок из романа Б. Райнова «Черните лебеди», который представляет несколько лексико-синтаксических вариантов именующих предложений (причем только о вторично присвоенном имени!):

Маргаритка ***беше*** *Виолета. Само че Мими й* ***викаше*** *Теменужка под предлог, че трябва да се избягват чуждиците, а Таня я* ***наричаше*** *Маргаритка, за да не й* ***вика*** *Теменужка <...>*

— «Нашата Марго вероятно е очаквала да й донесем уиски» — подхвърли Васко <...> Марго естествено ***беше*** *пак Виолета. Васко я бе* ***кръстил*** *така, за да се разграничи от Таня. Понякога дори я* ***наричаше*** *Марго Фонтейн — за по-кратко, както сам обясняваше.*

Ср. на этом фоне ряд однокоренных глаголов в рус. *Вообще-то по паспорту ее имя Алевтина, но ее здесь* ***зовут*** *Альбиной, а муж* ***называет*** *ее Алей* или серб. *Она* ***се зове*** *Александра. Сви је* ***зову*** *Саша, али ја је* ***зовем*** *Сандра.*

Более того, при изменении онтологического типа объекта именования (лицо, предмет, животное, абстрактное понятие) те же предикаты в болгарском языке перераспределяют «сферы влияния», поэтому при выборе модели и включенного в них глагола необходимо учитывать весь ряд упомянутых выше факторов [Иванова 2006: 12–28].

В целом сходен в славянских языках и механизм формирования **идентифицирующих предложений**. Наиболее распространенной струк-

турой идентификации является бисубстантивное предложение, в котором обе именные группы обладают конкретной референцией: *...эта дама была несомненно его петербургская рыжеволосая тетя...* (В.Набоков); болг. *Потърпевшият бях аз* (В. Пасков); серб. *Неко је дошао. То је Тања*; чеш. *Ona přece po celý život milovala jen jednu osobu, a tou byla ona sama* (O.Bočková).

Эмфатическая идентификация в рамках бисубстантивных предложений обычно оформляется специфическими для каждого языка средствами. Так, в русском языке это предложения с эксплицитным и акцентированным *есть*: *Не* ***есть*** *ли Чичиков переодетый Наполеон?*; *Тот мальчик с ведром и удочками я* ***и есть***; *Та дама в беретике* ***и есть*** *Катя.* Ср. и серб. *Та дама са беретком* ***и јесте*** *Каћа.* В болгарском языке используются «расщепленные» предложения с перемещением идентифицирующего компонента в начальную позицию, в то время как ограничительное придаточное содержит тематическую часть информации: ***Стоян*** *е, който е счупил прозореца*; *Как можах да го направя?* ***Аз*** *ли съм този, който го направи?* (В. Пасков). Для чешского языка значимую роль играет выдвижение глагольного компонента в начало идентифицирующей фразы: *Když ji plavovláska s pomoci Divokého muže —* ***byl to,*** *vyšlo najevo, pan Kozyma — vytáhla na břeh, byla ve tváři zelená a ležela téměř v bezvědomí* (J.Škvorecký).

Идентифицирующее значение, как известно, могут получить любые предложения с акцентным выделением ремы, указывающей на конкретное лицо — производителя действия: — *Как кто убил? <...> Да* ***вы*** *убили, Родион Романыч!* ***Вы*** *и убили-с...* (Ф.Достоевский); — *Поблуда! Кошелка старая!... — раздается крик на весь хутор. <...> Это* ***Вовка*** *орет* (Б.Екимов). Идентифицирующая именная группа подчеркивается в таких случаях специальными средствами: ***Да*** *вы убили*; *Вы* ***и*** *убили-с*; ***Это*** *Вовка орет.* Болгарские примеры показывают и маркированное для этого языка появление подлежащего — личного местоимения: *Супермаркета разбих* ***аз!*** (В.Пасков); *Не съм го направил* ***аз*** *това.*

Различия в построении **бытийных предложений** связаны прежде всего с зонами активности предикатов *habere* и *esse.* Отличия славянских языков в способах выражения обладания хорошо изучены, но распределение предикатов *habere* или *esse* в сфере экзистенциальных значений еще нуждается и в исследовании, и в объяснении. Так, в болгарском языке предикат *habere* участвует не только в формировании посессивных построений с личной формой глагола *имам* (*Имам брат и сестра)*, но и предложений о существовании: в болгарском

возможны модели как с безличным глаголом *има*, так и с глаголом *съм*: *В гората има гъби*; *На масата има телефон*; *Зад полето е реката*; *Наоколо бяха лозя*; *В лабораторията е Нинов.* Это определяет сложную структуру бытийного типа предложений в болгарском языке, где центральной (прототипической) моделью являются предложения с глаголом *има*, а предложения с глаголом *съм* находятся на периферии поля бытийности, так как их употребление связано с рядом ограничений — семантических, прагматических, референциальных [Иванова 2002; 2003].

В русском же языке, как известно, главное противопоставление в сфере бытийных предложений проходит по линии безглагольных и глагольных образований. Именно глагольные конструкции представляют типичную бытийную модель: *В холодильнике есть молоко и творог.* Отсутствие глагола указывает на полную исчерпанность включаемых в область бытия элементов: *В холодильнике — молоко и творог, на столе — хлеб и печенье.* Безглагольные бытийные предложения относятся к периферии поля бытийности: они могут вводить определенные объекты, формируют (при предметно-пространственном локализаторе) созерцательные сообщения в описательных текстах и др. Сравнение языков обнаруживает близкие характеристики ядерных бытийных моделей, с одной стороны, и стилистическую, прагматическую, референциальную близость моделей, находящихся на периферии поля бытийности, — с другой.

Наиболее сложную и объемную группу представляет характеризующий логико-синтаксический тип. Здесь неизбежно обращение к семантическим типам предиката, подобно рассмотренной выше «онтологической» классификации или какой-либо другой.

III. В связи с этим встает вопрос о возможности совмещения в одной классификационной «сетке» обоих рассмотренных подходов. Думается, для этого нет противопоказаний. Исходным принципом классификации может послужить логико-синтаксический тип предложения, который выявляется при анализе коммуникативного членения предложения и референции имен. Это определит первоначальное деление структур на четыре классификационные группы: предложения бытия, именования, идентификации и характеризации. На данном этапе проявляется основное преимущество «совмещенного» подхода. Ведь первые три из указанных групп предложений при выделении семантических типов предикатов почти автоматически зачисляют в общую группу «качеств», что полностью нивелирует их значимость как

структур с принципиально разной смысловой (и референциальной) динамикой.

На следующем этапе вводится важнейший для семантической классификации предикатов признак временной локализованности / нелокализованности. Он является классифицирующим для характеризующих предложений, а в бытийных, идентифицирующих и именующих предложениях, не являясь таковым, отчленяет ядро от периферии (точнее, прототипические конструкции от осложненных или комбинированных).

Приведем примеры. Среди идентифицирующих предложений ядерными являются предложения тождества, которые прототипически не локализованы во времени. Предложения с глаголами опознавания или ошибочной идентификации характеризуются признаком временной локализованности, но они и не являются ядерными, а содержат идентификацию в качестве включенного в модальную или другую рамку компонента: *X оказался Y-ом* — «говорящий обнаружил / узнал, что X есть Y»; *В X-е я узнал Y-а* — «на основании некоторых признаков я понял / догадался / мне стало ясно, что X есть Y».

Предложения именования (сообщения об имени объекта) в типичном случае также не локализованы во времени (*Ее зовут Наташа*), но могут являться основной включенной частью локализованных во времени предикаций, отражающих разные ситуации приписывания имени: *Девочку назвали Наташей*; *Его здесь прозвали Вождем*; *В детстве его обзывали Пончиком.*

Обширную группу ориентированных во времени предикаций обнаруживает бытийный тип предложений как наиболее многообразно реализующийся, особенно в русском языке. Если в прототипическом случае идея бытия, существования не предполагает актуальной временной локализации (*В городе есть университет*; *У него есть сын*), то совсем иные ситуации представлены в предложениях «актуального» обладания и наличия [Апресян 1995: 523; Янко 2000] (*Она не может уехать, у нее дети*; *Идите быстрее к морю, там дельфины*; *У него пластиковые лыжи, поэтому он так быстро бежит*), в предложениях с событийными именами (*Смотри-ка, на улице дождь*; *У них опять была проверка*), не говоря уже о большом промежуточном типе бытийно-характеризующих предложений-«проявлений»: *За окном воет ветер*; *Вдали темнеет лес.*

Наличие при каждом типе значительного «периферийного привеска» не должно, как кажется, смущать, если целью является не разделение языковых фактов без остатка на классификационные группы (вряд ли

способные отразить реальную ситуацию в языке), а выделение тех классификационных признаков, которые объединяют данную единицу с одними явлениями и отличают от других.

Что касается характеризующего логико-синтаксического типа, то признак временной локализованности/нелокализованности, как и в классификации семантических типов предикатов, вычленит предложения о «качествах» и «явлениях» (см. концепцию Т.В.Булыгиной), но при этом «качественно-характеризующие» предикации будут включать только такие структуры, которые соответствуют коммуникативно-референциальному вектору «от объекта к понятию (признаку)».

Заметим в заключение, что выбор остальных классификационных признаков во многом зависит от того, на каком этапе исследователь разделяет первичные и производные предикации. Если в основе классификации лежат только исходные характеристики предикатов (ср. первичные Т-категории Е.В.Падучевой), тогда выделение производных типов является следующим этапом анализа. Если семантические типы объединяют и исходные для данной семантики, и производные предикации (как напр. в [Булыгина 1982], то в рамках самой классификационной ячейки необходимо выделять ядерные (прототипические) и периферийные (производные или транспозитивные) средства. В любом случае сопоставление языков должно производиться как по набору ядерных (исходных) образований, так и по способам образования периферийных (или производных) семантических типов предикаций в разных языках.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Адамец 1978 — *Адамец П.* Образование предложений из пропозиций в современном русском языке. Praha, 1978.

Апресян 1995 — *Апресян Ю.Д.* Избранные труды. Т.II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Апресян 2005 — *Апресян Ю.Д.* О Московской семантической школе // Вопросы языкознания. 2005. №1.

Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., 1976.

Булыгина 1982 — *Булыгина Т.В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Булыгина, Шмелев 1997 — *Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Вежбицка 1996 — *Вежбицка А.* Язык, культура, познание. М., 1996.

Гак 1986 — *Гак В. Г.* Теоретическая грамматика французского языка: Синтаксис. 2-е изд., испр. М., 1986.

Гак 1998 — *Гак В. Г.* Семантический синтаксис // Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. 2-е изд. М., 1998.

Георгиев 1990 — *Георгиев И.* Безличные предложения в русском и болгарском языках. София, 1990.

Гладров 2002 — *Гладров В. В.* В. В. Виноградов и формирование современной концепции синтаксиса русского языка // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2002. № 1.

Градинарова 2007 — *Градинарова А.* Болгарский субъектный имперсонал и его русские функциональные соответствия // Acta Linguistica. Vol. I, № 1 (2007). Sofia: Eurasia Academic Publishers, 2007.

Золотова 1998 — *Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Иванова 2002 — *Иванова Е. Ю. Има* и *съм* в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими) // Съпоставително езикознание. Кн. 2. 2002.

Иванова 2003 — *Иванова Е. Ю.* Логико-семантические типы предложений: Неполные речевые реализации. СПб., 2003.

Иванова 2006 — *Иванова Е. Ю.* Болгарский язык: Функционально-коммуникативный синтаксис. СПб., 2006.

Кошелев 2003 — *Кошелев А.* Семасиологичен анализ на употребата на темпоралните форми за бъдеще време в подчинени условни изречения с *ако* в съвременния български език // Български език. 2003. № 4.

Мразек 1990 — *Мразек Р.* Сравнительный синтаксис славянских литературных языков: Исходные структуры простого предложения. Brno, 1990.

Норман 1972 — *Норман Б. Ю.* Переходность. Залог. Возвратность. Минск, 1972.

Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Пенчев 2001 — *Пенчев Й.* Едносъставни изречения // Съвременни лингвистични теории: Помагало по синтаксис. Пловдив, 2001.

Селиверстова 1982 — *Селиверстова О. Н.* Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикатных типов русского языка // Семантические типы предикатов. М., 1982.

Ширяев 1995 — *Ширяев Е. Н.* В поисках путей исследования логико-грамматических типов предложения // Язык-система. Язык — текст. Язык — способность / Сб. ст.: К 60-летию чл.-корр. РАН Ю. Н. Караулова. М., 1995.

Ширяев 1997 — *Крылова О. А., Максимов Л. Ю., Ширяев Е. Н.* Современный русский язык. Синтаксис. Пунктуация. Теоретический курс: Учеб. для филол. фак. вузов. М., 1997.

Шмелева 1994 — *Шмелева Т. В.* Семантический синтаксис: Текст лекций из курса «Современный русский язык». 2-е изд. Красноярск, 1994.

Янко 2000 — *Янко Т. Е.* Бытование и обладание: конструкции с глаголом *быть* // Логический анализ языка: Языки пространств. М., 2000.

М. Л. Каленчук

Служебные слова: взаимодействие фонетики и грамматики

1. Известно, что фонетика большинства языков не описывается правилами, одинаковыми для разных групп слов. Произносительное пространство — не единый материк, а группа островов разного размера, на каждом из которых правит собственный фонетический «режим». Фонетическая система русского литературного языка — сложная система, состоящая из ряда подсистем, имеющих свои особенности: «свой набор звуковых единиц, свои законы их поведения» [Панов 1979: 14]. И одну из таких подсистем формируют служебные слова — предлоги, союзы, частицы, специфике произношения которых посвящена настоящая работа.

2. Произношение предлогов. Предлоги, во многих случаях не имея собственного ударения и группируясь вокруг акцентного центра фонетического слова, стремятся «подчеркнуть» свою лексическую и грамматическую самостоятельность другими звуковыми средствами. На сегментном уровне в области вокализма это произношение безударных гласных, не подвергшихся качественной редукции (ударения нет, а гласный такой, как под ударением), а в области консонантизма — нарушение законов позиционных чередований, характерных для позиции внутри значимых единиц, и реализация фонем по законам конца фонетического слова, а не его середины. На просодическом уровне — это маркирование служебных слов в условиях фразы акцентом и возможное наличие на предлоге дополнительного ударения.

Указанные особенности звукового оформления первообразных предлогов были изучены в эксперименте. 48 дикторов, носителей русского литературного произношения разного возраста и пола, начитали на магнитофон фразы, содержащие 100 предложно-падежных сочетаний с варьирующимися орфоэпическими условиями. Результаты прослушивания магнитофонных записей позволили выявить обсуждаемые ниже закономерности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке программы ОИФН РАН, проект «Традиции и новаторство в культуре русской звучащей речи»; РГНФ, проект «Большой орфоэпический словарь русского языка» (06-04-00303а) и «Активные процессы в современной русской фонетике: система и подсистемы» (07-04-00243а).

2.1. Факторы, влияющие на произношение качественно редуцированного/нередуцированного безударного звука в предлоге.

Во всех изученных предлогах без ударения могут произноситься как редуцированные, так и нередуцированные гласные: б[и^{э}]*з остано́вки* и *б*[э]*з остано́вки*, *д*[э] *обе́да* и *д*[о] *обе́да*, *п*[э]*сле зимы́* и *п*[о]*сле зимы́*, *пр*[э] *тебя́* и *пр*[о] *тебя́*, [а^{э}] *собы́тиях* и [о] *собы́тиях*, и т. д. Но распределение этих орфоэпических вариантов неодинаково в разных предлогах и зависит от целого ряда факторов.

2.1.1. *Происхождение предлога.* Реализация гласной фонемы предлога во многом обусловлена его производностью/непроизводностью, т.е. тем, коррелирует ли семантически и словообразовательно в настоящее время предлог с мотивировавшим его ранее знаменательным словом.

Все предлоги, расцениваемые синхронно как непроизводные, с точки зрения реализации в них гласной фонемы ведут себя двумя разными способами: в одних из них появление безударного качественно нередуцированного гласного встречается намного реже, чем произношение редуцированного, а если и происходит, то на большом расстоянии от ударного слога (предлоги *без, до, за, над, о*(*об*), *перед, по, под, про, через* и др.); в других — произношение безударных нередуцированных звуков [о] и [э] является гораздо более частотным вариантом, чем произношение редуцированного гласного (предлоги *кроме, меж*).

Чем можно объяснить различное звуковое оформление предлогов, расцениваемых в современном русском языке как первообразные? Можно предположить, что это связано с их происхождением: предлоги первой группы — изначально непроизводны, они унаследованы русским языком из общеславянского фонда; предлоги же второй группы в древности были все же производными [Черкасова 1979: 227]. В.В.Виноградов говорил, что они «исстари были втянуты» в группу непроизводных, «примкнули» к ним [Виноградов 1986: 557]. Удивительно, но даже по прошествии многих языковых эпох предлоги «помнят» о своем происхождении.

У производных предлогов, которые проявляют бо́льшую самостоятельность, статистически преобладает нередуцированный безударный гласный: *вн*['э] *посёлка* и *вн*[и^{э}] *посёлка* (76% и 24%), *п*[о]*дле до́ма* и *п*[э]*дле до́ма* (62% и 38%), *св*['э]*рх всего́* и *св*[и^{э}]*рх всего́* (88% и 12%), [о]*коло са́да* и [а^{э}]*коло са́да* (92% и 8%) и пр. И только в предлоге *после*, по данным проведенных экспериментов, редуцированные и нередуцированные гласные произносились приблизительно с одинаковой частотностью: *п*[о]*сле зимы́* и *п*[э]*сле зимы́*, что отличает его от остальных производных предлогов и

сближает с группой непроизводных предлогов. Различия в звуковом оформлении производных предлогов, возможно, вызваны тем, что «непервообразные предлоги... находятся на разных ступенях отхода от тех знаменательных слов, которыми они мотивированы» [Русская грамматика 1980: 709].

Итак, реализации гласной фонемы предлогов редуцированным или нередуцированным звуком может зависеть от того, насколько тесны синхронно семантические и словообразовательные связи конкретного предлога с именем, наречием или деепричастием, от которого он образован: чем теснее корреляция со знаменательным словом, тем вероятнее отсутствие редукции.

2.1.2. *Место по отношению к ударению* — чем дальше от ударного слога, тем вероятнее произнесение нередуцированного гласного — *до ма́мы, до доро́ги, до магази́на, до похолода́ния* — нередуцированный гласный [о] употреблен информантами в 3%, 14%, 22%, 46% соответственно; *вне до́ма, вне посёлка, вне досяга́емости* — [ʼэ] был произнесен в 62%, в 88%, в 100% соответственно.

2.1.3. *Межслоговая ассимиляция гласных* [Пауфошима 1980]: гласные в предлоге часто «подстраиваются» под последующие гласные знаменательного слова или других слогов предлога. Ср.: *меж ни́ми* и *меж на́ми* было произнесено со звуком [и^{э}] в предлоге в 98% и 62% всех случаев. В двухсложных предлогах вероятность появления нередуцированных вариантов гласных фонем выше, чем в односложных. При этом в предлогах типа *перед* и *через* действует как бы общая «установка» на качество произнесения гласных — в большинстве случаев либо оба редуцируются, либо оба остаются нередуцированными — [ч'и^{е}р'и^{е}з] *дымохо́д* или [ч'эр'эз] *дымохо́д*.

2.1.4. *Степень освоенности слова, сочетающегося с предлогом, и его частотность.* Количество произнесений с нередуцированным гласным достоверно возрастает при сочетании предлога с редким, недостаточно освоенным словом. Ср.: *без кла́виши* и *без кла́узулы* — [ʼэ] произнесен в 0% и в 42% соответственно; *пр*[о] *провиа́нт* и *пр*[о] *лотсиа́нство* (21 % и 76%) (в последнем примере оба слова малочастотны в речи, но степень их освоенности разная, что проявляется в реализации гласных фонем).

2.1.5. *Позиция зияния.* В предлогах, заканчивающихся на гласный, резко возрастает количество нередуцированных реализаций конечной фонемы, если следующее слово начинается с гласного. Ср.: *до остано́вки — до перехо́да* ([о] в предлоге произнесен в 78% и в 24% соответственно).

2.2. Реализация конечных фонем предлогов глухими или звонкими звуками в позиции перед гласными, сонорными и /в/, /в'/ + гласный или сонорный, начинающими знаменательное слово.

Конечные парные по глухости/звонкости фонемы предлогов, находящиеся в позиции перед гласными, или сонорными, или сочетанием /в/, /в'/ + гласный или сонорный, начинающими знаменательное слово, могут реализовываться глухими или звонкими звуками либо по законам середины слова, либо по законам стыка знаменательных слов. Конечные фонемы всех непроизводных предлогов ведут себя как конечные фонемы приставок — указанная позиция для них сильная, парные глухие и звонкие фонемы различаются — *о*[т] *воды́*, но *по*[д] *водо́й*. Конечные фонемы большинства производных предлогов ведут себя так, как будто они находятся на стыке знаменательных слов, а не на конце служебного — рассматриваемая позиция для них слабая: *скво*[с'] *окно́* (ср.: *бе*[з] *окна́* и *обра*[с] *окна*); *всле*[т] *ве́тру* (ср.: *по*[д] *ве́тром* и *холо*[т] *ве́тра*) [Каленчук 1993: 141–151].

Между двумя названными группами предлогов, конечная фонема в которых ведет себя либо как на конце приставки, либо как на конце знаменательного, а не служебного слова, находится предлог *меж*. Его связь со знаменательным словом, от которого он произошел, ослаблена, но не утеряна полностью. Это проявляется в наличии орфоэпических вариантов по глухости/звонкости в анализируемой позиции: *ме*[ж] *на́ми* и *ме*[ш] *на́ми, ме*[ж] *ва́ми* и *ме*[ш] *ва́ми, ме*[ж] *ма́ленькими* и *ме*[ш] *ма́ленькими, ме*[ж] *о́стрыми* и *ме*[ш] *о́стрыми*.

2.3. Наличие/отсутствие позиционных чередований согласных на стыке предлога и знаменательного слова.

Принято считать, что закономерности, регулирующие поведение согласных в современном русском литературном языке, в большинстве случаев формулируются в терминах позиционных чередований звуков: перед передненебным шумный зубной заменяется передненебным, перед глухим шумный звонкий заменяется глухим и т. д. Наблюдения над окружающей нас живой речью носителей русского литературного языка позволяют заключить, что в некоторых позициях, в частности на стыке предлога и знаменательного слова, стали возможны, хотя и нерегулярно, сочетания согласных, запрещенные в пределах одной синтагмы на предыдущих этапах развития языка, например, *бе*[с-ч']*истоте́ла*, *и*[з-ж]*е́сти* и пр. Подобные факты, фиксируемые и ранее, обычно расценивались как отступления от литературного произношения под влиянием письма. Но их частотность в речи современного молодого поколения, причем и в речи тех носителей языка,

чьей орфоэпической компетенции можно доверять, заставляет по-иному взглянуть на эти произносительные явления [Каленчук, Касаткина 2003].

Можно с определенной долей осторожности предположить, что в русском языке начался процесс разрушения позиционных чередований согласных по глухости/звонкости, месту и способу образования. По аналогии с процессом изживания мягкости согласных перед следующими мягкими разрушение и этих позиционных чередований скорее всего будет происходить неравномерно в разных морфологических позициях и в разных группах слов. Можно предполагать, что новая закономерность должна установиться сначала на легко ощущаемых носителем языка морфемных стыках, затем она захватит и «плотные», менее заметные морфемные швы и только после этого проникнет в позицию середины морфемы. В настоящий момент новые сочетания звуков возможны только на ярко агглютинативных стыках, каким и является стык предлога со знаменательным словом, причем частотность появления новых вариантов зависит от степени очевидности для носителя языка морфемного шва. Вот некоторые из примеров произнесения конечных согласных предлогов, не подвергшихся позиционному чередованию, зафиксированные в спонтанной речи и при чтении информантами текстов:

«зубной + передненебный» (*и*[з-ж]*елéза, бе*[з-ж]*áлости*, скво[з'-ж]алюзи́, бли[с'- ш]оссé);

«зубной щелевой + /ч/» (*бе*[с-ч']*асов*, *и*[с-ч']*есучи́*, *бли*[с'-ч']*áсти*, *скво*[с'-ч']астокóл);

«глухой + звонкий» (*и*[с-д]*ревови́дного папоротника*, *бе*[с-д]*оказáтельств,* скво[с'-з]анавéски).

Системный, а не случайный характер подобных произнесений доказывает тот факт, что согласный, не подвергшийся позиционному чередованию, появляется только в определенных условиях, а именно на неплотных морфемных стыках, заметных для носителей языка, и не появляется в других позициях (при наличии произносительных вариантов типа *бе*[с-ч']*исла́* или *и*[з-ж]*éсти* не отмечено произнесений типа *вó*[сч']*ик* или *вы́*[сш]*ий*, в которых согласные находятся на плотном стыке морфем [1]).

Одним из факторов, поддерживающих разрушение позиционных закономерностей на стыках морфем, является наличие акцента на морфологической части, к которой принадлежит первый согласный в

[1] Впрочем, в эмфазе и такое произношение возможно.

сочетании: произношение *бӗ*[с] *числá*, при котором первый компонент выделен сильнее, чем второй, более вероятно, чем произнесения *бе*[с] *числӑ* или *бе*[с] *числá*, при которых первый компонент акцентно не маркирован, а акцентно выделен второй, либо оба компонента нейтральны [Kasatkina 1999]. Можно предположить, что влияние просодической позиции на сегментную реализацию фонем является только этапом в развитии процесса разрушения позиционной закономерности. При этом складывается впечатление, что процесс разрушения позиционных чередований по глухости/звонкости начался позже, чем все остальные. Произношение рядом, например, зубного и передненебного согласного чаще наблюдается при просодической выделенности предлога, но уже возможно, хоть и реже, и без него: *бӗ*[з ж]*áлости* и *бе*[з ж]*áлости*. Но произношение рядом глухого и звонкого возможно только при сильном выделении предлога и на большом расстоянии от ударного слога знаменательного слога: *Нельзя утверждать подобное бӗ*[с-д]*оказáтельств*.

Если высказанное предположение верно и начался процесс разрушения остававшихся до сих пор обязательными позиционных закономерностей по глухости/звонкости, месту и способу образования, это подтверждает движение русского языка в направлении, определенном М. В. Пановым: система согласных усложняется, что проявляется в первую очередь в уменьшении позиционной зависимости звуков. А следовательно, предлоги получат бóльшую фонетическую независимость в составе фонетического слова, что поддержит их «суверенный» статус на лексическом и грамматическом уровне.

2.4. Наличие дополнительного ударения на предлоге.

Дистанция в 3–4 слога между гласным в предлоге и местом ударения в знаменательном слове резко повышает вероятность появления на предлоге дополнительного ударения: *до прýда, до прибы́тия, до происшéствия, до переполóха* звук [ò] в предлоге произнесен в 0%, в 12% и в 50% соответственно).

2.5. Наличие акцентного выделения на предлоге в условиях фразы.

Предлог в условиях фразы может получить акцент в случае, если он семантически маркирован [Николаева 1982] в связи с эмфатическим, контрастивным или сопоставительным выделением. Приведу некоторые примеры из телевизионной речи:

Это лекарство надо принимать не до̆ обеда, а по̆сле.

Если заваривать чай бӗз листьев смородины, выйдет невкусно.

Покупай, что понравится — свӗрх сметы, бӗз сметы, про̆тив сметы.

По́сле реформы спорить будет поздно, надо сейчас договариваться.
Вне́ атмосферы такой аппарат не полетит.

Особо часто такое выделение используется в публичной речи как риторический прием. Интересно отметить, что в случаях, когда просодически выделяется не сам предлог, а знаменательное слово, с которым он связан, в предлоге возрастает вероятность произнесения гласного, не подвергшегося редукции.

3. Произношение частиц. Как показало проведенное исследование, многие русские первообразные частицы, будучи акцентно несамостоятельными и примыкая к ударному слову, на сегментном уровне оформляются то как отдельные слова, то как морфемы.

3.1. Была изучена реализация гласных фонем в частицах *ведь, вот, да, де, мол, так, хоть*[2], то есть только в тех частицах, которые могут быть клитиками. Следует заметить, что многие из рассмотренных частиц имеют разговорный характер.

3.1.1. Произношение частицы *ведь* определялось в первую очередь ее положением по отношению к ударному слову. В препозиции эта частица оформлялась как абсолютная клитика: *в*[и³]*дь за́втра будет поздно*, *в*[и³]*дь неудо́бно спать на полу, в*[и³]*дь положе́ние непростое.* Будучи энклитикой, частица *ведь* произносилась как с редуцированным, так и с нередуцированным гласным при значительном преобладании первого варианта. При этом количество произнесений безударных гласных без качественной редукции незначительно возрастало по мере удаления от ударного слога: *о́н в*[и³]*дь обещал* и *о́н в*[э]*дь* обеща́л (92% и 8%); *до́ма в*[и³]*дь лучше* и *до́ма в*[э]*дь лучше* (84% и 16%); *гра́дусник в*[и³]*дь разбили* и *гра́дусник в*[э]*дь разбили* (80% и 20%).

3.1.2. При произношении частицы *вот* зарегистрированы варианты *в*[э]*т* и *в*[о]*т*. Если частица *вот* является проклитикой, преобладает вариант с [о]: *в*[о]*т ты́ и сделай* и *в*[э]*т ты́ и сделай* (91% и 9%), *в*[о]*т тебя́ и попросят* и *в*[э]*т тебя́ и попросят* (82% и 18 %). А если эта частица является энклитикой, то варианты [о] и [э] равновероятны, и лишь на значительном расстоянии от ударения [о] встречается чаще, чем [э]: *ты́ в*[о]*т* и *ты́ в*[э]т (58% и 42%), *ско́ро в*[о]*т случится* и *ско́ро в*[э]*т случится* (50% и 50%); *бу́блики в*[о]*т купили* и *бу́блики в*[э]т *купили* (80% и 20%).

3.1.3. Произношение гласного в частице *да* связано с ее значением. Существует две омонимичные безударные частицы *да*: с усили-

[2] В данной статье не рассматривается произношение гласного в частице *не*, подобное исследование будет являться предметом отдельной работы.

тельным и с модально-волевым значением. В первом случае во всех предударных позициях, включая первый предударный, в частице произносился звук [ə]: *д*[ə] *да́йте послушать*, *д*[ə] *пода́йте ему пальто*, *д*[ə] *подожди́те немного* (ср.: [Орфоэпический словарь: 682]). Во втором случае, когда частица употребляется в значении 'пусть', сосуществуют варианты произношения — [ə] и реже [а]. Д. Н. Ушаков отмечал, что в частице *да*, употребленной в этом значении, произносится безударный [а] вне зависимости от места по отношению к ударению, и это отличает эту частицу от омонимичного союза *да* [Ушаков 1928: 24]. Такая же рекомендация приводится и в: [Орфоэпический словарь: 115]. Но, судя по результатам эксперимента, это не так: вариант [а] в первом предударном возможен только при условии, что под ударением произносится тоже [а]: *д*[ə] *здра́вствует* и *д*[а] *здра́вствует* (72% и 28%), но только *д*[ə] *бу́дет проклят*, *д*[ə] *ве́дают потомки.* По наблюдениям Р. Ф. Касаткиной, в стихотворной строчке *Да здравствует солнце! Да скроется тьма!* нормативно такое произношение: *Д*[а] *здра́вствует солнце! Д*[ə] *скро́ется тьма!*

3.1.4. Согласно полученным данным, постпозитивная разговорная частица *де* может произноситься как в виде *д*['э], так и в виде *д*[и^{э}] при незначительном преобладании первого варианта: *о́н-д*['э] *сказал* и *о́н-д*[и^{э}] *сказал, дире́ктор-д*['э] *говорит* и *дире́ктор-д*[и^{э}] *говорит*.

3.1.5. Частица *мол* может быть как препозитивной, так и постпозитивной. Согласно лексикографическим рекомендациям [Орфоэпический словарь: 682], она произносится со звуком [ъ] [3] вне зависимости от места по отношению к ударению. Но результаты исследования опровергают это. Будучи проклитикой, частица *мол* произносится и с редуцированным, и с нередуцированным гласным: *м*[ə]*л-о́н не виноват* и *м*[о]*л-о́н не виноват*. При постпозитивном положении также фиксируются варианты произношения: *о́н-м*[ə]*л не виноват* и *о́н-м*[о]*л не виноват* (70% и 30% соответственно). Кроме того, на большом расстоянии от ударения как у *мол*-проклитики, так и у *мол*-энклитики возрастает количество произнесений безударного [о].

3.1.6. Во всех зафиксированных примерах частица *так* произносилась со звуком [ə]: *т*[ə]*к-ты́ еще занят*, *т*[ə]*к-тебя́ не ждать*, т[ə]*к-перезвони́ мне, ты́-т*[ə]*к домой идешь* и т. д.

3.1.7. Гласная фонема в частице *хоть* реализовалась вариантно — со звуком [ə] и со звуком [о] вне зависимости от слога и положения по отношению к ударному слову: *х*[ə]*ть-ты́ приди* и *х*[о]*ть-ты́ приди*

[3] [ə] в используемой в настоящей статье системе транскрипции.

(86% и 14%), *ты́-х*[э]*ть позвонил* и *ты́-х*[о]*ть позвонил* (68% и 32%). Это противоречит рекомендациям [Орфоэпический словарь: 682; Ушаков 1928: 24]. Можно отметить, что количество произнесений рассматриваемой частицы с нередуцированным гласным незначительно увеличивается при удалении от ударного слога.

Итак, гласные фонемы рассмотренных частиц реализовались тремя разными способами: либо звуками, подвергшимися качественной редукции обычной степени, либо качественно нередуцированными звуками, либо звуками редуцированными, но не в той степени, как этого требует формула Потебни.

3.2. Реализация конечных фонем предлогов глухими или звонкими звуками в позиции перед гласными, сонорными и /в/, /в'/ + гласный или сонорный, начинающими знаменательное слово.

М.И.Матусевич писала: «Если встречается служебное слово и знаменательное, независимо от того, будет ли это предлог <...> или частица, то обычно наблюдаются такие же изменения, как и внутри слова [Матусевич 1976: 198]. С этим нельзя согласиться. Многие авторы отмечали, что конечные фонемы частиц *ведь* и *уж* реализуются в рассматриваемой позиции по законам стыка знаменательных слов: *ве*[т']-*о́н обиделся*, *у*[ш]-*не-бу́ду больше молодым* (ср. *лебе*[т'] *одинокий*, *но*[ш] *острый*)[4].

Оправдывается каламбур В.В.Виноградова, называвшего частицы в своей классификации частей речи *частичными словами* (частичный 1 — имеющий отношение к частице, свойственный частице; частичный 2 — захватывающий лишь часть чего-л.; неполный, не целый) [Виноградов 1986: 554]. Действительно, многие частицы, судя по их фонетическому поведению, только отчасти слова, а отчасти — морфемы. Если другие служебные слова стремятся подчеркнуть звуковыми средствами свою грамматическую и лексическую отдельность, то у большинства частиц стремление прямо противоположное: их самостоятельность иллюзорна, постепенное ограничение свободы их передвижения в предложении и прикрепление к определенной категории слов превращает многие частицы в агглютинирующие приставки или суффиксы. В связи с этим, может быть, для некоторых частиц

---

[4] Р.И.Лихтман писала о том, что «в живой речи окружающих людей, пользующихся литературным языком, мы неоднократно отмечали в указанной позиции произношение звонкого согласного», и приводила примеры *ве*[д']-*э́то*, *у*[ж]-*не-бу́ду* [Лихтман 1980: 83]. Но представляется, что подобные произношения все же несут след диалектного влияния.

верно неоднократно критиковавшееся в литературе предположение В.Н.Сидорова, противопоставившего частицы служебным словам: «В отличие от служебных слов частицы выражают несинтаксические формальные значения, присоединяя к реальному значению самостоятельных слов различного рода дополнительные смысловые оттенки... Следовательно, по своей грамматической роли и значению частицы сближаются со словообразовательными аффиксами — приставками и суффиксами, которыми также присоединяются дополнительные значения к реальному значению самостоятельных слов» [Аванесов, Сидоров 1945: 224]. По крайней мере, звуковое оформление некоторых частиц, особенно постпозитивных, отличает их от других служебных слов.

4. Произношение союзов. Большинство русских союзов имеют самостоятельное ударение, особенно это касается так называемых «гибридных» союзов, совмещающих значение союзов со значениями других грамматических категорий. В эксперименте проверялось произношение безударных на лексическом уровне союзов *но, да, что, чтобы, где, то... то, хоть, коли.*

Многими исследователями отмечалась возможность произнесения в безударных союзах качественно нередуцированных звуков и гласных, редуцированных не в той степени, как это определяется формулой Потебни [Ушаков 1928: 24; Панов 1967: 186: Панов 1979: 15, 63; Аванесов 1974: 105; Орфоэпический словарь: 682; Пожарицкая 1985: 26; Касаткин 2006: 74–75 и др.].

Как показали результаты проведенного исследования, гласные фонемы в союзах могут реализоваться тремя разными способами:

1. В одних союзах употребление качественно нередуцированных безударных гласных обязательно (*на улице т*[о] *дóждь*, *т*[о] *снéг*; *сегодня холодно*, *н*[о] *сýхо*; *неизвестно, гд*['э] *спрятал*); произношение редуцированных гласных в этих случаях воспринимается как просторечие;

2. В союзе *да* произносится звук [ə] вне зависимости от места по отношению к ударению (*ты д*[ə]*óн*; *ты д*[ə] *я́*);

3. В остальных союзах зафиксированы варианты произношения: *х*[ə]*ть видит око, да зуб неймет* и *х*[о]*ть видит око, да зуб неймет; не знал, чт*[ə] *он зайдет* и *не знал, чт*[о] *он зайдет* и т. д. Выбор варианта произношения в данной группе союзов на первый взгляд выглядит случайным. В некоторых случаях одни и те же информанты, читая тот же текст вторично, произносили гласный в рассматриваемых союзах не так, как при первом чтении. Можно отметить, что на

распределение вариантов произношения может влиять наличие/отсутствие акцентного выделения знаменательного слова, с которым союз объединяется в одну фонетическую единицу. Если сравнить два контекста: *Я не знал, что он зайдет завтра* и *Я не знал, что óн зайдет, а не она*, во втором случае при сильной выделенности местоимения *он* союз-проклитика произносился с нередуцированным гласным в три раза чаще, чем в первом примере, в котором местоимение произнесено просодически нейтрально.

Итак, суммируя результаты проведенного исследования, можно заключить, что фонетическое оформление служебных слов «выдает» их различную грамматическую природу: предлоги и союзы, будучи отдельными словами, нуждаются в постоянном подтверждении своего суверенного статуса, в том числе и фонетическими средствами, частицы же с точки зрения их звукового оформления часто ведут себя как морфемы в составе слова, а не как самостоятельные лексические единицы. В русском литературном языке проявляется явное стремление служебных слов к отдельности, и фонетика предоставляет им возможность подкрепить свой статус самостоятельных слов звуковыми средствами.

Во многих других славянских языках, например в украинском, ситуация иная. Противопоставить знаменательные и служебные слова по их фонетическому оформлению невозможно: отсутствие качественной редукции гласных и многих типов позиционных чередований согласных характерно для служебных слов в той же мере, как и для знаменательных.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аванесов 1974 — *Аванесов Р. И.* Русская литературная и диалектная фонетика. М., 1974.

Аванесов, Сидоров 1945 — *Аванесов Р. И., Сидоров В. Н.* Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 1. М., 1945.

Виноградов 1986 — *Виноградов В. В.* Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1980.

Каленчук 1993 — *Каленчук М. Л.* Орфоэпическая система русского литературного языка: Дис. … докт. филол. наук. М., 1993.

Каленчук, Касаткина 2003 — *Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф.* О процессе разрушения позиционных чередований согласных в современном русском литературном языке // Тезисы IV Международной конференции «Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское образование». М., 2003.

Касаткин 2006 — *Касаткин Л. Л.* Современный русский язык. Фонетика. М., 2006.

Kasatkina 1999 — *Kasatkina R. F.* The prosody and the voiced/voiceless consonant correlation in Russian // Proceedings of the 14-th JCPS. Vol. 1. San-Francisco, 1999.

Матусевич 1976 — *Матусевич М. И.* Современный русский язык. Фонетика. М., 1976.

Николаева 1982 — *Николаева Т. М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.

Орфоэпический словарь — *Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А.* Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1983.

Панов 1967 — *Панов М. В.* Русская фонетика. М., 1967.

Панов 1979 — *Панов М. В.* Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.

Пауфошима 1980 — *Пауфошима Р. Ф.* Активные процессы в современном русском литературном произношении (ассимилятивные процессы безударных гласных) // Известия ОЛЯ АН СССР. Серия литературы и языка. М., 1980. Т. 39. № 1.

Пожарицкая 1985 — *Пожарицкая С. К.* Современный русский язык. Фонетика. М., 1985.

Русская грамматика 1980 — Русская грамматика / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. Ч. 1. М., 1980.

Ушаков 1928 — *Ушаков Д. Н.* Русская орфоэпия и ее задачи // Русская речь. Новая серия. Вып. 3. Л., 1928.

Черкасова 1979 — *Черкасова Е. Т.* Предлог // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.

Р. Ф. Касаткина

Артикли, предартикли и псевдоартикли в славянских языках

Артикли. Положение о том, что славянские языки делятся на артиклевые и безартиклевые, относится к хрестоматийным. Столь же хорошо известно, что к артиклевым языкам относятся болгарский и македонский, все остальные составляют группу безартиклевых языков. Два южнославянских языка, имеющих артикли, типологически сближаются с северногерманскими (скандинавскими) языками, поскольку определенный артикль и в тех, и в других постпозитивен. Литература, посвященная этому вопросу, обширна, см. напр. [Стоянов 1968; Крамский 1963; Маслов 1971 и др.]. Существование в севернорусских говорах изменяемой постпозитивной частицы *-от* (*-та, -то, -те*), дало основание целому ряду исследователей старшей поры рассматривать эту частицу как аналог южнославянского артикля (см. [Халанский 1901; Соболевский 1907: 228–229; Шахматов 1941: 499; Черных 1927; Богородицкий 1935: 116–117]). Ареально-типологические исследования последнего времени, в которых проводятся параллели между севернорусскими говорами и географически близкими к ним северногерманскими и пермскими языками[1], имеющими либо постпозитивные артикли, либо артиклеподобные постпозитивные частицы, возродили интерес к проблеме статуса севернорусской частицы *-от* (*-та, -то, -те*). Подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже, в разделе «Псевдоартикли».

Предартикли. В языках и диалектах второй группы славянских языков — безартиклевой — возможно существование лексического выражения категории определенности на дограмматическом, дискурсивном уровне. В этих языках в роли определенного квазиартикля обычно выступают указательные местоимения (И.И.Ревзин употребляет для обозначения этой категории местоимений термин *местоимение-артикль* [Ревзин 1973]), а в роли неопределенного артикля числительное *один*. В настоящей статье в качестве рабочего термина для обозначения этих лексем предлагается термин *предартикли*. В разных славянских языках представлены разные степени приближенности к артиклевому состоянию. Так, в украинском, чешском, словацком, польском языках и их диалектах высоко развито употребление предартиклей на текстовом уровне.

---

[1] См. [Кузьменко 2001; Leinonen 1998].

В этой роли в украинском языке выступают местоимения *той, тая, тое..., отій, ота, ото...* [Богородицкий 1935: 116–117; Матвияс 1962: 109–111], в польском, словацком — *ten, ta, to... ...*и чешском языках *ten, ta, to..., tento, tato..., tenhle, tahle...* [Головачева 1979].

Вот несколько примеров, иллюстрирующих дискурсивную функцию предартикля *той, то, та* из писем на украинском языке[2]: *Тільки печально, Валечка, що ти пережила таке лихо, я уявляю, як це страшно лягати на* ***той*** *холодний стіл, і підходять до тебе* ***оті*** *хе-рурги з ножами, я це пережила два рази*; *Толя з* ***тим*** *хозяйством своём*; *Шчоб він приїхав, узяв би* ***ту*** *кровать деревьяну...*; *Тепер Саша* ***той***[3] *хотів купити поросят. Одного дня вичистила від поросяти, везу* ***ту*** *тачку*; *Кидали каминьями, палицами и* ***тою*** *зброєю, хто чім міг, бідна* ***та*** *міліція*; *А дітям* ***тим*** *більше не мае возможності їздити.* Примеры из записей разговорной речи на чешском и польском языках: *Vy jste zlej sám na sebe, Andresi, to je* ***ta*** *chiba*; *Ve hřbitovní čtverti byly celé kopce kvřtů,* ***tech*** *poslů lásky*; *U wylotu ulici ukazuje sie ojcec w* ***tym*** *swoim «sacpalcie»...* (цит. по: Головачева 1979).

До сих пор не было отмечено, что такое же положение наблюдается и во многих говорах русского языка, о чем свидетельствуют результаты анализа больших корпусов устных диалектных текстов. В роли местоимения-артикля (предартикля) в одних русских говорах (преимущественно севернорусских) выступают лексемы *этот, эта, это...* в других (южнорусских) — *той, тая, тое...*, в третьих (юго-западных) — *тот-то, та-то, то-то...*

Примеры из магнитофонных записей одного севернорусского говора (Вологодская обл., Харовский р-н, д. Полутиха): *Цюгуны ставим в пець. Поварим, а тут заметём пецькю, закроем, оно у нас и преёт до вецера. К вецеру вынимаём, крошим мясо* ***это*** *и раскладываем опять по судам, по блюдам.* ***Этот*** *бульон розливаем: там уж по сколько будёт*; *Даже завяжешь ниткой, да* ***этой*** *тряпкой и всё равно пробку вышибет из склянки* (о домашнем пиве); *Я на кровать легла и весь день головы не подымала, мне так тяжело было. Говорят, это подействовали лучи* ***эти***; (Тут) *как заломалосё, как* ***эти*** *кусты зачи́кали, заломáлисё — а он* (медведь) *рядом был, в поскотине, видно*; *Вот мы возьмём* ***это*** *бельё, да замоцим; по-нашему бу́цили, в* ***эту*** *в кадку положим и буцим. Ведь снацяла* ***этого*** *мыла и не было, да в* ***эту***

---

[2] Этот материал был любезно предоставлен автору Еленой Стадник-Хольцер.

[3] О возможности сочетания определенного артикля с именами собственными см. [Крамский 1963: 17].

в во́ду-ту сухой золы накладём; *Мы с ёй людей знаем, мы знаем кто* ***это*** *горе переносит, кто* ***эту*** *радость взял* (это высказывание — подведение итога в рассказе о кознях деревенских колдунов). Во всех этих примерах слова́ *бульон, лучи, кусты, кадку, мыло, радость* и *горе* не соотносятся с каким-либо антецедентом, они употреблены впервые, но их появление подготовлено предыдущим текстом.

Примеры из записей южнорусского говора (Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Деулино): *У мене́ были золотые деньги. Я сменяю* ***этот*** *золотой-то, накупляю ему, чего надоть: и по́льта ему, и шапку-ту ему хорошую, и рубашки-ты ему хорошие*; *Привезуть ему много* ***этих*** *мешков шерсти, и он на них всё работал,* ***эти*** *катал, валенки.* О рыбной ловле: *Ночью с бреднем ла́вю. Ночью, когда вот* ***эта*** *на́волочка* (облачно), *еще лучшай. Как вижу — тихо, на́волока, вот я иду.* ***Эта*** *рыба лучше ла́вится.*

Из записей одного юго-западного говора (Курская обл., Обоянский р-н, д. Бушвино): Из воспоминаний о войне: *А в яру́шке засада была. Я тут не перейду, полезу я на речку. Полезла я на речку и по речке я везла* ***те-то*** *салазки с телёнком*; *Ну вот, обу́ли его* (солдата) *в* ***те-то*** *ла́потки, ув* ***те*** *ув ону́чки, и ён четыре дня у нас пожи́л и пошёл*; *Мать сварит там куря́м, поросёнку что-нибудь. А потом становить в* ***тот-то*** *жар суп... А вечером вытаскиваем* ***тот-то*** *чугунок из печи́.*

Итак, несмотря на явно выраженную тенденцию к «артиклизации» лексемы *этот, эта...* (или *тот, тот-то*) в говорах русского языка, наблюдается множество факторов, свидетельствующих о неустойчивости позиции этого «местоимения-артикля» даже на дискурсивном уровне. Не существует регулярности в его употреблении[4], нет обязательности в его препозиционном статусе (возможна также и постпозиция лексемы, напр., *кадушка* ***эта****, зарево-то* ***это*** и др. в примерах из вологодского говора: *А гнёт надо хороший, чтобы кадушка* ***эта****, судно, не бежала ни грамма*; *Вдруг с горки появилось это, зарево-то* ***это****...*).

В приведенных фрагментах записей местоимение *этот* (*тот, тот-то*), не будучи связанным с каким-либо антецедентом, эксплицитно представленным в предшествующем тексте, выступает в функции, которая в других языках передается определенным артиклем. Во всех приведенных примерах оно лишено дейктического значения. Впервые на существование артиклевой функции местоимения *этот* в русском литературном языке обратил внимание И.И.Ревзин [Ревзин 1973].

---

[4] И.Крамскому принадлежит следующая формулировка: различие между местоимением и артиклем заключается в том, что «местоимение лишь факультативно, тогда как артикль обязателен» [Крамский 1963: 18].

Он пишет: «(местоимение) *этот* начинает употребляться в генерализующей функции, т.е. в значении, которое в ряде языков передается определенным членом и, как правило, только им. Все разнообразные проявления этого <...> значения можно объединить одним единым процессом: переходом из текста в систему языка, из синтагматики в парадигматику».

И.И.Ревзин намечает несколько этапов в развитии этого процесса: первым этапом можно считать значение определенности, возникающее в связи с тем, что некоторое понятие предполагается всем предыдущим текстом. Вторым этапом является значение определенности, предполагающее некоторый другой текст, данному тексту предшествующий. «Третьим этапом является значение определенности, предполагающее не некоторый конкретный текст, а неопределенное множество текстов, устанавливающих одинаковую оценку соответствующих объектов говорящим и слушающим» [Ревзин 1973: 127].

Приведенные фрагменты диалектных записей свидетельствуют о том, что употребление в них местоимения-артикля соответствует разным этапам становления «артиклевого состояния» в языке. Тем самым типологически многие диалектные системы русского языка сближаются с системами украинского и западнославянских языков.

Что касается русского литературного языка, то категория определенности/неопределенности реализуется в нем преимущественно различными «неартиклевыми» средствами — лексическими (некоторыми местоимениями и частицами, числительным *один*). Большую роль в нем играют акцентно-просодические средства [Николаева 1979].

Так, например, одним из способов выражения определенности субъекта в русском языке служит акцентное выделение (проминентность, фокусирование) ремы. Фокусирование ремы в русском языке соответствует определенному артиклю в тех языках, где эта категория имеется. И наоборот: акцентное выделение темы соответствует неопределенному артиклю, относящемуся к ней же. Ср., напр., два высказывания, различающиеся местом тонального акцента: *Студентка пришла́* и *Студе́нтка пришла.* В первом случае акцентное выделение ремы *пришла́* сообщает о том, что определенный ожидаемый персонаж прибыл. В «артиклевых» языках соответствующая лексема сопровождается определенным артиклем (the, la, die...) Во втором случае акцентирована тема — *студентка*, и тем самым сообщается, что пришла *некая, какая-то, одна* (a, une, eine...) студентка. Здесь мы сталкиваемся с некоторым лингвистическим парадоксом: тональной проминентностью маркируется неопределенное. Совершенно очевид-

но, что в этом отношении русский литературный язык отличается от народных говоров, где такая тонкая просодическая игра невозможна.

Как уже было отмечено ранее, в русском литературном языке в некоторых случаях имеются также и лексически выраженные соответствия артиклям в «артиклевых» языках. Так, например, функции местоимений *некоторый, какой-то,* а также числительного *один* в отдельных дискурсивных ситуациях неотличимы от функций неопределенного артикля, ср. по этому поводу мнение Т.В.Цивьян: «Русский язык обладает формальными ресурсами, соответствующими неопределенному артиклю: лексемы *один, некоторый* в принципе достаточны для введения терма» [Цивьян 1979: 344]. Диалекты в этом отношении не представляют отличий от литературного языка. В таких высказываниях, как ***Один*** *раз пошла я в лес* или *На краю деревни жила* ***одна*** *старушка* лексемы *один, одна* выступают в роли неопределенного артикля в говорах точно так же, как и в литературном языке.

Однако и определенный артикль, выраженный лексически, присутствует в системе русского языка, находясь, впрочем, на периферии системы [Ревзин 1973].

Местоимение *этот, эта, это, эти,* обычно определяемое как указательное, в некоторых случаях в литературном языке по своему значению может приближаться к определенному артиклю, относясь, согласно определению И.И.Ревзина, к категории *местоимений-артиклей* (в нашей терминологии *предартиклей*), напр.: ***Это*** *сладкое слово «свобода»*; *Ох, уж* ***эти*** *мне романтики!* или *Как они хороши,* ***эти*** *прохладные ночи и теплые солнечные дни августа!*; *Что за прелесть* ***эти*** *украинские народные песни!*; *...и женился он по любви, а из* ***этих*** *из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит, — прибавила старушка* (Тургенев. Дворянское гнездо); *И писать не о чем в письмах, жизнь истощилась, ничто не интересно в* ***этой*** *Ялте* (Чехов. Письмо О.Л.Книппер, 5 янв. 1903); *Что за прелесть* ***эта*** *Наташа!* (Л.Толстой. Война и мир); *А один (рассказ) был о поездах, и в нем Мартын нашел все, что любил — телеграфные столбы, обрывающие взлет проводов, вагон-ресторан,* ***эти*** *бутылки минеральной воды, с любопытством глядящие в окно на пролетающие деревья,* ***этих*** *лакеев с сумасшедшими глазами,* ***эту*** *карликовую кухню, где потный повар в белом колпаке, шатаясь, панирует рыбу* (Набоков. Подвиг); ***Эта*** *тайна,* ***этот*** *полумрак витражей,* ***это*** *сооружение, которое дошло из глубины веков и в котором религия обретает такую силу,* ***это*** *ощущение всепрощения и любви...* (из письма великой княгини Марии Федоровны, впоследствии жены Павла 1, цит. по: Б.Носик. Прогулки

по Парижу); *На Ингу он смотрел, смотрел, и влюбился как-то ненароком. Самому было неловко перед собой. А Инге нравилась* ***эта*** *растерянность и неловкость, и она слегка поигрывала перед «сибирским валенком»* (Л. Улицкая. Установление отцовства).

Однако в текстах на современном русском литературном языке подобные случаи сравнительно редки. По степени дискурсивной употребительности «предартиклей» лидируют чешский, польский, словацкий и украинский языки, затем диалекты русского языка. Замыкающим этот ряд оказывается русский литературный язык.

Псевдоартикли. В большей части севернорусских говоров функционирует изменяемая частица *-то* (*-от, -та, -то, -ту, -те*). Ареальные характеристики этой лексемы подробно обсуждаются в статье [Кузьмина, Немченко 1962]. Данные о территориальном распределении изменяемой частицы *-то* в рамках Диалектологического атласа русского языка приведены на карте 12 «Постпозитивные частицы, восходящие к местоимению **тъ,* при именах» 3-го выпуска части 2 ДАРЯ [ДАРЯ 3, 2005]. По свидетельству этой карты, изменяемая частица *-то* занимает обширную территорию севернорусского наречия восточнее Волхова, Устюжны, а также окающих среднерусских говоров восточнее Кашина, Калязина, Переславля-Залесского, Александрова. В западной части севернорусского ареала отмечены лишь единичные случаи употребления изменяемых частиц.

Существует большое количество работ, в которых обсуждается происхождение этой частицы, сочетаемость ее с другими частями речи, а также ее функции. Ряд исследователей старшей поры (М. Г. Халанский, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, П. Я. Черных, В. А. Богородицкий) усматривали определенное сходство между этой лексемой и постпозитивным артиклем в болгарском языке. Такое решение принималось на основании близости фонетического облика двух сравниваемых лексем, изменяемости *-то* в ряде русских говоров, а также позиции *-то* в слове — постпозитивной. И в наше время, как отмечает В. И. Трубинский, «...не окончательно еще развеяна иллюзия, будто в ряде севернорусских говоров она (частица *-то*. — *Р. К.*) является не частицей, а членом» [Трубинский 1970: 55]. В современных работах эта точка зрения продолжает находить своих сторонников (см., напр., [Младенов 1979; Leinonen 1998; Stadnik-Holzer 2006] и др.).

Однако существует и другой взгляд на эту лексему: целый ряд исследователей склоняются к мнению, что функция диалектной постпозитивной частицы *-от, -та, -то*... фактически неотличима от функции

частицы *-то* в литературном языке (см. [Селищев 1939; Чичагов; Кузьмина, Немченко 1962]). Наиболее четко эта точка зрения выражена в работах А.М.Селищева. Он писал: «...частицы [*от, та, ти, ту, те*] не имеют значения членных элементов, значения, свойственного болгарским *-ът, -та, -ту, -те;* русские *-от, -та, -то* имеют эмфатическое значение (*подчеркнуто мною. — Р.К.*), а не значение определения называемого предмета... Роль этих частиц та же, что и частицы *-то*. ...С этими частицами употребляются не только имена нарицательные, но и **собственные**, не только прилагательные и местоимения, но и **наречия**» [Селищев 1939: 100]. Добавим к этому, что с этими частицами также употребляются и глаголы. Подкрепим эту мысль примерами из записей диалектной речи одного вологодского говора[5]:

Частица *-то* при местоимениях: *Она здоровая была, меня-**то** выше*; *Это уж на всю-**ту** семью вдруг-то не напекёт, а лишь человека по три*; *Вот Раиса всё знает, какой праздник, а я-**то** не знаю*; *А што ты Олёна к нам-**то** не привернýла?* Частица *-то* при наречиях: *Вода-та пойдёт вниз-**от***; *Огурцы раньше-**то** не сажали*; *Топерь-**то** он старше стал, топерь-**то** всё забывáт, да болиет да*; *Вот как мы-то роботали, а сеця́с-**то** легота́*. Частица *-то* при глаголах: *И страшно бежать-**то***; *Вдруг подлетает вот сюда, а я ведь слыхала, что летают-**то** эти тарелки-то* (из рассказа о летающих тарелках); *И побежáли мы потом промышлéть-**то***; *Приходили-**от**, да кланялись*; *Лён вецерáм всё трепали-**то***; *Ткут вот эдак, щипают-**то** бёрдо*; *Кормúться-**то** ведь было надо, так я матрасов этих много продала*; *Эти половики труднее ткат-**то***; *Как вот, попекцú-**то*** (испечь) *надо пирожка-то*. Примеры из записей Г.А.Романовской: *Сóлнышко-то ештё не здумает взойти-**то**, а оне накóсят, назагребáют*; *Он не хотéу женúцця-**то***; *Хýдо вам нести-**то*** [Романовская 1990]. Частица *-то* при прилагательных: *Ну дак другое-**то** я не знаю*; *Тогда ведь не было белой-**то** муки*; *А сильной северной-**от** вéтёр*; *Крупу-**ту** парену-**ту** ладили*; *Мáленьки-**ти** вроде слушают*; *В свáлебной-**от** день молодую привозят сюда. Со всея волости девки-ти встрецяются с цюжим-**то** робятам*; *Заместо дрожжей дак свой-**от** мел-от дéлают*.

Возможно также сочетание частицы с предлогами: *Перед-**то** домом поиграйте*; *Молебен служили серéть-**ту** пóля*; *Серéть-**ту** дни* [Романовская 1990: 313].

---

[5] Здесь и далее использованы записи из фонотеки отдела фонетики ИРЯ РАН. Расшифровки автора, а также Е.В.Щигель и Д.М.Савинова (см. [Савинов 2004].

Но преобладают в текстах примеры с постпозитивной частицей при существительных: *Семьи-**то** большие раньше были*; *Снегом-**то**, водой разведёшь их, и тогда преснушки-**те** россы́пкие будут, хорошие*; *Дали какое-то хорошее лекарство, и вот этим натёрли ноги-**те***; *А я вот на сенокосе родилась: мать-**то** пошла косить, да говорит, что надо идти домой. Там был сарай, она пошла в сарай-**то** и родила. На другой день окрестили: церква-**та** рядом да. Бывало, и в пецке рожали, да в пецке-**то** тесно рожать, ну, на пецке-**то***; *Потом муко́й натолкёт, овёс-**от**. Напекёт блинов, блины-**те** только лишь слетали*; *Крупу-**ту** парену-**ту** ладили, дак шти и наваря́т из крупы-**то***; *Потом в эту диру-**ту** так и текёт сусло-**то**. Чтобы с дробинам-**то** не текло сусло-**то**, берут мётлу. А хмель вот с хмельников-**то** оберут, да и подсушат. А как сусло-**то** уж сбежит, так эти дробины-**ти** на этот на квас делают*; *Робятишек-**то** вот эво крестя́т*; *Ну вот они дом-**от** продали раньший, а тут вот был сенник*; *Вот летом он дров-**от** насбирает, вот их и потопит, а зимой он уж и не в состоянии и дров-**то** нарубит*; *На картине Юда в ад-**от** бежит, ноги царапит*; *Даже эта вот старушка-**та**, как она верующая, всё богу молится*; *Подберёзовики растут, **ети** вот цилики́-**ти**. Бывает, что и рыжики-**те** можно сушить: суп очень хороший*; *Вытекет **эта** вода-**то** с овса-**то***; *Брёвна-**ти** такие были*; *Это цюжой дом-**от***; *Она же в богатстве, а парень-**то** в бедности*; *У меня пять робёнков на одну муж-**от** оставил*; *Школе-**то** отопление надо, ну я и взялася*; *Парнишко-**то** у меня и жил, что там нехватает воздуху-**ту***; *Я ей письма пишу, что парнишка-**та** мне бы надо*; *Потом лён-**от** поспи́ёт, станут его рват*; *Это вот зе́млю-**ту** меряют?*; *Посадят на эти, на воро́бы-**ти** и навивают на трубу-**ту***; *Нитки-**то** эти просуют в бёрдо. Потом на́ сволок-**от** навьют, у меня сво́лок-**от** валяется там, на и́збе-**те**, на́ сволок-**от** навьют, потом сво́лок-**от** поставят на кросна*; *Накладём золы́, чтобы грязь-**то** отъедало. Да в эту в воду-**ту** сухой золы накладём*; *Молотили на поду́, на доло́не. Гумно-**то** длинное, доло́нь-**та** убита*; *У нас ведь нет молока-**то**, коровы-**то** нет, и козы́-**то** нету*; *Девки-**ти** в шляпках-**то** ходили со цветами, с пера́ми, в платья́х-**то** шёлковых, это мо́дницы-**ти** самые богатые. Бывало, и калоши наденут на ботинки-**ти**, форсистее это было.*

Из приведенного материала следует, что наиболее сочетаемыми с постпозитивной частицей в севернорусских говорах оказываются существительные, а другие части речи значительно реже допускают соединение с этой частицей. В.И.Трубинский произвел подсчеты употребления обсуждаемой частицы с разными частями речи в пинежских говорах Архангельской обл., и его данные хорошо согласуются с на-

шими: наиболее частотны в речи сочетания частицы с существительными (65,8% всех случаев), в то время как с местоимениями, прилагательными, наречиями и глаголами сочетания частицы составили от 7 до 10% случаев [Трубинский 1970: 55].

Для того, чтобы частица даже на текстовом, дограмматическом уровне играла роль артикля, необходимо соблюдение целого ряда условий как формального, так и содержательного плана. Формальные правила: 1) лексема, выступающая в роли артикля, должна сочетаться только с существительными; 2) она должна согласоваться в числе и роде со словом, к которому относится (для флективных языков). В содержательном плане она должна выполнять функции определенного артикля, а именно указание на определенный, известный, выделенный из класса подобных объект (см. [Крамский 1963; Виноградов 1999: 45]). С точки зрения актуального членения определенный артикль обычно маркирует данное, старое, т. е. соотносится с темой высказывания, в то время как неопределенный артикль соотносится с новым, с ремой. Кроме этих основных функций определенного артикля, по разным языкам известны разнообразные дополнительные функции (см. [Крамский 1963; Виноградов 1999: 46]).

Разные севернорусские говоры характеризуются разной частотностью употребления рассматриваемой частицы в речи: от нулевой (западная часть севернорусского ареала) до очень высокой (некоторые говоры Архангельской области, в основном говоры побережья Белого моря и берегов рек Мезени и Пинеги). Примеры из записей на территории Архангельской обл.:

Мы здесе промышляли (тюленей), *дак принесло вéтра нá берег-**от***; утром *встали, трубы-**ти** отворили,* а *рёву-**ту**, рёву-**ту** росполнó* у *тюлéня-**та**, и робята-**ти** у нас побежали промышлеть-**то**, а ножика-**та** нé взяли*; *Нас Игнатий-**эт** вот этот по ропачкáм провёл, дак тут жóнки-**те** и тепере* (за него) *Бога молят: старух-**то** всех спас, а потом уносило в тот день-**от** много людей-**то**... а лёд-**от** несёт, а потом отслáнивает его от берегу-**ту** опять... Пошли к берегу-**ту**, и отслонúло уж,* (кругом вода), *никак нельзя и перейти, в море не спустишься, в воду-**ту** ведь. Лёд-**от** толстый, да отнесло лёд-**от** от берегу-**ту*** (Архангельская обл., Мезенский р-н).

Такая же насыщенность текстов частицами *-от, -та, -то*... наблюдается и в пинежских говорах, обсуждаемых в [Трубинский 1970][6].

---

[6] См., напр.: *А сусетка то Парамоновна то ягоды то красные то пихтерём носит* [Трубинский 1970: 56]

Возможность сочетания постпозитивной частицы в говорах русского языка с разными частями речи как будто бы полностью снимает вопрос о ее артиклевой функции. В структуре актуального членения предложения частица играет активную роль, выступая то в составе тематической группы (*Робятишек-**то** вот эво крестя́т*; *Топерь-**то** он старше стал*; *Семьи-**то** большие раньше были*; *Парнишко-**то** у меня и жил*), то в составе рематической группы (*Тогда ведь не было белой-**то** муки*; *Дали какое-то хорошее лекарство, и вот этим натёрли ноги-**те***; *На картине Юда в ад-**от** бежит*; *Потом на́ сволок-**от** навьют*; *У меня пять робёнков на одну муж-**от** оставил*; *Пиво варю, когда эти гости-**те**, невестка-**та** опеть приедет*). Возможно также появление *-то* в обеих группах — и тематической, и рематической (*Вытекет эта вода-**то** с овса-**то***; *Потом в эту диру-**ту** так и текёт сусло-**то***; *Я с ондреца́-**то** — хлесть! И прямо на це́ку* (чеку), *на залезку* (железку), *се́рдцем-**то**. Сердце-**то** и отшибла*; *Де́вки-**ти** в шля́пках-**то** ходили*; *Вот дрова́-**ти** привезли, литр вы́пошла, без вина-**то** ничё не делают*). Таким образом, свободное употребление постпозитивной частицы и ее производных в тексте и на формальном, и на функциональном уровнях говорит о ее неартиклевой функции, что дает основания для отнесения ее к числу *псевдоартиклей*.

При этом использование частицы с разными частями речи и в обеих группах актуального членения позволяет предположить, что она подобна просодическому средству, служащему для выделения (проминентности) отдельных коммуникативно важных фрагментов высказывания. Иными словами, она является вербальной заменой тональных акцентов и выступает в роли лексического показателя топика высказывания (о термине 'топик' применительно к просодии фразы см. [Chafe 1976; Ladd 1996: 161]) и/или лексического выражения фокуса (о термине 'фокус' см. [Ladd 1980: 111; 1996: 161]). Из сказанного следует, что роль этой частицы — исключительно текстовая (дискурсивная).

Заметим, что здесь прослеживается явная аналогия с употреблением частицы *-то* в литературном языке. Существенное различие между двумя системами — системой литературного языка и системой севернорусских говоров — в частотности употребления частицы (в говорах ее частотность несравненно выше) и в изменяемости форм частицы в севернорусских говорах.

При этом если в литературном языке тот или иной фрагмент высказывания может быть выделен либо тоном, либо частицей *-то*, либо сочетанием этих двух средств, то в севернорусских говорах для этой цели имеется только лексическое средство — частица.

Ср. такие примеры из литературного языка: *Татья́на приехала, а другие будут позже* и *Татьяна-то приехала, а другие будут позже*; *Ты видел их но́вый дом?* и *Ты видел их новый-то дом?* или *Ты видел их новый до́м?* и *Ты видел их новый дом-то?* (зна́ком ˝помечен тональный акцент).

На рис. 1 приведены тональные контуры двух высказываний: *Татья́на приехала...* с акцентным выделением темы *Татьяна* и *Татьяна-то приехала...* с выделением темы с помощью частицы *-то*. В первом случае акцент выражен резким подъемом тона (на октаву) на гласном ударного слога, после чего следует столь же резкое падение тона, во втором случае, при сочетании с постпозитивной частицей, тональные изменения выглядят более сглаженными.

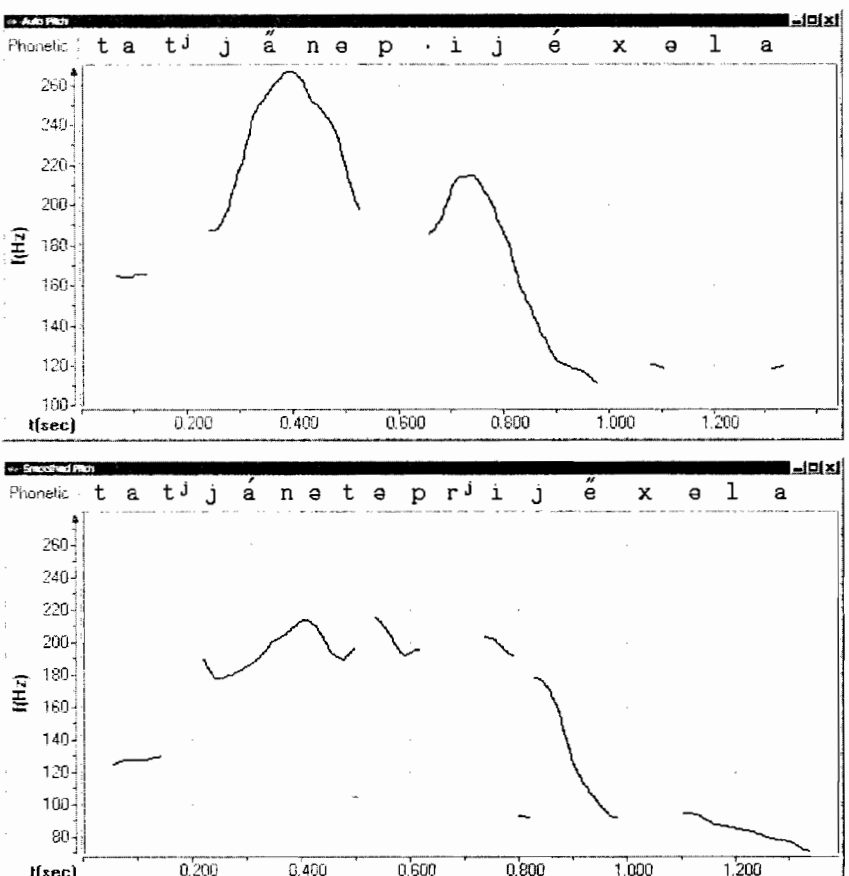


Рис. 1

Но если в литературном языке в подобных случаях выбор того или другого способа проминентности как будто бы определяется стилем речи, то в говорах единственным средством подчеркивания какого-либо слова (или группы слов) в высказывании служит постпозитивная частица.

Этой особенностью функционирования частицы в говорах объясняется возможность ее повторов в одном и том же высказывании (*Бывало, и в пецке рожали, да в пецке-**то** тесно рожать, ну, на пецке-**то***; *Вытекет эта вода-**то** с овса-**то***; *А я ведь слыхала, что летают-**то** эти тарелки-**то***). Примечательно, что в говорах обнаруживается также одновременное использование частицы в одном высказывании и при определяемом, и при определяющем, ср. примеры: *Крупу-**ту** парену-**ту** ладили*; *Видишь, вот там новая-**то** изба-**то**?*; *Заместо дрожжей дак свой-**от** мел-**от** делают.*

Такие повторы частицы, создающие эффект выделенности не одного, а двух или более слов в высказывании, выглядят как аналоги широкого топика или широкого фокуса (об узком и широком фокусе см. [Ladd 1996: 161]). В литературном языке такая функция частицы *-то* отсутствует, например, в высказывании *Ты видел их нóвый дóм?* — широкий фокус (т.е. выделенность двух слов в составе ремы) не может быть заменен использованием двух частиц *-то* —**Ты видел их нóвый-то дом-то?* В говорах, как было показано, подобные случаи вполне возможны.

Повышенная функциональная нагрузка постпозитивной частицы в говорах по сравнению с литературным языком не представляется избыточной, если обратиться к специфике интонационной системы вологодских говоров. Именно характер диалектной речевой просодии определяет многие системно-лингвистические особенности диалектов. Так, уже давно было отмечено, что обилие частиц в той или иной языковой системе коррелирует с недостаточно развитой интонационной стороной речи [Николаева 2000: 235; Касаткина 2005: 366].

В более ранних наших работах было показано, что севернорусским говорам свойственно пословное мелодическое оформление высказывания, т.е. в них наблюдается стремление к интонационной автономности каждого слова в высказывании (см., напр., [Пауфошима 1983; Касаткина 1988]). Набор интонационных средств в севернорусских говорах более скуден, чем в других говорах и в литературном языке. Интонация в них служит в первую очередь для оформления основных коммуникативных типов, а также выполняет делимитатив-

ную функцию, отделяя в высказывании одно фонетическое слово от другого тональными средствами [7]. В этих говорах наблюдается явный диктат словесной просодии над просодией фразы. Естественно, что при таком характере интонирования возрастает роль лексических средств для создания эффекта смысловой выделенности того или иного фрагмента высказывания. На рис. 2 приведены интонограммы высказывания *А разве это лён?* в вологодском говоре (верхний рисунок) и в литературном языке.

Верхняя интонограмма свидетельствует о том, что каждое слово высказывания в вологодском говоре оформляется своим мелодическим контуром, при этом тональный акцент на слове *лён,* который соответствует оформлению общего вопроса, не столь резко контрастирует с мелодикой предцентровой части, как это представлено на нижней интонограмме, отражающей интонационное оформление того же высказывания в произношении носителя литературного языка.

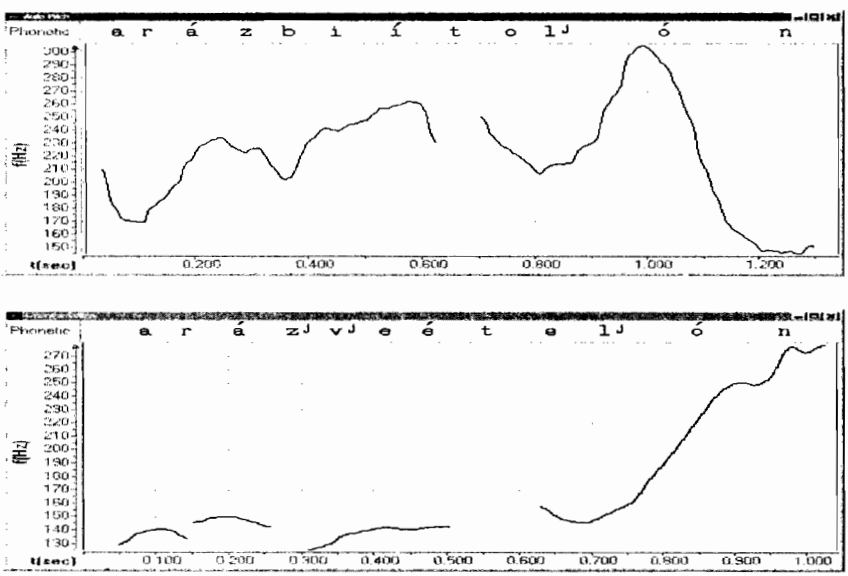


Рис. 2

[7] В говоре прослеживается отчетливо выраженная тенденция к тому, что границы между словами маркируются понижением тона.

В большом массиве примеров с постпозитивной частицей в севернорусских говорах можно обнаружить также не только эмфатические, но и некоторые другие ее функции. Уже сейчас можно отметить, что она, подобно указательному местоимению, может употребляться в анафорическом и дейктическом значении, ср. примеры: *Я пошла туда на площадь, площадь-**ту** ви́дели?*; *Там был сарай, она пошла в сарай-**то** и родила*; *Парнишко-**то** у меня и жил, я ей письма пишу, что парнишка-**та** мне бы надо*; *Напекёт блинов, блины-**те** только лишь слетали.* — анафора[8]; *Вот яшшык-**от** я вам показывала*; *Вот за этот дом-**от** полетел* — дейксис. Иными словами, как бы напоминая о своем происхождении — из указательного местоимения **тъ*, частица *-то* может в говорах и в наше время продолжать употребляться в своем первоначальном значении, отличая таким образом диалекты от литературного языка. Некоторые из этих функций приближены к функциям определенного артикля. Все сказанное позволяет говорить о многозначности частицы *-то* и ее производных в севернорусских говорах. Заслуживает специального обсуждения единственный пример, отмеченный в огромном массиве (20 часов звучания) магнитофонных записей вологодских говоров: *А жернова́-**то те**, вот и рушные есть,* где в постпозиции к одному существительному использованы две частицы: *-то* и *-те.* В данном случае первая частица играет выделительную роль, а вторая выступает в функции анафоры, поскольку в предшествующем фрагменте текста шла речь о жерновах. Функциональное различие между этими лексемами имеет и просодическое выражение: первая частица безударна, вторая маркирована ударением.

Современные исследователи функций постпозитивной частицы в севернорусских говорах пытаются примирить две точки зрения на нее, считая, что эта частица является маркером как экспрессивности, так и определенности. Они исходят из того положения, что в рамках евразийского языкового союза подобные постпозитивные частицы существуют во многих языках, но в каждом конкретном языке имеют свои особенности (см, напр., [Leinonen 1998; Stadnik-Holzer 2006: 350].

В одних языках значение определенности, передаваемое постпозитивными частицами, выражено сильнее (напр., в балканских языках), в других слабее (в тюркских и уральских языках). К последней

---

[8] На это обращает внимание и В.И.Трубинский, говоря о возможности использования в пинежских говорах частицы *то* для указания на ранее упомянутый объект [Трубинский 1970: 56].

группе, по мнению этих исследователей, примыкают и севернорусские говоры. Так, австрийская исследовательница Е. Стадник-Хольцер, изучающая вопрос о статусе изменяемой частицы *-то* в русских говорах, приходит к выводу, что частица «выполняет роль определенного артикля, но с экспрессивным значением» [Stadnik-Holzer 2006: 350].

Наше исследование, результаты которого приведены выше, не позволяют рассматривать обсуждаемую частицу как маркер определенности, даже на до-грамматическом, текстовом уровне, поэтому для нее был использован термин *псевдоартикль,* вынесенный в заголовок статьи. В таком статусе частицы *-то* убеждает не только рассмотренный материал севернорусских говоров, но и тот факт, что в этих говорах существует другая лексема, более явно выражающая значение определенности, а именно местоимение *этот, эта, это...,* о которой было сказано в разделе «Предартикли».

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что лингвистическое пространство безартиклевых славянских языков неоднородно. Во всех рассмотренных языках наблюдается стремление к лексическому оформлению категории определенности, стремление к «артиклевости». Наиболее ярко это стремление проявляется в западнославянских языках и в украинском. С этими системами типологически сближаются диалекты русского языка, где прослеживается возможность дискурсивного использования указательных местоимений в роли определенного артикля. Русские указательные местоимения *этот* и *тот* в артиклевой функции имеют региональную прикрепленность: второе употребляется преимущественно в южнорусских говорах, а первое — в севернорусских и среднерусских. В говорах юго-запада в той же роли выступает лексема *тот-то.*

Русский литературный язык в этом отношении отличается от диалектов лишь количественно: местоимение *этот* в роли текстового артикля здесь более редко, чем в говорах.

В статье высказывается предположение, что бóльшая роль артиклеподобных лексем наблюдается в русских говорах по сравнению с литературным языком потому, что в них несравненно слабее выражена грамматическая роль интонации: так, в частности, категория определенности/неопределенности в говорах не выражается с помощью интонации.

Постпозитивная изменяемая частица *-то,* представленная в севернорусских говорах, служит для подчеркивания, выделения того или иного слова (или слов) в высказывании, что сближает ее функцию с функцией просодических средств в литературном языке. Для определения этой языковой единицы в статье используется термин *псевдоартикль.*

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Богородицкий 1935 — *Богородицкий В. А.* Общий курс русской грамматики. М.; Л., 1935.

Виноградов 1999 — *Виноградов В. А.* Артикль // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1999.

Головачева 1979 — *Головачева А. В.* Идентификация и индивидуализация в анафорических структурах // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках / Отв. ред. Т. М. Николаева. М., 1979. С. 175–203.

Касаткина 1988 — *Касаткина Р. Ф.* Русская диалектная суперсегментная фонетика. Автореф. ... докт. филол. наук. М., 1988.

Касаткина 2005 — *Касаткина Р. Ф.* Калейдоскоп частиц в русских говорах // Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой / Отв. ред. В. Н. Топоров. М., 2005.С. 365–373.

Крамский 1963 — *Крамский И.* К проблеме артикля // Вопросы языкознания. 1963. № 4. С. 14–26.

Кузьменко 2001 — *Kuzmenko Ju. K.* Die Ursachen der Suffiegirung des bestimmten Artikels in den skandinawischen Sprachen // Язык и речевая деятельность. 4/1. СПб., 2001. S. 184–206.

Кузьмина, Немченко 1962 — *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* К вопросу о постпозитивных частицах в русских говорах // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. III / Отв. ред. В. Г. Орлова. М., 1962. С. 3–32.

Маслов 1963 — *Маслов Ю. С.* Членные формы болгарского литературного языка с точки зрения лингвистической типологии // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь 60-летия профессора С. Б. Бернштейна. М., 1971. С. 181–188.

Матвияс 1962 — *Матвияс И. Г.* Синтаксис займенників в українскоі мові. Київ, 1962.

Николаева 1979 — *Николаева Т. М.* Акцентно-просодические средства выражения категории определенности–неопределенности // Категория определенности–неопределенности в славянских и балканских языках / Отв. ред. Т. М. Николаева. М., 1979. С. 119–175.

Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* От звука к тексту. М., 2000.

Пауфошима 1983 — *Пауфошима Р. Ф.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.

Ревзин 1973 — *Ревзин И. И.* Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973. С. 121–137.

Романовская 1990 — *Романовская Г. А.* Некоторые морфологические и синтаксические особенности говора деревни Зыков Конец Мосеевского сельсовета

Тотемского района Вологодской области // Уч. зап. МГПИ им. В.И.Ленина. № 353. 1990. С. 295–314.

Савинов 2004 — *Савинов Д. М.* Быт вологодской деревни в устных рассказах // Живая старина. № 4. С. 32–34.

Селищев 1939 — *Селищев А. М.* О языке современной деревни // Труды МИФЛИ. Т. V. М., 1939.

Соболевский 1907 — *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. М., 1907.

Стоянов 1968 — *Стоянов Ст.* Грамматическата категория «определенност» в българския език и нейните соответствия в други славянски езици // Славянска филология. X. 1968.

Трубинский 1970 — *Трубинский В. И.* Об участии постпозитивной частицы *то* в построении сложного предложения (по материалам пинежских говоров) // Севернорусские говоры 1. Л., 1970. С. 48–64.

Цивьян 1979 — *Цивьян Т. В.* Категория определенности–неопределенности в структуре волшебной сказки (на материале албанской сказки) // Категория определенности–неопределенности в славянских и балканских языках / Отв. ред. Т.М.Николаева. М., 1979. С. 330–347.

Халанский 1901 — *Халанский М. Г.* Из заметок по истории русского литературного языка. О члене в русском языке // Изв. ОРЯС. Т. VI. Кн. 3. 1901.

Черных 1927 — *Черных П.Я.* Очерки по истории и диалектологии северно-русского наречия. Иркутск, 1927.

Чичагов — *Чичагов В.К.* Членные формы в русском и болгарском языке (*рукопись*).

Шахматов 1941 —*Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.

Chafe 1976 — *Chafe W.* Givenness, contrastivenness, definiteness, subjects, topics, and points of view // Subject and topic / C.Li (ed.). New York: Academic Press, 1976.

Ladd 1980 — *Ladd R.* The structure of intonational meaning: evidence from English. Bloomington: Indiana University Press. 1980.

Ladd 1996 — *Ladd R.* Intonational phonology. Cambridge University Press, 1996.

Leinonen 1998 — *Leinonen M.* The postpositive Particle *-то* of Northern Russian Dialects, compared with Permic Languagen (Komi Zyryan) // Studia slavica Finlandensia XV. 1998. S. 74–90.

Stadnik-Holzer 2006 —*Stadnik-Holzer E.* Zur Frage nach der Herkunft der sog. postponierten Partikel in den nordrussischen Dialekten // Slavika Helsingiensia 27 / Ed. J.Nuorluoto. Helsinki, 2006. S. 347–355.

Л. В. Куркина

К истокам славянской социальной терминологии

(*Жилище* и *поселение* как единицы социальной организации древних славян)

Историко-этимологические исследования ориентированы на решение широкого круга задач, одна из них — реконструкция по данным языка материальной и духовной культуры, особенностей природного ландшафта, среды обитания древних славян и т. п. К числу недостаточно исследованных относится проблема формирования социального устройства славян, становления основных социальных категорий на разных этапах развития славянского общества. Эта проблема пользовалась преимущественным вниманием историков, исследования которых направлены на определение статуса, иерархии и правовых отношений отдельных социальных групп и тех общественных структур, которые засвидетельствованы на славянской территории уже в историческое время [Schmidt 1964]. При реконструкции древней социальной организации обращаются к этнографическим описаниям уклада жизни, быта народов, которые в силу разных причин оказались в стороне от культурных центров. Весьма существенна роль данных археологии в восстановлении форм перехода от родовой организации к территориальной. Расселение является формой бытия общественных структур. По тому, какое пространство занимало древнее поселение, были ли поселения компактными или рассеянными, по тому, как поселения располагались относительно друг друга, в археологии с учетом данных социальной типологии выявляются первобытные формы социальной организации, определяемые общим термином *патронимы* [Косвен 1963: 6], который распространяется на социумы разного времени и разного типа — род, патриархальную семью (большую или малую), территориально-соседскую общину и т. п. Нередко в исторических исследованиях эти понятия являются идентичными и взаимозаменяемыми. По тем данным, которыми располагает археология, трудно определить факторы, влияющие на формы расселения, в полном объеме охарактеризовать все аспекты социальной структуры. Это связано со сложностями интерпретации археологических данных, поскольку между археологическими фактами и их историческим объяснением нет строгой причинно-следственной связи [Конецкий 1998:

13]. При исследовании социального строя большие трудности порождает скудость, неопределенность и туманность исторических сообщений о древнем строе древних славян. Иноземным авторам общественная жизнь славян была неизвестна. «Полем же жившем особе и владеющем роды своими... и живяху каждо родом своим и на своих местех, владеюще каждо родом своим...» — вот все, что сказано в недатированной части летописи о полянах [Третьяков 1953: 282].

При изучении форм социального развития недооценивается роль данных языка. Именно данные языка, историко-этимологический анализ славянской социальной терминологии помогает восполнить пробелы, преодолеть многие трудности, признаваемые историками, археологами. Те историко-лингвистические исследования, которые проведены в этой области, привели к пересмотру сложившегося в науке представления о вырождающемся характере славянской социальной системы, якобы пережившей глубокие преобразования по сравнению с исходной индоевропейской системой [Иванов, Топоров 1984: 87]. Более того, они показали, что славяне, в отличие от других индоевропейских народов, сохранили во многих отношениях архаичную модель социального устройства. Следует отметить, что исследование социального устройства древних славян проводилось на весьма ограниченном лексическом материале и в основном было направлено на изучение отдельных социальных терминов, общественных структур с ориентацией на древние тексты [Иванов, Топоров 1984; Иванов, Топоров 1978] в связи с теорией трехчастной социальной организации и соответствующей идеологии у индоевропейцев [Трубачев 2002: 67 и сл.]. За пределами внимания исследователей осталась важная в этом отношении лексическая группа, объединяющая названия жилищ, поселений. Занимаясь вопросами структуры древнего общества на восточнославянском материале, П.Н.Третьяков писал: «Жилище и поселения — это такие элементы материальной жизни, которые на всех этапах исторического процесса точно отражали общественную структуру. Поэтому изменения в характере поселений у северных и восточных племен могут рассматриваться как объективный признак социальных преобразований, в данном случае связанных с распадом патриархально-родового строя» [Третьяков 1953: 283]. Некоторые историки [Греков 1951: 204] полагают, что трудности в изучении социальных процессов обусловлены и тем обстоятельством, что мы не знаем, как назывались те объединения людей, которые представляют поселения, обнаруженные при раскопках городищ (VII–VIII вв. — Старая Ладога, VII–X вв. у с. Боршева и др.) [Третьяков 1953: 284–

285, 287–288] и т. п. Однако это не совсем так. Вдали от культурных центров, там, где даже в XVII–XVIII вв. продолжали существовать архаичные социальные образования, сохранилась и соответствующая терминология. В эпоху средневековья на европейской территории утвердились территориально-государственные образования, в которых растворились или получили иной статус низовые социальные структуры предшествующей эпохи. Признаки ранних социумов заключены в засвидетельствованных на славянской территории архаичных формах поселений и жилищ. Славянская терминология как наиболее архаичная служит источником информации об утраченных индоевропейскими народами первичных формах социальной организации. Из всех терминов поселений и жилищ нас интересует в первую очередь та группа терминов, по которой можно проследить развитие низовых социальных структур в эпоху до становления государства. Анализ терминов призван наполнить конкретным содержанием социальные структуры, выявляемые историками, археологами.

При обращении к собственно языковому материалу возникают трудности, обусловленные тем, что названия поселений, жилищ зафиксированы в разного рода документах, относящихся к хозяйственной деятельности, в эпоху, когда уже действовало право собственности, когда складывались территориальные и государственные образования. Как показывают письменные источники, на славянской территории известны разные термины для обозначения поселений: ср. слав. **vьsь*, русск. *деревня*, *село*, чеш. *dědina*, в польских памятниках XII–XIII вв. *villa*, *hereditas* или *possession*, *sors*, *źrzeb*, *siodło* [Podwińska 1971: 105–106] и т. п. Границы социальной жизни, социального устройства подвижны и на каждом этапе развития задаются зависимостью от времени, места, формы хозяйственной жизни и т. п. Жилища и поселения, являясь структурами общественной жизни, меняются вместе с развитием экономики, изменением условий жизни и труда. Термины, отражающие внеязыковую действительность, несут информацию об этих изменениях. Информация, извлекаемая из семантики слов, организованных по тематическому принципу, из соответствующих диалектных, исторических текстов, этнографических материалов, не только расширяет наши знания, сложившиеся на основании историко-этнографических и археологических исследований, но и помогает через язык выявить категории, которые стали определяющими для структурной организации общества на раннем этапе его развития.

Существенно изменилась картина жизни славян к середине I тыс., когда с переходом к пашенному земледелию славяне вступили в пе-

риод быстрого экономического развития. Экономика и соответственно социальная структура развивались неравномерно, в одних местах быстрее, в других с опозданием. По этой причине переход от патриархально-родового строя к территориальным образованиям произошел у одних раньше, у других — позже, поэтому в одно и то же время в разных частях славянской территории наблюдаются разные формы социальной организации и связанные с этим типы поселений. Но общая тенденция общественных преобразований у всех славян была единой.

Социальные структуры по мере развития видоизменялись, переосмыслялись, наполнялись новым содержанием, а это означает, что одному и тому же термину могут соответствовать реалии на разных стадиях развития. Термины поселений, жилищ полифункциональны. Помимо социальных коннотаций, каждый из терминов имеет и другие функции, позволяющие представить реалии одновременно во всей совокупности общественных функций — экономической, семейно-бытовой, правовой, культовой. В процессе развития некоторые коннотации постепенно теряют свою актуальность, угасает изначальная мотивация, в результате у термина остается одна функция — социальная. Славянские термины, относящиеся к социальным структурам разного времени, представляют развернутую в пространстве динамику социальных преобразований. Историко-этимологический анализ, выявляемая система коннотаций, через которые раскрывается содержание терминов, призваны выявить архаичные термины и соответствующие им структуры, относящиеся к эпохе, когда зарождалось социальное устройство, и на основе анализа семантики проследить эволюцию терминов и соответствующих им социальных структур, напрямую связанных с природными и экономическими условиями жизни славян. Решение подобной задачи поможет внести ясность в понимание некоторых терминов, трактуемых в литературе в самом общем плане без учета хронологии и конкретных условий бытования.

Возникающие на разных этапах развития жилища и поселения отвечали потребностям хозяйственной деятельности и отражали образ жизни славян. По терминам можно проследить переход от кочевого и полуоседлого образа жизни, когда домом была повозка, кибитка (ср. слав. **jata* 'хижина, шалаш, сарай' ~ др.-инд. *yatám* 'ход', слав. **věža* 'дом, башня, повозка, дом на колесах' ~ гл. **vezti* 'везти' [Трубачев 2002: 212], к долговременным и постоянным поселениям, ср. одно из древнейших названий стоянки, жилья человека слав. **stanъ* < и.-е. **sthā-* 'стоять' [Там же], а также названия, связанные с и.-е. **sed-* 'сидеть', с

развитием значения 'сидеть' > 'длительно пребывать на одном месте' > 'селиться': русск. *садили* села на сыром корени, польск. *osada*, слав. **sedlo*, блр. *сядзíба* 'поселение, место, где находятся дом, хозяйственные постройки, сад, огород' [Яшкін 2005: 346] и т. п.

Существенные изменения в жизни славян связаны с переходом к земледелию. Именно на эту эпоху, когда земля становится основным объектом хозяйственной деятельности и источником жизнеобеспечения, когда возникают постоянные поселения, закладываются основы социального устройства. Раннее земледелие существовало как коллективное, общинное, основной единицей была большая патриархальная семья, состоявшая из представителей 2–3-х поколений, связанных между собой родством.

У древних народов принцип кровного родства стойко удерживался и еще долго определял структуру общественной жизни [1]. Поселения состояли из членов племени, рода. Идеология родства и идеология древнего земледельческого общества проходит через терминологию поселений и жилищ эпохи раннего земледелия [Трубачев 2002: 286]. Одна из особенностей терминов этой группы состоит в том, что каждое из названий характеризуется семантическим комплексом, объединяющим значения 'поселение' и 'жилище', 'семья, род'. В конкретных условиях происходит актуализация одного из значений.

Терминология поселений, жилищ содержит напластования разных эпох. Самую древнюю часть составляют термины, сложившиеся на основе семантической специализации унаследованных и.-е. основ [2].

---

[1] Идея кровного родства, основополагающая для всей системы отношений, получает детальную разработку в лексике. Целый ряд терминов передает родственное начало: ср. серб. *братство*, *колено*, *породица*, *кућна заједница*, *породична заједница*, в Лесковачкой Мораве *један огањ*, *једно пепелиште* наряду с названиями *род*, *једна крв*, *један плод*, *један кртог*, *једно покољење*, *једно колено*, *један сој* [Ђорђевић 1958: 173] и т. п., болг. *челядь* и т. п.

[2] Одним и тем же и.-е. корнем **k'oi-m-* (< **k'ei-* 'лежать') кодируются основанные на идее родства десигнаты сходные, но несовпадающие в славянских, германских и балтийских языках: ср. с одной стороны, прусск. *caymis*, лит. *káimas*, лтш. *ciems* 'деревня' и прусск. *seimīns*, лит. *šeimà*, лтш. *sàime* 'семья; домочадцы', гот. *haims* 'деревня', 'селение', др.-исл. *heimr* 'родина', 'мир', др.-в.-нем. *heim* 'родина', 'дом', 'жилище' и т. п. [Топоров. Прусск. яз. 1980: 152, 155], а с другой, — слав. **sěmьja*, **sěmь* [Фасмер III: 600].

Слав. термин **gromada*, обнаруживающий глубокие индоевропейские связи (ср. др.-инд. *grāma-* 'толпа, деревня, община', лат. *gremium* 'охапка,

Строго говоря, к индоевропейскому наследию в полной мере можно отнести лишь слав. **vьsь*, первонач. поселение одного рода или нескольких родов, происходящих от одного предка, о чем свидетельствуют индоевропейские соответствия. Ближе всего к первоначальной семантике авест. *vīs-* 'род; объединение нескольких семейств', др.-инд. *viś-* 'жилище; племя; род', *viś-páti-* 'хозяин дома, племени'. Понятие кровного союза сливается с понятием дома, жилища в греч. φοῖκος 'большой дом; жилище; хозяйство', лат. *vīcus* 'деревня; поселок; группа домов', гот. *weihs* 'деревня; владение, поместье' [Benveniste 1969/1: 308] < и.-е. **u̯eik'-/*u̯ik'-* 'входить, пребывать в гостях', 'покоиться'. С распадом рода **vьsь* стало обозначением территориальной единицы — деревни. В названии этого древнего поселения отсутствует признак ограждения, отделения от остального пространства [Трубачев 2002: 216].

Категория рода, родственных отношений получает воплощение в метафорическом осмыслении слав. **korenь* и **gnězdo*, которые употребляются не только в своем прямом значении, но и как названия рода, племени, родины, отчего дома: ср. польск. *korzeń* 'род, поколение' и 'дом' [Warsz. II: 485], русск. диал. *ко́рень* 'родина, родные места' (тамб., курск.), 'крестьянская семья, от которой произошли остальные семьи в деревне, носящие одну фамилию' (яросл.), *сидеть и т. п. на корню́, на корне́, на корени́, на корни́*: *Меньшой сын на корню сидит* 'в крестьянстве — наследует дом' (смол., яросл., терск.) [СРНГ 14: 323], блр. *ко́рань* 'старое обжитое место; старое хозяйство, родина', *корань-каранё*, 'родина, родное селение' [Яшкін 2005: 361] и т. д., а также чеш. топ. *Kořen*, *Kurschin*: *ve vsi Korzenym pět sedlákuov* [Profous II: 309]; др.-русск. *гнѣздо* в примере из Сл. плк. Игор.: *Не дасть гнѣзда своего въ обиду* [Срезнев. I: 528], русск. диал. *гнѣздо* 'семья', 'жилье, жилище', 'пристанище, поселение', ср.: *Он свил гнездо на чужбине* [Даль[3] I: 894], блр. *гняздо́* 'родина, родное селение' [Яшкін 2005: 361], польск. *gniazdo* 'род, племя', 'дом', 'жилище, очаг' [Warsz. I: 857] и т. п. По данным археологии в VI–IX вв. вост.-слав. поселения располагались гнездами, состоящими из нескольких поселений. Родовой при-

---

связка') в лексическом гнезде с изначальной семантикой собирания (< и.-е. **ger-* 'собирать, схватывать'), на славянской территории претерпел переосмысление и уже в новых условиях закрепляется в качестве обозначения собрания, общины (ср. польск. *gromada* '(сельская) община', 'сходка, собрание', русск. диал. *гром́ада* 'сельская сходка, собрание жителей села, деревни, на котором разбираются общественные дела' и т. д. [ЭССЯ 7: 136, 103; Трубачев 2002: 216]).

знак стал определяющим для чеш. названия деревни *dědina*, т.е. наследуемая земля предков.

По причине неравномерного развития определенно проявляются различия в социальном устройстве славянского юга, тяготеющего к средиземноморской культурной традиции, и севера Восточной Европы, территории поздней колонизации. Эти различия, подтверждаемые и данными археологии [Тимощук 1995: 11], обусловлены экономическими и природными факторами. На севере Восточной Европы, покрытом густыми лесами, долго удерживалась архаичная форма земледелия, характеризовавшаяся применением огня и подсеки. Именно здесь в исторических документах, актах, писцовых книгах, диалектах и т. п. отмечены поселения, объединяющие членов одного и того же семейного хозяйства. Это обстоятельство придает особое значение терминологии севера Восточной Европы. Изучение архаичных социумов, засвидетельствованных на Русском Севере, приближают нас к пониманию принципов организации тех структур, которые были характерны для эпохи догосударственных образований.

По данным писцовых книг Архангельской губ., основным типом поселений Русского Севера в XVII–XVIII вв. были *пéчище*, *огнище*. Этот тип поселений привлек к себе внимание историков в 90-е гг. XIX в. [Иванишев 1876, Ефименко 1884]. Уже тогда высказывалось предположение, что поселения этого типа восходят к глубокой древности, «когда славянские племена... еще не были соединены государственным союзом, под верховною властью государей» [Иванишев 1876: 251]. Эти названия относятся к самым древним на славянской территории социальным объединениям, унаследованным из эпохи, когда еще не сложилась частная собственность на землю, когда субъектом пользования была большая семья.

Термином *печище* обозначалось несколько родственных семей-дворов [Ефименко 1884] или, как в двинских актах, населенный пункт (деревню или несколько деревень) с прилегающими к нему земельными угодьями [Там же: 219]. Этот же тип поселений с общим землевладением, объединяющий людей, связанных семейным, кровным родством, отмечен в XVII в. и в Замосковском крае, в местности, весьма удаленной от Поморья [Готье 1937: 54]. По материалам А. Ефименко, печищное землевладение прослеживается по двинским актам новгородского периода еще в XVI в., но в документах XVII и XVIII вв. видно уже преобладание малых семей современного типа [Ефименко 1884: 219]. По материалам СРНГ [27: 6] в семантике севернорусск. *печи́ще* доминирует признак общего владения землей: ср. значения ‘одна или

несколько деревень, объединенных общим земельным владением', 'часть деревни, имеющая общую долю полей и угодий', 'земельный надел, принадлежащий деревне', 'сельская община' (арх., КАССР). В новых условиях стирается признак родства, и *печище* в ряде случаев становится обозначением поселения без дополнительных коннотаций.

На Русском Севере обособленное населенное место и земля, находящаяся в распоряжении людей, связанных кровным родством, объединенных вокруг общего очага, имеет и другое название — *огнище*, ср. ст.-русск. *огнище*, обозначавшее земельное угодье, а также небольшую северную деревню, чаще всего заброшенную, бывшее родовое поселение большой семьи, общины [СлРЯ XI–XVII вв. 15: 40]. В Сербии *огнище* — та «коренная куча», от которой отделились другие и которая достается при дележе меньшему брату [Ефименко 1884: 232]. В RJA [VIII: 758] приведены примеры на употребление *ȍgńîšte* в значении 'родовой дом', ср.: *Dođe sultanski fermen, da se Srbi vraćaju na svoja ogńišta*. Функцию правового термина, термина налогообложения выполняет производное *ogńiština*, отмеченное в XVI в. в значении 'налог с дома', ср.: *Ošće gre gospodinu od svake hiše ogńišćini starić pšenice*.

Неразделимы понятия *поселение*, *родовое гнездо* и *земельные угодья* [Ефименко 1884: 232]. В Полицком статуте (ст. 33) «старо огнище» понимается как родовое гнездо: *Если есть племенщина* (= родовая вотчина), *то делить надо по головам, а младшему «старо огнище»* [Греков 1951: 96, 225]. Принцип кровного родства, положенный в основу организации зарождающихся социумов, влечет за собой систему взаимосвязанных правил, обеспечивающих функционирование минимальной социальной единицы в обществе.

Еще один важный признак объединяет поселения этого типа. *Печище*, *огнище* возникают на месте вырубленного и сожженного леса, на пепелище. На связь терминов *огнище*, *печище* с ранней формой земледелия, когда землю под поселение и посев добывали путем выжигания леса, указывают значения, засвидетельствованные в диалектах: ср. русск. *огни́ще* 'вновь вспаханное поле на месте сожженного и вырубленного леса; новина' (костр., яросл., арх., волог., пск.) [СРНГ 22: 331], серб. *ȍgńîšte* 'пустое, незасеянное место в поле' [RJA VIII: 758].

Таким образом, названия *печище*, *огнище* содержат указание на семейный союз, на общее семейное имущество, хозяйственное единство, на привязанность жилища к определенному месту. С домом, семейным очагом ассоциируются названия *печище*, *огнище*. Огонь, очаг наделялись сакральными свойствами и служили знаком кровного родства.

Этому типу поселений, объединяющему большую неразделенную семью, живущую особняком в одном или нескольких дворах и занимающему определенный участок земли, соответствует на территории южных славян *задруга*, *задружна куча*. Хозяйственное единство семьи сводится к понятиям дома, жилища или двора, ср. серб. *за́друга* и *за̑друга* 'родственный союз, обычно братья со своими семьями, живущие в одном поместье и ведущие одно хозяйство' [РСА V: 706). Семейная община — явление исторически универсальное. Такая форма объединения была порождена экономическими условиями особенно при лесном земледелии, когда разработка лесного участка осуществлялась силами большой семьи, рода [Поповић 1922: 103; Ђорђевић 1958: 167 и сл. и т. д.] На о. Оток *zadruga* зовется *kuća* [ZbNŽ VI: 46]. Хозяйственно-родовые союзы существовали и в Болгарии [Гешов 1899]. Хозяйственное и общественное единство семьи выражается у южных славян терминами *купщина*, *скупщина*, *дружина*, *друштво*. Аналогично в «Русской Правде» термин *дружина* обозначает большую семью и одновременно имеет значение семейного имущества.

К эпохе раннего земледелия восходит одно из основных названий севернорусских поселений — *деревня*. Как *печище*, *огнище*, это название изначально относилось к семейной общине. В Новгородских писцовых книгах XV и XVI вв. немало деревень, состоящих из одного двора. Прежде чем стать названием поселения в современном понимании, *деревня* обозначала деревянный дом, семью (ср. пример из народной песни: *у міщанина новая деревня... великая семья*), поле, пашню, пустошь, землю [Даль[3] I: 1065]. В деловых документах Белозерья второй половины XIV–XV вв. *деревня* отмечена в значении 'подсека, расчищенный под посев участок земли' [СлРЯ XI–XVII вв. 6: 221]. В Домострое выражение *деревню пашет* означает 'занимается земледелием', ср.: *деревня розпахати и поля огородити...* [Потебня 1883: 20]. Еще в XVII в. в соликамских грамотах *деревня* обозначает распаханную землю, пашню или землю, которая используется под покос, но без каких бы то ни было хозяйственных построек [Елизаровский 1955: 117 и 32]. В письменных источниках Русского Севера (Пинега) известны выражения *полдеревни*, *треть деревни* — 'часть пашни, единица измерения пашни'. В памятниках XVI в. выражение *деревню ставити* значит 'построить временное или постоянное жилье, поселить на расчищенном под пахоту месте' (Пов. Псков. Печ. М., 547. XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв. 4: 221]), ср. еще в конце XVII в. в Карелии *Поставить избу... на тое деревни* [Михайлова 1983: 165]. Деревня, первоначальное поселение одной семьи, возникает в лесу на месте вырубленного леса. Следы старого значения сохраняет блр. стар. *дзярэўня* 'поселение в лесу на раскорчеванном месте' [Яшкін 241]. С XVI в.

термин *деревня* устойчиво употребляется в новом значении 'селение с земельными угодьями'. Деревня была местом, где селился колонист, осваивая северные лесные просторы. Колонист считал это место своим, ср.: *деревня Яковлево сиденье* и т. п. [Приклонский 1884: 89].

Русск. слово *деревня* сложилось на базе прилаг. с суф. *-ьнъ*, производного от *дерево*, ср. диал. *дерéвный* 'покрытый деревьями', ср.: *Деревная лощина* (урал., [СРНГ 8: 13]). Примечательно, что в русских говорах отмечено употребление слово *деревня* в значении 'груда срубленных деревьев' [Даль[3] I: 1065], ср. еще урал. *дерéвня* и *дерёвня* — собир. 'деревья' [СРНГ 8: 13].

Этот тип поселений в лесах стал определяющим для названия племени **dervjane* 'люди, живущие в лесах', ср. др.-русск. *деревляне*, племя на Волыни в местности *Дерева* (Пов. вр. л.), помор. *Dravene*, ст.-полаб. *Drewiani* и т. д. [SP 3: 61].

Для севернорусской территории характерно еще одно название поселения, возникшего на подсеке, — *починок* от *почин* 'начало'. В русских диалектах находим *почúнок* в значении 'небольшая деревня, хутор обычно на расчищенном от леса или выжженном месте; выселок; новый поселок' (вят., киров., перм., костр., яросл., волог. и др.) [СРНГ 31: 14]. По наблюдениям Ю.В.Готье, в некоторых районах вместо термина *починок* употребляется название *выставка* ([Готье 1937: 53]: Владимирский, Дмитровский уезды).

Постепенно исчезает прежняя связь *новины* и *починка*, *земельного угодья* и *поселения*, переселение с подсеки на подсеку, с починка на починок отходит в прошлое. Место поселения становится неизменным, приобретает стабильный характер. Починок преобразуется в деревню [Петров 1968: 14–15].

Признаки ранней социальной организации присутствуют в семантике названия *село*, которое, как и деревня, первоначально имело другое значение. Южные и восточные славяне сохранили **selo* в его изначальном значении 'пашня, поле': ср. ст.-слав. **сєло** ἀγρος 'пашня, поле', 'пастбище' (Зогр., Мар.), **сєльнъ** τοῦ ἀγροῦ 'полевой, луговой' (Зогр., Мар., Ас., Сав.) [Ст.-слав. словарь: 601], др.-русск. *село* 'поле, пашня', 'поле, луг', ср.: *орати по селом*, *село земли* (XIII в.) [СлРЯ 24: 46, 47–48], словен. *sélo* 'почва', 'луг' [Bezlaj 2003: 188], в юго-вост. Штирии *selo kopati* [Plet. I: 467][3]. Слав. **selo* 'поле, пашня' фонетиче-

[3] Не заслуживает доверия традиционно включаемое в этот ряд отмеченное в словаре Котта чеш. морав. *selo* 'пашня; село' [Kott III: 303], поскольку оно не засвидетельствовано ни в одном из диалектных словарей [Machek 1965: 193–

ски совпало в вост.-слав. и ю.-слав. языках с **sedlo*, в основе которого лежит и.-е. **sed-* 'сидеть'. С переходом к оседлому образу жизни возобладало название с основой **sed-* (~ **sed-ti*) [Фасмер III: 596].

В новгородских актах *село* предстает как однодворное поселение, что позволяет предполагать преобладание на Севере семейного устройства с поземельным владением [Ефименко 1884: 231]. Обычная формула новгородских актов *село земли*. На сербохорватской территории в разное время отмечено употребление *sèlo*, *selnica* в значении 'sessio, земельное владение', ср.: *pol sela mojeg strica, je del toga Selca* (1475 [Mаž. I: 1298–1299]), *Ki vlahь ima selo, da služi s unčotь*... (u Klisu — 1436), 'дом с прилегающей к нему землей, усадьбой или задруга' (Хрв. Загорье) [RJA 14: 834). В Полицком статуте название *selíšć* распространяется на двор, сад и прилегающую землю. В итальянском переводе XV в. документа из Задара (1280 г.) говорится о продаже: *peze*, *plaze* (= *plase*), *selisze e pouornice* (= *podvornice*) [Barada 1957: 18, 17]. В некоторых районах Сербии разбросанные дома на *раскорчеванной* территории зовутся *села* [Цвијић 1902: LXII). По свидетельству Богишича, во второй половине XIX в. в Сербии *село* обозначало и поселение, и отдельный дом (кучу) или задругу: ср. *приселите се* 'стать членом задруги', *селиште* 'земля задруги' [Bogišić 1874: 12]. Со временем *selo* становится обозначением поселения, группы домов' (против. *grad*), ср.: *Kad se kaže selo, misli se prvo na sve kuće varoške, a drugo na najbližje vrtlove i oranice; na priliku kad ko ode u komšiluk ili dvaest kuća gor il' dol, kaže: «Bio sam u selu»*. В этнографической литературе отмечено, что в Герцеговине, где еще не было плуга, а земля обрабатывалась примитивным способом с помощью рала и бороны, некогда сеяли только «на селима» [Томић 1902: 472]. Топ *Selo* встречается в Далмации (уже в XI в.), Истрии, Сербии, Хорватии и др. [RJA 14: 835].

Вероятно, изначально **selo* было обозначением свободного, открытого места в лесу, которое использовалось для сельскохозяйственных работ, а также для поселения: ср. др.-в.-нем. *sal* ср.р. 'дом, жилище', лангоб. *sala* 'дом, постройка' < и.-е. **sel-* 'жизненное пространство'. В рамках этого гнезда допускается сближение с лит. *sala*

195], а польск. *siolo* 'село' под влиянием русского только в XVI в. вытесняет древнее *siodło* [Schmid 1977: 49–50]. Уже в XII–XIII вв. термин *siodło* в качестве обозначения сельского поселения исчезал, но он сохранился в таких местных названиях, как *Silche*, *Sedlicovo*, *Sedlche*, *Sedlez*, *Szyedlce*. На смену ему пришел термин *wieś* [Podwińska 1971: 107–108].

'деревня' и *salà* 'остров, сухое место, возвышающееся среди болот' (подробнее [Куркина 2006: 159]).

Примечательно, что древнее значение 'небольшое однодворное поселение' характеризовало и названия, сложившиеся на базе глагола **sěděti*. Именно это значение характерно для ст.-польск. *sedlisce* в документе из Силезии под 1208 г.: «...Bozdechowo Sedlisce» [Podwińska 1971: 107, прим. 402].

На Польской земле термин *villa*, взятый из латыни, в письменных источниках XII–XIII вв. повсеместно употреблялся для обозначения поселения, объединяющего несколько хозяйств, функционирующих как единое целое. Однако в некоторых случаях этим термином обозначается однодворное поселение, о чем свидетельствуют такие определения, как *Milodat cum villa...*, *Monina... cum rusticus et villis eorum* и т. п. [Ibid.: 106].

Рассмотренные выше поселения изначально были ограничены одним двором. В «Русской Правде» постоянно говорится о дворе как единице поземельного владения, из чего делается вывод о подворном расселении крестьян и об исходном принципе такого расселения, основанном на семейном родстве [Головин 1887: 94]. В русских диалектах двор — это 'хозяйство семьи' (ср. калуж., курск., брян. *двора смотреть, глядеть* 'смотреть имущество жениха', и т. д.), 'группа домохозяев, которой отводится один общий участок при разделе земли' (яросл.), *дворúще* 'усадебный земельный участок' (олон., твер., яросл.), 'расчищенное в лесу место' (волог.) [СРНГ 7: 295–296, 299]. В Белоруссии этот тип поселений называется *дворище*: «Дворище есть совокупность известного небольшого числа дымов (от 5 до 11)» [Иванишев 1876]. Подворное расселение было характерно не только для восточных славян. У южных славян понятие дома-жилища и единого хозяйства передается серб. словом *кућа* или *задружна кућа* 'часть дома, жилище, где огонь', 'семья, семейство', 'община, муниципалитет; суд', 'родной край, родная земля, родина', 'домашнее хозяйство' [РСА XI: 106–107], *stanje* 'дом с хозяйственными постройками' [SOZ 1960: 18, 22].

Изолированный характер поселений был характерен для ранней формы земледелия. Через эту ступень прошли и германские племена. Именно это имел в виду Тацит, когда писал: «Они не любят тесно примыкающих друг к другу жилищ» [Неусыхин 1929: 93 и сл.].

Дом, двор вместе с освоенным участком земли считался своим. Мир воспринимался как совокупность обособленных хозяйств. Все, что находилось за пределами освоенного пространства, воспринима-

лось как чужое. В известном смысле поселение образовывало замкнутое, закрытое пространство. Косвенно это проявляется в таких выражениях, как чеш. диал. (вост.-чеш.) *jdu (k sousedom) dousi, byl jsem u nich veusi* 'идти к кому-то в своей деревне для разговора' (u Horňácích) *jdu do vsi* [Machek 684]. Позднее поселение называлось по имени основателя рода, которое оформлялось суффиксами *-iči*, *-oviči*, напр. *Jaroměřici*.

Селение сливается с понятием *дом*, *семья*. В славянских языках известны разные названия дома, в основу которых положены разные мотивационные признаки: ср. слав. **domъ* (~ др.-инд. *dáma-* 'дом; жилище; жилье', лат. *domus* 'дом; жилище; семья', греч. δόμος 'дом; жилище; обитель; кров')[4], **xormъ* (русск. диал. *хоро́ма* 'жилой дом'), **obitelь* (< **ob-vit-elь* ~ лит. *vietà* 'место'), **kǫtja* (< **kǫtъ* 'внутренний угол'), **xalupa*, **xata*, **xyža* (< герм. **hūs*), русск. *дым*, *дымница* и т. д. [ЭССЯ 8: s. v.; ЭССЯ 12: s. v.]. Все названия жилищных построек одновременно являются обозначением объединения людей, связанных родством, совместным проживанием и общими правами и обязанностями.

Распространение плужного земледелия, развитие торговли и т. д. были теми факторами, которые способствовали распаду родовой организации и образованию соседско-территориальных объединений, призванных решать в первую очередь хозяйственные задачи и задачи общего управления землей. Переход к территориально-соседской общине произошел на юге в начале н. э., у всех восточных славян — позже, концу первого тысячелетия.

Общим для всех славян является термин **obьtjina*, от прилаг. **obьtjь* 'общий' [ЭССЯ 31: 164–165], передает идею общего, совместного владения землей, имуществом. Для обозначения территориальных образований в «Русской Правде» используются термины *мир*, *вервь*, в Польше *opole*, на Балканах *okolina*, чеш. *osada* (*ozzada*) 'несколько деревень' = лат. *vicinatus* или *vicinia* (= польск. *sąsiedztwo*). Эти названия отсылают к идее пространства, ограничения простран-

[4] Э. Бенвенист [Benveniste 1969/1: 293 и сл.] неправомерно отделил **domъ* < и.-е. **domos* от **demo-* 'строить, сооружать', ср. гот. *timrjan* 'строить', англ. *timber*, *Zimmerholz* 'строевой лес; строительный материал'. Первоначально **domъ* 'строение из дерева', т. е. строение надземное, противопоставляется «землянкам» и «полуземлянкам» [Гамкрелидзе, Иванов II: 742; Трубачев 2002: 212], функция обозначения социума вторична. В пользу такого понимания говорит и тот факт, что названия жилищ так или иначе отражают какие-то детали, существенные для построек: ср. серб. *кућа* < **kǫtja*, от **kǫtъ* 'угол'.

ства ограждением или чем-то другим. Через эти термины проходит идея соседства поселений, основанных на родстве, в рамках территориальных образований, выполняющих земельные и правовые функции.

Некоторые из названий территориальных образований сохраняют связь с земледелием. Примером может служить слав. **volstь*. В плане экономико-правовых отношений слав. **volstь* является обозначением собственности, наследия, имущественных отношений и территориально-административной единицы (ср. русск. *волость*). Было высказано предположение, что исходным для этого образования был и.-е. корень, описывающий «значимые зоны природного пространства» [Иванов, Топоров 1984: 97]. В развитие и подтверждение этой идеи можно привести южнославянские диалектизмы, относящиеся к сфере возделывания земли подсечно-огневым способом. Исходная семантика словен. *na velno sejati* 'первый раз сеять на раскорчеванном месте' (Штирия), его принадлежность к терминам архаичного земледелия проясняется через балтийские соответствия — лит. *velė́na* 'дёрн, дернина, вырезанный кусок земли', *velėnỹnė* 'дернина', *velėnúoti* 'покрывать дёрном', лтш. *vęlęna* 'дёрн', истоки которых в гнезде и.-е. **u̯el-* 'драть; ломать; царапать; ранить', ср. лат. *vellere* 'дергать, вырывать', гот. *wilwan* 'rauben' и т. д. [Fraenkel 1218, 1219; Pokorny I: 144; Куркина 2000: 19–20]. И.-е. основа, расширенная элементом *-d* (ср. русск. *володеть*, лит. *valdýti* 'править, владеть', прусск. *walduns*, *weldūns* 'наследник' и т. д.), переводит образования в сферу владения, наследования собственности, земли, власти. Представляется, что истоки этого социального термина восходят к эпохе архаичного земледелия.

Признаки нарождающегося территориального объединения обнаруживает слав. **pol'e*. Изначально это название относилось к широкому, открытому пространству, свободному от леса. На территории, покрытой густыми лесами, особо выделялись прогалины, свободные от леса места. Со временем эти места становились местом поселений. Косвенно об этом свидетельствует русск. топ. *Поле*, обозначение селения [Vasmer VII: 208]. В прусских и польских документах нет знака равенства между *pole* и *campus*. У пруссов *pole* обозначает поселение в рамках племенного образования. В польских документах *campus* появляется вместе со свидетельствами о лесах и лугах, этим термином обозначался определенный тип поселений в лесу. В документе под 1312 г. говорится о *pole* как поселении в районе, который был покрыт лесами до XVI в. В одном монастырском документе (w Eldenie) начала XIII в. сообщается о том, что монахи Цистерианского ордена получили половину леса, также поселения, определяемые то как *wieś*, то

как *pola*. В документе под 1261 г. сообщается о том, что *pole* состоит из 25 семей «cum agris et pratis omnibus que bonis ab antiqua attinentibus». Еще в 1711 г. в Литве в повете Вроцлавском шляхетские поселения называются полями, а в следующем году те же поселения — *okolica* (= *wieś*) [Łowmiański 1931: 103–104]. В Поморье *pole* понимается как поселение в лесу вместе с прилегающими к нему пашней, лугами, кустарником [Ślaski 1954: 67–68]. На польской территории в качестве обозначения территориального образования возобладал термин *opole*, передаваемый лат. *vicinia*, в котором выходит на первый план признак расположения по соседству (ср. польск. *opolny* 'лежащий по соседству, соседний'). Впервые этот термин отмечен в середине IX в. в Баварском Географе, где упомянуто силезское племя *Opolini* — *Opolanie*, от названия г. *Opole* на Одере [Podwińska 1971: 283]. Другой польский термин для обозначения территориального образования *osada* мотивирован гл. **saditi*, **sěděti*. В названиях с преф. *ob-* социальная структура реализуется и в плане пространственном [Иванов, Топоров 1984: 97].

Как правило, в составе признаков, характеризующих территориальные образования, отсутствует указание на расположение этих образований в пространстве относительно друг друга. Пожалуй, исключение составляют известные в русском и польском языках термины с корневой частью **-gost-* — русск. *погост* и польск. *Zagost*. В Лаврентьевской лет. др.-русск. *погостъ* обозначает становище, усадьбу, место временного пребывания князя при объезде земель при основном значении 'крупное село, центр сельской общины', 'административно-податной округ' [СДРЯ VI: 488]. В польских источниках под 1166 г. отмечено *villa... Zagost*, а в 1170–1175 гг. та же территория определяется как *terram, que dicitur Zagost*, что и дает основание думать, что в середине XII в. *Zagost* было не только названием определенной местности, но и поселения [Podwińska 1971: 257]. Представляется, что особенности этого территориального образования раскрываются на глубинном уровне через семантику индоевропейских соответствий. В германских языках у продолжений и.-е. **ghosti-* отмечено значение 'чужой': ср. ср.-в.-нем. *gast*, *gęste* 'чужой; воин; гость', зап.-герм. **ghosti-s* 'чужак, которому предоставляли кров и убежище, но перед закрытой дверью собственного дома' [Kluge[15]: 242] и т. д. Анализируя лат. *hostis* 'пришелец, чужеземец', 'враг', Э. Бенвенист приходит к выводу, что первоначально этим словом обозначался чужой человек, пришелец (ср. *ager hosticus*, о неприятельской территории), который связан определенными обязательствами по отношению к тем, кто его принял, это — тот, 'кто оплачивает дар контр-даром' [Benveniste 1969/1:

94; Топоров. Прусск. яз. 1979: 172). Исходный признак 'несвой, чужой' получает пространственную реализацию в семантике славянских названий в плане противопоставления «основной, постоянный — удаленный от основного, временный», «близкий — далекий». В очень стертом виде в характеристику объектов, обозначаемых словом *погост*, входит признак удаленности в пространстве. Это, в частности, проявляется в соотнесенности русск. диал. *погост* с разными объектами, занимающими периферийное положение: ср. *погост* 'подворье, постоялый двор на отшибе' (оренб.), «Погостом... зовут пристань на Шелоне» (яросл.), 'приморская часть г. Онеги (в отличие от наиболее отдаленной от моря части города и средней его части)' (арх.) [СРНГ 27: 309][5].

В условиях более развитого земледелия на западе южнославянской территории преобладают территориально-хозяйственные союзы. В урбариях XIII в. Штирии ничто не указывает на существование задруги. Здесь отмечены названия *communis*, реже *socius* и *complex*, *Gemeiner* [Dopsch 1909: 154].

На новой ступени развития для решения хозяйственных задач возникают промысловые объединения, земледельческие товарищества, называемые *общиной*, *сябрами*, *артелями*, *местовщиной* (Вытегрский у.), *мислиной* (Пудожский у.) и т. п. [Куликовский 1897: 80], в польском *gmin* (XV–XVIII вв.) и т. п.

В эпоху развития торговли и ремесел возникают города. Археологические материалы свидетельствуют о том, что не было единого принципа градообразования на славянской территории. Но при всех местных различиях существовало нечто общее, что нашло отражение в общем названии **gordъ*. Славянское название и его соответствия в индоевропейских языках с исходной формой **ghordh-/*g'hordh-* указывают на признак, положенный в основу наименования, — ограждение, ограда: ср. фриг. *-gordum/-zordum* 'город' в сложении *Manegordum*, *Manezordum*, алб. *garth*, *-dhi* 'изгородь', др.-инд. *gṛha* 'дом, жилище', гот. *gards* 'дом', др.-исл. '*gardr* 'ограда, двор', др.-сакс. *gard* 'огороженный участок' [Трубачев 2002: 215]. На западе название вытеснено новым словом с первонач. значением 'место'.

В последующем развитии термины утрачивают изначальную мотивацию, связанную с условиями жизни и труда на разных этапах развития земледелия, и начинают соотноситься территориально-административными образованиями. По изменениям в семантическом на-

[5] Об изначальной семантике владения слав. **gostь* см. [Трубачев 2002: 408].

полнении термина, по тем характеристикам, которые становятся доминирующими в семантической структуре термина, можно проследить, в каком направлении происходили социальные преобразования. Данные языка наполняют конкретным содержанием общие схемы, построения социального развития, базирующиеся на исторических материалах.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Алб. — албанский
Авест. — авестийский
Англ. — английский
Блр. — белорусский
Болг. — болгарский
Вост.-слав. — восточнославянский
Гот. — готский
Греч. — греческий
Др.-инд. — древнеиндийский
Др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
Др.-исл. — древнеисландский
Др.-полаб. — древнеполабский
Др.-русск. — древнерусский
Др.-сакс. — древнесаксонский
Зап.-герм. — западногерманский
И.-е. — индоевропейский
Лангоб. — лангобардский
Лат. — латинский
Лтш. — латышский
Лит. — литовский
Польск. — польский
Помор. — поморский
Прусск. — прусский
Русск. — русский
Серб. — сербский
Слав. — славянский
Словен. — словенский
Ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
Ст.-русск. — старорусский
Ст.-слав. — старославянский
Фриг. — фригийский
Чеш. — чешский

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Гамкрелидзе, Иванов — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I–II. Тбилиси, 1984.

Гешов 1899 — *Гешов И. Е.* Задругата в в Западна България // *Гешов И. Е.* Думи и дела. София, 1899.

Головин 1887 — *Головин К.* Сельская община в литературе и действительности. СПб., 1887.

Готье 1937 — *Готье Ю. В.* Замосковский край XVII в. М., 1937.

Греков 1951 — *Греков Б. Д.* Полица. Опыт изучения общественных отношений в Полице XV–XVII вв. М., 1951.

Ђорђевић 1958 — *Ђорђевић М.* Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави // СЕЗб. Књ. LXX. Одељење друштвених наука. Живот и обичаји народни. Књ. 31. 1958.

Елизаровский 1955 — *Елизаровский И. А.* Лексика беломорских актов XVI–XVII вв. Архангельск, 1955.

Ефименко 1884 — *Ефименко А.* Исследования народной жизни. Вып. I. Обычное право. М., 1884.

Иванишев 1876 — Сочинения Н. Д. Иванишева / Изд. Иждивением Университета Святого Владимира. Киев, 1876.

Иванов, Топоров 1978 — *Иванов В. В., Топоров В. Н.* О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. М., 1978.

Иванов, Топоров 1984 — *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* К истокам славянской социальной терминологии (семантическая сфера общественной организации, власти, управления и основных функций) // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984.

Конецкий 1998 — *Конецкий В. Я.* Семья и община у славян Приильменья в конце I тыс. н. э. // Общество, экономика, культура и искусство славян. VI Международный конгресс славянской археологии. Новгород. 26–31 августа 1996. М., 1998.

Косвен 1963 — *Косвен М. О.* Семейная община и патронимия. М., 1963.

Куликовский 1897 — *Куликовский Г. И.* Из общинно-артельной жизни Олонецкого края. Петрозаводск, 1897.

Куркина 2000 — *Куркина Л. В.* Славянские термины подсечного земледелия на индоевропейском фоне // Балто-славянские исследования 1998–1999. XIV. Сборник научных трудов. М., 2000.

Куркина 2006 — *Куркина Л. В.* Славянские термины земледелия в контексте индоевропейских связей // Studia etymologica Brunensia 3. Praha, 2006.

Михайлова 1983 — *Михайлова Л. П.* Из истории земледельческой терминологии на территории Карелии // Актуальные проблемы диалектологии и исторической лексикологии русского языка. Тезисы докладов и сообщений. Вологда, 1983.

Неусыхин 1929 — *Неусыхин А. И.* Общественный строй древних германцев. М., 1929.

Петров 1968 — *Петров В. П.* Подсечное земледелие. Киев, 1968.

Петровић 1948 — *Петровић П.* Живот и обичаји народни у Гружи // СЕЗб. Књ. LVIII. Живот и обичаји народни. Књ. 26 / Уредио J. Ердељановић. Београд, 1948.

Поповић 1922 — *Поповић В.* Задруга. Теорије и литература // Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини. Сарајево, 1922.

Потебня 1883 — *Потебня А. А.* К истории звуков русского языка. IV. Этимологические и другие заметки. Варшава, 1883.

Приклонский 1884 — *Приклонский С. А.* Народная жизнь на Севере. М., 1884.

Тимощук 1995 — *Тимощук Б. А.* Восточные славяне. От общины к городу. М., 1995.

Томић 1902 — *Томић Св.* Дробњак. Антропогеографска испитивања // Насеља српских земаља. Расправе и грађа / Уредио Ј. Цвијић. Књ. I. Београд, 1902.

Третьяков 1953 — *Третьяков П. Н.* Восточнославянские племена. М., 1953.

Трубачев 2002 — *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 2002.

Barada 1957 — *Barada M.* Starohrvatska seoska zajednica. Zagreb, 1957.

Benveniste 1969 — *Benveniste E.* Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 1. économie, parenté, société; 2. pouvoir, droit, religion. Paris, 1969.

Bezlaj 2003 — *Bezlaj F.* Vas in selo v slovenski onomastiki // *Bezlaj F.* Zbrani jezikoslovni spisi I. Ljubljana, 2003.

Dopsch 1909 — *Dopsch A.* Die ältere Sozial- und Wirtschaftsverfassung der Alpenslaven. Weimar, 1909.

Kluge[15] — *Kluge Fr. / Götze A.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Fünfzehnte, völlig neubearbeitete Auflage. Berlin, 1951.

Łowmiański 1931 — *Łowmiański H.* Studja nad początkami społeczeństawa I państwa Litewskiego. T. I. Wilno, 1931.

Podwińska 1971 — *Podwińska Z.* Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu. Źreb, wieś, opole. Wrocław etc., 1971.

Schmidt 1964 — *Scmidt Knud Rahbek.* Soziale Teminologie in russischen Texten des frühen Mittelalters (bis zum Jahre 1240). Kopenhagen, 1964.

SOZ 1960 — Seljački obiteljske zadruge. I. Izvorna građa za 19 i 20 stoljeće. Zagreb, 1960.

Ślaski 1955 — *Ślaski K.* Zaludnienie puszcz Polski zachodniej w okresie do XIV w. // Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. T. XVI — rok 1954. Poznań, 1955.

ZbNŽ VI — *Lovretić J.* Otok // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Sv. VI, 1. polovina / Uredio dr. Ant. Radić. Zagreb, 1901.

Даль[3] — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. Т. I–IV. СПб., 1903–1909.

РСА — Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. I–XV–. Београд, 1959–1996–.

СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–VII–. М., 1988–2004–.

СлРЯ — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–26–. М., 1975–.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–40. Л./СПб., 1966–2006–.

Срезнев. — *Срезневский И. И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1903.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–40–. Л., СПб., 1966–2006–.

Ст.-слав. словарь — Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

Топоров. Прусск. яз. — *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. М., 1975: A–D; М., 1979: E–H; М., 1980: J–K; М., 1984: K–L.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь славянских языков / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. I–IV. М., 1964–1973.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Отв. редактор О. Н. Трубачев. Вып. 1–33–. М., 1974–2006–.

Яшкін 2005 — *Яшкін І. Я.* Слоўнік беларускіх геаграфічных тэрмінаў. Мінск, 2005.

Fraenkel — *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. T. I–II. Heidelberg, 1955–1965.

Kott — *Kott F.* Česko-německý slovník. D. I–VII. Praha, 1878–1893.

Machek — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968.

Maž. — *Mažuranić V.* Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik. T. I–II. Zagreb, 1908–1922. Zagreb, 1975.

Plet. — *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894–1895.

Pokorny — *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Bern, 1949–1959.

Profous — *Profous A.* Místní jména v Čechach. Jejich vznik, původní význam a změny. D. I–IV. Praha, 1947–1957.

RJA — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Sv. I–XXXIII. Zagreb, 1880–1976.

SP — Słownik prasłowiański. T. 1–8–. Wrocław etc., 1974–2001–.

Warsz. — *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. T. I–VIII. Warszawa, 1952.

О. Н. Ляшевская
Е. В. Рахилина

Онтология лексики в Национальном корпусе русского языка: обзор и поисковые возможности

1. Введение: принципы разметки. В Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), размещенном по адресу ruscorpora.ru, реализована практически не имеющая аналогов в мировой корпусной практике система поиска по онтологическим характеристикам лексем на всем массиве текстов (более 140 млн словоупотреблений) [1].

Под онтологическими характеристиками лексемы понимаются таксономические, мереологические и топологические признаки, а также элементы словообразовательной семантики (приставочные корреляты глаголов, суффиксы с оценочным значением, отглагольные и отыменные производные и др.). Вся эта сложная и иерархизованная система помет реализована на массиве словаря Корпуса объемом около 375 тыс. слов, подробное ее описание дано в [Кустова и др. 2005]. Изначально семантическая разметка словаря опиралась на классификацию русской лексики, принятую в лексической базе данных «Лексикограф-эксперт» (руководитель проекта Е. В. Падучева). «Лексикограф» создавался как высокотехнологичный инструмент лингвистического исследования и был предназначен для того, чтобы получать списки слов по заранее заданным семантическим параметрам (прежде всего, таксономическим) и исследовать языковое поведение полученных классов лексики — сочетаемость, типы моделей управления, диатетические сдвиги — как проявление системных отношений в лексике. На основе классификаций, разработанных для имен и глаголов, были получены серьезные лингвистические результаты, см. [Падучева 1996; Рахилина 2000; Падучева 2004; Кустова 2004; Ляшевская 2004].

Семантическая разметка, принятая в Корпусе, должна быть общепонятной — поэтому, наряду с лексической базой «Лексикограф» (элек-

---

[1] Параллельно группой Ю. Д. Апресяна в ИППИ РАН ведется работа над семантико-синтаксической разметкой, в объеме около 0,5 млн словоупотреблений со снятой вручную омонимией. Пока этого фрагмента корпуса нет в открытом доступе — полное описание принципов его семантической разметки дается в [Апресян и др. 2005].

тронным словарем), использовались обычные толковые словари а также грамматические описания, ср. [Русская грамматика 1980; Кузнецова 1989; Бабенко 1999; Саяхова, Хасанова, Морковкин 2000; Шведова 2000 и др.].

2. Состав семантических признаков. Полную информацию о признаках, по которым доступен поиск в настоящее время, см. на сайте www.ruscorpora.ru, раздел «Семантика» — здесь мы остановимся только на базовых признаках (семантических классах), выделенных для основных частей речи, и приведем по одному характерному примеру на каждый класс:

глаголы: движение (*бежать*), помещение объекта (*положить*), местонахождение (*лежать*), физическое воздействие (*бить*), создание (*сшить*), уничтожение (*сжечь*), изменение состояния или признака (*расширить*), обладание (*приобрести*), эмоция (*обидеться*), восприятие (*смотреть*), ментальная сфера (*помнить*), речь (*советовать*), поведение человека (*куражиться*); природное явление (*пуржить*), звук (*гудеть*), свет (*лучиться*), запах (*благоухать*) и др.;

прилагательные: размер (*обширный*), количество (*обильный*), расстояние (*близкий*), форма (*квадратный*), цвет (*белый*), вкус (*пресный*), запах (*душистый*), температура (*морозный*), место (*заречный*), время (*нынешний*), возраст (*семилетний*), свойство человека (*честный*) и др.;

непредметные существительные, поскольку значительная часть их образована от глаголов и прилагательных либо семантически коррелирует с ними, классы соответствуют глагольным и адъективным, ср.: движение (*беготня*), физическое воздействие (*утрамбовка*), создание (*строительство*), уничтожение (*разрушение*), обладание (*добыча*), эмоция (*отчаяние*), восприятие (*осмотр*), речь (*приказ*), звук (*шум*), цвет (*синева*), свет (*полумрак*), вкус (*горечь*), температура (*холод*), запах (*аромат*), время (*год*), свойство человека (*остроумие*); кроме того, у них есть и «собственные» классы, такие как мероприятие (*аукцион*), болезнь (*ангина*), спорт (*футбол*), игра (*жмурки*), единица измерения (*метр*), параметр (*грузоподъемность*) и др.;

предметные имена: лицо (*утопист*), животное (*слон*), растение (*сосна*), вещества и материалы (*мел*), здания и сооружения (*коровник*), механизмы и приборы (*бинокль*), инструменты (*пила*), транспортные средства (*лодка*), мебель (*диван*) и др.

Помимо этого имеется разметка по некоторым признакам, выражаемым словообразовательными показателями: «диминутив» (*паутинка, огонек…*; *тепленький, мягонький…*), «аугментатив» (*ручища, длиннющий…*), «аттенуатив» (*кровянистый, синеватый…*), «nomen agentis» (*во-*

дитель, *убийца*...), «nomen femininum» (*секретарша*, *спортсменка*...), «отыменное прилагательное» (*абсурдный*, *областной*...), «отглагольное прилагательное» (*выносной*, *неустранимый*, *потрепанный*...), «отглагольное существительное» (*стрельба*, *облицовка*, *прикосновение*...), «семельфактив» (*звякнуть*, *чихнуть*...), «префиксальный глагол» (*высказать*, *перевезти*...) и т. п.; а также таким общесемантическим признакам как оценка или каузативность.

Из менее традиционных имеются две рубрики: мереология и топология.

Мереология включает указания на отношения «часть-целое» и «элемент-множество», названия квантов и порций вещества, сортов, разновидностей, совокупностей. Например, существительные *лист*, *рука*, *хвост* и под. получают помету «часть», существительные *кусок*, *обломок*, *частица* и под. — помету «квант», существительные *мокко*, *мулине*, *шампанское* и под. — помету «сорт», существительные *десерт*, *корм*, *припасы*, *провиант* и под. — помету «совокупность», существительные *ивняк*, *орава*, *полк* — помету «множество».

Топология включает пока такие классы, как «вместилища» (ср. *багажник*, *карман*, *коробка*, *кувшин*, *мешок*...) и «горизонтальные поверхности» (ср. *гладь*, *зеркало*, *панель*...), а в дальнейшем — вертикальные поверхности, стержни, веревки и др.

3. Участие семантических признаков в поисковых запросах. Уникальность разметки Корпуса состоит том, что он ориентирован на поиск примеров не только по отдельным словам русского языка, но и по отдельным морфологическим значениям, а главное — по их комбинации. Тем самым, в НКРЯ осуществляется поиск ***конструкций***, они задаются как последовательности слов, каждое из которых имеет заданный набор характеристик: лексических и/или морфологических и/или семантических. Например, в Корпусе можно задать поиск по идущим последовательно друг за другом (или разделенным определенным числом слов) частице и глаголу. Имеется в виду запрос типа:

частица *хоть* + глагол в форме императива

Такой запрос будет соответствовать сочетаниям типа *хоть плачь* или (если мы зададим интервал в одно слово) *хоть ты плачь* — бесспорный интерес представляет в данном случае то, какие лексемы могут разрывать данную конструкцию. Как видим, эта конструкция комбинирует строго фиксированную лексему как первый элемент и лексему-переменную, с заданными морфологическими свойствами, как второй. В целом конструкция означает высокую степень, и задача по-

иска — выяснить по Корпусу возможности лексического наполнения второго элемента конструкции, чтобы затем установить ограничения на выражение этого значения данным способом.

Первая страница выдачи по НКРЯ дает такие возможности: *хоть беги, хоть отбавляй, хоть тресни, хоть вешайся, хоть убей, хоть плюй в глаза, хоть помирай.* Существенно, что все эти примеры встретились в современных текстах (при выдаче указывается автор, название произведения и время написания). Дальнейшая задача исследователя — их классификация, в зависимости от более широкого контекста, ср. невозможность замены в следующем примере выборки:

А без папки *хоть помирай / хоть вешайся / ?хоть беги / *хоть отбавляй / *хоть тресни / *хоть плюй в глаза* (Борис Екимов. Пиночет (1999)).

Другой пример запроса того же типа — запрос:

частица *как* + глагол СВ в буд. вр.

Ср. *Как крикнет* или: *как она закричит.*

Понятно, что запрос может «давать шум» — в частности, в последнем случае среди первых выдается следующий пример: *Комфорт обитателей дома напрямую зависит от того, что за системы будут приобретены, насколько грамотно они будут смонтированы и* ***как станут*** *обслуживаться* («Домовой», 2002.05.04).

Этот пример не подходит нам как исследователям искомой конструкции, хотя полностью удовлетворяет поисковому запросу. В таком случае может ставиться исследовательская задача — уточнить запрос так, чтобы такого рода «шум» исключался автоматически. Например, можно потребовать, чтобы третьим словом не был инфинитив.

Во многих случаях роль фильтра при поиске может сыграть семантический признак. Действительно, представим себе, что мы ищем слово *гора* в значении ‘множество’. Известно, что оно, как и ряд других слов с семантикой квантификаторов большого количества, выступает в этом значении в конструкции с именем в родительном падеже: *гора мусора.* Если мы зададим этот запрос как лексико-морфологический, по модели только что приведенных примеров, а именно:

существительное *гора* + существительное в Род. п.

мы получим довольно много вполне естественного «шума»: *горы Алатау, Урала, Курдистана, Шварцвальда* и др. Если же мы ограничим поиск, задав в качестве второго имени вещество или материал, такой «шум» уйдет из выдачи.

Важно понимать, что сам по себе семантический признак как предмет поискового запроса не дает большой точности выдачи, пото-

му что в НКРЯ не снята семантическая омонимия (в настоящее время ведутся пилотные работы в этой области, см. раздел 5), однако в контексте конструкции, т.е. в комбинации с заданным контекстом, семантическая разметка может дать хороший эффект. В качестве иллюстрации приведем здесь формулировку достаточно сложного запроса следующего вида:

предлог *у* + существительное в Род. п. & лицо / мест.:
Род. п. & личн. + существительное в Им. п.

Речь в данном случае идет о существительных со значением лица или личных местоимениях в Род. падеже с предшествующим ему предлогом *у* и следующим за ним существительным в Им. падеже, например: *У нас гости*; *У Пети грипп*. Данные сочетания представляют особую разновидность номинативных бессвязочных конструкций с интересной семантикой и малоизученным спектром ограничений на компоненты.

3. Семантический поиск и исследовательские задачи слависта. Существенным для разработчиков и ценным для пользователей является то, что наличие семантической разметки не только оптимизирует поиск примеров, но и позволяет решать разнообразные лингвистические задачи: изучение семантической сочетаемости, описание конструкций русского языка, уточнение свойств классов слов и отдельных слов, проверка гипотез и т. д.

Предположим, пользователь изучает по Корпусу хорошо известную всем славистам конструкцию генитива субъекта при отрицании. Уточняя ограничения на ее употребление, он хочет выяснить, в каких падежах употребляются существительные разных семантических классов в роли субъекта при глаголе движения (т.е. в предложениях вида: *Тетя не приехала* или: *Письмо не пришло*).

Тогда он должен указать в запросе семантический класс глагола, но не указывать ни семантический класс, ни падеж существительного. Такой запрос будет иметь следующий вид:

сущ. + *не* + глагол движения

Вот некоторые примеры, полученные из Корпуса на данный запрос:

А мальчик** во двор **не выходил! (А. Алексин)

***И бабушка не пошла** под венец* (А. Алексин);

Выражений благодарности не последовало (С. Довлатов);

Ответ не последовал (А. Азольский);

***Ответа не последовало**, и братья, ловившие каждое слово и движение через замочную скважину, возмущенно бабахнули кулаками по двери* (А. Азольский);

Танки** в прорыв еще **не вошли (В. Гроссман);

*Зачислили нас матросами на сейнеры, но оказалось, что наши **сейнеры** еще **не пришли** в колхоз* (В. Аксенов).

Между тем, можно конкретизировать этот запрос и задать семантические ограничения на субъект.

Данные Корпуса показывают, что имена лиц допускают только именительный падеж, ср.: *Мальчик не выходил* — **Мальчика не выходило*; обозначения речевых действий допускают как именительный, так и родительный падеж (выбор падежа, по-видимому, зависит от определенности), ср.: *Ответ не последовал* (ожидавшийся) и *Ответа не последовало* (никакого); наконец, существительные класса «транспортное средство» допускают только именительный падеж, ср.: *Сейнеры еще не пришли* — **Сейнеров еще не пришло.*

Как видим, поиск по данному запросу подтверждает гипотезу о том, что класс обозначений транспортных средств с точки зрения своих лингвистических свойств часто ведет себя как класс людей, а не как класс физических предметов, ср., например, [Ляшевская 2004].

Мы не можем здесь входить в детали семантического основания такого поведения лексики в отрицательных предложениях, в частности, в конструкции с генитивным субъектом — на эту тему имеется обширная литература. Речь идет только о том, что корпус предоставляет возможность изучить эту конструкцию с той же и даже значительно большей степенью подробности, с какой это сделано в [Mustajoki, Heino 1991] для отрицательной конструкции с генитивом объекта.

Между тем и в описании генитива объекта с отрицанием в русской грамматике пока не поставлена точка. Особый интерес здесь представляют возможности вариативного маркирования в случае практически полного доминирования того или иного падежа — так называемые генитивные или аккузативные контексты. И здесь корпус способен дать ценные результаты. Так, на запрос, касающийся поведения в этой конструкции «генитивных» глаголов восприятия, были получены предложения одного и того же текста (статьи «Независимой газеты»), которые различались только падежом объекта: *Федеральный центр не слышит голос/гóлоса регионов.* В последнем случае речь могла бы идти об омонимии формы множественного числа, но опция расширения контекста, предусмотренная в НКРЯ, дает возможность удостовериться, что в данном случае имеется в виду Род. ед.

Еще один пример запроса, учитывающего семантику. В конструкциях вида: *До X <осталось> 3 часа / 3 дня / неделя...* предлог *до* управляет существительными, обозначающими временной ориентир. Сформулировав запрос как:

***до* + существительное в Род. п. + существительное со значением 'время'**
(*до концерта ... неделя*)

или:

***до* + существительное в Род. п. + числительное + существительное со значением 'время'**
(*до концерта ... 3 часа*),

мы можем выяснить, какие семантические классы существительных в русском языке способны обозначать временные интервалы. Наряду с ожидаемыми классами:

- время (включая подклассы «время суток»; «день недели»; «месяц» и т. п.): *до **пяти** еще 3 часа*; *до **понедельника** еще три дня*;
- события с фиксированной датой, в том числе праздники: *до **зарплаты** / до **Нового года** — неделя*;
- мероприятия (у которых время назначается): *до **концерта** / до **конференции** — неделя*

сюда попадают еще и транспортные средства. То есть названия транспортных средств могут обозначать не только пространственный ориентир (ср. пример НКРЯ: *До самолета было не так далеко, а он всё шел* (И. Грекова)), но и — метонимически — временной (*До самолета в Рим — неделя* (А. Азольский))[2]. В первую очередь это относится к таким транспортным средствам, которые ходят по расписанию: так, возможно *до самолета еще неделя / до автобуса полчаса* — но невозможно (во временном значении): **до кареты / до BMW еще 15 минут*. Можно сказать *До машины еще полчаса*, но в таком случае машина ведет себя как «маршрутное» транспортное средство (прибытие которого заранее планируется и ожидается).

Таким образом, данный запрос к Корпусу выявляет еще одну группу лингвистически интересных особенностей класса «транспортные средства».

---

[2] Речь идет о метонимическом обозначении времени отхода: *до поезда еще час* = 'до отхода поезда еще час'; время прибытия транспортного средства с точки зрения встречающих так обозначить нельзя. То есть встречающие поезд обычно не говорят **До поезда еще час*, а говорят *До прибытия поезда еще час* (и это имеет свое объяснение).

Запросы подобного рода, касающиеся одновременно морфологической и лексико-семантической информации, служат мощным инструментом лингвистического анализа. Если морфологическая разметка русских текстов, в особенности со снятием омонимии, расширяет возможности исследователя прежде всего в области морфологии и лексикографии (поскольку лингвист получает доступ к примерам на употребление форм слов или слова во всех формах), то включение семантических признаков расширяет возможности изучения *конструкций русского языка* (о понятии конструкции см. [Шведова 1966, Апресян 1967]; ср. также [Золотова 1988], а кроме того теоретические работы Ч. Филлмора [Fillmore 1989; 1996; Fillmore, Kay 1992], А. Голдберг [Goldberg 1995], У. Крофта [Croft 2001] и др. в области Грамматики конструкций).

4. Семантические задачи при обучении русскому языку на Корпусе. Семантическая омонимия не всегда помогает снять «шум», который возникает при выдаче — иногда она, как и следовало ожидать, наоборот, порождает собственный шум. Тем не менее, как показывает наш опыт, эти эффекты можно использовать в процессе обучения русскому языку, если оно апеллирует к материалу НКРЯ.

Рассмотрим этот педагогический аспект использования семантической разметки на нескольких примерах, связанных с конструкцией родительного падежа. Как неоднократно было отмечено в славистических работах, родительный падеж является самым многозначным в русском языке. Ср. об этом [Janda, Clancy 2001: 103]: «Если бы в книге рекордов Гиннеса были специальные номинации по употребительности падежей, русский генитив завоевал бы множество призов, а в соревновании по числу значений, которые могут выражать соответствующие именные конструкции, он стал бы абсолютным лидером». Таким образом, с точки зрения педагогической, родительный падеж требует особого внимания и проработки в курсе русского языка, в особенности для иностранных студентов. Корпус дает возможность решать эту задачу на реальных примерах из реальных текстов — причем с творческим участием самих студентов.

Действительно, многие значения родительного поддаются описанию в терминах поискового запроса к НКРЯ. Например, прототипический родительный меры (*стакан воды*) описывается так:

существительное со знач. ‘контейнер’ + существительное в Род. п. ед. ч. со знач. ‘вещество/материал’,

а одна из разновидностей родительного части, описывающая кванты вещества (*крупинка соли*), подпадает под запрос следующего вида:

существительное со знач. 'квант' + существительное в Род. п. ед. ч. со знач. 'вещество/материал'.

Студент, изучающий соответствующую тему, может сам не только придумать запрос, но и проверить соответствие полученного языкового материала искомому. Поскольку во всех выдаваемых предложениях найденная генитивная конструкция окажется выделенной цветом, эта задача оказывается посильной и тем, у кого словарный запас не очень велик: можно работать не с предложениями целиком, а только с выделенными их фрагментами.

Между тем, в выдаче может оказаться и «шум» — он возникает, как уже было сказано, за счет неснятой семантической омонимии. Найти эти случаи и объяснить их — прекрасное упражнение по русскому языку для самостоятельной (например, домашней) работы, делающее учебный процесс более разнообразным и современным. Например, на первый из сформулированных нами запросов — о родительном меры — выдается не только *бочка дегтя, ложка сметаны, бутылка водки, стакан пива, лужа крови* и др. под., но и *очаг огня*. Огонь действительно является субстанцией, близкой к веществу — но по понятным причинам никогда не встречается в конструкции меры. Причиной «сбоя» в данном случае является омонимия слова *очаг* — с одной стороны, оно и в самом деле означает вместилище (*в очаге*), а с другой — метафорически — место, где находится источник — огня, воспаления, эпидемии, инфекции и т. д. Особым упражнением может быть самостоятельный поиск по корпусу тех имен, при которых у слова *очаг* в генитивной конструкции происходит такой сдвиг значения (запрос: ***очаг* + существительное непредметное Род. п.**).

«Шум» может иметь не только семантическое, но и морфолого-семантическое происхождение, как в выдаче на второй запрос о частях-квантах. В этом случае помимо ожидаемых *капли воды* или *крупинка песка* Корпус выдает *капли падали*, «путая» существительное *падаль* (которое действительно можно в ряде контекстов счесть именем вещества, правда, не жидкого, а значит не сочетающегося с именем *капля*) и глагол *падать* в форме прошедшего времени 3 лица мн. числа. Это упражнение с подсказкой или проверкой, потому что НКРЯ подсвечивает грамматический разбор слова при наведении на него курсора.

Понятно, что такого рода упражнения под рубрикой «Где ошиблась машина?» можно сочинить не только на материале генитивных,

но и многих других конструкций. Каждое из них при должном развитии может стать базой для более подробного исследования, вплоть до курсовой или дипломной работы.

5. О снятии семантической неоднозначности. В практике автоматической обработки текстов эта проблема называется word sense disambiguation (т. е. проблема разрешения лексической многозначности) и имеет свою историю (подробное обсуждение подходов к ее решению, применяемых в настоящее время в мировой практике, их достоинств и слабых мест приводится в обзоре [Кобрицов 2004а]; см. также [Кустова и др. 2005]).

В Национальном корпусе русского языка проблема фиксации (определения) в тексте отдельных значений многозначных слов решается путем создания системы лингвистических правил (фильтров), которые бы позволяли снимать неоднозначность для целых классов употреблений лексемы в тексте. Эти фильтры будут приводиться в действие программно, так что лексическая неоднозначность в Корпусе будет сниматься не вручную. Эвристика фильтров, их разработка и проверка потребуют существенных усилий от лингвистов-экспертов и являются ручной работой; однако фильтры такого рода, как нам представляется, имеют самостоятельное значение, причем не только для автоматической обработки текстов, но и для создания новых грамматик русского языка.

Рассмотрим два примера таких фильтров.

Пример 1.

У глагола движения *довести* имеется неоднозначность — и соответствующая двойная помета — {движение|воздействие на человека}, ср.: *довести до подъезда* vs. *довести до бешенства*.

Однако если мы зададим ограничение для существительного (фильтр):

***довести + до* + сущ.: род. п. & эмоциональное состояние или проявление**

(ср.: *довел до истерики / до бешенства / до исступления / до слез / до инфаркта*), то в контексте такого существительного сможем удалить помету «движение».

Попутно выясняется, что, с одной стороны, не все эмоции допустимы в этой конструкции, т. е. не все слова с эмоциональной семантикой в русском языке могут обозначать высшую, предельную степень проявления внутреннего состояния (ср. **довел до страха / *до возмущения*), а с другой стороны, что некоторые болезненные состояния и проявления типа *инфаркта* или *слез* приравниваются в русской языковой картине мира к предельным эмоциональным состояниям.

Пример 2.

В списке семантических классов глаголов имеется класс «поведение человека». Однако наряду с глаголами, которые всегда обозначают поведение (ср. *бесчинствовать, буянить, важничать*), есть глаголы, для которых «поведение» — не единственное значение (ср. *забыться, распуститься, рисоваться, ломаться, красоваться*). Для глаголов второго типа можно построить фильтр, базирующийся на том обстоятельстве, что субъектом глагола поведения является лицо. В контексте неодушевленного субъекта этот фильтр будет снимать помету «поведение», ср. (1), а в контексте названия лица — оставлять, ср. (2):

(1) *Приборы ломались*; *Шутки забылись*; *Ветка распустилась*; *Звезда красовалась на груди*; *Стены рисовались темным массивом* vs. (2) *Петя ломается / рисуется / красуется*; *Петя совершенно забылся / распустился.*

Принцип семантического фильтра можно использовать не только для разрешения семантической неоднозначности, но и при поиске (построении поисковых запросов): по заданным параметрам контекста (в частности, по заданной конструкции) можно получать примеры употребления слова в определенном значении.

Например, разные значения слова *серп* имеют разные семантические характеристики — ‘инструмент’ или ‘форма’. Чтобы получить примеры употребления слова *серп* в значении ‘инструмент’ (*серп крестьянина*), нужно задать ограничение:

***серп* + сущ.: человек & род. п.**;

чтобы получить примеры употребления слова *серп* в значении ‘форма’ (*серп месяца*), задаем ограничение:

***серп* + сущ.: предмет & род. п.**

Разумеется, снятие неоднозначности с помощью фильтров, как и любая сложная, масштабная задача, не может иметь стопроцентного решения (во всяком случае, в ближайшем будущем): во-первых, невозможно составить такое количество фильтров, которое бы охватывало все значения всех многозначных слов, поэтому придется ограничиться самыми лингвистически важными и интересными многозначными словами, представляющими лингвистически релевантные классы; во-вторых, сама работа фильтров неизбежно будет давать какое-то количество «шума».

С другой стороны, у этого пути — использования фильтров — есть очевидные и очень существенные преимущества. Решая важную

практическую задачу по снятию неоднозначности в Корпусе, мы попутно получаем массу ценной лингвистической информации о свойствах слов и конструкций, которая может использоваться для решения самых разных исследовательских и прикладных задач, в том числе и для совершенствования самого Корпуса — уточнения номенклатуры семантических признаков и состава соответствующих им классов слов и значений (подробнее об этом см. [Кобрицов 2004б]).

Сказанное относится и к работе с Корпусом в целом. Решение внутренних, технических задач (уточнение семантической рубрикации, разработка фильтров и др.), помимо практической важности получаемых результатов, имеет значительные научные перспективы: оно не только расширяет информационно-поисковые возможности пользователей и повышает качество результатов поиска, но и дает огромный материал для теоретических выводов и обобщений.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Апресян 1967 — *Апресян Ю. Д.* Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.

Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян и др. 2005 — *Апресян Ю.Д., Иомдин Л.Л., Санников А.В., Сизов В.Г.* Синтаксически и семантически аннотированный корпус русского языка: современное состояние и перспективы // Национальный корпус русского языка 2003–2005. М., 2005.

Бабенко 1999 — *Бабенко Л.Г.* Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы. М., 1999.

Золотова 1988 — *Золотова Г. А.* Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 1988.

Кобрицов 2004а — *Кобрицов Б.П.* Модели многозначности русской предметной лексики: глобальные и локальные правила разрешения омонимии. Автореф. … канд. филол. наук. М, 2004.

Кобрицов 2004б — *Кобрицов Б.П.* Методы снятия семантической неоднозначности // НТИ, сер. 2. 2004. № 3.

Кузнецова 1989 — *Кузнецова Э.В.* Лексико-семантические группы русских глаголов. Иркутск, 1989.

Кустова 2004 — *Кустова Г.И.* Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.

Кустова и др. 2005 — *Кустова Г.И., Ляшевская О.Н., Падучева Е.В., Рахилина Е.В.* Семантическая разметка лексики в Национальном корпусе рус-

ского языка: принципы, проблемы, перспективы // Национальный корпус русского языка 2003–2005. М., 2005.

Ляшевская 2004 — *Ляшевская О. Н.* Семантика русского числа. М., 2004.

Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Падучева 1997 — *Падучева Е. В.* Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика? // ВЯ. 1997. № 5.

Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Рахилина 2000 — *Рахилина Е. В.* Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.

Русская грамматика 1980 — Русская грамматика. Т. 1–2. М., 1980.

Саяхова, Хасанова, Морковкин 2000 — *Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М., Морковкин В. В.* Тематический словарь русского языка / Под ред. В. В. Морковкина. М., 2000.

Шведова 1966 — *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966.

Шведова 2000 — Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Под общ. ред. Н. Ю. Шведовой. Т. 1–4. М., 2000.

Babby 1980 — *Babby L.* Existentional Sentences and Negation in Russian. Ann Arbor: Caroma Publishes, 1980.

Croft 2001 — *Croft W.* Radical Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Fillmore 1989 — *Fillmore Ch. J.* Grammatical construction theory and the familiar dichotomies // R. Dietrich and C. F. Graumann (eds.), Language processing in social context. Amsterdam: Elsevier, 1989.

Fillmore 1996 — Fillmore Ch. J. The pragmatics of constructions // Dan I Slobin (ed.), Social interaction, social context, and language. Mahwah (New Jersey): Lawrence Erlbaum, 1996.

Fillmore, Kay 1992 — *Fillmore Ch. J., Kay P.* Construction Grammar Course Book. Berkeley, 1992.

Goldberg 1995 — *Goldberg A. E.* Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: Chicago University Press, 1995.

Janda, Clancy 2001 — *Janda L., Clancy S.* The Case Book for Russian. Amsterdam: Benjamins, 2001.

Mustajoki, Heino 1991 — *Mustajoki A., Heino H.* Case Selection for the Direct Object in Russian Negative Cases. Part II. Helsinki, 1991.

Т. М. Николаева

*S/*T — ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ

1. Исходные позиции предполагаемого сообщения состоят в следующем.

Предполагается, что в языке и речепорождении крутятся две «шестеренки»: 1) то, что является основой слов знаменательных, и 2) то, из чего в дальнейшем создается коммуникативный фонд. Эта концепция неоригинальна, ибо впервые предложена Фр. Боппом в первой трети XIX в. См. что он пишет по поводу этой концепции: «Wir müssen hier vorläufig daran erinnern, dass im Sanskrit und den mit ihm verwandten Sprachen die Personal-Endungen der Zeitwörter mindestens eben so grosse Ähnlichkeit mit isolirten Pronominen zeigen, als im Arabischen» ['Мы обязаны постоянно помнить о том, что в санскрите и в родственных с ним языках личные окончания глаголов очень близки к изолированным местоимениям, подобно тому, как это имеет место в арабском'] [Bopp 1833: 109] [1]. Эта модификация местоимения в глагольную флексию объясняется, по мнению Ф. Боппа, тенденцией к уменьшению слогов в словосочетании. См. у него далее: «Es gibt im Sanskrit und mit ihm verwandten Sprachen zwei Klassen von Wurzeln; aus der einen, bei weitem zahlreichsten, entspringen Verba und Nomina (Substantive und Adjective) welche mit Verben in brüderlichem, nicht in einem Abstammungs-Verhältnisse stehen, nicht von ihnen erzeugt, sondern mit ihnen aus demselben Schosse entsprungen sind, Wir nennen sie jedoch, de Unterschejdung wegen, und der herrschenden Gewohnheit nach, Verbal-Wurzeln <...> Aus der zweiten Klasse entspringen Pronomina, alle Urpräpositionen, Conjunctionen und Partikeln; wir nennen diese „Pronominalwurzeln", weil sie sämtlich einen Pronominalbegriff ausdrücken, der in den Präpositionen, Conjunctionen und Partikeln mehr oder weniger versteckt liegt» ['В санскрите и в родственных ему языках существует два класса корней; из одного, более распространенного, возникают глаголы и имена; последние находятся с глаголами в родственных, если даже не сказать обменных отношениях, не возникая из них, но происходя из одной и той же основы. Мы называем их, ради различия и следуя традиции, глагольными корнями <...> Из другого класса выходят местоимения,

---

[1] Чтение этого текста, почти двухсотлетней давности, невольно вызывает умиление и восхищение. Поистине верно положение о том, что часто «новое — это хорошо забытое старое».

все древние предлоги, союзы и частицы; мы называем этот класс «местоименные корни», поскольку они все в той или иной мере выражают некую местоименную семантику, которая спрятана в предлогах, союзах и частицах'] [Bopp 1833: 14].

В 1992 г., спустя более 150 лет, вышла статья Ф. Адрадоса «О новом облике индоевропейского: история одной революции» [Adrados 1992]. Суть «нового облика» Фр. Адрадос излагает следующим образом:

Индоевропейский язык прошел три реконструируемых стадии:

1) Протоиндоевропейский. Он не был флективным и не имел парадигм.

2) Тот облик индоевропейского языка, который засвидетельствован анатолийскими данными.

3) Поздний индоевропейский язык, который до сих пор и принято было считать древнейшим состоянием и который уже обладал парадигматическим устройством [Ibid.: 1].

В предыдущие периоды лингвистической реконструкции протоиндоевропейского, как считает Ф. Адрадос, было лишь два направления: «унитарное», «плоское» (plain), по которому реконструировался некий единый язык, близкий к более поздним состояниям, и язык с реконструируемой «глубиной», т.е. тот язык, в котором принципиально выявляются лингвистами возможные иные состояния, но в общем виде они никогда ими не формулируются. У Ф. Адрадоса появились сторонники, среди которых У. Леман, Т. Марки и, в первую очередь, К. Шилдз мл. В нашей работе предлагается несколько иное деление первичных языковых единиц, чем у Ф. Адрадоса, К. Шилдза и их предшественников, начиная от Ф. Боппа. Так как деление исходных единиц на два класса: глагольно-именные и прономинально-адвербиальные, все же ведет к привычной частеречной таксономии, однако сильно укрупненной, то единицы коммуникативного фонда в нашей книге именуются **партикулами**. Тем самым я подчеркиваю их принципиальное отличие от привычных таксономических **частиц**, которые могут по своему происхождению и не быть партикулами, и не состоять из них. Это и не «служебные слова», происхождение и формирование которых также достаточно разнообразно. Их строение как правило моносиллабично, для славянского мира оно описывается как CV или только V (см. об этом более подробно в работе: [Николаева 2003]). Приведем примеры славянских партикул:

Da; De; Dě; Do; Dy; Na; Ne; Ně; No; Nъ; Ni; Nu; Ga; Go; Ha; Že; Ka; Ko; Kъ; Ta; Te; Tě; Tegъ; Ti; To; Tu; Tъ; Ba; Bo; Sa; Se; Si; Sь; Lě; Le; Li; Va; Ve; Vě; Ča; Če; Če; Či; Čь; Ce; Ci; Cь; A; E; O; И; (J)u; (J)ь; Ei; • d; Onъ; Ovъ.

Сколько же в нашем языке (в наших языках) элементов, из которых в дальнейшем возникают знаменательные слова и их частеречные классы? Как представляется, их бесконечно много. Десятки и даже сотни тысяч. А сколько — для каждого индоевропейского языка — мы знаем партикул? Как видно из приведенного списка, очень немного, просто мало — примерно до двух десятков единиц при любой классификации. И, что самое поразительное, число их практически не меняется. ***Новые не возникают!*** Значит, где-то здесь заложена одна из основных языковых тайн, разгадать которые пока еще невозможно. Обычно те лингвисты, которые ощущали роль партикул в языковой истории, называли их «дейктическими частицами». Я избегала и избегаю этого определения, так как оно претендует на слишком близкое знакомство с функциональной семантикой единиц языка эпох, слишком для нас отдаленных.

Партикулы участвуют во многих языковых системах, создавая то, что мы теперь называем словами и словоформами. Из них создаются тематические компоненты основ, а потом к основам — из того же набора — прибавляются флексии, может быть, по нескольку сливающихся затем единиц. Из этого же набора мы видим, как возникают категориальные показатели, примыкающие к «хозяину» как справа (например, аугмент), так и слева. Наиболее сложным видом потенциально определяемых партикул являются так называемые **клитики**, так как несмотря на огромное число исследований до сих пор не определено, как отличить клитику от не-клитики и как фонология слова связана здесь с синтаксической интонацией. Из партикул создаются парадигмы. Парадигмы имени, глагола, прилагательного. Большинство местоимений (кроме местоимений 1 и 2 лица) целиком состоят из партикул. Из них же состоят и многие «местоименные» наречия. Так, в истории языка просвечивает былая **агглютинация.**

Таким образом, партикулы, оставаясь исходно неизменными, могут налагаться друг на друга, контаминироваться, перекомбинироваться, подвергаться ре-анализу, наконец, менять свои позиции во фразе. Одни и те же партикулы могут «прилипать» к будущим глагольным формам, к будущим именным, могут создавать союзы, традиционные частицы, наречия. Могут как бы «перебегать» из одной парадигмы в другую Но интересно то, что их свойства — присоединяться (хотя бы друг к другу) и менять свои позиции — должны были бы продолжаться и продолжать возникновение новых парадигм и новых партикульных сочетаний. Однако этот почти детский «конструктор» на каком-то этапе начинает приостанавливать свой механизм. Для славянского мира это примерно XVI век. Очевидно, что для соз-

дания языковой истории начинают действовать какие-то новые механизмы, о которых я писать не хочу, так как все предположения по этому поводу остаются на уровне догадки.

Я считаю (хотя отдельные высказывания по таким же поводам есть и в литературе коллег и в более ранних работах), что создание парадигм, точнее, словоформ, основывается на некоем еще не описанном «минисинтаксисе», когда к основе присоединяется элемент определенного значения. Например, i, создающее «вторичные» глагольные окончания, расшифровывается как некая «частица» со значением 'here and now'. Несомненно, что *-s в именительном падеже имени и оно же в сигматическом аористе семантически тождественно, так как оно привязывает происходящее в случае аориста (или его тему, топик — в случае имени) к наглядной ситуации. В дальнейшей языковой истории близкие по семантике партикулы могут подменять друг друга, функционально смешиваться.

Но все же основное значение всех единиц партикульного фонда — это отношение к **категории определенности/неопределенности**.

2. Более подробное описание партикул показывает, что их можно разделить на употребляющиеся изолированно и те, которые в основном существуют, присоединяясь к чему-то другому — к таким же партикулам или к знаменательным элементам. Первую группу партикул мы называем **примарными**. Например, это союзы вроде *а, и, но*; частицы вроде *же, ли, ни* и т. д. На уровне общеславянского пространства определить функциональную семантику каждой партикулы (примарной или нет) бывает достаточно трудно, так как они являются неким потенциальным материалом общедиффузного значения. Но уже при контактном соединении даже двух партикул начинает проходить грамматикализация партикульных кластеров, создаются некие элементы с достаточно ясной семантикой. Они тоже могут функционировать изолированно или становиться чем-то похожим на значимый аффикс. Например, *а + ко* есть показатель образа действия, *а + мо* — показатель места, но *къ + то, чь-со* — это уже существующие изолированно местоимения. Разумеется, на многие вопросы, особенно те, которые касаются партикульной грамматики порядка, ответить невозможно. Например, почему *та + къ* это наречие, а *къ + то* — местоимение? Почему *то + ли* (в смысле *То ли еще будет!)* существует, а *ли + то* — нет? И т.д.

Конечно, при сопоставлении славянских партикульных систем большую роль играли и играют графико-оптические привычки. Так, мы знаем о существовании ряда партикул в славянских языках потому, что они

пишутся контактно, а в русском языке много таких партикул с дистантным графическим расположением: ***Да ответишь ли*** *ты мне, наконец?*

Наконец, как эволюционируют эти элементы в пределах славянского пространства? Как представляется, эволюционная схема здесь такова:

- На первом этапе консонантные опоры партикулы не различают глухих и звонких. Семантика их диффузна и в дальнейшем может различаться даже в пределах родственных языков. В.Н.Топоровым высказывалась мысль, которая могла бы быть эпиграфом ко всей нашей работе: «Вместо того, чтобы ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или, по меньшей мере, форму, наиболее близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить установку и считать именно этот хаос первичной (или ранней, или — еще точнее — периодически возникающей и в той или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить — поневоле обобщенно и лишь с определенной степенью вероятности, — каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и подвергся категоризации элемент» [Топоров 1984: 426].
- На втором этапе выделяются будущие «изолированно функционирующие партикулы». Происходит формирование кластеров. Партикулы приобретают более четкое значение. Например, *о + ва + ко* — образ действия, а *о + ва + мо* — локальность.
- На третьем этапе (точнее, последнем) происходит окончательная грамматикализация: изолированных партикул, распределившихся по союзам, частицам, местоимениям, словоформ с партикулами-флексиями, партикульных кластеров разной таксономии.

3. Хотя, как уже говорилось выше, партикульный набор количественно ограничен, у него все же существуют «лидеры», формирующие большинство словоформ в частеречных парадигмах. Наиболее определенно об этом высказался в свое время Фр.Шпехт [Specht 1947], подчеркнувший, что у «местоименных» расширителей только три лидера: **k/g**, **t/d**, **s**.

Но пара s/t все же выдвигается на первое место. Об этом пишет и Фр.Адрадос [Adradoc 2000], предполагая, что множество местоимений и союзов индоевропейского языкового пространства является результатом эволюции элементов *-so и *-to.

Детальный анализ большинства самых серьезных работ по реконструкции протоструктуры индоевропейского показывает, что эта пара —

особенно *s — участвует и в создании парадигмы имени, и в создании глагольных форм (правда, по-разному в разных позднейших ветвях), и внедряется в основы знаменательных слов. Перечислять все функции *s в индоевропейском в докладе, посвященном славистическим феноменам, не имеет смысла. Судьба этой пары в славянском пространстве была сложной.

Общеизвестно, что славянское отпадение конечных согласных, «закон открытого слога», отбросил многие более древние флексии индоевропейского и высветил инициальную часть слова, анлаут. Но что же все-таки сохранилось от этой ведущей пары индоевропейской парадигматики в грамматическом пространстве славянских языков? Совершенно очевидно, что славянские языки сохранили на всех своих уровнях лишь какие-то осколки когда-то мощной грамматической корреляции партикул *-s и *t, партикул, пронизывавших грамматики языков гораздо более древних. Славянский же язык не только многое не сохранил, он всеми силами многое **преобразовал**.

Не вдаваясь в глубокие причины таких потерь и такого отталкивания, постараемся показать, что же стояло в утраченных и преображенных позициях в до-славянскую эпоху в парадигмах индоевропейского Стадии III (по К. Шилдзу и Ф. Адрадосу), когда партикулы *-s и *t переживали свой, если так можно выразиться, звездный час.

4. В данном случае нас интересует не судьба элементов *s и *t в эволюции индоевропейского пространства, а те концепции, которые определяли механизм их дистрибуции, при том, что эта пара считалась именно парой, что смутно ощущали все, кто с ними соприкасались. Можно ведь в принципе, например, описать функциональные расхождения формантов e/o и n или k/g и l, но почему-то этим специально никто не занимался, подобные объединения не возникали и специальных работ по этому поводу как будто не было.

Для пары *s/*t самым простым для лингвистов было объединение этих элементов через запятую — так, как объединяют, упрощая, *уже* и *уж, хотя* и *хоть* и т. д. Так, например, поступает Ф. Адрадос [Adrados 2000].

Обратимся к разным концепциям, анализирующим функциональную комплементарность членов этой пары[2].

---

[2] Я вполне допускаю и даже знаю, что малая доступность лингвистической литературы последних лет в отечественных библиотеках поневоле делает мой обзор-анализ более чем скромным и ограниченным.

- ***Самая распространенная точка зрения.*** Формант на s отмечает именительный падеж; косвенные падежи формируются через t. Так, К.Бругманн и Б.Дельбрюк [Brugmann 1892; Delbrück 1893; Brugmann 1897], называя «корнями» (Stämme) те элементы, которые мы называем партикулами, пишут, что для именительного падежа единственного числа рода выбирается корень *so-, *sā, а для всех остальных падежей выбирается второй корень *to -, *tā [3].

  К этой точке зрения присоединяется и Ф.Шпехт [Specht 1947]. Хотя он приводит много примеров изолированного функционирования S-Stämme (например, формирование абстрактных прилагательных, создание Nomina acti и Nomina actionis etc.), само создание индоевропейской парадигмы он видит в том, что через окончание -s возникает именительный падеж: «Die Herkunft der idg. Kasusendungen. Die Einführung der Endung s für den Nom. Sing. Dieses s ist aber nichts anderes als seine deiktische Partikel, die zum Demonstrativum geworden ist. Das -s neutral sehr früh zum Stamm gezogen ist» ['Возникновение индоевропейских падежных окончаний. Введение окончания s для именительного единственного. Это s есть не что иное, как соотносящаяся с ним дейктическая частица, которая стала демонстративом. S в среднем роде очень рано вошло в основу'] [Ibid.: 353-354].

  П.Схрайвер [Schrijver 1997] считает также оба элемента членами единой парадигмы, сохранившейся в большинстве индоевропейских языков, где все формы, кроме номинатива, начинаются с консонанта *t. Но только элемент *so воплощается в синонимах: а именно, форму sa после непалатальных звуков и форму se после палатальных.
- Некоторые концепции близки к вышеперечисленным, особенно если попытаться сделать некоторые обобщения. Так, К.Уоткинс, полагая -s рефлексом более древнего деривационного суффикса, обладавшего функцией индивидуализации, или выделения, считает, что именно *s вскоре стал показателем 3 лица глагола. По его мнению, это просто «фонетический расширитель, не имевший значения». Во многих и.-е. языках он используется во втором лице, а в тохарском — как показатель 3 лица [Watkins 1962].
- К.Шилдз [Шилдз 1988] считает, что *so употреблялось при передаче эргативности, а *tod — когда необходимо было указание на

---

[3] Однако у Б.Дельбрюка читаем, что в литовском и славянском: «Nur dass im Nominativ der S-Stamm durch den T-Stamm verdrängt worden ist» [Delbrück 1893: 510].

Casus Absolutus. (Эта идея высказывалась и ранее при обсуждении сущности эргативной конструкции [Эргативная... 1950].) Сложную судьбу s он интерпретирует следующим образом: *s был интерпретирован как неличный показатель в системе первичных глагольных форм, затем он был распространен на имя и превратился в показатель номинатива. В более поздний период показателем 3 лица единственного числа стал формант *t и, таким образом, функции *s были ограничены вторым лицом [Шилдз 1988: 241–245].

- Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356], описывая местоименные элементы субъектно-объектного характера (то есть элементы второго позиционного места), для 3 лица единственного числа именительный падеж представляют через *-os, а именительный-винительный среднего рода через *-ot [h].

Что можно сказать об этом первом концептуальном цикле? Все эти гипотетические построения демонстрируют по сути одно: зыбкость и слабую грамматикализованность первичных падежных и глагольных словоформ, когда одна и та же партикула могла в принципе переходить от одного формирующегося класса к другому и от одного члена парадигмы к другому члену той же парадигмы.

Совершенно ясно, что древними коммуникантами выделяется некий «он» (напомним, что и в русском языке у местоимения 3 лица именительный падеж выражен иначе, чем падежи косвенные: *он–его–ему* и т. д.; *они–их–им* и т. д.). «Он» находится где-то близко и маркируется через *s. Но это могут быть и «они», поэтому *s может появиться и во множественном числе (и в некоторых языках там и остается). Остальные актанты или находятся дальше, или являются предметом беседы, занимая неосновное место. К ним добавляется *t. Начинается новый этап грамматикализации и более распространенное *s являет себя каким-то хамелеоном, внедряясь то в разные формы презенса, то в медий, то в претерит, то в оба залога. Очевидно, что в реальных языках эпоха грамматикализации и становление парадигм происходили в разное время, однако пара s/t все равно не меняла своей значимости.

По мысли К. Шилдза [Shields 1992], по мере создания глагольной парадигмы происходил активный процесс контаминации дейктиков, в результате чего появились такие комбинации, как -st (2 лицо) и т. д. В этой же книге он высказывает мысль о том, что само это легендарное *so есть результат контаминации *(e/o)s + *o. Ранее сходную мысль высказывал в 1927 году Х. Хирт [Hirt 1927: 11–12].

- ***Существуют и другие точки зрения.*** Так, например, Э. Стертевант предположил в 1939 году, что эта пара восходит к «индо-хеттским» конгломератам союзов. При этом союз *so употреблялся в предложениях без замены субъекта, а *to — в предложениях с заменой субъекта. Впоследствии союз *so был реинтерпретирован как местоимение в именительном падеже. Вообще, по мысли Э. Стертеванта, эти «индо-хеттские» конгломераты приобретали значение местоимений позже, а в более древнем хеттском они сохраняли свое первичное значение. Эта гипотеза была отвергнута Х. Педерсеном на том основании, что указательные местоимения являются древнейшими элементами языка, а хеттские союзы возникают позднее. Эту гипотезу отвергает и Т. В. Гамкрелидзе, показывая на фактах хеттского синтаксиса, что замена или не-замена субъекта не соотносится с типом союза [Гамкрелидзе 1957]. Однако все приводимые ранее факты, возможно, нуждаются в пересмотре с точки зрения темарематического членения и выявления анафорических связей.
- В. М. Иллич-Свитыч среди 10 примарных единиц, классифицируемых им по консонантным опорам, выделяет две: t/s (V) и s (V), т. е. не чередующееся с t [Иллич-Свитыч 1971]. Расподобление s/t у Иллича-Свитыча решается так: 1) s — дейксис у одушевленного класса[4]; 2) t — указательное местоимение неодушевленного класса. Что касается глагольных форм, то t может служить показателем каузатива и рефлексива, а s — показателем дезидератива.

  Однако обе формы — на t и на s — описываются В. М. Илличем-Свитычем как варьирующиеся показатели формы 2 лица единственного числа. Точно так же формант на t- может, по Илличу-Свитычу, обозначать и ‘тот’, и ‘этот’. Наконец, t/s — показатели косвенных падежей имени. Тот показатель на s-, который, по Илличу-Свитычу, не смешивается с консонантной опорой на t-, имеет значение дейксиса 3 лица, значение притяжательности, для глагола — значение рефлексива [Там же: 1971].
- Еще одна гипотеза предложена Г. Дункелем [Дункель 1992]. По его мнению, существовало личное местоимение 3 лица единственного числа на *s: форма*si передавала женский род, а форма *so — неженский. При этом ортотонические формы, т. е. ударные, были связаны с консонантной опорой на *t, а формы энклитиче-

---

[4] Уже в позднеанатолийском, возможно, сверхархаичном индоевропейском лидийском, *-s связывается с одушевленными именами.

ские — с консонантной опорой на *s. См. у него: «Итак, основными формами частиц были — в ударном положении *só, в безударном — *se; можно также допустить существование двух суплетивных алломорфов *su, *si. Таким образом, позднее и.-е. **só/-se как с формальной, так и с функциональной точки зрения существовало параллельно с *to/te/ <...> Видимо, здесь мы имеем дело лишь со сближением изначально конкурирующих элементов» [Там же: 21].

- Напротив, О. Семереньи [Семереньи 1980: 232] считает маркированной форму второго лица единственного числа, передающуюся через опорный консонант *t, а *s считает показателем не-единственности. Поэтому исходная форма второго лица множественного числа в идеальном (агглютинированном?) виде демонстрирует три формы: второе лицо + первое лицо + множественность. Это *t + *we + *s. (При этом он отказывается от предлагаемой ему соблазнительной интерпретации финали n̥sme > n + s + me, т.е. как 'того + его + меня', что, собственно, и значит 'нас'.) Вспомним, как разлагал форму ανέρες Ф. Шпехт: «Plurals ανέρες urspünglich geheissen „ein Mann, hier einer und dort einer". Demnach bedeutet der Plural zunächst eine Dreiheit» ['Форма множественного числа ανέρες первоначально означала: «человек, и здесь еще один, и там еще один». Таким образом множественное число первоначально обозначало тройственность'] [Specht 1947: 366].
- Относительно происхождения этой пары тот же К. Шилдз [Shields 1992: 30] полагает, что исходная форма для обеих партикул (basic variant) была здесь *(e/o)DH, а остальные были ее производными. Однако и *t развивался самостоятельно и легко контаминировался с другими частицами[5]. Изначальное значение этой партикулы с звонким исходом *-dh было 'not — here — now'. Отсюда: *me-dhi ('in the midst of') и предлог μέτα, то есть 'then and there'.

Это же значение К. Шилдз видит в сочетании вокалической партикулы с сигматическим формантом *(e/o)s. Сигматический

[5] Это окончание в глаголе -t[ъ] давно привлекало к себе внимание исследователей. Так, В. Шмальштиг, занимаясь этим окончанием в славянском аористе в сопоставлении с древнепрусским претеритным окончанием -ts приводит множество теорий по поводу генезиса этой флексии, в основном возводящих ее к другим глагольным формам. С негодованием и без конкретных ссылок он говорит об идеях «местоименного» происхождения этого окончания: «Some have thought that these forms were derived by the addition of a personal pronoun tъ» [Schmalstieg 1988: 197].

показатель формирует аорист, будущее время, субъюнктив, дезитератив, претерит, отчасти презенс и участвует в показателе 2 и 3 лиц. Каким же образом это *-s могло появиться в настоящем времени? Шилдз считает это результатом сложного ре-анализа и комбинации с *-t, который являлся показателем презенса.

- В последнее время к функциональной дистрибуции формантов *s и *t вернулась в связи с галльским и ирландским претеритом Н.О'Шей [О'Шей 2005]. Она видит в их дистрибуции фонетическую причину: s-претерит связывается с исходом на ларингальный, а t-претерит связан с исходом на сонорный.

Итак, можно высказать и собственное мнение. А именно — безусловно пара s/t занимала первое место среди элементов, формирующих индоевропейские парадигмы. Из них двоих, конечно, первое место занимало s. (Обо всех его грамматических следах мы сознательно не говорили.) Скорее всего, s выражает определенность, при этом демонстрируя указание на «ближнесть». Можно привести доказательства самые простые, опираясь на то, что мы назвали «скрытой памятью» языка. Известно, что множественное число в большей степени тяготеет к неопределенности, чем единственное. Поэтому многие языки, вроде английского и французского, закрепляют определенность через s, формируя множественность. Но это уже поздняя грамматикализация. Точно так же 's в английском родительном (special clitics, по А.Звики [Zwicky 1977]) закрепляет определенность, постепенно превращаясь в факт грамматики.

5. Что же осталось от этой лидерствующей пары индоевропейских формообразующих партикул в славянском пространстве?

Прежде всего это разнообразные частицы, как примарные, то есть употребляющиеся изолированно, так и кластерного происхождения.

Например, это партикула da (вариант do), партикула de, а также dy.

Это партикулы на *t-: ta, to, tъ, tu, ti. Многие из них выполняют функции междометия, частицы и союза — по-разному в разных славянских языках и диалектах.

Проблемой t/d является вопрос о том, считать ли эти партикулы восходящими к одной единице по звонкости/глухости или на славянском уровне эти единицы уже разошлись. (Согласно глоттальной теории, *d = *t.) Считаем, что на хронологическом срезе, посвященном исключительно славянским данным, ответ будет отрицательным, так как на протяжении веков уже произошла грамматикализа-

ция в каждом из рядов по глухости и звонкости, включая даже примарные партикулы. Например, tu связано с темпоральностью и спациальностью, а аналогичной партикулы-наречия du — нет. Зато есть спациальное de (*къ+ de* и под.), но *te* и *tь* с ним по смыслу не соотносятся. «Та-та-та», — говорит человек, стремясь поправить коммуникантa и сомневаясь в сказанном. Но «Да-да-да» означает, напротив, подтверждение.

Элемент t остался в словоизменении и словообразовании.

Это второе лицо множественного числа — *те.*

Это третье лицо настоящего времени единственного и множественного числа в древнерусском: *дѣлаеть* и *-тъ* в современном русском;

это *-тъ* как окончание супина (после глаголов, означающих движение).

Это *-ти* под ударением в инфинитиве глагола и *-ть* с ослабленным вокалом конца.

Это формы страдательного причастия типа *уби-т-ый*, то есть обладающий неким свойством и в этом смысле соотносимый с *борода-т-ый, зуба-т-ый* и т. д. Это сохранившиеся старые основы на -t вроде *локъть, ногъть*[6] (следы классного деления). Это основы слов типа *теля-те, дитя-ти* (они восходят, по мнению Р. Якобсона и Л. Во, к особому архаическому типу преназализации:*-nt) и т. д.

Это существительные типа *зла-то, доло-то, боло-то*, существительные от прилагательных, например, *живо-тъ* и т. д. На базе партикулы *-to* развились суффиксы: *-itje-, -ost', -tvo* (*-tva*), *-ьstvo.*

Но прежде всего нужно сказать о местоимениях *тъ* (*тотъ*), *та, то,* считающихся показателем «дальнего дейксиса». На этой базе возникают как неопределенные местоимения достаточно сложной структуры: *нѣ-къ-то, къ-то-то, ко-je-къ-то* и т. д., так и определенные: *то-тъ-то*, артиклеобразные сочетания: *домъ-от, девка-та* и под.

Перейдем теперь к партикулам на *-s. Напомним честное признание по поводу этой партикулы: «элемент -s стоит совершенно вне системы и его происхождение неясно» [Шмальштиг 1988: 283]. Напоминаем также, что в книге Фр. Шпехта этот «расширитель» является одним из трех основных, наряду с *t/d, k/g*, расширителей индоевропейской именной системы. (В славянском языке *с* < **k* палатальному как сатэмное изменение; поэтому в славянском произошло объединение того, что в индоевропейском отчетливо различалось.)

---

[6] В последнем случае может быть представлена метатеза: ср. лувийское tamuga.

Прежде всего этот элемент представлен в виде партикулы *se/sь*. Эти два вида иногда разделяются этимологами, считающими, что sь выступает исконно как указательное местоимение, а se — как междометие. Первый вариант выступает и как опора деривативных цепочек: *с-его дня, с-ию минуту, утро-сь, по-ся-мест,* древнерусск. *си-ночь*, мак. *си-нока* и т. д. Интересно в этой связи замечание о семантике порядка *сь* в препозиции *сь родъ*. Тогда это значит «именно этот род», а *родось* значит просто «этот род» [Мейе 1938: 383].

В славянских языках эта частица принимает разные фонетические виды, в основном меняя вокалический исход. Таковы славянские частицы *sa, se, si, sь*. Особое место занимает так называемое *s*-mobile: *с-мерть, ш-кура* (*s* > *š-kora*), *с-колько* и т. д.

Как и в случае с *-t-*, партикула *-s-* сохраняет свои следы как тематический показатель основы некоторых слов, например, *небе-с-е, слове-с-е* и др.

Как и партикула *-t, *-s партикула служит в славянских языках в качестве показателя определенности, например, польское *kto-ş*. Таким образом, обе партикулы могут быть амбивалентны, что говорит об их древности и первоначальной энантиосемии.

Легко заметить, что следы партикулы -s исчезают в словесном ауслауте. Ее неинициальной сохранности способствует часто прикрытие в виде -t. Таковы формы *-ст* в *да-ст*, окончание суффикса сравнительной степени прилагательного и наречия: -jos, is, jeis.

В эпоху, гораздо более позднюю, чем индоевропейское единство, то есть в эпоху развития восточных индоевропейских диалектов, в славянских языках широко развился так называемый «сигматический» аорист. Его показателем был -s-, к нему же присоединялись вторичные глагольные окончания. В результате получались формы -ss, -st. Впоследствии конечные согласные исчезали, что и привело к совпадению форм 2 и 3 лица единственного числа. По так называемому «правилу r, u, k, i» окончание сигматического аориста переходило в *хъ*, например, *rěk-s*> *rěxъ* и под. Исчезало и -s- в местном падеже: *-su > *хъ* (*домѣхъ*). Таким образом, грамматический формант -s в славянских языках постепенно исчезал, сохраняясь лишь спорадически.

Выше мы уже говорили о словоформах типа *даст*. Могут ли обе эти партикулы сочетаться в одной словоформе или в одном идиоме? Да, таких словосочетаний довольно много и они кажутся неслучайными. Это обороты типа *туда-сюда, там-сям* и т. д.

Что же касается парадигматики, то можно отметить, что язык, сохранивший показатель *-so в родительном падеже че-со, заменил при

местоимении тъ аналогичную форму на то-го. Как пишет А. Мейе, «что касается элемента -go, то он может быть частицей, сохранившейся в славянском языке в составе сложной частицы *не-го* (после сравнительной степени) и соответствующей санскритскому gha, подобно тому, как *же* соответствует санскритскому ha» [Мейе 1938: 348][7].

6. Но все же — почему именно эта пара заняла первое место, начиная от времен глубокой архаики? В этом случае, как нам кажется, и должен помочь фонетический эксперимент, который никогда никто не

---

[7] Со времен А. Мейе по этому вопросу накопилась большая исследовательская литература. Так, например, в уже не раз упоминавшейся нами работе Ф. Шпехта [Specht 1947: 364] написано, что славянские генитивно-аблативные конструкции на *-go* состоят «demnach aus Zusammenrückung der slav. Stämme *jo-* und *to-* mit dem Pronominalstamm *go*. Dabej verhält sie *go* zu *ko*... Da *k* und *g* im Anlaut wechseln, kommen Formen wie lat. *hic* aus **ho-ce* mit *ke* dem *go* in slav. *to-go* sehr nahe» ['эти конструкции состоят из комбинации славянских корней *jo-* и и *to-* с прономинальным корнем *go*... Так как *к* и *g* в анлауте могут заменяться, то формы типа лат. *hic* < **ho-ce* с корнем *ke* очень могут быть близки к слав. *то-го*'].

Разнообразные взгляды на этот предмет изложены в статье К. Шилдза, специально посвященной окончанию *-го* у славянских местоимений в родительном падеже единственного числа [Shields 1997]. Говоря коротко, его позицию можно свести к двум основным положениям: *-го* — это одна из наиболее распространенных и частотных частиц (партикул) индоевропейских языков («A particle in **ghelo* is traditionally reconstructed for Indo-European» [Shields 1997: 87]). В русском языке (и других славянских), употребляемая изолированно, она известна как *же*. В своей первоначальной форме она сохраняется в сравнительной частице *не-го*.

К. Шилдз считает, что местоимения в целом отражают более архаичную парадигму, чем имена («it is generally recognized that the pronouns reflect a more ancient paradigmatic structure than nouns»). Развитие известной нам многопадежной парадигмы поэтому происходило у местоимений постепенно. И он высказывает гипотезу о первоначальном локативном значении генитивных форм в индоевропейском: «The original unity of the locative and the genitive cases is further suggested by the intimate relationship between locative and genitive constructions in the world's languages» ['Первоначальное единство местного и родительного падежей просматривается у глубинных связей между локативными и генитивными конструкциями во многих языках мира'] [Shields 1997: 85].

проводил — так же, как никто не проводил реальный эксперимент с клитиками/не-клитиками, хотя все единодушно утверждали, что не-клитики «полноударны» и что клитики, в отличие от «ударных» не-клитик, образуют одно фонологическое слово с «хозяином».

Что же можно сказать именно об этой паре согласных с фонетической точки зрения?

Оба звука — консонанты, оба глухие. Оба — переднеязычные. Но они различаются: по способу образования. Звуки группы [S] — фрикативные (щелевые), звуки группы [T] — смычные. Но они различаются, по сути, одним признаком — этим уже упомянутым **способом образования**.

Однако язык располагает и другими парами глухих консонантов. Почему такое предпочтение было именно для этой пары **глухих**? Обратимся сначала к самому популярному российскому учебнику фонетики Л.Р.Зиндера [Зиндер 1979]. Читаем довольно простое и убедительное объяснение «силы» глухих: «В пределах одного языка звонкие обычно слабее глухих. Это, очевидно, связано с тем, что присутствие голоса делает согласный слышимым, даже при слабой артикуляции. Чтобы достичь такой же слышимости глухого согласного, его нужно произносить сильнее. Слышимость же играет в речи далеко не последнюю роль; она так же важна для понимания сказанного, как и другие фонетические факторы» [Там же: 124).

Итак, глухие консонанты — сильные. Но ведь существуют и другие глухие пары. Для определения силы согласных s/t в Лаборатории фонетики ИРЯ РАН в 2007 году нами был проделан простой эксперимент. Записывались логотомы:

ТÁСА –ТАСÁ;
ТÁТА — ТАТÁ;
ТÁКА — ТАКÁ;
ТÁПА — ТАПÁ.

При этом выявилась преобладающая «сила» пары глухих [S]/[T]. Тогда возникает естественное объяснение, что при коммуникации в древности стремились употреблять «сильнозвучащие» звуки.

(Для дальнейших разысканий дистрибуции этой пары в парадигматических рамках, как кажется, необходимо было бы определить их сущность с позиций Л.В.Щербы, выделившего три типа согласных: сильноначальные, сильноконечные и двувершинные.)

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Adrados 1992 — *Adrados Fr.* The new image of I.-E.: the history of a revolution // Indogermanische Forschungen. 1992. Bd. 97.

Adrados 2000 — *Adrados Fr.* Towards the syntax of Proto-Indo-European // Indogermanische Forschungen. 2000. Bd. 105.

Bopp 1833 — *Bopp Fr.* Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Littthauischen, Gothischen und Deutschen. Berlin, 1833.

Brugmann 1892 — *Brugmann K.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung. Zweiter Band. Wortbildungslehre (Stammbildungs- und Flexionslehre). Strassburg, 1892.

Brugmann 1897 — *Brugmann K.* Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre der Indogermanischen Sprachen. Erster Band. Strassburg, 1897 // *Brugmann K., Delbröck B.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen 8 Sprachen. Erster Band. Strassburg, 1897.

Delbrück 1893 — *Delbrück B.* Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Erster Theil // *Brugmann K., Delbrück B.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung. Dritter band. Strassburg, 1893.

Hirt 1927 — *Hirt H.* Indogermanische Grammatik. III. Heidelberg, 1927.

Schrijver 1997 — *Schrijver P.* Studies in the history of Celtic pronouns and particles. Maynooth, 1997.

Shields 1992 — *Shields K. C.* A history of I.-E. verb morphology. Amsterdam; Philadelphia, 1992.

Specht 1947 — *Specht Fr.* Der Ursprung der Indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947.

Watkins 1962 — *Watkins C.* I.-E. origins of the Celtic verb. Dublin, 1962.

Zwicky 1977 — Zwicky A. On clitics. Bloomington, 1977.

Гамкрелидзе 1957 — *Гамкрелидзе Т.В.* Местоимение *so, *sā, *tod и «индо-хеттская» гипотеза Э.Стертеванта // Сообщения АН Грузинской ССР. Т. XVIII. № 2. 1957.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т.Г., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. 1. Тбилиси, 1984.

Дункель 1992 — *Дункель Г.* Грамматика частиц // ВЯ. 1992. № 5.

Зиндер 1979 — *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. Л., 1979.

Иллич-Свитыч 1971 — *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (B–K). М., 1971.

Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

Николаева 2003 — Пространство славянских партикул // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов в Любляне. Доклады российской делегации. М., 2003.

О'Шей 2005 — *О'Шей Н. А.* Галльские и лепонтийские формы претерита — традиции, инновации и вопрос диалектного распределения // Вопросы языкознания. 2005. № 5.

Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.

Топоров 1984 — *Топоров В. Н.* О специфике балт. **lai* и его индоевропейских параллелях: на стыке морфологии и синтаксиса // Балто-славянские исследования. 1983. М., 1984.

Шилдз 1988 — *Шилдз К.* Некоторые замечания о раннеиндоевропейской именной флексии // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. М., 1988.

Шмальштиг 1988 — *Шмальштиг В.* Морфология глагола // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. Новое в современной индоевропеистике. М., 1988.

Эргативная... 1950 — Эргативная конструкция предложения / Сост. Е. А. Бокарёв. М., 1950.

Е. В. Падучева

Семантические явления в высказываниях от 1 лица: *говорящий* и *наблюдатель*

Работы Р. Якобсона о дейксисе (в частности, [Jakobson 1957]) и Э. Бенвениста о перформативах [Бенвенист 1974] стимулировали интерес лингвистов к проблеме субъективности в языке и к семантике первого лица. Сейчас лингвистика может предложить более точные формулировки для многих поднятых в те годы проблем.

1. История вопроса. В работах [Зализняк, Падучева 1982] и [Падучева 1985] был приведен представительный перечень аномалий, возникающих в предложении при замене местоимения 3 лица на первое и, наоборот, 1 лица на второе и третье.

1.1. Были рассмотрены, в частности, следующие примеры употребления 1 и 2 лица в контексте ПРЕДИКАТОВ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ (о семантическом взаимодействии предикатов внутреннего состояния с лицом субъекта см. [Banfield 1984: 11–12]):

(1.1) а. Я устал; б. °Ты устал.

(1.2) а. Мне хочется есть; б. °Тебе хочется есть.

В (1.1а), (1.2а) субъект 1 лица абсолютно уместен; в самом деле, никто, как субъект состояния, не может сделать более авторитетного высказывания о своем внутреннем состоянии. Между тем, предложения (1.1б) и (1.2б) несут печать ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: это не утверждения в полном смысле слова, а скорее некие предположительные заключения, сделанные на основе наблюдения со стороны.

В вопросе ситуация меняется; предложения (1.3а), (1.4а), с субъектом в 1 лице, звучат странно: поскольку, как уже сказано, говорящий лучше, чем кто бы то ни было, осведомлен о своем внутреннем состоянии, эти высказывания нарушают основные условия успешности речевого акта вопроса — говорящий не знает, а слушающий знает. В то же время (1.3б) и (1.4б), которые побуждают адресата сообщить о своем внутреннем состоянии, вполне уместны [1].

Работа получила финансовую поддержку в рамках проекта № 08-04-00181а РГНФ.

[1] Знак ° здесь и далее используется, чтобы показать, что предложение хоть и не является аномальным, но требует для своего употребления «мощ-

(1.3) а. °*Я* устал? б. *Ты* устал?
(1.4) а. °*Мне* хочется есть? б. *Тебе* хочется есть?

Еще пример с вопросом:

(1.5) а. *Я* думаю, что он согласится; б. °*Ты* думаешь, что он согласится.
(1.6) а. °*Я* думаю, что он согласится? б. *Ты* думаешь, что он согласится?

1.2. Другой тип явлений, связанных с противопоставлением 1 и не 1 лица, был продемонстрирован на неопределенных местоимениях. В [Падучева 1985] местоимения, которые в традициях русской грамматики числятся неопределенными, разделены на два класса: местоимения НЕИЗВЕСТНОСТИ (типа *какой-то*), выражающие отсутствие знаний, касающихся предмета, как-то выделенного, индивидуализированного в универсуме речи, и местоимения НЕРЕФЕРЕНТНОСТИ (типа *какой-нибудь*), которые употребляются тогда, когда никакой конкретный предмет не имеется в виду. (В англоязычной литературе это соответствует терминам specific и non-specific indefiniteness; но в английском языке речь идет о разных употреблениях одних и тех же слов, а в русском это разные слова.) Существенно в данном случае то, что неизвестность, как и знание, предполагает субъекта. Отсюда нормальное (1.7а), где *какой-то* выражает неизвестность для говорящего, и (1.7б), которое не аномально только если допустить, что говорящий хочет «сам не знает чего»:

(1.7) а. **Иван** хочет спеть *какую-то* песню; б. °**Я** хочу спеть *какую-то* песню.

1.3. Большой класс аномалий в контексте 1 лица дают слова, в семантику которых входит взгляд со стороны. Это слова, предполагающие присутствие внешнего наблюдателя или субъекта сознания. Таково слово *мрачный*: в примере (1.8а) наблюдателем, который «со стороны» оценил чей-то внешний вид как мрачный, может быть говорящий, и предложение нормальное, а (1.8б) не допускает такой возможности.

(1.8) а. Она сегодня *мрачная*; б. °Я сегодня *мрачная*.

Собранный в 70–80-е гг. материал, касающийся субъективности и стереоскопии, весьма обширен. Однако аппарат, необходимый для его адекватного описания, в то время не был в достаточной степени разработан. Скажем, Ч.Филлмор упоминает о наблюдателе в [Fillmore 1968], в связи с глаголом *lurk* ‘скрываться, тайно угрожать’, и в «Лек-

---

ного контекста» и, соответственно, правил интерпретации, более сложных по сравнению с обычными (дефолтными).

циях о дейксисе» 1975 г. — в связи с глаголами *come* и *go*, но не придает слову *наблюдатель* терминологического статуса.

В настоящее время в лингвистику вошел ряд новых понятий, которые позволяют полнее раскрыть суть явлений, связанных с субъективностью в языке. Сфера субъективности огромна и расширяется по мере оттачивания инструментов ее исследования. Первостепенную важность для дальнейшего имеют два понятия. Первое из них — это НАБЛЮДАТЕЛЬ [Апресян 1986]. Обращение к фигуре наблюдателя позволяет ввести определенные разграничения в сфере полномочий говорящего, которая до сих пор была неоправданно широкой.

Второе понятие — РЕЖИМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ (возникшее на базе введенного Бенвенистом разграничения «плана повествования» и «плана речи»): различается РЕЧЕВОЙ РЕЖИМ и НАРРАТИВНЫЙ. Понятия наблюдатель и режим интерпретации тесно связаны одно с другим.

2. Говорящий и наблюдатель. Режимы интерпретации. Идея наблюдателя промелькнула на лингвистическом горизонте еще в 60–70-е годы прошлого века[2]. Но в качестве фигуры, противопоставленной говорящему и способной связать друг с другом разные виды дейксиса, она прозвучала в статье [Апресян 1986]. Сейчас термин прочно вошел в лингвистический обиход. Я поясню, в каком значении он употребляется ниже[3].

Язык предназначен для общения в условиях канонической речевой ситуации [Lyons 1979], когда есть говорящий и слушающий, которые связаны единством места и времени; имеют общее поле зрения; могут видеть друг друга и жесты друг друга, и т. д. Это обстоятельство сказывается на устройстве языка: семантика многих слов и категорий предполагает говорящего.

Говорящий может присутствовать в семантике языковых единиц и, соответственно, в концепте ситуации в разных ипостасях: прежде всего — как субъект РЕЧИ, т. е. создатель высказывания и Агенс соответствующего речевого действия, со всеми эпистемическими и прочими обязательствами, которые накладывает это действие на исполнителя; со всеми предположениями, сожалениями, пожеланиями, упреками

---

[2] См., например, о движущемся наблюдателе [Апресян 1974: 161]. Семиотике наблюдателя посвящена большая литература, см. [Лотман 1968; Успенский 1970/2000: 100–114], а также обзор в [Grishakova 2002].

[3] Доклад частично основан на материале, содержащемся в [Падучева 1996; 2006].

и проч., которые в нем выражаются. А кроме того, говорящий может быть представлен в тексте как субъект ДЕЙКСИСА, субъект ВОСПРИЯТИЯ, субъект СОЗНАНИЯ. Слова и категории, семантика которых предполагает говорящего, — это эгоцентрические элементы, ЭГОЦЕНТРИКИ (ср. термин Бертрана Рассела egocentric particulars).

Нарратив не предполагает канонической речевой ситуации и подлинного говорящего как субъекта речи с синхронным слушающим; в частности, не предполагает момента речи — основополагающего понятия для языков с категорией времени. Так возникает нарративный режим интерпретации эгоцентрических элементов, противопоставленный речевому.

Эгоцентрики бывают ПЕРВИЧНЫЕ (они и есть собственно эгоцентрики) — это слова и категории, которые ориентируются только на подлинного говорящего в составе канонической речевой ситуации и полностью реализуют свой смысл только в речевом режиме; и ВТОРИЧНЫЕ, несобственные, которые ориентированы на наблюдателя и совместимы с обоими режимами.

Первичный эгоцентрик в нарративе либо не употребляется, либо имеет другой смысл. (Имеется третья возможность — когда первичный эгоцентрик выводит за пределы диегетического пространства текста, выявляя внеположного этому пространству повествователя.) А вторичный эгоцентрик употребляется и в речевом режиме, и в нарративе, не меняя смысла; и ориентиром может иметь не только говорящего, но и другое лицо, так или иначе выделенное в диегетическом пространстве текста. Отдельную область составляет НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ — нарративный прием, состоящий в том, что первичный эгоцентрик поступает в распоряжение персонажа 3-го лица. Ниже в разделе 3 идет речь о традиционном нарративе (не перволичном), а раздел 4 посвящен несобственной прямой речи.

Главным примером первичного эгоцентрика (который требует канонической речевой ситуации и полноценного говорящего) является грамматическое время. Согласно общепринятым определениям, настоящее время обозначает одновременность МОМЕНТУ РЕЧИ; прошедшее выражает предшествование, будущее относит событие к некоему последующему моменту. В нарративе время кардинально меняет интерпретацию. Так, форма прош. времени несов. вида, которая в речевом режиме обозначает предшествование (моменту речи), в нарративном выражает синхронность (текущему моменту текста, т.е. ТЕКСТОВОГО ВРЕМЕНИ):

(2.1) а. Кто *сидел* на моем маленьком стульчике и сломал его? (Толстой. Три медведя) [прямая речь = речевой режим; предшествование];
б. Старая графиня*** *сидела* в своей уборной перед зеркалом. Три девушки *окружали* ее (Пушкин. Пиковая дама) [нарративный режим; синхронность].

Очевидными первичными эгоцентриками являются разного рода вводные слова и обороты, которые предполагают говорящего в роли субъекта речи — *строго говоря, кстати <сказать>, воля ваша*. Так, в отрывке (2.2) способ употребления первичных эгоцентриков свидетельствует о том, что нарратив переходит в несобственную прямую речь:

(2.2) ...на Степу было жалко взглянуть: он решительно не помнил ничего о контракте и, *хоть убейте*, не видел вчера этого Воланда. *Да*, Хустов был, а Воланда не было (Булгаков. Мастер и Маргарита).

Пример вторичного эгоцентрика — грамматический вид. Так, несов. вид может иметь два значения. В одном своем значении, актуально-длительном, он выражает синхронность, в другом, общефактическом, — ретроспекцию. В речевом режиме это будет синхронность или ретроспекция по отношению к моменту речи, пример (2.3); в нарративном — по отношению к текущему моменту текста, пример (2.4):

(2.3) а. Иван *обедает* [речевой режим; синхронность];
б. Ты *обедал*? [речевой режим; ретроспекция];
(2.4) а. Мы зашли в дом. Иван *обедал* [нарративный режим; синхронность];
б. Иван был сыт. По всей видимости, он *обедал* [нарративный режим; ретроспекция].

Значение видовой формы в обоих режимах одно и то же, меняется только ориентир.

Теперь вернемся к наблюдателю. О наблюдателе говорят в тех случаях, когда вторичным эгоцентриком является нулевой знак. В литературе известен нулевой знак, восполняющий дефектность парадигмы (такова нулевая форма наст. времени глагола *быть*); нулевой знак, выполняющий анафорическую функцию, — например, при эллипсисе, ср. определение Якобсона: эллипсис — это нулевой анафорический знак. наблюдатель — это нулевой знак, обозначающий субъекта восприятия, а в расширительном смысле — СУБЪЕКТА ВТОРИЧНОЙ ЭГОЦЕНТРИЧНОСТИ в целом, т.е. субъекта не только восприятия, но и пропозициональных установок разного рода; субъекта неопределенности, модальности, оценки и под.). Так, *наверно* предполагает наблюдателя как субъекта неуверенности:

(2.5) а. Зина *наверно* придет [субъект неуверенности — говорящий];
б. Зина сказала, что *наверно* придет [субъект неуверенности — Зина].

Субъекта вторичной эгоцентричности, который не является наблюдателем в узком смысле, т.е. подразумеваемым субъектом наблюдения, называют еще СУБЪЕКТОМ СОЗНАНИЯ.

Наблюдатель — это лицо, которое во многих отношениях подобно говорящему. Говорящий, субъект первичной эгоцентричности, идентифицирует объекты и участки пространства или времени через местоположение самого себя; отрезки времени — через отношение к своему настоящему моменту. Тем самым в семантику первичных дейктических элементов входит РЕЧЕВОЙ компонент: *вон там* значит 'далеко от того места, где я это говорю'; *я* — значит 'тот, кто это сейчас говорит'; *завтра* = на следующий день после того, в который я это говорю'. А в семантику вторичных дейктических элементов входит ПЕРЦЕПТИВНЫЙ компонент: *вдалеке* значит 'далеко от того места, из которого наблюдатель наблюдает'. Субъект сознания обоснован такими смысловыми компонентами, как незнание, неуверенность и под.

Наблюдатель, субъект вторичной эгоцентричности, отличается от говорящего еще и тем, что говорящий называет себя «Я», а наблюдатель назвать себя не может никак. Его присутствие в семантике слова может, однако, так или иначе проявляться — в частности, в запрете на употребление в том же предложении местоимения 1 лица.

Наблюдателя предполагает семантика глаголов, адвербиалов, грамматических категорий, имен. **Наблюдатель — это семантическая роль**. Семантика глагола может предполагать наблюдателя в такой же мере, в какой семантика другого глагола предполагает, например, Агенса: наблюдатель — это Эксперимент в позиции За кадром [Падучева 2000]. Роль наблюдателя может выполнять:

- в речевом режиме — говорящий;
- в нарративном — персонаж или повествователь;
- в гипотаксическом контексте (т.е. в составе придаточного) — субъект подчиняющего предложения.

Итак, наблюдатель — это не представленный на поверхностном уровне участник ситуации, наличие которого (в семантике предложения и текста) а) вытекает из смысла слов, конструкций и грамматических категорий предложения; б) проявляется в каких-то аспектах его поверхностной структуры. В разделе 3.1 речь идет о том, как присутствие наблюдателя проявляется в запретах на употребление место-

имения 1 лица. В разделе 3.2 описываются другие проявления наблюдателя.

3. Типология наблюдателей. Итак, различается два типа наблюдателей — в зависимости от смыслового компонента (в семантическом разложении языковой единицы), в составе которого он возникает: наблюдателем может быть субъект восприятия и субъект сознания.

В принципе, восприятие обязательно включает в себя акт сознания — первичную концептуализацию воспринимаемого. Однако восприятие необходимо отличить от других актов сознания, поскольку восприятие не только предполагает воспринимающее лицо, но и фиксирует МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ этого лица, отсюда связь субъекта восприятия с пространственным дейксисом. Между тем, ментальные акты не предполагают обязательной локализации ни самого акта сознания, ни его субъекта.

Замечание. Сложнее обстоит дело с субъектом пространственного и временного дейксиса. В типологии наблюдателей, предлагаемой в [Fontanille 1989], предусматривается «не персонифицированный» наблюдатель, как «концептуальный центр» повествования, не воплощенный ни в каком лице. По-видимому, в семантике вида, с его противопоставлением синхронии и ретроспекции, в каких-то контекстах, следует допустить именно такого наблюдателя — не только не имеющего локализации, но и не воплощенного ни в каком конкретном лице. Что же касается семантики времени, то тут наблюдатель достаточно часто бывает персонифицированным, см. пример (4.8) ниже и примеры в [Падучева 1996: 285–296].

3.1. Наблюдатель как субъект восприятия.

3.1.1. Наблюдатель — Эксперимент за кадром: мена диатезы. Прототипический наблюдатель — это участник ситуации, который имеет семантическую роль Субъект восприятия (Эксперимент), но не имеет соответствующего ему синтаксического актанта: он входит в актантную структуру глагола, а в диатезе глагола имеет ранг За кадром. Такого наблюдателя мы видим в классическом примере из [Апресян 1986] — в семантике глагола *показаться*:

(3.1) На дороге *показался* всадник.

Фраза (3.1) означает, что всадник вошел в чье-то поле зрения. То есть помимо двух явных участников, *всадник* и *дорога*, в ситуации имеется третий, не выраженный, — Субъект восприятия; это Эксперимент за кадром, т. е. наблюдатель.

Чтобы обосновать присутствие наблюдателя в семантике слова, надо:

а) предъявить толкование слова, в котором фигурирует наблюдатель;

б) показать, что наличие наблюдателя в семантике слова проявляется в его языковом поведении.

Поскольку наблюдатель — это вторичный эгоцентрик, выбор конкретного лица, выполняющего в том или ином контексте роль наблюдателя, зависит от режима. В речевом режиме роль наблюдателя обычно исполняет говорящий. Отсюда аномалия в примере (3.2) с субъектом 1 лица — поскольку говорящий выполняет роль наблюдателя, он не может одновременно быть объектом наблюдения (своего же, причем издали):

(3.2) *На дороге *показался* я.

Если же глагол *показаться* находится в контексте нарратива, как в (3.3), или в гипотаксическом контексте, как в (3.4), то аномалии не возникает:

(3.3) Но тут на дороге *показался* я, и разбойники в страхе разбежались [нарратив];

(3.4) Считают, что именно в этот момент на дороге *показался* я [гипотаксис].

Фраза (3.3) нормальна, поскольку в этом контексте наблюдатель — разбойники (а тот *я*, который *показался* в поле зрения разбойников, не говорящий; ведь говорящий — это не просто субъект речи, а **субъект речи в момент речи**). Если глагол *показаться* находится в гипотаксической позиции, то в роли наблюдателя, т.е. субъекта восприятия, семантически необходимого глаголу *показаться*, выступает не говорящий, а субъект подчиняющего предложения.

Итак, в речевом режиме прототипический наблюдатель проявляет себя в ограничении на заполнение той или иной валентности местоимением 1-го лица (поскольку 1-е лицо уже незримо присутствует в ситуации в качестве наблюдателя), см. пример (3.2).

Это значит, что наличие наблюдателя как фактора семантики предложения делает его чувствительным к режиму интерпретации. Так, аномалия в (3.2) возникает в речевом режиме; если режим нарративный или гипотаксический, т.е. роль наблюдателя выполняет не говорящий, то же предложение оказывается нормальным, см. (3.3) и (3.4).

Наблюдатель в семантике *показаться* возникает как следствие мены диатезы. В самом деле, у глагола *показать*, от которого образован *показаться*, есть Эксперимент, который может быть выражен Дативом (*показал* мне *фотографию*); *показаться* сохраняет актантную

структуру глагола *показать*, но имеет диатезу, в которой Эксперимент «ушел за кадр».

Такой же участник-наблюдатель, как у *показаться*, есть у глаголов *выразиться, выделиться, выявиться, обозначиться, обнажиться, открыться, потеряться, послышаться, задеваться, запропаститься, выискаться*. Так, у глагола *выразить* есть синтаксический актант, обозначающий Эксперимента: *выразить* <что-то кому-то> — значит показать кому-то, чтобы тот воспринял. А у глагола *выразиться* нет этого актанта — он ушел в наблюдатели. Отсюда у *выразиться* ограничение на 1 лицо в составе субъектной группы. Поскольку говорящий по умолчанию выполняет роль наблюдателя при *выразиться*, т.е. с у б ъ е к т а восприятия, он не может быть его объектом:

(3.5) ?На моем лице *выразилось* удивление.

Другой пример наблюдателя дает глагол *выглядеть*, у которого актантная структура та же, что у *глядеть*, но Эксперимент ушел за кадр. Отсюда у *выглядеть* в речевом режиме нетерпимость по отношению к подлежащему 1 лица. Запрет снимается при наличии «загородки» (hedge), см. (3.6а), в неречевом режиме, см. (3.6б), или в других специальных контекстах, см. (3.6в):

(3.6) а. Кажется, я *выгляжу* отлично;
б. Он сказал, что я *выгляжу* отлично;
в. Я *выгляжу* отлично <зеркалу>.

Такое же соотношение между *слышать* и *послышаться* (*послышалось* без Датива значит ‘мне послышалось’); между *доносить* и *доноситься*. У глагола *доноситься* актант, выражающий Эксперимента, в принципе не исключен. Наличие наблюдателя в диатезе *доноситься* проявляется в запрете на заполнение валентности Эксперимента неопределенным местоимением — доносится что бы то ни было обычно *до меня*; ср. явную аномалию в (3.7) (пример из [Падучева 1996: 264]):

(3.7) <u>До кого-то</u> в темноте *доносится* голос (С. Беккет. Общение).

Глагол *доносить* (от которого *доноситься* — декаузатив) демонстрирует то же ограничение на заполнение валентностей; примеры (из Национального корпуса русского языка):

(3.8) а. Я поспешил уехать потому, что ветер *донес* <u>до меня</u> далекий звук копыт (Гайто Газданов. Призрак Александра Вольфа. 1947);
б. Горячий ветер *донес* шум множества голосов (А. Н. Толстой. Аэлита. 1939).

В (3.8а) звук доносится до Эксперианта 1 лица; в (3.8б) — до наблюдателя за кадром.

Глагол *раздаться* (*Раздался выстрел*), который не имеет исходной диатезы с Экспериентом, тоже предполагает наблюдателя, хотя и не допускает подобного «диатетического» анализа. О *послышаться* см. [Успенский 1970/2000: 103].

3.1.2. Наблюдатель, не являющийся результатом мены диатезы.

3.1.2.1. В [Апресян 1986] наблюдатель усматривается в семантике глаголов типа *белеть, чернеть*:

(3.10) На горизонте *белел* парус.

В самом деле, в семантике глаголов типа *белеть* обнаруживается компонент 'X видит Y': словари [Ушаков 1935 и МАС] определяют *белеть* как 'виднеться (о белых предметах)'. При этом субъект восприятия не может быть выражен при *белеть* подчиненным ему синтаксическим актантом. Но в отличие от *показаться*, наблюдатель в актантной структуре *белеть* не является результатом мены диатезы — он вытекает непосредственно из семантики слова.

Наблюдатель входит в семантическую структуру глаголов самых разных тематических классов. Помимо наблюдаемого «цветоиспускания» (как в случае *белеть*), есть наблюдаемое звучание (*звучать, звенеть* и другие глаголы звука), наблюдаемое движение (*развеваться, реять, мелькать*), наблюдаемая деятельность (*уплетать*), наблюдаемое расположение (*раскинуться, торчать, маячить*) и даже наблюдаемое восприятие (*озираться, уставиться*). Отдельный феномен — наблюдаемое отсутствие, см. раздел 3.1.2.3.

Все эти глаголы в контексте подлежащего 1 лица или с посессивом 1 лица дают в речевом режиме аномалию или требуют нестандартных правил интерпретации:

(3.11) а. Мелькали *верстовые столбы*; б. °Мелькал *я*[4];
а. В саду звенели голоса; б. °В саду звенел *мой* голос.

(3.12) а. Иван *маячил* в проеме дверей; б. °Я *маячил* в проеме дверей.

Аналогичное проявление наблюдателя — в примере (3.13) со словом *гореть*. Если речь идет о признаке, наблюдаемом извне, как в

[4] Корпус дает два примера сочетания «я + мелькать»: *Там, в одной из массовок, где-то и* ***я мелькаю*** (В. Некрасов. 1977); *Теперь мне все кажется, что со мной хотят познакомиться потому, что* ***я мелькаю*** *в телевизоре* (Е. Ханга. 2000). Подобное употребление глагола звучать (с подлежащим в 1 лице — я звучал, я звучу) описано в [Падучева 2004: 419–424].

(3.13б), обладатель признака не может быть субъектом наблюдения, а ощущение может быть внутренним:

(3.13) а. У меня щеки *горят*; б. ?У меня глаза *горят*.

В [Булыгина 1982: 15, 29] по поводу *белеть, реять, развеваться, уплетать* шла речь об эффекте «соприсутствия говорящего». Теперь можно уточнить: соприсутствует не говорящий, а наблюдатель. В самом деле, этим словам вовсе не обязателен, для их уместного употребления, речевой контекст: в нарративе на роль наблюдателя найдется кто-нибудь из участников описываемой ситуации; на худой конец, остается повествователь.

3.1.2.2. Наблюдатель усматривается также в семантике наречий *вдалеке, вдали* [Апресян 1986]. Если не насыщена валентность Исходной точки (*вдалеке* — от чего?), понимается 'вдалеке от наблюдателя'. Как и в других случаях с наблюдателем, мы здесь имеем: 1) ограничение на заполнение валентности слова местоимением 1-го лица и 2) чувствительность к режиму интерпретации и к гипотаксическому контексту: нарративный и гипотаксический контекст отменяют запрет на 1 лицо — этот запрет действует только в речевом режиме. Так, (3.14а) демонстрирует ограничение на 1 лицо в речевом режиме, а (3.14б) — его отмену в гипотаксическом контексте:

(3.14) а. **Вдалеке* стояли мы с Володей;
б. Он утверждает, что якобы *вдалеке* [от него] стояли мы с Володей.

Так что *вдалеке* может означать 'вдалеке отсюда', но не обязательно 'от говорящего', возможно — 'от наблюдателя'.

Можно было бы подумать, что наблюдатель при *вдалеке* не является субъектом восприятия, как в примере (3.1); что он только субъект пространственного дейксиса: дейктический нуль, обозначающий участника Исходная точка. Однако в этом случае необъяснимо отличие *вдалеке* от *далеко*, которое тоже обозначает место на большом расстоянии, но, будучи употреблено без предложной группы, не дает тех эффектов в контексте 1 лица, которые выявляют наблюдателя:

(3.15) а. Я был *далеко* от дома; б. Я был *далеко*.

Не говоря о том, что *вдалеке* встречается обычно в контексте глаголов либо просто перцептивных (как *видеть*), либо имеющих перцептивный компонент, как *белеть*. Так, Корпус дает в контексте *вдалеке* почти исключительно глаголы, предполагающие наблюдателя:

(3.16) *Зеленеют* вдалеке финиковые рощи; Кто-то грустно и страстно *поет* вдалеке; *увидел* вдалеке, *исчез* вдалеке, *маячил* вдалеке, *хлопнула* вдалеке дверь, *бухала* вдалеке пушка, *засвистал* вдалеке скворец, *забрехали* вдалеке собаки, и т. д.

Пример (3.16) показывает, что присутствие наблюдателя вытекает не только из семантики самого *вдалеке*, но и из контекста связанного с ним глагола.

3.1.2.3. Прототипический наблюдатель (т.е. субъект восприятия, занимающий определенное место в пространстве ситуации) был обнаружен в конструкции с родительным субъекта в отрицательном предложении.

В [Babby 1980] и [Арутюнова 1976] считалось, что генитив при отрицании возникает в БЫТИЙНЫХ предложениях, у которых субъект нереферентный (как в *Сомнений не возникло*); так что генитив референтного субъекта при глаголе *быть* в ЛОКАТИВНОМ значении, как в (3.17), был исключением из семантических в общем правил выбора падежа, предлагавшихся в этих работах:

(3.17) *Коли* нет в Лондоне.

В [Падучева 1992] было обращено внимание на то, что генитивный субъект бывает не только в бытийных предложениях, но и в предложениях с глаголами восприятия — таких, как *чувствоваться, ощущаться, наблюдаться, регистрироваться, фиксироваться, выискаться*, *прощупываться*, *нащупываться, найтись, появиться* (к ним примыкают краткие прилагательные типа *виден, слышен*). Эти глаголы могут давать генитивную конструкцию отрицания, хотя в своем исходном значении относятся не к экзистенциальным, а к перцептивным:

(3.18) а. *Наблюдается* спад интереса к беллетристике;
б. Не *наблюдается* спада интереса к беллетристике.

В семантике генитивного глагола *оказаться* (например: *Секретаря на месте не оказалось*) тоже есть перцептивный компонент и соответствующий ему наблюдатель. В предложениях восприятия генитивом может быть оформлен и референтный субъект:

(3.19) Нашей хозяйки *не наблюдается*; Маши *не видно*.

А тогда естественно предположить, что генитив в контексте локативного *быть*, как в (3.17), означает, что в “ситуации отсутствия” присутствует наблюдатель. В самом деле, предложение (3.17) понимается почти как ‘Коли не видно в Лондоне’: говорящий либо сам на-

ходится в Лондоне, либо знает от того, кто там находится. Получается, что два употребления генитивной конструкции вполне близки между собой: она выражает либо несуществование, либо отсутствие в поле зрения наблюдателя.

Наличие наблюдателя позволяет объяснить, почему генитивная конструкция накладывает ограничение на субъект 1 лица и обнаруживает чувствительность к режиму интерпретации. В чем странность предложения (3.20а) и почему она пропадает в (3.20б) и (3.20в)?

(3.20) а. °Меня нет дома;
б. Приходит Иван, а *меня* нет дома;
в. Ему сказали, что *меня* нет дома, но он не поверил.

Дело в том, что в речевом режиме главный исполнитель роли наблюдателя — говорящий, так что род. падеж в (3.20), несмотря на утверждение отсутствия говорящего в ситуации, имплицирует его присутствие; возникает противоречие. А в нарративе и в гипотаксическом контексте этого противоречия не возникает, поскольку нет совпадения наблюдаемого с наблюдателем.

3.2. Наблюдатель как субъект сознания.

3.2.1. Участник ситуации, не выраженный на синтаксическом уровне, но вытекающий из семантики слова, может быть не субъектом восприятия, как в (3.1), а Субъектом сознания — например, лицом, которое получает некоторое знание, не обязательно через восприятие. Так, у глагола *обнаружить* есть три диатезы; в одной Субъект сознания выражен подлежащим, а во второй (она маркирована возвратной частицей) и в третьей (не маркирована) он за кадром; этого участника можно тоже считать наблюдателем в широком смысле, т. е. Субъектом сознания:

(3.21) а. Охотник *обнаружил* на опушке следы медведя;
б. На опушке *обнаружились* следы медведя;
в. Берлиоз *обнаружил* незаурядную эрудицию.

В самом деле, у *обнаружить* те же ограничения на 1 лицо в роли подлежащего и та же чувствительность к режиму; следовательно, подразумеваемый субъект сознания у *обнаружить* в (3.21) — вторичный эгоцентрик. Пример (3.22) показывает поведение глагола *обнаружить* в разных режимах:

(3.22) а. Студент *обнаруживает* глубокие познания в философии;
б. *Я *обнаруживаю* глубокие познания в философии;
в. Они говорят, что я *обнаруживаю* глубокие познания в философии.

Предикаты ментального, эмоционального и волитивного состояния предполагают Субъект сознания, который иногда не выражен или даже не может быть выражен синтаксически. По умолчанию предполагают субъект 1 лица: слова с модальным значением (типа *можно, надо, нельзя*), со значением эмоционального состояния (типа *грустно, легко*), восприятия (*видно, заметно*), а также *больно, весело, возможно, видимо, заметно, интересно, жутко, горестно, досадно, приятно, хорошо, важно, безразлично, любопытно, тошно, неловко, забавно, интересно, жарко, душно, обидно, радостно, скучно, страшно, трудно, легко, ясно, похоже; плевать, лень, жаль, жалко, охота, неохота, хочется, придется, остается* и многие другие [5]; например:

(3.23) *Жалко* <, что ты не пришел> = 'мне жалко'.

Если в утвердительном предложении подразумеваемый субъект сознания — говорящий, то в вопросе это будет слушающий, *ты*:

Вкусно? = '<тебе> вкусно?'.

Если Субъект сознания, в частности, субъект эмоции, выражен, то 1 лицо, обозначающее объект эмоции при том же предикате, не запрещено, см. (3.24а); но если субъект не выражен, то 1 лицо объекта сомнительно, см. (3.24в):

(3.24) а. Вам *меня* жалко; б. Ей было *меня* жалко; в. ?*Меня* жалко.

Опущенный Субъект сознания, в отличие от субъекта наблюдения, легко генерализуется, поэтому 1 лицо в (3.24) не вызывает столь ощутимой аномалии, как в (3.1).

3.2.2. Наблюдатель присутствует в актантной структуре глаголов поведения (а именно, интерпретации поведения) — таких как *нарушать, потворствовать, пренебрегать, ронять себя, ошибаться.* В их семантику входит вторичная номинация события, которая принадлежит Субъекту сознания, отличному от Агенса.

Присутствие наблюдателя в семантике глаголов поведения сказывается, в частности, в их ограниченной допустимости (в наст. времени речевого режима) в контексте 1-го лица — предложения в (3.25), (3.26а) по меньшей мере нестандартны:

(3.25) °Я самоуправствую; °Я на тебя клевещу; °Я им потакаю;

---

[5] Впрочем, есть разница; так, *стыдно* чаще употребляется в значении 'стыдно тебе', а не 'стыдно мне'; во фразе *Мне стыдно, что так получилось* нельзя опустить *мне*.

В (3.26б) допустимость 1 лица обусловлена контекстом снятой утвердительности:

(3.26) а. °Я ошибаюсь; б. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят.

В то же время, в нарративе и в гипотаксической позиции 1 лицо вполне уместно:

(3.27) а. Считают, что я *кривляюсь* (И. Грекова. Дамский мастер);
б. Меня он тоже ругал, говорил мне, что я *корчу* из себя богатого англичанина (Д. Гранин. Зубр).

В [Апресян 2004] в семантике глаголов поведения постулируется говорящий. То есть они причислены к первичным эгоцентрикам. Но первичные эгоцентрики по определению не могут употребляться без изменения смысла в нарративном режиме и в гипотаксической позиции. Между тем, глаголы поведения вполне подобны глаголу *показаться*: они имеют в речевом и в нарративном режиме один и тот же смысл, а меняют только ориентир. Так что в толковании этих глаголов должен фигурировать не говорящий, а наблюдатель; и не момент речи, а текущий момент текста: глаголы поведения — это вторичные эгоцентрики[6]. Вторичная эгоцентричность глаголов поведения доказывается стандартным приемом: лицом, которое интерпретирует поведение Агенса, не обязан быть говорящий, и это позволяет им свободно употребляться не только в речевом, но и в нарративном и гипотаксическом режиме.

4. Высказывания НЕ от 1 лица. Итак, мы рассмотрели аномалии, которые возникают при интерпретации предложения в речевом режиме (т.е. в высказываниях от 1 лица) и устраняются при нарративной или гипотаксической интерпретации. Теперь обратимся к высказываниям НЕ от 1 лица — к нарративным текстам. Предметом рассмотрения будут два типа нарратива: традиционный нарратив 3 лица (как в «Пиковой даме» Пушкина) и свободный косвенный дискурс (free indirect discourse), т.е. то, что в русской традиции называется «несобственная прямая речь»[7].

---

[6] Той же поправки требует толкование *хоть* в Новом объяснительном словаре синонимов. В самом деле, субъектом уступительности в речевом контексте является говорящий (*Передохни* хоть *немного*!), но в гипотаксическом им становится субъект матричного предложения (*Шофер вел машину тихо, чтобы бойцы* хоть *немного передохнули*), так что в толковании должен фигурировать не говорящий, а наблюдатель.

[7] Термины «свободный косвенный дискурс» (СКД) и «несобственная прямая речь» (НПР) имеют почти один и тот же смысл: СКД применяется, скорее, к тек-

4.1. Традиционный нарратив 3 лица. Традиционный нарратив предполагает два мира: персонажи находятся в одном, повествователь — в другом. Это экзегетический повествователь. (Если повествователь принадлежит к миру персонажей, т.е. является диегетическим, то это рассказчик; текст в этом случае будет перволичным нарративом.)

Для эгоцентрика в нарративе в принципе допустимы два типа интерпретации:

- интерпретация, ориентированная на персонаж (в диегетическом мире), ПЕРСОНАЛЬНАЯ;
- интерпретация, ориентированная на повествователя (с переходом в экзегетический мир) — НАРРАТИВНАЯ, или ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ.

Используя оппозицию первичных и вторичных эгоцентриков, введенную в разделе 2 (первичные ориентированы на говорящего, вторичные — на наблюдателя, т.е. лишь в частности на говорящего), можно сформулировать для традиционного нарратива следующие правила.

1. Вторичный эгоцентрик в принципе может иметь две интерпретации — персональную и повествовательную.

2. Первичный эгоцентрик может иметь только повествовательную интерпретацию — ориентированную на внеположного миру текста повествователя.

Пример (4.1) демонстрирует двоякую интерпретацию вводного *конечно* — вторичного эгоцентрика, субъектом которого может быть повествователь, как в (4.1а), и персонаж, как в (4.1б):

(4.1) а. Нет! Мастер ошибался, когда говорил Иванушке в больнице в тот час, когда ночь переваливалась через полночь, что она позабыла его. Она его, *конечно*, не забыла [субъект уверенности — повествователь, который знает, как было дело];

б. Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем, и, *конечно*, не разузнала ровно ничего [пессимизм может принадлежать и Маргарите].

сту в целом, а НПР — к отдельному предложению, см. [Tommola 2003]. То, что в одном из них фигурирует эпитет *косвенный*, а в другом — *прямой*, объясняется тем, что тут совмещаются признаки прямой и косвенной речи. Есперсен называет несобственную прямую речь представленной речью или представленным сознанием (represented consciousness), см. [Есперсен 1958: 338–349].

Чаще все-таки персонаж. Субъектом незнания тоже чаще бывает персонаж, чем повествователь, см. в [Падучева 1997] о незнающем повествователе у Гоголя и Набокова.

Пример первичного эгоцентрика — **вводный оборот** с диалогическим значением: *в самом деле*. В соответствии с известным анализом В.В.Виноградова [Виноградов 1980], *в самом деле* в конце первой главки «Пиковой дамы» Пушкина имеет повествовательную интерпретацию и выдает присутствие повествователя, который как бы вступает в диалог с персонажем:

(4.2) *В самом деле*, уж рассветало.

Лицо персонажа — тоже первичный эгоцентрик: 3 лицо персонажа отражает точку зрения повествователя как заместителя говорящего.

Первичным эгоцентриком с повествовательной интерпретацией является **прош. время** глагола несов. вида: эта форма в нарративе означает одновременность; ясно, что это не персональная интерпретация, поскольку для персонажа время настоящее — что особенно хорошо видно, если персонаж выступает в некоторой сцене как субъект восприятия. Пример из повести М.Ю.Лермонтова «Вадим» (фрагмент приводится в [Шмид 2005] с другой целью и интерпретацией):

(4.3) Но третья женщина приблизилась к святой иконе, — и… он *знал* эту женщину!.. Ее кровь — *была* его кровь, ее жизнь — *была* ему в тысячу раз дороже собственной жизни, но ее счастье — не *было* его счастьем; потому что она *любила* другого, прекрасного юношу; а он, безобразный, хромой, горбатый, не *умел* заслужить даже братской нежности; он, который *любил* ее одну в целом божьем мире, ее одну, — который за первое непритворное, искреннее: люблю — с восторгом бросил бы к ее ногам всё, что имел, свое сокровище, свой кумир — свою ненависть!.. Теперь *было* поздно.

Он *знал*, твердо *был* уверен, что ее сердце отдано... и навеки... Итак, она для него погибла... и со всем тем, чем более *страдал*, тем меньше *мог* расстаться с своей любовью... потому что эта любовь *была* последняя божественная часть его души и, угасив ее, он не мог бы остаться человеком.

В отличие от времени, **вид** — вторичный эгоцентрик, и формы вида интерпретируются через персонажа: НСВ обозначает нечто синхронное наст. моменту персонажа, СВ — то, что совершилось до этого момента.

4.2. Свободный косвенный дискурс. Свободный косвенный дискурс[8] — это текст, в котором первичные эгоцентрики могут иметь

[8] См. обзор литературы о свободном косвенном дискурсе в [Tommola 2003].

персональную интерпретацию. Единственный эгоцентрик, который имеет в СКД повествовательную интерпретацию, — это лицо персонажа: оно должно быть третье (в этом смысле повествователь должен принимать участие в интерпретации текста — несмотря на известную формулу А.Банфилд, что в СКД повествователь «сходит со сцены», см. [Banfield 1982]). В английском языке почти обязательно имеет повествовательную интерпретацию также грамматическое время; оно в СКД, как правило, прошедшее: его назначение — дистанцировать читателя от происходящего. Но у всех других первичных эгоцентриков — вводных слов с метаязыковым значением, косвенных речевых актов, вплоть до иронии, косвенных вопросов, сослагательного наклонения и императива и т. д. — подразумеваемым субъектом может быть персонаж:

(4.4) Когда он [Юра] лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди прочего думал и об этом. *Кто такой Воскобойников, чтобы так далеко заводить свое вмешательство? Хороша также и мама* (Пастернак. Доктор Живаго);

(4.5) *Ему бы только* вывезти теперь своих глухарей на Селигер, у него там база, да денег, конечно, нет («Столица», 1997.07.01).

Повествовательную интерпретацию имеет **лицо** — оно должно быть третье, как если бы это была косвенная речь:

(4.6) ...и рассказал все по порядку. Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно *явился* к Степе и *предложил* свои гастроли в варьете. Степа *позвонил* в московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот *согласовал* (Степа побледнел и заморгал глазами), *подписал* с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), *условился*, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... Вот Воланд и пришел! (Булгаков. Мастер и Маргарита).

Это не значит, что 1 лицо в составе НПР вовсе невозможно; оно возможно, если не обозначает субъекта речи/мысли. Так, в примере (4.7) 1 лицо обозначает адресата речи — который в прямой речи должен был бы быть обозначен 2 лицом; «я» объясняется тем, что весь текст выдержан в режиме перволичного повествования:

(4.7) Он сказал: если *я* хочу достать яблочек, то лучше всего *мне* говорить со сторожихой, тетей Дашей. Вон-вон ее дом на отшибе! только не рано ли *я* еду? Апорт-то ведь еще не снимали (Домбровский. Хранитель древностей).

Итак, обязательным признаком НПР является то, что субъект речи-мысли выражен 3 лицом, т.е. имеет повествовательную интерпретацию. Все остальные первичные эгоцентрики могут иметь персональную. Например, **время**; пример из [Ковтунова 1953]:

(4.8) Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. *Ведь* это первый раз в жизни он *слышит* такие грубости (Чехов. Человек в футляре).

Как справедливо пишет И.И.Ковтунова, наст. время *слышит* заставляет классифицировать этот текст как НПР. Персональная интерпретация *ведь* подтверждает этот анализ.

Особенно часто наст. время, сигнализирующее НПР, возникает в модальных контекстах:

(4.9) Антон Петрович прошел в гостиную. Он решил спать там. В спальне, конечно, *нельзя* (Набоков. Подлец).

Открытием в теории нарратива можно считать обнаружение того факта, что персональную интерпретацию в НПР может иметь **утвердительная модальность**. Сам факт наличия субъекта (всегда подразумеваемого) у утвердительной модальности (т.е. индикатива) не был до сих пор предметом внимания. То, что субъект есть, скажем, у оптатива, не вызывает сомнений — естественно, что у желания имеется субъект[9]. Нельзя, однако, не признать, что и у утвердительной модальности тоже должен быть субъект: как известно, на утверждающем лежит ответственность за его утверждение — он несет так называемое эпистемическое обязательство. В традиционном нарративе субъектом эпистемического обязательства, которое входит в семантику индикатива, всегда является говорящий, так что индикатив — первичный эгоцентрик. Между тем в НПР индикатив может оказаться, как и другие первичные эгоцентрики, в распоряжении 3 лица. Рассмотрим пример из [Tammi 2003]:

(4.10) He [Frank Churchill] stopped again, rose again, and seemed quite embarrassed. — He was more in love with her than Emma had supposed... (Джейн Остин. Эмма).

Второе предложение этого текста передает впечатление Эммы — которое, как читатель скоро узнает, не соответствует действительно-

[9] См. в [Плунгян 2000: 317] о том, что грамматические показатели модальности описывают, в разных языках, точку зрения либо субъекта, либо говорящего.

сти. Способ, которым автор пользуется для того, чтобы временно ввести читателя в заблуждение, состоит в использовании НПР: как оказывается, субъектом индикатива в данном контексте является не повествователь, который несет ответственность за свои утверждения, а персонаж, который имеет право ошибаться.

В примере (4.11) (из [Ковтунова 1953], с иной интерпретацией) тот факт, что текст описывает точку зрения персонажа, а не «объективную реальность», выявляется — на лингвистическом уровне — в последней фразе: предикат ментального состояния *ясно* имеет, по общему правилу о вторичных эгоцентриках (см. раздел 3.2.1), подразумеваемым субъектом персонажа. А тогда все, что читатель поначалу принимал за реальность, является не более чем содержанием сознания того же персонажа. Иными словами, в (4.11), как и в (4.10), эффект расхождения сказанного с действительностью основан на том, что субъектом индикатива оказывается персонаж:

(4.11) Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было так взглянуть на нее, как он взглянул, когда входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаянья, и пройти с этим равнодушно-спокойным лицом? Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, потому что любил другую женщину — это было *ясно* (Толстой. Анна Каренина).

Утвердительная модальность — это еще один первичный эгоцентрик, который в НПР может поступать в распоряжение персонажа 3 лица, т.е. иметь персональную, а не повествовательную интерпретацию в СКД.

5. Заключение. Итак, мы рассмотрели два вида высказываний: высказывания от 1 лица, т.е. такие, которые могут быть сделаны в речевом дискурсе — в канонической коммуникативной ситуации, где есть говорящий и слушающий, и, условно говоря, высказывания НЕ от 1 лица, т.е. предложения, которые входят в нарративный текст, который не предполагает полноценного говорящего. В обоих случаях важную роль играет оппозиция говорящий — наблюдатель.

Наблюдатель — это роль, возникающая в актантной структуре языковой единицы как следствие наличия у нее определенного смыслового компонента. Иными словами, наблюдатель — это семантический актант. По своим функциям наблюдатель во многом подобен говорящему, но отличается тем, что безразличен к режиму интерпретации: вторичные

эгоцентрики, т.е. слова и категории, предполагающие наблюдателя, интерпретируются одинаково в речевом режиме и в нарративном.

С формальной точки зрения наблюдатель — это нулевой знак дейктической природы; он отсылает: в речевом режиме к говорящему, а в нарративном — к какому-то другому лицу, так или иначе присутствующему в пространстве текста или его окрестностях. Поскольку наблюдатель — это нулевой знак, о присутствии наблюдателя в семантическом представлении предложения можно судить лишь по косвенным проявлениям.

Понятие наблюдателя позволяет дать объяснение аномалиям, возникающим в речевом режиме и пропадающим в нарративном. Оппозиция говорящий — наблюдатель позволяет разграничить первичную и вторичную эгоцентричность и дать четкое определение традиционному нарративу в его отличии и от речевого дискурса, и от несобственной прямой речи.

В статье [Tammi 2003] поставлен вопрос: можно ли лингвистическими средствами идентифицировать СКД; иными словами, можно ли охарактеризовать это явление, пользуясь лишь чисто лингвистическими категориями?

Такая возможность предусматривалась в работе [Banfield 1982], которая выдержана в традициях порождающей грамматики. Банфилд приводит примеры «unspeakable sentences»; в частности, такие, где несобственная прямая речь однозначно распознается по тому, что возникает грамматическая аномалия. Так, в (5.1) грамматическое время относит ситуацию к прошлому, а наречие времени — к настоящему:

(5.1) Where *were* her paints *now*? 'Где же были сейчас ее краски?'

Однако НПР не всегда можно распознать по формальным признакам. Скажем, предложение (4.10) не нарушает каких бы то ни было правил грамматики. Да и (3.1) неправильно только в рамках речевого режима.

Еще пару десятков лет назад казалось, что проблему СКД можно решить на базе такого рода аномалий. Сейчас очевидно, что это не так. Пекка Тамми [Tammi 2003] отвечает на свой вопрос отрицательно и предлагает следующую серию примеров (привожу в переводе с англ. языка на русский):

(i) Я счастлив быть *сегодня* последним докладчиком конференции;

(ii) Он сказал, что был счастлив быть *в тот день* последним докладчиком конференции;

(iii) Он был счастлив в роли последнего докладчика конференции *сегодня*.

В примере (iii) дейктическое *сегодня* однозначно идентифицирует фразу как НПР, но если убрать *сегодня*, то нарративный статус предложения перестает быть однозначным — предложение (iv) вполне правильно и в речевом режиме, и в нарративе 3 лица:

(iv) Он был счастлив в роли последнего докладчика конференции.

При этом смысл предложения меняется: в (iii) мнение однозначно мое, а в (iv) оно может принадлежать другому человеку, который вправе ошибаться. Что, казалось бы, подтверждает тезис о невозможности определения СКД.

В ряде работ по поэтике предлагалось определение СКД в духе Бахтина, который считал, что в основе СКД лежат «диалогические отношения между дискурсами». Я считаю, что можно обойтись без такой сложной сущности, как диалог между текстами: в норме диалог имеет место между людьми. Определение СКД в его отличии от речевого режима и от нарратива 3 лица может быть сформулировано вполне точно, но не на уровне формальной структуры текста, а на уровне интерпретации. Я предлагаю следующие определения речевого дискурса, традиционного нарратива и СКД, сформулированные на базе понятий «эгоцентрик» и «режим интерпретации», а также деления эгоцентриков на первичные и вторичные.

В РЕЧЕВОМ ДИСКУРСЕ первичные эгоцентрики интерпретируются только через говорящего; вторичные же допускают обе интерпретации.

В ТРАДИЦИОННОМ НАРРАТИВЕ первичные эгоцентрики изгоняются из тех частей, которые входят в собственно нарратив, т.е. в диегетическое пространство текста; в собственно нарративе допустимы только вторичные эгоцентрики; появление первичных выдает вмешательство повествователя, т.е. выход за пределы собственно нарратива.

Наконец, СВОБОДНЫЙ КОСВЕННЫЙ ДИСКУРС — это текст, в котором персонаж упоминается как 3 лицо (т.е. с точки зрения повествователя), а первичные эгоцентрики находятся в распоряжении субъекта 3 лица, как если бы этот субъект был говорящим. Иначе говоря, СКД — это текст, в котором первичные эгоцентрики могут иметь персональную интерпретацию.

Так, пример (5.1) аномален только при интерпретации в речевом режиме — в контексте СКД прош. время глагола может быть понято как наст. персонажа, и противоречие снимается. Вопрос при этом понимается как обращенный «третьеличным говорящим» скорее к самому себе, чем к другому лицу. И местоимение *ее* отсылает скорее к «третьеличному говорящему», чем к кому-то постороннему.

В [Tammi 2003] (как и в [Шмид 2003]) вся терминология ориентирована на ту или иную атрибуцию **текста в целом**: дискурс идентифицируется как принадлежащий повествователю (narrator's) или персонажу (character's). Между тем, в одном тексте разные эгоцентрики могут иметь разную интерпретацию (одни персональную, другие — повествовательную), и лингвистическую значимость имеет интерпретация каждого эгоцентрического элемента в отдельности.

Итак, можно думать, что определение повествовательных форм в рамках лингвистических категорий все-таки возможно. Для общей теории языка наличие объекта такой структуры как несобственная прямая речь имеет принципиальное значение: оказывается, что несобственная прямая речь — это такой текст, специфика которого не может быть раскрыта на уровне формы, а выявляется только на уровне интерпретации*.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян 1980 — *Апресян Ю. Д.* Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ⇔ Текст». Wien, 1980.

Апресян 1986 — *Апресян Ю. Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.

Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.

Булыгина 1982 — *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 7–85.

Виноградов 1980 — *Виноградов В. В.* Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980.

Есперсен 1958 — *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958. Англ. ориг.: *Jespersen O.* The Philosophy of Grammar. London, 1924.

Зализняк, Падучева 1982 — *Падучева Е. В., Зализняк Анна А.* Семантические явления в высказываниях от 1-го лица // Finitis duodecim lustris. Сб. статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982.

Ковтунова 1953 — *Ковтунова И. И.* Несобственно-прямая речь в русском литературном языке // Русский язык в школе. 1953. № 2. С. 18–27.

Лотман 1968 — Проблемы художественного пространства в прозе Гоголя // Труды по русской и славянской филологии. XI. Тарту, 1968 (Уч. записки ТГУ, вып. 209).

* Автор выражает благодарность Марине Витальевне Филипенко за замечания и поправки.

МАС-1981 — Словарь русского языка. В 4 т. / Ред. А. П. Евгеньева. М., 1981. (= «Малый» академический словарь).

Падучева 1985 — *Падучева Е. В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Падучева 1996 — *Падучева Е. В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996. Глава II.6. Коммуникативный статус вводных предложений.

Падучева 1997 — *Падучева Е. В.* Кто же вышел из «Шинели» Гоголя? (о подразумеваемых субъектах неопределенных местоимений) // Известия РАН. 1997. № 2. С. 20–27.

Падучева 2006 — *Падучева Е. В.* Наблюдатель: типология и возможные трактовки. Труды международной конференции Диалог 2006. С. 403–413.

Плунгян 2000 — *Плунгян В. А.* Общая морфология. М., 2000.

Успенский 1970/2000 — *Успенский Б. А.* Поэтика композиции. М., 1970; 2-е изд. СПб., 2000.

Ушаков 1935 — Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д. Н. Ушакова. М., 1935.

Шмид 2003 — *Шмид В.* Нарратология. М., 2003.

Banfield 1982 — *Banfield A.* Unspeakable sentences: narration and representation in the language of fiction. Boston etc.: Routledge & Kegan Paul, 1982. Introduction & Ch. 1.

Fillmore 1968 — *Fillmore Ch. J.* Lexical entries for verbs // Foundations of language. 1968. V. 4. № 4.

Fontanille 1989 — *Fontanille J.* Les espaces subjectifs. Introduction á la sémiotique de l' observateure (discours — peinture — cinema). Paris: Hachette, 1989.

Grishakova 2002 — *Grishakova M.* Towards the semiotics of the observer // Sign systems studies. V. 30.2. 2002.

Jakobson 1957 — *Jakobson R.* Shifters, verbal categories and the Russian verb. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1957.

Lyons 1977 — *Lyons J.* Semantics. Vol. 1–2. London etc.: Cambridge Univ. Press, 1977.

Tammi 2003 — *Tammi P.* Risky business: probing the borderlines of FID. Nabokov's *An affair of honor* (*Podlec*) as a test case // Linguistic and literary aspects of free indirect discourse from a typological perspective. Tampere: Tamperen yliopisto taideaineiden laitos, 2003. P. 41–54.

Tommola 2003 — *Tommola H.* Aspects of free indirect discourse and the limits of linguistic analysis // P. Tammi, H. Tommola (eds.). Linguistic and literary aspects of free indirect discourse from a typological perspective. Tampere: Tamperen yliopisto taideaineiden laitos, 2003. P. 41–54.

А. А. Плотникова

Этнолингвистика и лингвогеография (на материале южнославянских языков и традиций)

В последнее время этнолингвистика как особая сфера языкознания (в контакте со смежными дисциплинами — фольклором и этнографией) все чаще включает методы лингвогеографического картографирования. Своего рода связующим звеном здесь выступает терминологическая лексика духовной культуры, поскольку в славянском языкознании установление изолекс (наряду с другими изоглоссами — фонетическими, грамматическими) на сегодняшний день — один из признанных инструментов в ареальных исследованиях[1]. Вместе с тем терминологическая лексика традиционной народной духовной культуры представляет собой сложный объект для изучения, поскольку требует тщательного исследования экстралингвистических характеристик термина из сферы народной мифологии, календарной, семейной и сельскохозяйственной обрядности с тем, чтобы картографируемые лексические явления были соотносимыми между собой единицами в их отношении к денотату[2].

Авторская работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Лексические, семантические и культурные балканизмы: структура и география» (№ 05-04-04070а).

[1] Как известно, картографирование лексико-семантических явлений помогает прояснить или уточнить диалектное членение того или иного языка, см., например, одну из новаторских для своего времени работ: [Клепикова, Попова, Усачева 1968]. Создание в последнее время лексических диалектных атласов одного (например, «Русский лексический атлас», М., 2006) и нескольких языков (например, ОКДА, ОЛА) свидетельствует об усиливающемся внимании лингвистов к лексико-семантическому уровню языка.

[2] Так, невозможно без выявления комплекса значимых признаков определение того, к какому классу принадлежит какой-либо мифологический персонаж в народных представлениях. Например, для картографирования наименований южнославянской ведьмы (ведьмаря) следует рассмотреть все контексты, в которых актуализируются признаки данного персонажа, чтобы отличить его от иных «похожих» демонов — знахарки, «моры» («зморы»), вампира и т. д. (см. об этом [Плотникова 2004]).

Несмотря на то, что далеко не все опыты комбинированных лингво-этнографических атласов можно считать в полной мере удачными[3], разработка данного направления представляется весьма перспективной, поскольку, во-первых, оно позволяет этнографам увидеть всю глубину исследуемых экстралингвистических явлений в их преломлении в языке и отражении на лингвистической карте; во-вторых, параллельный анализ и сопоставление изолекс, изосем (с одной стороны) и изодокс (с другой) дает возможность и лингвистам, и этнографам осуществлять определение, описание и интерпретацию культурно-языковых ареалов на материале лингвогеографических данных, обработанных методами разных дисциплин.

В последнее время назрела необходимость в определении самого термина «**этнолингвистическая карта**». Термин зародился вместе с развитием этнолингвистики, прежде всего, в трудах московской этнолингвистической школы, основателем которой был акад. Никита Ильич Толстой[4]. Московские этнолингвисты используют картографирование как наиболее полную географическую иллюстрацию исследуемых этнолингвистических явлений[5], как средство анализа происхождения культурной терминологии[6] и поиска архаических моделей на-

---

[3] См. об этом подробно в: [Бернштейн 2000: 195–199].

[4] Основные работы исследователей московской этнолингвистической школы, в том числе выполненные в лингвогеографическом аспекте, см. в последнем выпуске библиографии школы [Славянская этнолингвистика 2004]. Проблематике выполнения этнолингвистических карт на полесском материале посвящены и специальные разделы сборников «Славянский и балканский фольклор» [СБФ 1986: 3–62, СБФ 1995: 5–258].

[5] С. М. Толстая, завершая обстоятельное исследование функций картографирования в разных гуманитарных дисциплинах (определение генезиса, истории, типологии явлений, характеристика территории и др.), заключает: «Карта — всего лишь средство и способ представления результатов, но ее значение как стимула систематической собирательской работы, как „контролера“ полноты и качества материала и как источника научных импульсов для исследователя трудно переоценить» [Толстая 1995: 6].

[6] Так, например, составленная Т. А. Агапкиной карта «Нави и *Навский день*» подталкивает исследовательницу к мысли о том, что «названия карпато-украинских и украинских нявок и мавок (а возможно, и южнославянских *навий*) именно в значении демонов-мертвецов послужили основой при образовании хрононимов типа *Навский Великдень*. Подтверждением этому служит ареальное соотношение хрононима и имени мифологического персо-

родной культуры[7], а также как первый шаг при определении и интерпретации культурно-языковых ареалов, например, в пространстве Южной Славии[8]. Этнолингвистическая карта, т.е. карта, в основе которой лежит терминологическая лексика народной духовной культуры и связанный с ней цельный фрагмент культурно-языковой традиции исследуемой территории, все чаще применяется к характеристике ареала исследуемого явления, приобретая тем самым новое значение. Благодаря широкому спектру дифференциальных признаков этнолингвистическая карта может быть полезна и в ареальных исследованиях иных смежных дисциплин.

Этнолингвистика как раздел языкознания опирается на лингвистические (шире — семиотические) методы исследования, вполне закономерно вбирая в себя новейшие лингвогеографические достижения. В настоящее время в славянской лингвогеографии детально отработана методика составления таких карт, как лексические, семантические, мотивационные, а кроме того, все чаще встречаются и комбинированные — лексико-семантические, мотивационно-семантические и т. д. К методике создания всех этих типов карт обращаются и этнолингвисты. Вместе с тем этнолингвистические исследования нацелены на изучение и самих денотатов и их характеристик, поэтому на этнолингвистической карте, как правило, бывает представлена и содержательная сторона явления народной духовной культуры, от минимально-формального указания на наличие/отсутствие самого обряда, ритуала, верования до презентации детальных его характеристик. Этнокультурный аспект явления — закономерная составляющая этнолингвистической карты. В результате комбинации различных признаков исследователь оперирует комплексными картами.

Типы карт, которые могут быть использованы в этнолингвистических исследованиях (простые и комплексные)[9].

А. *Лингвистические*: 1. Лексические. 2. Семантические. 1/2. Лексико-семантические. 3. Мотивационные. 3/1. Мотивационно-лексические. 3/1/2. Мотивационно-лексико-семантические[10].

нажа — дополнительное распределение хрононима и мифонима в восточнославянском этнодиалектном пространстве» [Агапкина 2002: 298].

[7] См. анализ «русальского» комплекса на основании данных картографирования календарной терминологии [Там же: 342–349].

[8] См. [Плотникова 2004: 63–338].

[9] Характеристики типов карт (**А**, **Б**, **В**) являются необходимыми компонентами соответствующего типа карты.

[10] Признаки карт «семантические» и «мотивационные», указанные в группе **А**, в дальнейшем изложении также понимаются как лингвистические, тогда

Б. *Этнокультурные*[11]: 4. Этнокультурные (оперирующие явлениями культуры и их видами, характеристиками). 4/1. Этнокультурно-лексические. 4/2. Этнокультурно-семантические. 4/3. Этнокультурно-мотивационные. 4/1/2. Этнокультурно-лексико-семантические. 4/3/1. Этнокультурно-мотивационно-лексические. 4/3/2. Этнокультурно-мотивационно-семантические. 4/3/1/2. Этнокультурно-мотивационно-лексико-семантические.

В. *Фольклорные*: 5. Фольклорные (относящиеся к изучению особенностей фольклорного текста). 5/1. Фольклорно-лексические. 5/2. Фольклорно-семантические. 5/3. Фольклорно-мотивационные. 5/1/2. Фольклорно-лексико-семантические. 5/1/2/3. Фольклорно-мотивационно-лексико-семантические. 5/4. Этнокультурно-фольклорные. 5/4/1. Этнокультурно-фольклорно-лексические. 5/4/2. Этнокультурно-фольклорно-семантические. 5/4/3. Этнокультурно-фольклорно-мотивационные. 5/4/1/2. Этнокультурно-фольклорно-лексико-семантические. 5/4/1/2/3. Этнокультурно-фольклорно-мотивационно-лексико-семантические.

По всей видимости, нет необходимости подробно останавливаться на картах типа **А**, которые аналогичны традиционным для лингвистических атласов лексическим, семантическим и мотивационным картам, с той только разницей, что в этнолингвистических исследованиях эти карты представляют географию названий (а также и семантики или мотивирующего признака наименования) явления традиционной народной духовной культуры[12]. По поводу первого типа карт выска-

---

как встречающееся в этнолингвистических исследованиях картографирование «*семантики* праздника (обряда, ритуала)» или «*мотивировок* обрядовых действий» и под. характеризуется в докладе в качестве этнокультурного (**Б**) признака карты.

[11] Термин «этнокультурная карта» (вместо, например, «этнографическая карта») выбран нами в силу специфики самого предмета этнолингвистики, ориентированной на изучение явлений традиционной народной *духовной* культуры.

[12] На болгарском материале выполнены многочисленные лексические карты И.А.Седаковой: «Хрононимы Рождества», «Терминология рождественского полена», «Терминология рождественских хлебов», «Терминология святочных демонов», «Обозначения святок», «Терминология колядных благопожеланий» [Седакова 1998: 303–313] и с некоторым увеличением ареала исследования в сторону Македонии, восточной и южной Сербии те же карты — «Терминология святочных демонов», «Обозначения святок» [Седакова 2002: 500, 501]; см. также некоторые из последних публикаций карт того же автора

жем лишь несколько замечаний, связанных с лексическими, семантическими, лексико-семантическими и мотивационными картами в этнолингвистических исследованиях южнославянского пространственного континуума [13]. Так, например, к лексическим картам следует отнести карту «Названия женщины-гостьи на родинах» [Плотникова 2004: 538–540], где представлена сербская, болгарская и македонская диалектная лексика, обозначающая женщину-гостью на родинах и по внутреннему значению связанная с названиями праздника по случаю рождения ребенка (см. предшествующую этнолингвистическую карту «Праздник по случаю рождения ребенка: названия, структура»). На карте «Демоны, определяющие судьбу» [Там же: 694–711] показаны наименования мифологических персонажей — предсказателей судьбы; эту карту, лишь на первый взгляд — лексическую, следовало бы характеризовать уже как комплексную этнокультурно-лексическую (4/1), поскольку разными типами знаков (с указанием на это в легенде к карте) обозначены наименования женских и мужских персонажей, что для ареального членения Южной Славии оказывается релевантным (мужские персонажи характеризуют центр всего ареала). К семантическим картам можно отнести карту Т. А. Агапкиной «Нави и *Навский день*», охватывающую не только южнославянский, но и восточнославянский ареал [Агапкина 2002: 298] [14]. Примером лексико-семантических карт может служить карта «Хрононимы

«Терминология роженицы», «Именование некрещеных младенцев», «Терминология очистительной молитвы» [Седакова 2007: 369–371]. Такого же типа лексические карты в работе Е. С. Узеневой по болгарской свадебной обрядности: «Помолвка», «Знамя», «Обрядовый хлеб», «Деревце» и др., представляющие разнообразие терминологической лексики в ареальной перспективе [Узенева 2001]. Эти подборки карт, подобно традиционным лексическим атласам, хорошо показывают диалектное членение ареала по данным лексики народной духовной культуры.

[13] Примеров мотивационно-лексических и мотивационно-лексико-семантических карт в этнолингвистических исследованиях южнославянского культурно-языкового пространства пока не существует, однако есть примеры этих видов карт с дополнительным компонентом «этнокультурно-», а также и «фольклорно-» (см. далее).

[14] На карте представлены диалектные значения от **nav-*: ‘мифологический персонаж’, ‘название четверга перед Пасхой’, ‘название Пасхи’, однако, к сожалению, в легенде оба хрононима даются без уточнения значений, которое читатель может найти лишь в тексте монографии.

Рождества», где межъязыковой термин *+božić* и дериваты от **kolęd-* показаны в значениях ‘Рождество’ и ‘Сочельник’; здесь же даются и иные названия Рождества — *+kračun,* словен. *Sveti dan* [Плотникова 2004: 366–374]. К тому же типу относится и карта «Вампир, ходячий покойник: названия, типы», где представлены наименования *+vampir* в значениях ‘вампир, ходячий покойник’, ‘дьявол, нечистый’, *+vukodlak* в значениях ‘вампир, ходячий покойник’, ‘волк-оборотень’, ‘колдун’, ‘нечистый дух’, а также и другие названия вампира [Там же: 634–645]. При этом информация о типах самого мифологического персонажа на карте представлена лишь имплицитно, как противопоставление *+vampir/+vukodlak*, а в описании материала к карте содержится более подробная характеристика данных персонажей. Характерными примерами мотивационных карт в этнолингвистических исследованиях южнославянского ареала служат взаимно дополняющие друг друга карты «Голошение по покойному: термины с внутренней формой ‘плакать’, ‘горевать, скорбеть’» и «Голошение по покойному: термины с внутренней формой ‘перечислять’, ‘называть’, ‘петь’, ‘кричать’, ‘выть’» [Там же: 570–581]. Из описания материала к картам следует, что мотивационный признак, отраженный в наименовании голошения, в большинстве случаев соответствует и самому типу голошения (например, речитатив с перечислением достоинств покойного, событий его жизни или специальный плач на высоких нотах, и др.).

Комплексные карты (типы Б и В) особенно показательны для определения понятия «этнолингвистическая карта» в представлении московской этнолингвистической школы[15]. Следует отметить, что большинство

---

[15] К сожалению, нельзя согласиться с позицией А. Н. Соболева, недооценивающей возможности комбинированных этнокультурно-лингвистических карт, созданных на основе комплексного изучения лексического, этнографического и фольклорного материала, см. [Соболев 2005а: 224–225, 227]. Впрочем, А. Н. Соболев очевидно непоследователен в своей позиции: составленный им том МДАБЯ «Лексика духовной культуры», разумеется, включает «комбинированные лингво-этнографические карты» [Соболев 2005б: 9, 17, 57, 79, 85, 93, 101, 103, 105, 135, 137, 175, 183, 231, 233, 235, 277, 357, 359]. Особенно показательны карты, именуемые, например, «Названия талисмана, защищающего от сглаза, демонов, болезней» и включающие информацию: «О — есть реалия, нет наименования» [Там же: 395]. В этом же томе лингвистического атласа встречаются и собственно этнокультурные карты, без каких-либо указаний на отражение явлений культуры в языке: например, «Обряд размешивания углей в очаге, совершаемый (первым) гостем» (представлено календарное

созданных к настоящему времени этнолингвистических карт относятся к этнокультурно-лексическим (4/1) и, наряду с представлением о названиях того или иного явления народной культуры, включают указание на наличие/отсутствие самого обряда, ритуала, поверья, а также на те или иные реальные характеристики обряда, ритуала, поверья. Так, этнолингвистическая карта «„Мышиный“ день: названия, время празднования», помимо лексических данных, содержит информацию о ритуалах изгнания мышей при отсутствии специального названия праздника, а также о редком для балканских славян весеннем периоде празднования «мышиных» дней [Там же: 340–347]. Именно эта информация показывает периферийные зоны бытования «мышиных» дней и соответствующих ритуалов. Карта «Рождественский фигурный хлеб» включает данные о распространении названий *закони, закончићи, законице*, родовых наименований (+*колач* и др.), а также информацию о количестве выпекаемых фигурных хлебцев (большое число, ограниченное число, один или два вида фигурного хлеба) [Там же: 386–396], что характеризует территориальные типы южнославянской народной культуры по совокупности лексических и этнокультурных признаков. Карта «Рождественское полено: названия, обычаи» [Там же: 398–411] направлена на презентацию распространения наименований сжигаемого под Рождество полена у южных славян, но отражает также и случаи фиксации этого ритуала без упоминания названия полена, а кроме того, обычай заворачивать полено *бадњак* в мужскую или женскую рубашку, полотно, что связано с антропоморфными архаическими представлениями об этом ритуальном предмете. Компактный ареал этого обычая, охватывающий часть восточной Сербии (Пиротский, Княжевацкий, Алексинацкий и Лесковацкий края) и некоторые местности в северо-западной Болгарии, подтверждает наличие в области сербско-болгарского пограничья особой общей культурной зоны. Эта зона прослеживается и на карте «Женские духи болезни, опасные для роженицы и новорожденного» [Плотникова 2006а: 17], из которой видно, что в пределах распространения наименования *бабице* выделяется четкий по границам сербско-болгарский микроареал по признаку ‘вредоносность данных персонажей только для роженицы’. Представление на карте «Рождественская жертва» [Плотникова 2007: 238] наименований животного

и обрядовое время исполнения ритуала), «Обычай изготовления пасхального хлеба, украшенного яйцом» (указывается наличие обычая), «Свадебное деревце» (представлено наличие свадебного деревца) и многие другие.

(овцы или поросенка) в совокупности с указанием на обычай резать поросенка при отсутствии культурного термина дает представление об архаической славянской зоне на востоке Южной Славии, по всей видимости, в этом случае не охваченной волной балканских инноваций. Репрезентативность в плане ареальных противопоставлений комплексной этнокультурно-лексической карты зависит от правильно выбранного определяющего (релевантного) этнокультурного признака [16].

Другие виды комплексных карт, включающих этнокультурный компонент, встречаются более редко, но тем значительнее их роль в презентации ареального членения южнославянского ареала. К эксклюзивным этнокультурно-семантическим картам (4/2) следует отнести «Новогодние дружины: типы, названия от +*surva*» [Плотникова 2004: 420–433], где представлены названия от +*surva* как обозначение новогодних дружин колядующих традиционного типа, т.е. исполняющих ритуальное битье домочадцев палочками, ветками и пр.,

[16] Без подробной характеристики укажем ряд карт, решающих аналогичные задачи ареального характера в рамках Южной Славии: «„Мартеница“: названия, гадания, обычаи», «Весенне-летние девические обходы: варианты, названия», «Праздник по случаю рождения ребенка: названия, структура», «Послед: названия, магические действия», «Жертвенное животное на поминках: названия, обычаи», «Поминки в течение календарного года», «Мифологические персонажи типа *вила*: названия, поверья», «Мифический защитник земельных угодий, вступающий в борьбу с демонами непогоды», «Мифический хозяин места: названия, поверья» и др. [Плотникова 2004]. На болгарском, македонском и частично сербском материале построена карта Е.С.Узеневой «Распространение наименований праздника св. Трифона», где с помощью сложной системы условных знаков наряду с терминологической лексикой названий праздника представлена и «семантика праздника» (т.е. его основное содержание, например, успех в виноградарстве, защита от вредителей, гадания о погоде и пр.) [Узенева 2006: 520]. На болгарском материале создана и карта «Терминология праздника первых шагов ребенка» И.А.Седаковой, где наряду с дериватами от *стъп-* и др. дается информация об отсутствии термина при наличии праздника, однако ярко выраженных географических противопоставлений по данному признаку в рамках территории, ограниченной лишь болгарской традицией, она не показывает (см. [Седакова 2007: 378]). Две другие этнокультурно-лексические карты в монографии И.А.Седаковой «Мотив повтора» и «„Субботний“ человек» позволяют выявить диалектные особенности болгарской культурно-языковой традиции на основе комбинирования лингвистических (лексических) и экстралингвистических признаков (см. [Там же: 376–377]).

и как обозначение новогодних дружин колядующих без ритуального предмета — палочки, ветки и пр. Кроме того, на этой же карте отмечены: функционирование терминологической лексики от *+surva* только в ритуальной речи новогодних дружин колядующих; названия от *+surva* как обозначение новогодних дружин ряженых, имитирующих свадьбу; названия от *+surva* как обозначение новогодних дружин колядующих переходного типа (создающих шум, с обрядовым реквизитом, но без масок); названия от *+surva* как обозначение новогодних дружин ряженых иного типа. Комбинация условных знаков двух типов (*+surva* в основе названий колядующих и *+surva* в основе наименований ряженых) показывает преобладание первых на собственно восточной части — преимущественно на территории Болгарии, а вторых — на территории Македонии, южной Сербии и в прилегающих юго-западноболгарских регионах. Этнокультурно-мотивационный тип (4/3) хорошо представлен картой «Опасные для людей следы (места) пребывания персонажей типа *вила*» [Там же: 626–632]. Знаки на этой карте отражают, во-первых, названия следов (или мест пребывания) с внутренней формой 'круг (танец) демонов', 'место танца демонов', 'гумно, ток' (сходные типы знаков на карте), 'стол, трапеза демонов' (иной тип знака), во-вторых, представления о круге после танца демонов, столе, трапезе, не выраженные лексически. Такой подход позволяет составить более полную ареальную картину народных поверий, как отраженных в языке, так и не выраженных лексически. Терминологическая лексика, мотивированная представлениями о трапезе (столе) данных мифологических персонажей, как показывает карта, характерна для востока южнославянского мира, тогда как терминологическая лексика, связанная с поверьями о следах танца «вил», тяготеет к центральной части Южной Славии. Карта включает и дополнительную этнокультурную информацию, связанную с представлениями о деревьях (кустах, растениях) как месте сбора (пребывания) демонов и об иных объектах (тропинке, колодце и пр.), «отмеченных» следами пребывания демонов. При включении в подобную карту информации о распространении названий тех или иных явлений она может быть охарактеризована как этнокультурно-мотивационно-лексическая (4/3/1). Такова этнолингвистическая карта «Ребенок — участник свадьбы» [Там же: 558–569]. Названия самого маленького участника свадьбы мотивированы ритуальными действиями невесты и других участников, которые сажают его на колени молодой (*+nakolenče* и под., термины от *+skut*-и др.), на коня (дериваты от *+konj*), в повозку (дериваты от серб. *kola* 'повозка'); невеста ребенка качает

(термины от *+niš-*), шлепает (серб. *шљапенче*, *шљапавче*) и др. Дериваты от названий частей тела (и одежды) человека (*+nakolenče,* босн. *наручник,* хорв. *nakrilče,* термины от *+skut-*) представлены сходными знаками (квадрат со штриховкой разного типа), что позволяет визуально вычленить мотивационный признак карты, указывающий на архаические (периферийные) ареалы Южной Славии (в отличие от «центра», где известны лишь дериваты от *+konj-* и серб. *kola* 'повозка'). Разумеется, карта включает и все другие наименования ребенка — участника свадьбы (например, *+pastorče* и под.), как и экстралингвистическую информацию о том, где совершается ритуал (на коне или в повозке).

Большинство комплексных карт с компонентом «этнокультурная» представляют собой этнокультурно-лексико-семантические (4/1/2), поскольку именно семантика культурных терминов, как правило, является релевантной для соответствующих обрядов и ритуалов[17]. Обрядовая терминология, как известно, характеризуется высоким потенциалом семантической деривации, поэтому многие ключевые термины употребляются для обозначения различных дней праздника, обрядовых реалий и действующих лиц. Так, карта «Зимние дружины ряженых» содержит два типа обозначений от корней *+star-*, *+děd-*, *+bab-*: группы ряженых и отдельного персонажа дружины; на этой же карте показано наличие пары ряженых, называемых *+děd* и *+baba* [Там же: 412–419]. Карты «Масленичные костры и факелы», «Летние костры и факелы» включают названия *+оратник, +олалија, +уруглица, +машалган, +лила* и др. как обозначения обрядовых костров и обрядовых факелов [Там же: 444–459]. На этих картах дается также и экстралингвистическая информация об обычае устраивать костер для сжигания масленичного чучела, о летних обрядовых кострах, не имеющих специального названия.

Ряд этнолингвистических карт аналогичного типа содержит мотивирующий признак; такие карты могут быть отнесены к этнокуль-

---

[17] К числу таких карт следует отнести «„Волчьи" дни: названия, ритуалы», «Рождественский хлеб типа „чесница"», «Зимние дружины ряженых», «Масленичные костры и факелы», «Летние костры и факелы» [Плотникова 2004]. В рамках не только южнославянской, но и западнославянской, восточнославянской, а также и румынской традиции выполнена этнокультурно-лексико-семантическая карта Т.А.Агапкиной «Хрононимы на *+rusal-/+rusan-/+rus-*», причем этнокультурный компонент карты обусловлен именно детальными уточнениями сезонных периодов употребления термина — день / неделя / до / после Троицы, день / неделя ранней весной, Преполовение Пятидесятницы и др. [Агапкина 2002: 343].

турно-мотивационно-лексико-семантическим (4/3/1/2). Например, карта «Последний день масленицы: названия, обычай взаимного прощения» [Там же: 434–442], наряду с различными названиями последнего дня масленицы, т.е. собственно терминологической лексикой (серб. *каравештица*, болг. *стрельница* и др.), включает названия праздника с атрибутами от корней **bĕl-*, **sir-*, а также — 'большой', 'главный' и 'святой' и т. д. (мотивационный признак карты), информацию об употреблении *прочка* (*прошка*) как названия праздника и как названия ритуала взаимного прощения и его вариантов вне зоны фиксации мотивируемых им названий праздника (семантический признак карты), указание на наличие ритуала взаимного прощения вне зоны фиксации мотивируемых им названий праздника (этнокультурный признак карты)[18]. Такой комплексный подход способствует определению восточной и западной зон южнославянского ареала, македонско-южносербско-западноболгарского, центрального, словенско-западнохорватского ареалов.

Особый случай этнокультурно-мотивационно-лексико-семантических карт представляют собой этнолингвистические карты, посвященные мифологическим персонажам. Их специфика связана с многообразием вторичных значений мифологического термина. Так, например, карта «Демоны, происходящие от умерших некрещеных младенцев» [Там же: 686–693], помимо многочисленных наименований мифологического персонажа (дериваты от **nav-*, +*drek-*, +*svir-*, босн. *плакавац, јауд* и др.), включает наименования с семантикой 'инородец', а также и весь спектр близких и переносных значений термина: дериваты от **nav-* как обозначение болезни роженицы, новорожденного (что связано с народными представлениями о нападении «навей» на своих жертв); дериваты от +*drek-* как обозначение демонической птицы или зверя, криком предсказывающих смерть, несчастье (обусловлено звуковыми характеристиками демона, издающего плачущие, свистящие и другие резкие звуки); дериваты от +*drek-* как обозначение демонов иного (или неизвестного) вида и происхождения (таким образом подчеркивается функционирование мифологической лексики, обозначающей конкретных персонажей, как наименований любой нечистой силы в целом). Карта содержит и указание на представления о демонических птицах — душах умерших некрещеных детей в случае,

[18] См. также другие карты данного типа: «Масленичная игра с подвешенными предметами», «„Рубашечка“ новорожденного: названия, поверья», «Демоны, происходящие от умерших некрещеных младенцев» [Плотникова 2004].

когда термин в источнике не указывается. Карта «Мифологический персонаж „хала“/„ламя“/„аждая“» [Там же: 666–676] включает следующие семантические поля терминов *+(h)ala, +lamija, +aždaja*: ‘проявление стихии’ (‘град’, ‘туча’, ‘дождь’, ‘вихрь’, ‘буря’), что связано с балканскими представлениями о связи змееподобных демонов с непогодой; ‘прожорливый, ненасытный’ и ‘необычайно сильный, большой’ (как метафорическое употребление мифологического термина в отношении к человеку, животному); ‘ряженый на святках’, что обусловлено обрядовой спецификой ряжения в мифологических персонажей, представителей иномирного пространства и т. п. (подробнее см. [Виноградова, Плотникова 2007]). Экстралингвистический (= этнокультурный) компонент карты отражает информация об особенностях мифологического персонажа *+lamija* (представление об участии мифологического персонажа *+lamija* в формировании рельефа земной поверхности). Другая отмеченная в легенде и на карте особенность — *+lamija* как персонаж фольклорных произведений (сказок, песен) — позволяет разместить данную карту в самом верхнем регистре представленной выше классификации комплексных этнолингвистических карт: этнокультурно-фольклорно-мотивационно-лексико-семантическая (4/5/3/1/2).

Фольклорный компонент комплексных этнолингвистических карт представляется не менее важным, чем два других, лингвистический и этнокультурный. Примером собственно фольклорной (некомбинированной) карты[19] может служить карта «Сюжеты заклинательных формул», посвященная отгонным заклинаниям против гадов [Плотникова 2006б: 346, 350]. Диалектное членение по этому признаку[20] определяет южный балканославянский пояс, зону бассейна р. Искыр и Подунавья, центральный южнославянский ареал. Другая карта «Зачин и структура заклинательных формул» [Там же: 346, 351] отражает также и особенности построения заклинательной формулы, т.е. затрагивает сферу языка фольклора, при этом релевантным оказывается не только содержательное противопоставление в отгонной формуле, но и порядок слов в зачине

[19] На более широком, общеславянском, материале выполнена карта Л. Н. Виноградовой и С. М. Толстой «Адресаты приглашений на рождественский ужин», отлично демонстрирующая полесско-карпато-балканскую изодоксу на материале клишированных ритуальных формул приглашений мифологических персонажей на рождественский ужин [Виноградова, Толстая 1995: 186].

[20] По аналогии с понятием «культурная диалектология» в данном и подобных случаях уместно говорить и о «фольклорной диалектологии».

(наличие/отсутствие инверсии)[21]. Компактный ареал с зачином «Вон, блохи...» определяется на северо-востоке территории Болгарии, образуя архаичную зону культурного явления, имеющего параллели у восточных славян, см. [Там же: 340–341]. Наиболее полно представлению о фольклорно-лексической карте (5/1) соответствует карта «Объект изгнания в заклинательной формуле», где не только указывается объект изгнания (гады, змеи и др.), но и дается лексический состав этой части заклинательных формул: объект «гады», «гадина» — наименования от **gad-* в значениях 'гады', 'гадина'; наименования от **pogan-* в значениях 'гады', 'гадина'; наименования от **pogan-* с суффиксом *-ic(a)-* в значениях 'гады', 'гадина', 'змея'; объект «змеи, змея» — наименования от **zmьjь* в заклинании; наименования от **pьlz-* в заклинании; наименования от +*guj-* в заклинании [Там же: 345–346]. Такой комплексный подход не только показывает деление восток/запад, центр/периферия (объект изгнания), но и дает представление о внутреннем, более дробном членении этих больших зон (используемая для обозначения объекта изгнания экспрессивная и диалектная лексика). Думается, что столь же перспективными в будущем могут стать и иные комплексные лексические, а также, возможно, семантические и мотивационные карты с фольклорным компонентом (5/2; 5/3; 5/1/2; 5/1/2/3).

Этнокультурно-фольклорные карты (5/4), обоснованно используемые при исследовании обрядовых песен, формул, заклинаний, благопожеланий и т. д., часто указывают на время исполнения тех или иных фольклорных текстов, давая таким образом развернутую в пространстве временную проекцию фольклорного текста. Такова карта «Отгонные заклинания в весенние праздники у южных славян», из которой следует, что исполнение формул на Вербную субботу характерно для самого запада ареала бытования подобных формул (северная и центральная Босния, западная Сербия, Воеводина), в день св. Иеремии — для центральной части Южной Славии (в данном случае это центральная и южная Сербия, Македония, западная и северо-западная Болгария), в день Благовещения — для центральной, отчасти южной и восточной Болгарии, в день Сорока мучеников — преимущественно для восточной Болгарии, в дни «бабы Марты» — для южных областей Болгарии и Македонии, а также для восточной Болгарии [Плотникова 2006б: 345, 348]. Карта «Заклинание (отгонная формула) против змей в день св. Иеремии (1/14.V)» показывает варианты заклинаний, исполняемых только в этот день, а также включает

[21] «Блохи (змеи), вон (в море, в лес)» / «Вон, блохи...».

случаи исполнения обряда против змей стуком и шумом без использования заклинания [Плотникова 2004: 486–494].

Этнокультурно-фольклорно-лексическая карта (5/4/1), может включать наименования участников обряда, их ритуальных предметов, терминологию исполняемых фольклорных текстов. Например, карта «Обряд вызывания дождя» [Там же: 510–523] представляет названия обходного обряда, направленного на вызывание дождя (*+dodola, +peperuda, +prporuša, +rosomanka, +vaj-gugu,* макед. *oj-ljule* и др.), а также дает информацию об упоминании термина типа *perperuga* в песне участниц обряда, называемого *dodola*, о наличии обряда при отсутствии наименований обряда и участников; показан и вариант исполнения обряда *peperuda* с хлебной лопатой, занимающий компактный небольшой ареал в северо-восточной Болгарии. В данном случае введение фольклорного компонента в структуру карты обосновано, прежде всего, стремлением показать широкую переходную зону параллельного и смешанного использования терминов *+dodola/ +peperuda* в сербско-болгарском пограничье. Исследованная выше этнокультурно-семантическая карта «Новогодние дружины: типы, названия от *+surva*» включает информацию о случаях функционирования терминологической лексики от *+surva* только в ритуальной речи (а именно благопожеланиях) новогодних дружин, направленную на представление всего ареала использования данной лексики. Таким образом, с точки зрения обращения к лексико-семантическому наполнению фольклорных текстов эта карта может служить примером этнокультурно-фольклорно-семантического типа этнолингвистических карт (5/4/2). Этнокультурно-фольклорно-мотивационные карты (5/4/3) могут быть представлены картой «День св. Андрея как „медвежий“ день: названия, ритуалы, легенда». Здесь обращение к фольклорному материалу оправдано, прежде всего, тем, что легендой об укрощении медведя св. Андреем мотивированы ритуалы, направленные на задабривание в этот день медведя, а также и наименование дня серб. *Мечкин дан,* болг. *Мечи ден* ‘медвежий день’, *Мечкодава* ‘день задабривания медведя’ и под. [Там же: 360–364][22]. В результате наложение на карту всех трех типов данных (хрононимы с символикой медведя; исполнение ритуалов, связанных с почитанием медведя,

[22] Следует, однако, сделать оговорку по поводу неполноты мотивационного признака на данной карте: наименования дней св. Андрея, не мотивированные символикой медведя (напр., в.-серб. *Андрејин д'н,* болг. *Едрей* и др.), на карте отсутствуют как не соответствующие названию карты.

при отсутствии символики медведя в названии дня св. Андрея; легенда об укрощении медведя св. Андреем) показывает концентрическое распространение символики медведя в названиях дня св. Андрея и содержание самого праздника на востоке Южной Славии. Наблюдается густая плотность терминов в северо-восточной Сербии и северо-западной Болгарии, более редкие свидетельства на периферии распространения ритуалов (в западной, центральной и северной Болгарии, на юге Пиротского края), тогда как на запад от ареала бытования ритуалов и соответствующей терминологии отмечается только легенда об укрощении медведя св. Андреем. Сложный тип фольклорно-мотивационно-лексико-семантической карты (5/1/2/3) отчасти может быть представлен картой «„Баба Марта“: названия дней, месяца, легенда о дерзкой старухе» [Там же: 468–475] [23]. Большинство наименований месяца марта и весенних дней, представленных в виде терминологической лексики *+баба Марта*, *+Марта* ‘март’, *+баби* ‘весенние дни’ и др. (при этом отмечен и семантический спектр наименования типа «бабьи козлята, ягнята»’: ‘весенние дни’, ‘осадки’), мотивированы легендой о наказании дерзкой старухи со стороны месяцев, поэтому на карте показан ареал этой легенды. Разумеется, при наличии информации об исполнении каких бы то ни было ритуальных действий в первые дни марта[24] данная карта перешла бы в разряд этнокультурно-фольклорно-мотивационно-лексико-семантических (5/4/1/2/3).

Как следует из предложенной классификации типов этнолингвистических карт, важной составляющей всех карт оказывается диалектное явление культуры, которое либо находит выражение в языке (прежде всего, в терминологической лексике), либо существует лишь как культурный феномен. Как правило, этнолингвистические карты показывают **наличие обеих форм культурного феномена**, содержательной и вербальной (например, обряд вызывания дождя и его название, ребенок-участник свадьбы и его ритуальное наименование

[23] Здесь, как и в предыдущем случае, в качестве объекта картографирования изначально выбрана только та терминологическая лексика, которая мотивирована легендой, что вполне обосновано с точки зрения этнолингвистического подхода к материалу, рассматривающего термин как свернутый обрядовый или фольклорный текст.

[24] Это было бы возможно при нанесении на карту данных (к сожалению, единичных) из региона Горни Висок (Пиротский край), где исполняется ритуал пародийного воспроизведения легенды о первом неудачном выгоне ягнят бабой Мартой в горы, см. [Плотникова 2004: 123].

и т. д.). При этом нередко терминологическая лексика образует компактный центр, тогда как безымянные формы культурного феномена оказываются (**а**) или на такой же компактной периферии ареала его фиксации[25], (**б**) или рассеяны вокруг компактного центра наименований[26]. Вопрос о центре и периферии во всех этих случаях следует решать различным образом, с учетом всей специфики исследуемого культурного явления; хотя и в данном случае прослеживаются определенные закономерности на основе сопоставления конфигурации ареалов. Так, в случаях рассеянного расположения знаков отсутствия названия вокруг компактного ареала его наименований (случай **б**) можно предполагать центр иррадиации (и, возможно, архаический характер) данного культурного явления именно в этой компактной зоне (как правило, это изолированные в пространстве всего славянского континуума и явления народной культуры, и их обозначения, например, жертвоприношение цыпленка *+мратин'ак* в «волчьи дни», обрядовый комплекс и наименование 'медвежий день'). В случаях компактной и большой по величине периферии отсутствия наименования (случай **а**) следует думать об инновационном характере наименований данного культурного феномена (такие явления культуры широко известны в разных зонах славянского мира, а наименования имеют эксклюзивный характер, например, жертвоприношение на Рождество и его наименования, известные лишь в отдельных зонах).

Несколько иная картина складывается тогда, когда рассматриваются явления одного порядка, а именно только **ареальное распределение терминологической лексики**, обозначающей некий феномен культуры. Здесь на материале терминологической лексики народной духовной культуры

---

[25] См., например, ареал наименований ребенка-участника свадьбы (центр Южной Славии) и зону их отсутствия (восточная часть южнославянской территории) [Плотникова 2004: 558], ареал наименований жертвенного животного на Рождество с приблизительно таким же распределением наличия/отсутствия наименования (центр/восток Южной Славии) [Плотникова 2007: 238] и др.

[26] Примеры тому многочисленны: жертвенный цыпленок (петух), называемый *+мратин'ак* и под. (восточная Сербия и северо-западная Болгария), и не отмеченный именем ритуал куриного жертвоприношения (центральная, восточная, южная Сербия, средняя Западная Болгария) [Плотникова 2004: 348], наименования типа 'Медвежий день' и исполнение ритуалов, связанных с почитанием медведя, при отсутствии символики медведя в названии дня св. Андрея (соответственно — восточная Сербия, северо-западная Болгария, центральная Болгария / прилегающие к этому компактному ареалу южные и восточные области) [Там же: 360] и многие другие.

находит подтверждение гипотеза Братанича — Гавацци (исследовавших, кстати, тоже явления одного порядка — распределение орудий труда и предметов материальной культуры), развитая Н.И. Толстым на материале южнославянской лексики [Толстой 1997: 122–143, там же — карты]). Разная терминологическая лексика народной духовной культуры, относящаяся к одному денотату, также нередко распределяется таким образом, что выделяется центр Южной Славии и периферия — Адриатическое побережье, сербско-болгарское пограничье. При этом на периферии оказывается известная в разных других славянских регионах лексика, а в центре — редкая, эксклюзивная терминологическая лексика славянского происхождения. Эти данные этнолингвистического картографирования подкрепляют свидетельства в пользу возможных двух волн заселения Балканского полуострова: второй поток славянских племен, вклинившись в VIII в. в центр Южной Славии, оттеснил на окраины осевшие здесь ранее славянские племена; подробнее об истории гипотезы, ее сильных и слабых сторонах, см.: [Куркина 2005: 239–242].

Можно предположить, что для определения периферийной зоны Южной Славии в целом важным условием может стать наличие регулярных соответствий в зоне сербско-болгарского пограничья (и шире — в восточной части Южной Славии) и прибрежной части Адриатики (и шире — в западнохорватско-словенском ареале) или в южномакедонской полосе (и шире — в южном балканославянском поясе) и прибрежной части Адриатики (и шире — в западнохорватско-словенском ареале), как это, например, показывает картографирование явлений терминосистемы погребальной обрядности (термины от **plak-* в значении ‘голосить по умершему’; термины с внутренней формой ‘выть’/‘вить’ в том же значении; наименования с корнем **mьrtvъ* в значении ‘поминки в течение календарного года’) и примыкающей к ней части народной мифологии (наименование *+теньц* ‘вампир’; названия демона умершего некрещеным ребенка от **nav*).

Историческая интерпретация получаемых культурно-языковых ареалов актуализируется при привлечении данных археологического картографирования (если таковые существуют), а также изопрагм, относящихся к явлениям материальной культуры определенного исторического периода. Так, например, нельзя не обратить внимание на четко выделяемый ареал «стечков» (надгробных памятников в виде каменных плит) в Боснии и Герцеговине, западной Сербии, западной Черногории и южной Хорватии, относимый историками культуры к XII–XV вв.[27]. Наложение границ данного историко-культурного ареала с контурами центрального южносла-

[27] См. карты в работах: [Bešlagić 1971; Bešlagić 1982].

вянского ареала, определяемого по данным терминологической лексики народной духовной культуры (термины от *+drek-*, *+sud-* и др.)[28], позволяет говорить о существовании достаточно древней культурной общности в этой южнославянской микрозоне, связанной не только и не столько с относительно новыми перекрестными влияниями миграционных потоков штокавцев-иекавцев сначала на запад (а затем снова на восток в западную Сербию) в результате нашествия турок в XIV–XV вв., но и с иными, более сложными процессами заселения Балканского полуострова, результаты которых в частности можно наблюдать в особой культуре «стечков», относимой к периоду до нашествия турок и затухшей именно по причине турецкой инвазии. Показательно мнение о том, что границы ареала «стечков» «соответствуют срединной части античного иллирийского пространства, где непрерывно и естественно встречались и скрещивались влияния широкой средиземноморской зоны с влияниями, которые шли с паннонской равнины, позже расчлененные всем тем, что последовало в результате деления на Восточное и Западное Римское Царство. Это деление превратило бывшее иллирийское пространство в периферийные зоны как одного, так и другого царства — двух сильных культурных сфер — византийского Востока и латинского Запада» [Miletić 1982: 19–20][29].

Безусловно, представленный на этнолингвистических картах материал, собранный как в полевых условиях, так и почерпнутый из опубликованных лексикографических, этнографических и фольклорных источников[30], нуждается в дополнении и уточнении. При этом **новые полевые данные**, как показывает опыт экспедиций, проведенных после публикации карт [Плотникова 2004], прежде всего, пополняют представленную картину, но не меняют ее существенным образом. В этом плане показательными оказались полевые материалы из экспедиции в Бургенланд (Градище) в Австрии[31], где проживают хорваты-чакавцы. Особый статус

---

[28] См. [Плотникова 2004: 322–329].

[29] Романский стиль оформления «стечков» объясняется общим романским («западным») фоном, на котором разворачивались культурные события в западной части южнославянского континуума, ср. известное утверждение о том, что «мастера „стечков“ используют формы романского стиля, которые унаследовали из более ранней эпохи» [EJ: 140].

[30] Подробно о принципах подбора источников и обоснованности обращения к разным историческим данным см. раздел «Источники картографирования этнолингвистического материала» [Плотникова 2004: 55–62].

[31] Пользуясь случаем, приношу огромную благодарность за организацию экспедиции акад. Герхарду Невекловскому, а также филологам из Бургенланда,

этого материала определяется тем, что зона первичного проживания хорватских переселенцев в Бургенланд в XV в. установлена по историческим и лингвистическим (фонетическим и грамматическим) данным [Neweklowsky 1978]: по всей видимости, она находится восточнее Карловаца и Огулина, занимая территорию до хорватско-боснийского пограничья (включая междуречье Савы и Уны)[32]. Соответственно сохраняемая до сих пор хорватами-чакавцами Бургенланда диалектная терминологическая лексика традиционной духовной культуры вместе с корреспондирующими обычаями, обрядами, ритуалами и поверьями может свидетельствовать о более ранних состояниях этого лексического слоя на территории западной Хорватии, нежели диалектная лексика, отраженная в источниках XIX–XX вв. и включенная в имеющиеся этнолингвистические карты Южной Славии.

При сопоставлении новых данных из Бургенланда[33] в целом ряде случаев наблюдается: **1)** совпадение локальной терминологической лексики хорватов Бургенланда с той, которая отмечена в районе Огулина и Йосипдола[34]; **2)** наличие эксклюзивной лексики из Бургенланда, которая не подтверждается источниками (известными автору) с территории Хорватии[35]; **3)** аналогии и совпадения с терминологической лексикой, фиксируемой а) на более широкой хорватской территории;[36] б) в соседнем словенском ареале[37]; в) на широкой террито-

---

оказавшим мне поддержку в полевых условиях — Иво Сучичу, Юдит Бенчич, Мирко Берлаковичу и студентке Венского университета Сильвии Буцолич.

[32] На основании своего исследования Г. Невекловский делает вывод о том, что, видимо, ранее территория чакавского диалекта была гораздо шире.

[33] Было обследовано семь сел из всех трех частей региона: северного, среднего и южного Бургенланда (Градища).

[34] Так, фиксируется: *pir* 'свадьба', *vrtanj* 'свадебный хлеб', *karmina* 'трапеза после погребения' и др., ср. [Božićević 1910: 237–238, 241–243, 252].

[35] Например: *babac* 'предводитель свадьбы', *potprnja, stećilo* 'свадебные чины (со стороны невесты, жениха)', *uročna trava* 'выросшее из пасхальных крошек растение, защищающее от ведьм' и др.

[36] У градищанских хорватов, в частности, были отмечены мифологические персонажи, называемые *viška* 'ведьма', *mrak* 'тьма, мрак' (персонификация ночной темноты, якобы нападающей на новорожденных). Наименование *viška* известно и в других чакавских икавских (или смешанных икавско-иекавских) селах, например, на острове Крк, см. [Плотникова 2004: 646–649]; *mrak* в упомянутом значении мифологического персонажа фиксируется на полуострове Истрия, Каставщине и в западной Хорватии, см., например [Lozica 2002:

рии запада Южной Славии[38]; 4) общая для южнославянского культурно-языкового пространства лексика[39]. Как видим, при анализе градищанско-хорватской культурно-языковой традиции, помимо прочего, дополнительное подтверждение находит гипотеза о специфическом западном хорватско-словенском ареале, имеющем на основании этнолингвистических признаков разные конфигурации [Плотникова 2004: 308–321, 717] и связанном с иными, периферийными, ареалами в пространстве Южной Славии [Плотникова 2004: 315–320, 718].

70; Lang 1914: 146] и др; известны отдельные упоминания о персонаже *mrak* в словенских источниках [Kelemina 1997: 99].

[37] В число таких культурных терминов попадает *vrtanj* — свадебный хлеб в виде кольца, аналогичный свадебному хлебу в Белой Краине и известный в других частях Словении. По всей видимости, ранее на западе Южной Славии территория распространения данного термина, как и ритуалов с этим хлебом (ср. градищанско-хорватские обычаи деления и раздачи этого хлеба: *za vrtanj prosit, vrtanj dostat*), была гораздо шире. Аналогичные выводы напрашиваются и при анализе масленичного обычая с колодкой (гр.-хорв. *korito vloć* 'тянуть корыто', *rast vloć, raz vleć* 'тянуть дуб', *bor vleći* 'тянуть сосну' и т. п.), почти повсеместно фиксируемые в Словении и практически неизвестные в Хорватии (см. [Агапкина 2002: 221–224]), однако здесь, помимо возможного изначального немецкого влияния (через словенское посредство), не следует исключать и вторичное воздействие соседствующей австрийской традиции. В народной традиции градищанских хорватов отмечаются также и специфические поверья, характерные для сел Словении, в частности, функция мифологического персонажа *vila* предсказывать время посева злаков и овощей.

[38] В похоронно-погребальной терминологической лексике известно обозначение погребального плача через **jauk-, *jok(a)-* на широкой территории от Словении до западной Сербии, см. карту [Плотникова 2004: 570–574], у градищанских хорватов — *javkat* (повсеместно), ср. также в окрестностях Йосипдола — *javkat* 'голосить на похоронах' [Božićević 1910: 251]. Наименование ежегодного дня поминовения усопших — гр.-хорв. *Mrtvi god* (2. XI) — имеет аналоги не только в западной Хорватии (*Mrtvi god* '2. XI' — Пригорье [Rožić 1908: 74]), но и на Адриатическом побережье, в Славонии, а также в южной Герцеговине, северной Воеводине, южной Македонии и юго-западной Болгарии, образуя архаическую периферию наименований ежегодного поминального дня — дериватов от **mьrtvъ* (хорв. *mrtvi dan*, макед. *мртвен* и под.), независимо от религиозной принадлежности жителей (разумеется, у православных это другие дни при общем с католиками наименовании), подробнее см. [Плотникова 2004: 195–199, 604–612].

[39] Например: *vila, zmaj* — мифологические персонажи, *veselje* 'свадьба' и т. д.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Агапкина 2002 — *Агапкина Т. А.* Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.

Бернштейн 2000 — *Бернштейн С. Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Виноградова, Плотникова 2007 — *Виноградова Л. Н., Плотникова А. А.* Ряжение // Славянские древности. Т. IV. (В печати).

Виноградова, Толстая 1995 — *Виноградова Л. Н., Толстая С. М.* Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рождественский ужин: формула и обряд // Малые формы фольклора. М., 1995. С. 166–197.

Клепикова, Попова, Усачева 1968 — *Клепикова Г. П., Попова Т. В., Усачева В. В.* Группировка юго-западных украинских говоров (по материалам Карпатского диалектологического атласа) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1968. С. 97–117.

Куркина 2005 — *Куркина Л. В.* [рец.] А. А. Плотникова, Этнолингвистическая география Южной Славии. Изд. «Индрик». М., 2004, 767 с. // Јужнословенски филолог, LXI. Београд, 2005. С. 229–243.

Плотникова 2004 — *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.

Плотникова 2006а — *Плотникова А. А.* Семантические и культурные балканизмы в этнолингвистическом аспекте // Исследования по славянской диалектологии. 12. Ареальные аспекты изучения славянской лексики. М., 2006. С. 7–19.

Плотникова 2006б — *Плотникова А. А.* Весенние заклинательные формулы «изгнания» гадов у южных славян (в ареальной перспективе) // Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. М., 2006. С. 319–372.

Плотникова 2007 — *Плотникова А. А.* Балканская география народной культуры: восток — запад — восток (зимняя и весенняя жертвы) // Восток и запад в балканской картине мира. Памяти Владимира Николаевича Топорова. М., 2007. С. 235–245.

СБФ 1986 — Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986.

СБФ 1995 — Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995.

Седакова 1998 — *Седакова И. А.* Святочно-новогодняя терминология и обрядность болгар в свете ареалогии. К постановке проблемы // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 5. Актуальные проблемы славянской лингвогеографии. М., 1998. С. 284–313.

Седакова 2002 — *Седакова И. А.* К проблеме заимствований в балканославянских языковых и культурных системах // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002. С. 483–507.

Седакова 2007 — *Седакова И. А.* Балканские мотивы в языке и культуре болгар. Родинный текст. М., 2007.

Славянская этнолингвистика 2004 — Славянская этнолингвистика. Библиография. Издание 2-е, исправленное и дополненное. М., 2004.

Соболев 2005а — *Соболев А. Н.* О картографировании экстралингвистических признаков на этнолингвистических картах (по поводу книги Плотниковой А. А. Этнолингвистическая география Южной Славии. Москва: Индрик, 2004. 767 с.) // Јужнословенски филолог, LXI. Београд, 2005. С. 216–228.

Соболев 2005б —Малый диалектологический атлас балканских языков. Серия лексическая. Том 1. Лексика духовной культуры / Отв. ред. А. Н. Соболев. München, 2005.

Толстая 1995 — *Толстая С. М.* Географическое пространство культуры // Живая старина. № 4. 1995.

Толстой 1997 — *Толстой Н. И.* Избранные труды. Т. 1. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997.

Узенева 2001 — *Узенева Е. С.* Терминология болгарского свадебного обряда в этнолингвистическом освещении. Канд. дисс. М., 2001.

Узенева 2006 — *Узенева Е. С.* Соотношение хрононима и легенды // Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. М., 2006. С. 501–521.

Bešlagić 1971 — *Bešlagić Š.* Stećci. Kataloško-topografski pregled. Sarajevo, 1971.

Bešlagić 1982 — *Bešlagić Š.* Stećci — kultura i umjetnost. Sarajevo, 1982.

Božićević 1910 — *Božićević J.* Običaji u Šušnjevu selu i Čakovcu. ZNŽO, 1910. Knj. XV. Sv. 2. S. 204–254.

EJ — Enciklopedija Jugoslavije. T. 8. Zagreb, 1971.

Kelemina 1997 — *Kelemina J.* Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva z mitološkim uvodom. Ljubljana, 1997.

Lang 1914 — *Lang M.* Samobor: Stvorovi kao ljudi // ZNŽO. 1914. Knj. 19.

Lozica 2002 — *Lozica I.* Poganska baština. Zagreb, 2002.

Neweklowsky 1978 — *Neweklowsky G.* Die kroatischen Dialekte des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete. (Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung. XXV). Wien, 1978.

Miletić 1982 — *Miletić N.* Stećci. Beograd, Zagreb, 1982.

Rožić 1908 — *Rožić V.* Prigorje. Narodni život i običaji // ZNŽO. 13/1. 1908.

В. А. Плунгян

Национальный корпус русского языка: общая характеристика и направления развития

В настоящем докладе приводятся основные сведения об устройстве и поисковых возможностях электронного Национального корпуса русского языка[1], знакомство с которым будет, безусловно, полезно специалистам не только по русскому, но и по другим славянским языкам.

Знакомству с Национальным корпусом русского языка мы бы хотели предпослать ряд замечаний более общего характера о роли электронных корпусов текстов в современной лингвистике. Напомним, что корпусом в настоящее время принято называть электронную коллекцию текстов, снабженную определенной информацией о характеристиках включаемых текстов и о языковых характеристиках элементов текстов (как правило, словоформ, реже — синтаксических конструкций). Такая процедура называется «разметкой» корпуса (англ. tagging, или annotation). По всем характеристикам, учитываемым в разметке, возможен автоматический поиск. В общем случае корпус следует рассматривать как справочную систему, позволяющую пользователю быстро получать списки примеров с заданными свойствами — чаще всего содержащих определенную грамматическую форму или конструкцию и содержащихся в определенном типе текстов (созданных конкретным автором или в конкретный период времени и т. п.). Национальным корпусом языка принято называть электронный корпус,

---

[1] Корпус размещен, при поддержке компании «Яндекс», на общедоступном сайте www.ruscorpora.ru; он создается начиная с 2003 г. большим коллективом лингвистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов России — в основном в рамках специальной программы Российской академии наук (в отдельных случаях были использованы и другие ресурсы, более подробную информацию о которых — как и обо всех участниках проекта — можно найти на указанном сайте). Хотелось бы назвать здесь наиболее активных участников проекта, руководивших отдельными направлениями исследований и/или обеспечивавших координацию работ: это Е. А. Гришина, Д. О. Добровольский, А. А. Кретов, А. Б. Летучий, О. Н. Ляшевская, А. Е. Поляков, Е. В. Рахилина, С. О. Савчук, Д. В. Сичинава и ряд других коллег. Подробнее см. также [НКРЯ 2005].

представляющий данный язык с некоторой разумной полнотой: множество текстов, входящих в него, является *представительным* (т.е. охватывает все типы текстов, создаваемых или созданных на данном языке в определенные периоды времени) и *сбалансированным* (т.е. тексты разных типов входят в корпус пропорционально той роли, которую они играют в данном языковом коллективе). Национальные корпуса обычно насчитывают десятки, а в случае крупных языков — и сотни миллионов словоупотреблений.

1. Корпус и описание языка. Электронные корпуса в настоящее время стали уже достаточно привычной реальностью, всё более уверенно входящей в повседневную практику лингвистических исследований. Именно корпус становится основной эмпирической базой исследований и основным же средством проверки формулируемых гипотез. Для тех лингвистов, которые в своих исследованиях привыкли полагаться только на собственную интуицию, данные корпуса подчас оказываются весьма неожиданными и могут способствовать существенной коррекции первоначальных гипотез. Один из важных «уроков корпуса» в таких случаях состоит в том, что компетенция всякого отдельного носителя языка — и даже очень квалифицированного исследователя этого языка — неизменно оказывается более ограниченной по сравнению с языком в целом, особенно с учетом территориальной, социальной, возрастной и иной вариативности, не говоря уже о диахронических изменениях. Дополнять и корректировать компетенцию исследователя оказывается необходимо всегда, и именно корпус решает эту задачу наиболее эффективно.

С другой стороны, для тех исследователей, которые изначально были ориентированы не на интроспекцию, а на обработку больших массивов данных, корпус оказывается неоценимым инструментом, во много раз повышающим скорость и надежность работы. Здесь наблюдается своего рода двойной эффект. До появления электронных корпусов текстов возможности ручной обработки материала были относительно скромные: на поиск нужных примеров часто уходили месяцы, при этом трудно было дать гарантию того, что самые важные контексты действительно оказались учтены. С появлением корпуса даже те лингвисты, которые понимали важность обращения к такого рода материалу, получили результат, во много раз превзошедший их ожидания. Можно сказать, что корпус в каком-то смысле вернул лингвистам их подлинный объект — тексты на естественном языке в максимально полном объеме, и последствия этого неожиданного приобре-

тения, на наш взгляд, еще скажутся в ближайшем будущем не только на лингвистической практике, но и на лингвистической теории. Таким образом, с помощью корпуса стало возможно не только быстрее и эффективнее решать известные науке задачи, но и ставить принципиально новые задачи, ранее практически невыполнимые из-за их трудоемкости. К последнему типу задач относятся, прежде всего, всевозможные обобщения по поводу «микроэволюции» языка на протяжении одного-двух столетий: малозаметные изменения сочетаемости и значений слов, изменения частотности различных конструкций или частотности употребления лексических и грамматических вариантов, регистрация появления или угасания отдельных явлений языка и т. п.

Собственно, можно надеяться на то, что будущие грамматические описания языков станут «корпусно-ориентированными» — в том смысле, что всякое утверждение про данный язык, которое будет в них делаться, можно будет проверить относительно некоторого корпуса этого языка. Это, безусловно, повысит научный статус таких грамматик, поскольку количество эмпирически проверяемых утверждений в них резко возрастет по сравнению с текущим состоянием, когда грамматики в основном имеют дело либо с отдельными текстовыми примерами (которые могут иллюстрировать описываемое явление, т.е. являться доказательством его существования в языке, но не могут использоваться для исследований его частотности), либо с искусственно сконструированными исследователем языковыми выражениями.

Вообще, использование корпуса особенно тесно связано именно с проблемой доказательства существования в языке того или иного явления. Конечно, нельзя полностью отождествлять понятия «иметься в корпусе» и «иметься в данном языке». В языке могут существовать потенциально возможные явления, не отраженные в конкретном корпусе текстов, хотя в случае большого представительного корпуса сам факт отсутствия некоторого явления (пусть и потенциально возможного) всё равно значим. С другой стороны, в корпусе могут встретиться окказиональные явления, да и просто ошибки, которые будут отвергнуты говорящими на данном языке при предъявлении им соответствующих образцов для оценки правильности / коммуникативной уместности. Однако частотность таких явлений — если они действительно окказиональны — будет крайне мала. Вместе с тем «ошибка» (и, шире, любое отступление от того, что принято считать «нормой»), систематически фиксируемая в корпусе, — возможно, уже не ошибка и требует более внимательного к себе отношения. Известно, что авторы нормативных пособий (как и лингвисты, более всего опирающиеся

на интроспекцию) нередко склонны выдавать желаемое за действительное и описывать не столько язык, сколько свои представления о том, каким он должен быть (подробнее на эту тему см. также интересную полемическую статью [Перцов 2006]).

С учетом сделанных оговорок, можно, как представляется, отождествить понятия «существующего в языке» и «надежно засвидетельствованного в корпусе». В известной дихотомии системы и узуса корпус ориентирует лингвистов на узус — хотя бы по той простой причине, что никогда раньше узус не был так хорошо доступен для исследований. Между тем, именно узус — т.е. тексты — и является единственной подлинной реальностью науки о языке, т.е. объектом, доступным непосредственному наблюдению.

Идеология корпусной лингвистики позволяет сделать и более сильное утверждение: при прочих равных условиях, должно быть предпочтительнее такое описание языка, которое будет ориентировано на явления, лучше представленные в корпусе. Иными словами, то, что является центральным в корпусе, должно быть центральным и в грамматике.

Показателен в этом отношении пример из одной недавно встретившейся нам лингвистической работы. Эта работа открывается рассуждением о различных типах аспектуальности, иллюстрируемым поведением русского глагола *поизбивать* в дистрибутивных конструкциях типа *у всех женщин поизбивали сыновей*. Однако во всем массиве Национального корпуса русского языка такой глагол не встречается ни разу. Дополнительный поиск просто по русскому сегменту интернета обнаруживает некоторое (небольшое) количество употреблений *поизбивать*, однако практически все они имеют делимитативную (‘избивать некоторое время’), а не дистрибутивную семантику. Очевидным образом, пример сконструирован автором, который затем анализирует свойства этого искусственно сконструированного примера, а не языковую реальность. Между тем, в русском корпусе имеется огромное количество примеров дистрибутивных употреблений других глаголов. Корректно ли оставлять их вне рассмотрения и заниматься исследованием такого смысла, который на самом деле носители русского языка по тем или иным причинам предпочитают не выражать? Конечно, можно возразить, что данный пример, хотя и сконструирован искусственно, тем не менее носителями языка (по крайней мере, некоторыми носителями) признается «правильным». Но много ли пользы от изучения того, что в моей далекой студенческой юности один старик-информант охарактеризовал словами «сказать так можно, но мы так не говорим»?

Плодотворность для теории языка описания механизмов выражения таких смыслов, которые не являются востребованными реальными говорящими на данном языке, как минимум неочевидна. Как кажется, по крайней мере полезнее вначале описать способы выражения тех смыслов, которые для данного языкового коллектива являются приоритетными — т.е. те, которые легко найти в корпусе данного языка. Язык прежде всего дает нам возможность выразить и понять то, что уже было многократно сказано в данном национальном пространстве; может ли язык, без существенного насилия над его структурой и механизмами, быть успешно использован как-то еще — вопрос, вообще говоря, открытый. Может быть, и может — и если так, то такие смещенные способы использования языка тоже должны быть описаны. Но здесь существенны приоритеты, и использование корпуса, как кажется, позволяет расставить эти приоритеты достаточно надежно. Смысл корпусно-ориентированной лингвистики в том, что она позволяет изучать действительно существующие в языке, а не мнимые явления.

2. Как устроен Национальный корпус русского языка. Национальный корпус русского языка в настоящее время (середина 2007 года) включает тексты общим объемом около 150 млн словоупотреблений. Тексты охватывают временной период от конца XVIII до начала XXI века, хотя количество (и качество) текстов разного времени создания неодинаково. Наибольшей полнотой и сбалансированностью отличается массив современного русского языка, в который входят тексты после 1955 г.; именно для этого периода обеспечена максимальная жанровая полнота и разнообразие типов текстов (см. ниже).

В связи с тем, что особенности разметки и поиска у разных типов текстов могут достаточно существенно различаться, Национальный корпус был разбит на несколько подкорпусов, доступ к которым осуществляется по отдельности. В настоящее время такими подкорпусами являются, помимо основного, также три дополнительных: подкорпус поэтических текстов, подкорпус диалектных текстов и подкорпус параллельных текстов (русско-английских). Ниже будет наиболее подробно охарактеризован основной подкорпус, но важнейшие особенности дополнительных подкорпусов также будут отмечены.

В **основной подкорпус** входят как русские письменные тексты, так и образцы устной речи. Письменные тексты представлены следующими типами: художественная литература (проза и драматургия — поэтические тексты, как уже было сказано, образуют отдельный подкорпус), мемуарная проза и публицистика, так называемые бытовые тексты (см. ниже), а

также тексты специальной тематики: юридические, научные, философские, религиозные и ряд других. Особо следует сказать о текстах электронной коммуникации, которые планируется представить в корпусе в достаточно значительном объеме (пока их включено относительно немного, в связи с техническими сложностями обработки). Тексты электронной коммуникации представляют собой письменную фиксацию в электронном виде повседневной речи значительного количества носителей русского языка (как правило, молодого возраста). Основными жанровыми группами этих текстов являются сетевые дневники («блоги»), чаты и форумы; условно к этой же группе можно отнести электронную переписку и SMS-сообщения. Тексты электронной коммуникации имеют очень большое значение для исследования современного русского языка в его динамике, так как фактически представляют собой уникальный эксперимент массовых попыток записи спонтанного дискурса, в которых отражены многие инновативные тенденции развития русской языковой системы, не встречающиеся с достаточной полнотой в других типах письменных текстов. С другой стороны, при анализе этих текстов следует иметь в виду, что их орфография часто далека от нормативной, поэтому обработка таких текстов для корпуса связана с определенными техническими трудностями (сходными отчасти с теми, которые возникают, например, при обработке диалектных текстов).

Устные тексты представлены записями спонтанной речи (бытовые диалоги, устные рассказы и др.), а также образцами устной публичной речи (лекции, выступления, интервью в средствах массовой информации и т. п.). Особым типом устных текстов являются транскрипты кинофильмов[2]: с одной стороны, они обеспечивают включение в корпус большого количества культурно значимых прецедентных текстов (цитаты из кинофильмов, по свидетельству многих исследователей, являются самым частым источником интертекстуальных связей в современном устном и письменном дискурсе); с другой стороны, речь актеров, как показывает практика, достаточно хорошо сохраняет все особенности русской устной речи и может быть исследована наравне с образцами спонтанной речи. Естественно, в корпусе возможен поиск не только по всему массиву основного корпуса, но и по каждому из перечисленных типов текста в отдельности (или по любой их комбинации).

Источником для обработки письменных текстов, как правило, служили их электронные версии, переданные составителям корпуса издате-

[2] Данный проект в рамках Национального корпуса русского языка осуществляется по инициативе и под руководством Е. А. Гришиной.

лями текстов. В отдельных случаях письменные тексты сканировались для перевода в электронную форму или были взяты со специализированных интернет-сайтов (так, например, обстояло дело с некоторыми образцами прессы советского периода). Коллекция устных текстов была частично собрана, при участии многочисленных добровольцев, непосредственно в процессе создания корпуса, но нами были использованы также предшествующие публикации образцов русской устной речи, в особенности выполненные сотрудниками Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН, а также сотрудниками Санкт-Петербургского университета, Саратовского университета, Хельсинкского университета и др.

Как уже было сказано, наибольшая жанровая и тематическая полнота, по понятным причинам, достигается для массива современных русских текстов (после 1955 г.). Именно для этого массива возможно привлечение образцов устной речи, а также сбалансированное представление всех видов письменных текстов. Более ранние периоды пока что представлены не столько в соответствии с идеальными требованиями корпусной лингвистики, сколько в соответствии с возможностями получения тех или иных видов текстов: в настоящее время среди текстов этого периода заметно преобладает художественная проза.

Здесь уместно сказать несколько слов о том, каким именно текстам в корпусе отдавалось предпочтение и каковы общие принципы построения сбалансированной выборки текстов. По замыслу составителей, корпус должен служить инструментом исследования русского языка на всех уровнях; при этом особое внимание хотелось бы уделить возможности диахронических исследований на относительно небольших (для истории языка) отрезках времени. Такая задача предполагает максимально широкое привлечение текстов — в особенности это важно для исследований в области лексики, где могут оказаться существенны редкие и маргинальные единицы, встречающиеся далеко не у всех авторов и не во всех типах текстов.

Ориентация на максимально широкий жанровый охват не означает, однако, что все типы текстов представлены в корпусе в равной пропорции. Опираясь как на опыт корпусной лингвистики, так и на особенности, свойственные именно современному русскому языку, составители корпуса пришли к выводу о том, что некоторые типы текстов должны быть представлены более широко и разнообразно. В настоящее время это публицистика (более 40%) и художественная литература (около 35%). Пониженная по сравнению с публицистикой доля художественной литературы соответствует мировой корпусной практи-

ке и даже несколько превышает принятое в крупных корпусах других языков распределение (в силу известной «литературоцентричности» русской культуры). Следует подчеркнуть, однако, что доля художественных текстов не случайно является не самой большой в корпусе. Современная художественная литература, с ее отчетливо экспериментальным характером (если не считать так наз. массовой литературы), уже не может служить единственным средством отражения процессов, происходящих в языке. В этом отношении центральная роль должна принадлежать текстам, отражающим «естественную» речь носителей языка с обычными коммуникативными установками. Такими текстами, по нашему опыту, чаще всего оказываются мемуары и другие произведения из жанра non-fiction, популярность которых вообще в последнее время, как известно, стремительно возрастает. Это тексты, написанные, как правило, образованными носителями языка, часто не лишенными литературного таланта, но с установкой на «рассказ о реальном», а не на создание специфического художественного эффекта. Они написаны в целом с соблюдением норм стандартного языка, но с ориентацией на использование широкого спектра его лексических и грамматических возможностей. Количество таких текстов в корпусе достаточно велико и, по-видимому, будет в ближайшее время еще увеличиваться.

К мемуарным и другим текстам группы non-fiction близки и так называемые «бытовые» тексты, которые бегло упоминались выше. Это в основном дневники и личная переписка (а также частные объявления и некоторые другие типы текстов), т.е. также образцы, максимально точно воспроизводящие обычные коммуникативные ситуации. В отличие от предыдущей группы текстов, эти (не считая дневников, имеющих более сложную специфику) по преимуществу диалогичны, а не монологичны. Добавим, что большинство текстов электронной коммуникации также принадлежит к типу «бытовых», что повышает их значимость для корпусных исследований. С нашей точки зрения, в корпусно-ориентированных описаниях современного русского языка именно эти группы текстов должны играть центральную роль.

К **специальным** подкорпусам, как уже было сказано, относятся поэтический корпус, диалектный корпус и корпус параллельных текстов.

Необходимость выделения поэтических текстов в отдельный подкорпус, помимо общеизвестных особенностей поэтического языка, диктуется, главным образом, повышенной сложностью разметки поэтических текстов, так как в Национальном корпусе русского языка для этих текстов, в дополнение к обычным типам разметки (см. ниже), впервые использована экспериментальная метрическая разметка, учитываю-

щая основные параметры метрики и строфики (стихотворный размер, тип рифмовки и клаузул, тип строфики и т. п.); естественно, по всем этим параметрам также возможен поиск. В настоящее время в корпусе присутствуют поэтические тексты авторов XVIII–XIX вв. (с различной полнотой), планируется приступить к размещению текстов авторов XX в.

Необходимость обособления подкорпуса диалектных текстов представляется очевидной: как лексические, так и грамматические параметры диалектных текстов не совпадают с общелитературными и требуют тщательной (фактически ручной) обработки. В настоящее время подкорпус диалектных текстов невелик и его роль остается скорее иллюстративной: подкорпус призван продемонстрировать имеющееся разнообразие современной русской диалектной речи. Вместе с тем опыт представления диалектных текстов в электронный форме, аккумулируемый в диалектном подкорпусе, представляется очень ценным — в дальнейшем на его основе можно было бы говорить о создании более масштабного проекта по корпусному представлению русских диалектных данных.

Наконец, параллельный корпус в настоящее время включает сравнительно небольшое число оригинальных английских и русских текстов (главным образом классической художественной литературы) и их переводов на русский (соответственно, английский) язык. В текстах осуществлено выравнивание по предложениям и реализованы некоторые (по техническим причинам не все) возможности поиска, имеющиеся в основном корпусе. К краткому описанию этих последних мы и переходим.

3. Поисковые возможности Национального корпуса. Первая группа параметров, по которым возможен поиск, — это характеристики самих текстов, входящих в корпус, или так называемые «метатекстовые» признаки. Метатекстовые признаки отчасти были описаны в предыдущем разделе; суммируем их еще раз. Это, во-первых, автор текста (имя, возраст и пол), элементы названия текста, а также год создания текста. Тем самым Национальный корпус русского языка позволяет вести поиск в текстах, написанных определенным автором, созданных в определенное время и т. п. Далее, возможен поиск с учетом жанра и типа текста: например, только в художественных текстах или только в публицистических. Для художественных текстов может дополнительно учитываться их жанр (юмор, детектив, детская литература и т. п.) и так называемый «хронотоп» (например, *Россия/XVIII век* или *Ближний Восток/современность*), для нехудожественных текстов — их функциональная сфера (основные используемые рубрики были перечислены в предыдущем разделе)

и их тематика (природа, спорт, медицина и т. п.). Для всех видов текстов — как художественных, так и нехудожественных — учитывается также тип текста: статья, рассказ, анекдот, некролог, проповедь, рецензия, протокол и т. д. и т. п. Таким образом, пользователь может выбрать в корпусе, например, все статьи о спорте, написанные женщинами в 1980 г., или мемуары, созданные авторами, родившимися между 1890 и 1900 гг.[3], и т. д. и т. п. Совокупность текстов, отобранных по тем или иным метатекстовым параметрам, образует так называемый «пользовательский подкорпус», внутри которого возможна работа по поиску примеров с определенными языковыми свойствами.

Что касается собственно языковых параметров поиска, то приоритет в корпусе отдан морфологическим и семантическим признакам лексем. Поиска по синтаксическим признакам в настоящее время не предусматривается — это связано как с отсутствием надежных программ автоматической синтаксической разметки русских текстов, так и с тем, что учет морфологических и семантических признаков во многих (хотя, конечно, и не во всех) случаях делает обращение к синтаксической информации избыточным.

Морфологическая разметка корпуса в основном строится на базе «Грамматического словаря» А. А. Зализняка с привлечением некоторых дополнительных морфологических параметров (например, учитываются формы звательного падежа, компаратива на *по-* и некоторые другие). В определенной степени возможен и поиск по продуктивным словообразовательным моделям (например, диминутивных существительных или семельфактивных глаголов).

Корпус позволяет искать все формы определенной лексемы, часть форм определенной лексемы или формы любой лексемы с заданной грамматической характеристикой (например, все формы прошедшего времени или все формы дательного падежа множественного числа прилагательных). Возможен как поиск единичного образца, так и конструкции из нескольких образцов (до четырех). Например, можно задать поиск конструкции, состоящей из глагола с приставкой *под-*, предлога *под* и формы винительного падежа существительного.

---

[3] Любопытно убедиться, что по данному конкретному запросу в настоящее время корпус выдает мемуарные тексты следующих авторов: Олег Волков, Борис Ефимов, Лазарь Каганович, Елизавета Кузьмина-Караваева, Надежда Мандельштам, Анатолий Мариенгоф, Анастас Микоян, Владимир Набоков, Леонид Утёсов, Марина Цветаева, Ольга Чехова и нек. др. Разнообразие авторов и текстов достаточно представительное.

Следует учитывать, что морфологический поиск в общем случае ведется по всему корпусу, где морфологическая разметка проводилась автоматически и грамматическая омонимия (как внутрипарадигматическая, так и межлексемная) снята не была. Естественно, среди результатов поиска в таком случае оказывается довольно много «шума» — впрочем, это часто зависит от точности запроса. Как правило, чем более подробным является запрос, тем меньше «шума». Однако, если пользователь по каким-то причинам хочет получать только точные ответы на запросы, он может работать только со специальным подмножеством основного корпуса (около 5 млн словоупотреблений), в котором грамматическая омонимия была снята вручную. Запросы типа «все формы дательного падежа единственного числа», разумеется, целесообразнее задавать именно на этом подмножестве текстов.

Запросы по морфологическим признакам можно дополнить запросами по семантическим признакам. Структура семантической разметки в корпусе (носящей во многом инновационный характер) будет подробно рассмотрена в отдельном докладе; здесь укажем только, что основное внимание при семантической разметке обращалось на таксономическую классификацию существительных и глаголов. Таким образом, можно, например, получать примеры с родительным падежом от названий веществ, творительным падежом от названий инструментов, исследовать конструкции с глаголами движения или ментальными глаголами и т. п.

В настоящее время работа по совершенствованию Национального корпуса русского языка продолжается. Это касается как пополнения текстовых коллекций корпуса, так и — в особенности — совершенствования средств разметки корпуса и исправления замеченных ошибок. Составители корпуса заинтересованы в максимально широком отклике на их работу, особенно среди славистов.

ЛИТЕРАТУРА

НКРЯ — Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты и перспективы. М., 2005.

Перцов 2006 — *Перцов Н. В.* К суждениям о фактах русского языка в свете корпусных данных // Русский язык в научном освещении. № 1 (11). 2006. С. 227–245.

И. А. Седакова

Распад «идеологических» языковых союзов: универсальное и специфическое

Изучение характерных черт балканского языкового союза и лингвокультурологические исследования стран бывшего социалистического лагеря, чем я занимаюсь последние пятнадцать лет, казалось бы, два направления, не обнаруживающие точек соприкосновения и пересечения. Однако более внимательное рассмотрение современных языковых процессов и метаморфоз культуры, религиозности, нравственно-этических ценностей в посттоталитарных странах приводит к мысли, что изменения могут и должны рассматриваться в рамках проблематики языковых союзов. Социолингвистические и этнокультурные явления в этих государствах на стыке тысячелетий демонстрируют удивительное сходство, прежде всего, в своих глобальных центробежных тенденциях и деидеологизации. Этот факт, как и ряд других, подтверждает, что 70- или 40-летнее объединение стран народной демократии породило языковую общность особого типа — союз идеологический, союз особых размеров и особых законов создания/существования/распада. Язык в данном случае понимается максимально широко — не только как одна конкретная система знаков, но как комплекс знаковых систем в их социальной функции.

В статье делается попытка обосновать понятие «идеологического языкового союза» (далее ИЯС), кратко охарактеризовать специфику его функционирования и подробнее остановиться на этапе выхода языков из ИЯС, сопоставив социолингвистические и лингвокультурные изменения последних лет в России и Болгарии.

Правомерно ли говорить о наличии идеологических (политических) языковых союзов, тем более что речь идет о союзе гетерогенных языков, которые нередко отдалены друг от друга и распространены на огромной территории? Мне кажется, что отрицательного ответа возникать не должно. Независимо от наличия/отсутствия генетического родства языки (только на территории СССР насчитывалось 130 языков, принадлежащих к разным семьям), подверглись значительной конвергенции в самых разных проекциях.

То, что языки СССР составляли своеобразный, **советский** языковой союз, признавали лингвисты в доперестроечное время. Об этом

писал Ю.С.Степанов в 70-е гг., отмечая в своей книге «Основы общего языкознания» (глава «Языки в эпоху образования наций»): «В наши дни (70-е гг. 20 в.) тюркские и иранские (таджикский и др.) языки на территории СССР, так же как и все языки СССР, образуют новый ареал и одновременно тесный языковой союз, который может быть назван советским. Советский языковой союз, таким образом, частично накладывается на Востоке на арабский ареал, а на Западе на европейский ареал <...> Каждый национальный язык в пределах СССР принадлежит к современному языковому союзу национальных языков советских социалистических наций. В рамках этого языкового союза актуализируются и все более укрепляются черты общности каждого языка с другими языками этого союза» [Степанов 1975: 207–210]. В своей недавней книге «Константы. Словарь русской культуры» Ю.С.Степанов вновь пишет о языковом союзе СССР и констатирует, что процессы сближения языков внутри союза по понятным причинам свернулись [Степанов 2004: 127].

Положение о существовании советского языкового союза имеет тем более все основания, поскольку в начальной стадии образования СССР малые языки формировались под воздействием складывавшегося «советского», революционного языка (см. о русском языке первого десятилетия после 1917 г. [Селищев 2003/1928; Винокур 1925] и др.). Об истории языков национальных меньшинств и языковом строительстве в первые послереволюционные годы на примере малых языков писали многие ученые (М.И.Исаев [Исаев 1978], Ю.Д.Дешериев, И.Ф.Протченко [Дешериев, Протченко 1968] и др). Для малых языков (и не только) поворотным пунктом стал перевод трудов классиков марксизма-ленинизма (так создавалась письменность бесписьменных в 20-е гг. XX столетия языков, и тут напрашивается сравнение с ролью переводов Библии на многие языки и, в частности, на старославянский) и распространение большевистской идеологии, проникновение советской периодики и организация собственных печатных изданий, обучение русскому языку, функционирование русского как государственного и т. д. Русский язык как lingua franca оказал огромное влияние на все языки народов, входящих в состав СССР, а «сакральные» идеологические, общественно-политические тексты, тексты марксизма-ленинизма стали образцом для подражания и воссоздания на родной почве[1]. Воздействие распространилось не только на лексику

[1] Р.Якобсон, анализируя фонологические языковые союзы, писал о некоторых дополнительных факторах, способствующих созданию подобных общностей. Так, он отмечал языковую моду, «стремление говорить, как „дру-

(особенно отметим проникновение интернациональной социально-политической лексики и разного рода советизмов), но и на фонетику, фонологию, словообразование, грамматику и синтаксис языков как близкородственных (украинского и белорусского), так и генетически далеких (в удмуртский из русского заимствуются фонемы х, ф, ц, в киргизский — в, ф, х, ц, ч; в кабардино-черкесском отмечается появление формы относительных прилагательных *советскэ* 'советский', *коммунистическэ* 'коммунистический'; в тувинском и др. языках возникают новые типы сложноподчиненных предложений [ЛЭС: 615]). Видимо, языковые союзы внутри СССР шли к еще большей конвергенции, объединяющим фактором был русский язык-гегемон, доминирующий язык власти (властей), что сформировало не только общий ареал, но и «новую личность» (в том числе языковую, см. [Зильберт 1994]), «советского человека» [2].

Советский языковой союз после Второй мировой войны постепенно расширяется за счет языков присоединившихся к соцлагерю стран Европы, о чем также писал Ю.С.Степанов: «Языковой союз СССР входит в более широкий языковой союз социалистических наций Европы...» [Степанов 1975: 207–210]. Изменение русского языка в сторону языка советского, новояза к концу 40-х гг. уже было весьма значительным [3], поэтому государства Восточной Европы (с языками славянской, германской, балтийской, романской и др. семей) вместе с доктриной, атеизмом, этическими и эстетическими ценностями получали уже готовые идеологические (лексические, стилистические, словообразовательные и др.) штампы и модели официального новояза.

Ареалогический принцип, соседство языковых территорий — один из самых существенных факторов при обосновании наличия

гие", не ограничиваясь рамками родного языка»; говорил также о подражании, которое «является могущественным фактором в образовании лингвистических волн, независимо от того, охватывают ли они область одного языка или ряда смежных языков» и др. [Якобсон 1985: 95–97].

[2] В силу этого в Болгарии, например, человека любой национальности из СССР квалифицировали как «советского», а товары из разных республик также не обозначались через точное место их производства (трактор «Беларусь», радиоприемники «ВЭФ» и пр.).

[3] О развитии русского языка в сторону советского в послевоенный период существует богатая библиография, упомяну хотя бы [Бельчиков 1967; Шанский 1957; 1987] и мн. др.

языкового союза, ср. следующее определение союза: «...особый тип ареально-исторической общности языков, характеризующийся определенным количеством сходных структурных и материальных признаков, приобретенных в результате длительного контактного и конвергентного развития в пределах единого географического пространства» [ЛЭС: 617]. Представляется, однако, что для создания ИЯС фактор пространства не играет главенствующей роли. Основой формирования ИЯС стала **идеология**, утвердившая ряд единых социолингвистических, культурных и мировоззренческих моделей (прежде всего испробованных и укрепившихся в русском) в каждом конкретном языке, входившем в союз. Предпосылкой для конвергенции стали тесные контакты как между смежными странами, так и между отдаленными[4]. Таким образом, по своему распространению ИЯС не ограничивается Европой или территорией бывшего СССР, его можно значительно расширить, включив в него языки стран, поддерживавших/поддерживающих социалистическую идеологию (или получивших «идеологический» вирус, «заразу» (contagion, по терминологии Ф. де Соссюра), но отошедших от СССР), в регионах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, ср. высказывания лингвистов, отмечавших «...огромное историческое значение языкового строительства в СССР для народов Азии и Африки, вставших на путь национального развития» [Протченко 1975: 84].

Ярких примеров различных путей развития идиомов одного языка внутри ИЯС и вне его можно привести множество. Так, сопоставительный анализ корейского языка в Северной и Южной Корее выявляет различия во всех языковых проекциях, начиная с речевого этикета, ономастики, шкалы оценок, ценностей и т. д., что затрудняет общение

---

[4] Ср.: «Языковые, культурные и пр. контакты являются важным условием конвергенции» [Эдельман, Цивьян 2005: 16], а также утверждения лингвистов в советский период: «Ни одна предшествующая социально-экономическая формация, ни одно государство в мире не создавали таких благоприятных условий для взаимодействия языков, как в нашей стране. Отсюда — общий лексический фонд, идентичное смысловое значение...» [Протченко 1975: 84; Взаимовлияние 1987]. «В любой устойчивой ситуации общения, где участвуют носители разных национальных языков и общение происходит на одном из них либо при посредстве перевода по очереди на каждом, — образуется „языковой союз“, и в каждом из контактирующих языков активизируются черты, общие для всех языков союза» [Степанов 2004: 214].

и понимание даже между разделенными политической границей родственниками[5]. Возвращаясь в Европу, отметим подобные различия между языковыми идиомами немцев ГДР и ФРГ, а также, что особенно показательно, разительные расхождения в речи жителей социалистической метрополии и эмигрантской диаспоры. Отличие речи русских эмигрантов первой волны, язык которых не вобрал в себя советизмы, лексику и грамматику новояза, отмечено и описано исследователями. Подобные явления наблюдаются в речи всех эмигрантов и не-эмигрантов стран, входивших в ИЯС. Невозможность коммуникации в значительной степени из-за невладения «новоязом» я наблюдала в одном из болгарских сел Молдовы в 1976 г., оказавшись свидетельницей встречи двух восьмидесятилетних братьев-близнецов, один из которых всю жизнь прожил в селе (в те годы находившемся на территории СССР), а другой в 20-е гг. уехал в Бразилию, где и провел всю свою жизнь. Несмотря на то, что «бразильский» брат был женат на болгарке, домашним языком был болгарский и в семье поддерживались все традиционные праздники, коммуникация двух братьев сводилась к объяснению вещей и понятий, очевидных для одного и непонятных для другого (сельсовет, трудодни, празднование 7 ноября и т. д.). Сразу же отметим, что после распада СССР варианты, диалекты ряда неславянских языков, разделенных политическими границами, демонстрируют тенденцию к объединению, здесь примером может служить ситуация с молдавским и румынским языком/языками[6]. Этот процесс идет параллельно с отталкиванием

---

[5] К сожалению, я не знакома со специальными исследованиями по этим языкам. Я основываюсь на устной информации профессора лингвистики Сеульского университета Х. Б. Ли.

[6] «Румынский и молдавский один и тот же <язык>. Да, как шутил один мой знакомый, единственное отличие — в молдавском есть слово „девятиэтажка“» — это утрированное шутливое обобщение, взятое из Интернет-блога (http://lj.rossija.org/users/tipharet/452985.html), частично является отражением языковой политики Молдовы и Румынии. Лингвистический анализ, однако, выявляет различия, обусловленные вхождением молдавского языка в союз языков СССР: «...румынский (или молдавский) язык Молдовы развил целую систему именных синтагм, <...> они были активизированы влиянием русского языка и, следовательно, являются чертой языкового союза. Это, например, „флективные, т.е. беспредложные, синтагмы действия“ — в тогдашней графике кириллицей; *дезволтаря сочиетэций* и русск. „развитие общества“, то же со словами *аутоматизаре* „автоматизация“, *организаре* „организация“, *механизаре* „механизация“ и т. п., сопровождаемыми существительным в родительном падеже» [Степанов 2004: 126].

от русского языка, ср. подобную политику отделения и выявления специфики в первые постперестроечные годы в близких славянских языках (украинский, белорусский)[7].

Благодаря контактам и тесному общению разных народов внутри политического союза, как уже говорилось, аксиологические модели, словарь и видение мира распространились, утвердились и стали развиваться и в удаленных от СССР как центра ИЯС странах. Закрытость и враждебность по отношению к капиталистическим странам и, напротив, активные контакты внутри социалистического содружества способствовали развитию ИЯС. Языки, которыми пользовались (пользуются) народы стран социализма и которые испытали колоссальное идеологическое давление, развили много общего в плане содержания, выражения и общей языковой ситуации. К собственно лингвистическим характеристикам, объединяющим эти языки в ИЯС, следует добавить и экстралингвистические параметры, без которых языки (здесь опять же важна именно социальная функция языка) анализировать невозможно. Исследователи языковых союзов отмечают, что помимо общих языковых признаков у народов, говорящих на этих языках, развиваются общие черты материальной и духовной культуры [Эдельман, Цивьян 2005:16], ср. понятие культурно-языкового союза применительно к крымской общности языков [Иванова 2002: 149–151]. Общность модели (картины) мира обнаруживается, в частности, в балканском языковом союзе [Цивьян 1990; 2005]. Народов, говорящих на языках ИЯС, также объединяла особая картина мира — советская, для который характерны: «кодификация» системы мышления и категорий оценок, культурно-эстетических и этических установок; специфическая трактовка исторических событий и создание героических пантеонов; сходство реалий и жизненного уклада в целом, а также экономики, политических приоритетов и т. д.

---

[7] Процесс отхода от русского как государственного языка в бывших республиках СССР, казалось бы, столь необратимый в начале 90-х, теперь подвергается пересмотру. Так, на Украине в последние годы активно обсуждается вопрос о предоставлении русскому языку статуса второго государственного. По данным всеукраинского соцопроса, проведенного в декабре 2006 г., 38,05% граждан дома общаются исключительно на украинском языке, 30,36% — только на русском, 30,54% — в зависимости от обстоятельств (http://www.ng.ru/cis/2007-10-25/6_yazyk.html). В Белоруссии также наблюдается «обратный ход», например возврат в 2006 г. к «дореформенному» правописанию в некоторых оппозиционных СМИ (www.lenta.ru/news/2006/08/30/language).

Итак, в результате долголетнего «единства» в сфере политических, философских, экономических и пр. воззрений, функционировавших в виде официальной доктрины и не допускавших открытых возражений и дискуссий, языки стран народной демократии значительно преобразились, и граждане этих государств получили возможность описывать мир в одинаковых оценочных категориях (о ценностях в плане аксиологии, особенно о ряде «понятий, составляющих устойчивые „идеологические текстовые перечни“», см. [Бартминьский 2005: 115–130])[8]. К базовым идеологическим ценностным разделительным категориям, имеющим эксплицитное и имплицитное выражение во всех языках ИЯС, относится прежде всего оппозиция «свое = социалистическое» / «чужое = буржуазное», которая прочитывается в любой информации и обслуживается специальным «социальным» словарем (ср., например, заключительную фразу в географической справке советских времен, не предполагавшей дополнительных «гражданских» сведений, о Северной Ирландии: «Народ Северной Ирландии принимает активное участие в борьбе за гражданские права» [ГЭС: 378]). Эксплицитная идеологизация, деление на «своих» и «чужих», «чуждых» применялась для всех отраслей знания, при этом информация, связанная с зарубежьем, подавалась с позиции «нашего» и «их». Возьмем, к примеру, болгарскую словарную статью «Актуалност» из Словаря терминов телевизионной журналистики:

«Актуален е онзи журналистически материал, който в момента на публикуването му в печата, радиото или телевизията оптимално отговаря на обществената необходимост <…> В социалистическото общество актуалността е насочена към обективните интереси на народните маси. Актуалният журналистически материал съдейства активно за претворяване в дела на партийната политика, за изграждането на социализма <…> В буржоазното общество актуалността се използва за задоволяване стремежите на господстващата класа. Там актуалността е различна за различните класи — за трудещите се е актуална цената на хляба, за банкерите — курсът на борсата. Буржоазните идеолози се стремят да освободят актуалността от нейната класова обусловеност и да сведат понятието до бързина и астрономическо време. Спекули-

[8] Аксиологические параметры языка как тесно связанные с идеологией и мировоззрением общества были в центре внимания цензуры и комитетов безопасности. Так, по рассказам профессора Е. Бартминьского, материалы первого заседания по обсуждению Польского аксиологического словаря (1985 г.) были найдены в архивах тайной полиции.

райки с термина актуалност, се създава шум около изкуствено сътворени сензации» ('Актуальным является тот журналистский материал, который в момент его публикации в печати, на радио или телевидении оптимально отвечает общественной необходимости <...> В социалистическом обществе актуальность направлена на объективные интересы народных масс. Актуальный журналистский материал активно содействует претворению в жизнь политики партии, построению социализма <...> В буржуазном обществе актуальность используется для удовлетворения стремлений господствующего класса. Там актуальность различается в зависимости от классовых различий — для трудящихся актуальны цены на хлеб, для банкиров — биржевые курсы. Буржуазные идеологи стремятся освободить актуальность от ее классовой обусловленности и свести это понятие к быстроте и астрономическому времени. Термином актуальность спекулируют и нередко на этом строятся искусственно созданные сенсации') [Младенов 1979: 28][9].

Несмотря на то, что языки стран народной демократии, равно как и их история, были столь различны, постепенно сформировался набор признаков, который проявлялся в каждом из этих языков. Это относится к синтаксису (выработка канцелярского стиля, демагогические построения), лексике (общий фонд заимствованных лексем или калек), ономастике (принципы создания топонимов и антропонимов), к аббревиатурам и, шире, к словообразованию. Создавались специфические идеологические тексты — призывы, лозунги и речевки, особое развитие получил жанр политического выступления (см. о Болгарии [Македонска 1967]). С точки зрения идеологии оценивались произведения искусства, нередко и гуманитарные исследования по подходу к объекту изучения, а также стилю изложения должны были соответствовать принятым в социалистическом обществе мировоззренческим устоям.

---

[9] Эта дефиниция в наши дни наглядно демонстрирует смену базового понятия актуальности и ее применимости к бывшим социалистическим странам, ср., например, ежедневную обязательную информацию о биржевых курсах в Интернете на всех основных сайтах, а также многочисленные «искусственно созданные сенсации», касающиеся разнообразных событий и лиц (политиков, поп-звезд и знаменитостей и т. д.), и специфику подачи материалов. Вот, например, октябрьские (2007 года) анонсы на сайте www.marketgid.ru: «Срочно! Доллару вынесен приговор!»; «Ужас! Конец света наступил в Подольске!»; «Круто! АвтоВАЗ продемонстрировал новый автомобиль!» и под.

Уже отмечалось, что коммуникация между представителями этого огромного языкового союза была облегчена, поскольку строилась на понятных для всех участников концептах и ценностях. Нельзя забывать к тому же, что русский был обязательным предметом в школах или даже детских садах всех этих стран. Напротив, коммуникация между восточно- и западноевропейскими людьми была затруднена, причем не только потому, что различался образ жизни (реалии и пр.), ментальность и модель мира, но и в силу лингвистических обстоятельств [Moskovich 1989]. Теперь же толковые словари нужны молодому поколению, которое совсем не знает реалий и языка социалистической эпохи [Мокиенко, Никитина 1998; Сарнов 2002; Скляревская 1998, и др.].

Степень принадлежности каждого языка к ИЯС, этому огромному «идеологическому» союзу, различалась по многим причинам: в зависимости от генетической близости языков и географической смежности стран, от уровня сопротивления идеологическому давлению, от степени религиозности общества и пр. (Словения, Хорватия, Сербия, Венгрия, Чехия развили не столь тесные связи внутри союза). Сохранению религии в некоторых странах «лагеря» противостоял агрессивный атеизм социалистических стран с определенным словарем, оценочными эпитетами, запретами, антирелигиозными плакатами и речевками, что выразилось в «заражении» новоязом или противодействии вирусу. Кроме того, важную роль играла устойчивость норм литературного языка и его консервативность, многообразие и сохранность диалектов и пр.

Наше сравнение постсоциалистических тенденций основывается на русском и болгарском языках. Болгарский язык можно считать одним из эталонных членов языкового идеологического союза. Будучи близким по словарному составу и частично по морфологии русскому, болгарский язык усвоил в полной мере черты тоталитарного языка. Поскольку русско-болгарские тесные языковые и культурные контакты исчисляются не одним столетием, советский язык более или менее органично накладывался на болгарский, о взаимодействии русского и болгарского, влиянии русского (советского) на болгарский и развитии болгарского по образцу советского существует обширная литература [10]. Однако Болгария стала одной из первых стран, которая незамет-

[10] Говорить о влиянии только советского языка в Болгарии некорректно. Русская культура всегда была важным ориентиром для болгарской интелли-

но «по-английски» вышла из соцлагеря и сразу же отказалась от языка и вообще связей с «братским» русским народом. Русский язык, который до этого изучался начиная с раннего детства, был выведен из программ школ, курсы русской филологии сокращены в вузах. Языковым ориентиром стал английский как ELF (European lingua franca), а русским языком спустя 15 лет после перестройки в Болгарии уже почти не владеют[11]. Изучению социолингвистических, культурологических, этнографических и др. процессов в период перестройки и посттоталитаризма посвящены специальные монографии и статьи болгарских исследователей-гуманитариев [Беновска-Събкова 2001; Иванова 2004; Михайловска 1999; Стоянова 2003, и др.].

Дивергенция, основанная на духе сепаратизма (по терминологии Р. Якобсона [Якобсон 1985: 95]), после долгих лет унификации стиля идет неравномерно. Вероятно, здесь можно говорить о том, что, чем глубже идеология и ее язык проникли в официальный язык, чем дольше существовало такое давление, тем сильнее стало отталкивание[12] от советизмов, но при этом труднее идет и отказ от них. Так, например, значительно изменился речевой этикет; приветствия, обращение — существенная часть коммуникации — в языках ИЯС подверглось строгой унификации. Во всех языках при официальном общении использовалось *товарищ* или его соответствия (болг. *другар* и пр.). В русском языке, как известно, в речевой культуре после рас-

---

генции и во многом формировала ее язык. Роль русского (и советского) языка в формировании болгарского на разных его этапах описана во множестве лингвистических исследований [Андрейчин 1952; 1957; 1967; Бабов 1978; Георгиев 1969; Леков 1953; 1959; Москов 1964; Мутафчиев, Анкова 1949–1950 и др.]. Кроме того, влияние русского языка на развитие болгарского в XX в. традиционно рассматривается параллельно влиянию языка церковнославянского (хотя в ряде случаев можно говорить о непосредственно русском влиянии на формирование, в частности, административно-канцелярского стиля) [Венедиктов 2004: 20–24].

[11] Ярким примером может послужить тот факт, что при издании специального номера журнала «Български фолклор» (№ 3–4, 2006), в котором публиковались статьи русских ученых, все материалы пришлось переводить на болгарский — новое поколение студентов и ученых-гуманитариев даже не читает по-русски.

[12] Здесь уместен термин *Fight back* (букв. 'бороться, побороть'), который используется для описания языковой ситуации в Чехии после немецкого господства [Aikhenvald 2006: 17].

пада ИЯС не найдено нейтральной единой формы обращения[13], тогда как, например, в Болгарии, Польше (и других странах), где за 40 лет не успели забыться или просто не ушли из обихода принятые веками *господин*, *госпожа*, *госпожица* (болг.)[14], *pan*, *pani* (польск.), подобных проблем не возникает.

Одним из первых социолингвистических действий по выходе из ИЯС стало переосмысление топонимов. Ономастические процессы охватили в начале 90-х годов все языки стран посттоталитаризма, и переименование городов, улиц, станций метро, предприятий и пр. символизировало перечеркивание общего прошлого — общих героев, ценностей и идеалов, атеистических убеждений и пр. В России ленинские и революционные онимы изменились частично: *Санкт-Петербург* окружен *Ленинградской* областью, а *Екатеринбург — Свердловской*, рядом с *Самарой* находится *Куйбышевское* водохранилище; выходят газеты «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец»; работают фабрики «Красный Октябрь», «Большевик», «Микояновский» мясокомбинат; Российская государственная библиотека находится на станции метро Библиотека им. Ленина[15]. Подобные переименования имели место и в Болгарии, и там следы социалистического прошлого страны в топонимии остаются. Так, на карте сохранились города Димитровград, Благоевград и др., ведется полемика о переименовании улицы Жданова в Софии и пр. Таким образом, на географической карте и России, и Болгарии «советизмов» остается немало.

Кроме пространства, важным изменениям в картине мира постсоциализма подверглось восприятие времени, произошла реструктуризация праздничного календаря и юбилейных дат[16]. Поскольку праздники —

---

[13] Об изменении обращения «по отчеству» и использования полной формулы «Ф. И. О.» см. [Николаева 1999].

[14] *Госпожице* (как обращение к девушке) я часто слышала в общественном транспорте в Софии в конце 70-х гг. (т. е. за 10 лет до революции). *Госпожица* 'девушка, барышня' воспринималось почти как нейтральное, с незначительным оттенком архаического стиля.

[15] В российской провинции, даже в ближайшем Подмосковье, концентрация советских названий еще очень велика (вот, например, реальный адрес фабрики мебели «Форема»: Люберецкий район, *Октябрьский* пос., ул. *Ленина*), что подтверждает тезис о неравномерности выхода ареалов одного языка из ИЯС в соответствии с приверженностью социалистическим взглядам или отказом от них.

[16] В некоторых постсоветских республиках с авторитарными режимами изменены даже названия дней недели и месяцев. Так, Сапармурат Ниязов в

это то, что объединяет и одновременно разъединяет людей (в зависимости от возраста, профессии, идеологических убеждений и пр.), конструирование годового цикла — важный момент политики, что находит отражение и в социолингвистических процессах. Религиозные и домашние праздники заняли свое законное место в годовом цикле, однако официальные праздники и их интерпретация в речи политиков и в СМИ вызывают много дебатов. Анализируя «новые» политические даты в России и Болгарии, нельзя не заметить, что их выделение как памятных дней соотносится с теми процессами, которые происходят в языке и в целом в нации. Особенно важными представляются следующие: формирование национальной идентичности через наименование праздника и его «языкового образа», аккуратная замена идеологического торжества другим историческим памятным днем, не связанным с социалистической историей (хронологически эти знаковые даты не должны отстоять далеко друг от друга, ср. 4 ноября День национального единения в России (введен в 2006 г.) и 7 ноября день Октябрьской революции; в Болгарии 9 сентября — День революции и 22 сентября день Независимости (введен в 1998 г.) и т. д.); стремятся «влиться» в европейское и международное пространство, где дни независимости, единства и конституции уже давно стали национальными праздниками (подробнее см. [Sedakova, in print]). Показательным могут быть комментарии по поводу праздника Независимости в России (или Дня России, 12 июня) и в Болгарии. Услышанный мною комментарий по поводу того, что этот день не рабочий, был адресован человеку, который не знал (забывал) об этом празднике: «Это день, когда мы поняли, что от нас ничего не зависит». Подобная игра слов встретилась и в болгарских интернет-блогах («от нас ничего не зависит»), а сам праздник ассоциируется с американским календарем: «Исках да пиша за днешния празник. Деня на независимостта. хАмериканска (так. — *И. С.*) работа, помислих в първия момент. После гледах новините, ясно и ние сме си имали такъв празник!» ('Я хотел написать о сегодняшнем празднике — Дне независимости. хАмериканские дела, подумал я в первый момент. Потом посмотрел новости, оказывается, и у нас есть такой праздник!') (www.guvech.bg).

Профессор Георги Марков в своем интервью агентству «Фокус» отметил в 2006 г., что многие болгары не понимают День независимости и пытаются связать его с Днем независимости США (см. цитату

Туркменистане ввел новый отсчет времени и переименовал в соответствии с новейшей историей и мифологией страны дни, недели, годы.

выше). Множество идентичных свидетельств можно обнаружить в российских СМИ, хотя день Независимости России — это не условная дата из давней послеосманской истории, как в Болгарии, а праздник, которым отмечается суверенитет России — событие новейшей истории.

Время как важнейшая семиотическая категория исключительна важна для развития языков и после их выхода из ИЯС. Яркое противопоставление советского и несоветского (постсоветского), например, наблюдается в русском языке, развившем на социолингвистической основе четкую оппозицию прошлое/настоящее (подробнее см. [Седакова 1995; 2005]), которая проявляется не только в маркированности социалистической лексики и пр. как политически окрашенной, но и дает основания для постоянного сравнения временных пластов, для игры слов. В наши дни советизмы отражают определенную ностальгию по всему советскому и развитию моды на советские «бренды», знаки, термины (ср. рекламу специального выпуска журнала «Ведомости» под показательным названием «Фронт-офис» в Интернете: «Как устроить кадровую революцию? Что такое офисный переворот?» (Октябрь 2007)). В других языках, как представляется, лексика и стилистика тоталитаризма ушла в разряд историзмов и привлекается в основном для осмысления прошлого и для обозначения своей политической позиции у социалистов (хотя и их риторика значительно изменилась).

Динамичность, центробежность и деидеологизация — вот основные универсальные черты, характерные для развития всех бывших членов ИЯС. Реалии социалистического прошлого и их лексические обозначения превратились в историзмы и архаизмы. После снятия цензуры, довольно быстрого (в некоторых странах) отказа от коммунистической идеологии и появления огромного количества новых материальных (развитие бизнеса и экономики, изменения в финансовой политике, появление множества новых профессий и специальностей, создание рынков со свободно доступными новыми товарами и мн. др.) и духовных (официальное возвращение религиозности, новые духовные поиски, самоидентификация этносов, переосмысление фактов истории благодаря появлению запрещенных ранее книг и мн. др.) сфер язык стал меняться настолько быстро, что любая его фиксация, любое изучение на определенном этапе представляет собой очень важный синхронный срез [Чередниченко 1999; Русский язык 1996], часть которого уже стала историей и подвергается социолингвистическому, политическому и культурологическому осмыслению (см. публикации

в спецвыпусках «Нового литературного обозрения», посвященного девяностым годам XX в. [НЛО 1, 2], а также работы [Кара-Мурза 2007; Клушина 1996; Костомаров, Бурвикова 2001; Купина 1995] и др.). Неологизмы и заимствования заняли значительную часть современного языка вокруг нас. Говоря о языке, который нас окружает, я имею в виду те его устные и письменные формы, с которыми человек сталкивается в своем повседневии. Современный язык «агрессивен», он буквально преследует людей, навязывая свои штампы и апеллирующие преимущественно к массовой культуре образы. Кроме того, появилось огромное пространство для самовыражения и новые формы использования языка — в Интернет-блогах, мобильных сообщениях и пр. Аудио-визуальный образ языка сегодняшнего дня — это особый конгломерат явлений, который отражает изменения, произошедшие с середины 80-х гг. XX в. То, что мы слышим по радио и телевидению, читаем в Интернете, газетах и журналах, на многочисленных уличных плакатах, рекламах, видим в качестве названий магазинов, заведений, фирм, продуктов, — это, как отмечают многие лингвисты, одна из самых динамичных сфер русского языка. Это относится и к другим языкам ИЯС. В этом языке уже нет бывших социалистических идеологических аллюзий, чаще используются аллюзии иного рода — прежде всего коммерческие, рекламные.

Можно сказать, что идеологию заменила коммерция, и это особенно заметно на примере развивающейся быстрыми темпами рекламы, которая в советские годы практически отсутствовала. Переосмысление официальных идеалов жизни, смещение акцентов из сферы общественной в сферу личную, из идеологической — в потребительскую — все это и отражается в рекламе, и одновременно насаждается ею. Показательно, что даже при переименовании улиц в Москве власти руководствуются «рекламными» соображениями престижности и благозвучности названия района [17].

---

[17] Ср. высказывания депутата Мосгордумы М. Москвина-Тарханова: «Исторический центр Москвы, где сейчас идет застройка „Москва Сити“, богат нелепыми и весьма абсурдными названиями. Улицы, которые носят имена советских номенклатурщиков и различные промышленные названия, имеют свое прошлое. Поэтому именоваться они должны, в первую очередь, в честь тех, кто внес наиболее значимый культурный вклад в историю России и Москвы в частности. Во-вторых, этот вопрос имеет и финансовую подоплеку. Недвижимость на улице Чехова, к примеру, будет цениться выше, чем на Силикатной улице» (газета «Взгляд». 15.02.2007).

Реклама в постсоциалистических странах и особенно в России выстраивает новое учение о жизни. В этом сочетании, как представляется, скрывается некая амбивалентность. С одной стороны, это **новое**, т. е. то, что привносит реклама (по слоганам, «жизнь беззаботна, легка, ярка, весела, разнообразна» и мн. др.), с другой стороны — это **учение**, а учение требует определенной дидактической стилистики. Похоже, что реклама в западных странах не носит прямой педагогической направленности, в ней нет или почти нет императива. Очевидно, это специфика постсоциалистических стран, которую, как кажется, порождает инерционность советских стереотипов (привычка к директивам на уличных плакатах, осевшие где-то на подсознательном уровне призывы, публиковавшиеся в газетах к праздникам, и т. д.).

Еще одной универсальной чертой следует считать развитие и восстановление в языках ИЯС национального своеобразия, попытки идентифицировать нацию через язык и традиционную культуру. Здесь несмотря на общие тенденции имеется специфика. Так, в центральных городах России, например, фольклор, народный обрядовый и официальный церковный календарь к началу перестройки почти были забыты. СМИ постепенно стали вводить информацию о приметах, поверьях, суевериях, рассказывать о церковных праздниках, именинах и пр., и эти данные теперь стали loci communi в газетах, журналах, теле- и радиопередачах, на Интернет-сайтах и пр. Так, например, на сайте погоды (www.yandex.weather.ru) каждый день публикуются приметы, например, «Осенний иней — к сухой и солнечной погоде, к вёдру и теплу» (31 октября 2006 г.) и др. Соотнесение праздника с погодой или с другим предсказанием, упоминание пословиц с хрононимами — обязательная составляющая новостных программ («Какая погода на Благовещенье, такая и на Пасху», «Снег на Покров — холодная зима» и т. п.). Представляется, что это явление не так развито в Болгарии, где традиционная культура сохранилась и в городах, поскольку связь с сельской местностью и в годы социализма прервана не была, и, кроме того, запреты на исполнение обрядов (и народных, и церковных) в Болгарии не были столь строгими, как в СССР.

Поиски духовности, обращение к религии, к оккультным наукам и, следовательно, развитие языка, обслуживающего эти сферы, типичны для всех посттоталитарных стран, однако эти процессы также проходят неодинаково. Так, в России оккультная реклама стала обычной частью газет рекламного содержания, причем предлагаемые услуги описываются или как традиционно русские («сибирский колдун в седьмом поколении»), или как экзотические («магия Вуду»), подроб-

нее см. [Седакова, в печати]. В Болгарии, известной своими пророчицами и целительницами (Ванга, баба Мара и др.), такого «расцвета» рекламных предложений нет, хотя, конечно, масштабы культов и само количество местных «святых»-целительниц значительно увеличились [Вълчинова 2006].

Акцентирование «своих» знаменитостей в областях, городах и поселках, поиски достопримечательностей, которые не имеют отношения к истории партии, революционной борьбе, стало также яркой тенденцией посттоталитарного стремления к самобытности и находит отражение в ономастике всех членов бывшего ИЯС. Список знаменитостей и знаменательных событий значительно отличается от советского набора[18]. Это уже не революционные герои, а религиозные деятели, местные святые; святыни, известные ученые, литераторы, которым не было места в советском пантеоне. Так, например, в Калининграде университет носит имя Иммануила Канта, одно из самых известных мест в городе — его могила; ср. в Албании смена «кода» Анвара Ходжи на код Матери Терезы (аэропорт в Тиране им. Матери Терезы и пр.), в Болгарии охранно-полицейское училище находится под покровом св. Георгия, в России именем митрополита Кирилла назван самолет авиакомпании «КД Авиа» (www.km.ru. 26.09.2007) и т. д. и т. п.

В целом все языковые процессы в русском языке приобретают, как кажется, более широкие, буквально глобальные масштабы. Возьмем, к примеру, игру слов, цитирование и квазицитирование (пословиц, афоризмов, крылатых фраз из кинофильмов и пр.) в СМИ. Особенно выделяются своей «изысканностью» заголовки и анонсы передач, сюжетов, некоторой информации в Интернете и пр. Еще А. М. Селищев отмечал, что заголовки советских газет — яркое новшество в языке прессы, они стали четче и полнее отражать смысл статьи. Вот несколько из его примеров: «Завод расширяется», «Будем крепить смычку» «Устранить недочеты», «Усилить работу!» и др. [Селищев 2003/1929: 188]. В постперестроечных СМИ заголовки зачастую совсем не отражают содержание статьи, как будто бы цель журналистов и редакторов — подобрать яркий, запоминающийся заголовок, независимо от того, какой материал располагается под ним [Николаева 2002]. Какую бы газету (не только газету, но любой носитель информации) мы ни открыли сейчас, заголовки бросаются в глаза наличием в них

[18] Из множества работ по советской ономастике (библиографию см. [Бондалетов 1983] ср. хотя бы интересное исследование названий советских колхозов [Тимофеев 1988].

разного рода аллюзий: «С места в карьеру» («В мире науки», сентябрь 2005), «Кремлевские прейскуранты» («Коммерсант» 16.10.2007) и мн. др. Обыгрывание клишированных выражений и пословиц в СМИ, в том числе в Интернет-материалах и в блогах, также приобрело невероятный масштаб. Любой поиск в Интернете прецедентного (то есть однажды встретившегося в измененном виде в прессе) клише, авторского афоризма, модифицированного в целях создания яркого образа, дает сотни вариаций (ср., например, «Глаза — зеркало души» дает свыше 150 вариаций, то же относится и к фразе «Не хлебом единым», где существительные подменяются многократно, нередко разбивая смысловую структуру выражения. Подобных примеров тысячи). Модификации этих выражений в болгарском Интернете не насчитывают и десятка. Известное «Пришел. Увидел. Победил» имеет в русском около 100 вариаций: «Пришел, увидел и купил», «Пришел. Увидел. Показал», «Пришел, увидел. Стал бабником» и мн. др. В болгарских материалах мне встретилось лишь несколько: «Дойдох. Видях. Споделих» («Пришел. Увидел. Рассказал»), «Дойдох, видях и заминах» («Пришел, увидел и ушел») и др.

В заключение подытожим основные тенденции, которые типичны для языков, входивших прежде в ИЯС. Освобождение от идеологии демократического социализма, снятие цензуры породило свободу языкового выражения и снятие барьеров — и в плане содержания, и в образности, и в стилистике, и в языковой игре. Образовались огромные лакуны, прежде заполненные официальной информацией, а также высвободились колоссальные пространства для осмысления и языковой рефлексии, прежде запрещенные официальной идеологией: религия, массовая культура, взаимоотношения полов и пр. Появились абсолютно новые сферы, которые прежде не освещались или просто появились с развитием технологий. Значительно расширяется информационное поле. К традиционным СМИ добавились Интернет-ресурсы, кроме того, появились возможности для свободного выражения своего мнения — в чатах, блогах и пр. Эти факторы повлияли на типичное для всех языков постсоциалистических стран варьирование норм и в целом некоторое ослабление устоев стандартных литературных языков (на примере украинского см. [Остапченко 2006]).

Для всех языков (этносов) первейшими задачами становятся возвращение национальной, языковой самобытности; новое «открытие» религии (и вообще духовные поиски); и — поиски «человеческих», не новоязовских, способов выражения (что заметно по развитию языка СМИ, речам общественных деятелей и мн. др.).

Коренным образом меняется словарь, особенно заметно перемещение пластов лексики из историзмов в лексику актуальную и обратный процесс. Уместно задуматься над тем, являются ли, например, постперестроечные языковые изменения в России зеркальным отражением того процесса, который наблюдался в первые десятилетия после Октябрьской революции. Очевидно, нет, поскольку реальность XXI в. значительно отличается от реальности первой трети XX в.

В области стилистики характерно повышение экспрессивности. В Болгарии это зачастую делается с помощью турцизмов в СМИ и в публичной речи (подробнее см. [Стоянова 2003: 203–205]). Турецкая (арабско-турецкая) по происхождению лексика, ставшая во второй половине XX в. маргинальной и экспрессивно окрашенной, «дремала» или использовалась весьма ограниченно, а в словарях болгарского языка была представлена непоследовательно. С начала 90-х гг. прошлого века, после распада ИЯС турцизмы занимают немалое место во всех лексикографических трудах, поскольку в целом они востребованы и в силу своей экспрессивности стали играть важную роль для отталкивания от сухого канцелярского метода изложения материала.

Необходимо отметить и важнейшее языковое явление последнего десятилетия — зарождение и быстрое развитие международного виртуального языка, поколенческого, который основывается на англицизмах, но в каждой языковой традиции получает свою специфику. Человек, владеющий русским, болгарским и др. языками, но не знакомый с Интернетом, начав читать блоги или участвовать в чатах, может не понять этого языка в силу наличия компьютерных жаргонизмов, англицизмов или калек с английского и пр. (о языке болгарского Интернета см. [Кирова 2001], чешского [Йилкова 2006] и мн. др.).

Эти факты вполне понятны в контексте наплыва огромного количества галлицизмов в языки бывшего ИЯС [19]. Являются ли они однодневками или прочно вошли в лексический состав, решит время (см. дискуссию о неологизмах в болгарском языке на сайте словаря http://www.coffeeright.net/neolog/). Во всяком случае, модификация словарного состава и стилистики, «ослабление» норм литературных языков, варьирование — это, пожалуй, самые универсальные изменения, происходящие в языках бывшего ИЯС, получающие, однако, «национальное» своеобразие в каждом конкретном языке.

---

[19] Здесь уместно провести еще одно сравнение между развитием русского и болгарского языков. Оба языка, использующие кириллицу, нередко прибегают к латинице, что затрудняет языковое восприятие информации (см. [Эпштейн 2003]).

За пределами статьи осталось колоссальное количество наблюдений и собственно социолингвистического материала. Важным и перспективным кажется создание типологии явлений, сопровождающих выход языков бывших социалистических стран из ИЯС. Несмотря на наличие специальных работ, в которых исследуются разные стороны и компоненты ИЯС (взаимные влияния языков в процессе создания ИЯС, язык тоталитаризма, изменения в языке и культуре отдельных постсоциалистических стран, толковые словари «советских» реалий и пр.), сравнительный анализ, позволяющий увидеть универсальные и специфические черты отхода от новояза, пока что дело будущего.

ЛИТЕРАТУРА

Андрейчин 1952 — *Андрейчин Л.* Ролята на руския език в развитието на съвременния български книжовен език // Български език. София, 1952. № 3–4. С. 173–182.

Андрейчин 1957 — *Андрейчин Л.* По въпроса за ролята на руския език от съветската епоха за развоя на съвременния български език // Български език. София, 1957. № 5. С. 452–255.

Андрейчин 1967 — *Андрейчин Л.* За начините на изразяване на учтивост при обръщение // Български език. София, 1967. № 3. С. 266–268.

Бельчиков 1967 — *Бельчиков Ю. А.* Из истории русского языка советской эпохи // Русский язык в национальной школе. М., 1967. № 1.

Бабов 1978 — *Бабов К.* Руско-българските езикови контакти и въпросът за типологията на русизмите в българския език // Славянска филология. 15. Езикознание. София, 1978.

Беновска-Събкова 2001 — *Беновска-Събкова М.* Политически преход и всекидневна култура. София, 2001.

Бондалетов 1983 — *Бондалетов В. Д.* Русская ономастика. М., 1983.

Венедиктов 2004 — *Венедиктов Г. К.* Из наблюдений над ранним русским влиянием на формирование болгарской канцелярско-административной лексики // Проблемы изучения межъязыковых влияний в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект. М., 2004.

Взаимовлияние 1987 — Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. М., 1987.

Винокур 1925 — *Винокур Г. О.* Культура языка. 1925.

Вълчинова 2006 — *Вълчинова Г.* Балканските ясновидки и пророчици от XX век. София, 2006.

ГЭС — Географический энциклопедический словарь. М., 1983.

Георгиев 1969 — *Георгиев Ст.* Към въпроса за лексикалното развитие на съвременния български език в периода на социалистическото строителство // Език и литература. София, 1969. № 5. С. 40–47

Дешериев, Протченко 1968 — *Дешериев Ю.Д., Протченко И.Ф.* Развитие языков народов СССР в советскую эпоху. М., 1968.

Зильберт 1994 — *Зильберт Б.А.* Языковая личность и «новояз» эпохи тоталитаризма // Языковая личность и семантика. Волгоград, 1994.

Иванова 2002 — *Иванова Л.П.* Крымский культурно-языковой союз (к постановке проблемы) // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2002. Т. 44.

Иванова 2004 — *Иванова Р.* Култура на кризата. Криза в културата. София, 2004.

Исаев 1979 — *Исаев М.И.* Языковое строительство в СССР (процессы создания письменностей народов СССР). М., 1979

Йилков 2006 — *Йилкова Л.* Несколько наблюдений над деятельностью Интернет-клуба «Čeština» // Глобализация — этнизация. Этнокультурные и этноязыковые процессы. Т. 1. М., 2006.

Кара-Мурза 2007 — *Кара-Мурза В.* Демонтаж народа. М., 2007.

Кирова 2001 — *Кирова Л.* Еволюцията на българската компютърна терминология и компютърен жаргон // http://liternet.ida.bg/publish3/lkirova/evolution.htm. 2001.

Клушина 1996 — *Клушина Н.И.* Мифологизация речевых средств в языке современной газеты // Русская речь. М., 1996. № 5.

Костомаров, Бурвикова 2001 — *Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д.* Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX века. СПб., 2001.

Купина 1995 — *Купина Н.А.* Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь, 1995.

Леков 1953 — *Леков Ив.* Новият производствен и обществено-политически живот и речникът на българския език // Език и литература. София, 1953. № 5. С. 311–317.

Леков 1959 — *Леков Ив.* Отражението на новата материална и обществена действителност в българския език //Български език. София, 1959. № 4–5. С. 347–352.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. редактор В.Н.Ярцева. М., 1990.

Македонска 1967 — *Македонска Цв.* Политически лозунги в нашия печат след Октомврийската революция // Български език. София, 1967. № 5. С. 403–409.

Михайловска 1999 — *Михайловска Е.* Памет и преход. София, 1999.

Младенов 1979 — *Младенов М.* Телевизионната журналистика в термини. София, 1979.

Мокиенко, Никитина 1998 — *Мокиенко В. М., Никитина Т. Г.* Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998.

Москов 1964 — *Москов М.* Социалистическите преобразования у нас и речникът на българския език // Български език. София, 1964. № 4–5. С. 329–338.

Мутафчиев, Анкова 1949–1950 — *Мутафчиев Р., Анкова Н.* Промени в лексиката на българския език след 9 септември // Език и литература. София, 1949–1950. № 2. С. 127–136.

Николаева 1999 — *Николаева Т. М.* Новые употребления «отчества» в русской речевой традиции // Slavia. Ročn. 68. Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanskch jazýcích. Praha, 1999.

Николаева 2002 — *Николаева Т. М.* Лингвотекстологические особенности подачи информации в русскоязычных газетах // Встречи этнических культур в зеркале языка. М., 2002.

НЛО 1, 2 — Новое литературное обозрение. 1990: Опыт изучения недавней истории. М., 2007. Т. 1 (83); 2 (84).

Парзулова 1999 — *Парзулова М.* Влиянието на промените в пост-тоталитарното общество върху българския език. Велико Търново, 1999.

Остапчук 2006 — *Остапчук О. А.* Языковое варьирование как фактор внутренней динамики в современном украинском языке: уровни и способы манифестации // Глобализация — этнизация. Этнокультурные и этноязыковые процессы. Т. 2. М., 2006.

Протченко 1975 — *Протченко И. Ф.* Лексика и словообразование советской эпохи. М., 1975.

Русский язык 1996 — Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.

Сарнов 2002 — *Сарнов Б.* Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002.

Седакова 1995 — *Седакова И. А.* О советизмах в русском языке // Знакомый незнакомец. М., 1995.

Седакова 2005 — *Седакова И. А.* Язык, который нас окружает. Прошлое в настоящем // Язык. Личность. Текст. Сборник в честь Т. М. Николаевой. М., 2005.

Седакова, в печати — *Седакова И. А.* «И невозможное возможно...». Оккультная реклама в современной России // Юбилейный сборник в честь профессора Ив. Георгиевой. (В печати).

Селищев 2003/1928 — *Селищев А. М.* Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским язком последних лет (1917–1926) // *Он же.* Труды по русскому языку. Т. 1. Язык и общество. М., 2003 (1-е изд. — 1928).

Скляревская 1998 — Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Ред. Г. Скляревская. СПб., 1998.

Степанов 1975 — *Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания. Учебное пособие. М., 1975. С. 207–210.

Степанов 2004 — *Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. М., 2004.

Стоянова 2003 — *Стоянова Л. С.* Етнопсихология, култура, медия — съзвучия и дисонанси. Варна, 2003.

Тимофеев 1988 — *Тимофеев В. П.* Названия колхозов и совхозов (по данным Курганской обл.) // Ономастика. Типология. Стратификация. М., 1988.

Цивьян 1990 — *Цивьян Т. В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.

Цивьян 2005 — *Цивьян Т. В.* Модель мира и ее лингвистические основы. М., 2005.

Чередниченко 1999 — *Чередниченко Т.* Россия 90-х [в слоганах, рейтингах, имиджах]: /Актуальный лексикон истории культуры/: М., 1999.

Шанский 1967 — *Шанский Н. М.* Развитие словообразовательной системы в советскую эпоху // Русский язык в национальной школе. М., 1967. № 3.

Шанский 1987 — *Шанский Н. М.* Слова, рожденные Октябрем. М., 1987.

Эдельман, Цивьян 2005 — *Эдельман Д. И., Цивьян Т. В.* Языковые союзы и ареалы языковой и этнокультурной конвергенции на территории Евразии // Языковые союзы Евразии и этнокультурное взаимодействие. М., 2004.

Эпштейн 2003 — *Эпштейн М.* Варваризация и латинизация // http://www.languages-study.com/russian-letters.html

Якобсон 1985 — *Якобсон Р.* О теории фонологических союзов между языками // *Якобсон Р.* Избранные работы. М., 1985. С. 92–104.

Aikhenvald 2006 — Grammars in Contact. A Cross-Linguistic Typology / Alexandra Y. Aikhenwald and R. M. W. Dixon, eds. Oxford: University Press, 2006.

Moskovich 1989 — *Moskovich W.* Planned Language Change in Russia since 1917 // Language Planning in the Soviet Union / Ed. by Michael Kirkwood. London, 1989.

Sedakova, in print — *Sedakova Irina A.* Inventing the Ritual Year in Modern Russia // Ritual Year Studies 3. Proceedings of the Conference «The Ritual Year and History». Stražnice, May 25–29, 2007. (In print).

С. М. Толстая

Семантическая реконструкция и проблема многозначности праславянского слова

Предварительные замечания. 1. О задачах и возможностях семантической реконструкции. Набор значений праславянского слова, фиксируемый словарями славянских языков (литературными, историческими, диалектными, этимологическими и пр.), представляет собой результат разнонаправленного и разновременного семантического развития смысловых потенций, заложенных в соответствующей единице праславянского лексикона. Задача семантической реконструкции в рамках этимологии — установление исходного значения, послужившего источником дальнейшей семантической деривации, на основе анализа, с одной стороны, современных и исторически засвидетельствованных данных и, с другой стороны, на основе внешнего сравнения, т.е. данных других индоевропейских языков. Установка на одно «исходное» значение автоматически снимает вопрос о многозначности праславянского слова. Между тем представление об отсутствии многозначности противоречит данным семантической типологии и при признании праславянского языка реальным языковым идиомом должно быть отвергнуто. Другая трудность состоит в том, что результаты внутренней семантической реконструкции и результаты внешнего сравнения могут не совпадать, при этом этимология, как правило, отдает предпочтение именно внешним показателям, хотя значения, фиксируемые для родственного слова в других языках, сами могут быть продуктом семантической деривации в этих языках и, следовательно, тоже не быть исходными. Семантическая реконструкция при такой крайней постановке задачи, связанной с установлением исходного значения, представляется на настоящем этапе мало эффективной и мало реальной. К ней полностью применимы слова В.Н.Топорова: «Этимология в наибольшей степени оправдывает себя в среднем диапазоне, и наиболее ценные и надежные результаты достигаются в той же „средней“ зоне, когда не ставятся крайние вопросы, связанные с сутью этимологии, понимаемой как логический предел становления этого понятия» [Топоров 1986: 205]. «Предел» в этом случае как раз и означает установление

Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» (проект «Категории языка народной культуры»).

точного значения праславянского (и далее — индоевропейского) этимона, из которого могут быть выведены все позднейшие значения вплоть до сегодняшних.

Более достижимой и осмысленной представляется задача выяснения отношений между реальными засвидетельствованными в славянских языках и диалектах значениями праславянского слова, решение которой опиралось бы не только на семантическую историю конкретного этимологизируемого слова, но также и на четкие **системные** представления о семантической типологии лексических единиц языка, о закономерностях семантического развития разных групп и разрядов лексики, о категориальных значениях и правилах их сочетаемости, о регулярных семантических связях разных категорий и тематических групп лексики, о влиянии парадигматических отношений на семантическое развитие слова и т. п. Семантическая реконструкция в таком понимании призвана выявить логику развития праславянского слова, определить импульсы и механизмы, лежащие в основе семантических процессов (метафорические и метонимические переносы, семантическая иррадиация, конкуренция и взаимодействие семантических моделей, внешнее влияние, калькирование и т. п.), структурировать набор значений и раскрыть («объяснить») его внутреннюю иерархию, наконец, отделить «типовые» сочетания значений, связанные с явлением регулярной (категориальной) многозначности, от «индивидуальных» случаев совмещения разных значений в рамках одной лексической единицы. Семантическая реконструкция этого типа обращена не только к этимологии и даже не только к истории языка, ее задачи гораздо шире — это выявление регулярных семантических отношений в лексике и семантических категорий, установление закономерностей совмещения значений, построение «грамматики смыслов» и лексико-семантической типологии.

2. О трактовке лексической многозначности. Современная лексическая семантика во всех ее версиях и направлениях (московская семантическая школа, логический анализ языка, когнитивная семантика, компонентный анализ, теория семантических примитивов и др.) трактует основные лексико-семантические категории (многозначность, синонимию, омонимию, антонимию и др.) применительно к фактам одного языкового идиома (одного языка в его определенном синхронном срезе), и такое понимание обусловлено принципом системности в описании семантики слова, т.е. необходимостью учета парадигматических связей слова с другими единицами словаря, условий и ограничений его употребления, его контекстных

связей и т. д. Отдавая предпочтение прямым парадигматическим («горизонтальным») партнерам слова в словаре (синонимам, антонимам, конверсивам и т. д.), она практически отказывается от такого важного источника и показателя семантического содержания слова, как его «вертикальные» связи, т.е. смысловые связи с родственными словами того же словообразовательно-этимологического гнезда, особенно дериватами, наследующими (с той или иной закономерной модификацией) семантические свойства производящего слова, и не достигает тем самым целостного представления семантики слова. Семантическая реконструкция, напротив, имеет дело именно с «вертикалью» и с материалом нескольких родственных языков или разных исторических срезов одного языка, но она не в состоянии учесть его парадигматических связей, актуальных для разных идиомов и хронологических срезов. Такая разнонаправленность не может не сказываться на трактовке основных категорий лексической семантики и прежде всего категории многозначности.

До недавнего времени проблема многозначности слова по существу оставалась на втором плане теоретической семантики. Это было связано с принципиально важным положением московской семантической школы Ю.Д.Апресяна, согласно которому исходной, минимальной единицей лексико-семантической системы, «субъектом» семантических свойств и отношений в языке является не слово в целом, а слово в одном из его значений, в терминологии этой школы — *лексема*. Именно лексемы, а не слова составляют синонимический ряд, а многозначное слово входит во столько синонимических рядов, сколько разных значений оно имеет. То же самое можно сказать и об антонимии: антонимические отношения связывают не слова, а лексемы, и многозначное слово для каждой своей лексемы может иметь свой антоним. Лексема в таком понимании должна быть признана полноправной двусторонней единицей языка, т.е. единицей, имеющей и форму, и содержание, и собственные парадигматические отношения и связи. Соответственно, компоненты многозначного слова должны трактоваться не как чисто смысловые, односторонние единицы, как это было принято в традиционной семасиологии, а как двусторонние (лексико-семантические) единицы. Такая трактовка, естественно, меняет и традиционное представление о слове как единице языка и о самой категории многозначности. Многозначное слово становится аналогом синонимического ряда, а отношения между лексемами многозначного слова — аналогом отношений между синонимами. Различие состоит в том, что в одном случае это гомогенный ряд (лексемы принадлежат одному слову), в другом — гетерогенный (лексемы принад-

лежат разным словам). Кроме того, не одинаковы отношения между лексемами в пределах ряда в многозначном слове и в синонимическом ряду (не совпадают как параметры, так и вес различий между членами), различны и семантические расстояния между лексемами в пределах ряда: по одним представлениям, лексемы синонимического ряда ближе друг к другу, чем лексемы многозначного слова [Падучева 2004: 18], по другим — скорее наоборот [Апресян 2006: 71, Толстая 2007].

Внимание к феномену лексической многозначности заметно возросло в самые последние годы, когда появились обстоятельные монографии, посвященные разным, преимущественно «динамическим» аспектам многозначности [Зализняк 2004, Кустова 2004, Падучева 2004, Розина 2005]. В них на обширном и разнообразном материале разных классов слов русского языка исследуются механизмы семантической деривации, т.е. регулярные способы порождения одних значений многозначного слова от других. Благодаря этим работам, становится «освоенной» и выраженной на языке современной теоретической семантики весьма существенная часть проблемы лексической многозначности, однако остается еще немало вопросов, ожидающих внимания исследователей, поскольку семантическая деривация — хотя и главный, но далеко не единственный механизм порождения новых значений [Толстая 2006, 2007]; остаются и другие проблемы: структура многозначности, т.е. модели соотношения и иерархия значений многозначного слова, семантическое расстояние между значениями многозначного слова и возможности его измерения, типология сочетания значений и др.

Как названные новейшие работы, так и большинство предшествующих им исследований многозначности ограничены рамками конкретного многозначного слова (класса слов) и его (их) «горизонтальными» (парадигматическими) партнерами. Иначе говоря, свойство многозначности приписывается слову как единице лексикона, в отличие от свойства синонимии, антонимии и т. д., «субъектом» которых является единица меньшего масштаба — лексема. Между тем есть все основания считать, что носителем многозначности является единица более крупного масштаба, чем слово, поскольку семантические характеристики и свойства, присущие слову, находят «продолжение» в других единицах того же лексико-словообразовательного (этимологического) гнезда (подробнее см. [Толстая 2008]), причем словообразовательные дериваты нередко усиливают и акцентируют семантические свойства производящего многозначного слова и отдельных его лексем. Если же обратиться к этимологическому словарю славянских

языков, то легко убедиться, что в большинстве случаев элементарные смыслы и их сочетания, модели семантической деривации, характерные для одного языка, отмечаются и в соответствующих словах (гнездах) родственных языков. Таким образом, многозначность оказывается по сравнению с другими категориями лексической семантики явлением более крупного масштаба. Это относится как к лексической семантике одного языка, так и тем более к семантической реконструкции на материале группы родственных языков. Тем не менее обе дисциплины при обращении к многозначности, как правило, не выходят за рамки отдельного слова[1].

Можно ожидать, что объединение подходов двух разных дисциплин, каждая из которых имеет собственную «оптику», — лексической семантики и семантической реконструкции — приведет к более объемному и более адекватному представлению многозначности как категории, внутренне связанной со многими сторонами устройства и функционирования языка — системными связями слов в языке, моделями и способами номинации, семантической деривацией на основе метафоры, метонимии и других «тропов», с когнитивными категориям и картиной мира. Ниже приводятся некоторые наблюдения над семантическими отношениями в одном праславянском этимологическом гнезде.

К семантической реконструкции слав. **pust-*. Слова этого гнезда охватывают обширное и сложно организованное смысловое поле, в котором находят себе место такие, на первый взгляд, несопрягаемые значения, как, например, ‘порожний’ (*пустое ведро*) и ‘густой (лес)’ (*пуща*). Бóльшая часть огромного набора весьма разнородных значений, обозначаемых словами этого гнезда, отмечается во всех славянских языках. Исследователь, поставившей себе цель каким-то образом упорядочить этот набор, сразу же сталкивается с двумя главными вопросами. Первый — как объяснить семантическую связь между именным и глагольным блоком гнезда, т. е. между прилагательным *пустой*

[1] Более того, современная этимология принципиально настаивает на реконструкции отдельного (целостного, реального) слова как единицы праславянского словаря, противопоставляя этот подход прежней «корневой» этимологии. Как это часто бывает, вместе с отказом от корневого подхода оказалась потерянной и задача глубинной реконструкции семантических свойств и потенций праславянского слова, безусловно недостижимая без учета всего спектра смыслов и отношений внутри гнезда и между гнездами. О возможностях, приемах и задачах семантической реконструкции гнезд см. [Варбот 1986].

и его многочисленными дериватами, с одной стороны, и глаголом *пустить* и его еще более многочисленными дериватами (при этом в рамках каждого блока семантические связи между компонентами просматриваются легче). Второй вопрос — как объяснить развитие значения 'порожний', которое представлено во всех славянских языках, хотя и занимает в структуре многозначности разное место. Вопросы эти требуют для своего решения предварительного анализа более прозрачных в своей структуре фрагментов данного поля.

Семантические свойства прилагательного *пустой* определяются его принадлежностью к семантическому классу каритивов — слов, выражающих значение недостачи, нехватки, отсутствия чего-либо (от лат. *caritas* 'недостаток, скудость'); их многозначность представляет собой результат заполнения каритивного компонента значения разными конкретными элементами, точнее результат замещения исходного каритивного компонента другими. Например, в случае прилагательного *сухой* исходный компонент недостачи «влага» замещается в производных значениях другими: применительно к человеку *сухой* означает «недостаток плоти» (ср. *сухопарый*) или недостаток эмоциональности (*сухой, сухарь*), применительно к пище *сухой* может означать 'постный, лишенный жира', применительно к лесу — отсутствие листвы (пол. *suchy las*), применительно к танцу — отсутствие музыкального сопровождения (*сухой танец*) и т. д. (подробнее см. [Толстая 2004]). Аналогичным образом в процессе семантической деривации преобразуется исходный каритивный компонент прилагательного *пресный* («лишенный соли, кислоты»): *пресная вода* (отсутствие соли), *пресный хлеб* (без закваски, дрожжей), *пресный луг* 'сухой луг' (недостаток влаги), *пресный разговор* 'лишенный живости, остроты', арханг. *пресная любовь* 'платоническая любовь' (отсутствие физической близости) и т. д. (подробнее см. [Толстая 2006а]).

В отличие от большинства каритивов, у которых исходный каритивный компонент имеет вполне конкретное содержание (для *сухого* это вода, влага, для *пресного* — кислота или соль, для *чистого* — грязь и т. д.), замещаемое при семантической деривации другим конкретным содержанием, *пустой* оказывается в некотором смысле идеальным каритивом, каритивом par excellence, поскольку для него исходным компонентом является значение отсутствия вообще, не связанное с конкретной предметной областью. В процессе семантической деривации это значение не замещается, а наполняется некоторым конкретным содержанием. Каритивный характер этого прилагательного подтверждается, помимо прочего, его синонимичностью словам с префиксом *без-*, ср.

пустокормица ~ бескормица, пустоголовый ~ безголовый, пустомозглый ~ безмозглый, пустая невеста ~ бесприданница, пустоплодный ~ бесплодный, пол. *pustodomnik ~ bezładnik* и т. п., а также параллелизмом с другими каритивами, ср. *пустоводить ~ пресноводить* 'манить попусту и ничего не делать' [Даль 3: 1417], болг. *пусталый* 'худой, изможденный, истощенный' [Геров 4: 398] ~ рус. *худой, сухой*, словен. *pusto meso* ~ рус. *постное мясо*, словен. *pusta koža* ~ рус. *сухая кожа* и т. п. Синонимами *пустого* во многих контекстах служат также *порожний, полый, постный, свободный, вольный*, антонимами — *полный, сплошной, содержательный.*

Прежде чем привести соответствующий материал, необходимо сказать еще несколько слов о самых общих семантических свойствах *пустого*.

Значение прилагательного *пустой* (как в самостоятельном употреблении, так и в составе дериватов) представляет собой функцию с двумя аргументами: оно зависит, во-первых, от того, кто является субъектом, носителем признака, обозначаемого словом *пустой*, и во-вторых, от того, каким предметным содержанием наполнен каритивный компонент значения, от того, что именно отсутствует в «пустом» денотате. Например, в выражении *пустые улицы* первый аргумент — улицы, второй аргумент (то, чего нет на пустых улицах), хотя и не выражен, легко предсказуем — это люди, автомобили и, возможно, деревья. В словосочетании *пустой чай* первый аргумент — чай, второй — сахар или иные сладости; в *пустая невеста* [СРНГ 33: 138] второй аргумент — приданое; в *пустая голова* второй аргумент — мысли; в *пустобородый* 'не имеющий, не носящий бороды' [БАС 11: 1711] первый аргумент — человек, второй эксплицирован в самом слове, это борода; в *пустолесье* 'открытое место в лесу' [СРГСУ 5: 44], в *пустолюдье* [Даль 3: 1418] 'отсутствие или малое число людей' также эксплицирован именно второй аргумент (соответственно лес и люди); в *пустоцвет*, наоборот, выражен субъект признака (цвет, цветок) и не выражен «предмет недостачи» (завязь, плод). Эти два аргумента (носитель признака и предмет недостачи) согласованы между собой, т.е. определенному типу денотатов соответствуют определенные типы недостающих (отсутствующих) объектов, обычно присутствующих в них или присущих им. Семантическая деривация в этом поле проявляет себя в каждый раз новом наполнении каритивного компонента значения в соответствии с характером нового денотата. Разумеется, этот механизм в действительности не столь примитивен, он осложняется многими дополнительными семантическими компонентами, прежде всего оценочными и интенсифицирующими (о них ниже).

Денотативное поле «субъектов» *пустого*. Для *пустого* существенна пространственная интерпретация своих определяемых, т.е. представление носителя признака как некоего объемного или плоского вместилища каких-то объектов, чье отсутствие или недостача становятся сигнификатом значения. Иначе говоря, пустыми могут быть ёмкость или поверхность, в которых и на которых могут размещаться те или иные объекты, более того, которые предназначены для размещения этих объектов, а отсутствие содержимого осознается как аномалия. К наиболее устойчивым денотативным областям, определяемым посредством адъектива *пустой*, относятся 1) собственно локусы, природные и человеческие (пустыня, город); 2) предметы как вместилища, т.е. тоже как в некотором роде локусы, природные и артефакты (колос, сундук); 3) человек и его «органы» (голова, сердце и т. д.), 4) животные (яловые или оставленные без присмотра, ухода) и растения (бесплодные, сорные, дикие), 5) абстрактные сущности или концепты (менталитет, эмоции, речь).

Денотативное поле каритивного компонента *пустого*. Наполнение локусов (вместилищ и поверхностей) тоже разнообразно и представлено следующими классами «отсутствующих» объектов: 1) люди (*пустой трамвай*), 2) предметы, вещества и артефакты (*пустой кувшин* — без воды, молока и т. п., *пустой стол* — не накрытый или с малым количеством пищи, *пустая полка* — без книг, посуды и т. п., *пустая касса* — без денег, *пустой орех* — без ядра, *с пустыми руками* — ни с чем), 3) растения и животные (*пустыня* — без растительности, *пустая река* — без рыбы), 4) поле функциональности (волог. *пустополье* 'незасеянное, заброшенное поле, пустошь'[КСГРС]); 5) абстракции — смысл, чувство, польза, необходимость, эффективность и т. п. (*пустая болтовня, пустая душа, пустое дело*). Каритивный компонент *пустого*, хотя и имеет в каждом конкретном случае вполне определенное содержание, как правило, не получает формального выражения, он лишь подразумевается. Однако в некоторых сложных словах он оказывается выражен лексически, ср. рус. арханг. *пустолесье* 'свободное, чистое место в лесу, поляна' [КСГРС], новгор. *пустолесица* 'безлесное пространство' [НОС 9: 64], *пустолюдье* 'где мало людей либо мало годных людей', *пусторосль* 'плохой редкий кустарник', *пустозернь* 'колос без зерна' [Даль 3: 1418–1419], ср. *пустоколосица* 'пустой колос, без зерна' [БАС 11: 1720], где *пустой* относится не к каритивному компоненту, а к носителю признака. Иногда каритивный компонент обозначается синтаксически (родительным объекта без предлога или с предлогом «от»), ср. др.-рус. «пусто суште

Бжиея помошти» (*пусто помошти* — без помощи); «Бысть тогда скорбь велиа и пустота людей въ Литвѣ» (*пустота людей* — отсутствие людей) [СРЯ XI–XVII 21: 54, 55], чеш. *pustý čeho:* «Moje duše, posud blaha pusta» [PSJČ 4/2: 567], с.-х. «srce pusto ... od ploda du(h)ovnoga i od svih pomoći» [RHSJ 12: 695]. В абсолютном же большинстве сложных слов лексически выражается именно носитель признака «пустой», ср. *пустосум* 'бедняк' (пустая сума, т.е. отсутствие денег), *пустодом* 'плохой хозяин' (тот, у кого «плохой», неустроенный, «пустой» дом, хозяйство), бел. *пустарогі* 'полорогий' [БРС: 767].

Локативный денотат *пустого*: земля, место, город, дом. Прототипическим значением первого аргумента, т.е. носителем признака «пустой», безусловно, следует считать локативное значение. Понятие «пустого места» оказывается наиболее востребованным, отмечаемым во всех без исключения словарях. Однако этот признак, по-видимому, изначально имел «антропологическую» окраску, т.е. подразумевал не просто отсутствие чего-то в пустом месте, а неприсутствие в нем человека, неосвоенность его человеком, удаленность от мира людей или — вторично — заброшенность, прекращение использования его человеком — в противоположность такому пространству, в котором присутствует человек, к которому он приложил свои руки и свой труд и тем самым сделал его своим [2]. Именно такие значения, имеющие отчетливый «антропологический» акцент, отмечаются в качестве первых в исторических словарях, ср.: **Пустой**. 1. 'пустынный, безлюдный, необитаемый': «В земли пустѣ и неходимѣ и безводьнѣ» (11 в.); 2. 'опустошенный, запустевший, обезлюдевший': «Моя волость пуста от половець» (13 в.). *Положити* (*поставити*) *что-л. пусто* 'опустошать'. *Пусто творити* (*сътворити*) 'опустошать'; 3. 'неиспользуемый, не

[2] В работе В.Н.Топорова, посвященной понятию места, подчеркивается связь места с человеком и его деятельностью, в результате которой человек осваивает и «присваивает» себе место, организуя его и наполняя его «вещами»: «...ключевым было не противопоставление заполненного пространства незаполненному, пустому, а противопоставление „организованного" (в широком понимании) пространства (в частности связанного с присутствием в нем неких ценностей, вызывающих заинтересованность человека в них, наличие сферы практических интересов, т.е. потребности „практического" или хотя бы „теоретического" пребывания внутри...) „пространству", предельно чуждому даже самой примитивной организации, которое было до творения, в Хаосе как стихии тотального смешения и торжества иррациональности и непредсказуемости, когда само пространство было ничем иным как contradictio in adjecto» [Топоров 2004: 14].

приносящий дохода': «Пустые земли»; 4. 'покинутый, оставленный без помощи, не имеющий друзей, близких': «Колико лѣтъ пустъ бѣхъ, чая слышати гласъ твои» (12 в.); 5. 'лишенный, не имеющий чего-л.': «Пусто суште Бжиея помошти» (11 в.); 6. 'не заполненный, не имеющий содержимого': «Из пустова судна ни пьютъ ни едятъ» (17 в.); 7. 'суетный, пустой, неосновательный': «Пустыя и препьрныя бесѣды» (12–13 вв.) [СРЯ XI–XVII 21: 53–54]. Очень близкий к приведенному набор значений для **pusty** дает словарь древнепольского языка [SSp 7/45: 398–400]: 1. 'незаселенный, безлюдный'; 2. 'уничтоженный, опустошенный'; 3. 'оставшийся без владельца, хозяина'; 4. 'не имеющий детей, потомства'; 5. 'бездомный, не принадлежащий феодалу'; 6. 'лишенный помощи, всеми брошенный, забытый'; 7. 'своевольный, легкомысленный'. Ср. еще данные исторического словаря словацкого языка [HSSJ 4: 573–574]: 1. 'необитаемый (о доме)'; 2. 'необработанный (о поле, винограднике)'; 3. 'отсутствующий, недостающий' (*okno puste* — окно без стекол); 4. 'опустошенный, уничтоженный'. В словаре старославянского языка [СС: 556–557] также на первом месте дается значение 'безлюдный': **ПОУСТЪ** 1. 'пустой, пустынный, безлюдный': ПОУСТЪ ГРАДЪ; 2. 'покинутый, одинокий, оставленный'. Из словарей современных языков подобный порядок значений имеет болгарский словарь Герова [Геров 4: 398–399]: **Пустый**. 1. 'что е като пустыня, дето няма людие да живеят'; 2. 'покинутый, оставленный'; 3. 'пустой, порожний, праздный'; далее — 'бедный, несчастный, жалкий'; 'ненавистный, противный' и др. — и загребский словарь сербскохорватского языка [RHSJ 12: 693]: **Pust**. 1. 'оставленный без людей, незаселенный', 'брошенный, запущенный, необработанный', 'оставленный без хозяина, одинокий' и др.

«Антропологическое» значение *пустого* локуса, предполагающего в качестве каритивного компонента человека, характерно и для многих диалектных слов гнезда **pust-*: рус. диал. *пустка* 'пустое, заброшенное жилье' [БАС 11: 1710], волог. *пустая деревня* 'нежилая деревня' [КСГРС], *пустоселье* 'покинутое село' [Даль 3: 1420], перм. *пустоловый* 'нелюдный, пустынный': «Завтра по ягоды пойдём пустоловой дорогой» [СПГ 2: 247], бел. *пустая хата* 'нежилой дом', *пусцяк* 'то же': «Гэта хата пусцяк, у ёй не жыве ніхто»[СПЗБ 4: 193], укр. *пустиня*: «Кругом сама пустиня, нема людей, тільки хижий звір» [Гринченко 3: 500], кашуб. *pusta jizba* 'дом, в котором никто не живет' [Sychta 4: 233].

Значение, при котором каритивным компонентом оказываются «люди», т.е. когда *пустой* означает такой локус, в котором нет людей, могло бы претендовать на роль исходного (по крайней мере для опреде-

ленной части представленных в гнезде значений), поскольку оно, с одной стороны, хорошо соотносится с семантикой параллелей (родственных *пустому* слов) из других и.-е. языков, имеющих значение 'дикий', на которые опираются этимологические словари, с другой — обнаруживает прозрачную семантическую связь с другими значениями славянского *пустой*. Значение 'брошенный, запущенный' может рассматриваться как его вполне ожидаемый метонимический дериват («без людей» > «без признаков человеческой деятельности»); вместе с тем оно может быть исходным и для значения 'порожний' — на основе продуктивного каритивного (метафорического по своему характеру) механизма замены одного «недостающего» компонента на другой: «без людей» > «без содержимого в предметном и абстрактном смысле». Против трактовки этого значения как исходного говорит, во-первых, то обстоятельство, что оно не соотносится непосредственно с семантикой глагола *пустить*, формально производного от адъектива *пустой*, в отличие от второго приводимого в словарях значения 'запущенный, оставленный и т. п.', которое, однако, предполагало бы обратные отношения деривации между прилагательным и глаголом, т.е. первичность глагола («оставить, покинуть» > «оставленный, пустой»), но при этом не соотносилось бы столь же естественным образом, как первое значение, со значением 'порожний'.

В некоторых случаях словари отмечают или даже подчеркивают в своих дефинициях признак «далекий, удаленный от села», оказывающийся более релевантным, чем признак нефункциональности, непригодности и т. п., ср. новгор. *пустошка* 'сенокос вдали от деревни'; *пустошь* 1. 'сенокос вдали от деревни', 2. 'земельные угодья, удаленные от деревни и находящиеся во владении отдельных лиц' [НОС 9: 65].

От локуса к предмету. Второй круг пространственных значений *пустого* имеет в качестве денотата не собственно локусы, а скорее предметы, обладающие локативными свойствами, т.е. способные быть вместилищем других предметных сущностей; в качестве же каритивного (отсутствующего, недостающего) компонента выступают самые разнообразные предметные сущности, трактуемые как содержимое этих емкостей или поверхностей. *Пустыми* могут быть: сосуды, в которых нет воды или вина (*пустая бочка*), помещения без обстановки (*пустая комната*), мебель или утварь без характерного оснащения (*пустой стол* — не накрытый, без пищи, *пустой шкаф* — без одежды, белья, книг и др.), части тела человека и животных (*пустой желудок* — без пищи), место, пространство, лишенное растительности (*пустыня, пустошь* и т. п.). При этом различаются значение 'незаполненный вообще' и значение 'порожний' (последнее предполагает в качестве нормы заполненность).

От этого значения семантическая деривация может идти двумя путями. Во-первых, может ослабляться «локативность» и «предметность» носителей признака: денотатами могут становиться не только физические тела, но и **пища**: *пустые щи* — без мяса, *пустой чай* — без сахара, *пустой пирог* — без начинки, *пустое мясо* — без жира, постное, волог. *пустовара* 'жидкий суп, постная похлебка' [КСГРС], новгор. *пустоварка* 'суп без мяса' [НОС 9: 64], словен. *pusto meso* 'нежирное, постное', *pusti sir* 'нежирный' и т. п. [SSKJ 4: 291], **ментальные сущности** (*пустая голова* — без мыслей), единицы или **отрезки времени**: *пустой день* — не заполненный делами, волог. *пустое время* 'промежуток времени летом, свободный от полевых работ': «Пустое время до Петрова дня, в пустое время ездили куда, а в Петров день косить начинали» [КСГРС], урал. *пустая пора* 'время до нового урожая' [Малеча 3: 464], *пустокорм* 'период бескормицы' [СРНГ 33: 148], *пустые дни* 'последняя фаза луны, безлуние' [СД 3: 150], *пустая жизнь* (не наполненная событиями, трудом) и т. п., словен. *pusto jesensko vreme* — серая осенняя погода [SSKJ 4: 291]. Ср. также словен. *pusti* 'лишенный красок, соков, бледный, сухой' (*puste barve* — бледные краски, *pusto nebo* — бледное небо, *pusta koža* — сухая кожа [SSKJ 4: 291] и т. п.).

Во-вторых, при сохранении «предметности» денотата может изменяться само понятие незаполненности: пустым может быть не только предмет, не содержащий в себе каких-либо других предметов или веществ, но и полый предмет, не заполненный на весь свой объем материалом, из которого он сделан (состоит): *пустой шар, пустая стенка* и т. п. В дальнейшем этот признак также может принимать на основе метафоры непредметное значение: рус. перм. *пустой* 'сплошной, непрекращающийся, постоянный': «Погода стоит солнечная, пустая погода» [СПГ 2: 246].

Каритивное значение может относиться не только к «содержанию» предмета, но и к его **функциям**, характерным действиям и применениям, т. е. *пустой* может означать предмет (но также и лицо, и животное, и растение), которые не соответствуют своему предназначению: пол. *strzały puste* 'холостые выстрелы' (они же могут называться *слепыми*), *pusty przebieg* 'холостой пробег (без груза)' [SJPD 7: 742], с.-х. *pusta puška* 'ружье, которое не попадает в цель' [RHSJ 12: 696] и т. п.; рус. костром. *пустой гриб, пустовик, пустыш, пустоляга, пустяк* 'несъедобный гриб' [КСГРС], орлов. *пустой* 'неплодоносный': «Сильные прошлый год были яблоки, а ноне пустые» [СОГ 11: 137], *пустозвон* 'колокольный звон без церковной службы'

[БАС 11: 1713], волог. *пустоляна* 'поляна, которая не обрабатывается, не используется как поле или покос' [КСГРС]; бел. *пустоя поля* (неурожайное), «Ігрушына пустая, не цвіцела, ігруш нетуті» [СПЗБ 4: 192], укр. *пустопашна худоба* 'скот, не употреблявшийся в работу', *пустоцвіт* [Гринченко 3: 501]; кашуб. *pusta krova* 'яловая корова' [Sychta 4: 232]; рус. диал. *пустой* 'бесплодный': *пустая овца*; *ходить пустой* '(о замужней женщине) быть не беременной' [СРНГ 33: 147]; *пустые облака* (не предвещающие дождя) [Малеча 3: 464].

***Пустой* применительно к человеку.** В логическом смысле человек тоже относится к предметам, но его категоризация в языке отлична от категоризации собственно предметов. Человек оказывается преимущественным объектом метафоризации *пустого*, причем эти метафоры, характерные для всех языков (не только славянских), по-видимому, относятся к древнейшему пласту лексики этого гнезда. В семантическом поле «человека» *пустой* сравнительно редко характеризует телесного человека, его внешность; можно указать, к примеру, такие номинации: перм. *пустобородый* (без бороды), *пустые глаза, пустой взгляд* (бессмысленный), перм. *пустоволоска* 'девушка с непокрытой головой' [СПГ 2: 246], волог. *пустоволосый* 'с непокрытой головой, без платка, шапки' [СВГ 8: 109], волог. *пустоголовый* 'с непокрытой головой', *пустоногий* 'босой': «Пустоногой, пустоголовой бабе нельзя скотину выгонять. Скотине пусто будёт», «Невеста у нас гологоловая, пустоголовая была, без платка никакого» [КСГРС], дон. *пустомясый* 'о человеке с рыхлым телом': «Баба квелая и пустомясая» [СРДГ 3: 73], полес. *пусты* 'худой': «Пусты ваш хлопэц» [ЛП: 89], болг. *пусталый* 'худой, изнуренный, изможденный, истощенный' [Геров 4: 398], чеш. устар. *pustozubý* 'беззубый' [PSJČ 4/2: 566]. Основной же круг значений в этом поле связан с деятельностью человека, его умениями и способностями, его речью, поведением, менталитетом, характером. *Пустой* в этом случае, как правило, характеризует несостоятельность человека в каждой из этих форм и аспектов его существования, несоответствие их принятым нормам или отсутствие необходимых для этих функций способностей и умений и лишь в редких случаях имеет нейтральное или даже положительное значение:

функции (человека и его членов и органов): рус. *пустодом* (плохой хозяин), *пустодей, пустозаботник* [Даль 3: 1417–1418], арханг. *пустая баба, пустобрюшница* 'женщина, которая не рожала детей' [КСГРС]; перм. *пустосветный* 'такой, который не выполняет своего предназначения': «Она пустосветна — не носит робят»; «Пустосветный он мужик-от, годов ему много, а не женится» [СПГ 2: 247],

пустые глаза 'о бесхозяйственном человеке' [СОГ 11: 137], укр. *пустодомок* 'не домовитый человек' [Гринченко 3: 501], пол. *pustodomnik* 'бесхозяйственный человек' [Karłowicz 4: 454], др.-пол. *pusty* 'не имеющий детей, потомства' [SSp 7/45: 399], каш. *pusti* 'бесплодный, яловый, неурожайный': «B'ałka pustå jak oŕex» (Невеста пуста, как орех) [Sychta 4: 232]; перм. *пустой* 'неспособный к какой-нибудь деятельности': «Ухо-то у меня пустое» [СПГ 2: 246], орлов. *пустой* 'неумелый': «У нивески маей пустые руки» [СОГ 11: 137];

ум, менталитет: *пустоверхий, пустоголовый, пустомозглый, пустомысл, пустоколпачник, пустоколпь* [Даль 3: 1417–1418], др.-рус. *пустомыслый* [СРЯ XI–XVII 21: 54] , *пустой* 'малоспособный, малознающий, умеющий; глупый; темный, неграмотный' [СРНГ 33: 147], урал. *пустой* 'темный, неграмотный': «Мы думали, что мука растет — вот до чего пустые были» [Малеча 3: 464];

мораль: *пустосвят* (ханжа), перм. *пустосел, пустосельник* 'тот, кто живет невенчаным' [СПГ 2: 247], укр. *пустомолка* 'ханжа' [Гринченко 3: 501];

речь: *пустобай, пустоболт, пустобрёх, пустограй, пустолайка, пустомеля, пустомелить, пусторечие, пустослов* [БАС 11: 1711–1723], *пустовраль, пустоврака, пустовара, пустомол, пустоплёт, пустолепета, пустоговоря, пустоязыня, пустоплюй, пустокайка, пустомаз, пустомот, пустомямля* [Даль 3: 1416–1420], *пустошник* 'пустой, суетный, безрассудный человек; пустослов' [СРЯ XI–XVII 21: 55], *пустоярый* 'говорящий пустяки, вздор' [СОГ 11: 139];

психика, психология, характер: волог. *пустодушие* (равнодушие, безучастность), перм. *пустяшный* 'несерьезный' [СПГ 2: 247], волог. *пустобяка, пустовес* 'ветреный, легкомысленный человек' [СВГ 8: 109], *пусто* (по кому-л.) 'о состоянии тоски': «Вся девка извелась, пусто ей по парню» [КСГРС], орл. *пусторня* 'пустой человек', *пустошни* 'о легкомысленных, праздных людях' [СОГ 11: 138], др.-рус. *пустошествие, пустошство, пустошь* 'тщеславие, суетность' [СРЯ XI–XVII 21: 57–58]; бел. *пустыня, пустуня* 'лгун' [СПЗБ 4: 192], укр. *пустий* 'пустой, глупый, бессодержательный, легкомысленный человек' [Гринченко 3: 501], пол. *pusty* 'легкомысленный, веселый, беззаботный': «Bawiliśmy się jak puste dzieci» [SJPD 7: 743];

поведение: *пустокобеня* («кто ломается, чинится из одного приличия» [Даль 3: 1418]), *пустокорм* (дармоед), *пустопоклонник* («не жених, а так, пустой волокита»), *пусторёва* [Даль 3: 1419], волог. *пустосмех, пустосмешный* 'смеющийся по любому поводу' [СВГ 8: 110], бел. *пустыня* 'шалун' [Носович: 539], *пустэльнік* 'одинокий человек' [СПЗБ 4:

193], укр. *пустій, пустун, пустований, пустота* 'шалун, безобразник', *пустобяка* 'пустой, распущенный человек', *пусто іти, піти* 'плохо себя вести' [Гринченко 3: 501]; кашуб. *pustożëc* 'бездельничать' [Sychta 4: 234];

социальный и семейный статус: рус. диал. *пустопоп* («распоп, расстрига, беглый или раскольничий или неставленый поп» [Даль 3: 1419]), волог. *пустоха* 'старая дева': «Пустохой прожила, некому хоронить» [КСГРС], карел. *пустельник* 'человек, не имеющий приданого' [СРГК 5: 353], моск. *пустая невеста* 'бесприданница' [СРНГ 33: 148]; яросл. *пустокорм* 'молодой человек, который долго не женится' [ЯОС 8: 108]; краснояр. *пустой* 'бездетный': «Пустые вы, и нет у вас никого» [СЦРК 3: 376]; др.-рус. *пустота* 'одинокий, бессемейный человек', *пустотный, пустоханъ, пустошка, пустошный* 'бездомный, не имеющий друзей и близких' [СРЯ XI–XVII 21: 55], др.-пол. *pusty* 4. 'не имеющий детей, потомства', 5. 'бездомный, не принадлежащий феодалу', 6. 'лишенный помощи, всеми брошенный, забытый' [SSp 7/ 45: 399]; ср. также с. х. *pust* 'о скоте: оставленный без хозяина, пастуха': «Kad pastira nenadana zla zategnu... puste ovčice sve pobegnu»; (о зверях) 'дикий': «I on... strijela zvijeri puste» [RHSJ 12: 695].

имущественное положение: *пустосум* (бедняк), *пустокарманник* [Даль 3: 1418], бел. *пустыня* 'пустодом, у которого копейка не ночует в доме' [Носович: 539] и т. п.

Большинство входящих в этот ряд «антропологических» значений известно всем славянским языкам и фиксируется уже старшими текстами, но некоторые имеют более узкие ареалы распространения. Так, значение 'шалун, шалить, проказничать, шалости, проказы, баловство' отмечается в основном в белорусском и украинском языках, ср. также рус. карел. *пустовня* 'избалованный ребенок' [СРГК 5: 354]; волог. *пустовес* 'безобразник' [КСГРС], с.-х. *pustahija* 'разбойник, гайдук' [RHSJ 12: 699]; значение 'веселый, беззаботный, своевольный, легкомысленный' характерно для польского; значение 'тосковать, скучать о ком-н.' отмечается в кашубском («Me tak je pusto za tobo» [Sychta 4: 233], ср. рус. *мне так тебя не хватает* с эксплицированной семантикой каритивности), словацком («Bylo mi clivo, pusto» [SSJ 3: 670]); 'печальный, горестный' — в сербскохорватском («Tko donese tebi taj glas pusti (o smrti)» [RSHJ 12: 696]); значение 'бедный, несчастный, жалкий' — в болгарском («Пусты-ты деца осталы без майкя» [Геров 4: 399]), близкое к этому значение 'одинокий, брошенный, оставшийся без хозяина, без мужа и т. п.' — в сербскохорватском («Nejak, ubog, pus osto je jak posjećen dub u gori» [RHSJ 12: 695]).

Оценочная семантика *пустого*. Как мы видели, «антропологические» значения *пустого* отличаются ярко выраженным оценочным (негативным) характером; источник этой негативности — в трактовке недостачи, нехватки (по сравнению с нормой) как неблагоприятной для человека, поэтому многие каритивы имеют преимущественно или исключительно негативную семантику[3], тем более она естественна для «чистого» каритива, каким является *пустой*. Аксиологический компонент значения в ходе дальнейшей семантической деривации может принимать на себя главный акцент, тогда *пустой* получает такие чисто оценочные значения, как 'плохой, негодный': рус. *пусторосль* 'плохой, редкий кустарник' [БАС 11: 1722], костром. *пустая трава* (непригодная в корм скотине) [ЛКТЭ], перм. *пустая работница* (плохая), *пустая земля* (негодная для возделывания), *пустяшный* 'бесполезный, не имеющий никакой ценности, непригодный': «Лён мнёшь — костеря, костица отлетат; её на пустяшное место выбрасывают; пустяшное место — ничё на ём не растёт: ни хлеб, ни трава; то яма, то канава» [СПГ 2: 246–247], новгор. *пустячный* (плохой): «С чужим караводится, а мужик есть, пустяшное дело, худое» [НОС 9: 66], волог. *пустой день* 'о понедельнике': «Понедельник — пустой день. В него не делать ничего. А если делать — не пойдёт к добру» [КСГРС], бел. туров. *поле пустэе; короўка блага, пуста; пуста трава, худоба не есць* [ТС 4: 271], укр. *пусте зілля* 'сорная трава'; *пусто іти, піти* 'плохо себя вести, не заботиться ни о чем' [Гринченко 3: 501], полес. *пусто* 'недобре, погано': «В'ін все зробит' пусто» [Аркушин 2: 107]; болг. *пустый* 'ненавистный, противный': «Пустата ти работа не ся сврьше»; «Ходил юнак, ходил помак на пусту-ту воиску» [Геров 4: 399], с.-х. *pust* 'проклятый': «Ja bi kail pred tamnicu doći, al' je pusta sinoć zatvorena» [RHSJ 12: 697].

---

[3] В отличие от каритивов, выражающих «недостачу» как отклонение от нормы, всегда оцениваемое отрицательно, каритивы со значением «отсутствия» могут иметь положительное значение, когда «отсутствующим» компонентом является нечто, противоречащее норме (ср. аксиологическое различие между *бесстрашный* и *безрассудный* — первое оценивается положительно, второе — отрицательно). Например, каритив *чистый*, разделяющий с другими каритивами основные семантические свойства и имеющий стандартный для этого семантического класса набор значений, выражает позитивную оценку; *простой* может иметь и позитивное ('несложный, легкий и т.п.'), и негативное ('примитивный, грубый, глупый'), и нейтральное ('обычный, неспециальный') значение [см. Бабаева 2006].

К этому общеоценочному значению близко широко распространенное во всех языках значение ‘ненужный, бесполезный, тщетный, напрасный’, которое несколько уточняет общую негативную оценку, связывая ее с понятием цели и результата, и потому характеризует прежде всего действия рус. *попусту, впустую, пустая трата времени, пустая мечта, надежда; пустое дело* (невыполнимое, безнадежное) [БАС 11: 1718], калуж. *пустая торговля* (не приносящая дохода) [СРНГ 33: 147]; волог. *пусто* ‘зря, напрасно, бесполезно’: «Операцию делать пусто» [СВГ 8: 109]; урал. *пусто* ‘без пользы, впустую’: «Тут он пусто проучился два-те годы» [СРГСУ 5: 43]; укр. *пусто* ‘напрасно’: «Пусто затрудилися, паночку» [Гринченко 3: 501]; с.-х. *pusto* ‘бесполезно, напрасно’: «Da t’ ne bude postovanje pusto» [RHSJ 12: 696]; ср. также предметные значения: урал. *пустота* ‘отходы зерна при провеивании’ [Малеча 3: 464], перм. *пустошь, пустышь* ‘яичная скорлупа’: «Мы пустошь курицам бросаём» [СПГ 2: 247]; *пустая сеть* (в нее плохо ловится рыба), *пустой замок* (плохой, неисправный, негодный): «Замок да пустой. Они потянут и откроют» [СРНГ 33: 147].

Семантика меры и интенсивности. Как и большинство других каритивов, *пустой* получает универсальное (не зависящее от денотата) значение меры и интенсивности, сближаясь в этом со своими коррелятами, в том числе антонимами (ср. *полностью, начисто, подчистую, всухую* и т. п.). При этом семантика меры тоже «интенсивна» и может подразумевать как предельно высокие, так и предельно низкие значения. Ср. *пущий* ‘больший, вящий, главнейший, самый ретивый, задорный’ («Пущие морозы еще впереди»); *пуще* ‘больше, боле; крепче, сильнее, иначе’ [Даль 3: 1432] и — *пустяк* ‘нечто мелкое, незначительное’, *с пустыми руками* ‘ни с чем’, волог. *пусторучкой* ‘то же’: «В новый дом не входят пусторучкой. Несут с собой дрова или сена, если есть скотина» [КСГРС], пск. *пустое население* (редкое, малочисленное) [СРНГ 33: 147], арханг. *пустая вода* ‘малая вода, отлив’ [КСГРС]. Особенно ярко выражается «количественная» семантика в сербскохорватском: с.-х. *pust* ‘большой, обильный, многочисленный (о богатстве, деньгах)’: «pusto je blago pokupio»; «pusto nebrojeno blago»; ‘широкий, просторный’: «Koliko je pusto Sarajevo, svega ga je princip osvojio»; и наряду с этим — ‘дешевый, малоценный, ничтожный, малый’: *za pustu cinu* ‘за бесценок’ [RHSJ 12: 696–697]. С количественной семантикой косвенно связаны и временные значения типа владим. *пустым делом* ‘скоро, быстро’ [СРНГ 33: 148], арханг. *пусточасом* ‘внезапно, неожиданно’ [КСГРС].

Однако *пустой* получает значение интенсивности не только в количественном, но и в качественном смысле, характеризуя интенсивность

действия: волог. *пусто-пусто* 'очень сильно, интенсивно': «Пусто-пусто колотил, чуть дверь не вышиб»; «Пусто-пусто ругались из-за пчел» [КСГРС], карел. *пустышком* 'дочиста, без остатка' [СРГК 5: 357]; чеш. *pustý* 'сильный, интенсивный': «Děti daly se do pustého pláče» [PSJČ 4/2: 566]; словац. *pusto* 'грубо, резко, отчаянно': «pusto klial» [SSJ 3: 671] или предельное проявление признака: чеш. устар. *pustoděsný* 'абсолютно пустой', *pustodivý* 'совершенно дикий', *pustodravý* 'страшно хищный', *pustohustý* 'сплошной, кромешный (о тьме)', *pustoprázdný* 'совершенно пустой', *pustopustý* 'абсолютно пустой': «Pustopustá temná noc»; *pustošedý* 'совершенно седой' [PSJČ 4/2: 566]; с.-х. *pustom* 'совершенно, полностью': «Tvoji su mi gradi pustom opustili» [RHSJ 12: 698]; болг. *пустый* с усилительным значением, выражающее удивление, восхищение: «Пуста-та хубавица!» (Вот это красавица!) [Геров 4: 399]; с.-х. «Kakva kosa pusta!» (Какие роскошные волосы!) [RHSJ 12: 698].

Культурная семантика. Концепт «пустой» в культурных контекстах выступает с однозначно негативным значением и трактуется как свойство «иного», потустороннего мира и сферы смерти. Наиболее ярко это проявляется в заговорах и проклятиях. Ср. волог. *пустое слово* 'заклинание, «черное слово», колдовские слова, приносящие неурожай, неблагополучие скота и т. п.': «Старик был, пустоё слово знал. Скажёт — у кого на огороде не родит, у кого корова без молока», *поставить на пустой след* 'о действии нечистой силы, заставляющей человека «блудить» по лесу': «Поставило на пустой след парнишка, лесной дедушка водил» [КСГРС]. В заговорах всех славянских традиций опасность (болезнь, стихийное бедствие, нечистая сила и т. п.) отсылается на «пустое место», «пустые» горы, в горы, леса, пустыни, пропасти и т. п., где солнце не светит, где птицы не поют, овцы не блеют, коровы не мычат и т. д. Ср. сербский заговор от болезни живота «издат»: «Да иду у пусту гору зелену; где рало не оре, где сећира не сече, где петли не поју, где кокошће не кокочу, где свиње не грду, где љуђе не вреве, (где коњи не) вришту, где овце не блају» [Раденковић 1982: 63]. Ср. рус. перм. *на пусты лесы* — приговор со значением оберега, отсылающий опасность «на пустой лес» [СПГ 2: 247]. Болг. *пустия* означает 'запустение, разорение, погибель': если воют собаки в селе, это предсказывает, что «настане някаква пустия на това село» [Геров 4: 398].

Широко употребительные формулы проклятий типа рус. «Чтоб тебе пусто было!», бел. «Каб табе пусто было!» [БРС: 767], болг. «Пусто опустѣло! Пусто запустѣло! Пусто остало! Пусто и врльо!» [Геров 4: 399], с.-х. «Pust ostao!» [RHSJ 12: 697] и т. п. (ср. также болг.

пустосам, *пустосвам* 'проклинать', желая: «да опустѣе, пусто остало и т. п.» [Геров 4: 398]) подразумевают пожелание смерти. Связь пустого со смертью получает прямое выражение в бел. диал. *пусты канец* 'смерть' [СПЗБ 4: 192], пол. и кашуб. *pusta noc* 'бдение при покойнике', *pusti večor* 'ночь перед погребением' [Sychta 4: 232], *puste dusze* 'души умерших, забытые и покинутые' [Karłowicz 4: 454]. Любопытно, что так же может называться и бдение в канун свадьбы: пол. *pusta noc* 'ночь бодрствования при покойнике или перед свадьбой', *pustocha, pustotka* 'девичник, прощание подруг с невестой перед свадьбой; вечеринка с танцами накануне свадьбы' [Karłowicz 4: 454], что входит в ряд многих параллелей между этими двумя обрядами как «обрядами перехода» [4].

Ассоциация *пустого* с *голым*, пустоты с нуждой и голодом лежит в основе распространенных запретов, носящих характер этимологической магии, ср. волог. «Если ешь и ложку оставишь кверху — околеешь, и рот полой будёт. Опрокидывали ложку, *пустой* не оставляли. Матка скажет: „Чего у тебя ложка *пустая* лежит?“»; «*Пусторучкой* (голой рукой) нельзя опахивать стол, надо тряпочкой. *Пусторучкой* станёшь опахивать — будёт стол голой, исть нечего будёт» [КСГРС].

Приведенный материал (далеко не исчерпывающий семантического спектра слав. **pust-*), демонстрирует принципиальное сходство семантической структуры этого гнезда со структурой других каритивов, обнаруживающих те же типы основных значений и те же направления семантической деривации. Это сходство проявляет себя не только в наборе основных значений, но и в наличии общих частных значений и тождественных контекстов, в которых разные каритивы оказываются полными синонимами; при этом совпадающие значения могут занимать разное положение в иерархии значений каждого отдельного слова (гнезда). Так, например, основное для слова *простой* значение 'рядовой, обычный' является частным, периферийным для *пустого*, ср. костром. «Чего с меня взять, пустой колхозник, не бригадир, никто» [ЛКТЭ], общим для двух слов является и значение 'нетрудный': костром. «Пустая задачка, даже я, дедко, понимаю» [ЛКТЭ]. Значение 'нежирный' объединяет *пустой* с *постным*, для которого это основное значение; значение 'без листьев' — с каритивом *голый*: карел. «Осенью... деревья стоят пустые, бледные» [СРГК 5: 354];

[4] Ценный украинский диалектный материал такого рода содержит работа [Жуйкова 2003]. О культурной семантике «пустого» см. также [Тищенко 2005].

значение ‘незанятый’ — со *свободный*: карел. «Бери лопату, мый пустая лежит» [СРГК 5: 355], пол. *puste miejsce* ‘незанятое, свободное место’[SJPD 7: 743] и т. п. (выше приводились параллели *пустой — слепой*, *пустой — холостой* и др.).

Структура многозначности гнезда **pust-*, описанная выше, имеет прежде всего типологическое значение и не может претендовать на историческую достоверность и непосредственно проецироваться на реальную историю семантической деривации данного гнезда. Для истории и тем более этимологии могут быть существенны как раз не регулярные отношения, а периферийные и единичные. Так, в частности, с этимологической точки зрения важны подтверждения значений ‘свободный’, ‘открытый, широкий, просторный’ и т. п., хорошо согласующиеся с реконструируемым значением ‘дикий, оставленный, свободный’ (ср. рус. карел. *пустой* ‘открытый’: «Двери там пустые, легко пройдешь» [СРГК 5: 354]; полес. *пустопаш* — о свободном выгуле скота’ [ТС 4: 271] и т. п.).

Возвращаясь к вопросу о соотношении семантики прилагательного *пустой* и глагола *пустить*, как правило не проясняемому в этимологических словарях, можно сказать, что при несомненном наличии общих для обоих гнезд значений или выводимых друг из друга значений целостная характеристика их семантических спектров пока не дает возможности подтвердить (т.е. предложить надежную мотивировку) семантическую производность глагола от имени (при очевидной формальной производности)[5], особенно если связывать эту производность с моделью «делать пустым» (по типу *белый — белить*)[6]. Более правдоподобным и более мотивированным было бы противоречащее формальным показателям развитие от глагола к имени, т.е. *пустить* > *пустой* (оставленный, покинутый, заброшенный), поскольку само имя *пустой* в самых ранних фиксациях уже содержит в себе семантику отглагольности (‘оставленный’). Это противоречие могло бы разрешаться предлагаемой П. Скоком [Skok 3: 82–83] трактовкой праславянско-

[5] Попытка прояснить семантическую связь глагольного и именного гнезда с корнем **pust-* предпринята недавно М.В.Жуйковой [Жуйкова 2007]: по ее мнению, связующим семантическим звеном между ними выступает общий для них исходный денотат — лес (**pustiti* ‘делать диким (как лес)’). Такая реконструкция, основанная преимущественно на восточнославянских данных, все же не объясняет всех значений, фиксируемых в славянских языках.

[6] Столь же проблематичной оказывается производность по этой модели глагола *простить* по отношению к *простой*.

го **pustъ* как отглагольного прилагательного (ср. его же объяснение **prostъ* как страдательного причастия от глагола **stati*), если бы необходимый для этого мотивирующий глагол со значением, близким или тождественным значению глагола **pustiti*, был в праславянском известен.

ЛИТЕРАТУРА И СОКРАЩЕНИЯ

Апресян 2006 — *Апресян Ю.Д.* Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006. С. 33–160.

Бабаева 2006 — *Бабаева Е.Э.* Формирование семантической структуры слова *простой* в русском языке // Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006. С. 761–844.

Варбот 1986 — *Варбот Ж.Ж.* О возможностях реконструкции этимологического гнезда на семантических основаниях // Этимология. 1984. М., 1986. С. 33–40.

Жуйкова 2003 — *Жуйкова М.* Еволюція іменного кореня *пуст-* за даними говірок // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: збірник наукових статей. Чернівці: Рута, 2003. С. 411—416.

Жуйкова 2007 — *Жуйкова М.* Славянский корень *pust-* в контексте концептуальной оппозиции *свой–чужой* // Etnolingwistyka. 19. Lublin, 2007. S. 211–224.

Зализняк 2004 — *Зализняк Анна А.* Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2004.

Кустова 2004 — *Кустова Г.И.* Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.

Падучева 2004 — *Падучева Е.В.* Динамические модели в семантике лексики М., 2004.

Раденковић 1982 — *Раденковић Љ.* Народне басме и бајања. Ниш; Приштина; Крагујевац, 1982.

Розина 2005 — *Розина Р.И.* Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге. Глагол. М., 2005.

Тищенко 2005 — *Тищенко О.В.* Семантична ознака ПУСТИЙ/ПОВНИЙ в системі етнономінацій польської, української та російскої мов // Мовознавство. 2005. № 2. С. 69–80.

Толстая 2004 — *Толстая С.М.* Семантические корреляты слав. **sux-* // Язык и культура: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого. М., 2004. С. 384–400.

Толстая 2006 — *Толстая С.М.* [Рец.:] Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге. Глагол. М.: Азбуковник, 2005. 302 с. // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2006. Т. 65. № 4. С. 66–69.

Толстая 2006а — *Толстая С. М.* О семантике каритивности (слав. **prěsn-* и его парадигматические партнеры) // Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот. М., 2006. С. 363–380.

Толстая 2007 — *Толстая С. М.* Многозначность слова в свете ономасиологии // Язык как материя смысла. Сб. в честь академика Н. Ю. Шведовой. М., 2008. С. 305–313.

Толстая 2008 — *Толстая С. М.* Многозначность слова в зеркале его дериватов // Сб. в честь Е. В. Падучевой. М., 2008 (в печати).

Топоров 1986 — *Топоров В. Н.* О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология 1984. М., 1986. С. 205–211.

Топоров 2004 — *Топоров В. Н.* О понятии места, его внутренних связях, его контексте (значение, смысл, этимология) // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Н. И. Толстого. М., 2004. С. 12–106.

СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ

Аркушин — *Аркушин Г.* Словник західнополіських говірок. Луцьк, 2000. Т. 1, 2.

БАС — Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1950–1965. Т. 11–17.

БРС — Белорусско-русский словарь / Под ред. К. К. Крапивы. М., 1962.

Геров — *Геров Н.* Речник на българския език. Пловдив, 1895–1904. Ч. 1–5.

Гринченко — *Гринченко Б. Д.* Словарь украинского языка. Киев, 1907–1909. Т. 1–4.

Даль — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. СПб., 1903–1909. Изд. 3.

КСГРС — Картотека Словаря говоров Русского Севера. Екатеринбург. Материалы любезно сообщены Е. Л. Березович.

ЛКТЭ — Лексическая картотека топонимической экспедиции Уральского университета. Екатеринбург. Материалы любезно сообщены Е. Л. Березович.

ЛП — Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968.

Малеча — *Малеча Н. М.* Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Оренбург, 2002–2003. Т. 1–4.

НОС — Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–1995. Вып. 1–12.

Носович — *Насовіч І. І.* Слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1983.

СВГ — Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–2007. Вып.1–12.

СД — Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н. И. Толстого. М., 1995–. Т. 1–.

СОГ — Словарь орловских говоров. Ярославль, 1989–1991. Вып. 1–4; Орел, 1992–. Вып. 5–.

СПГ — Словарь пермских говоров. Пермь, 2000. Вып. 1 (А–Н). 2002. Вып. 2 (О–Я).

СПЗБ — Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1979–1986. Т. 1–5.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А.С.Герд. СПб., 1994–2005. Вып. 1–6.

СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964–1988. Т. 1–7. Екатеринбург, 1996. Дополнения.

СРДГ — Словарь русских донских говоров. Ростов-на-Дону, 1975–1976. Т. 1–3.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П.Филин, Ф.П. Сороколетов. Л., 1965–. Вып. 1–.

СРЯ XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–. Вып. 1–.

СС — Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки и Э.Благовой. М., 1994.

СЦРК — Словарь русских говоров центральных районов Красноярского края / Под общ. ред. О.В.Фельде (Борхвальдт). Красноярск, 2003–. Т. 1–.

ТС — Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982–1987. Т. 1–5.

ЯОС — Ярославский областной словарь / Отв. ред. Г.Г.Мельниченко. Ярославль, 1981–1991. [Вып. 1–10].

HSSJ — Historický slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1991–2005. T. 1–6.

Karłowicz — *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1900–1911. T. 1–6.

PSJČ — Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935–1957. D. 1–8.

RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. JAZU. Zagreb, 1880–1976. D. 1–23.

SJPD — Słownik języka polskiego / Pod red. W. Doroszewskiego. Warszawa, 1958–1969. T. 1–11.

Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974. Knj. I–IV.

SSJ — Slovník slovenského jazyka / Red. Š. Peciar. Bratislava, 1959–1968. D. 1–6.

SSp — Słownik staropolski. Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1953–2002. T. 1–11. Z. 1–76.

Sychta — *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976. T. 1–7.

SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970–1991. Knj. 1–5.

Е. С. Узенева

Ареальное членение болгарского и македонского языков по данным свадебной терминологии

Статья посвящена анализу обслуживающей свадебную обрядность диалектной лексики (обозначений персонажей, атрибутов и ритуалов), собранной воедино из различных лингвистических и этнографических источников. Основное внимание уделено выявлению областей распространения терминов с целью определения этнокультурных и диалектных границ на основе метода этнолингвистического картографирования, предполагающего анализ фактов внеязыковой реальности в сопоставлении с наличием/отсутствием соответствующей терминологической лексики [Толстой 1995: 35; Толстая 1989; Плотникова 2004: 21].

Опыты картографирования элементов свадебного обряда проводились на материале различных славянских традиций: русской (Ю.Ю.Сухаско, Т.А.Бернштам, А.В.Гура, К.В.Чистов — обобщение см. [Гвоздикова, Шаповалова 1978; Войтенко 1991; И.А.Подюков и др. 2004: 314–320]), полесской [Романюк 1983], словацкой (Этнографический атлас Словакии — EAS), польской [Bień-Bielska 1959], украинской [Дзендзелевский 1958].

В российских научных трудах особо важная роль ареальным исследованиям и картографированию отводится в московской этнолингвистической школе Н.И.Толстого[1]. Лексика и терминология традиционной духовной культуры славян Балканского полуострова является предметом научного анализа и объектом этнолингвистического картографирования, фиксирующего как собственно языковую, так и экстралингвистическую информацию, в ряде работ А.А.Плотниковой, посвященных в том числе и элементам свадебной обрядности южных славян [Плотникова 1998, Плотникова 2004: 558, карта № II–2–4 «Ребенок — участник свадьбы: названия, ритуалы»]. Традиционной культурой болгар занимается И.А.Седакова, исследующая лексику, семантику, фразеологию и терминологию

Авторская работа выполнена в рамках гранта по государственной поддержке ведущих научных школ РФ («Язык традиционной культуры славян», НШ-943.2008.6, рук. С. М. Толстая).

[1] См. «Славянский и балканский фольклор» (М., 1995), посвященный этнолингвистическому изучению Полесья.

родин (как одного из фрагментов болгарской народной культуры) во всем ее многообразии, анализируя соотношение вербального и этнокультурного аспектов [Седакова 2007, 14 карт]. И.А.Седакова в других работах представила карты святочно-новогодней терминологии и обрядности болгар [Седакова 1998: 305–313] и названий демонов судьбы в болгарских родинных обрядах [Седакова 1994].

В области семейных обрядов болгар свадьба предоставляет наиболее богатый материал для изучения обрядовой лексики и терминологии. Интерес к изучению свадьбы как явления духовной культуры зарождается еще в начале XIX в., однако научный подход к ее исследованию возникает позже. Первым опытом обобщения и классификации болгарских свадебных обрядов можно считать монографию М.Арнаудова «Българските сватбени обреди. Етноложки и фолклорни студии. Ч. 1: Преглед на обичаите у народа», где представлено описание свадьбы по регионам [Арнаудов 1931]. Попыткой общей характеристики свадебных обрядов болгар можно считать раздел о свадьбе в монографии Хр.Вакарелского «Етнография на България» [Вакарелски 1977] и его исследование, определяющее роль и место народной песни в свадьбе [Вакарелски 1939]. Кроме того, именно Хр.Вакарелски проанализировал ряд обрядовых комплексов свадьбы на основе собственных полевых материалов, собранных по специально разработанной программе [Вакарелски 1927, Вакарелски 1927/2, Вакарелски 1928]. Р.Иванова исследовала семантику и символику свадебного обряда [Иванова 1984].

География свадебного обряда была объектом научного интереса ряда болгарских ученых. М.Арнаудов одним из первым провел условное разделение территории Болгарии в соответствии с типом обрядности на 4 области: восточную, западную Болгарию, Фракию и Македонию. Хр.Вакарелски в ряде своих статей, посвященных отдельным фрагментам свадьбы, неизменно отмечал ареальные особенности обрядов, реалий и терминологии, например, ритуала окраски хной волос невесты — *каносване* и покрывания невесты фатой — *забулване* [Вакарелски 1927/2, Вакарелски 1935/2]. Именно Хр.Вакарелски осуществил первые опыты картографирования ряда явлений материальной культуры, на основании результатов работы он выделил несколько областей на территории Болгарии (запад/восток, северо-запад/юго-запад, восточная и западная Фракия, Родопы, центральная часть, крайний северо-восток). Ареалы традиционной культуры народов Юго-Восточной Европы (включая и Болгарию) на основе изучения распространения явлений главным образом материальной культуры: особенностей одежды, домашней утвари, пищи и др. — были выявлены в работе М.Гаваццци, представлены на соответствующей карте и

обозначены как шопский, македонский, подунайский (паннонский), фракийский и родопский [Gavazzi 1978: 181].

Ареальным различиям в семейных обрядах болгар (и в свадьбе в том числе) по обеим сторонам «ятевой» диалектной границы в северных областях Болгарии была посвящена кандидатская диссертация Ст. Генчева [Генчев 1969].

В болгарской науке известны примеры картографирования ряда явлений материальной культуры, предпринятого Хр. Вакарелским, выделившим несколько областей на территории Болгарии, ему же принадлежит и идея создания Фольклорного атласа Болгарии [Вакарелски 1934]. Картографирование отдельных фрагментов народной культуры провела в своей диссертации Сл. Гребенарова, исследовавшая возжигание огней в семейной (в том числе и свадебной) и календарной обрядности болгар [Гребенарова 1990].

Изучением распространения болгарских диалектов занимался диалектолог Ст. Стойков [Стойков 1993], составивший подробную карту и высказавший гипотезу о существовании двух диалектных границ: «ятевой», проходившей с севера на юг от Никополя до Пазарджика и другой, разделяющей восточные области на северо- и юго-восток и протянувшейся с запада на восток от Пазарджика до Бургаса [Стойков 1963: 113]. Данное предположение было подтверждено в дальнейших исследованиях диалектной лексики и ее картографированием М. Младеновым [Младенов 1974] и поддержано С. Б. Бернштейном [Бернштейн 2000: 110–111]. Вслед за Ст. Стойковым [Стойков 1963б] и Т. Бояджиевым [Бояджиев 1983] Д. Младенова поддержала гипотезу о первичности членения болгарской языковой территории на северный и южный ареал (точнее, на северо-восточный и западно-южный ареалы) и вторичности — на западный и восточный, в противовес обратной концепции Г. А. Цыхуна [Цыхун 1999: 26]. Кроме того, на основе анализа распространения ряда лексем исследовательница сделала вывод о делении северного и западного или западно-южного ареалов на западный и восточный соответственно [Младенова 2001: 171].

М. Младенов в ряде своих работ по диалектной лексике проанализировал ареалы распространения отдельных свадебных терминов, например, одного из обозначений знамени — *оруглица* [Младенов 1981: 63] и помолвки — *тъкмеж* [Младенов 1983: 224], соотношение дистрибуции лексем *булка/невеста* [Младенов М. 1971: 39–42; Младенов 1983: 49–70], обозначений посаженого отца — *кум*, *кръстник*, *калитата* [Младенов 1987: 75–122, карта 7], а также лексемы *пита* ‘пресный хлеб без закваски’ в ее общеупотребительном значении (там же,

карта 9)[2]. Й. Ивановым в Болгарском диалектологическом атласе областей так наз. Эгейской Македонии приведена карта названий жениха и невесты в этом регионе [Иванов 1972]. Однако, целостного картографирования болгарской свадебной терминологии не проводилось.

Задачей настоящей статьи является определение ареального членения болгарского языка по выборочным материалам диалектной лексики и терминологии, а также на основании экстралингвистических данных (наличию/отсутствию персонажа, реалии, обряда; особенностей структуры свадьбы и пр.).

Для нашего исследования мы выбрали несколько репрезентативных лексико-семантических групп терминов: свадебные чины, хлеб, свадебное деревце, знамя и обозначения обрядов. Система болгарских свадебных **чинов** соотносится с системами персонажей других южнославянских традиций, при этом выявляются значительные функциональные и терминологические сходства, например, основная триада лиц — посаженый отец (*кум*), старый сват (*стари сват*) и дружка (*девер*) — известна также сербам и македонцам.

География терминов, обозначающих свадебные чины, подтверждает членение территории Болгарии на два ареала — западный и восточный, каждому из которых соответствует свой набор чинов и лексем. Первый характеризуется наличием триады лиц *кум — стари сват — девер*, названием *невеста* для молодой, *младоженец* (*младенец*) для жениха. Второй тип отличает бинарная структура чинов *побащим — заложник*, руководящих свадьбой, при наличии номинального руководителя посаженого отца (*кръстник*), а также термины *булка* и *зет* для молодоженов.

Противопоставление север/юг характеризует области распространения терминов, обозначающих кумовьев: *кръстник/кръстница* на севере и *калитата/калимана* на юге (пояс Фракия — Родопы — юго-западная Болгария); сватов и помолвленных парня и девушки: лексемы с основой *год-* на севере (точнее, большей части Болгарии) и дериваты от корня *глав-* на юге (Фракия — Родопы — юго-западная Болгария), хотя экспансия литературного языка в последние годы существенно меняет картину (термины с основой *год-* активно проникают в обрядовую терминологию, замещая старые, диалектные названия).

Ареальная картина распределения терминов, обозначающих **сватов**, показывает наличие большого числа синонимичных наименова-

[2] Поскольку многие работы оказались нам недоступны, мы сочли необходимым сделать сходные карты на собственном материале.

ний как в рамках одного диалекта (например, *главешар, придумник, момар, прусатор, годежник* в р-не Пловдива), так и в различных диалектах, причем количество синонимов может варьироваться. Так, в говорах Разграда (сев.-вост. Болгария), Смоляна, Асеновграда и Хасково (Родопы) их число велико. В Добрудже, также характеризующейся обилием различных названий, наряду с многочисленными синонимами существуют отдельные лексемы, не встречающиеся в других областях (*мънежници*).

Кроме того, отмечается строгая приуроченность ряда терминов к определенным ареалам. Так, дериваты с основами *мома-, девосноб-*[3], *девослоб-* встречаются только в зоне Родоп, *женихли* — в сев.-вост. Болгарии, *слюбници*[4] — в восточной Фракии, *тъкменджии* — в юго-зап. областях[5], *наводаджии*, *наваджии, наводжийка* — на северо-западе (ср. названия сватов в Пиротском крае, граничащем с данным регионом: *наваџија, проводаџија* [Панајотовић 1986: 44]; *provodađije* — Косо-

[3] Термины с подобной основой известны западным и восточным славянам, что дает возможность говорить об изоглоссе, связывающей архаичную зону Родоп с западной и восточной Славией: ср. польск. *dziewosłąb*, *dziewosłąbka*, укр. *дівоснуб*, зап.-полес. *дівослюби*, бел. *девоснубы* ('девичник'), *дзевасноб-іца* ('сговор'), а также другие лексемы от основы **snub-* (чеш. snoubiti, snub 'свадьба, бракосочетание', словац. *snúbenec, snúbenica* ('жених и невеста'), словен. *snubiti* 'свататься', *snobok*, *snubec* ('сватающийся'), *snuboke* ('сватовство') [Гура 1981: 266]; хорв. *snobocani* 'сваты' [Begovac 1982: 141]. Ср. также название свадьбы чеш. диал. *snub* [Eckert 1965: 201].

[4] Лексемы с данной основой (**sl'ub*) известны западным и восточным славянам: польск. *ślub*, *zaślubiny* ('венчание'), чеш. *slúbenec*, *slúbenica*, *v sl'ube* ('помолвленные парень и девушка'), верхн.-луж. *slub* ('обручение'), укр., бел. и зап.-полес. *шлюб* ('венчание' [Гура 1981: 266]).

Наличие лексем, связывающих родопские и фракийские говоры с западно- и восточнославянскими языками, дают дополнительное подтверждение выводам, сделанным Л.В.Куркиной в монографии «Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики». Согласно ее мнению, «восточно-южнославянская область заселялась, по меньшей мере, тремя потоками. Один из них шел из задунайской зоны, которая граничила с будущими польскими говорами, в Мизию, Фракию и далее в Родопы» [Куркина 1992: 214].

[5] Фиксация данных терминов в отдельных пунктах восточной Болгарии (г. Попово, Омуртаг) объясняется переселением носителей юго-западных говоров на восток Болгарии, именно в указанные населенные пункты.

во [Vukanović 1986: 261], *просци* — в западной части страны. Интересно отметить, что термин *просци* встречается и в некоторых районах Сербии (р-н Косово [Vukanović 1986: 261; Душковић 1992: 362]), и в Македонии (р-н Струмицы [ИДР]), и в Хорватии.

Распространение терминов с основами *глав-* и *слуг-* образует южный пояс: вост. Фракия — Родопы — юго-запад (*глав-*), Родопы — зап. Фракия — Пирин (*слуг-*), термины *думалник*, *одумница* известны в Родопах и западной Фракии, лексема *стройник* зафиксирована в Родопах и юго-западной Болгарии, причем ареал ее распространения расширяется на запад в Македонию (Кукуш, Тетово, Дебыр, Кичево, ИДР).

Терминология **свадебного хлеба** болгар предлагает различные типы наименований, многие из которых имеют ограниченные ареалы распространения: например, хлебы *косичняк, гълъбник, литургия, фурка* известны только в сев.-зап. Болгарии, где традиционно отмечается особое разнообразие «хлебной» лексики и соответствующих ритуалов, как в семейной, так и в календарной обрядности [Седакова 1983]. Территория распространения терминов *турта*, *шуга, кукла* и дериватов от корня *квас-* образует изоглоссу сев.-зап. Болгария — Родопы. Дериваты от основы *цел-* зафиксированы в смежных ареалах: Родопы и юго-западная Болгария.

Хлебы *плетеница, теферич* встречаются в западной части страны, а *меденик* — в восточной и средней Болгарии, в Родопах. Северный ареал образует термин *бахча*. Для Родоп уникальны названия хлебов *стихус*, *фурнит*, лексема *фудулка* объединяет Фракию и Родопы, *свака* — родопский и македонский ареал. В юго-восточной части страны и в Добрудже (с. Дебрене) зафиксированы лексемы *руменик* или *руманик*. Термин *варай* — отмечен только в р-не Пловдива, *тутманик* — в Копривштице. Такое деление болгарской языковой территории на материале терминологии свадебного хлеба на северо-западный, западный, восточный, фракийский и родопский ареалы совпадает в целом с ареалами, выделяющимися на основе всей свадебной терминосистемы.

Термины, обозначающие хлеб в болгарской свадьбе, соотносятся с терминологией хлебов других славянских традиций. Например, название каравай (**korvajь*), распространенное в восточной Болгарии, Фракии, Родопах и Пиринском крае, как обозначение свадебного хлеба известно в Белоруссии, на Украине и в восточной Польше (*korowaj weselny* [Bien-Bielska 1959: 80]), на юге великорусской территории и у других южных славян (ср. серб. *кравāљ* — каравай, преподносимый в качестве свадебного подарка [БЕР 2: 701]). У западных славян (и в западной Польше в том числе [Адамовски 1998: 14]) для обозначения

главного свадебного хлеба используется термин *kolacь, известный в качестве названия различных свадебных хлебов всем славянам [СД 2: 461]. На территории Болгарии данный термин распространен в Страндже, Фракии, Родопах, Пирине и в западной части страны до Софии.

Что касается других южных славян, то для восточной Сербии характерен термин *саборњак*, обозначающий главный свадебный хлеб, украшенный фигурками птиц из теста и нередко служащий основой свадебного деревца (с. Доня Каменица, община Княжевац, МДАБЯ, зап. А.А.Плотниковой 1997 г.; *соборњак* — Црни Врх, община Княжевац [Радовановић 1995: 138]), для хорватов — *pogaca*, *kolac* [Begovac 1982: 143]. Наибольшее разнообразие наименований показывает восточная Сербия, где зафиксированы такие термины, как *косичњак* (Пирот [Златкович, Плотникова 1999]; Црни Врх, община Княжевац [Радовановић 1995: 138]), *плетеница* (Пирот [Панајотовић 1997: 48]; ср. также словац. *pletenec* [Грацианская 1988: 43]), *соборњак, саборњак* (Заглавак [Рељић 1998: 55]), *саборник*, *колачич*, «обручальный» хлеб, *погача* (Баня [Радованович 1998: 30–31]). Большинство терминов сходно с болгарскими, причем распространенными в западной Болгарии (*косичняк*, *плетеница*, *погача*), что свидетельствует в пользу высказывавшегося различными учеными, изучавшими данные говоры по обе стороны границы (см. например, [Тодоров 1936: 9; Ивич 1956: 117–118; Стойков 1993: 164–166]), предположения о существовании особой диалектной зоны, включающей область сербско-болгарского пограничья [Sobolev 1998].

Названия **свадебного деревца** у болгар необычайно разнообразны: они могут характеризовать атрибут по виду дерева, из которого он сделан, его части (ветка), названию цветка, по виду хлеба-основы, принадлежности обрядовому лицу, иметь значение «множественности» и пр.

Для терминов, обозначающих деревце в болгарской свадьбе, характерна следующая географическая дистрибуция на основные ареалы запад/восток: *бахча*, *теферич*, *бор* — характерные наименования для западной Болгарии; *елха* — более типично для восточных областей страны; север(северо-восток)/юг: *ръченик* — для северной Болгарии; *кожел* встречается в Родопах, термин *каниска* известен в Родопах и Карнобатском крае (юго-вост. Болгария); *кон*, *конче* зафиксирован на юго-востоке страны, так же как и *миля*, *милица* (обл. Тополовграда).

Термины, обозначающие **знамя**, распределяются по нескольким группам. Первую составляют наименования, образованные от корня

пряпор- (<**parparъ*, **parparьсъ* < **pera* 'лететь' [БЕР 5: 599]), распространенные, главным образом, на востоке Болгарии, во Фракии и Родопах. В другую группу вошли термины с основой *-руг* (<**(x)оругла*, ср. *хоругва*, *хоругвица* 'знамя' [БЕР 4: 929]), характерные для западной и северной части страны, причем дериват *феруглица* фиксируется только в юго-западных областях. Данные названия известны и другим славянским традициям: укр. *прапор*, *прапорец*, чеш. *prapor*, *praporec*, макед. *препора, феруглица*; укр. *хоругва*, *хоруговка*, бел. (зап.-полес.) *хоронга* [СД 2: 345].

Заимствованный термин *байрак* (< тур. *bayrak* — 'знамя' [РС: 290]) известен на всей территории Болгарии, однако более характерен для северной, средней западной Болгарии и крайней восточной части страны. Данный термин известен также македонцам (*бајрак*, *барјак*) и сербам (*барјак*).

Возможно, что специфически болгарскими являются наименования: *стяг* (< ст.-слав. *стягъ*), имеющее локальное распространение (р-н Широкой Лыки в Родопах [Родопи: 166]), так же как и лексемы *кожел*, *къжел* (с. Змеица, Петково [Родопи: 166]), *ламбур*, *храмбул* (с. Калапот, Зарово [Пирин.: 398]; *храмбол* — с. Белица, р-н Сандански [Извори 3: 390]), *хламбус* (Г.Шарково, М.Шарково, Мамарчево [Кариоти: 126]), *кешка* (Тополовград, М.Манастир, Г.Манастир [Кариоти: 126]), *перианик* (образованное по принципу сходства с предметом — перо, так как букеты у яблока имеют вид перьев, — с. Винарово, обл. Видина [Ганева-Райчева 1990: 47]), *треперко* (обращение к знамени < от гл. *треперя* 'дрожать, трепетать' — Родопы [БД 2: 282]).

Термин *рубница* (< возможно от ит.-тур. *ruba*, *руба* — приданое невесты, с. Железна, община Чипровци, г. Чипровци, зап. А.А.Плотниковой, Е.С.Узеневой, 2000 г.) известен также в тех областях восточной Сербии, которые граничат с данным регионом.

Отдельную группу составляют немногочисленные составные наименования, образованные по принципу соотнесенности с обрядовым лицом: женихом и невестой (*мъски ст'ак* — Родопы [БД 2: 211]; *женски ст'ак* — Родопы [БД 2: 159]; *момин стяг* — с. Яворово, Девин, Манастир [Хайтов 1985: 209]), по характерному признаку (цвету: *бела уруглица, чървена уруглица* — с. Девене, обл. Врацы [Манкова 1981: 135]) или отнесенности к ритуалу — свадьбе (*свадбарски байр'ак* [РС: 338]), в отличие от погребального знамени, например.

Дистрибуция терминов, обозначающих хлеб, деревце и знамя, выявляет на территории Болгарии две области, выделяемые на основе нескольких признаков одновременно, — восточную, для которой характерны термины *меденик* для хлеба, *пряпор* для знамени и *елха* для

деревца, и западную — с названиями *плетеница*, *оруглица*, *бахча* соответственно. Кроме того, выделяются следующие ареалы в рамках указанных областей: северо-западный (*турта, косичняк — оруглица, байрак — бахча*), юго-западный (*плетеница — феруглица — вейка*), родопский (*фурнит, фудула — стяг — кожел*), юго-восточный (*руменик — пряпор — елха*), северо-восточный (*меденик — байрак*, или отсутствие знамени — *ела*, или отсутствие деревца).

Противопоставление западного и восточного типов обрядности находит свое выражение в распространении терминов, обозначающих **обряды**. К восточному типу можно отнести наименования помолвки от корня *мен-* (*менеж, мена/меняване*), которые в то же время спорадически встречаются в Родопской области, а для запада характерно большое разнообразие названий: *годеж*, *запив, впив, тъкмеж, углава* и пр. В восточной Болгарии терминологически маркированными являются предсвадебные ритуалы, связанные с подготовкой даров для свадьбы (*кроенки*, *шиенки*), в то время как в западных областях акцентируются торги о выкупе за невесту и приданом (*кинат прид, баба-хаки*). Для восточноболгарского типа характерны ритуализованный помол зерна при приготовлении хлеба и соответствующие наименования ритуала (*грухане на жито, грованки, чукане, мелене на булгур*) и ритуальное просеивание муки (*засевки*), тогда как в западном варианте (*замески, заквасванье, квас*) более значимыми оказываются действия вокруг замешивания теста (*кваса*).

Разнятся также и наименования посещения невестой источника: *на вода* — на западе, *на чешма, на кладенец* — на востоке; послесвадебного посещения молодыми дома невесты: *госке, гос'е* — на западе и *отвръткн, повратки* — на востоке, хотя термин *повратки* известен на всей территории Болгарии, вероятно, благодаря литературному языку.

На основе лингвистических и экстралингвистических признаков выделяются компактные ареалы на территории Болгарии: <u>северный</u> ареал (и Добруджа без крайних западных областей) на основании распространения ритуала и лексемы *окроп* 'послесвадебное угощение', 'сладкое горячее вино'; <u>южный</u> ареал (Фракия — Родопы — юго-западная Болгария) — наименования помолвки от корня *глав-*; <u>северо-западный</u> — договор о подарках или примирение родителей в случае бегства невесты (*префащане бъклица, напиване бъклица*), ритуал «заквашивания» свадьбы, ее подготовка (*закваска, заквасване на сватбата*), ритуальное «кормление» невесты свекровью весь период от помолвки до свадьбы (*хранене на годеницата*), предсвадебный обряд *ладуване* 'приготовление и преломление хлеба *турта*'; обряд

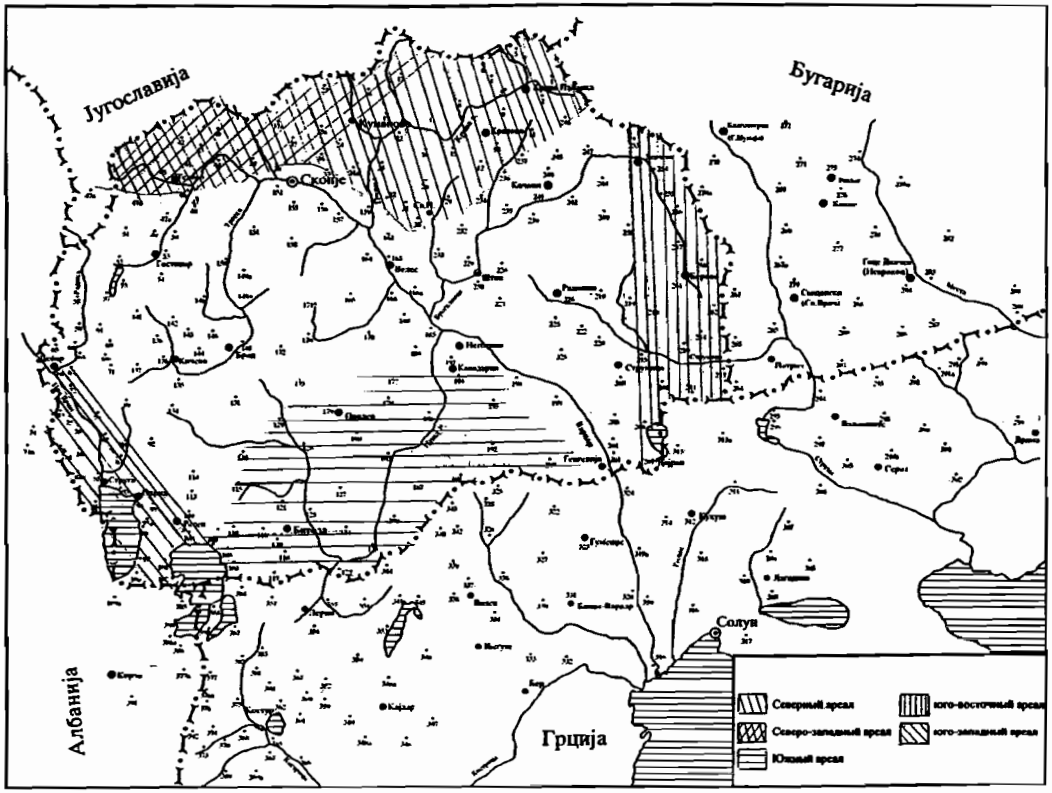
пристануша ‘переход невесты в дом жениха до свадьбы’; терминологически маркирован ритуал проводов невесты (*дигане на булката, изпратки*), здесь неизвестно обрядовое бритье жениха; юго-западный — обозначения помолвки от корней *тъкм-* и *армас-*, ритуальные приглашения на каждый обряд, ритуализованный сбор зерна для свадебной трапезы (*засевка*), поход за дровами в лес (*за дърва*); северо-восточный — угощение для близких родственниц жениха сразу после брачного соединения молодых (*дарни вечер*), веселье и угощение сладкой ракией (*упрук*), а также термин *бръсни зет*; родопский — здесь приглашают на свадьбу святых, фруктовые деревья, покойных родителей, зафиксирован свадебный плач невесты (*кордене, нарежданe*), характерны наименования различных ритуалов, образованные от корня *сек-* (*сечение сватба, обсичане на сватбата*); юго-восточный — отмечен предсвадебный ритуал для женщин (*канене на квас*), обмен закваской для хлеба между семьями жениха, невесты и кума, угощение жениха в доме невесты (*захранване на зетя*), обряд угощения сватов после исполнения их любимой мелодии (*долуджак*), *играят свещите* — танец с горящими свечами в руках, который исполняют женщины во время свадебного шествия, термины *бухля, прибухля/отбухля* ‘покрывать вуалью / снимать вуаль с невесты’.

Исследование свадебной терминологии в ареальном аспекте показало, что территория Болгарии представляет собой весьма дифференцированный регион, где выявлено наличие нескольких типов обрядности и соответствующей терминологии, которые формируют отдельные ареалы: северный (*кръстник* ‘посаженый отец’; *годеник/годеница* ‘помолвленные’; *сгледници* ‘сваты’; *годеж, мена* ‘помолвка’; *кравай, кукла* ‘обрядовый хлеб’) и южный (*калитата* ‘посаженый отец’; *главеник/главеница* ‘помолвленные’; *слугници, думалници* ‘сваты’; *углава* ‘помолвка’; *колач* ‘хлеб’); западный (наличие триады лиц *кум — стари сват — девер*, название *невеста* для молодой, *младоженяк/младенец* для жениха, *просци* для сватов; наименования хлеба *плетеница, теферич*; знамени *байряк*, деревца *бахча*; ритуализованный помол зерна для хлеба — *грухане на жито, мелене булгур* или ритуальное просеивание муки — *засевки*) и восточный (бинарная структура чинов *побащим — заложник*, руководящих свадьбой, термины *булка* и *зет* для молодоженов; *меденик* ‘каравай’; *пряпор* ‘знамя’; *ела* ‘деревце’; здесь более значимыми оказываются действия замешивания теста — *замески, квас*). Граница между восточным и западным ареалами проходит (условно) по важнейшей диалектной границе болгарского языка, так называемой «ятевой» границе.

Карта № 1. Ареалы болгарского языка по данным свадебной терминологии.

РУМЪНИЯ
СЪРБИЯ
АЛБАНИЯ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
ГЪРЦИЯ
ТУРЦИЯ
Черно море
Бяло море
Мраморно море
Свищов
Русе
Кубрат
Исперих
Попово
Добрич
Шумен
Варна
Провадия
Велико Търново
Плевен
Плиска
Ловеч
Троян
Габрово
Казанлък
Сливен
Стара Загора
Ямбол
Карлово
Пловдив
Пазарджик
Чирпан
Димитровград
Хасково
Кърджали
Момчилград
Смолян
Ивайловград
Асеновград
Пещера
Радомир
Дупница
Сандански
Гоце Делчев
Разлог
Самоков
Мадан
Рудозем
Ивайловград
Свиленград
Одрин
Мидия
Вейсиде
Чорлу
Чанкирия
Ереглия
Ахтопол
Бургас
Несебър
Поморие
Ямбол
Елхово
Малко Търново

Карта № 2. Ареалы македонского языка по данным свадебной терминологии.



Анализ свадебной терминологии в широком этнокультурном контексте позволяет говорить о существовании в Болгарии компактных ареалов в рамках выделенных типов: северо-западного (*косичняк, гълъбник* 'свадебный хлеб'; *оруглица, рубница* 'знамя'; *белег* 'помолвка'; *заквасванье* 'приготовление хлеба'), юго-западного (*колак, цал леп* 'хлеб'; *феруглица* 'знамя'; *вейка, бор* 'деревце'; *тъкмеж* 'помолвка'; *засевка* 'просеивание зерна'), северо-восточного (*женихли* 'сваты'; *дъб, ръченик* 'деревце'), юго-восточного (*слюбници* 'сваты'; *руменик* 'хлеб', *каниска, кон* 'деревце'), родопского (*девеснопове, момари, снобници* 'сваты'; *стихус*, *фурнит* 'хлеб'; *кожел* 'деревце'). Важно отметить, что указанные ареалы совпадают в общих чертах с границами отдельных диалектов: северо-западный (северо-западные говоры), юго-западный (юго-западные говоры), северо-восточный (мизийские говоры), юго-восточный (фракийские и странджанские говоры), родопский (родопские говоры). Этот факт подтверждает необходимость привлечения широкого историко-культурного контекста (обрядности и обрядовой терминологии) для определения диалекта, понимаемого как не исключительно языковой, но и этнокультурный идиом: «Диалект (равно как и макро- и микродиалект) представляет собой не исключительно лингвистическую территориальную единицу, а одновременно и этнографическую, и культурологическую, если народную культуру выделять из этнографических рамок» [Толстой 1995: 21].

Правомерность выделения данных зон подтверждается и этнографическими данными: компактным расселением этнических групп в этих районах (соответственно — шопы, македонцы, добруджанцы, фракийцы, рупцы), а также данными материальной культуры: выделенными Хр.Вакарелским областями на основании картографирования терминов и явлений хозяйственной сферы (запад/восток, северо-запад, юго-запад, иногда центр, восточная и западная Фракия, Родопы и крайний северо-восток [Вакарелски 1934: 99]).

***

Этнографические материалы македонской традиции рассыпаны в различных источниках, главным образом журналах, которые печатались как в Македонии, так и в Сербии, Болгарии. До выхода в свет в 2002 г. монографии Весны Петрески «Свадба како обред на премин кај Македонците од брсјачката етнографска целина» не существовало обширного монографического описания свадьбы в Македонии (книга исследует один, хотя и обширный, регион [Петреска 2002]). Македонии отведен один из разделов монографии М.Арнаудова о свадьбе [Арнау-

дов 1931]. Кузман Шапкарев писал о свадебном обряде в Струге, Кукуше, Костуре [Шапкарев 1968], несколько статей Милан Ристески посвятил свадьбе в области Мариово [Ристески 1961, Ристески 1962, Ристески 1962/2], Й. Павлович исследовал обряд в Малешево [Павловић 1928: 220–245], С. Танович — в Гевгелии [Тановић 1927: 138–192], ряд работ анализируют особенности свадьбы в области Битолы [ФББ], перу разных авторов принадлежат статьи о свадебном ритуале в сборнике этнографических материалов по македонской традиции [Извори 3]. Марко Цепенков в своих фольклорных сборниках неизменно уделял внимание свадебному фольклору [Цепенков 1890; Цепенков 1998: 76–88], равно как и Наум Целакоски, исследовавший свадебные песни в районе Дебара [Целакоски 1984], и Икономов, записавший песни из областей Кичево и Дебар [Икономов 1893].

Изучению же ареальных различий македонской свадьбы на уровне этнографических и языковых фактов уделялось меньше внимания. Диалектное членение македонского языка выявлялось, как правило, на основе фонетико-фонологических и структурно-грамматических черт [Видоески 1998: 79]. Лексические различия исследовались реже. Однако македонскими и болгарскими авторами постоянно изучаются диалекты различных регионов Македонии (см., например, монографию о говоре Радовиша [Бојковска 2003], говорах охридско-стружского региона [Марковиќ 2007 и др.]), издаются сборники с диалектными текстами (например, из Эгейской Македонии [Шклифов, Шклифова 2003], или всех областей страны вместе со звуковыми файлами — [Марковиќ 2007/2]), создаются большие диалектные словари (говоров Кукуша [Пеев 1999–2004; Сакыов 1967]; Костура [Шклифов 1977]; Прилепа [Цепенков 1998]; с. Зарово, обл. Салоник [Вачева, Керемидчиева 2000 и др.]). В настоящее время ведется работа над Лексическим атласом македонских говоров в Институте македонского языка им. Крсте Мисиркова в Скопье.

Российские лингвисты изучали македонские говоры (в том числе лексику) как компонент славянского диалектного континуума [Клепикова 1999; Калнынь, Клепикова 1999]. Этнолингвистический анализ ареальных различий македонского языкового ландшафта был проведен в монографии А. А. Плотниковой, которая рассмотрела его в контексте южнославянских традиций и выявила его специфику [Плотникова 2004: 285].

В ходе многолетней работы над исследованием свадьбы южных славян мы пришли к выводу о том, что специфика любой национальной или региональной обрядности (в нашем случае свадебной) определяется не столько наличием каких-либо особых ритуалов, персонажей

или артефактов, сколько своеобразным сочетанием обрядовых элементов, известных, возможно, и другим традициям. О подобном явлении в применении к балканскому языковому союзу писала Т. В. Цивьян [Цивьян 1993].

Ряд черт объединяют македонскую свадьбу, которая неоднородна сама по себе на территории Македонии, с восточно-балканославянским ареалом (термин *зет* для молодого в зап. Македонии и вост. Болгарии, ритуал бритья жениха макед. *бричењето на зетот*, в.-болг. *бръсненки*, *бръсни зет*), а иногда даже с восточно-славянским (ср. ритуал разбивания горшка после брачной ночи и приговор: «Сколько черепков, столько деток», записанный в обл. Охрида, и почти дословно повторяющий соответствующий русский обряд).

Другие черты объединяют ее с западным ареалом: персонаж *старосват*, послесвадебный обряд посещения молодыми родителей невесты — *првиче*, отсутствие свадебного деревца; третьи характеристики — с южным балканославянским поясом (обряд *на дрва / на трески*, почитание очага, наличие свадебного барашка как «участника» действа, греческие заимствования в терминологии: *нунко*, *калитат* 'кум', *армас* 'помолвка', *армасник*, *армасница* 'помолвленные парень и девушка'. И лишь некоторые термины типичны для Македонии, например свадебный хлеб *свака́*, шаферы *побратими*, специально приглашенные участники свадьбы — *законници* и ряд других. Например, в области Струги на роль знаменосца выбирали человека с какими-либо телесными или умственными недугами: бесноватого или блаженного, реже самого бедного в селе, что было связано, видимо, с особой ролью данного маргинального персонажа, отмеченного знаками потустороннего мира: он возглавлял и охранял свадебную процессию.

Среди атрибутов македонской свадьбы известен обрядовый хлеб (*погача*, *коприна*), в который запекалась монета. При дележе следили, какому роду (жениха или невесты) достанется «счастье». Подобные ритуалы у южных славян совершались на Рождество или Новый год, и их появление в свадебном обряде связано с семантикой начала, характерной для данного ритуала, начала новой семьи, новой жизни — зачатия ребенка, создания новых родственных отношений. Во время свадьбы при разделе хлеба заново происходит перераспределение доли и счастья.

Для македонской традиционной свадьбы характерен главный хлеб *свака́*, известный в Кривогаштанской обл. [ФОББ: 359], в р-не Струги, [Мирчевска 1993: 147], в Теово, обл. Велеса [Спировска 1982: 63], в обл. Дебара и обл. Кичево [Икономов 1893: 106); *свеки́* — в р-не Сми-

лево [ФОББ: 475]; *свайкя* — с. Рамне, р-н Охрида [Извори 3: 362]. Термин *плетеница* известен в обл. Берово [Спировска 1982: 63], *големи колачи* (обл. Костура [ФОББ: 463]), *кулак* [Гевгели, Тановић 1927: 182]), *колак* (обл. Малешево [БЕР 2: 547]), *погача* (обл. Скопье [Филиповић 1939: 444]; с. Рамне, обл. Охрида [Извори 3: 362]), *прстенарска погача* (с. Подгорци, обл. Струги [Мирчевска 1993: 147]).

Ряд особенностей акционального кода македонской свадьбы обусловлены экстралингвистическими причинами, в частности, экономическими и социальными. Бедность, недостаток средств часто были причиной появления длительных помолвок, когда молодые по нескольку лет не могли жениться, не собрав необходимой суммы, существования так наз. «ночных» свадеб, которые справляли ночью, тайком, чтобы избежать расходов, а также «неправильных» форм брака, таких как умыкание, кража и бегство невесты в дом жениха по взаимному согласию, известных и другим славянам. В обл. Струшки Дримкол при выборе жениха главным положительным качеством считалось его имущественное положение (*имање*).

В македонской свадьбе в особый ритуал, имеющий различные названия, выделен и торг о выкупе за невесту между отцами молодых — свидетельство существования в прошлом обряда «купли — продажи» невесты. В материалах из зап. Македонии описан случай, когда жених после передачи денег тестю за будущую жену убил ее на глазах у отца. Во время свадебного пира часто среди гостей носили правую туфлю невесты, в которую они клали деньги — дар молодой.

Такое явление как «отходничество» (*гурбет*, *печалбарство*) породило «общегородскую» свадьбу в Галичнике, когда одновременно в один день играли множество свадеб в связи с возвращением мужского населения с заработков. С патриархальным укладом, вероятно, связано и наличие «мужской» (*машка*) и «женской» свадеб, которые параллельно проходили в домах жениха и невесты, и существование «мужской» и «женской» трапезы на свадебном пиру. Подобные явления отмечены в Банате и у исламизированного населения Родоп.

При делении главного свадебного хлеба отцы молодоженов стремились оставить больший кусок в семье жениха, чтобы «счастье осталось в семье жениха» (*да остане срекя у машка страна*). Интересны и факты обручения еще не рожденных детей отцами с целью уважить их дружеские отношения и магические действия, призванные предопределить появление мужского потомства, особо многочисленные в данной традиции. Они связаны с участием мальчиков во многих ритуалах: в приготовлении хлеба и постели для новобрачных, при под-

готовке и перевозе приданого невесты, при встрече молодых в доме свекровью и пр. Молодых кормили хлебом и яблоком, облитыми предварительно молоком кормящей матери младенца мужского пола.

В македонской свадьбе как переходном обряде с особой ясностью выражены различные этапы смены статуса молодых, особенно невесты, что проявляется большей частью в одежде и ее цветовом коде. Во время венчания молодая носила белый костюм с богатой красной вышивкой, украшения в верхней части которого после рождения первого ребенка перекрашивались в темно-красный цвет — знак окончательного перехода в статус женщины-матери. В западной Македонии невесту закрывали особым покрывалом *сокаj*, завершавшимся богатой бахромой — символом плодовитости молодой. Это покрывало женщина не снимала до конца жизни даже отправляясь спать, поскольку существовало поверье, что супруг не должен видеть ее с непокрытой головой и если она снимет убор, то муж умрет.

Вообще бахрома как деталь костюма македонской невесты очень значима и соотносится с обилием украшений, большим числом элементов брачного наряда невесты, богатой вышивкой одежды, которые призваны были не только отвлекать взгляды посторонних от самой девушки, чтобы избежать порчи, но и обеспечить новобрачной богатую, изобильную жизнь. В Пиринской Македонии в р-не Петрича у невесты было особое платье синего цвета (*власеник*), внутренняя поверхность которого сплошь покрыта бахромой, и множество перстней на руках [Извори 3: 307]. Невеста осмыслялась как носительница плодородия и различных благ, что подтверждает и обряд оставления при проводах в доме ее родителей на месте, где сидела невеста, чаши с водой и хлебом, «чтобы богатство не ушло из семьи».

Важно отметить, что наряду с невестой в македонской свадьбе поэтапно маркируется инициация свекрови, переходящей в группу старших женщин, что проявляется в многократном разбивании у ее ног сосудов с водой и сжигании ее головного убора *шамиjа*, который невеста меняет на новый во время подготовки свадьбы, на трапезе после брачной ночи, во время бесчинств и на следующий день после свадьбы.

Что касается ареального распределения свадебной лексики, то следует отметить наличие большого числа заимствований из греческого в южных районах Македонии. Это различные дериваты от глагола *армасувам* ‘совершать помолвку’: *армас* помолвка, *армасник/армасница* помолвленные юноша и девушка, а также обозначения посаженых родителей типа *калитата/калимана* и *нунко*, приданого —

прикиа и пр. (образованные соответственно от аористной основы нгрч. *αρμασα* от *αρμαζω* 'совершать помолвку'; *калитата, кальтата* 'посаженый отец' < от нгрч. *καλη τατα* 'хороший, добрый отец'; *калимана* 'посаженая мать' < от нгрч. *καλη μαν(ν)α* 'хорошая, добрая мать'; *нунас* 'кум', *нуна* 'кума' < от нгрч. *νον(ν)ος* 'крестный отец', *νονα* 'крестная мать' и др.).

Юго-восточные говоры, как уже отмечалось выше, входят в южный балканославянский пояс, продолжающийся в южной Болгарии: Пиринская Македония, зона Родоп и Странджа. Для этого региона характерны наименования помолвки, молодых и сватов, образованных от корня *-глав* (*углава, главници, углавджии*), а также терминов *колак/колач* в качестве основного термина, обозначающего свадебный хлеб (подробнее об этом см. [Узенева 2003]).

Исследуя македонскую традиционную свадьбу и ее терминологию, мы пришли к выводу о том, что территория Македонии делится на несколько регионов, которые характеризует особый тип обрядности (структура, наличие/отсутствие обрядовых персонажей и атрибутов) и особая обрядовая терминология: <u>север</u> (*девер* 'шафер', *кум/кума* 'посаженые родители', *сводници* 'сваты', *байряк* 'знамя') и <u>юг</u> (*побратим* 'шафер', *армасник/армасница* 'помолвленные', *стройник* 'сват', *армас* 'помолвка', *нунко*, 'посаженый отец'), <u>запад</u> (*свршеник/свршеница* 'помолвленные', *свршувачка* 'помолвка', *зет* 'жених', *дулак* 'вуаль невесты', *сваќя* 'хлеб') и <u>восток</u> (*колак* 'хлеб', *превез* 'вуаль', *површстане* 'обряд посещения молодыми родителей невесты после свадьбы'), а также выделение компактных ареалов: юго-западного (наличие элементов свадебного деревца в знамени, *сваќя* 'хлеб', *строј* 'помолвка'), юго-восточного (*просци* 'сваты', *углава* 'помолвка', *на сачки* 'обряд заготовки дров для свадьбы', *фъргувица* 'знамя') и северо-западного (*старејко* 'второе по важности лицо на свадьбе', *просидба* 'помолвка', *првиче* 'обряд посещения молодыми родителей невесты после свадьбы' и др.). См. карту в Приложении.

Традиционно в македонской диалектологии принято деление на западномакедонский диалект с центральными говорами (Скопье — Велес — Битола — Кичево), восточные (юго-восточные, характеризующиеся меньшим внутренним делением) и северные говоры (район Тетово — Куманово — Крива Паланка), границы между которыми определяются пучками фонетических и структурно-грамматических изоглосс ([Видоески 1998: 77–78], там же см. подробную библиографию [Усикова 2003: 14]). В нашем случае терминологическая лексика свадебного обряда актуализирует деление территории на север–юг и

выявляет наличие микроареалов в рамках выделенных областей. Подобные границы между македонскими диалектами (в направлении север–юг, север–юго-запад), выделяемые на основе акцентологических характеристик, указывали Б. Конески [Конески 1949, Конески 1957] и А.М.Селищев [Селищев 1915, Селищев 1929, Селищев 1931].

А.А.Плотникова, рассматривая македонский ареал в контексте южнославянских традиций, пришла к выводу о специфике данного ареала как «перекрестка путей лингвистического и культурного взаимодействия на Балканах», который может входить в различные этнокультурные пояса и большие регионы этнолингвистического ландшафта [Плотникова 2004: 285].

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Адамовски 1998 — *Адамовски Ј.* Семантика и организација простора свадбеног обреда (територија, пунктови, пут) // Кодови. Број 3. Београд, 1998. С. 14–26.

АЕИМ — Архив Етнографического института и музея БАН (София).

АИФ — Архив Института фольклора БАН (София).

Арнаудов 1931 — *Арнаудов М.* Българските сватбени обреди. Етноложки и фолклорни студии. Ч. I. Преглед на обичаите у народа. София, 1931.

БД — Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962–. Т. 1–.

БЕР — Български етимологичен речник. София, 1971–. Т. 1–.

Бернштейн 2000 — *Бернштейн С. Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Бојковска 2003 — *Бојковска С.* Радовишкиот говор. Скопје, 2003.

Бояджиев 1983 — *Бояджиев Т.* Принципи и методи за класификация на българските говори // Исторически развой на българския език. Т. 3. Сравнително езикознание. Диалектология. Превод. Доклади от I Международен конгрес по българистика. София, 23.05–3.06.1981. София, 1983. С. 205–215.

Вакарелска-Чобанска 2005 — *Вакарелска-Чобанска Д.* Речник на самоковския говор. София, 2005.

Вакарелски 1927 — *Вакарелски Хр.* Народни обичаи. Извадки из анкета по сватбените обичаи в България // ИНЕМ. Кн. VII. София, 1927. С. 135–142.

Вакарелски 1927/2 — *Вакарелски Хр.* «Каносване», обичай из българската сватба // ИНЕМ. Год. VII. Кн. I–IV. София, 1927. С. 107–114.

Вакарелски 1928 — *Вакарелски Хр.* Два сватбени народни обичаи. Плетенето. Брънсненето // Златорог. София, 1928. № 2–3, с. 122–125; № 5–6, с. 253–256.

Вакарелски 1934 — *Вакарелски Хр.* Няколко културни и езикови граници в България (Принос към фолклорния атлас на България) // ИБГД. Кн. 2. София, 1934. С. 58–100.

Вакарелски 1935 — Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Ч. 1: Бит. От Хр. Вакарелски // ТСб. Кн. 5. София, 1935.

Вакарелски 1935/2 — *Вакарелски Хр.* Забулване на невестата // ИБГД. Кн. III. София, 1935. С. 96–111.

Вакарелски 1939 — *Вакарелски Хр.* Сватбената песен. Мястото и службата и в сватбения обред // ИНЕМ. Кн. XIII. София, 1939. С. 1–128.

Вакарелски 1961 — *Вакарелски Хр.* Принос към проучване на семейните обичаи на Панагюрско в миналото. Женитбени обичаи // Панагюрище и Панагюрският край в миналото. София, 1961. С. 63–76.

Вакарелски 1962 — *Вакарелски Хр.* Народна сватба // БНТ. Т. 5. Обредни песни. София, 1962. С. 487–501.

Вакарелски 1965 — *Вакарелски Хр.* Старинни елементи в бита и културата на родопските българи мохамедани. София, 1965.

Вакарелски 1977 — *Вакарелски Хр.* Етнография на България. София, 1977.

Вачева, Керемедчиева 2000 — *Вачева-Хотева М., Керемедчиева Сл.* Говорът на село Зарово. Солунско. София, 2000.

Видоески 1998 — *Видоески Б.* Дијалектите на македонскиот јазик. Скопје, 1998. Т. 1; Скопје, 1999. Т. 2; Скопје, 1999. Т. 3.

Войтенко 1991 — *Войтенко А.* Лексический атлас Московской области. М., 1991.

Ганева-Райчева 1990 — *Ганева-Райчева В.* Еньовден. София, 1990.

Гвоздикова, Шаповалова 1978 — *Гвоздикова Л. С., Шаповалова Г. Г.* К проблеме картографирования свадебного обряда // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1978. С. 92–94.

Генчев 1969 — *Генчев Ст.* Етнографски успоредици на ятовата граница в Северна България (към проучването на различията от двете страни на основната българска диалектна граница). Канд. дис. София, 1969.

Геров — *Геров Н.* Речник на българския език. Фототипно издание. Т. 1–5. София, 1975–1978; Т. 6: Допълнение / Събрал, наредил и изтълкувал Т. Панчев. София, 1978.

Грацианская 1988 — *Грацианская Н. Н.* Чехи и словаки // Брак у народов Европы. М., 1988. С. 33–65.

Гребенарова 1990 — *Гребенарова Сл.* Огънят в обредите на българите (етнографско-ареално изследване). Канд. дис. София, 1990.

Гура 1981 — *Гура А. В.* Опыт ареальной характеристики славянского свадебного обряда и его терминологии // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 261–278.

Гълъбов 2000 — *Гълъбов Л.* Лексиката на говора на с. Доброславци, Софийско. София, 2000.

Дзендзелівський 1958 — *Дзендзелівський Й. О.* Лінгвістичний атлас українських народних говорив Закарпатської області УРСР. (Лексика). Ч. 1. Ужгород, 1958.

Добруджа — Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1974.

Душковић 1992 — *Душковић В.* Свадбени обичаи // Гласник етнографског музеја у Београду. Књ. 56. Сјуничко-Пештерска Виросаван. Београд, 1992. С. 351–379.

ЕБ 3 — Етнография на България. Т. 3. Духовна култура. София, 1984.

Иванов 1972 — *Иванов Й.* Български диалектен атлас. Български говори от Егейска Македония. Ч. 1. Драмско, Сярско, Валовишко, Зиляховско. София, 1972.

Ивић 1956 — *Ивић П.* Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје. Нови Сад, 1956.

Иванова 1984 — *Иванова Р.* Българска фолклорна сватба. София, 1984.

ИДР — Идеографический диалектный словарь болгарского языка. Картотека словаря хранится на кафедре современного болгарского языка Софийского ун-та им. св. Кл. Охридского.

Извори 3 — Извори на българската етнография. Т. 3. Етнография на Македония. Материали из архивното наследство. София, 1998.

Икономов 1893 — Сборник от старонародни песни и обичаи в Дебърско и Кичевско (Западна Македония). София, 1893.

Калнынь, Клепикова 1999 — *Калнынь Л. Э., Клепикова Г. П.* Об изучении македонских диалектов как компонента славянского диалектного континуума // Македония: Проблемы истории и культуры. М., 1999.

Капанци — Капанци: бит и култура на старото българско население в Североизточна България. Етнографски и езикови проучвания. София, 1985.

Кариоти — Кариоти (етническа принадлежност и културно-битови черти в края на XIX и началото на XX век). София, 1989.

Клепикова 1999 — *Клепикова Г. П.* Лексика македонских диалектов в контексте Южной Славии // Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте. М., 1999.

Конески 1949 — *Конески Б.* Прилепскиот говор // Годишен зборник на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје. Кн. 2. Скопје, 1949. С. 247–301.

Конески 1957 — *Конески Б.* Материјали за преспанскиот говор од збирката на С. Н. Томик // Македонски јазик. VIII. Скопје, 1957. С. 173–219.

Куркина 1992 — *Куркина Л. В.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.

Манкова 1981 — *Манкова Й.* Традиционни предсватбени и въвеждащи към същинската сватба обреди и обичаи във Врачанско от края на XIX и началото на XX в. // Известия на музеите в Северозападна България. Т. 6. София, 1981. С. 123–145.

Марковиќ 2007 — *М. Марковиќ.* Ароманскиот и македонскиот говор од Охридско-струшкиот регион во балкански контекст. Скопје, 2007.

Марковиќ 2007/2 — Преглед на македонските диалекти (со звучен запис на диалектните текстови) / Подготвил д-р М. Марковиќ. Врз основа на трудовите на академик Божидар Видоески. МАНУ. Центар за ареална лингвистика. Скопје, 2007.

Мирчевска 1993 — *Мирчевска М.* Свадбените обичаи кај македонците во селото Подгорци — Струшко // Етнолог. № 3. Скопје, 1993. С. 145–150.

Младенов 1971 — *Младенов М. Сл.* Из лексиката в Кюстендилско // БД. Кн. 6. София, 1971.

Младенов 1974 — *Младенов М. Сл.* Една лексико-семантична изоглоса в българския език: *чувам* 'слушам' / *чувам* 'пазя, отглеждам' // В памет на професор Стойко Стойков (1912–1969). Езиковедски изследования. София, 1974.

Младенов 1991 — *Младенов М. Сл.* Ареална характеристка на гръцките заемки в българските диалекти // Език и литература. № 3. София, 1991.

Младенова 2001 — *Младенова Д.* Към въпроса за относителната хронология на западно-източното деление на българските диалекти // Изследвания в чест на чл.-кор. Професор Страшимир Димитров. София, 2001. С. 154–184.

НГРС — Новогреческо-русский словарь. М., 1993.

Павловић 1928 — *Павловић Ј. М.* Малешево и Малешевци. Београд, 1928.

Панајотовић 1986 — *Панајотовић Т.* Адети. Живот и обичаји становништва пиротског краја. Пирот, 1986.

Пеев 1999–2004 — *Пеев К.* Речник на македонските говори во југоистониот егејски дел. Т. 1–3. Скопје, 1999–2004.

Петреска 2002 — *Петреска В.* Свадба како обред на премин кај Македонците од брсјачката етнографска целина. Скопје, 2002.

Пирин. — Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1980.

ПК — Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.

Плотникова 1998 — *Плотникова А. А.* Ребенок в свадебном обряде южных славян // Кодови. Број 3. Год. 3. Београд, 1998. С. 27–41.

Плотникова 1999 — *Плотникова А. А.* «Рубашечка» и «постелька» новорожденного // Кодови. Број 4. Год. 4. Београд, 1999. С. 158–167.

Плотникова 2004 — *Плотникова А. А.* Этнолингвистическая география Южной Славии. М., 2004.

Радовановић 1995 — *Радовановић М.* Свадба у Црном Врху крајем XIX и почетком XX века // Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области. Књ. 1. Сврљиг, 1995. С. 134–139.

Радованович 1998 — *Радованович Г.* Хлеб в свадебных обрядах восточной Сербии // ЖСт. № 1 (17). 1998. С. 30–32.

Рељић 1998 — *Рељић Љ.* Обичаји и веровања везани за животни циклус (рођење, брак, смрт) // ГЕМБ. Књ. 62. Београд, 1998. С. 51–68.

Ристески 1961 — *Ристески М.* Селска свадба // Стремеж. Год. VII. Бр. 2. Скопје, 1961. С. 51.

Ристески 1962 — *Ристески М.* Селска свадба IV // Стремеж. Год. VIII. Бр. 1. Скопје, 1962. С. 33.

Ристески 1962/2 — *Ристески М.* Селска свадба V // Стремеж. Год. VIII. Бр. 2. Скопје, 1962. С. 37.

РКС — Рукописный архив Ст. Романского. Архив хранится в библиотеке СУ им. св. Кл. Охридского в Софии.

РОДД — Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век / Под ред. на Ст. Илчев. София, 1974.

Родопи — Родопи. Традиционна народна духовна и социалнонормативна култура. София, 1994. С. 146–190.

Романюк 1983 — *Романюк П. Ф.* Из опыта картографирования свадебного обряда правобережного Полесья // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983. С. 198–205.

РС — Родопски сборник. Т. V. София, 1983.

РСт — Родопски старини или сборник от обичаи, песни, суеверия, предания, пословици, наречия, приказки, памятници, описания, баяния на родопските българи. Кн. III. Пловдив, 1890; Кн. IV. Пловдив, 1892.

Сакар — Етнографско, фолклорно и езиково изследване. София, 2002.

Сакыов 1967 — *Сакъов Д. Н.* Принос към речника на кукушкия говор // БД. Кн. 3. София, 1967.

СбНУ — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (Сборник за народни умотворения и народопис). София, 1889–. Кн. 1–.

СД 2 — Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей редакцией Н. И. Толстого. Т. 2: Д–К (Крошки). М., 1999.

Седакова 1984 — *Седакова И. А.* Лексика и символика святочно-новогодней обрядности болгар. Канд. дисс. М., 1984.

Седакова 1994 — *Седакова И. А.* Балкано-славянские представления о демонах судьбы: трансформации во времени и пространстве // Время в пространстве Балкан. Свидетельства языка. М., 1994. С. 42–63.

Седакова 1998 — *Седакова И. А.* Святочно-новогодняя терминология и обрядность болгар в свете ареалогии. К постановке проблемы // Исследования по славянской диалектологии 5. Актуальные проблемы славянской лингвогеографии. М., 1998. С. 284–312.

Седакова 2007 — *Седакова И. А.* Балканские мотивы в языке и культуре болгар. М., 2007

Селищев 1915 — *Селищев А. М.* Отчет о занятіях в лятнее вакаціонное время 1914 года. Казань, 1915. (Заметки о говорах тетовского округа. С. 1–33).

Селищев 1929 — *Селищев А. М.* Полог и его болгарское население: исторические, этнографические и диалектологические очерки северозападной Македонии. София, 1929. (Говоры Полога. С. 281–437).

Селищев 1931 — *Селищев А. М.* Говоры области Скопья // Македонски преглед. VII. 1. София, 1931. С. 33–82.

Соф. — Софийски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1993.

Спировска 1982 — *Спировска Л.* За некои магиски елементи во свадбените обичаи во Македонија // МФ. Год. XV. Број 29–30. Скопје, 1982. С. 61–64.

Стойков 1963 — *Стойков Ст.* Основното диалектно деление на български език // Славянска диалектология. Т. III: Доклади, съобщения и статии по езикознание. София, 1963.

Стойков 1963/б — *Стойков Ст.* Към диалектния вокализъм на българския език (Преглас на гласна *а* в гласна *е*) // Славистичен сборник (по случай V Международен конгрес на славистите в София). София, 1963. С. 285–296.

Стойков 1993 — *Стойков Ст.* Българска диалектология / Под ред. на М.Младенов. София, 1993.

Тановић 1927 — *Тановић Ст.* Српски народни обичаји у Ђевђелијској кази // СЕЗб. Књ. 40. Живот и обичаи народни. Књ. 16. Београд, 1927.

ТБД — Трудове по българска диалектология. Т. 1–12. София.

Толстая 1989 — *Толстая С. М.* Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. М., 1989. С. 215–229.

Толстой 1995 — *Толстой Н. И.* Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Тодоров 1936 — *Тодоров Цв.* Северозападните български говори // СбНУ. Кн. 41. София, 1936.

Узенева 2003 — *Узенева Е. С.* Терминология народной культуры села Гега в контексте смежных балканских говоров // Материалы Международной научной конференции «Актуальные вопросы балканского языкознания». Санкт-Петербург, 29–30 мая 2001 г. СПб., 2003. С. 120–132.

Усикова 2003 — *Усикова Р. П.* Грамматика македонского литературного языка. М., 2003.

ФББ — Фолклорот и етнологията на Битола и Битолско. Битола, 1981.

Филиповић 1939 — *Филиповић М.* Обичаји и веровања у Скопској котлини // СЕЗб. Књ. 24. Београд, 1939.

Хайтов 1985 —*Хайтов Н.* Миналото на Яворово, Девин, Манастир. Пловдив, 1985.

Целакоски 1984 — *Целакоски Н.* Дебарца. Обреди, магии и обредни песни. Скопје, 1984.

Цепенков 1890 — *Цепенков М. К.* Свадбарски обичаи и песни от Дебърско // СбНУ. Кн. 3. Ч. 1. Народни умотворения. София, 1890. С. 56–69.

Цепенков 1998 — *Цепенков М. К.* Фолклорно наследство в 6 тома. Т. 1. Автобиограифя. Песни. Пословици и характерни изрази. София, 1998.

Цивьян 1993 — *Цивьян Т. В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1993.

Цыхун 1999 — *Цыхун Г. А.* Ареальные аспекты диалектологической концепции Стойко Стойкова // Диалектология и лингвистична география / Съставители: В. Радева, Б. Велчева, Вл. Жобов, Г. Колев. Ред. В. Радева. София, 1999. С. 23–29.

Шапкарев 1968 — *Шапкарев К.* Сборник от български народни умотворения. Т. 1. Обредни песни, народни обичаи. София, 1968.

Шклифов 1977 — *Шклифов Б.* Речник на костурският говор // БД. № 8. София, 1977. С. 201–328.

Шклифов, Шклифова 2003 — *Шклифов Б., Шклифова Е.* Български диалектни текстове от Егейска Македония. София, 2003.

Begovac 1982 — *Begovac R.* Svadbeni običaji podravskih Hrvata u Mađarskoj // Македонски фолклор. Год. XV. Број 29–30. Скопје, 1982. С. 141–148.

Bień-Bielska 1959 — *Bień-Bielska H.* Słownictwo Warmii i Mazur. Wierzenia i obrzędy. Wrocław, 1959.

Gavazzi 1978 — *Gavazzi M.* Vrela i sudbine narodnih tradicija. Zagreb, 1978.

Eckert 1965 — *Eckert R.* Zur slawische Hochzeitsterminologie // Zeitschrift für Slawistik. Bd. X. Hf. 2. 1965. S. 185–211.

Sobolev 1998 — *Sobolev A. N.* Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens. Band 1–3. Marburg; Lahn, 1998. [Scripta Slavica. Band 2, 3, 4].

Vukanović 1986 — *Vukanović T.* Srbi na Kosovu. T. II. Vranje, 1986. S. 259–302.

СОБСТВЕННЫЕ ЗАПИСИ

1. Экспедиция в с. Гега, Петричко, 1998 г. (в рамках проекта Малого диалектологического атласа балканских языков, совместно с доцентом В. Жобовым, Софийский ун-т).
2. Экспедиция в с. Глоговица, Трынско, 1999, 2000 гг.
3. Экспедиция в с. Железна, Чипровци, Монтанско, 2000 г. (совместно с А. А. Плотниковой).
4. Экспедиция в с. Вырбово, Белоградчишко, 2000 г. (при организационной помощи доцента В. Жобова, Софийский ун-т).
5. Экспедиция в с. Врачеш, Ботевградско, 2001 г.
6. Экспедиция в с. Аврен, Крумовградско, 2001 г. (при финансовой и организационной поддержке общества «ДИОС», рук. Т. Спиридонов).
7. Экспедиция в с. Брышлян, Малкотырновско, 2002 г.
8. Экспедиция в г. Берковица, 2002 г.

9. Экспедиция в с. Бырзия, Берковишко, 2002 г.
10. Экспедиция в с. Замфирово, Монтанско, 2003 г.
11. Экспедиция в с. Дылбоки, Старозагорско, 2003 г.
12. Экспедиция в с. Козичино, Бургаско, 2003 г.
13. Экспедиция в с. Боровци, Монтанско, 2003 г.
14. Экспедиция в с. Селановци, Оряховско, 2004 г.
15. Экспедиция в с. Градец, Видинско, 2004 г.
16. Экспедиция в с. Калипетрово, Силистренско, 2004 г.
17. Экспедиция в с. Штрыклево, Русенско, 2005 г.
18. Экспедиция в с. Горна Росица, Габровско, 2005 г.
19. Экспедиция в с. Бело Блато, сербский Банат, 2005 г.
20. Экспедиция в с. Осмар, Шуменско, 2006 г.
21. Экспедиция в с. Тенево, Ямболско, 2007 г.

Р. П. Усикова

Выражение субъективной модальности (предположения, умозаключения, достоверности) в македонском литературном языке в сопоставлении с болгарским и русским

Субъективная модальность интерпретируется нами в традиционном понимании как выражение отношения говорящего к содержанию высказывания. Высказывание может быть информацией о событиях, явлениях или рассуждением (предположением, умозаключением), и говорящий может быть как автором высказывания, так и субъектом предложения.

Субъективная модальность предположения, сомнения, умозаключения, достоверности, отражая индивидуальную языковую картину мира члена языкового социума, в трех сопоставляемых языках может выражаться лексико-синтаксическими средствами, которые семантически в принципе аналогичны. Это вводные слова и предложения типа рус. *кажется*; *он сказал, что...*; *он сказал, чтобы...*; *говорят*; макед. *се чини, изгледа*; *велат*; *тој рече* (*/кажа*) *дека*; *тој рече да...*; болг. *изглежда*; *казват*; *той каза, че*; *той каза да...*; вводные слова: рус. *наверное*; *несомненно*; *может быть*; макед. *веројатно*; *сигурно*; *несомнено*; *можеби*; болг. *вероятно*; *несъмнено*; *сигурно*; *можеби*; наречия: рус. *вовсе* (*не/нет*); макед. *ич не*; болг. *хич не*; модусные частицы: рус. *как бы*; *словно*; *якобы*; макед. *како да, небаре, божем*; болг. *сякаш*; *божем*; и т. п. В устной речи во всех этих языках большую роль при этом играет интонация.

К субъективной оценке и эмоциональной реакции говорящего по отношению к сообщаемому (желание, протест, возможность, необходимость, долженствование) можно отнести и лексико-синтаксические конструкции с модальными глаголами в сочетании с инфинитивом или придаточными предложениями в русском языке и с *да*-конструкциями в македонском и болгарском языках, напр.: рус. *Я хочу тебя видеть*, *Я совсем не хочу* (*не желаю*) *тебя видеть*, *Нужно, чтобы ты пришел*, *Он может прийти*, *Мы должны это сказать*; макед. *Сакам да те видам*, *Ич нејќам да те видам*, *Треба да дојдеш*, *Тој може да дојде*, *Мораме да го кажеме тоа*; болг. *Искам да те видя*, *Аз не искам*

(*не желая, не ща*) *да те видя*, *Трябва да дойдеш*, *Той може да дойде*, *Длъжни сме да кажем това*, и т. п.

В трех рассматриваемых языках субъективная модальность выражается также грамматически глагольными формами так называемых косвенных наклонений. Количество и значения этих наклонений зависят от грамматической структуры конкретного языка, а характеристики — и от теоретического подхода исследователей. В традиционных грамматиках русского, македонского и болгарского языков кроме наклонения, выражающего объективную модальность (индикатив), выделяются наклонения субъективной модальности — повелительное (императив) и сослагательное, выражающее возможность, желательность, обусловленность. В македонском и болгарском языках различные исследователи выделяют также конъюнктив, оптатив, кондиционал и адмиратив.

В отличие от русского языка, в македонском и болгарском вся темпоральная система грамматических форм индикатива зиждется на очень важных семантических признаках 'собственная информация говорящего' / 'чужая информация' и 'достоверность+/–' / 'недостоверность+/–', тесно связанных с признаками 'наблюдаемость+/–' / 'ненаблюдаемость+/–', благодаря которым говорящий дает собственную оценку происходящему в действительности. Так, при повествовании о прошедших реальных событиях говорящий обычно употребляет аорист и имперфект, но только если эти события достоверны и наблюдались им самим ('достоверность+', 'наблюдаемость+'). Для презенса в значении конкретного актуального настоящего также обязательны эти семантические признаки. При употреблении презенса в значении неактуального действия (исторического настоящего или обычного, постоянно повторяющегося действия) признаки наблюдаемости и достоверности нейтрализованы: 'наблюдаемость–/+', 'достоверность–/+', но 'недостоверность–'). Поэтому формы презенса могут употребляться транспозитивно в повествовании о прошедших событиях. Признаки наблюдаемости и достоверности могут быть имплицитно выражены или нейтральны во временах результатива, будущего времени и будущего в прошедшем, находящихся на разной степени периферии модально-темпорального поля индикатива. Действия, о которых говорящий узнает из косвенных источников (чужая информация), оцененные говорящим как сомнительно достоверные или же недостоверные, выражаются в македонском и болгарском языках модально-темпоральными формами так называемого пересказа. Как будет показано далее, оппозиция форм прямого высказывания и пересказа проявляется не

только в темпоральных формах индикатива (объективного наклонения), но и в формах наклонений субъективной модальности.

Рассмотрим сначала, какие субъективные модальные наклонения есть в македонском и болгарском языках, поскольку различные исследователи не имеют единого мнения по этой проблеме.

I. В частности, это касается конъюнктива и кондиционала. Под конъюнктивом и кондиционалом, как сообщает ЛЭС, понимаются формы, которые не локализуют действие во времени и не имеют собственных модальных значений; лишь конъюнктив в простых предложениях якобы сохраняет значения оптатива (возможности и желания). Считается, что в болгарском и македонском языках конъюнктив выражен так называемыми *да*-конструкциями. Покажем значения *да*-конструкций в разных типах употребления на примере македонского языка, что в принципе совпадает с болгарским языком. *Да*-конструкции имеют показатели лица и числа, они состоят из сочетания частицы/союза *да* с личной/безличной формой глагола в презенсе, имперфекте и временах результатива.

Мы различаем зависимый и независимый типы употребления *да*-конструкции.

1. В независимом типе употребления конструкции с *да* в македонском и болгарском языках чаще всего выступают в синтаксической функции сказуемого; при этом *да*-конструкции могут выражать различные модальные значения:

а) модальные значения **оптатива** (желательного наклонения), напр. макед.: *Да живее слободата!*, болг. *Да живее свободата!* 'Да здравствует свобода!', в том числе в клятвах, проклятиях и заклинаниях, при выражении пожелания в совершении действия: макед. *Да му се невиди!* 'Чтоб ему пусто было!'; *Сега би да зине земјава да ме голтне!* 'Пусть земля разверзнется сейчас, чтоб мне провалиться!' (В.Ильоски);

б) аналитическую форму **императива**: макед. *Да дојдеш!*, болг. *Да дойдеш!* 'Приходи!/Приди!'; макед. и болг. *Да не му кажеш!* 'Не вздумай сказать ему! / Не говори ему!'.

При переводе прямой речи в косвенную формы императива в придаточном изъяснительном (дополнительном) предложении преобразуются в *да*-конструкцию с презенсом, напр.: макед. *Таа ми рече: Дојди! — Таа ми рече да дојдам*, болг. *Тя ми каза: Ела! — Тя ми каза да дойда* 'Она мне сказала: Приходи! — Она сказала, чтобы я пришел'. Императивная конструкция *да* + презенс в косвенной речи способна выступать в значении пересказа, напр.: макед. (*Тој рече*) *да си*

му направила кафе '(Он сказал,) чтобы ты, мол, ему сварила кофе' (М. Фотев).

в) В модальных значениях просьбы, побуждения к действию (близких к оптативному), а также в значениях долженствования при ирреальном условии конструкции с *да* используются вместо императива и условного наклонения, напр.: макед. *Да ја испееме оваа песна!*, болг. *Да испеем тая песен!* 'Споем-ка эту песню!' (= 'Спеть бы эту песню!'), ср.: макед. *Да ја испееш оваа песна! = Испеј ја оваа песна!* 'Спой эту песню!'; *Да сум ја слушнел!* (*/ Ако сум ја слушнел!*) 'Если бы мне ее услышать!'; *Да не си му кажал!* (*/ Немој да му кажеш!*), болг. *Да не си му казал!* (*/ Недей да му кажеш!*) 'Смотри, не проговорись ему!'; макед. *Да читаше повеќе за испит* (= *Требаше да чита*), болг. *Да четеше повече за испит!* (= *Трябваше да чете*) 'Если б он читал больше (= Он должен был больше читать) к экзаменам'. При этом в *да*-конструкции возможна, как видим, форма перфекта/пересказа (значения здесь очень близки).

г) В вопросительных и вопросительно-восклицательных предложениях *да*-конструкции в презенсе используются при выражении **неуверенного предположения, удивления, возможности:** макед. *Што да правиме?*, болг. *Какво да правим?* 'Что нам делать?'; макед. *Што е ова?! Да немаш пари барем за леб?!*, болг. *Какво е това?! Да нямаш пари поне за хляб?!* 'Да что же это такое?! Не иметь денег хотя бы на хлеб?!'.

д) В отличие от других глагольных модально-темпоральных форм конструкции с *да* (обычно с презенсом), употребляясь самостоятельно в значении **названия действия**, могут выражать синтаксические функции именных членов предложения, выступая при этом синонимом именных глагольных форм или других частей речи. (При иной трактовке *да*-конструкции могут в данном случае рассматриваться как употребление в роли сказуемого придаточного предложения). Напр.: подлежащее (или подлежащное/изъяснительное придаточное): макед. *Да не одговарам на прашањево е мое право* (= *Неодговарањето на прашањево е мое право*), болг. *Да не отговарям на въпроса е мое право* 'Не отвечать на этот вопрос — мое право'; определение (или определительное придаточное): макед. *Твојата способност да работиш толку ме чуди* (= *работна способност*) 'Твоя способность столько работать меня удивляет'; предикативное определение (или изъяснительное придаточное): *Често ја гледав да се насмевнува* (= *ја гледав насмеана*) 'Я часто видел ее улыбающейся'; прямое дополнение (или же дополнительное / изъяснительное придаточное): *Му дојде да вика*

и солзи да рони 'Ему захотелось (букв. 'подступило') кричать и лить слезы' (Б. Конески). При назывании действия в *да*-конструкциях модальность не выражена.

2. К зависимому типу употребления *да*-конструкций в македонском и болгарском языках относятся:

а) составные глагольные сказуемые, состоящие из сочетания двух глаголов. Второй из них — это *да*-конструкция с презенсом основного смыслового глагола, называющая действие, а показателем модально-темпорального значения такого сказуемого служит первый глагол в любой модально-темпоральной форме (макед. *тој започна да чита*, болг. *той започна да чете* 'Он начал читать'). При этом субъект действия обеих частей составного глагольного сказуемого обязательно один и тот же, что выражается согласованием форм лица и числа. В русском языке подобным глагольным сочетаниям соответствуют сложные глагольные сказуемые с инфинитивом.

б) Морфема (частица) *да* входит составной частью в грамматические показатели некоторых модально-темпоральных форм, выступающих в функции простого глагольного сказуемого — отрицательных форм будущего времени и будущего в прошедшем (макед. *нема да дојде, немаше да дојде*, болг. *няма да дойде, нямаше да дойде*).

в) В условных придаточных предложениях *да*-конструкция (*да* — союз) выступает в функции сказуемого: в условных придаточных с ирреальным условием употребляется конструкция *да*+имперфект (возможна также форма пересказывательного или же предположительного имперфекта) в значении **кондиционала**, напр.: макед. *Да знаев за тоа, немаше да дојдам*, болг. *Да знаех за това, нямаше да дойда* 'Знал бы об этом — не пришел бы'; макед. *Да беше поканет, ќе дојдеше*, болг. *Да беше поканен, щеше да дойде* 'Если бы он был приглашен, то пришел бы'; в предположительном наклонении или пересказе: макед. *Да го поканеле, ќе дојдел* 'Возможно, если бы его пригласили, он бы пришел / Говорят, если бы его пригласили, он бы пришел'.

г) В изъяснительных придаточных с союзом *да* сказуемое обычно выражено презенсом и может выражать желание, волю субъекта главного предложения, или же просто название действия: *Ве молиме да дојдете* 'Мы просим Вас прийти'; *Помисли да си оди* 'Он подумал (о том, чтобы) уйти'; *Не е во ред да се доаѓа доцна* 'Нехорошо приходить поздно'.

д) Когда перед *да* стоит предлог с непространственным значением, неопределенное местоимение или другой союз, зависимые предложения со сказуемым в *да*-конструкции (обычно с презенсом) выра-

жают различные обстоятельственные отношения — это придаточные цели, сравнения, времени, уступительные, образа действия, где *да*-конструкция, по мнению некоторых исследователей, выражает значения **конъюнктива**. Мы полагаем, что здесь *да*-конструкция не имеет собственного модального значения, а лишь называет действие в презенсе, указывая на лицо и число субъекта, напр. макед.: *Ќе ти го раскаже за да чуеш интересен расказ* 'Он тебе об этом расскажет, чтобы ты услышал интересный рассказ'; *Место да излезат тие си останаа* 'Вместо того, чтобы уйти, они остались'; *Тие си отишле пред да дојдам јас* 'Они ушли прежде, чем пришел я'. В редких случаях возможно выражение субъективной модальности — пересказывательная/предположительная форма презенса: *Тенковите одеа во Дебарца за да гонеле наши војски* 'Танки шли в Дебарцу, чтобы (вероятно / будто бы) прогнать наши войска'.

В русском языке македонским (и болгарским) зависимым *да*-конструкциям соответствуют придаточные предложения различных типов, деепричастные и инфинитивные обороты.

Итак, *да*-конструкции в македонском и болгарском языках могут выражать различные субъективные модальные значения — оптатива, кондиционала, предположения, неуверенности, сомнения, умозаключения — и указывать при этом на отношение говорящего к достоверности / недостоверности сообщаемой информации о действии. В некоторых типах употребления *да*-конструкции могут быть нейтральны в отношении модальности, лишь называя действие с указанием на лицо и число. Таким образом, *да*-конструкции по своим очень разнообразным семантическим признакам и типам употребления не вписываются в четкие противопоставления другим наклонениям.

II. В македонском и болгарском языках, в отличие от русского, модально-темпоральная система глагола позволяет грамматически выразить больше различных значений субъективной модальности. Так, в македонском и болгарском языках в индикативе есть темпоральные формы будущего времени и будущего в прошедшем, сходные по семантике и месте в модально-темпоральной системе, но несколько различающиеся формально. Будущее время в обоих языках выражается частицей *ќе* (в макед.) и *ще* (в болг.), восходящей к глаголу 'хотеть', в сочетании с презенсом, а будущее в прошедшем в македонском выражается глагольной частицей *ќе* + имперфект, но в болгарском — имперфектом вспомогательного глагола, восходящего к 'хотеть' (*щях*, *щеше*, *щеше*, *щяхме*, *щяхте*, *щяха*) + *да* + презенс глагола. Будущее

время и будущее в прошедшем в македонском и болгарском означают действия, которые еще не успели произойти в реальности, для них существенны темпоральный признак ‘следование по отношению к ориентационному моменту в настоящем или в прошлом’, а также модальные семантические признаки ‘долженствование+/–’, ‘намерение субъекта совершить действие+/–’, ‘потенциальность+/–’ и ‘неосуществленность+/–’. Особенно модальные признаки выражены в семантике будущего в прошедшем: если действие должно было совершиться после прошедшего момента, о котором идет речь, то это еще не означает, что оно осуществилось, либо даже известно, что действие, предстоящее по отношению к прошедшему ориентационному моменту, так и не было реализовано. Благодаря модальным признакам потенциальности, долженствования, неосуществленности действия, в сложноподчиненных условных предложениях формы будущего времени и будущего в прошедшем часто выступают в **кондициональном значении**: отнесенность к прошедшему моменту подчеркивает прежде всего ирреальность несостоявшегося действия, а отнесенность к не-прошедшему моменту указывает на планируемость действия, которое может состояться при исполнении некоторого условия, или на потенциально-гипотетическую возможность совершения действия. Признак наблюдаемости в этих формах не релевантен, но признак достоверности+/– с точки зрения говорящего существен, поскольку различаются пересказывательные и непересказывательные формы.

Примеры: а) неосуществленность действия относительно ориентационного момента: макед. Ќе *паднев*, болг. *Щях да падна* ‘Я чуть было не упал’; макед. *Вчера ќе одевме на кино*; болг. *Вчера щяхме да отидем на кино* ‘Вчера мы собирались (должны были) пойти в кино’. Эти значения свойственны и формам будущего времени: макед. *Ќе дојдам*, болг. *Ще дойда* ‘Я приду (намереваюсь прийти)’; б) ирреальное условие при твердом намерении субъекта совершить действие (будущее в прошедшем): макед. *Ако ме поканевте, ќе дојдев*, болг. *Ако ме поканехте, щях да дойда* ‘Если бы вы меня пригласили, я (точно, обязательно) бы пришел’; макед. *ќе дојдел*, болг. *щял да дойде* ‘говорят, он собирался прийти’ (форма пересказа будущего времени или будущего в прошедшем в указанных модально-темпоральных значениях).

Возможность, вероятность действия, иначе говоря потенциальное желание субъекта совершить действие независимо от ориентационного момента во времени выражается **условным сослагательным наклонением (потенциалом)**: макед. *Ако ме поканевте, би дошол*, болг.

Ако ме поканехте бих дошел 'Если бы вы меня пригласили, я бы (вероятно) пришел', макед. *Ако ме поканите, би дошол*, болг. *Ако ме поканите, бих дошел* 'Если вы меня пригласите, я бы (вероятно) пришел'. (В македонском сослагательное наклонение образуется частицей *би* + *-л*-форма глагола, в болгарском — спрягаемая форма вспомогательного глагола *бих*, *би* и т. д. + аористная *-л*-форма смыслового глагола.)

В отличие от форм потенциала, которые всегда указывают на ирреальную условность независимо от ориентационного момента во времени, формы будущего в прошедшем, находящиеся на периферии ФСП темпоральности, часто одновременно могут выражать как темпоральное (индикатив), так и субъективное модальное значение (кондиционал). Тем самым формы будущих времен в македонском и болгарском языках, находясь на периферии функционально-семантического поля темпоральности, развивают в современном языке второе основное, — уже модальное, — значение **кондиционала**, однако между этими двумя основными значениями форм с *ќе/ще/щях* есть ряд переходных значений, что свидетельствует о семантической амбивалентности этих форм, характерной для балканских языков.

III. Выражение субъективных модальных значений предположения, вероятности, сомнения (предположительного наклонения), удивления от неожиданного для говорящего результата действия (адмиратив), а также выражение модальности пересказа (достоверность–/недостоверность+) также развиваются в македонском и болгарском языках на базе форм темпорального ФСП индикатива.

1. В македонском и болгарском языках в значениях предположительности, сомнения говорящего по отношению к действию могут употребляться формы перфекта типа макед. *сум* + *-л*-форма:

а) При выражении умозаключения и предположения о прошедших действиях возможны формы перфекта 2-го, 3-го л. (редко — 1-го) ед. и мн. ч., иногда сопровождаемые модальными словами: макед. *сигурно* 'наверное', *можеби* 'может быть', *веројатно* 'вероятно', *изгледа* 'видимо', *значи* 'значит' и т. п., напр.: *Вратата е заклучена, веројатно убиецот влегол во собава низ прозорот* 'Дверь заперта, вероятно, убийца проник в комнату через окно'; *Ти си го скршил шишето — никој друг!* 'Это ты разбил бутылку — никто другой!'; болг.: *Умрял е от пиянството и това е* 'Он умер от пьянства, не иначе'. В данных примерах перфектные и другие результативные темпоральные формы, содержащие морфему *-л-*, выражают результат прошедшего действия

с признаками 'наблюдаемость–', 'предположение+', 'умозаключение+', показывающими собственное отношение говорящего к действию, имевшему место в прошлом. Здесь одновременно выражены значения перфекта как темпоральной формы результатива, а также модальные значения предположения, сомнения, умозаключения говорящего или пересказа о сомнении, предположении, что свидетельствует об амбивалентности форм, находящихся на периферии ФСП темпоральности / результативности и ФСП субъективной модальности.

б) В македонском языке собственные предположения говорящего о прошедших событиях могут быть выражены также частицами *ќе + да* в сочетании с формой имперфекта несов. в. или аориста сов. в., напр.: *Господии, колку сум лежел, ќе да поминаа петнаесет дена оттогаш, а може и повеќе* 'Господи, сколько же я лежал, с того времени прошло, наверное, дней пятнадцать, а может, и больше' (М. Фотев).

в) Возможны также предположительные формы, выраженные сочетанием частиц *ќе+да* с формами результатива типа *има + -но/-то*, или с перифразой *сум+ -н/-т*, напр.: *При сè што не му скинал куршумот, пак нешто ќе да му се имаше расипано* 'При всем том, что пуля не разорвалась, все-таки что-то у него, кажется, сломалось' (П. Андреевски); *Возот ќе да е дојден* 'Поезд, должно быть, прибыл' (В. Малески).

г) Предположение и умозаключение о прошедшем ненаблюдаемом событии может быть выражено в македонском языке и сочетанием частиц *ќе+да* с формой перфекта с *-л*-формой, выступающей в значении результатива или же в значении пересказа (иногда эти значения столь сближаются, что их трудно разграничить друг от друга), напр.: *Бојан ќе да си ја имал мувата на капата, тоа е. Стравот не доаѓа туку така. Тој носел некои тајни работи, некои оружја ќе да носел, тоа е стравот* 'У Бояна, видать, рыльце-то в пушку, да. Страх сам по себе не приходит. Наверное, он носил какие-то тайные вещи, оружие какое-то носил, отсюда и страх' (В. Малески); *Возот ќе да дошол* 'Говорят, что поезд, кажется, уже прибыл' (В.Малески) (в последнем примере у предположительного наклонения выражены признаки 'предположение+', 'ненаблюдаемость+', 'достоверность–/+', 'недостоверность–/+', поэтому употреблена форма пересказа этого наклонения).

д) Предположение, неуверенность в отношении события в настоящем или будущем в македонском языке может выражаться с помощью формы будущего времени (о настоящем) или же сочетания частиц *ќе+да* с формой презенса глагола (о будущем или настоящем), напр.: *Колку години ќе има ова момче? — Ќе има околу осумнаесет* 'Сколько лет (будет) этому парню? — (Должно быть) около восемна-

дцати'; *Ако ги дадеш парите, ќе да може да се нареди некако работата* 'Если дашь деньги, то дело, может быть, и пойдет как-нибудь' (К. Чашуле); *Доне првпат слуша за Ѓаково, па припрашува: «Во Ѓаково? Што ќе да е тоа?»* 'Доне впервые слышит о Дьякове и переспрашивает: «В Дьяково? А что это такое?»' (Т. Георгиевски).

Итак, в македонском литературном языке есть **предположительное наклонение** со своими специальными формами, выражающее прошедшие, настоящие или будущие действия ('наблюдаемость–'), о совершении которых говорящий сообщает на основании собственных умозаключений и предположений. Кроме использования форм перфекта с *-л*-формой для прошедших действий это наклонение имеет специфические формы *ќе да* + verbum finitum. В [Болгарской грамматике 1999] для этой модальной категории принят термин «умозаключительное наклонение» или конклюзив. Но если в болгарском языке формальным показателем этого наклонения служит имперфектное причастие на *-л* в сочетании с разными формами вспомогательного глагола *съм* (в 3 л. ед. и мн. ч. глагол-связка сохраняется и указывает на темпоральное значение: *правел е*, *бил е правел*, *ще е правел*, *щял е да прави*, *щял е да е правел* и т. д.), то в македонском это невозможно, так как глаголы несов. вида вообще используют имперфектную *-л*-форму без глагола-связки в 3 л. при выражении темпоральной категории результатива (*правел*, *беше правел*, *ќе правел* и т. д.). Заметим, что в болгарском также иногда возможны формы предположительного наклонения с морфемами *ще* + *да* (*ще да е пишел*, *ще да е писал*).

Мы полагаем, что в македонском и болгарском это одно из субъективных наклонений, поскольку эти формы выражают собственное отношение говорящего к прошедшему, настоящему или будущему действию. Формы предположительного наклонения, особенно с *ќе да*, могут иметь разновидность в пересказе (примеры см. выше). Лексико-синтаксическим синонимом грамматических форм со *ќе да* / *ще да* является конструкция с безличным модальным глаголом *треба*/*трябва* (макед. *треба да правел*, (*ќе да*) *требало да прави*, болг. *трябвало е да е правел*).

IV. Для субъективной модальной категории пересказа, выражающей в македонском и болгарском языках модальное отношение говорящего к достоверности высказываемой им информации, релевантно, что говорящий передает не свою собственную, а чужую информацию о действии, информацию, за истинность которой он не ручается, дистанцируется от нее, не хочет нести ответственности за ее достоверность

(или не может, потому что, например, не видел, как всё происходило), или же просто говорящий подчеркивает, что передает информацию, почерпнутую из косвенных источников. При этом говорящий может выразить различное отношение к такой информации — нейтрально-доверчивое или же недоверчивое, неодобрительное. Информация с чужих слов, к которой говорящий относится недоверчиво, неодобрительно, как к недостоверной, может сообщать о событиях, которые он наблюдал ('наблюдаемость+/–'), однако пересказывательными формами говорящий подчеркивает не свое собственное, а чужое восприятие действительности, выражая при этом собственное неодобрительное или недоверчивое отношение к чужой информации.

Грамматическая категория глагольных форм пересказа по-разному называется в научных исследованиях — имперцептив, аудитив, ренарратив, пересказывательные формы и т. д. Главное в теоретическом подходе к этой модальной системе глагольных форм — понимание, что это не наклонение, а особый тип глагольной модальности. Весьма удачным названием этой категории нам кажется термин «вид высказывания», предлагаемый в [Болгарской грамматике 1999].

При пересказе в македонском и болгарском языках регулярно используются особые, специальные формы времен и наклонений. В отличие от форм пересказа непересказывательные модально-темпоральные глагольные формы индикатива маркированы по модальному признаку 'достоверность+' или нейтральны к нему, формы субъективных наклонений маркированы по признаку 'достоверность–/+', пересказывательные модально-темпоральные формы индикатива и субъективных наклонений маркированы по признаку 'достоверность–' или же 'недостоверность+'.

Имеется некоторая зависимость между семантикой модально-темпоральных форм и их способностью выступать в формах пересказывательной разновидности. Чаще всего специальные формы пересказа употребляются при выражении значений повествовательных прошедших времен аориста и имперфекта, для которых важен системный темпорально-модальный признак 'наблюдаемость+'; если же говорящий сам не наблюдал прошедшего действия, а знает о нем лишь из другого источника, то употребляются пересказывательные формы аориста и имперфекта, совпадающие в македонском языке с перфектом типа *сум* + *-л*-форма, для которого свойственно употребление не при повествовании о прошедших событиях, а лишь выделение из повествования актуального конкретного или обобщенного результата прошедшего действия. При пересказе чужой информации о действиях в

настоящем или будущем существенны признаки ‘наблюдаемость–/+’, ‘ненаблюдаемость+’, ‘достоверность–’, ‘недостоверность+’. Эти же модальные признаки существенны для пересказывательных форм результатива с *имам* + причастие на *-но/-то*, для будущего времени в прошедшем как в темпоральном, так и в модальном значении кондиционала, для аналитических форм императива и оптатива с морфемой *да*, для форм предположительного наклонения с *ќе да*. При выражении нейтрально-доверчивого пересказа (‘достоверность–/+’, ‘недостоверность–’) настоящее время, будущее время и *да*-конструкции в модальных значениях обычно остаются в непересказывательной разновидности, так как они нейтральны к признаку ‘наблюдаемость/ненаблюдаемость’ действия. Поэтому в объективном рассказе о не наблюдавшихся говорящим прошлых событиях часто употребляются транспозитивно темпоральные непересказывательные формы настоящего и будущего (так наз. настоящего и будущего исторического), снимающие противопоставление по признаку ‘достоверность–/+’.

Таким образом, специальные пересказывательные модально-темпоральные формы образуются у тех форм времен индикатива и субъективных наклонений, которые при прямом высказывании не содержат *-л*-форму, поскольку основным показателем пересказывательных модально-темпоральных форм в македонском и болгарском языках является морфема *–л-*, к которой добавляются морфологические показатели времен и наклонений (тематические гласные основ аориста и имперфекта, морфемы *ќе/ще*, *да* и т. п.).

Темпоральное значение времен пересказывательной разновидности такое же, как и у соответствующих «обычных» темпоральных форм индикатива. Однако ряд темпоральных семантических признаков в пересказе обобщен, и ориентационный момент у них — один, это момент речи. Поэтому число темпоральных форм в пересказе меньше. Так, в македонском языке в пересказе различаются только три темпоральные формы, выражающие а) одновременность с ориентационным моментом (пересказывательное настоящее и пересказывательный имперфект — одна общая форма), б) предшествие по отношению к ориентационному моменту (пересказывательный аорист), в) следование по отношению к ориентационному моменту (одна общая форма пересказывательного будущего и будущего в прошедшем). В македонском языке пересказывательные формы результатива имеются только у форм с *има* + причастие на *-но/-то* (одна общая форма для перфекта и плюсквамперфекта) и у перифрастических конструкций типа *сум* + причастие на *-н/-т*. У перфекта с формой на *-л* и потенциала с *би* +

форма на *-л* не различаются формы пересказа/непересказа. В болгарском языке форма перфекта отличается от пересказывательных форм наличием глагола-связки в 3 л. ед и мн. ч., всегда отсутствующей в македонском языке. В македонском и болгарском языках у императива пересказываются лишь описательные формы с *нека* и *да.*

Рассмотрим основные типы реализации значений пересказывательных форм в македонском языке. Принципиальных различий с болгарским здесь нет.

1. а) При нейтрально-доверчивом пересказе (признаки 'ненаблюдаемость+', 'достоверность–/+'), возможны пересказывательные формы 3-го л. (реже — 2-го) ед. ч. и мн. ч. прошедших времен — аориста, имперфекта, перфекта типа *има+ -но/-то*, а также будущего в прошедшем. Примеры: *Словените дошле на Балканот околу VI век* 'Славяне пришли на Балканы приблизительно в VI в.'; *А кога се спуштила ноќта, самовилите од сите македонски планини летнале на бојното поле... Овде останале само езерските самовили, запрегнале бели ракави и почнале да градат голем светол дворец* 'А когда спустилась ночь, русалки со всех македонских гор полетели на поле боя... Здесь остались только озерные русалки, они засучили белые рукава и начали строить большой светлый дворец' (И. Точко); *Таа се ограничи на неколку кратки и суви одговори. Ја викале Донка... Мажот отишол в град, отаде в туѓина, таму се преженил, заборавил на неа. Не се премажила, кај нив тоа било грев, ткаела туѓо, аргатувала кај другите сиромаси, го растела синот, дека ќе ѝ донесе одмена и одмора, но тој отишол војник и не се врати веќе в село* 'Она ограничилась несколькими краткими и сухими ответами. Ее звали Донка... Муж уехал в город, оттуда в чужие края, там снова женился, забыл ее. После этого она не вышла больше замуж, у них это грех, ткала на чужих, батрачила, растила сына в надежде на поддержку, которую он ей потом окажет, но сын ушел в солдаты и не вернулся в село' (К. Чашуле).

б) При недоверчиво-неодобрительном пересказе обязательно выражено значение недостоверности ('недостоверность+'): говорящий, пересказывая чужие слова, выражает свое недоверчивое или же неодобрительное отношение к действию (совершение которого он мог наблюдать или не наблюдал) вплоть до его отрицания при формально утвердительной форме, напр. макед.: *Ти си стар! — Е, јас сум бил стар!* 'Ты старый! — Это я-то старый!'; *Тој не го знае тоа. — Тој не го знаел тоа!* ' Он этого не знает. — Он не знает (как бы не так)!'; *Тој рекол да не си доаѓала* 'Он, говорят, сказал, чтобы ты, дескать, не приходила'. При этом возможны пересказывательные формы 1, 2, 3 л.

ед. и мн. ч. всех темпоральных форм, в том числе и настоящего, и будущего. Признаки недостоверности и ненаблюдаемости существенны и при пересказе предположительного наклонения (оппозиция пересказ/непересказ проявляется в македонском языке у форм предположения, сомнения с *ќе да* + аорист, имперфект, результатив с *има* + *-но/-то* или с перифразой *сум* + причастие на *-н/-т*). Следует заметить, что в речи носителей македонского языка наличие признака недостоверности ('недостоверность+') и недоверчивости играет решающую роль при обязательном использовании пересказывательных форм.

В отличие от болгарского языка в македонском нет форм так называемого усиленного недоверчивого пересказа с пересказывательной формой вспомогательного глагола типа *той бил дошъл* 'он якобы пришел'. Здесь мы не будем анализировать различные научные интерпретации значения подобных болгарских форм.

V. К категории субъективной модальности семантически близки глагольные формы, выражающие удивление говорящего от неожиданности результата прошедшего действия. Это так называемый **адмиратив**, передаваемый с македонском языке формами перфекта (пересказа) в 1, 2, 3 л. ед. и мн. ч., сопровождаемыми специфической интонацией удивления, напр. макед.: *Боже, сум го заборавила клучот!* 'Господи, я ключ забыла!'. *Па надвор не било ладно!* 'А на улице (оказывается) не холодно!'(настоящее время, форма пересказа); *Не знаев дека ќе имало толку пари* 'Я не знал, что будет столько денег' (будущее пересказа; здесь выражено и значение пересказа, и недоверчивого удивления по поводу услышанного). В адмиративе существенны семантические признаки 'конкретный актуальный результат+', 'наблюдаемость действия–', экспрессивный признак 'удивление+'. В болгарском языке для выражения удивления говорящего от неожиданности результата прошедшего действия используются формы пересказа (= перфекту без глагола-связки в 3 л.): *Ами то валяло!* 'Ой, оказывается, дождик шел!', *Та ти си бил голям дявол!* 'А ты, оказывается, большой хитрец!', хотя здесь выражено собственное экспрессивное мнение говорящего. Скорее всего, речь идет о периферии модально-темпорального поля пересказа, где пересказывательные формы на *-л* в македонском и в болгарском употребляются в транспозиции, а модальное значение удивления результатом прошедшего действия передается главным образом интонацией (устно) и соответствующими знаками препинания (в письменной речи). Удивление от процесса действия, одновременного моменту речи, может передаваться непересказывательной

формой настоящего времени и, главное, — интонацией удивления, напр. макед. *Ами врне!* / болг. *Ами вали!* 'Ну и дождь!'.

VI. Использование модальных форм достоверности/недостоверности специфически проявляется в функциональных литературных стилях.

Так, в болгарском и македонском фольклоре повествование о событиях прошлого ведется обычно в пересказывательных формах аориста и имперфекта. В художественной литературе автор (рассказчик) для живости и правдивости повествования берет на себя функции «всевидящего свидетеля событий» и употребляет непересказывательные формы аориста и имперфекта. Но в речи персонажей модально-темпоральные формы времен, наклонений и вида высказывания употребляются в соответствии с системными нормами их употребления.

В публицистическом стиле пересказывательные формы употребляются довольно часто, поскольку автор-журналист четко осознает, когда он может нести ответственность за информацию как достоверную (непересказывательные модально-темпоральные формы), а если он не уверен в достоверности информации или она, по его мнению, недостоверна, то употребляются пересказывательные формы не только о прошедших событиях, но и о настоящих и будущих.

В научном функциональном стиле возможны и пересказывательные, и непересказывательные модально-темпоральные формы, но их противопоставление часто нейтрализуется в помощью форм настоящего времени в транспозиции.

В административно-деловом стиле возможны любые модально-темпоральные формы в их прямом значении.

В заключение сформулируем наиболее важные выводы о выражении субъективной модальности в македонском литературном языке в сопоставлении с болгарским и русским.

1. В македонском и болгарском языках предположение и умозаключение, в отличие от русского языка, выражается специальными формами субъективного предположительного наклонения (терминологически: предположительное или умозаключительное наклонение, конклюзив).

2. Субъективная модальность достоверности/недостоверности пронизывает всю модально-темпоральную систему глагола в македонском и болгарском языках — времена индикатива и субъективные наклонения оптатив, кондиционал, конклюзив.

3. Различия в модально-темпоральной системе македонского и болгарского языков проявляются на уровне средств выражения (глав-

ные причины — четкая взаимозависимость в македонском между глагольным видом и временем, а также отсутствие глагола-связки в 3 л. у форм перфекта). Поэтому в македонском грамматически недоверчивость ('недостоверность+') выражена лишь имплицитно.

4. Система субъективных модальных форм в македонском языке возникла на базе периферийных значений ФСП индикативных темпоральных форм. Поэтому во многих случаях, особенно при омонимичности модальных и темпоральных форм, возникает семантичная амбивалентность, которую македонский литературный язык успешно устраняет с помощью кодификации диалектных темпоральных форм (например, форма перфекта типа *сум* + *-л*-форма, перегруженная многими модальными значениями, получила синоним в темпоральном значении — результатив типа *има* + причастие на *-но/-то*, способный выступать в пересказывательной разновидности). Для болгарского языка также свойственна в принципе амбивалентность значений, но поскольку формально его модально-темпоральная система несколько отличается от македонской, амбивалентность может проявляться в иных случаях.

ЛИТЕРАТУРА

Болгарская грамматика 1999 — *Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й.* Съвременен български език / Под редакцията на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. София, 1999.

Велковска 1998 — *Велковска С.* Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден јазик. Скопје, 1998.

Верижникова 1998 — *Верижникова Е.* Формите *ќе* + *да* + вербум финитум во македонскиот литературен јазик // Мјаз. XLV–XLVII. 1994–1996. Скопје, 1998.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990.

Минова-Ѓуркова 1994 — *Минова-Ѓуркова Л.* Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје, 1994.

Усикова 2003 — *Усикова Р.П.* Грамматика македонского литературного языка. М., 2003.

В. С. Храковский ТАКСИС

1. Немного истории. Прошло полвека с того времени, когда Р. О. Якобсон опубликовал свою знаменитую работу «Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb» [Jakobson 1957], где он впервые ввел в научный оборот термин «таксис», использовав его для обозначения глагольной категории, которую он маркировал символами E^nE^n [1]. Эту категорию Р. О. Якобсон характеризует следующими словами: «У этой категории нет стандартного названия; термины типа „относительное время" определяют лишь одну из ее разновидностей. Предложенный Блумфилдом термин „порядок" („order"), или скорее его греческий прообраз „таксис", представляется наиболее подходящим. **Таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения** (выделено нами. — *В. Х.*). Так, нивхский язык различает, во-первых, три вида независимого таксиса, из которых один непременно предполагает, другой допускает, а третий исключает зависимый таксис, и, во-вторых, **зависимый** таксис, выражающий различные типы отношений к независимому глаголу — одновременность, предшествование, прерывание, уступительную связь и т. п. Аналогичная система в языке хопи описана Уорфом» [Якобсон 1972: 101] [2]. Несколько иначе Р. О. Якобсон в той же работе характеризует таксис в русском языке: «**Таксис**: зависимый (выраженный деепричастием и указывающий на E^n, сопутствующее другому, главному E^n) — независимый. При зависимом таксисе категория времени сама выступает в функции таксиса: она выражает временное отношение к главному E^n, а не к E^s, как это имеет место при независимом таксисе. Соотношение прошедшего и настоящего времени превращается в противопоставление, которое, пользуясь терминологией Уорфа, можно назвать противопоставлением временного интервала (sequential) и контакта (concursive) между двумя E^n» [Якобсон 1972: 106–107].

Новацию Р. О. Якобсона трудно переоценить. Предлагая новый термин для обозначения известной, но не имеющей стандартного на-

---

[1] Ниже мы цитируем русский перевод этой работы «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол», который был опубликован в 1972 г.

[2] Р. О. Якобсон имеет в виду работы Блумфилда [Bloomfield 1946] и Уорфа [Whorf 1946].

звания глагольной категории, Р.О.Якобсон решал не простую техническую задачу. Он, насколько я могу судить, впервые показал, что одна и та же глагольная категория, для обозначения которой и был предложен термин «таксис», может выражаться в бипропозитивной конструкции и финитными формами относительного времени и нефинитными деепричастиями. Тем самым Р.О.Якобсон перебросил мостик от господствовавшего в то время структурального подхода, в рамках которого объединение в одной категории и финитных, и нефинитных форм, очевидно, невозможно, к функционально-типологическому, в рамках которого такое объединение представляется вполне естественным.

Вместе с тем в соответствии с общим определением таксиса, предложенным Р.О.Якобсоном, эта категория на первый взгляд лишена семантической специфики, ибо формы зависимого таксиса могут выражать различные типы отношений к формам независимого таксиса. Это и одновременность, и предшествование, и прерывание, и уступительная связь, а значит, если продолжить мысль Р.О.Якобсона, и условная связь, и причинная связь и т. д. Иными словами, речь идет о значениях, которые, вообще-то говоря, не принято объединять в рамках одной категории, поскольку для этого нет семантических оснований. Однако у таксиса есть семантическая специфика, которой не может не быть, если речь идет о грамматической категории, и о ней говорит и сам Р.О.Якобсон, когда характеризует таксис в русском языке. Здесь категория таксиса выражает однородные хронологические значения одновременности и предшествования, которые обычно описывались в рамках категории относительного времени.

Что касается общего определения таксиса, то, как это ни парадоксально, и в его рамках сохраняется семантическая специфика, а именно выражение хронологических отношений, однако здесь следует различать два принципиально различных случая. Случай первый: выражаются только хронологические отношения одновременности, предшествования и следования. В этом случае речь идет о выражении только таксисных значений. Случай второй: таксисные значения выражаются, однако они являются фоновыми, сопровождающими другие основные значения логической обусловленности (причины, условия, уступки, цели и т. п.), образуя вместе с ними один кластер. Таким образом, есть все основания различать два вида таксиса: основной (нефоновый), когда выражаются только однородные хронологические значения одновременности, предшествования и следования, и фоновый, когда хронологические значения сопровождают значения логи-

ческой обусловленности. В русистике, да и в славистике в целом, как и вообще в индоевропейском языкознании, традиционным объектом исследования служит только основной (нефоновый) таксис, поскольку в индоевропейских языках сложноподчиненные временные предложения, в которых прототипически выражаются хронологические отношения временной обусловленности и в которых в случае их наличия употребляются глагольные формы относительного времени, в общем случае (хотя и не всегда) формально достаточно четко отличаются от сложноподчиненных предложений логической обусловленности, при рассмотрении которых фоновые таксисные значения не служили предметом специального анализа.

Иначе говоря, существующие теоретические рамки, не учитывающие наличие фонового таксиса, определяются спецификой языкового материала. В этой связи необходимо подчеркнуть, что именно материал неиндоевропейских языков привел Р.О.Якобсона к его общему определению таксиса. Р.О.Якобсон ссылается на факты нивхского языка, в котором, по свидетельству специалистов (см. [Недялков, Отаина 1987]), подчинительных союзов и соответственно сложноподчиненных предложений нет, а вместо них употребляются предложения с деепричастными оборотами, причем в нивхском языке свыше 25 деепричастий, которые выражают различные значения и в том числе значения временной и логической обусловленности. Иными словами, в этом языке значения временной обусловленности и значения логической обусловленности (с фоновыми таксисными значениями) выражаются формально однородными нефинитными формами глагола.

Аналогичная ситуация характерна, в частности, для тюркских и тунгусо-маньчжурских языков, где значения временной и логической обусловленности прототипически также выражаются в предложениях с деепричастными (и причастными) оборотами.

Таким образом, объединение Р.О.Якобсоном в рамках одной грамматической категории таксиса значений временной обусловленности (одновременность, предшествование, прерывание) и логической обусловленности (уступительная связь и т. п.) было мотивировано тем, что эти значения выражались в нивхском языке формально однородными деепричастиями.

2. Определение таксиса. Идеи Р.О.Якобсона в отношении изучения таксиса получили дальнейшее развитие в Петербургской (Ленинградской) аспектологической школе [Маслов 1984; Бондарко 1987, 1999].

Ю.С.Маслов, не проводя детального анализа таксиса, в отличие от Р.О.Якобсона эксплицитно характеризует эту категорию как функционально-семантическую и отмечает, что «во многих языках таксис объединен в рамках одной категории либо со временем, либо с видом. Сочетание таксиса и времени дает значение сложной (двух-, а иногда и многоступенчатой) временной ориентации, выражаемой в некоторых языках специальными формами, входящими в систему так называемых относительных времен. Вместе с тем таксисные значения одновременности, предшествования и следования во времени регулярно возникают в результате взаимодействия видовых форм, так что в некоторых языках выражение таксисных отношений может рассматриваться как одна из важнейших функций глагольного вида» [Маслов 1984: 8].

В соответствии с точкой зрения А.В.Бондарко [Бондарко 1999: 98–99], «таксис (речь идет о семантической категории и соответствующем поле) трактуется... как выражаемая в полипредикативных конструкциях сопряженность действий (компонентов полипредикативного комплекса) в рамках единого временного плана. Имеется в виду сопряженность (связь), выступающая в следующих основных разновидностях: а) отношение одновременности/неодновременности (предшествования/следования), б) взаимосвязь действий (компонентов полипредикативного комплекса) при неактуализованности указанных выше хронологических отношений, в) связь действий во времени в сочетании с отношениями обусловленности (причинными, условными, уступительными)». Характеризуя это очень широкое определение таксиса, хотел бы заметить, что в целом оно не вызывает у меня принципиальных возражений за исключением одного пункта, а именно пункта б), согласно которому наличие таксиса усматривается и в тех случаях, когда представлена «взаимосвязь действий (компонентов полипредикативного комплекса) при неактуализованности указанных выше хронологических отношений». Если хронологические отношения не актуализованы, т.е., говоря иначе, вообще не выражены, то, с нашей точки зрения, нет никаких оснований говорить о наличии таксиса, ибо при любой трактовке таксиса, как грамматической, функционально-семантической или просто семантической категории, необходимо и достаточно выражение хронологических отношений одновременности, предшествования, следования.

В свою очередь мы полагаем возможным характеризовать таксис как функционально-семантическую категорию, которая реализуется в бипропозитивных (и шире — полипропозитивных) конструкциях, где

различными грамматическими средствами маркируется временная локализация (одновременность/неодновременность: предшествование, следование) одной ситуации P_1 относительно другой ситуации P_2, чья временная локализация характеризуется относительно времени речи, т.е. независимо от какой-либо еще ситуации P_n[3]. Если конкретные таксисные значения маркируются с помощью тех или иных специализированных глагольных форм, то в этом и только в этом случае можно говорить о таксисе как о нешифтерной грамматической категории глагола, максимально включающей три граммемы (предшествование, одновременность, следование), которые перечисляются, как нам представляется, по степени их прагматической значимости и маркированности в языке специальными средствами.

Думается, что это определение в принципе соответствует тому подходу к описанию таксиса, который намечен в работах [Jakobson 1957; Якобсон 1972; Маслов 1983, 1984; Бондарко 1987, 1998, 1999; Мельчук 1998; Храковский 2001, 2003]. Особенно важными для нас представляются те две особенности таксисных форм, на которые эксплицитно обращает внимание Ю.С.Маслов, а именно: 1) таксисные формы указывают на хронологическое соотношение, 2) таксисные формы прототипически являются синтаксически зависимыми и обозначают второстепенное «действие», ср. [Маслов 1983: 42]. Вместе с тем из предложенного определения следует, что таксисные формы могут иметь различный категориальный статус, поскольку таксисные значения одновременности, предшествования и следования могут выражаться и с помощью специализированных нефинитных и финитных глагольных форм, и с помощью союзов в совокупности с неспециализированными финитными глагольными формами, и с помощью предлогов/послелогов в совокупности с неспециализированными нефинитными глагольными формами, отглагольными именами, а также с неотглагольными предикатными именами.

3. Естественная классификация таксисных конструкций. Основываясь на предложенном определении таксиса, а также принимая во внимание факты, которые до сих пор, начиная с основополагающей работы Р.О.Якобсона [Jakobson 1957], не попадали в поле зрения исследователей, мы бы хотели в этой работе провести естественную классификацию конструкций, подводимых под это определение. С нашей

[3] За пределами этого определения остаются гномические высказывания типа *Вращаясь вокруг своей оси, Земля одновременно вращается вокруг Солнца.*

точки зрения, существенными для этой классификации являются следующие параметры: 1. являются ли ситуации, выражаемые в таксисных конструкциях, семантически самостоятельными или же одна ситуация занимает валентностное место, открываемое другой ситуацией, либо они обе занимают валентностные места, открываемые специализированным таксисным глаголом, 2. является ли таксисная связь между ситуациями в конструкции единственной или неединственной и к тому же фоновой.

Соответственно опираясь на первый параметр, мы различаем валентностный (актантный) таксис и невалентностный (сирконстантный) таксис. В рамках валентностного таксиса разграничиваются следующие два случая. Случай первый — обе ситуации P_1 и P_2 занимают валентностные места специализированного «служебного» таксисного глагола. В русском языке это, например, глаголы *предшествовать*, см. (1), *следовать/последовать*, см. (2)–(3), *сопровождаться*, см. (4):

(1) *Подписанию распоряжения* ***предшествовали*** *переговоры с руководством нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» — владельца незавершенного строительства* (В сентябре 2001 года губернатор области Юрий Трутнев подписал // «Нефтяник» (Пермь), 2003.06.01);

(2) *На основе сведений, полученных редакцией «Народной воли», Тихомиров подсчитал, что число арестов, произведенных до начала 1883 года, составляет 8157, а ведь в России в девяти случаях из десяти за арестом* ***следует*** *высылка или еще худшее* (С.М.Степняк-Кравчинский. Россия под властью царей (1886));

(3) *Вопросы о том, какие изменения* ***последовали*** *за приходом новой команды управленцев, руководители подразделений ВПКТИМ воспринимают довольно нервно и отвечают примерно следующее* (Новая метла метет по-старому // «Мебельный бизнес», 2003.08.15);

(4) *В Подмосковье понижение температуры часто начинается уже в начале августа и* ***сопровождается*** *обычно затяжными дождями.* (Июнь. Огурцам вышел срок // «Аргументы и факты. Москва», 2001.06.06).

Таксисные глаголы принято относить к разряду двухместных непредикатных функторов [4].

Случай второй — одна ситуация P_1, как принято говорить, вставлена или вложена в другую ситуацию P_2, т.е. заполняет одно из ее валентностных мест. Что же касается таксисных отношений между эти-

[4] Подробнее о понятии функтора и о различении предикатных и непредикатных функторов см. [Касевич, Храковский 1983].

ми ситуациями, одна из которых является предикатным актантом другой, то они возникают всего лишь как следствие их валентностных отношений. Примером могут служить конструкции с модусными глаголами речи, мыслительной деятельности, чувственного восприятия. У подобных глаголов есть валентность содержания или стимула, которую заполняет предикатный актант, т. е. ситуация P_1:

(5) *Петров **сказал**, что в этом году он **поедет** отдыхать в Крым*;

(6) *Иванов **понял**, почему он не **решил** задачу*;

(7) *Коля **смотрит**, как дети **играют** в футбол.*

В зависимой (= придаточной) части предложения (5) употреблена глагольная форма абсолютного будущего времени, которая в данном случае также указывает, что обозначаемая ею ситуация P_1 следует после ситуации P_2, обозначаемой глаголом прошедшего времени в главной части предложения. Иначе говоря, этой форме присуще таксисное значение следования. В зависимой части предложения (6) употреблена глагольная форма абсолютного прошедшего времени, которая в данном случае также указывает, что обозначаемая ею ситуация P_1 предшествует ситуации P_2, обозначаемой глаголом прошедшего времени в главной части предложения. Иначе говоря, этой форме присуще таксисное значение предшествования. В зависимой части предложения (7) употребляется глагольная форма абсолютного настоящего времени, которая указывает, что обозначаемая ею ситуация P_1 происходит одновременно с ситуацией P_2, обозначаемой глаголом настоящего времени в главной части предложения. Таким образом, глагольная форма настоящего времени в зависимой части предложения выражает таксисное значение одновременности.

В рамках невалентностного таксиса также разграничиваются два случая. Случай первый: в таксисных конструкциях представлены самостоятельные ситуации, не связанные валентностными отношениями. Данные конструкции специально предназначены для выражения таксисных значений одновременности, предшествования, следования, и при этом таксисная связь между ситуациями в конструкции является единственной. Примером может служить следующее предложение с деепричастным оборотом:

(8) *Петров поднимался по лестнице, тяжело **дыша**.*

В зависимой части этого предложения употреблено деепричастие НСВ, которое специально указывает, что обозначаемая им ситуация P_1 происходит одновременно с ситуацией P_2, обозначаемой в главной

части предложения глагольной формой абсолютного прошедшего времени НСВ. Иначе говоря, деепричастию присуще таксисное значение одновременности.

Случай второй. В таксисных конструкциях представлены самостоятельные ситуации, не связанные валентностными отношениями и специально не предназначенные для выражения таксисных значений. Имеются в виду такие бипропозитивные конструкции логической обусловленности, как, например, причинные, условные, уступительные, в которых тем не менее в качестве фоновых обязательно присутствуют и таксисные отношения между частями конструкции (фоновый таксис). Именно эти конструкции имел в виду Р. О. Якобсон, давая свое широкое определение таксиса. Примером такой конструкции может служить условное сложноподчиненное предложение

(9) *Если абитуриент решил задачу, то он поступит в университет.*

В зависимой части этого предложения глагольной формой абсолютного прошедшего времени названа ситуация P_1 ('решение задачи'), которая представляет собой условие, необходимое и достаточное для наступления ситуации следствия P_2 ('поступление в университет'), выраженной в главной части предложения глагольной формой абсолютного будущего времени. Таким образом, подобная конструкция прежде всего предназначена для выражения условно-следственных отношений между ситуациями. Вместе с тем между ситуациями, называемыми в обеих частях предложения, существуют и таксисные отношения. Ситуация условия P_1 локализуется в прошлом до времени речи и предшествует ситуации следствия P_2, локализуемой в будущем после времени речи.

В известных мне описаниях категории таксиса и таксисных конструкций таксисные конструкции первого типа (валентностный таксис) учитываются относительно редко, см. например, [Мельчук 1998]. Что же касается таксисных конструкций второго типа (невалентностный таксис), то именно они в основном служат предметом анализа в существующих исследованиях, однако разграничение фонового и нефонового таксиса последовательно не проводится.

Ниже мы попытаемся охарактеризовать смысловые и формальные особенности конструкций невалентностного и валентностного таксиса, специально обращая внимание на их сходства и отличия, однако основное внимание будет направлено на рассмотрение конструкций невалентностного нефонового таксиса, который, вне всякого сомнения, занимает центральное место среди таксисных конструкций.

4. Шкала таксисных значений. Переходя к анализу конструкций невалентностного нефонового таксиса, зададимся вопросом, являются ли значения предшествования, одновременности и следования теми далее неделимыми семантическими сущностями, которые необходимы и достаточны для адекватной характеристики категории таксиса и тех форм, с помощью которых эта категория выражается в языке. Мы отвечаем на этот вопрос отрицательно и полагаем, что возможна дальнейшая универсальная субкатегоризация этих значений.

Как мы знаем, в случае предшествования, синтаксически зависимая таксисная (нефинитная или финитная) форма обозначает ситуацию P_1, которая ориентирована относительно хронологически следующей за ней ситуации P_2, выражаемой опорной, синтаксически независимой (стандартно финитной) глагольной формой. Возникает вопрос, какие существуют логические возможности следования ситуации P_2 за ситуацией P_1 с хронологической точки зрения? Можно думать, что всего таких возможностей три. Первая возможность: ситуация P_2 следует за ситуацией P_1, прерывая ее (прерываемое предшествование). Иначе говоря, ситуация P_1 перестает иметь место под воздействием ситуации P_2, а не прекращается естественным образом:

(10) *Перебегая(НСВ) улицу, Петя упал(СВ).*

Вторая возможность: ситуация P_2 следует непосредственно за ситуацией P_1 после ее естественного завершения (контактное предшествование):

(11) *Как только Петя вышел(СВ) из комнаты, Маша (тут же) включила(СВ) телевизор.*

Третья возможность: ситуация P_2 следует за ситуацией P_1 через какой-то интервал после ее естественного завершения (дистантное предшествование):

(12) *Через два часа после того как Петя ушел(СВ), Маша включила телевизор.*

Также мы знаем, что в случае одновременности синтаксически зависимая таксисная (нефинитная или финитная) форма обозначает ситуацию P_1, которая ориентирована относительно хронологически одновременной с ней ситуации P_2, выражаемой опорной, синтаксически независимой (стандартно финитной) глагольной формой. Снова возникает вопрос: какие существуют логические возможности одновременного существования ситуаций P_1 и P_2? Можно думать, что опять таких возможностей три. Первая возможность: ситуация P_1 занимает

тот же временной период, что и ситуация P_2 (полная одновременность):

(13) *Когда Петя делал(НСВ) уроки, Маша читала(НСВ) книгу.*

Вторая возможность: ситуация P_2 локализуется в рамках временного периода, занимаемого ситуацией P_1 (неполная одновременность$_1$):

(14) *Когда Петя делал(НСВ) уроки, в комнату вошла(СВ) Маша.*

Третья возможность: ситуация P_1 локализуется в рамках временного периода, занимаемого ситуацией P_2 (неполная одновременность$_2$):

(15) *Когда в комнату вошла(СВ) Маша, Петя делал(НСВ) уроки.*

Кроме того, нам известно, что в случае следования синтаксически зависимая таксисная (нефинитная или финитная) форма обозначает ситуацию P_1, которая ориентирована относительно хронологически предшествующей ей ситуации P_2, выражаемой опорной, синтаксически независимой (стандартно финитной) глагольной формой. В очередной раз возникает вопрос, какие существуют логические возможности следования ситуации P_1 за ситуацией P_2 с хронологической точки зрения? Опять можно думать, что всего таких возможностей три. Первая возможность: ситуация P_1 следует за ситуацией P_2, прерывая ее (прерывающее следование). Иначе говоря, ситуация P_2 перестает иметь место под воздействием ситуации P_1, а не прекращается естественным образом:

(16) *Петя делал(НСВ) уроки, пока не пришла(СВ) Маша.*

Вторая возможность: ситуация P_1 следует непосредственно за ситуацией P_2 после ее естественного завершения (контактное следование):

(17) *Прежде чем выйти(СВ) из дому, Петя выключил(СВ) свет.*

Третья возможность: ситуация P_1 следует за ситуацией P_2 через какой-то интервал после ее естественного завершения (дистантное предшествование):

(18) *За два дня до того как Петя уехал(СВ), он получил(СВ) письмо от Маши.*

Если согласиться с приведенным рассуждением, то для адекватной характеристики и таксиса предшествования, и таксиса одновременности, и таксиса следования нужно учитывать один параметр, который принимает три значения. В случае таксиса предшествования и таксиса следования эти значения, грубо говоря, характеризуют все

теоретические возможности следования двух ситуаций друг за другом на хронологической оси, а в случае таксиса одновременности эти значения характеризуют все теоретические возможности заполнения двумя ситуациями одного периода времени.

Все выделенные частные таксисные значения (всего их девять) удобно представить на следующей шкале, которая строится на базе презумпции, что соседние значения на этой шкале связаны семантическими мостиками и наиболее близки друг другу:

дист.	конт.	прер.	непол.1	пол.	непол.2	прер.	конт.	дист.
предшествование			одновременность			следование		

Данная шкала в несколько видоизмененном виде заимствована из работы [Мальчуков 2001], где, насколько я могу судить, это важное и полезное понятие впервые введено в научный оборот. Заметим однако, что, принимая постулат, в соответствии с которым девять конкретных таксисных значений этой шкалы представлены в любом естественном языке, мы остерегаемся делать прогноз о правилах соответствия этих значений и средств их выражения. В принципе эти соответствия могут быть достаточно разнообразны. Например, одни значения могут выражаться лексическими средствами, а другие — грамматическими. Если говорить о грамматических средствах, то одному значению может соответствовать либо один показатель, либо несколько показателей, нескольким значениям может соответствовать один показатель и т. д. Важно, однако, обратить внимание на то, что в работе [Мальчуков 2001: 195] высказывается интересное предположение, что «данная шкала универсально ограничивает полисемию таксисных показателей, исключая „прерывные“ участки на шкале. Так, например, если какая-либо форма/конструкция способна выражать контактное предшествование и полную одновременность, то... она способна выражать и промежуточные значения прерывания и частичной одновременности».

Это предположение представляется вполне правдоподобным. В частности, аналогичным образом ведет себя и деепричастие СВ в русском языке, когда оно употребляется в предложении с деепричастным оборотом.

В этом случае ситуация P_1, называемая деепричастием СВ, прототипически непосредственно предшествует ситуации P_2, называемой финитным глаголом в предложении (контактное предшествование), причем ситуация P_2, называемая финитным глаголом и соотносимая с временем речи, может локализоваться и в прошлом, и в настоящем, и

будущем, а сам финитный глагол может выступать как в форме НСВ, так и в форме СВ:

(19) а. ***Сходив***(*СВ*) *за водой, Петя работал*(*НСВ*) *в саду*;
б. ***Сходив***(*СВ*) *за водой, Петя поработал*(*СВ*) *в саду*;
в. ***Сходив***(*СВ*) *за водой, Петя работает*(*НСВ*) *в саду*;
г. ***Сходив***(*СВ*) *за водой, Петя будет работать*(*НСВ*) *в саду*;
д. ***Сходив***(*СВ*) *за водой, Петя поработает*(*СВ*) *в саду.*

Обратим внимание на то обстоятельство, что ситуация P_1 называемая деепричастием СВ в примерах (19а)–(19в), фактически локализуется в прошлом. Иными словами, и при финитном глаголе настоящего времени, и при финитном глаголе прошедшего времени деепричастие СВ называет ситуацию P_1, относимую к плану прошлого. Другое дело, что в случае примеров (19а)–(19б) деепричастие СВ называет ситуацию P_1, которая предшествует ситуации P_2, тоже локализуемой в прошлом, тогда как в случае примера (19в) деепричастие СВ называет ситуацию P_1, которая предшествует ситуации P_2, относимой к плану настоящего времени. Эта последняя ситуация фактически началась до времени речи, осуществляется во время речи и будет продолжаться после времени речи. Что касается примеров (19г)–(19д), то в них и ситуация P_1, называемая деепричастием СВ, и ситуация P_2, называемая финитным глаголом, локализуются в будущем времени.

Вместе с тем деепричастие СВ может иметь значение полной (результативной) одновременности, т.е. обозначать результат ранее осуществившейся ситуации P_1, который наблюдается одновременно с ситуацией P_2, обозначаемой финитным глаголом СВ:

(20) ***Высунув***(*СВ*) *язык, мордку* ***поднявши***(*СВ*), / *прибежал*(*СВ*) *бесенок, задыхаясь* (А. Пушкин).

Если же финитный глагол является глаголом НСВ, за кадром остается информация о том, когда осуществилась ситуация P_1, приведшая к этому результату: то ли до начала ситуации P_2, называемой финитным глаголом, то ли уже после ее начала. Иными словами, в данном случае может выражаться и неполная одновременность$_2$:

(21) *Петя шел*(*НСВ*), ***опустив***(*СВ*) *голову.*

В работах [Русская грамматика 1952; Русская грамматика 1980; Акимова, Козинцева 1987; Барентсен, Хиндрикс 1988] было сделано важное наблюдение, согласно которому деепричастие СВ, прототипически выражающее предшествующее действие, находясь в постпо-

зиции относительно основного финитного глагола, может иногда выражать не предшествующее, а последующее действие. Вот один из примеров, с помощью которых в работе [Акимова, Козинцева 1987: 262–263] авторы иллюстрируют это положение:

(22) *Мать уложила*(*СВ*) *его в постель,* ***накрыв***(*СВ*) *бледный лоб полотенцем* (М. Горький).

Фиксируя случаи, когда деепричастие СВ выражает явно маргинальное значение следования, мы пока не можем сформулировать те условия, которые детерминируют выражение именно этого значения. Можно думать, что одно из этих условий, помимо постпозиции деепричастия, состоит в том, что финитный глагол должен быть в форме прошедшего времени. В целом эта проблема нуждается в дальнейшем исследовании.

Вместе с тем, если считать, что предложенная характеристика деепричастия СВ является адекватной и, соответственно, это деепричастие может выражать контактное предшествование, полную и неполную одновременность и контактное следование, а эти значения расположены по соседству на таксисной шкале, то из этого вытекает следующий вывод. Полисемия таксисных показателей, исключающая «прерывные» участки на шкале, видимо, действительно представляет собой господствующую тенденцию.

5. Конструкции невалентностного нефонового таксиса. Если говорить о стандартных таксисных конструкциях русского языка, то следует прежде всего различать конструкции, в которых таксисные значения выражаются с помощью нефинитных форм глагола, и конструкции, в которых таксисные значения выражаются с помощью финитных форм глагола. Специализированной нефинитной таксисной формой является деепричастие [Якобсон 1972: 106–108]. В письменной (но не в устной!) форме современного русского языка в сирконстантной позиции активно используются два деепричастия: деепричастие НСВ (настоящего времени) типа *читая, вздыхая, сидя, заикаясь* и деепричастие СВ (прошедшего времени) типа *прочитав*(*ши*)*, вздохнув, посидев, заикнувшись*[5]. Типологически релевантная особенность русских деепричастий заключается в том, что они являются односубъектными, или однореферентными. Иными словами, они могут

[5] О редких и периферийных вариантах этих деепричастий, а также о запретах на их образование см. [Русская грамматика 1980].

употребляться в том случае, если у ситуации P_1 и у ситуации P_2 один и тот же первый партиципант, который обозначается при финитном глаголе, но не обозначается при деепричастии. Другая особенность этих деепричастий, которая, впрочем, свойственна многим (но не всем!) деепричастиям в различных языках, заключается в том, что они могут сочетаться с разными финитными (видо)временными формами. При этом деепричастие НСВ выражает значение полной одновременности, см. (23), а деепричастие СВ, как мы уже отмечали выше, чаще всего — значение контактного предшествования, см. (24), но может также выражать значение полной (результативной) одновременности, см. (25) и крайне редко в некоторых контекстах, которые нуждаются в дополнительном изучении, значение следования, см. (26):

(23) а. *Мальчик сидел/сидит/будет сидеть(НСВ) в кресле, читая(НСВ) книгу;*
б. *Мальчик посидел/посидит(СВ) в кресле,* ***читая****(НСВ) книгу.*

(24) а. ***Прочитав****(СВ)* ***книгу****, мальчик сидел/сидит/будет сидеть(НСВ) в кресле;*
б. ***Прочитав****(СВ) книгу, мальчик посидел/посидит(СВ) в кресле.*

(25) а. *Собака бежала/бежит/будет бежать(НСВ) в мою сторону,* ***высунув****(СВ) язык;*
б. *Мальчик вышел/выйдет(СВ) на крыльцо,* ***накинув****(СВ) куртку на плечи.*

(26) а. *Я перечитал/?перечитаю(СВ) отчет,* ***добавив****(СВ) к нему после этого два новых пункта.*

Другой нефинитной таксисной формой, которая употребляется как в письменной, так и в устной форме русского языка, является отглагольное имя, которое, правда, образуется далеко не регулярно. Такие имена, как и неглагольные имена ситуаций (типа *землетрясение*), употребляющиеся в формально простом предложении и вводимые временными предлогами (*после, по, с, со* (*времени*), *в, во* (*время*), *при, за, до, перед, накануне*), выражают все три таксисных значения: предшествование, одновременность, следование[6]. Как и деепричастия, эти имена могут сочетаться с любыми (видо)временными формами глагола, но в отличие от деепричастий они являются вариативно референтными. Иными словами, они могут употребляться в том случае, если у ситуации P_1 и у ситуации P_2 один и тот же первый партиципант или эти партиципанты разные. В случае если партиципанты одинаковые, партиципант обязательно обозначается при финитном глаголе и фа-

[6] Необходимо подчеркнуть, что само по себе отглагольное имя не является специализированной таксисной формой, а таксисное значение это имя приобретает только в сочетании с временным предлогом.

культативно может выражаться при отглагольном имени, см. (27а)–(29а), а если разные, то они обязательно выражаются при финитном глаголе и при отглагольном имени, см. (27б)–(29б):

(27) а. *Перед (моим) отъездом я (по)звонил/позвоню/буду звонить матери*;
б. *Перед отъездом гостей я (по)звонил/позвоню/буду звонить матери.*

(28) а. *После (моего) отъезда я(по)звонил/позвоню/буду звонить матери*;
б. *После отъезда друга я (по)звонил/позвоню/буду звонить матери.*

(29) а. *Во время (моей) беседы с коллегой я(по)звонил/звонил/(позвоню) буду звонить матери*;
б. *Во время беседы коллеги с начальником я (по)звонил/позвоню/буду звонить матери.*

Очень ограниченно в конструкциях невалентностного нефонового таксиса может использоваться инфинитив. Он, как и деепричастие, употребляется только в однореферентных таксисных конструкциях, но лишь в тех, в которых выражается значение следования, и при этом инфинитив вводится союзами *прежде чем, перед тем как, до того как* и сочетается с любыми (видо)временными формами финитного глагола[7]:

(30) *Прежде чем уехать, я (по)звонил/позвоню/буду звонить матери.*

При этом необходимо подчеркнуть, что конструкция с инфинитивом автоматически может быть преобразована в конструкцию, в обеих частях которой выступают финитные формы глагола:

(31) *Прежде чем я уехал/уеду, я позвонил/позвоню/буду звонить матери.*

Что касается конструкций, в которых таксисные значения выражаются с помощью финитных форм глагола, то как в письменной, так и в устной форме современного русского языка широко представлены конструкции, которые оформляются как сложноподчиненные предложения с придаточным времени. Формальная специфика таких таксисных конструкций заключается в следующем. Во-первых, они могут быть как односубъектными, так и разносубъектными. Во-вторых, (видо)временные формы, употребляющиеся в их зависимой части, равно как и (видо)временные формы, употребляющиеся в их главной части, являются абсолютными (видо)временными формами в том смысле, что они сами по себе соотносят называемую ими ситуацию со временем речи, а таксисное прочтение они получают только при употреблении в зависимой

[7] Собственно говоря, сам по себе инфинитив не является специализированной таксисной формой, но становится таковой в сочетании с временными союзами.

части этих конструкций, и это прочтение прототипически определяют союзы, которые вводят зависимую часть.

Из сказанного вытекает по крайней мере следующий важный вывод: все глагольные формы, употребляющиеся в зависимой части сложноподчиненных временных предложений, являются абсолютно-относительными, т. е. не собственно таксисными, а таксисными они становятся только в совокупности с союзами, которые либо детерминируют конкретное таксисное значение, либо создают его совместно с глагольными формами, употребляющимися в зависимой и главной части предложения.

В зависимости от той роли, которую союзы играют в создании конкретного таксисного значения, их можно разделить на две группы. В одну группу входят т. н. неспециализированные союзы. В грамматике [Русская грамматика 1980: 542] такие союзы называются временными союзами с недифференцированным значением. Это те союзы, которые в совокупности с разными конкретными комбинациями глагольных форм в зависимой и главной части предложения участвуют в формировании различных таксисных значений. Другую группу составляют т. н. специализированные союзы. Это те союзы, которые сами по себе выражают конкретное таксисное значение, независимо от того, какие (не любые!) (видо)временные формы употребляются в зависимой и главной части сложноподчиненного временного предложения.

Типичным образцом неспециализированного союза может служить союз *когда*. Этот союз, в зависимости от комбинации (видо)временных форм в зависимой и главной части предложения, может обозначать либо таксис предшествования в контактном варианте, либо разные варианты таксиса одновременности, либо таксис следования. При этом стоит обратить внимание на то, что однореферентность или разнореферентность частей предложения никак не влияет на выбор конкретного таксисного значения.

Таксис предшествования в предложениях с этим союзом выражается в том случае, если и в зависимой части предложения, и в его главной части представлены глаголы СВ:

(32) *Когда Маша сделала(СВ) уроки, она написала(СВ) письмо подруге*;

(33) *Когда пошел(СВ) дождь, ребята вернулись(СВ) домой.*

Таксис одновременности в предложениях с этим союзом реализуется во всех трех логически допустимых вариантах. Во-первых, если в обеих частях предложения представлены глаголы НСВ, то в этом случае реализуется значение полной одновременности, причем конструкция с формами настоящего времени имеет итеративное прочтение:

(34) а. *Когда Петя завтракал(НСВ), он (одновременно) слушал(НСВ) музыку*;
б. *Когда Петя завтракает(НСВ), он (одновременно) слушает(НСВ) музыку.*

(35) а. *Когда Петя спал(НСВ), Маша читала(НСВ) книгу*;
б. *Когда Петя спит(НСВ), Маша читает(НСВ) книгу.*

Во-вторых, если в зависимой части предложения выступает глагол СВ, а в главной части — глагол НСВ, то в этом случае реализуется первое значение неполной одновременности (ситуация P_1 совершается на фоне длящейся ситуации P_2):

(36) *Когда Петя позвонил(СВ) Маше, он сидел(НСВ) на диване*;

(37) *Когда Петя позвонил(СВ) Маше, телевизор не работал(НСВ).*

В-третьих, если в зависимой части предложения выступает глагол НСВ, а в главной части — глагол СВ, то в этом случае реализуется второе значение неполной одновременности (ситуация P_2 совершается на фоне длящейся ситуации P_1:

(38) *Когда Петя сидел(НСВ) на диване, внезапно зазвонил(СВ) телефон*;

(39) *Когда Петя читал(НСВ) книгу, в комнате погас(СВ) свет.*

Таксис следования в разных вариантах в предложениях с этим союзом реализуется, если в главной части предложения употребляется глагол с предшествующей частицей *уже*, которые вместе образуют своего рода аналог ретроспективной временной формы. В принципе в зависимой части и в главной части могут быть использованы любые (видо)временные формы глагола. Если в зависимой части употреблена глагольная форма СВ, а в главной части с частицей *уже* употребляется глагольная форма НСВ, то в такой конструкции перфективная ситуация P_1 совершается и завершается во время осуществления ранее начавшейся имперфективной ситуации P_2:

(40) *Когда я вошел(СВ) в комнату, Петя уже спал(НСВ).*

Если в зависимой части употреблена глагольная форма НСВ, а в главной части с частицей *уже* также употребляется глагольная форма НСВ, то в такой конструкции имперфективная ситуация P_1 происходит во время осуществления ранее начавшейся ситуации P_2. При использовании и в зависимой части и в главной части форм настоящего времени НСВ конструкция получает хабитуальное прочтение:

(41) а. *Когда я читал(НСВ)книгу, Петя уже спал(НСВ);*
б. *Когда я читаю(НСВ) книгу, Петя уже (обычно) спит(НСВ).*

Если в зависимой части употреблена глагольная форма НСВ, а в главной части с частицей *уже* употребляется глагольная форма СВ, то в такой конструкции имперфективная ситуация P_1 происходит после того, как осуществилась перфективная ситуация P_2. Иными словами, в этом достаточно маргинальном случае союз *когда* используется для выражения таксиса следования в стандартном варианте:

(42) *Когда я читал(НСВ) книгу, Петя уже решил(СВ) задачу.*

Типичным представителем специализированных союзов является союз *после того как.* Этот союз можно назвать нейтральным, поскольку он обозначает просто предшествование, а не его конкретные варианты. В предложениях с этим союзом преимущественно употребляются перфективные глагольные формы различной временной локализации:

(43) *После того как выглянуло(СВ) солнце, мы пошли(СВ) гулять;*

В подобных предложениях содержится информация только о том, что ситуация P_1, выражаемая в зависимой части, предшествует ситуации P_2, выражаемой в главной части.

Вместе с тем в таких предложениях с помощью обстоятельств типа *через два часа, через несколько минут,* помещаемых в зависимую часть, может быть выражено значение дистантного предшествования:

(44) *Через несколько минут после того как выглянуло(СВ) солнце, мы пошли(СВ) гулять.*

Также в таких предложениях с помощью обстоятельств типа *сразу же, немедленно*, помещаемых в главную часть, может быть выражено значение контактного предшествования:

(45) *После того как выглянуло(СВ) солнце, мы сразу же пошли(СВ) гулять.*

Имперфективные глагольные формы употребляются в таких предложениях, чтобы маркировать хабитуальное значение:

(46) *После того как больные завтракают(НСВ), они принимают(НСВ) лекарства.*

В отличие от союза *после того как* союзы *как только* и *едва* обозначают контактное предшествование. В предложениях с этими союзами преимущественно употребляются перфективные глагольные формы различной временной локализации:

(47) *Как только Петя приехал(СВ), мы пошли(СВ) в лес.*

(48) *Едва взошло(СВ) солнце, мы пошли(СВ) в лес.*

Имперфективные глагольные формы употребляются в таких предложениях, чтобы маркировать хабитуальное значение:

(49) *Как только Петя приезжает(НСВ), мы идем(НСВ) в лес.*

6. Конструкции невалентностного фонового таксиса. Как уже отмечалось выше, в конструкциях, которые предназначены для выражения значений логической обусловленности (условия, уступки, причины, цели, следствия), в обязательном порядке выражаются и фоновые таксисные значения, иначе значения временной обусловленности. Если учитывать то обстоятельство, что в онтогенезе конструкции логической обусловленности появляются вслед за конструкциями временной обусловленности, то можно предполагать, что значения логической обусловленности надстраиваются над значениями временной обусловленности, вытесняя их из центра на периферию. О том, что развитие идет в этом направлении, можно судить хотя бы по тому, что стандартные таксисные конструкции в отдельных случаях попутно выражают какое-либо конкретное значение логической обусловленности, тогда как в стандартных конструкциях логической обусловленности соотношение конкретного таксисного и конкретного логического значения меняется: основным становится логическое значение, а таксисное — фоновым. Сравним под этим углом зрения примеры (50) и (51):

(50) *Применяя(НСВ) этот метод, вы достигнете(СВ) желаемого результата за очень короткий период времени.*

(51) *Если вы будете применять(НСВ) этот метод, то достигнете(СВ) желаемого результата за очень короткий период времени.*

Очевидно, что эти примеры являются синонимичными. В то же время пример (50) представляет собой стандартную специализированную таксисную конструкцию, в которой деепричастие НСВ выражает ситуацию P_1, которая в данном случае предшествует ситуации P_2, выражаемой финитным глаголом СВ в форме будущего времени. Попутно эта конструкция имеет и условное прочтение, чему способствует локализация обеих ситуаций в плане будущего, которое в общем случае, если можно так сказать, является не вполне реальным временным планом. С формальной точки зрения пример (51) устроен иначе. Это условная конструкция, т.е. конструкция, специально предназначенная для выражения ситуации P_1, обозначающей условие, и ситуации P_2, обозначающей следствие. В роли показателя условной конструкции выступает союз *если*, который вводит зависимую часть конструкции. В обеих частях конструкции представлены финитные глаголы в форме абсолютного будущего времени. При

этом глагол НСВ, который выступает в зависимой части конструкции и обозначает ситуацию P_1, вместе с условным союзом образует таксисную форму, указывающую на то, что обозначаемая ею ситуация предшествует ситуации P_2, обозначаемой глаголом СВ в главной части предложения. Таким образом, рассматриваемые конструкции, будучи синонимичными, отличаются друг от друга по способу представления таксисного и условного значений и тем самым по иерархии этих значений.

Частные значения логической обусловленности либо накладывают ограничения на частные значения фонового таксиса, либо не накладывают. Не накладывает ограничений на частные значения фонового таксиса, например, значение причины. Приводимые ниже примеры показывают, что в сложноподчиненных предложениях с придаточным причины могут в качестве фоновых выступать таксисные значения предшествования, см. (52), неполной одновременности$_2$, см. (53), полной одновременности, см. (54), следования, см. (55):

(52) *Петя пошел гулять, потому что приготовил уроки,*

(53) *Маша посмотрела на часы, потому что она ждала гостей.*

(54) *Петя слушает радио, потому что оркестр исполняет его любимый вальс Шопена.*

(55) *Маша убирает в комнате, потому что скоро придет ее школьная подруга.*

Определенные ограничения на выражение значений фонового таксиса накладывает условное значение. В сложноподчиненных предложениях с условным придаточным в качестве фонового стандартно выступает таксисное значение предшествования:

(56) а. *Если пойдет дождь, мы не поедем за город,*
б. *Если бы пошел дождь, мы бы не поехали за город.*

В сложноподчиненных итеративных предложениях, в которых нейтрализуется различие между временным и условным значением, в качестве фонового выступает таксисное значение одновременности:

(57) *Если/когда начинаются дожди, движение на дорогах прекращается.*

В то же время таксисное значение следования не выступает в качестве фонового в условных предложениях.

Напротив, в сложноподчиненных предложениях цели и следствия только таксисное значение следования выступает в качестве фонового:

(58) *Петров поехал в Москву, чтобы принять участие в конференции.*

(59) *К заключенному применили недозволенные методы следствия, так что он признался в преступлениях, которых он не совершал.*

7. Конструкции валентностного таксиса. Как мы уже отмечали выше, в случае валентностного таксиса одна ситуация P_1, как принято говорить, вставлена, или вложена, в другую ситуацию P_2, т.е. заполняет одно из ее валентностных мест. Что же касается таксисных отношений между этими ситуациями, одна из которых является предикатным актантом другой, то они возникают всего лишь как следствие их валентностных отношений. Примером могут служить конструкции с модусными глаголами речи, мыслительной деятельности, чувственного восприятия. У подобных глаголов есть валентность содержания или стимула, которую заполняет предикатный актант, т. е. ситуация P_1.

Как известно, русский язык обладает минимальной парадигмой абсолютных временных форм, которая включает формы прошедшего, настоящего и будущего времени. Соответственно никаких специализированных таксисных временных форм в русском языке нет. В зависимой части конструкций валентностного таксиса, вводимой союзами *что* и *как* и являющейся предикатным актантом глагола, представленного в главной части, употребляются глагольные формы, которые по своей основной функции являются абсолютными временными формами:

(60) *Петя сказал мне, что Коля читает книгу.*

В этом предложении ситуация P_1, называемая глаголом *читать*, заполняет валентность содержания ситуации P_2, называемой модусным глаголом речи *сказать*. В то же время форма настоящего времени глагола *читать* в данном случае указывает на то, что ситуация P_1, называемая этой формой, происходит одновременно с ситуацией P_2, называемой формой прошедшего времени глагола *сказать*, и тем самым эта форма выражает таксисное значение одновременности. Добавим к сказанному, что валентность содержания не накладывает ограничений на таксисные значения. Иными словами, глагол *читать* может выступать в форме прошедшего времени, выражая таксисное значение предшествования, см. (61а), и в форме будущего времени, выражая таксисное значение следования, см. (61б):

(61) а. *Петя сказал мне, что Коля читал/прочитал книгу*;
б. *Петя сказал мне, что Коля будет читать/прочитает книгу.*

В то же время существенные ограничения на таксисные значения характерны для конструкций с модусными глаголами чувственного восприятия:

(62) *Петя видел, как Маша переходила/переходит улицу.*

В этом предложении ситуация P_1, называемая глаголом *переходить,* заполняет валентность стимула ситуации P_2, называемой модусным глаголом чувственного восприятия *видеть*. Глагол *переходить* в данном случае может быть альтернативно представлен и формой настоящего времени, и формой прошедшего времени. Обе формы практически указывают на то, что ситуация P_1, называемая этими формами, происходит одновременно с ситуацией P_2, называемой формой прошедшего времени глагола *видеть*, и соответственно эти формы выражают таксисное значение одновременности. Возможно, выбор той или другой формы зависит от того, с какой точки зрения рассматривается ситуация перехода улицы. Если эта ситуация рассматривается с точки зрения автора текста, то выбирается форма прошедшего времени, а если эта ситуация рассматривается с точки зрения Пети, наблюдавшего эту ситуацию, то выбирается форма настоящего времени. Никакое другое таксисное значение в конструкции с модусными глаголами чувственного восприятия выражено быть не может.

Интересно обратить внимание на следующее обстоятельство. Если в конструкциях невалентностного таксиса союз, который вводит зависимую часть, либо определяет таксисное значение, либо формирует его вместе с зависимой от него глагольной формой, то в конструкциях валентностного таксиса союз, который вводит зависимую часть, не участвует в формировании таксисного значения.

8. Заключительные замечания. Результаты проведенного исследования могут быть суммированы следующим образом. Начало теоретическому осмыслению категории таксиса было положено Р.О.Якобсоном. Заметный вклад в дальнейшее изучение этой категории внесли представители Петербургской аспектологической школы (Ю.С.Маслов, А.В.Бондарко). В данной работе предложено определение таксиса, в соответствии с которым в таксисных конструкциях маркируются хронологические отношения (предшествование, одновременность и следование) между двумя ситуациями, одна из которых является зависимой, а другая опорной.

Таксисные значения одновременности, предшествования и следования могут выражаться и с помощью специализированных нефинитных и финитных глагольных форм, и с помощью союзов в совокупности с неспециализированными финитными глагольными формами, и с помощью предлогов/послелогов в совокупности с неспециализированными нефинитными глагольными формами, отглагольными име-

нами, а также с неотглагольными предикатными именами. В формировании таксисных значений принимают участие категории времени и вида. В общем случае можно утверждать, что конкретное таксисное значение конструкции представляет собой равнодействующую многих составляющих.

Среди таксисных конструкций предложено различать конструкции валентностного (актантного) таксиса и конструкции невалентностного (сирконстантного) таксиса. В свою очередь конструкции невалентностного таксиса делятся на конструкции нефонового и фонового таксиса. Центральное место среди таксисных конструкций занимают конструкции невалентностного нефонового таксиса. Для характеристики этих конструкций важную роль играет классификация таксисных значений, согласно которой у каждого значения выделяется по три подзначения. Различаются прерывающее, контактное и дистантное предшествование, прерывающее, контактное и дистантное следование, одновременность полная, неполная$_1$ (время совершения ситуации P_2 вкладывается во время совершения ситуации P_1), неполная$_2$ (время совершения ситуации P_1 вкладывается во время совершения ситуации P_2). Все частные значения составляют общую шкалу, на которой соседние значения связаны семантическими мостиками друг с другом, а полисемичные таксисные показатели объединяют только значения, связанные семантическими мостиками.

ЛИТЕРАТУРА

Акимова, Козинцева 1987 — *Акимова Т. Г., Козинцева Н. А.* Аспектуально-таксисные ситуации без элементов семантики обусловленности // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Барентсен, Хиндрикс 1988 — *Барентсен А. А., Хиндрикс Й. Х.* Деепричастие и совершенный вид в современном русском языке // Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists (= Studies in Slavic and General Linguistics 11). Amsterdam, 1988.

Бондарко 1987 — *Бондарко А. В.* Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Бондарко 1998 — *Бондарко А. В.* Категориальное представление идеи времени // Jazykovědné Aktuality, roc. XXXV. 1998. Zvláštní číslo.

Бондарко 1999 — *Бондарко А. В.* Основы функциональной грамматики. СПб., 1999.

Касевич, Храковский 1983 — *Касевич В. Б., Храковский В. С.* Конструкции с предикатными актантами. Проблемы семантики // Категории глагола и структура предложения. Л., 1983.

Мальчуков 2001 — *Мальчуков А. Л.* Опыт исчисления таксисных значений (на материале тунгусских языков) // Исследования по языкознанию. К 70-летию члена-корреспондента РАН Александра Владимировича Бондарко. СПб., 2001.

Маслов 1983 — *Маслов Ю. С.* Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций. Л., 1983.

Маслов 1984 — *Маслов Ю. С.* Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Мельчук 1998 — *Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. II. Москва — Вена, «Языки русской культуры» / Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 38/2. 1998.

Недялков, Отаина 1987 — *Недялков В. П., Отаина Т. А.* Типологические и сопоставительные аспекты анализа зависимого таксиса (на материале нивхского языка в сопоставлении с русским) // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Русская грамматика 1952 — Русская грамматика. Т. I. М., 1952.

Русская грамматика 1980 — Русская грамматика. Т. II. М., 1980.

Храковский 2001 — *Храковский В. С.* Таксис (история вопроса, определение и типология форм) // Functional Grammar: Aspect and Aspectuality. Tense and Temporality. Essays in honor of Alexander Bondarko. München, 2001.

Храковский 2003 — *Храковский В. С.* Категория таксиса (общая характеристика) // Вопросы языкознания. № 2. 2003.

Якобсон 1972 — *Якобсон Р. О.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Bloomfield 1946 — *Bloomfield L.* Algonquian // Linguistic structures of Native America (Viking Fund Publication in Anthropology). N. Y., 1946. № 6.

Jakobson 1957 — *Jakobson R.* Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb. Harvard University, 1957.

Whorf 1946 — *Whorf B.* The Hopi language, Toreva Dialect // Linguistic structures of Native America (Viking Fund Publication in Anthropology). N. Y., 1946. № 6.

М. И. Чернышева

Семантика словообразовательных моделей с начальными *благо-* и *бого-* (новые данные)

В связи с подготовкой «Дополнений и исправлений» [1] (далее: Дополнения) к первому выпуску «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (далее: СлРЯ XI–XVII вв.), опубликованному в 1975 году, был выявлен достаточно большой массив слов, не описанных в этом словаре, и, в основном, не нашедших отражения ни в научной, ни в лексикографической традиции. Большая часть из них — слова с начальными компонентами **благо-** и **бого-**. Это побудило к новому прочтению накопленного материала, который оказался столь разнообразным (с разных точек зрения), что в небольшой работе удалось представить только некоторые из возможных аспектов анализа семантики.

Традиционно слова с компонентами **благо-** и **бого-** фигурировали при анализе калек, возникших в славянских переводах с греческого языка. Литература, посвященная этому вопросу, весьма обширна. В первую очередь следует назвать основополагающее исследование В. Ягича, показавшего генезис собственно славянских сложных образований и проследившего жизнь этих (и других) моделей на примере ряда славянских языков [2]. Классическим в смысле разработки структурной стороны вопроса считается исследование К. Шумана [3], явившееся итогом длительной деятельности, в основном, немецких ученых в этом направлении (S. Singer, K. Sandfeld-Jensen, O. Weise, B. Unbegaun, W. Betz и др.) [4].

Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 07-04-00245а.

[1] *Чернышева М. И.* Словарь русского языка XI–XVII вв. Дополнения и исправления. Тетрадь первая. А–Б. М., 2006.

[2] *Jagič V.* Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlischen Auftreten // Archiv für slavische Philologie. Bd. 20. Berlin, 1898. S. 516–556; Bd. 21. Berlin, 1899. S. 28–43.

[3] *Schumann K.* Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. Berlin, 1958.

[4] См. нашу попытку передать смысл этой терминологии по-русски: *Чернышева М. И.* О понятии «византинизмы» в языке славяно-русских переводных памятников // Византийский временник. 1991. Т. 52. М., 1991. С. 171–181.

Классификация старославянских калек продолжалась, и Н. Мольнар сделал попытку создать универсальную терминологию, суммировав достижения, накопленные филологической наукой [5].

В отечественном языкознании к описанию разновидностей такого рода лексики, возникшей под влиянием другого языка, обращались давно. Еще Я. Грот в «Филологических разысканиях» называет группу, представляющую собой перевод слов, составленных по чужому образцу (типа **благословлять**), «словосоставлениями» [6]. Специальный раздел в работах Р. М. Цейтлин посвящен «групповым сложениям» в старославянском языке, куда отнесены интересующие нас лексемы с начальными компонентами **благо-** и **бого-** [7]. Современные исследователи продолжали данную тему, учитывая, помимо старославянского, древнерусский материал (см. работы Л. В. Вялкиной [8], М. М. Копыленко [9], Л. П. Ефремова [10] и др.).

Нужно признать, что анализ семантики почти во всех работах всегда находился в подчиненном положении по отношению к структуре, хотя еще В. Ягич (а до него Миклошич) указал на важнейшую особенность славянских Composita: «Mit Recht sagt Miklosich (Vergl. Gr. II. 347), der Reiz der Zusammensetzung beruhe auf dem reichen Gedankeninhalte in knapper Form» [11]. Продолжением этой мысли служит высказывание Л. П. Ефремова о том, что как «структурно точное чужемодельное калькирование», так и «структурно неточное своемодельное калькирование» (определяемое, по его мнению, нормой калькирующего языка) предпринимаются **не ради воспроизведения структуры калькируемого объекта, а ради воспроизведения семантики** [12].

---

[5] *Molnár N.* The Calques of Greek Origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts. Budapest, 1985. P. 64–66.

[6] *Грот Я. К.* Филологические разыскания Я. Грота. СПб., 1878. Т. 1. С. 2.

[7] *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977; *Она же.* Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. София, 1986.

[8] Среди целого ряда ее изысканий на эту тему см., к примеру: Сложные слова в древнерусском языке в их отношении к языку греческого оригинала (на примере Ефремовской кормчей) // Исследования по исторической лексикологии древнерусского языка. М., 1964.

[9] *Копыленко М. М.* Кальки греческого происхождения в языке древнерусской письменности // Византийский временник. 1973. Т. 34.

[10] *Ефремов Л. П.* Основы теории лексического калькирования. Алма-Ата, 1974.

[11] *Jagič V.* Die slavischen Composita... S. 519.

[12] *Ефремов Л. П.* Основы... С. 49–50.

Именно к этому аспекту мы и намерены обратиться.

Приводимые ниже подсчеты являются основанием (и обоснованием) выбора для анализа материала первого выпуска СлРЯ XI–XVII вв. и Дополнений к нему.

В так называемом Пражском словаре старославянского языка («Slovník jazyka staroslověnského». 1–52. Praha, 1958–1997; репринт. переизд. СПб., 2006) зафиксировано: с компонентом **благо-** 119 слов, с компонентом **бого-** 70 слов.

В Старославянском словаре (по рукописям X–XI веков) (М., 1994): с компонентом **благо-** 79 слов, с компонентом **бого-** 47 слов.

В Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам И.И.Срезневского Т. 1. СПб., 1893 (далее: Срз.): с компонентом **благо-** 252 слова, с компонентами **бого-** и **богу-** 126 слов.

В Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.) Т. I. М., 1988 (далее: СДРЯ): с компонентом **благо-** 465 слов, с компонентами **бого-** и **богу-** 227 слов.

В Словаре русского языка XI–XVII вв. (Вып. 1. М., 1975): с компонентом **благо-** 433 слова, с компонентом **бого-** 88 слов, в Дополнениях, включающих достаточный объем новых источников, с компонентом **благо-** 130 слов, с компонентами **бого-** и **богу-** 284 слова, итого: с компонентом **благо-** 563 слова, с компонентами **бого-** и **богу-** 377 слов.

В Словаре обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков (Вып. 1. СПб., 2004): с компонентом **благо-** 76 слов, с компонентом **бого-** 45 слов.

В Историческом словаре белорусского языка (Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 2. Мінск, 1983): с компонентом **благо-** 104 слова, с компонентами **бого-** и **богу-** 84 слова.

В Словаре староукраинского языка XIV–XV вв. (Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. Київ, 1977): с компонентом **благо-** 13 слов, с компонентом **бого-** 17 слов (из них 5 — имена собственные или прил. от них).

В Церковном словаре П.Алексеева (Церковный словарь, или истолкование Славенских, также маловразумительных древних и иноязычных речений, положенных без перевода в Священном Писании… сочиненный бывшим Московского Архангельского Собора Протопресвитером и Императорской Российской Академии членом Петром Алексеевым. 4-е изд. Ч. 1. СПб., 1817): с компонентом **благо-** 264 слова, с компонентом **бого-** 153 слова.

Приведенные подсчеты на приоритетном основании позволяют (с учетом тетради Дополнений и исправлений) опираться на первый выпуск Словаря русского языка XI–XVII вв. (СлРЯ XI–XVII вв.).

Необходимость лаконичного представления наблюдений требует компактной формы изложения.

I. Внимательный анализ выбранной для анализа лексики показывает достаточно сложную и неоднозначную картину семантического наполнения, он побуждает отказаться от распространенного представления о том, что все слова с указанными компонентами есть результат калькирования соответствующих греческих лексем. Случаи структурных несовпадений исходного и переводящего слов (типа: ***Боговидѣние** — θεωρία; ***Богозаконный** — θεσπέσιος) см. в цитированной выше литературе, а также в приводимых ниже примерах. Напомним только несколько весьма важных случаев. О таких ключевых для христиан терминах как **Благодѣть** и **Благодать** известно, что, будучи переводом греч. χάρις [13], они не являются кальками, а, по словам Р.М.Цейтлин, «представляют собою своего рода результат вторичного и случайного объединения» с сходными словами на **благо-**; она ссылается на мнение А.Мейе, который полагал, что эти образования похожи на переводы с германского и латинского; «они приняли вокализм соответствующего глагола... **-дать** и **-дѣть**» [14]. Заметим, что в ряду эпитетов Богородицы **Благодатная** и **Благодѣтельная**, представляющих собой перевод греч. κεχαριτωμένη (слово того же корня, что и χάρις), — снова отступление от греческого прототипа-первообраза. Перевод еще одного образования с начальным греч. εὐ- — εὐσπλαγχνία, которое связано с важнейшим для христиан представлением о милосердии, также вызывает вопросы. В ранних переводах слово εὐσπλαγχνία могло передаваться и при помощи точной словообразовательной кальки **Благоутробие**, и не столь точной — **Благосрьдиѥ** (**Благосьрдиѥ**). Оба слова отсутствуют в старославянских памятниках, а само понятие передается как **Милосрьдиѥ**, при этом греч. соответствия весьма разнообразны: εὐσπλαγχνία, σπλάγχνον, συμπάθεια, φιλανθρωπία [15]. Таким образом, непонятно, какое из греческих слов (и оно ли?) породило

---

[13] В связи со сказанным только упомянем (сейчас без комментария), что считавшееся чисто христианским понятие *благодати* со сходной семантической и теологической нагрузкой обнаружено Ф.Ф.Зелинским еще в античной литературе, в трагедии Софокла «Эдип в Колоне» (*Зелинский Ф. Ф.* Идея благодати в античной религии // Лики культуры. Альманах. Т. I. М., 1995. С. 366–407). Это не столько уводит нас в сторону, сколько заставляет задуматься над сложностью вопроса.

[14] *Цейтлин Р. М.* Лексика древнеболгарских рукописей... С. 223–224.

[15] Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М.Цейтлин, Р.Вечерки и Э.Благовой. М., 1994. С. 326.

понятие и слово *милосердие*. Неясность ситуации С.С.Аверинцев разъясняет опосредованным влиянием древнееврейского языка, дающего о себе знать через перевод Ветхого и Нового завета[16]. Похоже, перед нами еще одна до конца не решенная проблема.

II. Принято считать, что образования с **благо-** и **бого-** равнозначны и потому взаимозаменяемы. Это положение требует дополнительного обследования, поскольку число таких параллельных (словообразовательно идентичных или близких) гнезд в первом выпуске СлРЯ XI–XVII вв. (с учетом наших Дополнений) насчитывается более 50. Далее в виде таблиц приводятся[17]: 1) семантически соотносимые пары с начальными компонентами **благо-** и **бого-** идентичного строения или — для сравнения — очень близкой в словообразовательном отношении структуры; 2) случаи, допускающие двоякое толкование; 3) семантически несоотносимые пары идентичного образования. Алфавит — в соответствии с правилами, принятыми в СлРЯ XI–XVII вв.; слово без звездочки взято из первого выпуска СлРЯ XI–XVII вв., звездочка служит для обозначения нового слова в Дополнениях; возможны ссылки на СДРЯ и Срз.; сокращение «ор.» («оригинальный/-ое») означает употребление слова в непереводном или непереводных памятниках; в марровских кавычках воспроизводится словарная дефиниция, рядом приводится греческая параллель из соответствующей словарной статьи; далее (при необходимости) вводится пояснение и предполагаемое греческое слово, которое могло бы служить образцом для создания соответствующего славянского/древнерусского.

Семантически соотносимые пары идентичного образования

Благобоязненный ‘богобоязненный, благочестивый’, обычно как перевод εὐλαβής	**Богобоязненный, Богобоязнивый** ‘богобоязненный… благочестивый’, возможно, как перевод θεόφοβος или εὐλαβής (ср. СДРЯ 1, 253); ***Богобоязный** ‘богобоязненный, живущий по заповедям Божиим, благочестивый’

[16] *Аверинцев С. С.* ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑ // Историко-филологические исследования. Сб. статей памяти акад. Н. И. Конрада. М., 1974. С. 161–170.

[17] Таблицы строятся в основном на словарных статьях, связанных в Дополнениях отсылкой «— Ср.», т.е. «сравни». Учет всего материала значительно увеличил бы объем статьи.

Благовѣрие 'истинная вера, благочестие', обычно как перевод εὐσέβεια	***Боговѣрие** 'благочестие' εὐσέβεια
***Благовидѣние** 'созерцание Бога' θεοπτία	***Боговидѣние** 'видение, созерцание Бога' θεωρία
***Благоданый** 'данный Богом' θεόσδοτος [18], θεοβράβευτος	**Богоданный** 'данный Богом' (ор.), возможно, в соответствии с θεόσδοτος (ср. СДРЯ 1, 255)
Благодарный... 3 знач. 'то же, что **благодатный**', т.е. прил. к **благодать** в знач. 'ниспосланная свыше спасительная сила, помощь' (по-видимому, в соответствии с εὐχάριστος, εὐχαριστήριος, κεχαριτωμένος или др.)	***Богодарный** 'дарованный Богом' θεοδώρητος
***Благодохновенный** 'вдохновенный Богом' θεόπνευστος	**Богодохновенный** 'внушенный, вдохновленный Богом' (ор.) (ср. Срз. I, 129: θεόπνευστος)
Благожеланный 'любимый, дорогой'; толкование явно нуждается в уточнении	***Богожеланный** 'желаемый Богом (для кого-л.)' (ор.)
***Благоименитый** 'отличающийся от других, необыкновенный, выдающийся, знаменитый'; ср. Срз. I, 99: 'славный', обычно в соответствии с εὐώνυμος	***Богоименитый** 'прославленный Богом; знаменитый' (ор.), возможно, в соотношении с θεωνυμικός (Lampe, 647; Trapp, 685)
***Благосвѣтлый** 'сияющий божественным светом' θεοφεγγής	***Богосвѣтлый** 'сияющий божественным светом' θεοφεγγής
Благословесникъ 'знаток богословия'; ср. СДРЯ 1, 200: θεολόγος	***Богословесникъ** 'богослов, тот, кто проповедует учение о Боге и божественном' θεολόγος
Благословесный 'проповедующий учение о Боге и божественном' θεήγορος; прежнее толкование 'красноречивый' снимается	***Богословесный** 'проповедующий учение о Боге и божественном' θεολόγος; **Богословный** 1. 'возвещающий о Боге'; 2. 'относящийся к богословию'; ср. Срз. I, 136: θεολογικός
***Благоцвѣтый** 'прекрасно, пышно цветущий' εὐθαλής	***[Богоцвѣтый]** 'прекрасно, пышно цветущий' εὐθαλής

[18] Семантика греческих слов устанавливалась в соответствии с контекстом оригинала, проходя дополнительный контроль, в основном, по словарям: A Patristic Greek Lexicon / Ed. by G.W.H.Lampe. Fasc. 2, 3. Oxford, 1964 (далее: Lampe); Lexikon zur byzantinischen Gräzität. Erstellt von Erich Trapp. 1. Band. Wien, 2001 (далее: Trapp).

***Благочестивие** ‘благочестие’ εὐσέβεια	***Богочестивие** ‘почитание Бога, благочестие’ θεοσέβεια
***Благочестиво** ‘благочестиво’ εὐσεβῶς	***Богочестиво** ‘благочестиво’ εὐσεβῶς
Благочестнѣ и **Благочестно** ‘благочестиво’; прежнее толкование уточнено (ор.)	***Богочестно** ‘благочестиво’ εὐσεβῶς
Благочестивый ‘набожный, благочестивый’	***Богочестивый** ‘почитающий Бога, благочестивый’ θεοσεβής
Благочестный ‘благочестивый’ εὐσεβής; прежнее толкование уточнено	***Богочестный** ‘почитающий Бога, благочестивый’ θεοτίμητος
***Благочтение** ‘благочестие’ εὐσέβεια	***Богочестие** ‘почитание Бога, благочестие’ θεοσέβεια; ***Богочетье** ‘почитание Бога, благочестие’ θεοσέβεια
***Благочтецъ** ‘благочестивый человек’ εὐσεβέστατος	***Богочтецъ** ‘богобоязненный, благочестивый человек’ θεοσεβής

Таким образом, пары идентичного образования могут быть семантически соотносимы только в случае, когда **благо-** совпадает по смыслу с **бого-** и наоборот (в случае с [**Богоцвѣтый**]).

Случаи, допускающие двоякое толкование

***Благоблаженный** ‘блаженнейший (**благо-** здесь, по-видимому, выражает высшую степень почтительности)’ (ор.), хотя контекст (обращение к преподобному) позволяет приравнять ***Благоблаженный** и ***Богоблаженный**, тем более что ***Богоблаженный** употребляется и в оригинальных, и в переводных памятниках по отношению к святым	***Богоблажеваный** ‘то же, что ***богоблаженый**’ θεομακάριστος; ***Богоблаженный**, ***Богоблаженый** θεομακάριστος ‘благословенный Богом (по отношению к праведнику, святому)’
***Благовѣнчанный**, ***Благовѣнчаный** ‘венценосный (о царе)’; контекст позволяет предположить совпадение семантики с ***Боговѣнчанный**	***Боговѣнчанный**, ***Боговѣнчаный** ‘венчанный, освященный Богом’ θεοστεφής
Благовѣщательный ‘говорящий о благе, Боге и божественном’; прежнее толкование ‘приносящий радость’ снимается (ор.)	***Боговѣщательный** ‘говорящий по вдохновению от Бога’ (ор.); ср. первоначальное, т. е. до редакторской правки, авторское

	толкование: 'говорящий о Боге и Божественном'; таким образом, можно допустить здесь и трактовку **бого-** в знач. объекта (как в **Благовѣщательный**), и понимание **бого-** как указание на источник действия ('от Бога')
Благодѣяти 'творить для других добро'; обычно в соответствии с εὐεργετεῖν	***Богодѣяти** 'оказать божественное благодеяние' (ор.); здесь **бого-** сочетает в себе семантику начального **благо-** (в знач. объекта при **дѣяти**) и одной из функций начального **бого-**, т.е. указание на деятеля
Благозаконный 'соблюдающий установленные законы, правила'; к контекстам приведенных цитат вполне подходит та же семантика, что в ***Богозаконный**	***Богозаконный** 'возвещающий или соблюдающий божественный закон (для передачи греч. θεσπέσιος 'божественный')'; возможно, в соответствии с θεοθέσπιστος [19]
Благолѣпие 'красота, благолепие, благопристойность' (ор.); ср. СДРЯ 1, 188: εὐπρέπεια	***Боголѣпие** 'то, что подобает Богу; великолепие' εὐπρέπεια, ἡ θεία εὐπρέπεια, θεοπρέπεια
Благолюбезно в соответствии со знач. прилагательного следует толковать: 'приятно, угодно кому-л.', однако контекст, где нет указания на непрямой объект, и соотнесение с ***Боголюбезно** позволяют понимать приведенную цитату из ВМЧ, Окт. 4–18, 932. XVI в. как 'так, как угодно Богу'; ср. СДРЯ 1, 189: **Благолюбезнѣ** θεοφιλῶς, εὐθύμως	***Боголюбезно** 'так, как угодно Богу'
Благолюбецъ 'любящий добро'; правильнее: 'тот, кто любит (делать) добро'; ср. СДРЯ 1, 189: φιλόθεος, φιλάγαθος, однако большинство контекстов позволяют понимать **Благолюбецъ** и как ***Боголюбецъ**, т.е. 'тот, кто любит (делать) добро и Бога'	***Боголюбецъ** 'тот, кто любит Бога; о богобоязненном, благочестивом человеке' φιλόχριστος, φιλόθεος

[19] Ср.: Trapp: θεοθέσπιστος 'von Gott verkündet' νόμοι (S. 673).

Благомудреный 'разумный, мудрый', возможно, в соответствии с εὔφρων (ср. в СДРЯ 1, 189 параллель к **Благомоудрьствовати** 'быть благоразумным')	***Богомудреный** 'одаренный от Бога мудростью' θεόφρων; - 'заключающий в себе божественнную мудрость' (ор.)
***Благоподражательный** 'заключающий в себе стремление к добру' εὖ μιμημένος; в греч. есть еще εὐμίμητος (Trapp, 622)	***Богоподражательный** 'заключающий в себе подражание Богу и Божественному' θεομίμητος
Благоразумие 'мудрость'; вторая цитата позволяет понимать слово в соответствии со значением ***Богоразумие**	***Богоразумие** 'знание о Боге и божественном' θεογνωσία
Благоразумный 'мудрый' (первое значение) вполне допускает понимание в соответствии со значением ***Богоразумный** 'вразумленный Богом'	***Богоразумный** 'вразумленный Богом' θεογνωσίας, 'ведущий к знанию о Боге и божественном'

Таким образом, в приведенных примерах **благо-** допускает значение **бого-**.

Особый случай представлен в паре: **Благородный** 'знатный, родовитый', 'благородный' и ***Богородный**. Благодаря тому что εὐγενής через εὐ- приравнивается к θεο- (**бого-**), слова **Благородный** и ***Богородный** по первому значению 'рожденный по благословению Бога' допускают семантическую соотносимость, однако второе значение слова ***Богородный** — 'богородящий' (θεόγονος) — делает их полностью несопоставимыми.

Семантически несоотносимые пары идентичного образования

вся группа **Благовѣст-**	не имеет соотв. **Боговѣст-**
группа **Благовѣщ-**, т. е. **благо-** в знач. объекта	группа **Боговѣщ-**, т. е. 1) **бого-** в знач. субъекта, 2) **бого-** в знач. объекта ~ 'божественное'
Благовидный, т. е. **благо-** в знач. дополн. определения ~ 'красивый... на вид'	**Боговид-**, т. е. 1) **бого-** в знач. объекта, 2) в знач. предик. части ~ 'Богом' — ***Боговидѣиный** 'богоподобный'
Благогласие 'благозвучие, гармония'	***Богогласие** 'возглашение о Боге'
***Благодательный** 'дающий, дарующий добро, благо; благодатный' θεουργικός, ἀγαθοδότις, т. е. здесь **благо-** понимается в знач. объекта,	***Богодательный** 'данный, дарованный Богом' θεοπάροχος, т. е. **бого-** в знач. субъекта

однако параллель θεουργικός позволяет думать, что **благо-** здесь может приравниваться к **бого-**, соответственно толкование этих двух слов может совпадать	
Благокрасный 'прекрасный, великолепный' εὔκοσμος, т.е. **благо-** в знач. дополн. определения	***Богокрасный** 'приятный, угодный Богу' θεοτερπής, т.е. **бого-** в знач. непрямого объекта
Благонадежный 'надежный, верный' (ор.) — в текстах XVI–XVII вв.; ср. в более ранних памятниках — СДРЯ 1, 190: 'исполненный надежды (на спасение)' εὔελπις	***Богонадежный** 'заключающий в себе надежду на Бога' (ор.)
Благонаказательный 'поучающий, наставляющий добру' (ор.)	***Богонаказательный** 'заключающий в себе божественное наставление' (ор.)
Благопокоривый 'послушный, смиренный'	***Богопокоривый** 'покорный (послушный) Богу' θεοπειθής
Благорадостный 'радостный' (ор.); ср. Срз. I, 102: **Благорадование** εὐφροσύνη	***Богорадованая** 'Благодатная' (о Богородице) θεοχαρίτωτος, ***Богорадостная** 'Благодатная' (о Богородице) θεοχαρίτωτος
Благоразумие 'мудрость', 'благоволение, расположение' εὔνοια; СДРЯ 1, 196 приводит оттенок 'богопознание' в соответствии с θεογνωσία, это позволяет думать, что в ряде контекстов **Благоразумие** и ***Богоразумие** могут быть соотносимы	***Богоразумие** 'знание о Боге и божественном' θεογνωσία
Благосмысленный 'мудрый', 'имеющий добрые побуждения' [20] (ор.)	***Богомысленый** 'устремленный к Богу, проникнутый помыслами о Боге' θεόφρων
Благоугодити 'угодить' (обычно с дат. п. или перед кем-л.)	***Богоугодити** 'угодить Богу', т.е. в толковании уже содержится указание — кому, поэтому появляющееся в цитате Бг҃ови является плеоназмом, вариант XII в. проясняет картину: блг҃оугодивъша Бг҃ови

[20] Словарная статья **Благомысленный** снята, цитата перенесена в **Благосмысленный**.

Таким образом, здесь представлены слова с **благо-** и **бого-**, которые, будучи формально идентичными по второй части, семантически несоотносимы, так как первые элементы несут в себе разный смысл. Как было сказано, в таблицы попали, в основном, примеры, сопоставимость которых предложена в Дополнениях. Другие яркие примеры семантического расхождения в парах на **благо-** и **бого-** идентичного образования (типа: **Благоустроенный** 'хорошо устроенный' и ***Богоустроеный** 'устроенный (созданный) Богом, божественный' θεότευκτος, θεουργός) также нуждаются в рассмотрении.

В отобранных примерах отметим формальные несоответствия. Начальный компонент θεο-, имеющий соответствие **благо-**, встретился в следующих словах: ***Благовидѣние** — θεοπτία, ***Благоданый** —θεόσδοτος, θεοβράβευτος, ***Благодательный** — θεουργικός, ***Благодохновенный** — θεόπνευστος, **Благозаконный**, возможно, — θεοθέσπιστος, ***Благосвѣтлый** — θεοφεγγής, **Благословесникъ** — θεολόγος, **Благословесный** — θεήγορος.

Начальный компонент εὐ-, получивший соответствие **бого-**, представлен в примерах: **Богобоязненный** — εὐλαβής, ***Боговѣрие** — εὐσέβεια, ***Боголѣпие** —εὐπρέπεια (при наличии: ἡ θεία εὐπρέπεια, θεοπρέπεια), ***Богомощно** — εὐσθενῶς (есть θεοσθενῶς), ***Богородный** — εὐγενής, *[**Богоцвѣтый**] — εὐθαλής, ***Богочестиво** — εὐσεβῶς, ***Богочестно** — εὐσεβῶς.

Как показывает собранный материал, перед нами не формальное варьирование, допускавшееся переводчиками (некий, условно говоря, «переводческий ход»), хотя сам факт, конечно, подсказан греческим языком как языком-архетипом (первообразом), так как возможность подобного варьирования существовала в языке оригинала: εὐώνυμος — θεωνυμικός, εὐσθενῶς — θεοσθενῶς, εὐσεβοφρόνως — θεοφρόνως, εὖ μιμημένος или εὐμίμητος — θεομίμητος, εὐσέβεια — θεοσέβεια, εὐσεβής —θεοσεβής, εὐπρέπεια —θεοπρέπεια (примеры можно продолжить) — данный феномен следует понимать иначе: в средневековом сознании взаимная замена **благо-** и **бого-** в ряде случаев допустима (а иногда и необходима) в силу совпадения их внутреннего смысла.

III. Определим семантику компонентов **благо-** и **бого-**.

Начальное **благо-** может выступать:

1) в роли прямого объекта при переходном глаголе или в отглагольных образованиях от переходных глаголов: ***Благобоязние**, ***Благобояние** 'благочестие', т.е. 'почитание блага' εὐλάβεια; ***Благовѣститель** 'тот, кто возвещает благую весть', т.е. 'евангелист' εὐαγγελίστης;

Благовѣстити, ***Благовѣщавати** 'возвещать Евангелие, благую весть εὐαγγελίζεσθαι; ***Благовидительный** 'способный видеть и различать добро' ἀγαθοπτικός;

2) может выполнять наречную функцию, при этом —

а) **благо-** может придавать положительное или возвышенное начало стилистически нейтральным словам: ***Благобытие** 'блаженство, блаженная жизнь' (εὖ εἶναι);

б) **благо-** может усиливать положительный смысл, заключенный в слове (характеристику, состояние, качество, и т.п.), — в словарном толковании слова усиление такого рода иногда практически невозможно передать: ***Благовеселие** 'веселье', 'радость'; ***Благовазнивый** εὐδαίμων и ***Благовазненый** 'счастливый' (в греч. совершенно другое образование — вольно переданное лексическое сочетание τύχῃ δεξιᾷ χρησάμενος; оба слова встретились в древнерусских переводах с греческого языка — в «Пчеле» и в «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия); **Благопокорливый** 'послушный' εὐπειθής; только изредка семантика **благо-** поддается уточнению в семантической дефиниции: ***Благоброздный** '**легко**управляемый' εὐήνιος; ***Благовжигательный** '**легко**воспламеняющийся' εὐκατάπρηστος, ***Благовнимательнѣ** 'с **большим** вниманием';

3) начальное **благо-** может выступать в функции определения в соответствии со своим смыслом, т.е. в двусложном прилагательном или существительном оно само как бы становится прилагательным: ***Благовзорный** '**прекрасный** видом' εὐοπτότατος, ***Благовоздушие** '**хороший** воздух'; в современном русском языке есть возможность сходного выражения смысла: **Благогласие** '**благо**звучие, гармония'; иногда в надпонятийное «благой», «благое» вкладывается вполне определенный смысл: ***Благовѣрование** '**истинная** вера';

4) в глаголах начальное **благо-** может выполнять инструментальную функцию: ***Благовоняти** 'овевать кого-л. приятным запахом' (соответствие в греч. то формально совпадает: εὐωδιάζω, то расходится: μυρίζω);

5) **благо-** может заключать в себе божественное действие, т.е. указывает на субъект действия в адъективированных причастиях (по образованию представляющих собой страдательные причастия от несуществующих глаголов, которые можно реконструировать, введя соответствующее указание на деятеля — Бога); в образованиях такого рода под **благо-** подразумевается **бого-**: ***Благоданый** θεόδοτος то же, что **Богоданный**, **Богодатный** 'данный Богом'. В некоторых случаях кажется, что в текст вкралась ошибка. Например, в толковании слова

***Благовѣнчан(н)ый** 'венценосный (о царе)' не сразу удалось передать смысл **благо-**: Всетихое ц҃рство бл҃говѣнчаных ц҃рь Васил<и>я и Костянтина собра ж<е> и соедини... Корм. Балаш., 222об. XVI в. — нужно было домыслить (а христианские памятники очень часто требуют домысливания), что это то же, что ***Боговѣнчан(н)ый** (форма от несуществующего глагола **Боговѣнчати**); такое слово удалось обнаружить в произведении XII века как перевод греч. θεοστεφής (Стихирарь, 123об.), позже оно получило распространение в оригинальных древнерусских памятниках XVI–XVII вв.

Начальное **бого-** выполняет функции: 1) прямого объекта, 2) дополнения в косвенном падеже, непрямого объекта, 3) субъекта действия, 4) сравнения с Богом, 5) указания на божественную природу (сущность, происхождение и т.п.).

Приведем несколько примеров:

1) прямой объект: ***Боговидѣние** — θεωγνωσία 'видение, созерцание Бога'; ***Боговидѣн(н)ый**... 2. 'позволяющий видеть Бога' θεοπτικός; ***Богородный**... 2. 'богородящий'; есть еще случай, где в греч. возможно и одно сложное слово θεόφοβος, и лексическое сочетание с переходным глаголом ἔχειν τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, обе возможности переданы как ***Богобоивый** 'богобоязненный', т.е. 'боящийся Бога';

2) непрямой объект: ***Богоборникъ** — θεόμαχος 'тот, кто борется против Бога', ***Богоугодити** 'угодить Богу';

3) начальное **бого-** играет роль субъекта действия чаще всего в адъективированных (по происхождению страдательных) причастиях: ***Боговѣщан(н)ый** θεόφθογγος, θεόφθεγκτος 'возвещенный Богом', ***Боговѣнчан(н)ый** θεοστεφής 'венчанный, освященный Богом'; возможны сложные случаи контаминации в **бого-** прямого объекта и субъекта действия ***Боговѣщание** θεηγορία дословно: 'возвещение Божественного, о Божественном' или 'Божественное возвещение', т.е. идущее от Бога — в окончательном варианте: 'боговдохновенное возвещение';

4) сравнение с Богом встречается только в образованиях от глаголов чувственного восприятия: ***Боговидѣн(н)ый**, ***Боговидимый**, ***Боговидный** 'Богоподобный' (в греч., как правило, θεοειδής);

5) для передачи указания на божественную природу вводится дополнительное определение 'божественный': ***Богозаконный** 'возвещающий или соблюдающий божественный закон', ***Богомудреный** 'заключающий в себе божественную мудрость', ***Богонаказательный** 'заключающий в себе божественное наставление'.

Таким образом, взаимозаменяемость **благо-** и **бого-** возможна в случаях:

1) когда **благо-** заключает в себе **божественное действие**, т.е. указывает на **субъект действия** (в адъективированных причастиях);

2) когда начальное **благо-** выступает **в роли прямого дополнения** в образованиях (именных, адъективных) от переходного глагола, смысл которых позволяет производить подобные смысловые замены, например: ***Благовидѣние** θεοπτία совершенно равнозначно ***Боговидѣние** 'видение, созерцание Бога';

3) взаимозаменяемость **благо-** и **бого-** возможна также в моменты сложной контаминации представлений о благе как божественном начале и о Боге как благе. Например, в словах **Благовѣстие**, **Благовѣстити** (и других однокоренных) помимо идеи сообщения о благом, в данном случае о благой вести, присутствует идея проповеди Божественного учения или Божественной воли (например, при объявлении новоизбранному архиерею о посвящении его в этот сан) (СлРЯ XI–XVII вв., I, 193).

IV. Исследуемая группа включает ряд лексем, семантика которых уникальна, требует дополнительного разыскания и с трудом поддается традиционному лексикографическому описанию. Это предмет особого рассмотрения. В качестве предварительных примеров приведем несколько эпитетов Богородицы: ***Богообрадованая** θεοχαρίτωτος[21], ***Богоневѣста** θεόνυμφος, ***Богоотроковица** θεόπαις, — где первая часть θεο-/**бого-** несет совершенно другую нагрузку по сравнению с θεο-/**бого-** в других эпитетах (***Богородительная**, ***Богородительница**, ***Богорожаница**, **Богородица** и др.).

***

Проведенный анализ показал, что издавна известная и многократно описанная группа лексики с начальными **благо-** и **бого-** с точки зрения семантики нуждается в дальнейшем обследовании.

---

[21] S.Eustratiadis отмечает θεοχάρητος и θεοχαρίτωτος (κόρη) (Εὐστρατιάδης Σ. 'Η Θεοτόκος ἐν τῇ ὑμνογραφίᾳ. Paris, 1930. Σ. 27), E.Follieri также приводит θεοχαρίτωτος (*Follieri E.* Un Theotocarion Marciano del sec. XIV // Archivio Italiano per la storia a della Pietà. III. 3. Roma, 1961. P. 223).

Е. И. Якушкина

К РЕКОНСТРУКЦИИ СТРУКТУРЫ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

В славянской этимологии и сравнительной (диахронической) семасиологии на протяжении последних пятидесяти лет все большую роль играет проблематика системных связей в организации праславянской лексики. Различные аспекты этой проблематики — типология славянского словарного состава, семантическая организация гнезд, типология смысловых переходов, праславянская синонимия — представлены в таких работах как, например, [Варбот 1997; 2002; Толстой 1997; Толстая 1998; 2000; 2003; Топоров 1994; Трубачев 1963; 2004].

Круг вопросов, которым посвящена данная работа, включает 1) моделирование праславянского лексико-семантического поля, включающего обозначения температурных процессов (**gorěti, *vьrěti, *prěti* и др.) и соответствующих температурных воздействий (**paliti, *žegti, *žariti, *pekti, *variti* и пр.); 2) семантическую реконструкцию отдельных элементов поля (**pekti, *paliti, *žegti*) с учетом их взаимосвязей с семантическими коррелятами.

Обращаясь к реконструкции праславянского поля и отношений в нем, мы сталкиваемся с проблемой лингвистической абстрактности конструируемой системы (в синхронном смысле слова), носящей междиалектный характер и объединяющей лексемы, которые в реальности, возможно, и не сосуществовали в рамках одной системы. Описание архаического поля как лексико-семантического единства, наподобие осуществляемого в синхронной семантике, может быть, естественно, достигнуто только для прасостояния одного языка или даже диалекта. Праславянское же поле можно понимать, скорее, как систему знаков с определенным значением и семантико-мотивационным потенциалом, который обеспечивает возможность их вторичного использования по одному и тому же принципу. Наличие общего компонента основного значения — необходимое, но не достаточное условие отнесения слова к полю (так, лексема **ognь*, которую современное сознание однозначно связывает с **paliti, *žegti, *gorěti*, в праславянской системе практически не имеет с этими глаголами общих вторичных значений). Элементом поля оно может быть признано только в

Работа выполнена при поддержке гранта № НШ-8344.2006.6.

случае регулярного (неоднократного) использования в качестве вторичного знака, кодирующего, подобно своим соседям по полю, некоторый набор смыслов. Другими словами, единство праславянского поля создается устойчивым семантическим параллелизмом между гнездами или отдельными их представителями. В отличие от поля синхронного, данного нам в отношениях собственно семантических, праславянское поле рассматривается сквозь призму отношений семантико-мотивационных.

Соответственно двум основным механизмам лексико-семантической системы — многозначности и синонимии — семантическая структура поля имеет два уровня описания. Первый — это выделение круга прямых и вторичных смыслов, регулярно воспроизводимых в гнездах, мотивированных единицами поля, которое достигается путем анализа семантической деривации. Второй уровень связан с исследованием оппозиций, возникающих между словами в поле, и семантических параметров, их противопоставляющих. Выделение этих параметров производится на основе анализа различий в семантических спектрах гнезд поля, а также через описание различий между прямыми значениями элементов поля в современных славянских языках.

I. Система значений праславянских температурных глаголов и их производных. Значение температурных процессов и воздействий на предмет высокой температурой в праславянском выражали глаголы: **paliti, *žegti, *grěti, *goriti, *žariti, *žarěti, *gorěti, *polěti, *pekti, *smažiti, *pražiti, *smaliti, *topiti, *kaliti, *variti, *vьrěti, *kypěti, *prěti, *zněti, *kuriti, *pariti* (подробное описание структуры гнезд **pekti, *variti, *kypěti* см. в работе [Черниш 2003]). Характерной чертой структуры этого поля является семантическая однородность названий процессов и каузативов, мотивированных одной основой: **paliti —*polěti*; **žariti — *žarěti*; **goriti — *gorěti*; **variti — *vьrěti*; **pariti — *prěti*. Сходное явление (лексическое отождествление названия процесса и каузатива горения как имени одной ситуации) представлено как живая тенденция поля в современной славянской речи, ср. рус. прост. *я сгорела пирог, сгорела кастрюлю* (парафраз предложения *у меня сгорел пирог*, употребляемого гораздо чаще, чем *я сожгла пирог*). Каузативная семантика 'жечь' в совр. болг. *горя* (продолжение **gorěti* [БЕР: 266]), скорее всего, явление той же природы..

I.1. Статические глаголы обозначают физические процессы горения: *gorěti*, **polěti* (ст.-слав. *polěti*), **zněti* (рус. *знеть* 'раскаляться, тлеть'), излучения тепла: **žarěti* (слн. *žareti*), кипения: **vьrěti* (с.-х. *врети*, слн. *vreti*), **kypěti*, испарения, потения: **prěti*. Им со-

ответствуют имена каузативов тех же процессов: *grěti 'греть', *paliti, *žegti, *goriti (в.-луж. horić 'жечь'), *kuriti, *smaliti 'жечь' (этимологически связан с *smola, семантика и.-е. соответствий — 'тлеть, дымить, курить, гореть'), *žariti, *topiti, *kaliti 'нагревать, раскалять', *pariti 'жечь, парить' (болг. паря), *variti 'кипятить'.

В отличие от простых по своему системному статусу глаголов состояния (*gorěti, *vьrěti, *žarěti, *prěti), функционирование которых регулируется реальными основаниями, каузативы в прямом значении вступают между собой в семантические корреляции (*paliti — *žegti; *pekti — *smažiti, *žariti) и соответственно их употребление регулируется не только ситуативно, но и системно, с учетом ряда нюансов субъектно-объектной сочетаемости. Глаголы состояния просты и в плане метафорической структуры, имея ограниченное число семантических производных. Ядро поля составляют глаголы, имеющие максимальное число его значений, — *paliti, *žegti, *žariti, *gorěti и *pekti, прочие слова в зависимости от своей семантической активности располагаются в более или менее далеких от ядра участках периферии.

Система прямых значений в температурном поле носит преимущественно акциональный характер (из признаковых слов к ней можно, пожалуй, отнести только имя *jarъ). Признаки, которые в сознании носителей современных славянских языков составляют ядро семантического поля температуры (ср. горячий, теплый, холодный), в праславянском поле располагаются во вторичной зоне, будучи производными от глаголов. Признаковое значение 'горячий' — самое тиражируемое значение поля, в нем сходится максимальное количество образующих его гнезд. Основное средство обозначения признака — продолжения глагола *gorěti (рус. горячий, польск. gorący, чеш., слвц. horky, в.-луж. horcy), *vьrěti (с.-х. врео, врућ, макед. врел), *variti (чеш. vařící), *topiti (с.-х. топао), *kypěti (хорват. кайк. kipući [ОЛА: L 1169], болг. кип'ала ода [БА: 489]), *pariti (серб. торл. парел [ОЛА: L 1169], парлива ода [БА: 489]), *žegti (болг., макед. жежок), *žariti (бел., рус. жаркий [ОЛА: L 1169]), *pekti (рус. пекливый (о солнце) [СРНГ 25: 318]), *paliti (серб. паљен 'горячий, сильно нагретый, раскаленный' [Маркович 1986: 394]), *jarъ (укр. яркий 'горячий' [Фасмер]). Образованию семантики 'горячий' предшествовала стадия признака по действию («кипящая вода» → «горячая вода» → «горячий», «пекущее солнце» → «горячее солнце»), в некоторых случаях это значение, по всей видимости, остается связанным (ср., например, кип'ала ода).

I.2. К системе прямых значений поля относятся глагольные и субстантивные метеорологические значения. Ср. рус. *жечь, палить, печь, жарить* (о солнце) и именные дериваты глаголов **pekti, *žariti, *goréti, *paliti, *žegti, *variti, *vьrěti, *zněti* в значении 'жара': рус. *пекло*, болг., макед. *пек*, укр. *спека*, бел. *спёка*, слн. *pripeka*; рус. *жара*; болг., макед., с.-х. *жега*, рус. *пожога* [СРНГ 28: 300]; болг. *горящина*, с.-х. *горештина*, рус. *перегар* [СРНГ 26: 63], с.-х. *врућина*, слн. *vročina*; польск. *upal*; ст.-слав. *varъ*, рус. *вар* [СРНГ 4: 40]; рус. *зной*, польск. *znój* 'жара' [Фасмер].

К этой части поля примыкают именные обозначения испарения: пара — общеслав. **parъ, *para* (от **prěti*), с.-х. *зној*, рус. *вара* 'испарение' [СРНГ 4: 40]; пота — общеслав. **poktosъ* (от **pekti*), с.-х., слн., чеш., слвц. *znoj* [Фасмер] и тепла: рус. *тепло*; рус., с.-х. *жар*; с.-х. *јара* 'жар от печи' [РСАНУ]. Значение испарения появляется также у глаголов с иной исходной физической семантикой в качестве вторичного (рус. *вреть* 'сильно потеть' [СРНГ 5: 193]). Глаголам состояния **prěti* и **goréti* свойственно также образование имен со значением 'невспаханное поле': рус., укр. **parъ* (и термины с другой словообразовательной структурой) и зап.-слав. и ю.-слав. **ugarъ* (**ugorъ, *ugara*) [ОЛА: L 540], также в.-луж. *smaga* 'поле под паром' [Трофимович 1974: 285].

Последняя модель соотносится с типичными для поля номинациями процесса гниения. Это значение выражается глаголом **prěti*, в котором оно неотделимо от собственно температурного, и **goréti*: рус. *гореть* 'преть, гнить' (о сене), *загореть* 'сгнить, сопреть, испортиться, нагреваясь при слеживании' [Верхотурова 2005], *перегар* 'перегной' [СРНГ 26: 63], а также производными **žegti, *paliti, *grěti, *kypěti*: рус. *жгань* 'перепревший навоз', *запал* 'порча или гибель хлеба на корню от засухи', *греться* 'гнить, преть (о зерне)' [Верхотурова 2005), бел. *кіпіць* 'гниет' [Черниш 2003: 321]. 'Горячий', осмысленный как 'преющий'/'испаряющий', далее переосмысляется как 'влажный': с.-х. *жар* 'болото, ил, грязь', *жарљива земља* 'затопляемая земля' [РСАНУ 5: 293], рус. *знойко* 'сыро'[1] [СРНГ 11: 319], с.-х. *знојити* 'мочить': *крвљу знојено камење* [РСАНУ 7: 138]. В свете семантической зависимости 'гореть' — 'портиться' можно трактовать и ю.-слав. значение глаголов **žegti* и **paliti* 'прогоркнуть, испортиться (обычно о жирах)': дубр. *ужеђ* [Бојанић 2002: 410], с.-х. *ужегла маст, жигнути се* [RJAZU 95:

[1] Эту лексему можно рассматривать и в парадигме погодных характеристик как производную от *знойкий* 'холодный' (рус. *знойкий, палючий*, укр. *смалкий* 'резкий (о морозе, ветре); очень холодный').

385], *paliti* [RJAZU 9: 590; Гаговић 2004: 185]: *скоруп пали*, болг. *запали съ* [БЕР][2], ср. также слн. *žarek* 'прогорклый' [SSKJ: 1697]. Иная форма порчи — прокисание — обозначается глаголами с семантикой кипения («кипящий, бурлящий» — «пенящийся, бродящий» — «кислый»): серб. *наварит се* 'прокиснуть' (о молоке) [Бојанић 2002: 233] (о связи значений 'кипеть' и 'прокисать', основанной на визуальном сходстве процессов, см. [Черниш 2003: 283]).

I.3. Физические значения в поле тесно переплетены с кулинарными (**pekti, *pražiti, *smažiti, *variti, *topiti* и др.). Кулинарные значения регулярно появляются в нем как вторичные, производные от физических, ср. **variti, *žariti, *smažiti, *topiti* (рус. *топленое молоко*), **paliti* (хорват. чак. *paliti* 'печь хлеб' [Jurišić 1973: 147], слн. *paljeno testo* 'заварное тесто' [SSKJ: 814], укр. *паланица* 'корж, печенье' [СБГ: 379]), **žegti* (слн. *žgati žganje* 'варить самогон', *žgati kavo* 'обжаривать кофе' [SSKJ: 1703]), **kaliti* (рус. *калить яйца* 'запекать яйца', *калить воду* 'кипятить воду' [СРНГ 12: 361]). У продолжений глаголов **pekti* и **pražiti* в славянских языках кулинарное значение является основным. Однако в системе прямых и метафорических значений поля температуры они никоим образом не противопоставляются физическим глаголам, а напротив, ведут себя в полном соответствии им. Глагол **pekti* и его производные, как мы покажем ниже, выражает максимальное число значений поля и может быть с правом отнесен к опорным лексемам данной системы наряду с **paliti, *žegti, *žariti*. Поэтому считаем возможным предположить, что 'печь' на ранних этапах развития праславянского языка было вариантом более широкого природно-культурного значения **pekti*, реализовавшимся в кулинарных контекстах. Это инвариантное значение можно реконструировать как 'обдавать/обрабатывать жаром' (ср. **pekti* в значении обработки глины или действия солнца). Обобщенную реконструкцию 'прокаливать' правомерно предложить и для глагола **pražiti*, ср. обозначение данным глаголом прогревания молока в печи, укр. *пряжене молоко* 'топленое молоко, варенец', и избирательную сочетаемость в некоторых славянских языках глагола **pražiti* с названиями сыпучих продуктов для обозначения их про-

[2] Данные явления могут быть также связаны с семантикой горького («испорченного» или «едкого»?), которую регулярно мотивируют слова поля, ср. архаический переход 'гореть' (**gorěti*) — 'горький' (**gorьkъ*), также в.-луж. *jěry* 'горький' [Фасмер], болг. *парлив* 'острый, едкий; кислый' [БА: Л 101].

каливания, высушивания: чеш. *pražiti kávu, oříšky* 'жарить (обрабатывать жаром) кофе, орешки', бел. *пражыць гарох, кофе*, слн. *pražiti drobtine, moko, kavo, sladkor* 'поджаривать крошки, муку, кофе, сахар', н.-луж. *pšažys* 'поджаривать, жечь, сушить'.

I.4. В ботанической сфере продолжения температурных глаголов регулярно участвуют в образовании названий крапивы: рус. *жаренка* [СРГСУ 1: 155], болг. *жаркя* [БЕР], рус. *жагала* [СРНГ 9: 55], *обжога* [СРНГ 22: 48]; с.-х. *жежа, жежика, жежара, жежеља* [РСГВ 2: 39], хорват. чак. *palić* 'крапива' [Brus: 580].

I.5. Температурный код широко применяется к описанию физиологии человека, характеризуя повышение температуры тела или отдельных его органов: рус. *жар, горячка, палячка,* с.-х. *горавица* [Skok 1: 591] 'лихорадка'; рус. *воспаление*, с.-х. *запаљење*, болг. *запал, припал* [БЕР); рус. *изжога*, в.-луж. *žaha pali* [Трофимович 1964: 457], чеш. *žáha* [SSJČ 4, 898), польск. *zgaga* (*w gardle*) [SJP 10: 1047], болг. *жеговина* 'изжога' [Геров 1904]; укр. *печія*, бел. *пячая*, польск. *pieczenie* [ОЛА: F (Sm) 181], рус. *смага* 'позыв на пищу', 'изжога во рту' [ССПИ], с.-х. *гурушица* 'изжога' [Skok 1: 591]. Глаголы **pekti, *žegti, *paliti, *žariti* и сущ. **smaga* используются для обозначения симптомов жжения на коже и внутренних органах: укр. *шкіру пече* [УРС 1961: 237], бел. *мароз пёк твар* [ТСБМ: 531], слн. *rana ga peče* 'рана горит, изжога мучит' [SSKJ: 827], макед. *раната ме пече* 'у меня горит рана' [РМJ 1965: 161], рус. *жжет*, слвц. *koža páli* (*niekoho*), с.-х. *жарило ме у прсима*, рус. *смага* 'ощущение жжения во рту' [ССПИ]. Только в антропологической области (также в связи с психическим состоянием человека) производные температурных глаголов пересекаются с лексемой **ognь* (ц.-слав. *огневица* 'лихорадка').

С помощью температурного кода происходит предметное осмысление человеческой психики и уподобление внутренней жизни физическим процессам в теле человека или его контакту с горячим. Центральной в этой области является древняя метафора «гореть» — «горе»: рус., укр. *горе*, слн. *gore*, чеш. *hoře*, др.-польск. *gorze* [Фасмер], болг. *горувам* 'тосковать, горевать' [БЕР], др.-рус. *смага* 'тоска, горечь', рус. диал. *смага* 'тоска, горечь', 'горечь от безысходного горя, нервный спазм в горле' [ССПИ], рус. *печаль*, рус. *пек* 'мучение, страдание' [СРНГ 25: 315], с.-х. *пека* 'страдание, угрызения совести, гнев' [Гаговић 2004: 187], макед. *пека* 'просить, выпрашивать, плача, страстно желать' [РМJ: 147], слвц. стар. *svedomie ho pečie* 'его мучит совесть' [Kálal 1923: 464], рус. *жечь, палить* 'причинять нравствен-

ные страдания, мучить, тревожить'[3]. С семантикой душевного дискомфорта, беспокойства можно связывать значение заботы (ср. нередкий синкретизм этих значений, например в слав. **skrъbь* 'забота, скорбь', с.-х. *бринути се*): рус. *печаль* 'забота', *печься, опека, печь* 'волновать, беспокоить, заботить' [СРНГ 27: 11], макед. *печал* [PMJ II: 160], чеш. *péče* 'забота', рус. *печа*, польск. *piecza*, слн. *pečal* [Фасмер]. В пользу иной семантической импликации свидетельствуют русские синонимы *пригреть, пригрев* 'забота, уход' [СРНГ 31: 178], *проявить тепло* с очевидной реализацией метафоры 'греть' — 'заботиться', 'тепло' — 'забота', а также факт выражения этого значения практически исключительно дериватами «культурного» глагола **pekti*.

Регулярно с помощью температурной лексики осуществляется номинация эмоций в человеке (гнева и влечения к особам противоположного пола) и страстного или энергичного характера. Для этого используются прежде всего названия процессов и признаков, выражающих семантику пламени или особо интенсивного нагревания (дериваты **paliti, *zariti, *jarъ*): рус. *ярость, вспыльчивый, пылкий, горячий* 'страстный', *опальный* 'горячий, вспыльчивый' [СРНГ 23: 233], н.-луж. *jěry* 'вспыльчивый, грубый' [Фасмер], с.-х. *јарити* 'сердить', *жар* 'страсть' [РСАНУ 5: 293], болг. *жарливост* 'ревность' [БЕР], слвц. *pálit'* (кого-то) 'быть влюбленным в кого-то' [SSN], болг. *палежньк* 'жених', *палежница* 'невеста', *палемник, палежник, препала*, болг. *изгорник* 'сердцеед' [БЕР], рус. *нажога* 'бойкий, разбитной человек' [СРНГ 19: 272], *жаровать* 'играть, шалить' [СРНГ 9: 82), *огняный* 'ловкий, быстрый в работе' [СРНГ 22: 332], с.-х. *жарач* 'ловкий, умелый, подвижный, предприимчивый', *жаровит* 'энергичный' [РСАНУ 5: 299].

I.6. Огромный пласт развившихся в поле метафорических значений мотивирован семантикой интенсивности — самому семантически активному компоненту исходного значения. Это значения превосходной степени: в.-луж. *jara* 'очень' [Фасмер], рус. *жарчей* 'больше' [СРНГ 9: 80], *горячо* 'очень, сильно' [ПОС 7: 145]; силы, крепости: рус. *смага* 'сила, мочь' [Даль], с.-х. *жар* 'сила': *жар вере, жарка љубав* 'сильная любовь', *жарко вино* 'крепкое вино', *јарко* 'очень сильно': *развити се јарко, јарка експлозија* 'сильный взрыв' [РСАНУ 8: 570]; быстроты: укр. *зупалу* 'вдруг' [ЕСУМ 4: 265],

[3] Как известно, по одной из этимологий к этой семантической модели относится и **grěchъ* [Фасмер].

слвц. *Jie ako bi pál'iu* 'есть очень быстро', *robí ako bi pál'iu* 'делать очень быстро' [SSN], бел. *жарыць* [ТБСМ: 199], рус. *палить* [СРНГ 25: 171] 'делать что-то с азартом', *жегнуть* 'внезапно, необдуманно что-либо сделать' [СРНГ 9: 99], *нажаривать* 'делать что-либо спешно' [СРНГ 19: 266], *наяривать* 'долго производить быстрые движения', *гореть* 'спешить, торопиться' [ПОС 7: 107], *обжигать* 'быстро оглядеть, окинуть взглядом' [СРНГ 22: 45], с.-х. *жаракати* 'быстро переводить взгляд, стрелять глазами' [РСАНУ 5: 299).

Семантика быстрого действия в поле разработана весьма детально и представляет собой одну из самых его продуктивных моделей. Это быстрое движение, ср. слвц. *pálit'* [SSN], рус. *палять* 'быстро ехать, скакать' [СРНГ 25: 183], *зажаривать* [СРНГ 10: 82], *жгать* 'быстро двигаться, бежать' [СРНГ 9: 93], *пекануть* 'броситься бежать' [СРНГ 25: 315], бел. *смаліць* 'быстро ехать, быстро что-то делать' [ТСБМ: 610], с.-х. *јарити* 'сильно течь (о воде)' [РСАНУ 8: 581], укр. *пражити, прягти* 'сильно дуть (о ветре)'; бросок: *палять* 'бросать' [СРНГ 25: 183], *жигать* 'бросать, швырять' [СРНГ 9: 165]; удар [4]: рус. *огреть, ожгать* 'больно ударить кого-либо' [СРНГ 23: 73], *ожаривать* 'сильно ударять' [СРНГ 23: 72], *пекать* 'бить' [СРНГ 25: 316], *паляться* 'бить, ударять' [СРНГ 25: 184], *смагать* 'бить, стегать' (Фасмер), бел. *смаліць* 'бить, стегать' [ТСБМ: 610), чеш. *žáhnouti* 'ударить (бичом)' (SSJČ 4: 898), с.-х. *јарити* 'бить ногой, толкать' [РСАНУ], *опалити* 'ударить', болг. *жегну по гръба* 'огреть по спине' [Геров 1904], рус. *варить* 'сильно стегать, бить' [СРНГ 4: 54].

I.7. Значению интенсивного действия семантически однородны значения обмана, кражи, насилия (ср. рус. жаргон. *кинуть* 'обмануть'): рус. *нагреть* 'обмануть', *ожаривать* 'надуть, обмануть' [СРНГ 23: 72], *жеганyть* 'ввести в убыток, обмануть' [СРНГ 9: 98], с.-х. *paliti* 'обманывать'; *опалити* 'обмануть' [RJAZU 9: 590], *опалија* 'обманщик' [Митровић 1984: 223], *палија* 'интриган' [Караџић 1935: 185], *паљевина* 'безнравственный человек' [Митровић 1984: 231] [5],

---

[4] В развитии этого значения сыграла роль ситуация: тот, кого бьют, испытывает температурные ощущения (напряжение, жар), ср. *задать жару, дать зною, жарко было, семь потов сошло*. Скорее всего, что в этой группе номинация шла двумя путями: от интенсивности (*огреть*) и от перцепции (*пекать*). Кроме того, нужно иметь в виду, что значение 'стегать, хлестать' могло развиться у **žegti* на базе семантики укола (слав. материал см. ниже).

[5] В с.-х. примерах возможно посредство значения 'клеветать' как метафоры 'жечь' (ср. с.-х. *paliti* [RJAZU], *језик пали*).

жарити 'грабить, совершать насилие': *жарити и палити* 'совершать насилие' [РСАНУ 5: 297].

II. Проблема семантической реконструкции конкретного значения праславянской лексемы. Методика семантической реконструкции — неизменно актуальная проблема сравнительной семасиологии и этимологии, ставящей вопрос о внедрении в эту методику «более строгих системно-структурных (разрядка наша. — *Е.Я.*) критериев» [Трубачев 2004: 109]. Этимология в первую очередь сосредоточена на установлении гнездовых связей слова, на реконструкции формы, а реконструкция значения — зачастую для нее процедура прикладного характера, обеспечивающая надежность этимологизации, проясняющая развитие слова. Этимологические словари, как известно, дают праславянскую реконструкцию только для формы, а семантику представляют множеством современных значений слова и его дериватов, нередко весьма далеких друг от друга (см. об этой проблеме [Толстая 2003]). В случае с конкретной лексикой, когда славянские языки едины в обозначении данной формой некоторой реалии, как например в общеслав. **pekti*, продолжения которого у всех славян фиксируются со значением 'печь' как исходным, а также в случае семантической близости с и.-е. параллелями, ср. др.-инд. *paktís* 'варка, вареное кушанье', др.-греч. πέψις 'варка, жарение' [Фасмер], вопрос о семантической реконструкции в этимологическом словаре вообще не ставится. Однако семантическая однородность и простота продолжений и параллелей праславянского слова отнюдь не снимает проблемы его семантической реконструкции, если ее понимать не как прикладной этимологический метод, а как пристальное изучение семантики слова и семантических противопоставлений, в которые оно вступает.

О.Н.Трубачев неоднократно отмечал, что семантическая реконструкция есть «углубленное понимание современного значения слова» [Трубачев 2004а: 108] и всесторонний анализ его современных употреблений, в которых нередко в скрытой форме проявляются оттенки архаического значения. Этого понимания семантическая реконструкция достигает путем анализа полисемии продолжений и дериватов праславянского слова, их контекстных значений, сочетаемости и синонимии — оппозиций близких по значению праславянских слов через анализ семантических схождений и расхождений их современных продолжений. Два последних приема семантической реконструкции, приближающие ее по точности портретирования слова к лексической семантике, дают возможность более глу-

боко описывать архаическое значение слова (ср. этимологию словосочетания **kresati ognь* и синонимов **kǫpati* и **myti* [Трубачев 2004б: 134–140], исследования семантического параллелизма гнезд **květ* и **kras* [Толстая 2003]).

II.1. *Лексико-семантическая типология как критерий семантической реконструкции.* В случае с кулинарным значением глагола **pekti* основным приемом семантической реконструкции является описание лексико-семантической типологии интересующего нас явления в современных славянских языках. Базой этого описания является ситуативный анализ — выявление ситуаций, которые носители славянских языков называют глаголом **pekti*, и определение границ его ситуативного поля, за пределами которого лежит сфера обозначения семантически близких глаголов **pražiti, *smažiti, *žariti*. Наряду с разного рода контекстами, важные источники ситуативного анализа — электронные корпусы (в нашем случае это был Интернет) и анкетирование носителей языка, позволяющие изучить сочетаемость и употребление интересующих нас лексем (близкая методика использована в: [Рахилина, Плунгян 2007]), семантика которых не может быть описана только на базе славянской толковой и диалектной лексикографии, обычно замыкающей эти лексемы друг на друга[6]. В результате проведенного анализа были выделены семантические параметры, по которым кулинарный термин **pekti* в славянских языках противопоставляется глаголам *pražiti, *smažiti, *žariti*, и обобщены в таблице.

На базе лексических противопоставлений между разными славянскими языками и оппозиций глаголов в рамках одного языка в семантическом пространстве славянской кулинарии «нежидких продуктов» выделяются следующие «элементарные» области: обработка нежидкого продукта в печи, на раскаленной поверхности, на костре, на сковороде с маслом, на сковороде с большим количеством масла, на сковороде всухую (обжаривание сыпучих продуктов). Глагол **pekti* в славянских языках используется для называния первых четырех кулинарных процедур, а также, в некоторых языках, для обозначения обработки жидкостей, технологически сходной с приготовлением твердого продукта (с.-х. *пећи ракију* обозначает ситуацию, подогрева на костре казана с фруктовой массой). ‘Обработка нежидкого продукта

[6] Вот примерный характер вопросов, вошедших в нашу анкету по семантике глагола **pekti*: «Что можно *печь*?»; «Что значит *печь* мясо, картошку? Как и где это делают?» и пр.

Таблица

язык/значение	‘прокаливать «в вольном духу» нежидкую пищу’	‘прокаливать продукт на раскаленной поверхности’	‘прокаливать мясо на вертеле над открытым огнем’	‘прокаливать продукт на сковороде с добавлением жира’	‘прокаливать сыпучий продукт’	‘жареное мясное кушанье’	‘варить самогон’	‘варить варенье’	‘варить’
Рус.	печь хлеб, картошку	печь/жарить блины, лепешки	жарить шашлык, теленка	жарить картошку	жарить/ калить кофе	жаркое	варить самогон	варить варенье	диал. печь яйца, пельмени
Укр.	пекти хліб, картоплю	пекти/ смажити млинці	пекти/ смажити шашлікі	смажити/ прягти м’ясо, картоплю / пряжене сало, пряженая капуста	пряжени горіхи, пряжене кофе, смажити горіхи, пряжити борошно	печеня, смаженина	варити самогон	варити вареня	
Бел.	пячы хлеб, пірагі, бульбу	пячы бліны	смажыць мяса	смажыць мяса, смажёный ‘жареный в масле, вареный в меду’ (Носович)	пражыць гарох, кофе	смажаніна	варыць самагон	варыць варэнне, смаженне (Носо-вич)	

Польск.	piec chleb, ziemniaki	smażyć naleśniki	piec na rożnie / smażyć na grillu	smażyć	prażyć kawę (ziarna), słonecznik	pieczen'		smażyć konfitury	parzyć kawę
Чеш.	péci chléb		péci kousky masa	smažit kůře, koblihy, brambory	pražit kávu, oříšky, slad	pečeně, kousky masa opečené na rožni			
Словацк.	piect' chlieb		piect' mäso na ražni	vyprážat' zemiaky	vyprážat' oriešky	pečienka	pálit' pálenku	varit' zavaraninu	
В.-луж.	pjec			smažić	pražić				
Сл.	peči kruh	peči palačinke	peči meso	peči meso, krompir / cvreti krompri	pražiti kavo, žgati kavo	pečeno meso	žgati žganje		
Серб.	пећи хлеб	пећи паприку	пећи јагње	пржити месо, кромпир	пржити кафу	печење	пећи ракију		пећи кафу
Болг.	пека хляб		пека месо	пека/ пържи месо, кромпир	пека кафе	печеница	пека ракия		
Макед.	пече хлеб	пече пиперки	пече месо, јагне	пржи месо кромпири		печеница			

в печи' — ядерное значение глагола, наиболее устойчиво реализуемое в сочетании **pekti chlěbъ*. В этом значении у него отсутствуют варианты/синонимы по славянским диалектам (кроме таких вторичных явлений, как хорват. чак. *paliti kruh*), равно как отсутствуют и варианты названия выпечки, ср. общеславянское **pečivo*, **pečenьje*. Прочие значения **pekti* в ряде языков могут иметь иное лексическое воплощение. Так, у восточных славян синонимия **pekti* — **zariti* / **smažiti* возникает в значениях, которые в других славянских языках выражаются только с помощью **pekti*, ср. рус. *жарить блины* и *печь блины*, укр. *смажити млинці* и *пекти млинці*, рус. *жарить шашлык*, укр. *смажити шашлікі*. Основной водораздел между денотативной сферой **pekti* и прочими ситуациями проходит по признаку использования масла при жарке на сковороде. С последним значением **pekti* встречается только у южных славян, для которых вообще характерно самое широкое в славянском ареале использование глагола, вплоть до варки напитков.

В славянском языковом пространстве выделяются четыре типа лексического членения этой кулинарной области: русский — оппозиция **pekti* — **žariti* 'в закрытом пространстве, в «вольном духу» / на открытом огне'; западнославянский, белорусский, украинский — оппозиция **pekti* — **smažiti* — **pražiti*/**paliti* 'без масла / на сковороде на масле / прокаливать сыпучий продукт всухую'; словенский — оппозиция **pekti* — *cvreti*— **pražiti* 'прокаливать продукт / прокаливать в большом количестве масла / прокаливать сыпучий продукт'; восточный южнославянский — оппозиция **pekti* — **pražiti* 'без масла / на масле'.

Такое положение продолжений глагола **pekti* в современных славянских лексических системах позволяет реконструировать его древнюю кулинарную семантику как 'приготовлять пищу на костре или в печи воздействием тепла от раскаленной поверхности или непосредственно от огня, то есть «сухим образом»', противопоставленную семантике глагола **variti* 'приготовлять пищу воздействием тепла от воды' [7]. Для **pekti* правомерно реконструировать и обобщенное значение 'готовить' (то же явление, что в **variti* 'варить' → 'готовить'),

[7] Добавим, что **pekti* указывает на приобретение продуктом твердого состояния, ср. рус. *губы запеклись*, *попекать* 'подмерзать, покрываться льдом (о водоеме)' [СРНГ 29: 300], т.е. 'становиться твердым', тот же переход в *загореть* 'замерзнуть, превратиться в лед' [Верхотурова 2005], *запек* 'запор ' [Геров 1904].

ср. укр. *пекарня* 'кухня, *поварня*' [УРС 1961: 237], рус. *печея* 'стряпуха' [СРНГ 27: 5]. Приготовление на масле как вторичная культурная реалия и соответственно более поздняя семема у славян характеризуется большим лексическим разнообразием и выражается, помимо общеславянского древнего кулинарного термина **pražiti* (и.-е. параллели со звуковой семантикой 'трескаться' [Фасмер]), с помощью глаголов с исходной «природной» семантикой (**smažiti* 'обжигать' от **smaga* 'жар, огонь, сухость, ожог', **žariti* 'обдавать жаром, теплом'), о позднем характере появления которых в кулинарной сфере свидетельствует и их ареальная ограниченность, а позднее и звукоподражательной семантикой (слн. *cvreti*).

II.2. *Реконструкция семантики конкретного слова с опорой на данные современной синонимии.* Глаголы **paliti* и **žegti* представляют собой пример очевидной праславянской семантической близости, следы которой сохранились в славянских языках в форме синонимии по основному значению 'предавать огню' (русский общенациональный язык, старославянский/церковнославянский и в разной степени диалекты других славянских языков) и в форме семантического параллелизма мотивированных этими глаголами гнезд.

В общеславянской системе (при сопоставлении спектров **paliti* и **žegti* в разных славянских языковых системах) у этих глаголов и их производных наблюдается общий набор первичных значений ('уничтожать огнем', 'зажигать (источник тепла, света)', 'греть', 'обжигать') и многих вторичных ('вызывать жжение', 'стрелять', 'бить, ударять', 'жалить, кусать', 'прогоркнуть').

Внутри одной системы (в языках, сохранивших синонимию **paliti* и **žegti*) глаголы нейтрализуются только в своем первичном значении 'уничтожать огнем', ср. рус. *спалить дом* и *сжечь дом*, ц.-слав. *Господь... сожег содомляны* (Октоих, глас 1, канон, песнь 3) и *попалит огнь супостаты* (Ис. 64, 2), рус. *прожечь* и *пропалить рубашку*. В русском языке (относительно церковнославянского трудно делать какие-либо выводы в силу отсутствия его настоящих носителей или полного электронного корпуса) *палить/спалить/пропалить — жечь/сжечь/прожечь* хотя и обозначают одну ситуацию, тем не менее не могут быть автоматически заменимы один другим в конкретном контексте.

Спалить (*дом*) по сравнению с нейтральным *сжечь* — лексема с экспрессивной семантикой, характерная для русского просторечия и включающая негативный эмоционально-оценочный компонент значения. Как правило, употребление *спалить* указывает на то, что, по мнению говорящего, действие совершается/ совершено не рациональ-

но, а стихийно, бесконтрольно, по неосторожности, со злым умыслом или под действием эмоционального стресса: *Огонь потек, как молния, спалил на запад все, вплоть до Москвы-реки* (НКРЯ, С. Соловьев); *Ты мне кажи, кто это дом мой спалил, — я его изувечу!* (НКРЯ, Сергеев-Ценский); *Третьеклассник из села Николаевна... чуть не спалил родную школу* (НКРЯ, из газет); *Первым делом Шнур спалил злосчастный плакат* (НКРЯ, «Без консервантов»). В силу семантического негатива *спалить* обычно не употребляется в повелительном наклонении (ни одного подтверждения в русском Национальном корпусе для *спали, спалите*). Экспрессия глагола препятствует широкому употреблению его в форме несовершенного вида для обозначения процесса (*палить что-то*) и использованию в эмоционально нейтральных или тем более деловых контекстах: *Неизвестна причина, по которой Гоголь сжег* (??*спалил*) *второй том «Мертвых душ»*; *Инквизиция сожгла* (***спалила*) *на костре выдающегося мыслителя Джордано Бруно* (НКРЯ); *Советую тебе сжечь* (***спалить*) *документы*; *Сжечь* (***спалить*) *отходы можно в специально отведенном месте*. *Спалить* чрезвычайно плохо сочетается с обозначениями рациональной (созидательной) нормы — модальными словами и словами, обозначающими совет, предписание. По данным Интернета наиболее частотные субъекты этого глагола — «несознательные» и неорганизованные слои населения, дети, бомжи, пьяные: *дети чуть не спалили трамплин, луганские бомжи палят чердаки и подвалы*. Семантику стихийности подтверждает приоритетная сочетаемость *спалить* с неодушевленными субъектами, которые с трудом сочетаются с осознанным *жечь*, типа *счетчик может спалить квартиру* (из Интернета), при «плохом» сочетании ??*счетчик может сжечь квартиру*. Объект *спалить* как правило масштабен, это разного рода недвижимость (дома, населенные пункты, имущество), на действия с бумагой он указывает существенно реже (статистика по корпусу — один случай на сорок девять; для *жечь* бумага, напротив, самый естественный объект) и плохо сочетается с названиями мелких предметов (??*спалить крошки*; *Врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег* (***спалил*) *всю спичку до края*, НКРЯ, Шукшин). В ц.-слав. *попалити* также предпочитает крупные или множественные объекты: ср. *не сожещи* (??*попалити*) *свитка* (Иер. 36, 25), *тело... во еже сожещи* (??*попалити*) *е* (1 Кор. 13, 1–3). Экспрессивную семантику интенсивности и хаотичности глагол сохраняет во вторичном значении ‘стрелять’: *палить со всех сторон, во все стороны, из всех орудий* при не-

возможности ****палить в цель, он метко, хорошо палит, учиться палить, (не) пали!* (при обращении к одному человеку), *кто палил?* и т. д. В диалектном языке, по указанию Даля, *палить* в значении 'стрелять' также характеризуется масштабностью, обозначая стрельбу из крупных орудий, ср. пример, противопоставляющий флот и пехоту: *Сухопутные пушкари стреляют, моряки палят*. Ср. слвц. *pálit'* 'сильно стрелять' [SSN].

В силу ограниченности префиксальных образований от *палить* в русском, сопоставлению прямых употреблений *палить* и *жечь* подлежит еще только одна пара: рус. *обжечь* 'заставить обгореть, обуглиться со всех сторон', *обжечь конец бревна*, 'повредить огнем или чем-н. горячим, едким, жгучим кожный покров, поверхность чего-н.', *я сегодня обожгла себе утюгом левую руку*, 'обрабатывая, подвергнуть действию сильного огня для придания твердости, прочности', *обжечь кирпич* — и *опалить* 'обжечь с поверхности, обжечь верхний слой, покров чего-н.', *опалить цыпленка, опалить волосы, ткань*. Словосочетания *обожженные деревья* и *опаленные деревья* указывают на совершенно разные ситуации: в первом случае деревья существенно повреждены, скорее всего, и в области стволов, а во втором — у деревьев обгорела только листва [ТСРЯ]. Семантическая оппозиция «контакт с огнем поверхности предмета» / «глубокое повреждение предмета огнем», очевидная в рус. паре *опалить/обжечь*, в церковнославянском реализуется также бесприставочными продолжениями **paliti* и **žegti*: *Бога зачениши во чреве Дево, Духом Пресвятым, пребыла еси неопалима, понеже Тя купина законоположнику Моисею, палимая нежегомо, яве предвозвести, огнь нестерпимый приемшую* (Октоих, Глас 1, канон, песнь 3). Характеристика *палимая нежегомо*, относящаяся к неопалимой купине, может быть однозначно интерпретирована как «объятая пламенем, но не повреждаемая им» (ср. рус. перевод: «куст, горевший и не сгоравший»). Сходное противопоставление обнаруживается в хорватском: *plam ki pali a ne žeže* [RJAZU 9: 589], который можно перевести как «огонь, который охватывает пламенем, но не жжет». В русском сходная оппозиция бесприставочных **paliti* и **žegti* также присутствует, ср. *палить* 'удалять (ненужное) на поверхности при помощи огня' (*палить ворс, гуся* при *жечь ворс, гуся* — 'уничтожать огнем весь объект') и *жечь* 'производить ожог, ощущение жжения' (*крапива больно жжет* — ****крапива больно палит*; *горячий чай жжет горло*; *от горчичника уже жжет*; *кислотой ему жгло руки*). Из последних примеров видно, что русское *жечь/обжечь* не обязательно связано с пламенем, оно может описы-

вать воздействие на объект высокой температурой (у *палить* это встречается редко, только в случаях типа *спалила платье утюгом*), низкой температурой (*холодная вода обжигала кожу, мороз обжигал лицо*) или едким веществом. Поэтому солнце может быть жгучим и палящим, но ветер — только жгучим, ср. ц.-слав.: *и повеле Бог ветру знойну жегущу* (Ион. 4, 8).

Хотя **paliti* и связано с пламенем, конкретное значение 'предавать огню' в нем может реализоваться как более широкое и абстрактное 'истреблять', что совершенно не свойственно **žegti*, который обычно реализуется как глагол, обозначающий конкретную ситуацию. В ц.-слав. *попали терния моих согрешений; попалити страсти; Непокоршияся проповеданию твоему попалити восхотел* (Минея, 30 апреля, канон, песнь 5) очевидно переносное значение уничтожения, которое в данных контекстах не может быть выражено глаголом *сожещи* (*сожещи* во всех приведенных случаях указывает на конкретную ситуацию предания огню).

На основании изложенного материала у **paliti* можно предположить следующие семантические компоненты, отличающие его от **žegti*[8]: стихийность, вредоносность и масштабность производимого огнем действия; направленность на поверхность, в том числе с функцией ее очищения; обязательная связь с пламенем. Эти семантические особенности перекликаются с основным русским диалектным значе-

[8] Повторимся, что в других славянских языках и даже в русских говорах картина соотношения **paliti* и **žegti* совершенно иная, у большинства славян (кроме русских и словенцев, которые, правда, утратили синонимию в пользу **žegti*) **paliti* абсолютно доминирует в системе и является нейтральным глаголом, не имея семантических ограничений, подобных русским литературным и церковнославянским. Однако, скорее всего, экспансия продолжений **paliti* по сравнению с **žegti* — относительно позднее явление: в славянских языках «старшего» периода продолжения **žegti* употреблялись весьма активно. Если же рассматривать географическое распространение нейтрального **paliti* относительно нейтрального **žegti* как древнее (праславянское) ареальное явление, то семантические параметры, актуальные для русского и церковнославянского (а последние не могут не быть связаны со старославянскими), можно считать релевантными для части праславянских диалектов, но не учитывать их в праславянской реконструкции нельзя. Выделенные на русском материале семантические признаки, как мы покажем ниже, в «латентной» форме присутствуют в метафорических семантических спектрах продолжений и дериватов **paliti* у всех славян.

нием *палить* — земледельческим, терминологическим (о его «ключевом» характере для *палить* свидетельствует огромное число словообразовательных производных от этого значения, ср. *пальник, палок, пальные места, палик* [Даль]), указывающего на ситуацию полного выжигания больших площадей, иногда выходящую из-под контроля и перерастающую в бедствие: *палить степи, камыши, новину* (= *пускать пал, выжигать*), *пал* 'лесной, степной, полевой пожар или поджог', 'продукт этого процесса, то есть сгоревший лес', 'выжженное в лесу место' (= *гарь, паленина, пожог*), ср. болг. *паленак* 'кустарник, выжженный для того, чтобы на нем росла молодая трава' [БЕР] (о глаголе **paliti* как термине подсечно-огневого земледелия см. [Куркина 1998]). Продолжением земледельческого значения, весьма возможно, и является стилистическая и эмоциональная нагрузка русского лит. *палить*.

Теперь остановимся кратко на семантической деривации двух глаголов в разных славянских языках, подтверждающей правомерность реконструкции у **paliti* и **žegti* названных дифференциальных признаков. Гораздо более тесная, чем у **žegti*, связь с пылающим огнем у **paliti* вырисовывается прежде всего на основании этимологических характеристик последнего (ср. родственные **plamę, pylati, pepelъ*), далее на базе многочисленных вторичных обозначений огня (типа рус. *палеж* 'костер'), названий блюд, имевших прямой контакт с пламенем (укр. *паланичка* 'кусочки спеченной на костре картошки', *паланица* 'корж, испеченный на плите' [СБГ: 379]), наименований красного цвета (укр. *паліти* 'краснеть, зреть), болезней и эмоций, для которых свойственна огненная метафора (рус. *воспаление*, *распалиться гневом,* слвц. *pálit'* (кого-то) 'быть влюбленным в кого-то' [SSN], болг. *палежньк* 'жених', *палежница* 'невеста' [БЕР]). Глагол **žegti* крайне редко мотивирует названия огня (в русских говорах по данным [Верхотурова 2005] зафиксировано всего одно наименование), но чаще обозначает излучение света и мотивирует названия его источников (с.-х. *жижак* 'искра, лампада', чеш. уст. *žehati* 'светить' [SSJČ 4: 908]), в.-луж. *žehlić so* 'то же', *žehlavka* 'электрическая лампочка' [Трофимович 1974: 458], польск. *żglić się* 'тлеть, мерцать' [SJP 10: 1430]), а в метафорической сфере обычно связывается не со страстями, а с укорами совести (ср. *жжение совести*).

Связь *палить* с поверхностью отражена в восточнославянских названиях хлебов, мотивированных значением 'слегка подгоревший, подпаленный': рус. *паленица*, влад. *палиха* 'подпаленная пресная лепешка', *паленик* 'ком теста, лепешка, испеченная в золе' [Даль], укр.

паланица 'корж, печенье' [СБГ: 379] (ср. *сжечь пирог*, указывающее на значительное повреждение субстанции, не случайно **žegti* не развивает кулинарную семантику 'печь', в отличие от **paliti*, ср. хорват. чак. *paliti* 'печь хлеб' [Jurišić: 147]). Напротив, у **žegti*, охватывающего обозначаемым действием весь объект, встречается кулинарная семантика 'греть, варить' (с.-х., макед. *жежена ракија*).

Семантику глубокого (проникающего) воздействия на предмет в **žegti* позволяют реконструировать значения, отсутствующие в спектре **paliti*: значение клейма (слн. *žig*, с.-х., болг., макед. *жиг*) и метафорические значения остроты, укола, укуса, чрезвычайно характерные для **žegti*. Ср. польск. *żgać* [SJP 10: 1430] 'колоть, ударять ножом': *pożgal nożem* [SJP 6: 1340], *żegadło* 'острый предмет, медицинский инструмент, щипцы' [SJP 10: 1415–1416], в.-луж. *žahadło* 'жало' [Трофимович 1974: 457], укр. *жигати, жигнути* 'колоть' [СБГ: 144], *жигало* 'шило для упряжи' (*шорник... жигалом проколював або прожигав*) [СБГ: 114], макед. *жегне* [РМНП 2: 263], болг. *жегам, жежем* 'колоть' [БЕР], укр. *жигати* 'кусать' [ЕСУМ 2: 191], рус. *жигать* 'жалить, кусать (о насекомых, змеях)' [СРНГ 9: 165]. В русских говорах в парадигме названий жалящих насекомых представлены наименования, мотивированные только глаголом **žegti*, но не **paliti*: рус. *жгуха* 'муха', *жигалица* 'мелкая мошка', *жегун* 'непарный шелкопряд — вредитель дубовых лесов; ядовитая пыльца его вызывает на теле сильный зуд', *жегошка* 'насекомое, которое пьет кровь, клещ' [Верхотурова 2005].

III. В заключение сделаем несколько выводов относительно семантической структуры температурного поля. 1) В поле противопоставляются области 'состояния' и 'каузации состояния' по признаку их семантической пассивности/активности в процессах семантической деривации в поле. Глаголы состояния (**vьrěti, *prěti* и пр.), за исключением глагола **gorěti*, обладают слабой семантико-деривационной потенцией или вовсе ее лишены. 2) В поле осуществляется семантический обмен между прямыми значениями (физическим значениям свойственно переходить друг в друга: 'кипеть', 'гореть' → 'преть', 'кипеть' → 'потеть'). 3) При номинации явлений действительности средствами данного поля семантические различия между этими средствами очень часто нейтрализуются (ср. рус. *огарок — отеплыш*, *повыпечь — сжечь*, *обжигать — жарить*, *обваривать — обжигать* [Верхотурова 2005]). 4) Система метафорических значений поля основана на восприятии высокой температуры как аксиологического

параметра с семантикой превышения нормы ('слишком'). В антропологической сфере температурный код используется для обозначения *аномалий* физической и психической жизни. Активность температурного кода в антропологической сфере подкрепляется метафорой 'жизнь' — 'горение', 'человек' — 'свеча (или другой источник огня/тепла)', ср. болг. *прегоря, прегор* 'слабый ребенок' [БЕР], *прогора* 'красавица, женщина, горящая, светящаяся красотой' [БЕР]. 5) В функционировании поля важную роль играет противопоставление горения и кипения (твердый/жидкий). Эта оппозиция открывается в противопоставлении их семантических спектров (малом схождении между ними), в структуре кулинарной области (**pekti* — **variti*). 6) Для функционирования поля важным является противопоставление открытого/закрытого огня (ср. оппозицию **paliti* — **žegti* в прямом значении, при обозначении процессов психической жизни («жжение совести» и «распаление страсти»), а также семантическую структуру глагола **pekti* (приоритетную связь глагола с обработкой пищи в вольном духу — не на открытом огне и параллелизм с **žegti*: укр. *випікати — выжигать*, *припікати — прижигать*).

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БА — Български диалектен атлас. Обобщаващ том. София, 2001.

ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Київ, 1982–2006. Т. 1–5.

ОЛА — Материалы Общеславянского лингвистического атласа, архив Института русского языка РАН.

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–. Л., 1967–.

РМЈ — Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Скопје, 1965. Т. II.

РСАНУ — Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1959–. Књ. 1–.

НКРЯ — Национальный корпус русского языка.

СБГ — Словник буковинських говірок. Чернівці, 2005.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л., 1965–. Т. 1–.

СССПИ — Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 5 (электронная версия).

ТСБМ — Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Мінск, 2002.

ТСРЯ — Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. Мультимедиа-издательство «Адепт», 2002.

УРС — Украинско-русский словарь. Киев, 1953. Т. 1; 1961. Т. III.

RJAZU — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880–1976.
SJP — Słownik języka polskiego. Warszawa, 1958–1968. T. 1–10.
SSJČ — Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1960–. T. 1–.
SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1995.
SSN — Slovník slovenských nárečí. Bratislava, 2006. T. 2.

Бојанић, Тривунац 2002 — *Бојанић М., Тривунац Р.* Речник дубровачког говора (СДЗб XLIX). Београд, 2002.

Варбот 1997 — *Варбот Ж. Ж.* К этимологии славянских прилагательных со значением 'быстрый'. III // Этимология 1994-1996. М., 1997.

Варбот 2002 — *Варбот Ж. Ж.* Из семантического опыта этимологии // Белорусский и другие славянские языки: семантика и прагматика. Минск, 2002.

Верхотурова 2005 — *Верхотурова К. С.* Горение в зеркале русского языка. Дипл. раб. Екатеринбург, 2005.

Гаговић 2004 — *Гаговић С.* Из лексике Пиве (село Безује) // СДЗб LI. Београд, 2004. С. 1–312.

Геров 1904 — *Геров Н.* Речник на българскый язик. Пловдив, 1904.

Даль 1956 — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956.

Караџић 1935 — *Караџић В. С.* Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рјечима. Београд, 1935.

Куркина 1998 — *Куркина Л. В.* К реконструкции древних форм земледелия у славян (на материале лексики подсечно-огневого земледелия) // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998. С. 381–397.

Марковић 1986; 1993 — *Марковић М.* Речник народног говора у Црној Реци. Књ. I–II // СДЗб XXXII, Београд, 1986; СДЗб XXXIX, Београд, 1993.

Митровић 1984 — *Митровић Б.* Речник лесковачког говора. Лесковац, 1984.

Носович 1980 — *Носович И. И.* Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

Рахилина, Плунгян 2007 — *Рахилина Е. В., Плунгян В. А.* О лексико-семантической типологии // Глаголы движения в воде: лексическая типология. М., 2007.

Толстая 1998 — *Толстая С. М.* Культурная семантика славянского ***kriv-*** // Слово и культура. М., 1998. Т. II.

Толстая 2000 — *Толстая С. М.* *Играть* и *гулять*: семантический параллелизм // Этимология 1997–1999. М., 2000.

Толстая 2003 — *Толстая С. М.* Семантическая реконструкция и проблема синонимии в праславянской лексике // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. М., 2003.

Толстой 1997 — *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Избранные труды. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997.

Топоров 1994 — *Топоров В. Н.* Из индоевропейской этимологии. V (1) // Этимология 1991–1993. М., 1994.

Трофимович 1974 — *Трофимович К. К.* Верхнелужицко-русский словарь. М.; Бауцен, 1974.

Трубачев 1963 — *Трубачев О. Н.* К вопросу о реконструкции различных систем лексики // Лексикографический сборник. Вып. VI. М., 1963.

Трубачев 2004 — *Трубачев О. Н.* «Молчать» и «таять». О необходимости семасиологического словаря нового типа // Труды по этимологии. М., 2004. Т. 1. С. 311–318.

Трубачев 2004а — *Трубачев О. Н.* Реконструкция слов и их значений // Труды по этимологии. М., 2004. Т. 1. С. 107–122.

Трубачев 2004б — *Трубачев О. Н.* Приемы семантической реконструкции // Труды по этимологии. М., 2004. Т. 1. С. 123–153.

Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. 1–4.

Черниш 2003 — *Черниш Т. О.* Слов'янська лексика в історико-етимологічному висвітленні. Київ, 2003.

Jurišić — *Jurišić B.* Rječnik govora otoka Vrgade. Zagreb, 1966. T. I; 1973. T. II.

Kála 1923 — *Kála M.* Slovenský slovník z literatúry aj nárečí. Banská Bystrica, 1923.

Skok — *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974. T. 1–4.

Научное издание

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

XIV Международный съезд славистов
Охрид, 10–16 сентября 2008 г.
Доклады российской делегации

Издательство «Индрик»

Корректор *Т. И. Томашевская*
Оригинал-макет *Л. Е. Коритысская*
Оформление *А. С. Старчеус*

Оригинал-макет статьи В. А. Дыбо выполнен *С. Г. Болотовым*

Исключительное право оптовой реализации
книг издательства «Индрик»
принадлежит книжной галерее «Нина»
www.kniginina.ru
тел./факс: **(495) 959-21-03**

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by
e-mail: nina_dom@mtu-net.ru
or by tel./fax: **+7 495 959-21-03**

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) — 95 3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 60×90 1/16. Печать офсетная.
36,0 п. л. Тираж 800 экз. Заказ № 881

Отпечатано с оригинал-макета
в ППП «Типография „Наука“».
121099, Москва, Г–99, Шубинский пер., д. 6

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ